

ANNALES CONTEMPORAINES

СОВРЕМЕННАЯ ЗАПИСКИ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛЬ

при ближайшемъ участіи :

Н. Д. Авксентьева, И. И. Бунакова, М. В. Вишняка,
В. В. Руднева

LXVII

1938
ПАРИЖЪ

Imprimerie «Union», 13, rue Méchain, Paris

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Бор. Зайцевъ. — ИЛЕВЪ.	5
2. Гайто Газдановъ. — ОШИБКА.	53
3. В. Сиринъ. — ДАРЪ.	69
4. СТИХОТВОРЕНИЯ: З. Гиппиусъ, Аллы Головиной, Вяч. Иванова, Евг. Кискевича, Вяч. Лебедева, П. Ставрова, Екатерины Тауберъ и А. Штейгера.	147
5. Кн. С. Щербатовъ. — МОСКОВСКІЕ МЕЦЕНАТЫ.	158
6. Д. Чижевскій. — О «ШИНЕЛИ» ГОГОЛЯ.	172
7. Л. Шестовъ. — НИКОЛАИ БЕРДЯЕВЪ.	196
8. В. Калоусъ. — НѢМЕЦКАЯ ПРОБЛЕМА ВЪ ЧЕХОСЛОВАКИИ.	230
9. В. Вейдле. — РОССИЯ И ЗАПАДЪ.	260
10. А. Герценъ. — ПИСЬМА А. И. ГЕРЦЕНА КЪ ДОЧЕРИ. Комментаріи В. Руднева.	281
11. Ив. Бунинъ. — ПЕРЕЧИТЫВАЯ КУПРИНА.	309
12. М. Алдановъ. — ПАМЯТИ А. И. КУПРИНА.	317
13. Н. Евреинновъ. — К. С. СТАНИСЛАВСКІИ И ЕГО ТЕАТРЪ.	325
14. О. Фельтгеймъ.	334
15. А. Цилига. — ВЕРХНЕУРАЛЬСКІИ ПОЛИТИЗОЛЯТОРЪ.	351

КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ.

16. Л. Сабанъевъ. — ТВОРЧЕСКІИ КРИЗИСЪ ВЪ МУЗЫКѢ.	385
17. М. К. — КЪ ВОПРОСУ О НОВОМЪ ЧЕЛОВѢКѢ ВЪ РОССИИ.	397
18. Е. Извольская. — КАТОЛИЧЕСКОЕ СОЦІАЛЬНОЕ ДВИЖЕНІЕ.	404
19. А. Гольденвейзеръ. — ИНСТИТУТЪ ОБЩЕСТВЕННАГО МНѢНІЯ.	410
20. М. Вишнякъ. — НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА ВЪ СССР.	416
21. Ю. Рапопортъ. — СОЖИТЕЛСТВО НАШИ.	425
22. В. Рудневъ. — СУДЬБА ЧЕХОСЛОВАКИИ.	434

23. КРИТИКА И БИБЛИОГРАФІЯ.

М. Цетлинъ. — З. Гипліусъ: Сівія.	449
Н. Б. — Ю. Терапіано: На вѣтру.	450
П. Бицилли. — Довидъ Кнутъ: Насушная Любовь.	451
С. Савельевъ. — Н. Берберова: Безъ заката.	452
Юрій Мандельштамъ. — Софія Зайцева: Дѣтскими глазами на міръ.	454
Л. Сабаніевъ. — Н. Берберова: Бородинъ.	454
Б. Николаевскій. — Временникъ Общ. Друзей Русской Книги.	455
П. Бицилли. — Пушкинъ и его время. Ред. проф. К. І. Зайцева.	458
К. Мочульскій. — А. Л. Бемъ: Достоевскій.	459
В. Вейдле. — Н. Дорнъ: Кирѣевскій.	460
В. Вейдле. — А. Hackel: Das altrussische Heiligenbild, die Ikone.	461
В. В. — Н. А. Реймерсъ: Дедукція понятія движенія въ примѣненіи къ вопросу о подвижности земля. — Проф. К. І. Зайцевъ: Основы этики. Вып. I. — Левъ Закутинъ: О чувствѣ и чувственности. — Fanny Lowitzky: Soeren Kierkegaard. Etude psychanalytique.	462
К. Мочульскій. — Д. Мережковскій: Францискъ Ассизскій.	463
В. В. З. — Митрополитъ Елевферій: Соборность Церкви. Божіе и Кесарево.	464
Ив. Херасковъ. — Alexandre Baschnakoff: Cinquante siècles d'évolution éternelle autour de la mer Noire.	465
Д. Одинецъ. — А. Е. Прѣсняковъ: Лекція по русской исторіи. Т. I. Кіевская Русь. — Г. В. Вернадскій: Звенья русской культуры. Древняя Русь. Ч. I. Вып. 1-й.	466
М. Вишнякъ. — С. Е. Крыжановскій: Воспоминанія.	468
Т. Ч. — М. З. Никонъ-Сморонинъ: Красная каторга.	470
Списокъ новыхъ книгъ, поступившихъ для отзыва въ редакцію «Современныхъ Записокъ».	471

И л ё в ъ

(Изъ 2-го т. романа «Путешествіе Глѣба»).

Глѣбъ съ матерью выѣхали изъ Калуги на Страстной. Путь предстоялъ чрезъ Москву и Рязань въ Тамбовскую, Нижегородскую губерніи. Глѣбу казалось, что ѣдутъ на край свѣта. Онъ чувствовалъ себя вродѣ Пржевальскаго предъ Средней Азіей.

Въ Москвѣ на извозчикѣ съ Курскаго вокзала Глѣбъ жался къ матери, вся эта пестрота, шумъ, грязноватая толчае были ему чужды. Лишь въ купѣ поѣзда Казанской дороги, расположившись удобно, среди знакомыхъ вещей, почувствовалъ онъ себя покойно, крѣпко: ѣдутъ такъ ѣдутъ, за матерью не пропадешь.

И въ милой, сѣренькой веснѣ россійской, съ голыми еще березками, запахами прѣли въ лѣсочкахъ, желтыми лютиками у осинъ, похудавшими за зиму коровами на первомъ пастбищѣ — медленно катили они въ невѣдомые края Родины.

Глѣбъ не зналъ еще, что станція Фаустово знаменита пирожками, что Коломна городъ древній, примѣчательный, и, какъ говорятъ, основана выходцемъ изъ Италіи, принадлежавшимъ къ славному роду Колонна. О Рязани слышалъ. Съ ранихъ, устовскихъ лѣтъ связывалось у него что-то здѣсь съ татарами, страшными набѣгами и разореніями. Куликовская битва не такъ далеко отсюда и происходила — съ картинки навсегда остались въ памяти русскіе витязи въ шлемахъ, съ мечами, стягомъ, стѣнной бьющіяся съ узкоглазою татарвой — Глѣбъ любилъ Куликовскую битву, побѣду Россіи.

Но теперь, когда въ тихомъ вѣтеркѣ увидалъ эту Рязань, на берегу широко разлившейся Оки — поѣздъ медленно шелъ по насыпи у воды — ничего ни грознаго, ни воинственнаго не ощутилъ: мирный русскій городъ, благовѣсть надъ безкрайними лугами (на нихъ-то и возстанетъ въ июнѣ «величавое войско стоговъ»). Глѣбу приятно было увидѣть Оку, съ дѣтства свою — въ полноводной весенней славѣ, серебристую и покойную, подъ блѣдно-перламутровымъ небомъ несущую влагу Россіи въ Волгу и Каспій.

Въ Рязани долго на вокзалѣ стояли — пили съ матерью кофе. Глѣбъ зналъ уже теперь, что такое вокзалы. Они не пугали его, какъ раньше. Но все-таки возбуждали. («Мама, а поѣздъ безъ насъ не уйдетъ?»).

Поѣздъ не обманулъ ихъ и тронулся по всѣмъ правиламъ, со звонками и неторопливостью россійской желѣзной дороги. Глѣбъ стоялъ у окна. Началось созерцаніе чистое. Въ погромыхиваніи вагона протекали поля, луга, дали рязанскія. Станціи были все новыя — какъ и сама дорога, за Рязанью не такъ давно открытая: дальнюю Казань, три столѣтія назадъ завоеванную, пристегивала теперь къ себѣ Имперія связью прочной.

Чѣмъ далѣе шелъ поѣздъ, тѣмъ одиноче чувствовалъ себя Глѣбъ. Пустыннѣе и диче казалась ему страна, невеличкіе безконечные горизонты.

Такъ, къ вечеру, добрались они до станціи. Оттуда вѣхатъ ужъ на лошадахъ, болѣе ста верстъ.

Тяжеловѣсный тарантасъ, большія лошади, незнакомый кучеръ... Завтра Пасха, надо спѣшить. Надѣли дорожныя свиты, усѣлись и тронулись. Ровныя поля тамбовскія, чуть съ прозеленью, въ ложбинахъ сыро, а за тарантасомъ пыль. Безмолвная эта окрестность казалась сумрачной. Села рѣдки, огромны. Одно попало мордовское. Станный край. Нѣтъ, подъ Калугою лучше.

Темно-красно-пепельный закатъ угасалъ. Издали потя-

нуло влагой большой рѣки. Дорога еще сѣрѣла средь полей.

Ночь спускалась. Въ скиѣскомъ полѣ, близъ разлившейся рѣки бродили фигуры. Тутъ и повозки, лошади. Кусты темнѣли. Кучеръ слѣзъ, долго разговаривалъ съ мужиками, потомъ вернулся.

— Разливъ нынѣ, барыня. Луга на многія версты затоплены. Парома подождать придется, на веслахъ пойдемъ. Народу ужъ подобралось порядочно, какъ еще умѣстимся.

Парома ждали долго. Глѣбъ безпокойно, съ тяжкимъ чувствомъ всматривался въ темноту ночи. Ну и заѣхали!

Наконецъ, паромъ прибылъ — это можно было опредѣлить по вознѣ, гуторенію мужиковъ вправо въ потемкахъ, около кустиковъ. Плескалась вода, гремѣли вынимаемая весла.

Тройка давала право на уваженіе. И мать, и Глѣба уважали за лошадей, «директорскихъ», съ Илѣвскаго завода. Тарантасъ пропустили на паромъ первымъ — лошади боязливо ступали по брѣвнышкамъ, танцовавшимъ подъ копытами. Тарантасъ прыгаль, вода гдѣ-то рядомъ похлопывала... — и вдругъ тройка увѣренно взмахнула на паромъ — лошадиныя морды остановились въ дальнемъ концѣ его, у самыхъ перилъ. А дальше двинулись повозки мордвы, татаръ, да и наша тамбовская Русь — пѣшіе мужички и бабы, торопившіеся къ заутренѣ.

Толкались и охали, руганулись, понятно, сколько хотѣли. Но все устроились. И послѣ должнаго гвалта плаваніе началось. Именно плаваніе! Ибо этотъ паромъ — болѣе Ноевъ ковчегъ, чѣмъ парома на канатѣ, прославленные Толстыми и Чеховыми.

Вначалѣ шли тихо на веслахъ. Цѣплялись кое-гдѣ за потопленные кусты, потомъ выбрались на просторъ, но попали въ теченіе, на быстрину, паромъ понесло направо.

Лошадей выпрягли, онѣ стояли отдѣльно. Глѣбъ-же

съ матерью такъ и остались въ тарантасѣ, передъ ними торчали задранныя кверху оглобли. Дальше перила, вода, надъ оглоблями небо, по которому чертятъ они свой путь, задѣвая за звѣзды. Звѣздъ было много. Вся чернота воды вокругъ дробилась золотыми блестками и змѣйками.

Вотъ сбоку кусть, весла шуршать о лознякъ, гребцы ругаются. И плыветъ надъ ними звѣздный атласъ.

Глѣбъ не могъ бы сказать, что бодро себя чувствуетъ. Тьма, разливъ, куда-то плывуть... — онъ просто робѣлъ, сердце ныло. Слабый звѣздный свѣтъ давалъ видѣть вблизи материнскіе прекрасные глаза, тонкій профиль. Мать сидѣла въ небольшой своей шляпѣ со страусовымъ перомъ на подушкахъ тарантаса точно въ ложѣ. Глѣбъ, хоть и считалъ себя мужчиной и охотникомъ и не сознался-бы, что труситъ, именно сейчасъ трусилъ. Рядомъ плечо матери. За нею не пропадешь, а все-таки... «страшно-новато».

— Скоро прїѣдемъ?

Мать могла-бы вполне улыбнуться. Но тономъ всезнающимъ тотчасъ отвѣтила:

— Скоро, сыночка.

Мать съ раннихъ дѣтскихъ лѣтъ дѣйствовала на него неодолимо. И сейчасъ, если мать, пусть и бессмысленно, сказала «скоро», значить такъ и будетъ.

— На стремя вышли, сказалъ кто-то въ темнотѣ.

— Доѣдемъ-ли куды... — бормоталъ бабій голосъ.

Ковчегъ быстро несло вбокъ. Гребцы вновь ругались, надо было налегать, а то теченіемъ снесетъ далеко.

Но стремя оказалось не такимъ широкимъ. Паромъ ткнулся въ глыбу, описалъ странный полукругъ — оглобли прочертили по звѣздамъ удивительную кривую — и вошелъ вновь въ спокойныя воды.

Лошади иногда потопатывали, иногда, скаля зубы, ржали — сердились другъ на друга, хватали за гривы. Бабы

вздыхали. Вода хлюпала. Ночь все чернѣй, чернѣй... Гдѣ Араратъ? Никто ничего не зналъ.

Разныя звѣзды, созвѣздія приходили въ прямоугольничѣ оглобелъ, и уходили. Но вотъ въ этомъ прямоугольничѣ, ниже звѣздъ, выше воды, появился свѣтъ. Огоньки зажигались, золотистые, и далекіе — тамъ, на берегу.

Въ темнотѣ выступилъ нѣжно золотистый, въ свѣтломъ дымѣ силуэтъ церкви. На ковчегѣ задвигались. Весла перестали плескаться.

— Преображенское!

— Ишь куды занесло!

— Куды, куды... въ такую темь не туды еще заплывешь. Вертаться надо.

Пошумѣли, послорили, кормчій что-то доказывалъ и паромъ, правда, измѣнилъ направленіе: взяли налѣво подъ угломъ, почти противъ течения, чтобы навестать унесенное стремнемъ.

Шли совсѣмъ медленно, будто стояли на мѣстѣ. Но надъ водой, на пригоркѣ, все яснѣе виднѣлась церковь. Благовѣсть доносился. Мать наклонилась надъ Глѣбомъ.

— Христось воскресе!

И поцѣловала.

— Воистину воскресе, отвѣтилъ Глѣбъ.

Онъ не очень преданъ былъ всему этому, да и мать тоже. Но ихъ несла въ себѣ жизнь русская, сама тогдашняя Россія, какъ безкрайная вода паромъ. Глѣбъ отвѣтилъ «воистину» безъ мистическаго подъема, но все-таки зналъ, что отвѣтить такъ надо, всѣ отвѣчаютъ, онъ съ дѣтства слышалъ это — съ нимъ связано нѣчто торжественное и радостное. А сейчасъ почувствовалъ, что все въ порядкѣ, берегъ со свѣтящейся церковью приближался. Онъ ощутилъ усталость, положилъ голову на плечо матери.

— Подремли, сыночка. Утомился.

Онъ могъ устать, она — нѣтъ. Онъ могъ дремать,

склоняя голову ей на плечо, ея-же плечо для того и создано, чтобы къ нему склоняться.

Мать сидѣла ровная и покойная. Паромъ медленно плылъ къ берегу по совсѣмъ тихому мѣсту, раздвигая кусты. Звѣзды текли. И ужъ нельзя было сбиться — точно путь правый, вѣрный былъ въ рукахъ матери.

.....
 Ъхали ночь, ѡхали день. Гдѣ-то перепрягали — отецъ выслалъ подставы — гдѣ-то наскоро подзакусывали. Изъ Тамбовской губерніи передвигались въ Нижегородскую. Въ рано занявшемся бѣломъ днѣ, при порывахъ вѣтра, въ жесткомъ тарантасѣ катили по ранне-пустыннымъ селамъ, потомъ села стали оживленнѣе, попадались парни, дѣвки расфранченныя. Качались на качеляхъ, катали по желобкамъ яйца, пѣли, христосовались. Пьяные мужики разгуливали по слободамъ. Для Глѣба-же весь этотъ день слился во что-то пестрое и смутное, толчки тарантаса, слипающіяся вѣки, острый свѣтъ, вѣтеръ и рядомъ плечо матери, съ котораго мало когда и съѣзжала его голова. Въ промежутки между дремотой онъ стеклянныиъ взоромъ глядѣлъ на неравнившіяся ему поля, безъ конца вдаль шедшія.

Къ вечеру началась сторона лѣсная: ельники, сосонники, можжевельникъ, комары. Ни души!

Нѣжно-печальная заря млѣла за болотомъ и чуть распускавшимися березами, когда мелькнули впереди огоньки. Кучеръ подбодрился — и по гати, по тряскимъ бревнышкамъ поднялъ тройку на рысь — мать съ Глѣбомъ подпрыгивали на подушкѣ: все равно, слава Богу — Илѣвъ.

А черезъ нѣсколько минутъ катили уже слободою. Слева паркъ, справа ненужно-сладостное, розовое зеркало озера. Все это напоминало Людиново. Сходство и еще увеличилось, когда тарантасъ подкатилъ къ огромному дому, лакей выскочилъ изъ освѣщенныхъ дверей. За нимъ отецъ появился — все такой-же, въ сѣренькомъ пиджакѣ,

невысокій и плотный, съ рыжеватою бородой, какъ въ Устахъ, въ высокихъ полу-охотничьихъ сапогахъ.

У Глѣба былъ нѣсколько окостенѣлый видъ. Улыбаясь, поцѣловалъ онъ отца въ знакомые табачные усы, будто и ласково, но отсутствовалъ.

— Сыночка усталъ, сказала мать. — Тарантасъ тряскій, дороги у васъ здѣсь нехорошія.

Отецъ сдѣлалъ комически-извиняющуюся гримасу:

— Виновать, виновать!

Да и правда, по тону матери можно было подумать, что кого-то она укоряетъ за длину разстояній, глушь, тряску тарантаса. Вѣдь сыночка усталъ, подумать только!

— А гимназіастъ нашъ отоспится, отдохнетъ, весело говорилъ отецъ. — Ну, идемъ, намъ тамъ наверху комнаты готовы.

И повелъ узенькой, темноватой лѣстницей. Внизу раздавались голоса, смѣхъ, стучали посудой.

— Здѣсь въ восемь часовъ обѣдаютъ, сказалъ отецъ, когда поднялись на хоры: Аркадій Осипычъ такъ привыкъ.

Глѣбъ оглядывался съ любопытствомъ. Усталость его прошла. Они оказались на хорахъ огромной, какъ ему представилось, залы, обращенной въ столовую. Внизу ярко она освѣщена. За столомъ съ куличами и пасхами нѣсколько человекъ ѣли, разговаривали, хохотали. Цвѣты, поблескиваніе хрустала, бутылки... — Глѣбу вспомнилось, какъ въ Людиновѣ принимали губернатора.

— Этотъ худой, лысый, въ серединѣ и есть Ганумовъ, Аркадій Осиповичъ, вполголоса сказалъ Глѣбу отецъ. — Нашъ хозяинъ. Завтра я тебя съ нимъ познакомлю. А теперь, — обратился онъ уже къ матери: — велю сюда подать вамъ ужинать.

Мать тоже взглянула внизъ, но безъ особаго удовольствія: ничего этого она не любила, ни коньяковъ, ни застольнаго шума, ни картъ.

У отца оказалась наверху чуть-ли не цѣлая квартира

— комнаты невысокія и не весьма просторныя, но заново и по столичному отдѣланныя. Окна выходили въ паркъ, а двери въ корридоръ, окружавшій хоры. Тутъ было тихо, снизу шума не доносилось.

Такъ въѣхалъ Глѣбъ еще въ одно временное свое пристанище, явно ему чѣмъ-то уже знакомое, но и все-таки новое, какъ въ таинственномъ и непрерывномъ теченіи дней и самъ онъ, теперешній, былъ уже не совсѣмъ тотъ Глѣбъ, что ѣздилъ на облаву въ Людиновѣ и встрѣчалъ губернатора. Несомнѣнно, это мѣсто, Илѣвъ, гдѣ до окончательнаго переѣзда на сосѣдній заводъ жилъ отецъ, отличалось отъ Людинова, но Глѣбу нынѣшнему само прежде показалось-бы уже инымъ.

Въ этотъ-же вечеръ, поужинавъ съ матерью и отцомъ, оставшись одинъ въ своей комнатѣ, онъ прежде чѣмъ лечь отворилъ окно — темный, горькимъ ароматомъ настоенный, воздухъ поплылъ къ нему. Внизу играли на роялѣ. Глѣбъ вздохнулъ. Софья Эдуардовна! Нѣтъ, такъ, какъ она, никто уже не играетъ. Но ему пріятны были и эти звуки — тотъ-же Шопень, онъ связываетъ одинъ роскошный домъ, возставшій вотъ теперь изъ глубины, глуши лѣсовъ съ другимъ, уже успѣвшимъ отойти въ воспоминанье-сновидѣнье.

Въ вѣтвяхъ огромная звѣзда золотымъ орденомъ сіяла. Глѣбъ взглянулъ на нее, сладко зѣвнулъ, затворилъ окно. «Гимназіастъ...» Нѣтъ, онъ теперь именно ни то ни сѣ, этой странной весной въ странномъ Илѣвѣ просто вольный гражданинъ — отецъ опять сострилъ-бы: «недоросль изъ дворянъ».

Глѣбъ едва раздѣлся, завалился, заснулъ безпробудно-отрочески.

.....

Утренній кофе пили съ матерью наверху. Выспавшись, Глѣбъ былъ въ бодромъ настроеніи. Все хотѣлось увидѣть, узнать здѣсь, но такъ, чтобы не подумали, что онъ

очень этимъ пораженъ. Стараясь быть спокойнымъ, имѣть видъ независимый (ничѣмъ его не удивишь) — расхаживалъ Глѣбъ по солнечнымъ нижнимъ комнатамъ. Зала напомнила ему людиновскую, гостиная тоже.

Изъ нея дверь была пріоткрыта въ кабинетъ Ганумова — тамъ виднѣлся удивительный кожаный диванъ, кожанья кресла, нескораемый шкафъ, тянуло духами и слегка сигарой. Глѣбъ не рѣшился туда войти, хотя никого въ домѣ не было. Отъ этой комнаты испыталъ онъ ощущеніе незнакомаго и новаго. Отецъ сказалъ вчера, что Ганумовъ живетъ въ Петербургѣ, здѣсь бываетъ наѣздами. Очевидно, это и есть «петербургское».

Въ половинѣ перваго зазвенѣлъ гонгъ. Глѣбъ зналъ, что тотчасъ надо являться. Онъ бродилъ въ паркѣ, недалеко отъ дома. Черезъ три минуты былъ уже на террасѣ. Въ дверяхъ, щурясь отъ солнца, стоялъ съ отцомъ не совсемъ русскаго вида темный человѣкъ въ свѣтломъ костюмѣ, съ голубымъ клѣтчатымъ галстучкомъ. Голова съ узкимъ подбородкомъ и огромно-широкимъ лбомъ сразу выдѣлялась въ худощавомъ его обликѣ — лицо сходило внизъ клиномъ. Большія челюсти, какъ у Щелкунчика. Лысина почти зеркальная, съ вѣничкомъ мелко-вьющихся полусѣдыхъ волосъ. Насмѣшливые, изящнаго разрѣза черные глаза.

— Это мой сынъ, сказалъ отецъ, когда Глѣбъ подошелъ. — Видите, какой худощій. Хворалъ долго въ Калугѣ. вмѣсто экзаменовъ пришлось сюда поправляться ѣхать.

Ганумовъ улыбнулся, протянулъ Глѣбу руку.

— Отлично. Отдыхайте на доброе здоровье. Мѣсто глухое, для васъ это и хорошо. А? Развлеченій мало? Вамъ нравится? Что?

Глѣбъ вовсе не говорилъ, что «развлеченій мало», вообще ничего не успѣлъ сказать...

— Мнѣ очень нравится, отвѣтилъ робко.

Ганумовъ вынулъ изъ наружнаго кармана легенькій

платочекъ, обмахнулъ лобъ. Нѣчто пренебрежительное мелькнуло въ его лицѣ.

— Нравится здѣсь нечему, дыра... онъ засмѣялся. — Но —... жить можно. А? Ну, идемъ.

И полуобнявъ Глѣба, со смѣсью развязности и ласковой свисходительности, повелъ его впередъ.

Что-то смущало въ немъ Глѣба. Все-же Ганумовъ оказался нестрашенъ, даже довольно привѣтливъ. Не называлъ его «юноша», это тоже было пріятно.

Въ столовой Глѣбъ познакомился еще съ новыми людьми: одинъ изъ нихъ былъ инженеръ Калачевъ, молодой, нѣсколько широкозадый русачекъ съ путаной бородежкой, въ высокихъ сапогахъ, небрежно разстегнутой кожаной тужуркѣ. Худенькая темноглазая его жена разсѣянно подала руку. Особо обратилъ Глѣбъ вниманіе на старика съ большой опухолью на шеѣ, въ грязноватомъ сюртукѣ, съ нечесанной сѣдою бородой, легкими волосами, сквозь которые свѣтила розовѣющая лысина. Забравшись въ дальній конецъ стола взялся старикъ за ѣду основательно. Ълъ неопратно.

Глѣбъ зналъ такіе обѣды по Людинову. Но тамъ все-таки былъ свой домъ, а здѣсь чужой, и будто-бы самъ отецъ лишь въ гостяхъ и не первое лицо. А Глѣбъ привыкъ считать именно его всегда первымъ. Къ счастью, Ганумовъ не обращалъ на Глѣба вниманія — болталъ съ сидѣвшею съ нимъ Калачевой и съ отцомъ.

Отецъ былъ веселъ, пилъ водку, но не говорилъ, какъ въ Людиновѣ: «чи-ккъ», чокаясь рюмкой. Ганумову ладней наливалъ красное вино, Глѣбъ замѣтилъ на бутылкѣ бѣлый ярлыкъ съ надписью: St.-Estèphe. Это произвело на него нѣкоторое впечатлѣніе.

Собственный-же Глѣбовъ сосѣдъ, инженеръ Калачевъ, вовсе его не смущалъ. Калачевъ сидѣлъ небрежно, неловко тянулъ короткой рукой къ отцу за водкой, рѣзко опрокидывая рюмку въ горло, показывая безпомощный кадыкъ подъ довольно бессмысленной, рыжеватымъ вѣ-

ромъ разлетавшейся бородой. Когда Ганумовъ разска-
залъ старый анекдотъ, весело захохоталъ.

— А? Здорово? обратился къ Глѣбу. — Аркадій Оси-
пычъ у насъ ко-омикъ!

Отецъ не могъ, конечно, удержаться. Тоже разсказалъ
— Глѣбъ давно зналъ эту исторію, про какого-то нѣмца,
учителя гимназіи во времена отца. Нѣмецъ такъ объяс-
нялъ залог:

— Волкъ ѣлъ коза — дѣйствительный. Коза ѣлъ
волкъ — страдательный.

Тутъ Калачевъ заготовалъ столь визгливо, точно его
щекотали подмышками. Что-то женское было въ немъ
въ эту минуту — Глѣбъ при всей своей серьезности тоже
засмѣялся. Лишь мать и не улыбулась. Да старикъ съ
опухолью занимался потрохами такъ основательно, что
ему было не до смѣха.

Калачевъ окончательно впалъ въ доброе настроеніе.

— Вамъ необходимо отдохнуть, разумѣется, говорилъ
Глѣбу: па-анимаю... Чортъ бы ихъ побралъ, всѣ эти гим-
назіи! Помню. Ненавидѣлъ. Вы переходите въ реальное?
Отлично. Ближе къ жизни.

Онъ вдругъ нагнулся, зашепталъ:

— Аркадій Осипычъ милѣйшій человѣкъ, вы увиди-
те... и музыкантъ. Самъ даже сочиняетъ. Съ Людмилоч-
кой — это моя жена — въ четыре руки играетъ... А ве-
черомъ карты... Ну, вы, разумѣется, молоды, вамъ не го-
дится... Вонъ у насъ главный картежникъ — Финкъ.

И мигнулъ въ сторону старика съ опухолью.

— Это, я вамъ скажу, ти-ипъ! Сейчасъ потроха ѣсть,
а косточки собираетъ въ бумажку, для своего пса. Песъ
называется Наполеонъ, подъ столомъ, у его ногъ — ни на
шагъ не отпускаетъ. На охоту такъ на охоту, домой такъ
домой. Песъ за нимъ всюду.

Подали кофе, къ нему ликеры. Калачевъ налилъ се-
бѣ и Глѣбу по рюмкѣ бенедиктину. Мать безпокойно огля-
нулась.

— Смотри, сыночка, крѣпкій...

— Ничего, пустяки!

Калачевъ вкусно прихлебывалъ, становился все веселѣе. Глѣбъ ликеръ тоже понравился — и душистый, и мягкій, на непривычную голову дѣйствовало пріятно. Да будто-бы и подымало въ собственномъ мнѣніи. Вотъ онъ взрослый, пьетъ бенедиктинъ какъ Ганумовъ, разговариваетъ съ настоящимъ инженеромъ.

Инженеръ тоже былъ доволенъ, что нашель слушателя. И Глѣбъ узналъ во время первого этого завтрака многое: Финкъ ссыльный полякъ, давно здѣсь живущій, вроде лѣсничаго. Домикъ его уединенный, въ паркѣ — онъ да пѣсь. Когда пріѣзжаетъ сюда Аркадій Осипычъ, все оживаетъ, бывають гости, пикники, но вообще Илѣвъ скучища и онъ, Калачевъ, очень радъ, что появились свѣжіе люди, какъ отецъ Глѣба — «съ нимъ, по крайней мѣрѣ, не соскучишься». Людмилочка чудная женщина... — и если-бы всё не поднялись изъ-за стола, Глѣбъ узналъ бы уже обстоятельно, насколько Людмилочка прелестна и какъ любитъ ее мужъ.

Но разговоръ прервался. Впрочемъ, и Калачевъ и Глѣбъ сразу правильно оцѣнили положеніе: они почти уже друзья, одному есть предъ кѣмъ разглагольствовать, другому льститъ, что съ нимъ разговаривають какъ со взрослымъ.

Въ гостиной поставленъ былъ зеленый ломберный столъ, лежали мѣлки, двѣ нераспечатанныхъ колоды картъ. Свѣтлый весенній день. Инженеры разсаживались для винта, Ганумовъ съ Людмилой ушелъ въ кабинетъ. Оттуда донеслись аккорды на роялѣ — Аркадій Осипычъ импровизировалъ. Финкъ сдавалъ. Длинноухій лягашъ у его ногъ слегка завылъ при первыхъ-же звукахъ музыки — Финкъ сердито подтолкнулъ его ногой.

Въ балконной двери отецъ подошелъ къ Глѣбу, ласково его полуобнялъ.

— Ну, какъ? Не соскучился еще? Ты, кажется, съ Калачевымъ подружился?

Глѣбъ былъ довольно оживленъ — ликеръ подвигивалъ, сознаніе, что онъ среди «большихъ» и не боится, въ изящномъ петербургскомъ домѣ, гдѣ и музыка, и вино, и карты... Но онъ отвѣтилъ, разумѣется, серьезно, какъ бы и слегка небрежно:

— Ну, подружился... Просто мы разговорились (ничего нѣтъ удивительнаго, что вотъ онъ, Глѣбъ, бесѣдовалъ со взрослымъ инженеромъ какъ равный).

Отецъ отправился къ карточному столу, Глѣбъ вышелъ въ садъ, а мать поднялась къ себѣ наверхъ.

Мать не совсѣмъ такъ настроена была, какъ отецъ и сынъ. Завтракъ не доставилъ ей никакого удовольствія. Не особенно понравилось, что сыночка пилъ ликеръ. И этотъ «распущенный», какъ она нашла, тонъ... Подходяще-ли это для сыночки? Вообще, что это за общество? Насчетъ Калачевой ей показалось, что съ хозяиномъ она держится слишкомъ ужъ вольно, точно «авантюрьерка», а онъ вродѣ «адоратора». Какіе-то инженеры, выпивающіе, разглагольствующие... Странный старикъ съ собакой.

Войдя къ себѣ въ комнату, разложивъ шитье — она починала Глѣбову курточку — мать ощутила, что здѣсь она одна, со своимъ скромнымъ, но нужнымъ дѣломъ, это ея міръ, а тамъ внизу другой.

Другой, между тѣмъ, тоже велъ свою линію, не смѣшивался съ верхнимъ: Ганумовъ, поблескивая влажными черными глазами, нангрывалъ армянскія фантазіи. Взглядывалъ на Людмилу. Та куталась въ шаль, нервно подбирала подъ себя на диванѣ ноги, принимала видъ загадочно-томный. Въ гостиной инженеры играли въ винтъ. Финковскій Наполеонъ надоѣлъ подвываніемъ — его выгнали. Отецъ замурылкалъ по этому случаю: «Скакелъ пѣзъ лѣсъ, пѣзъ зелены лѣнки». Калачевъ сорилъ пепломъ папиросы въ мундштукъ, назначалъ малые шлемы,

пролеталъ. Когда Финкъ вмѣстѣ съ нимъ ремизился, то бурчалъ и опухоль его сердито колыхалась.

Глѣбъ ушелъ бродить къ озеру.

.....

Мать всегда о комъ-нибудь беспокоилась — объ отцѣ, Глѣбѣ, Лизѣ, о хозяйствѣ, семьѣ. Она много думала, часто вздыхала, лицо ея съ годами получило яркую черту серьезности, почти-что важной горестности. Нерадостно принимала она жизнь.

Такъ было и въ Илѣвѣ. День шелъ за днемъ въ ея отъединенности отъ всѣхъ. Мать завтракала и обѣдала внизу, но не входила въ нижній обиходъ — какъ инородное тѣло. Она могла быть лишь хозяйкою и главой своего, прочнаго и порядочнаго гнѣзда. Тутъ-же вообще гнѣзда никакого не было, все «авантюрьерское», скорѣе непорядочное. И мать лишь наблюдала, сверху, съ хоръ, за теченіемъ неодобряемаго бытія.

Она и вообще думала побыть здѣсь недолго. Но скоро рѣшила еще сократить срокъ. Какъ только кончились разливы, пообсохли дороги, она въ томъ-же тарантасѣ, прямая, прохладная, неутомимая, съ небольшимъ страховымъ перомъ на шляпѣ, струившимся въ вѣтрахъ нижегородскихъ, укатила домой. Уѣзжая, нѣжно и крѣпко поцѣловала «сыночку» и наказала отцу не забрасывать его. Какъ только вполнѣ оправится — домой, въ Калугу.

Отецъ врядъ-ли могъ выполнить завѣтъ наблюденія. Хотя и жилъ наверху рядомъ съ Глѣбомъ, но постоянно уѣзжалъ, проводилъ на сосѣднихъ заводахъ по нѣсколькимъ дней, да и въ Илѣвѣ очень бывалъ занятъ. Такъ что въ огромномъ этомъ домѣ Глѣбъ оказался въ одиночествѣ — могъ только наблюдать обитателей его.

Ганумовъ просыпался поздно, кофе пилъ въ постели, Долго, сложно мылся въ ванной, потомъ подавали ему верховую лошадь подъ англійскимъ сѣдломъ, онъ надѣвалъ краги, бралъ хлыстикъ и въ жокейскомъ картузикѣ,

куртки водружался верхомъ — съ нимъ ѣздила иногда и Людмила, худенькая и нервная, съ безпокойнымъ взглядомъ карихъ глазъ, амазонкою на дамскомъ сѣдлѣ.

За столомъ Ганумовъ бывалъ перовенъ: то миль и любезенъ съ Людмилой, острилъ, могъ безсмысленно хохотать отъ анекдота, то вдругъ раздражался — на кого попало: разъ въ бышенствѣ накинулся на лакея, чуть не ударилъ его за то, что тотъ подалъ теплое бѣлое вино. Глѣбъ съ изумленіемъ на него смотрѣлъ: дома къ такому не привыкъ. Но Ганумовъ вино все-же выпилъ, и послѣ обѣда, ликеровъ, впалъ въ совершенно благодушное настроеніе. Черезъ полчаса, случайно столкнувшись съ нимъ въ корридорѣ, Глѣбъ увидѣлъ, какъ онъ похлопывалъ этого-же лакея по плечу. «Ну, ну, я погорячился», — и вынувъ изъ жилетнаго кармана трѣхрублѣвку, сунулъ ему въ руку. «Покоривѣше благодаримъ-съ, Аркадій Осипычъ»... — лакей ускользнулъ, а Ганумовъ встрѣтился съ недоумѣннымъ взоромъ Глѣба. Мгновенное смущеніе въ немъ мелькнуло, быстро залитое нервною развязностью.

— Не удивляйтесь, молодой человекъ... Мы не крѣпостники, конечно, но и не святые. А народишко тоже хамовать. Хотите я завтра ему въ морду дамъ? И ничего не произойдетъ. Десять цѣлковыхъ выложу — онъ счастливъ будетъ. А за пятнадцать руку поцѣлуетъ. Да? А? Понятно? За деньги все можно.

Глѣбъ сконфузился, ничего не отвѣтилъ.

А Ганумовъ черезъ нѣсколько минутъ засѣдалъ за роулемъ, въ кабинетѣ и разыгрывалъ фантазін собственнаго сочиненія.

Неизвѣстно, какъ отнеслись-бы къ нимъ Чайковскій и Римскій-Корсаковъ, но Глѣбу казалось страннымъ, что тотъ-же, все тотъ-же Ганумовъ извлекаетъ эти звуки.

Во всякомъ случаѣ этотъ сухощавый армянинъ съ лысой головой, въ вѣничкѣ кудряво-сѣдоватыхъ волосъ, съ огромною челюстью Щелкунчика, здѣшній хозяинъ и владыка, не могъ быть Глѣбу товарищъ. Людмила и того

меньше. Она его совсѣмъ не замѣчала — у нея свои дѣла и заботы, для Глѣба еще чуждыя вполнѣ.

Одному только Калачеву онъ оказался почти что и нуженъ. Дружба ихъ съ перваго-же завтрака установилась. Съ теченіемъ времени возрасла. Сближало бездѣлье и нѣкая развинченная размягченность. Въ Устахъ и Калугѣ, особенно-же въ Людиновѣ, Глѣбъ что-то дѣлалъ, чѣмъ-то жилъ — рисованіемъ-ли, охотой, ученіемъ. Здѣсь-же лишь «выздоровливалъ». Заранѣе такъ былъ настроенъ, что ничего и не надо дѣлать, да и нечего дѣлать въ этомъ чужомъ, странномъ домѣ. Приходилось убивать время — занятіе неободряющее, но вполнѣ въ духѣ Калачева.

Калачевъ вообще ничѣмъ не занимался. Считалось, что онъ служить. Но именно только считалось. Иногда онъ заходилъ на заводъ, когда вздумается, какъ бы на прогулкѣ. Раза два водилъ туда Глѣба. Показалъ разныя литейныя, ремонтныя мастерскія — все это Глѣбъ зналъ по Людинову и не любилъ — а дальше... чѣмъ наполнять дни? Пока Ганумовъ съ Людмилой катались въ шарабанѣ, верхомъ или въ коляскѣ уѣзжали къ отцу на Балыковскій заводъ, Калачевъ безъ конца сосалъ мундштукъ, сорилъ пепломъ, постукивалъ кіемъ на билліардѣ по шарамъ — объяснялъ Глѣбу, какъ онъ «рѣжетъ желтаго въ уголь», какъ дѣлается карамболь. Но Глѣбу игра не нравилась. Дѣло кончалось тѣмъ, что оба залегали послѣ обѣда въ гостиной на огромнѣйшемъ турецкомъ диванѣ. Калачевъ начиналъ разглагольствовать. Глѣбъ слушалъ. Калачевъ былъ очень милъ, простъ, держался съ нимъ по товарищески. Въ разказахъ его встрѣчалась и правда.

Къ Ганумову онъ относился восторженно. Глѣбъ узналъ теперь, что Ганумовъ директоръ правленія, крупный акціонеръ этихъ заводовъ, играетъ на биржѣ, роскошно живѣтъ въ Петербургѣ. У него красавица дочь, огромное состояніе.

Капиталовъ ганумовскихъ Калачевъ не считалъ, дочери никогда не видѣлъ, но искренно былъ увѣренъ, что все

именно такъ и есть. Лежа на диванѣ закладывалъ ноги въ высокихъ сапогахъ на спинку стула, и ероша рыжеватые волосы на головѣ, стряхивая пепель, куда придется, ораторствовалъ.

— Аркадій Осиповичъ художественная натура. Ясно. Онъ только по небрежности не издаетъ своихъ музыкальныхъ произведеній, ихъ самъ Чайковскій одобрялъ. Но при всемъ томъ и дѣлецъ, вы понимаете... въ Петербургѣ вся биржа у него въ рукахъ и вообще въ дѣловомъ мѣрѣ онъ шишка. А на обѣды свои выписываетъ цвѣты прямо изъ Ниццы — и клубнику, ананасы...

Глѣбъ относился къ рассказамъ Калачева почтительно.

— Вы знаете, Людмилочка и Аркадій Осипычъ понимаютъ вполне другъ друга... Она совсѣмъ особенная женщина съ тонкой нервной организаціей. Мечтаетъ о сценѣ. Ну, конечно... Илѣвъ... это мило, въ прошломъ году для рабочихъ спектакль устраивали, но пустяки, тутъ-же дыра, дыра... — живые люди какъ Аркадій Осиповичъ или вашъ отецъ рѣдкость. Что дѣлать! Мы съ Людмилочкой надѣемся, что насъ переведутъ въ Петербургъ.

Калачевъ вдругъ яростно сталъ выбивать свой мундштукъ.

— Людмилу никакой Илѣвъ не можетъ удовлетворить. Представьте себѣ, черезъ мѣсяцъ Аркадій Осипычъ уѣдетъ, вашъ батюшка оснуется въ Балыковѣ... вѣдь мы со скуки подохнемъ. Кто-же тутъ? Бухгалтеры, десятники, Финкъ со своей собакой да опухолью... Этакъ и спиться можно.

Онъ вздыхалъ, пыхтѣлъ, пускалъ клубы дыма табачнаго. Явно былъ нервенъ. На Глѣба это дѣйствовало. Онъ самъ начиналъ чувствовать тревогу, расслабленность. Никуда не уйдешь, ничего не сдѣлаешь... Ну вотъ эта удобная комната большого дома, праздная жизнь, лакеи, но къ чему все это? Нѣтъ, нехорошо.

Калачевъ оживлялся, однако (да и то минутно), когда рассказывалъ о Петербургѣ, Горномъ Институтѣ, музеѣ

при немъ, гдѣ есть слитокъ золота съ Урала, вѣсомъ... — Калачевъ не стѣснялся тѣмъ, сколько онъ вѣситъ. Рассказывалъ объ удивительныхъ наукахъ: палеонтологія, геологія, кристаллографія... О чудакахъ-профессорахъ, страшныхъ экзаменахъ, невѣроятныхъ чертежахъ проектовъ. Все это было и занимательно, только неяснымъ оставалось, почему надо такъ много учиться, работать, преодолевать, чтобы въ концѣ концовъ ваяться, задрать ноги, на диванѣ въ Илѣвѣ, курить, бѣдтать, вечеромъ слушать ганумовскіе анекдоты и ремизиться, назначая дикія игры за зеленымъ столомъ съ мѣлками.

Хотя о Финкѣ отзывался Калачевъ пренебрежительно, однако въ домикъ къ нему затаскилъ Глѣба именно онъ. Глѣбъ немножко боялся туда идти. Калачевъ захоталъ почти развязно.

— Финка стѣсняться? Этого только не доставало! Онъ такъ скучаетъ, что не только намъ съ вами, а любому прохожему съ большой дороги радъ будетъ. Болеславъ Фердинандовичъ! А знаете, какъ мужики тутъ его опредѣлили? Хорошій, говорятъ, человекъ, а отчество у него нескладное...

И съ хохотомъ объяснилъ, что вмѣсто Ф. произносятся они П.

— Русскій мужичекъ придумаетъ, богоносецъ, какъ ему удобнѣй. Его теперь всѣ такъ называютъ. Только не дай Богъ, чтобы узналъ.

Къ Финку они пошли часовъ въ пять, — очень теплый и нѣжный день конца апрѣля. Собственно, идти было недалеко, домикъ, передѣланный изъ бани, находился шагахъ въ полтораста отъ дома главнаго. Пристроили кухню, расширили крыльцо, получилось нѣчто уединенное подъ липами — не то хижина дяди Тома, не то Эрмитажъ романтическаго философа.

Финкъ сидѣлъ на своемъ балкончикѣ, въ полуразстегнутомъ грязноватомъ халатѣ. На столѣ чашка чаю. Передъ нимъ Наполеонъ. На носу его кусочекъ сахару.

— Пиль!

Наполеонъ взмахнулъ головой, лойнтерскія его уши хлопнули концами по ошейнику, кусочекъ сахара взлетѣлъ — онъ поймалъ его пастью и блаженно-мгновенно схрапалъ. Финкъ порадовался.

— То знатный песь. То песь ладный.

Калачевъ съ Глѣбомъ подошли.

— Песь вашъ первостатейный, Болеславъ П... — Фердинандовичъ... — Калачевъ скосялъ на Глѣба глазъ многозначительно. — Имѣю честь привѣтствовать, привель вамъ гостя.

Финкъ всталъ, запѣхнулъ халатъ, довольно любезно протянулъ Глѣбу руку.

— Пана директора сынокъ, знаю.

И широкимъ жестомъ пригласилъ къ столу — пригласить было легче, чѣмъ усадить: Финкъ предложилъ Калачеву свой стулъ, а самъ присѣлъ на перила. «Пана Глѣба» попросилъ захватить табуретку изъ сѣнца. Глѣбъ поблагодарилъ, но присѣлъ тоже на перила — не безъ робости.

— Не безпокойтесь, Болеславъ Фердинандовичъ, мы вѣдь такъ... невадолго, на минуточку...

Лицо Финка сдѣлалось серьезнѣй.

— Разумѣмъ. Кто-же можетъ надолго зайти къ Болеславу Финку? Кому онъ теперь нуженъ?

Глѣбъ смутился — почувствовалъ, что сказалъ неловко.

— Нѣтъ, я не въ томъ смыслѣ... совершенно не такъ.

— Ничего. Радъ, что зашли. Былъ бы у себя на фольваркѣ, то не такъ бы принялъ, но здѣсь хозяйство мое убогое, что можно ждать отъ одинокаго старика — онъ пожалъ плечами, опухоль его на шеѣ приподнялась и опустилась.

— Болеславъ Фердинандовичъ не безпокойтесь, прервалъ Калачевъ: намъ никакихъ угощеній не надобно. Мы запросто, по сосѣдски.

Калачевъ началъ самъ болтать — о заводскихъ мелкихъ дѣлишкахъ, о картахъ, о томъ, что весна чудная и тяга въ самомъ разгарѣ. Глѣбъ понемногу успокоился, сталъ Финка разглядывать.

Финкѣ не казался ему теперь сердитымъ старикомъ, какъ въ столовой ганумовскаго дома. Правда, былъ онъ неопрятенъ и оброшенъ. Очень заросъ бѣлыми, легкими волосами. Что-то горестное было во всемъ немъ — и чудное. Не то что отецъ, Калачевъ, инженеры.

О тягѣ Финкѣ сказали, что раньше любилъ эту охоту, а теперь не ѣздитъ больше — плохо видеть въ сумеркахъ.

— А прежде безъ промаху билъ, прошу пана... Да, я былъ въ Польшѣ охотникъ.

Онъ предложилъ посмотрѣть его «карабинъ», повелъ къ себѣ въ комнату. Комната была въ заустѣннѣ. Подозрительная кровать, старый рваный диванъ, куда тотчасъ вскочилъ Наполеонъ какъ на свою территорию — улегся на имъ-же пролежанное мѣсто. Пофыркивая, пощелкивая зубами принялся за блохъ. Финкѣ снялъ съ рога ружье и сталъ показывать Калачеву лѣвый его стволъ, замѣчательный чокъ-боръ.

— Трафить на полторы сотни шаговъ. Въ главу вальдшнепа билъ на выборъ...

На шатучемъ столикѣ у стѣны стоялъ оркестріонъ. Надъ нимъ литографія, сильно отъ мухъ пострадавшая. По какому-то полю скакали всадники въ ментикахъ, съ саблями наголо — отъ нихъ удирали бородатые казаки съ пиками. Финкѣ замѣтилъ, что Глѣбъ внимательно разсматриваетъ ихъ.

— То польская гусарія атакуеть.

Калачевъ повѣсилъ ружье и тоже подошелъ.

— А-а! Въ двѣнадцатомъ году... при Бонапартѣ... Только позвольте вамъ сказать, дорогой Болеславъ Фердинандовичъ, что въ войнѣ этой, особенно при отступленіи изъ Москвы, гусаріи вашей пришлось плоховато... А?

Финкѣ ничего не отвѣтилъ. Взявъ ручку оркестріона,

началъ ее вертѣть. Негромкіе звуки раздались оттуда — вальсъ «Невозвратное время». Наполеонъ поднялъ на диванѣ голову, завылъ. Финкъ улыбнулся.

— То наша музыка, и въ оперу ходить не нужно. Когда намъ съ Наполеономъ скучно, мы играемъ...

Калачевъ съ Глѣбомъ недолго еще пробыли у Финка: пора было собираться на тягу.

— Такъ вы, значить, Болеславъ Фердинандовичъ, намъ не попутчикъ? — Калачевъ стоялъ передъ нимъ не безъ развязности, засунувъ руки въ карманы, животомъ сильно впередъ.

— А то лошадь заказана, мѣсто есть, пожалуйста...

— Дзенкую бардзо.

Финкъ проводилъ ихъ и прощаясь сказалъ:

— А гусаріи польской лучше не бывало и не будетъ.

Калачевъ напялилъ свою инженерскую фуражку и на короткихъ ножкахъ весело отъ Финка выкатился.

— Серьезный старикъ, и полякъ заядлый, говорилъ Глѣбу, когда подходили къ большому дому: попробуй польскихъ гусаръ при немъ тронуть... Но посмотрѣли-бы, что съ нимъ за картами дѣлается! Не тутъ, разумѣется, не у Аркадія Осипыча... винтъ это пустяки. Онъ въ стучолку и желѣзную дорогу ѣздитъ играть по сосѣдству, въ Кильдѣво. Тамъ игра азартная. А-а, яростный полякъ!

.....

Черезъ полчаса Глѣбъ съ Калачевымъ ѣхали на тягу, по плотинѣ. Справа и пониже пыхтѣлъ, дымилъ заводъ, очень похожій на Людиновскій. Солнце опускалось за нимъ, нѣжно золотило все убожество строеній, мастерскихъ и въ сквозныхъ лучахъ сама пыль надъ заводомъ принимала отгѣнокъ волшебный. Слева-же озеро, зеркально-покойное, лежало въ полной вечерней славѣ. Лѣса по берегамъ, отраженія ихъ, молчаніе...

Столбики комаровъ, тоже позлащенныхъ, выплясывали рядомъ съ лошадыю.

— Жаль, вашего отца нѣтъ, сказала Калачевъ: тяга нынче отличная. Съ плотины съѣдемъ и налѣво — видите, огромный сухой дубъ, половину ствола молнія сожгла? Мы у него лошадь оставимъ, сами вправо подадимся. Тамъ дороги расходятся: одна на Кильдѣво, другая въ Саровъ.

И пока кучеръ, свернувъ съ плотины, рысцой везъ ихъ вдоль озера къ дубу, Калачевъ разглагольствовалъ.

— Балыковскій заводъ въ двадцати пяти верстахъ и вотъ сюда, лѣвъѣ, а Саровъ чуть подальше и правѣе. Большой монастырь, извѣстный, на рѣкѣ Сатисѣ, тамъ этотъ старецъ жилъ... ну, очень прославленный теперь — Серафимъ. И его избушка сохранилась, разные лапотки въ ней хранятся, бѣлая рубашка. Поклоненіе ему большое, вродѣ святого почитается. Говорятъ, въ свое время тысячу дней на камнѣ въ лѣсу простоялъ, все молился. Съ медвѣдями дружилъ. А теперь больные ѣзятъ и разныя дамы. Тамъ и источникъ, вода холоднющая, но въ немъ купаютъ именно больныхъ... Да вотъ, если погода будетъ хорошая, надо подбить Аркадія Отныча — съѣздить туда пикникомъ...

Пролетка покачивалась иногда на корняхъ сосенъ, порядочно встряхивала. Глѣбъ слушалъ, молчалъ. Онъ былъ въ грустномъ, задумчивомъ настроеніи. Не совсѣмъ и здоровилось, одиноко какъ-то. Отца цѣлыми днями нѣтъ.

— Почему-же онъ стоялъ такъ на камнѣ? вдругъ спросилъ онъ.

— Ахъ, Серафимъ-то? Что-же, онъ этимъ занимался, пустынникъ былъ, и выстаивался, набирался мудрости... а потомъ жилъ при монастырѣ старцемъ, такимъ мудрецомъ народнымъ, что-ли, къ нему за совѣтами ходили, за исцѣленьемъ.

— Онъ исцѣлялъ?

— Говорятъ, говорятъ... Да это давно было, при Николаѣ первомъ, въ тридцатыхъ годахъ. Можетъ быть, и приукрашено.

Дубъ, правда, оказался гигантскій. Вороновымъ крыломъ блестяли опаленныя его вѣтви, въ гладкихъ шрамахъ. На верхушкѣ сидѣлъ ястребокъ, тотчасъ снявшійся.

Лошадь оставили, сами пошли не по Саровской дорогѣ, а тропкой — Калачевъ впереди, Глѣбъ сзади.

— Тутъ торфяники справа, да мы мимо нихъ, опушечкой. На опушкѣ и станемъ, вальдшнепъ вдоль болота любить тянуть...

Такъ и стали, другъ отъ друга шагахъ въ пятидесяти. Въ рукахъ у Глѣба уже не тульское ружьецо, а центральный боя двустовка изъ Бельгій. И самъ онъ не совсѣмъ прежній: не то разсѣянъ, не то какъ-то и грустенъ. За спиной смѣшанный крупный лѣсъ, тамъ съ каждой минутой сгущается мгла, но дышитъ глубина, благозвоніе горько-сырое. Желтый лютикъ надъ кочкой, рано зацвѣтшія бѣлыми цвѣточками кусты. И небо все выше, нѣжише раздвигается — тамъ, гдѣ солнце уйдетъ, на гаснущемъ пламени выступитъ слеза серебряная — Венера.

Все-же ухо Глѣбово тонко: издали, въ глуби лѣсовъ звукъ родившійся: х-р, х-р, хриповато, но и поюще, заставляетъ сердце забиться. Звукъ приближается, сердце сильнѣй стучитъ. Вотъ и онъ, таинственный обитатель мѣстъ, сихъ, аристократъ и баринъ, острокрылый, длинноносый, худенько-изящный вальдшнепъ. Бахъ-бахъ...

Со стороны Калачева дуплетъ, легкимъ огнемъ и дымомъ мечетъ сквозь осинки, вальдшнепъ дѣлаетъ дугу, вбокъ надъ мелколѣсьемъ уносится къ торфяникамъ, прочь отъ стрѣлка.

«Смазаль, конечно» — Глѣбъ былъ и увѣренъ, что Калачевъ смажетъ. Онъ погладилъ стволы своего ружья съ видомъ маэстро безупречнаго. Но и равнодушіе овладѣло имъ: не хотѣлось ни стрѣлать, ни не стрѣлать, вообще ничего не хотѣлось.

Черезъ нѣсколько минутъ на него самого налетѣлъ вальдшнепъ. Со все-таки замирающимъ сердцемъ прило-

жился онъ и выстрѣлилъ — совершенно такъ же, какъ и Калачевъ, смазаль, горячася выстрѣлилъ и изъ лѣваго ствола, и съ такимъ-же успѣхомъ.

Охотнику промахъ никогда не радостенъ. Глѣбъ взволнованно вынималъ изъ дымящагося ружья гильзы и вставляя новыя, про себя какъ-бы оправдывался: «гдѣсь огромный, высоко тянуть».

Прѣлью, горькой свѣжестью все сильнѣй пахло. Завать сталъ темноокраснѣть. Кромѣ Венеры и мелкія звѣзды появились. Сквозь разсвѣтлость свою и тоскливость Глѣбъ сталъ прямо хотѣть ужъ теперь удачи, ждалъ, волновался. Но, несмотря на погожій вечеръ, тяга оказалась плохая. Раза два Калачевъ еще выстрѣлилъ — безуспѣшно. И, наконецъ, въ низко летѣвшаго вальдшнепа промазалъ Глѣбъ вовсе позорно.

— Здорово пуделяете! крикнулъ Калачевъ.

Наступала темнота, плохо видна была уже мушка ствола. У калачевской рыжеватой бородки засвѣтился огонекъ — онъ закурилъ и двинулся къ Глѣбу.

— Я тутъ одного уложилъ, сказалъ Калачевъ: досадно, что собаку не взяли. Ясно видѣлъ, какъ онъ въ мелочѣ упалъ, да гдѣ въ темнотѣ найти. Высоко тянуть, анаемы, стрѣлять трудно.

— А я видѣлъ, что вашъ такъ-же улетѣлъ, какъ и мой, сказалъ Глѣбъ мрачно.

— Ну, что вы... Я ему полкрыла отстрѣлилъ. Жаль, жаль собаки нѣтъ. Домой вернемся ни съ чѣмъ.

— И собака была-бы, тоже ни съ чѣмъ бы вернулись.

— Ого-го! Васъ не переспоришь... А я собственными глазами видѣлъ, что онъ упалъ.

— Никуда онъ не падалъ.

Они шли теперь къ лошади, оба въ довольно нервномъ настроеніи. Съ торфянаго болота подымался туманъ.

Молча сѣли, молча тронулись. Калачевъ закурилъ уже третью папиросу.

Плотина, языки пламени надъ домнами, огоньки въ се-

лѣ, все это показалось Глѣбу неприятнымъ и ненужнымъ. Зачѣмъ онъ ѣздилъ съ этимъ Калачевымъ... Да и вообще вся эта жизнь... Разумѣется, надо сколько-то побыть, въ Калугѣ дѣлать сейчасъ нечего, товарищи вотъ-вотъ начнутъ держать экзамены, а онъ... разъ онъ, какъ выздоравливающей, такъ значить надо.

Домой вернулись пасмурные. Изъ Балыкова пріѣхалъ отецъ, встрѣтилъ ихъ чуть не у самой двери.

— Ну, хно-хнотнички, много дичи набили?

И когда узналъ, что ничего, длинно свистнулъ.

Глѣбъ хотѣлъ было оправдываться и объяснять, что тяга въ этомъ мѣстѣ высока, но внезапно отворилась изъ гостиной дверь — лицо Людмилы было искажено раздраженіемъ, вся худенькая фигурка ея полна нервности и чего-то болѣзненнаго. За ней выскочилъ и Ганумовъ. Людмила обернулась къ нему, вдругъ схватила съ подставки вазу, хлопнула ее объ полъ, подъ ноги Ганумову какъ бомбу. Ваза вдребезги разлетѣлась.

— Людмилочка, забормоталъ Калачевъ: что съ тобой?

Людмила зарыдала, кинулась въ кресло.

— Ахъ, меня никто тутъ не понимаетъ!

Глѣбъ мало еще интересовался непонятыми натурами, Людмила-же и не совсѣмъ ему нравилась. Онъ былъ удивленъ этой сценой, но особаго вниманія не обратилъ: ясно, что здѣсь вообще все особенное.

Людмила отплакалась сколько ей надо, потомъ ушла къ себѣ и къ ужину вышла уже пріодѣтая, подпудренная, хотя и съ загадочной мрачностью. Но послѣ шампанскаго развеселилась и все пошло гладко. На другой день она скакала уже съ Ганумовымъ въ черной своей амазонкѣ по дорогамъ Илѣва.

Наступилъ май, очень теплый, ранне-погожий. Березки давно зазеленѣли. Появились майскіе жуки. Калачевъ съ Глѣбомъ выходили по вечерамъ въ садъ съ крокетными молотками въ рукахъ. Жуки пролетали тихо гудя, а

они старались сбивать ихъ въ лѣтъ. Когда жукъ падалъ, Калачевъ произносилъ отъ Финка идущую фразу:

— Бжми хшонщъ въ тшистинѣ!

Такъ продолжалъ Глѣбъ свою безцѣльную, лѣниво-бездѣтельную жизнь: читалъ случайные романы, старые журналы, слушалъ валяясь на диванѣ рассказы Калачева.

Изъ-за теплыни тяга скоро кончилась. Да не особенно и влекло къ охотѣ. Глѣбъ бродилъ по парку, иногда ѣзжалъ одинъ въ лодкѣ на озеро.

Калачевъ-же каждое утро отправлялся теперь къ Финку. Входилъ очень серьезно, здоровался, брался за ручку оркестріона. Музыка начиналась. Калачевъ подпѣвалъ, голосомъ козлообразнымъ, Наполеонъ вылъ и лаялъ. Финку все это нравилось. Полуодѣтый, съдой, съ опухолью въ видѣ бутылки, онъ сидѣлъ въ креслѣ, слегка дирижируя рукой. Когда разъ Калачевъ не пришелъ, Финкъ остался имъ недоволенъ. На другое утро и упрекнулъ.

— Али панъ инженеръ зварьевалъ? Всталъ и не — гра!

Утреннія симфоніи слышалъ и Глѣбъ, изъ своей верхней комнаты. Онѣ дѣйствовали ему на нервы, какъ Финкову Наполеону. Такъ что онъ читалъ «Борьбу за Римъ», затыкая уши. Однако, самъ заходилъ иногда къ Финку, теперь не боялся его. Скорѣе даже тотъ интересовалъ Глѣба.

Судьба Финка не совсѣмъ была ему понятна. Хотѣлось узнать и понять. Однажды, окончательно осмѣлявъ, онъ спросилъ его объ этомъ прямо.

Финкъ усмѣхнулся.

— То долгая исторія, пане Г-хлебе, то долгая... (Глѣбу нравилось, что Финкъ называлъ его «панъ»). Давно то было. И неинтересно.

— Разкажите, Болеславъ Фердинандовичъ.

— Что-же рассказывать, было время, у себя жилъ, своимъ домомъ, а теперь нѣтъ. Это неинтересно.

— А мнѣ очень интересно.

Глѣбъ говорилъ несмѣло, но съ упорствомъ. Ему правда хотѣлось послушать Финка.

— То происходило давно. Я не такой тогда былъ, какъ сейчасъ.

Онъ погладилъ рукою усъ и слегка даже усмѣхнулся.

— Шляхтиць, по вашему говоря, помѣщикъ. Свой фольваркъ, гончія, пара борзыхъ. Конь ладный. На томъ конѣ сколько кругомъ рыскалъ... Выпить могъ бардоо дуже, изъ себя довольно-таки видный: вонсъ завѣсистый, мина якъ у дьябла. Вотъ, такъ и жилъ, что называется, въ свое удовольствіе. Только тутъ и случилась исторія.

Финкъ приостановился, посмотрѣлъ на Глѣба.

— Вы слышали про польское возстаніе 1863 года?

— Слышалъ...

Глѣбъ немного смутился. Правда, онъ что-то отъ отца слышалъ, но какъ именно это происходило, не зналъ.

— Возстаніе было настоящее, прошу пана. Со сраженіями, партизанскими стычками. Казаки усмиряли. А кто тогда былъ русскимъ императоромъ, то вы по гимназін должны знать.

— Александръ Второй, отвѣтилъ Глѣбъ довольно живо: Освободитель крестьянъ.

Финкъ засмѣялся. Глѣбу не весьма понравился смѣхъ этотъ.

— Онъ самый... Освободитель. Но для Польши онъ въ то время не былъ никакимъ освободителемъ. Наоборотъ — поработитель. Его казаки вѣшали, разстрѣливали нашихъ. Освободитель... Долженъ сказать, что я въ возстаніи какъ разъ и не участвовалъ — были причины. Но, разумѣется, сочувствовалъ своимъ.

Кругомъ фольварка моего форменная шла война. И вотъ, доложу вамъ, въ одинъ осенній вечеръ... — не забыть мнѣ тѣго вечера... — забредаютъ ко мнѣ два повстанца, съ карабинами своими. Одинъ раненъ, другой крѣпче, но измучены оба, говорятъ: «Пане господажу, ра-

туйте, выбились изъ силъ, а за нами казаки гонятся». Что тутъ подѣлать — свои. Ладно, накормилъ ихъ, руку раненому промылъ, перевязалъ, спать уложилъ на сѣновалѣ, говорю: если что, въ сѣно поглубже зарывайтесь, а ужъ коли попадетесь, меня не выдавайте. Сами ночью, молъ, на сѣновалѣ забрались — благо онъ и не записался.

Оставилъ ихъ, домой ушелъ, спать легъ, а на сердцѣ непокойно.

...Заря еще не занялась, вотъ они, казаки. Фольваркъ оцѣпили — кто хозяинъ? Я. «У васъ тутъ повстанцы скрываются». «Не вѣмъ». «Говорите, гдѣ, а то хуже будетъ». «Не вѣмъ». «Тогда искать будемъ». Съ самага того сѣновала и начали, пся кровь. Пиками сѣно стали щупать — нашли. Ахъ, Матка Боска Ченстохосска!

Финкъ всталъ, волненіе мѣшало уже ему сидѣть.

— Ну?

Финкъ довольно быстро обернулся къ Глѣбу.

— Освободитель крестьянъ, шестидесятые годы... А чрезъ полчаса оба, въ конфедераткахъ своихъ, подъ моимъ окномъ на сучьяхъ висѣли.

Глѣбъ поблѣднѣлъ.

— Какъ... висѣли?

— Повѣшены были на мѣстѣ, доложу вамъ, какъ взятые съ оружіемъ въ рукахъ... А меня арестовали. Чуть бы то же не повѣсили, но передумали, отдали подъ судъ. Судъ приговорилъ: имущество отобрать, самого выслать, какъ подозрительнаго, въ восточную Россію... До ясу, крикнулъ Финкъ. — Прошу пана, до ясу... Сперва за Уралъ, въ Тобольскую губернію, а тамъ и сюда передвинули, въ Нижегородскую, гдѣ вашъ Саровъ — и на этомъ заводѣ, Илѣвскомъ, двадцать лѣтъ по лѣсной части.

Наполеонъ поднялъ голову съ пролежаннаго своего мѣста на диванѣ, насторожился, вскочилъ и залаялъ.

Финкъ подошелъ къ нему, взялъ за длинныя уши, сталъ ласкать.

— Знатный песь, то песь добрый... Финкъ явно былъ взволнованъ. Глѣбъ тоже. Глуховатымъ голосомъ онъ сказалъ:

— Какая жестокость...

И черезъ минуту:

— А когда поляки русскихъ захватывали, они что съ ними дѣлали?

— Тѣго не вѣмъ.

— Все это ужасно... Глѣбъ слегка запинаясь, но говорилъ съ упорствомъ: а все-таки, Александръ Второй былъ замѣчательный... Императоръ... и сдѣлалъ очень много для Россіи.

— Можетъ быть.

Финкъ сталъ покойнѣе, какъ-бы и печальнѣй. Онъ продолжалъ ласкать Наполеона.

— Можетъ быть, что и много. Но не для насъ, поляковъ.

Наполеонъ улыбался, важно подалъ ему лапу.

— Ладный песь, знатный... А моя жизнь, сказать правду, погибла въ эти шестидесятыя годы ни за понюшку табака, какъ по русски говорятъ. Лѣсничимъ вотъ въ этомъ Илѣвѣ, прошу пана, около монастыря вашего знаменитаго, Сарова. Съ медвѣдями, да съ мужиками.

Финкъ замолчалъ. На стѣнѣ, надъ оркестріономъ, польская гусарія преслѣдовала казаковъ. Съ завода, издали, доносился гулъ вагонетокъ, острый звукъ механической пилы, какіе-то лязги, свистки. Глѣбъ чувствовалъ себя неприятно: точно и онъ былъ чѣмъ-то виноватъ, отвѣтственъ, что-ли, за судьбу Болеслава Фердинандовича. Онъ слишкомъ мало зналъ, чтобы спорить, но чувствовалъ, что Финкъ ненавидитъ Россію и все русское, Александра Второго, котораго Глѣбъ съ ранняго дѣтства привыкъ почитать.

Финку тоже было невесело. Онъ пофуживалъ, сопѣлъ, наконецъ, улыбнувшись, подошелъ къ оркестріону, принялся вертѣть ручку.

Глѣбъ недолго у него посидѣлъ. Вышелъ въ настроеніи смутномъ, нервномъ. Домой тоже идти не хотѣлось, день свѣтилъ ровно и солнечно, было тихо, такая чудесная благодать... Онъ пошелъ къ озеру. Тамъ у купальни привязана была лодка. Глѣбъ отвязалъ ее, вскочилъ, взялъ лежавшія на днѣ весла, вставилъ въ уключины, сталъ гребти. Лодка легко пошла. Глѣбъ гребъ на ту сторону, отдаляясь отъ завода, къ лѣсистому и пустынному берегу. Уключины постукивали, концы веселья плескали — нѣжно-серебристыя капли съ нихъ падали. Оборачиваясь къ носу лодки, видѣлъ онъ вдали тотъ обгорѣлый дубъ, у котораго были они съ Калачевымъ въ день тяги. Удивительнымъ свѣтомъ, сіяніемъ майскаго дня все наполнялось. Какъ тихо! Тамъ вдали заводъ и отецъ, и Ганумовъ, и Финкъ — здѣсь иной міръ, дико-прекрасный.

Глѣбъ подплылъ къ песчаному берегу и явленіемъ своимъ спугнулъ ястреба съ верхушки засохшаго дуба — лѣниво-царственно полетѣлъ ястребъ дальше, вглубь, къ Сарову.

Глѣбъ-же вытащилъ лодку сколь могъ на сушу. Самъ легъ подъ дубомъ, недалеко отъ слѣдовъ костра — сизо-выжженнаго мѣста съ кучкою пепла. Сквозь голыя вѣтви дуба, вздымавшіяся какъ сухія кости — низъ-же дерева былъ опаленъ чернымъ атласомъ — въ майской голубизнѣ неба проходили облачка. Глѣбъ смотрѣлъ на нихъ, ни о чемъ не думалъ. Польское возстаніе, казѣнки, судьба Финка, грохотъ, суровое движеніе Имперіи... Изъ лѣса тянуло теплыми мхами, болотцами, иногда протекала струйка сухо-пригрѣтой хвои и сосонника — это сразу, блаженно-сладостно переносило его въ Усты, на погостъ подъ соснами, напоенный этимъ запахомъ. Онъ закрылъ глаза. Слезы выступили у него подъ рѣсницами. Хорошо-бы лежать такъ всегда, безъ времени, дѣлъ и заботъ, въ сіяющемъ полубытіи райскомъ. Глѣбъ не думалъ сейчасъ уже ни объ Александрѣ II, ни о Родинѣ, за которую только что и обидѣлся, ни о Болеславѣ Ферди-

нандовичѣ. Все это отходило, замирало въ глубинѣ, точно тонуло.

Онъ лежалъ такъ тихо, что сталъ частью пейзажа: два куличка, легкимъ, низкимъ полетомъ ревизовавшіе побе-режье, опустились у самой лодки и безбоязненно пробѣжали въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него. Кулички были сѣрые, подрагивали хвостиками, отпечатывали вѣточки по влажному песку. Слѣды эти нѣкоторое время держались, а потомъ стали растекаться.

Къ Калачеву Глѣбъ вполнѣ привыкъ. Пересталъ даже ощущать разницу возрастовъ, точно это былъ его пріятель-отрокъ. Съ Финкомъ-же получалось сложнѣе. За обѣдами у Ганумова Финкъ сидѣлъ молча на дальнемъ концѣ стола, солѣлъ и неопрятно ѣлъ. Въ шуткахъ отца и Ганумова никогда не участвовалъ — несмотря на свой видъ былъ очень самостоятеленъ, почти-что высококомъ-рень.

Когда Глѣбъ заходилъ къ нему, онъ держался вѣжливо и какъ будто покровительственно. Кромѣ Польши ничто для него не существовало. Съ Глѣбомъ онъ охотно разговаривалъ наединѣ и Глѣбъ всегда ощущалъ себя нѣсколько стѣсненнымъ, хотя что-то и возбуждало его въ словахъ Финка.

— Панъ инженеръ (такъ называлъ онъ Калачева) музыкантъ знатный, и когда по утрамъ у меня на оркестріонѣ играе, то прелесть. Но на заводъ не ходитъ. И за женою не смотритъ. А надо бы. Пани хотъ и шкапа, а Аркадія Осипычъ слишкомъ съ ней развѣзжаеъ.

Глѣбъ не особенно обратилъ на это вниманіе. Другое въ разказахъ Финка его заинтересовало больше.

— Комнаты у нея и Аркадія Осипыча рядомъ, но двери нѣтъ. Это только кажется, что нѣтъ. Ловко устроено, мнѣ камердинеръ рассказывалъ: когда никого еще васъ тутъ не было, пріѣзжали изъ Нижняго мастера и такую дверку

устроили потайную, что она и въ ея комнату какъ бы шкафомъ выходить и у пана презуса тоже въ этомъ мѣстѣ шкафъ, а онъ весь отворяется, толкнуть рукой шкафикъ пани шкапы — и онъ тоже на шалнерахъ, заразь въ ея спальнѣ. То придумано бардзо смачно. Хоть и шкапа, а нашего презуса, Гануміанца объѣхала...

— Почему вы называете Ганумова Гануміанцемъ? спросилъ Глѣбъ.

Финкъ засмѣялся, не весьма добродушно.

— Онъ и есть Гануміанць. Только русское окончаніе себѣ приставилъ.

(Финкъ не любилъ русскихъ еще болѣе, чѣмъ армянъ, но все-таки и тѣмъ не спускалъ).

На Глѣба этотъ разговоръ произвелъ смутное впечатлѣніе. Но исторія съ дверью занимала.

На другой день, когда Ганумовъ уѣхалъ, онъ сдѣлалъ даже не совсѣмъ джентльменскій шагъ, тайкомъ заглянулъ въ его кабинетъ.

Дѣйствительно, небольшой шкафъ былъ вдѣланъ въ стѣну... но открывається-ли онъ насквозь? Этого Глѣбъ такъ и не узналъ.

Другое въ финковыхъ разказахъ задѣло его гораздо больше.

— Панъ инжинеръ лайдакъ, говорилъ Болеславъ Фердинандовичъ, и панъ презусъ тоже лайдакъ: и то-бы ничего, а знаютъ-ли они, что на заводѣ о нихъ говорятъ? Х-ха! Они простыхъ людей и не видятъ вовсе. Только съ инжинерами ликеры пьютъ да въ карты играютъ. Я самъ карты люблю, а зачѣмъ-же рабочимъ зароботки задерживать? На Вознесенскомъ заводѣ въ прошломъ мѣсяцѣ и вовсе ничего не выдали — берите, молъ изъ заводского магазина мукой, крупой, саломъ. А денегъ изъ Петербурга не прислали. Такъ и у насъ въ Илѣвѣ поговариваютъ: что-же, сами пьянствуютъ, туды-сюды катаютъ, а наши-же трудовыя денежки задерживаютъ? То, може, все это заводское управленіе деньжонки себѣ забирае?

У Глѣба слегка перехватило горло.

— Директоръ Илѣвскаго завода мой отецъ. Онъ не можетъ никому задерживать деньги. Это неправда.

У Финка мелькнуло въ глазахъ не то смущеніе, не то скрываемое раздраженіе. Онъ поспѣшно отвѣтилъ:

— Я ничего и не говорю про пана директора. И никто о немъ не говоритъ. А насчетъ Вознесенска то сущая правда.

Глѣбъ остался, все-таки, несовсѣмъ доволенъ. Ну еще-бы, посмѣль-бы этотъ старикъ съ опухолью обвинять въ чемъ нибудь его отца! Но Глѣбъ зналъ, что дѣйствительно отецъ ѣздилъ недавно на Вознесенскій заводъ. Пробылъ двое сутокъ, вернулся не въ духъ.

На другой день, за обычнымъ послѣобѣденнымъ валяньемъ на диванѣ, онъ спросилъ объ этомъ Калачева. Тотъ лежалъ на спинѣ, въ полуразстегнутой тужуркѣ, съ мундштукомъ въ зубахъ, и высоко заложивъ ногу за ногу, пускалъ изъ рта кольца дыму. Вниманіе его было тѣмъ занято, чтобы одно текучее, сизо-завивающееся кольцо плыло за другимъ на равныхъ разстояніяхъ и какъ можно дальше уходило не развѣявшись.

— Финкъ? А-а, всегда что-то изъ-подъ полы язвить. Разъ... два... три... четыре...

Глядя на круто завернутое кольцо, безшумно, безтѣлесно утекавшее, Калачевъ какъ дирижеръ отбивалъ въ воздухъ концомъ сапога тактъ, медленно досчиталъ до десяти. Кольцо все плыло.

— Bravo!

Онъ даже вскочилъ.

— Глѣбъ, обратите вниманіе, почти до самаго окна. Десять секундъ!

Калачевъ бросилъ окурокъ въ пепельницу, вставилъ новую папиросу.

— Болеславъ П... Фердинандовичъ... насъ осуждаетъ, я знаю. А самъ, а самъ! Аха-ха... Каждую недѣлю въ Кильдѣево ѣздитъ, тамъ съ подрядчиками и прасолами

въ стуюлку рѣжется. Да чего въ стуюлку, дѣло не въ этомъ.

И Калачевъ разсказаль Глѣбу, какъ нѣсколько лѣтъ назадь Финкъ проиграль три тысячи заводскихъ денегъ и чуть было не повѣсился — вынули изъ петли, Наполеонъ лаемъ спась.

— У него сбереженія были, все ухнуло, да еще вотъ и чужія... Вы понимаете! Но отдышался, а теперь опять копить и опять играетъ.

— Значить, про Вознесенскъ неправда?

Калачевъ попыхиваль уже новой папирсой.

— Разумѣется. Всегда преувеличиваетъ, что насъ касается. Вышла маленькая задержка, больше ничего. Все отлично уладилось.

Въ подтвержденіе-же того, что уладилось, и что вообще все благополучно, Калачевъ пустиль огромное кольцо дыма. Оно плыло съ удивительною гармоніей, почти что съ музыкальною безплотностью и развѣявшись, наконецъ, могло-бы служить для болѣе философическихъ зрителей нѣкимъ обликомъ бренности.

Въ концѣ мая выдался удивительный день, теплый, почти даже душный. Глѣбъ отправился на озеро, въ купальню. Вода, воздухъ показались ему обольстительными, тѣло блестѣло въ брызгахъ, подъ золотомъ солнца. Онъ и плаваль, и лежалъ на доскахъ въ адамовомъ видѣ, и опять прыгалъ въ воду. Все это было отлично. Въ концѣ-же концовъ онъ озябъ, вернулся домой посинѣлый. А ночью боль въ горлѣ, жаръ, все, какъ полагается.

Утромъ онъ встать уже не могъ. Лежалъ наверху, въ своей комнатѣ на хорахъ — отецъ въ Балыковѣ, Ганумову и Людмилѣ не до него. Другъ Калачевъ навѣстиль въ то-же утро, поохаль, сказалъ, что позвонить отцу въ Балыково по телефону, и ушелъ. Кому съ больнымъ весело!

Глѣбъ впалъ въ печальное настроеніе. Вотъ, фхаль къ

отцу за тридевять земель поправляться послѣ зимней болѣзни — а теперь заполучилъ лѣтнюю! Да еще тамъ, въ Калугѣ, на Спасо-Жировкѣ хворалъ у себя дома, при матери, Лизѣ, Соиѣ-Собачкѣ... А тутъ, въ чужомъ мѣстѣ...

Отецъ прѣѣхалъ на другой день къ вечеру — Глѣбъ съ радостью услышалъ колокольчики тройки. Отецъ вошелъ бодрый и мужественный, хотя и обезпокоенный. Глѣбъ, на своемъ диванчикѣ, откуда видны были въ окно лишь верхушки липъ и березъ въ паркѣ, сразу почувствовалъ, что теперь за нимъ сила, свое, родное.

— Что-же это ты, братецъ ты мой, раскись? говорилъ отецъ, ласково его гладилъ по волосамъ, трогалъ лобъ. — Перекупался, говорятъ?

Глѣбъ смотрѣлъ на него почти виноватыми глазами.

— Да я, знаешь... я, конечно, купался. День былъ ужъ очень хорошей...

Онъ взялъ горячей, отроческой рукой знакомую, въ мелкихъ веснушкахъ, въ лабораторіи Горнаго Института нѣкогда обожженную руку отца — хотѣлось прижаться къ ней, поцѣловать... — онъ нѣчто въ этомъ родѣ и сдѣлалъ, робко и неловко, и вдругъ испыталъ новое, остропронзающее чувство — слѣзъ... Онъ закрылъ глаза, постарался отвернуться. Отецъ еще ласковѣй обнялъ, тоже смущенно забормоталъ: «Ну вотъ, ну вотъ, что-же это ты расхворался у меня, гимназіастъ... Поправляться надо, силъ набираться, а онъ хвораеть».

Глѣбъ сдѣлалъ огромное усиліе, чтобы не заплакать (это былъ бы уже позоръ!). Крѣпко сжалъ отцу руку.

— Знаешь, когда я выздоровѣю... надо ужъ домой.. въ Калугу.

Отецъ сѣлъ рядомъ въ креслецо, задумался.

— Тебѣ здѣсь надоѣло?

Глѣбъ чувствовалъ себя очень слабымъ и несчастнымъ.

— Я... хочу... домой.

1 Отецъ поднялся. Подошелъ къ двери, закурилъ, вы-

пуская дымъ на хоры. Такъ онъ стоялъ, какъ-то странно курилъ.

— Да, видимо, братецъ ты мой, пора намъ отсюда... Пора.

Глѣбъ не совсѣмъ понялъ, что хотѣлъ этимъ сказать отецъ, но осталось ощущение, что они съ нимъ свои, неудивительно, что одинаково чувствуютъ.

Эти дни отецъ пробылъ въ Илѣвѣ. Заводскій докторъ мазалъ Глѣбу горло, какъ въ Калугѣ Красавецъ, давалъ полосканья, держалъ въ компрессѣ — жаръ сталъ спадать. Наступила та ровно-унылая полоса болѣзни, которой Глѣбъ и боялся: немножко кашель, немножко жаръ, слабость... — бронхитъ, съ одной кушетки переѣзжаетъ онъ на другую, но силъ для настоящей жизни нѣтъ.

Отецъ не совсѣмъ былъ покоенъ, Глѣбъ это замѣчалъ. Зашелъ, наконецъ, навѣстить его и Ганумовъ. Сидѣлъ разставивъ ноги, курилъ сигару, отъ которой Глѣбъ закашлялся, рассказалъ неподходящій анекдотъ. Отецъ послѣ его ухода сказалъ: «Какое брехло».

Въ другой разъ, въ полуоткрытую на хоры дверь Глѣбъ слышалъ громкіе голоса снизу — Ганумова и отца. Что говорилось, разобрать было нельзя, но видимо что спорять, сердятся. Потомъ все сразу смолкло, по лѣстницѣ шаги отца. Глѣбъ, слабый и подавленный, лежалъ на диванчикѣ, читалъ «Борьбу за Римъ».

Отецъ вошелъ слегка насвистывая, но лицо его было разстроенное — Глѣбъ это сразу почувствовалъ.

— Ну вотъ, все читаешь, читаешь...

Онъ подсѣлъ, взялъ толстую книгу.

— Романъ... Фантазіи разныя.

— Это вѣдь историческій, сказалъ Глѣбъ робко. — Очень интересно. Тутъ про Италію, Римъ. Знаешь, завоеваніе Италіи готами, а потомъ византійцами.

Глѣбъ произнесъ это такимъ тономъ, будто въ Илѣвѣ отцу эти событія такъ-же близки, какъ ему самому.

Отецъ фукнулъ.

— Вотъ именно. Готами! Это для меня необходимо знать. Историческій... Свою бы намъ исторію знать, русскую. Да, ну читай, коли интересно, но это все далеко отъ жизни, тебѣ вѣдь не въ Римѣ жить, а на какомъ-нибудь такомъ заводѣ...

Отецъ вынулъ папиросу, не безъ нервности ее закурилъ.

— Имѣть дѣло съ такими болтунами петербургскими... Это никакой не Римъ. И хуже всего — ферты, хлыщи... А ничего не подѣлаешь, въ Вознесенскъ надо ѣхать, ты ужъ, братецъ ты мой, не взыщи, продолжалъ отецъ вдругъ мягче: опять тебѣ придется одному побыть.

Глѣбъ вздохнулъ.

— Ты надолго?

— Нѣтъ... ну, все-таки, денька на два... Тамъ дѣло есть.

Къ концу недѣли онъ дѣйствительно уѣхалъ. Глѣбъ остался одинъ со своей болѣзью. Болѣзнь, правда, оказалась не такъ упорна, какъ зимой въ Калугѣ: онъ всталъ уже черезъ два дня, и бродилъ, и спускался внизъ. Но все казалось чужимъ, даже Калачевъ раздражалъ — Глѣбъ лучше чувствовалъ себя наверху на диванчикѣ съ «Борьбою за Римъ».

Скромному писателю германскому Феликсу Дану да будетъ легка земля за питаніе отрока русскаго въ глуши, въ печали! Немудрящъ романъ, но впервые открылись изъ него Глѣбу Римъ и Равенна, Неаполь, романтическіе короли готовъ, демоническій защитникъ Рима Цетегусъ.

Осаждаютъ замокъ св. Ангела и уже готы карабкаются на послѣднюю балюстраду защиты, но «по мраморнымъ плитамъ загремѣли желѣзные шаги». Римъ еще не сдается. «То подоспѣлъ, вскачъ, съ Эсквилинскаго холма со своими всадниками Корнелій Цетегусъ» — и на варваровъ летятъ античныя статуи, украшавшія Замокъ, а Глѣбъ въ полу-азіатскомъ Илевѣ блаженно холодѣетъ отъ волненія, встаетъ, прохаживается, вновь беретъ книгу.

Или вотъ — близокъ конецъ. Византійцы хитраго Нарзеса одолѣли и тѣхъ, и другихъ. Готы заперты въ ущельѣ у Везувія, римлянъ почти не осталось. Цетегусъ, въ полномъ вооруженіи, шествуетъ берегомъ моря. Мечта спасти Римъ погибла. Впереди лишь смерть. И «у ногъ его, ласковыя и нѣжныя, ложились лазурныя волны Тирренскаго моря, осень дышала неизъяснимою прелестью залива Бай» — Глѣбъ въ «сладостной меланхоліи шелъ за нимъ — въ первый разъ по священной землѣ Италіи. А далѣе — видѣлъ послѣднюю, безнадежную битву съ византійцами, гдѣ готы погибали не сдаваясь и, «запахнувшись въ свой римскій плащъ», бросался въ кратеръ Везувія Корнелій Цетегусъ.

Такъ закончилъ Глѣбъ милую для него «Борьбу за Римъ», а отецъ все не возвращался. Вечеромъ зашелъ къ нему Калачевъ.

— Завтра утромъ навѣрно вернется. Ахъ, какъ мнѣ надоѣло тутъ... Фу! Если-бъ знали! Однѣ непріятности.

Калачевъ, правда, имѣлъ видъ нѣсколько растерянный. Онъ посидѣлъ, повертѣлся, взялъ книжку «Борьба за Римъ».

— На ночь, что-ли, почитать...

На другой день Глѣбъ былъ удивленъ посѣщеніемъ Финка. Болеславъ Фердинандовичъ не такъ легко и поднялся наверхъ — крупная его фигура съ сѣдой головой, опухолью на шеѣ, въ поношенномъ сюртукѣ заполнила всю дверь. Онъ довольно тяжело дышалъ, опирался рукой на палку.

— Нѣту еще пана директора. — Ничего, все обойдется, заразъ сюда прїѣдетъ.

У Глѣба забилося сердце.

— Почему папы такъ долго нѣтъ?

— Спокойнѣе, пане Глѣбе, зачѣмъ-же вамъ волноваться? Пана директора никто тронуть не можетъ, онъ тутъ не при чемъ...

Глѣбъ поблѣднѣлъ, поднялся съ диванчика.

— Почему-же папу можетъ кто-нибудь трогать?

Финкъ сидѣлъ теперь въ креслѣ, опираясь обѣими руками на палку, поставленную между ногъ. Наполеонъ вертѣлся около него.

— Никто и не тронетъ, говорю вамъ за вѣрное, какъ за то, что я Болеславъ Финкъ. Изъ конторы съ Вознесенскомъ по телефону говорили, тамъ все успокаивается.

— А... что-же было?

И только сейчасъ, впервые отъ Финка узнавъ Глѣбъ, что именно въ Вознесенскѣ-то и было «неблагополучно» — опять задержали выдачу, рабочіе бросили мастерскія — затѣмъ и послалъ туда Ганумовъ отца, выворачивать...

Финкъ слегка нагнулся къ Глѣбу, негромко сказалъ:

— Гануміанецъ побоялся самъ поѣхать, со своею шкапой все здѣсь водится, а панъ директоръ отдувается...

Глѣбъ совсѣмъ разволновался. Отъ него скрываютъ, отца послали Богъ знаетъ куда, съ опаснымъ порученіемъ... А вдругъ тамъ съ нимъ что-нибудь рабочіе сдѣлаютъ?

— Болеславъ Фердинандовичъ... вамъ кто сказалъ... какъ сказалъ про папу... Что онъ тамъ сейчасъ дѣлаетъ?

Финкъ старался его увѣрить, что все налаживается, опасности нѣтъ, но руки Глѣба были ледяныя, ему мерещился уже отецъ, одинъ средь бунта, въ страшной толпѣ...

Финкъ посидѣлъ недолго, его позвали снизу. Если онъ полагалъ, что успокоить Глѣба, то вышло какъ разъ наоборотъ. Пометавшись по своей комнаткѣ, Глѣбъ основательнѣй застегнулъ курточку, поправилъ поясъ, волосы, и, несмотря на нѣкоторую слабость, довольно живо сбѣжалъ внизъ. Друга Калачева нигдѣ не было. Глѣбъ замѣтилъ у подъѣзда подводу. На ней лежали два огромныхъ чехомдана свиной кожи. Черезъ залу здоровенные носильщики тащили сундукъ съ пестрыми наклейками: Monte Carlo, Cannes, Wiesbaden. Подъ окнами пробѣжала Людмила въ свѣтлой кофточкѣ. Видъ у нея былъ озабочен-

ный. «У кого-же спросить?..» Никого нѣтъ, Глѣба это разстраивало. Хотѣлось куда-то идти, узнать объ отцѣ, успокоиться. Въ этомъ томленіи онъ забрелъ, черезъ полуоткрытую дверь, въ кабинетъ Ганумова. Тутъ тоже стоялъ доверху уложенный сундукъ, еще не запертый, валялись вещи, на столѣ куча книгъ. Глѣбъ бездумно подошелъ, сталъ ихъ перебирать. Тотчасъ попалась «Борьба за Римъ», видимо, затащишь Калачевъ. Вдругъ звонокъ телефона на столѣ — тоненькимъ звончкомъ девяностыхъ годовъ. Глѣбъ не зналъ, какъ поступить, позвать-ли кого, снять-ли трубку и отвѣтить. Телефонъ смолкъ, а потомъ вновь пустилъ свою трель — тутъ произошло нѣчто странное: дверь шкафа въ стѣнѣ отворилась, оттуда какъ нѣкій Щелкунчикъ выпрыгнулъ головастый на тонкихъ ножкахъ Ганумовъ. Онъ бросился къ телефону. Увидѣвъ Глѣба, вспыхнулъ.

— Вы зачѣмъ здѣсь? Что вы тутъ роетесь въ моихъ книгахъ? Нѣтъ, нѣтъ, покорнѣйше прошу...

Въ отверстіе шкафа видна была другая комната. Тамъ укладывалась Людмила.

— Я... тутъ моя книга... — Глѣбъ съ ужасомъ чувствовалъ, что не такъ что-то говорить, но ничего больше не смогъ изъ себя выдать. Треугольная голова Ганумова припала къ телефонной трубкѣ, лысина свѣтила на Глѣба, онъ съ ненавистью смотрѣлъ на эту лысину, на узкіе сѣренькіе брючки Ганумова, элегантный пиджачекъ.

— Я хочу знать, наконецъ твердо, но съ мученіемъ произнесъ Глѣбъ: гдѣ мой папа?

Ганумовъ сердито замахалъ на него рукой.

— Не мѣшайте! Успѣете со своимъ папой... Это какъ разъ Вознесенскъ. Ну вотъ, ну вотъ, можете успокоиться. Это онъ и есть. А? Да? Выѣзжаете? Отлично. А то вашъ наслѣдникъ тревожится, залѣзъ даже ко мнѣ въ кабинетъ. А? Плохо слышно. Нѣтъ, ничего. Въ порядкѣ. Вы насъ съ Людмилой еще застанете. Да? Съ нимъ погово-

рить? Извольте. Передаю трубку отпрыску, который нынче не въ духѣ...

Въ шкафу-двери показалась Людмила.

— Аркадій Осипычъ, эти двѣ блузки я вамъ въ сундукъ подбрасываю, въ моемъ не умѣщается...

Щелкунчикъ замахалъ на неѣ руками. Увидѣвъ Глѣба, она смутилась, бросила на диванъ блузки, скрылась. А Глѣбъ прильнулъ къ трубкѣ и въ неясномъ бормотаніи ея все-же узналъ голосъ отца. Да, все уладилось. Въ Вознесенскѣ спокойно, у подъѣзда тройка, черезъ два-три часа онъ въ Илѣвѣ.

Ганумовъ нервно ходилъ по кабинету. Когда Глѣбъ положилъ трубку, онъ вновь обратился къ нему — теперь нѣсколько мягче.

— Мнѣ о вашемъ отцѣ всѣ уши прожужжали — что съ нимъ, да какъ онъ... будто я виноватъ! Онъ инженеръ, у насъ служить, его обязанность — улаживать всякія тамъ... недоразумѣнія. У васъ-же такой надутый видъ, вы сердитесь, молодой человѣкъ... ахъ, ну я такъ сказалъ, это пустяки, разумѣется, но не люблю, чтобы у меня въ комнатѣ рылись въ книгахъ.

— Я не... рылся. Я просто беру назадъ мою-же собственную книгу.

— Вашу книгу! Какъ она сюда попала? Ну ладно, ладно, миръ!

Подойдя къ Глѣбу, онъ полу-развязно, полу-благодарно обнялъ его.

.....

Три часа до пріѣзда отца Глѣбъ провелъ въ одиночествѣ, у себя наверху. «Борьба за Римъ» лежала на столѣ. Снизу слышны были голоса, опять тащили черезъ залу что-то тяжелое, потомъ заскрипѣла подвода. Глѣбъ вставалъ, прислушивался, выглядывалъ въ окно.

Какъ хотѣлось бы, чтобы отецъ поскорѣе пріѣхалъ! Онъ полонъ былъ безпокойства, смущенія, тягостно-не-

ясный оттѣнокъ господствовалъ надъ его душой. Правильно-ли онъ держалъ себя съ Ганумовымъ? Можетъ быть, надо было покрѣпче? Вѣдь тотъ крикнулъ такъ грубо... правда, потомъ почти извинялся. Ахъ, все это неестественно, фальшь...

Въ томленіи своемъ Глѣбъ не выдержалъ, и предъ вечерней зарей сошелъ внизъ въ паркъ. Его радостно поразило свѣжій, такой нѣжно-благоуханный лѣтній воздухъ. Пахло и лѣсомъ, и влагой, и немножко тянуло скошеннымъ на лужайкѣ сѣномъ. Необыкновеннымъ, недосыгаемо-прекраснымъ показалось розовѣвшее къ закату небо. Глѣбъ пошелъ въ сторону домика Финка, въ смутномъ, но волнующемъ утѣшеніи. Вечерній дроздъ утѣшалъ его, вечернее благоуханіе, эта неизреченная прелесть неба.

Встрѣтился Финкъ. Онъ былъ въ пальто и шляпѣ. Шель торопливо. Наполеонъ какъ бѣшенный кругомъ носился.

— А я въ Кильдѣво...

— Играть будете?

Финкъ взглянулъ на него не совсѣмъ дружелюбно — откуда, молъ, извѣстно?

— А не вѣчно въ этой дырѣ киснуть, доложу я вамъ.

Если-бы Глѣбъ зналъ, что въ Кильдѣвѣ остановился на нѣсколько дней богатый подрядчикъ, что къ ярмаркѣ съѣхались купцы, прасолы и игра будетъ крупная, онъ бы понялъ, почему Финкъ такъ оживленъ.

Солнце садилось, когда издали онъ услышалъ колокольчики — это отецъ, о чемъ говорить. Тройка въ мылѣ остановилась у подъѣзда (Глѣбъ едва успѣлъ добѣжать), отецъ, похудѣвшій и усталый вылѣзалъ изъ тарваса въ дорожномъ пыльникѣ — это былъ онъ, живой, настоящій отецъ.

— Ну вотъ, ну вотъ...

Онъ прямо поднялся къ себѣ наверхъ, тамъ переодѣвался, мылся, фыркалъ отдуваясь, плюясь — и рассказывалъ.

— Паршивое, братецъ ты мой, было положеніе... Я ужъ тебя не хотѣлъ тревожить. Въ конторѣ сидѣлъ какъ въ осады. Толпа кругомъ... Эти то, которые около меня были, выбранные отъ рабочихъ, ничего... А тамъ издали все напирали.

Глѣбъ съ волненіемъ, ужасомъ слушалъ рассказъ отца, какъ ждали отвѣта на телеграмму въ Петербургъ, какъ бросали снаружи иногда камнями въ окна, въ одномъ мѣстѣ высадили раму...

— Папа, уѣдемъ отсюда...

Глѣбъ говорилъ почти умоляюще.

— Тутъ нехорошо.

— Провожу нынче хозяина, а тамъ и мы съ тобой тронемся. Мнѣ надо въ Нижній по дѣламъ, а тебѣ пора на твою Спасо-Жировку.

Глѣбъ рассказалъ отцу про Ганумова, про «Борьбу за Римъ» и неприятный случай — тотъ только рукой махнулъ:

— Обращать на него вниманіе!

Это Глѣба сильно утѣшило. Значитъ, онъ не сдѣлалъ ничего предосудительнаго — достоинства своего не уронилъ.

На другой день Ганумовъ съ Людмилою укатили. Ганумовъ помахивалъ на прощаніе ручкой — отцу, Глѣбу, Калачеву. Калачевъ нѣсколько вспотѣлъ. Онъ непрерывно курилъ и вся полуразстегнутая его тужурка была засыпана пепломъ отъ мундштучной папиросы.

— Людмилочка отправилась въ Петербургъ, говорилъ онъ Глѣбу, полуобнявъ его и разгуливая по залѣ: Аркадій Осиповичъ устраиваетъ ее на сцену... любительскую, а тамъ видно будетъ. Я-же пока здѣсь... — онъ прижалъ къ себѣ Глѣба и бѣлыми, умоляющими глазами посмотрѣлъ на него. — Я временно остаюсь здѣсь, Глѣбъ, главнымъ представителемъ Правленія... но и меня Аркадій Осиповичъ устраиваетъ въ Петербургъ, при Совѣтѣ Съѣздовъ Горнопромышленниковъ... Людмилочка должна при-

смотрѣть намъ квартиру, гдѣ-нибудь на Сергіевской или Фурштадтской. Это аристократическія улицы. А-а, Петербургъ...

Неизмѣнно поколыхивая широкимъ задомъ, сталъ онъ рассказывать, какъ по улицамъ этимъ проносятся придворныя кареты. На спектакли Михайловскаго тетра собирается знать, а въ ресторанахъ «Медвѣдь» кутятъ гвардейскіе офицеры.

.....

Та самая сила, что чрезъ одни лѣса и рѣки и поля влекла Глѣба сюда, теперь инымъ путемъ и удаляла.

Тройка, на которой онъ съ отцомъ выѣзжалъ въ ганумовской коляскѣ изъ Илѣва, шагомъ шла по плотинѣ. А тамъ свернула въ лѣсъ, мимо того обгорѣлаго дуба, который хорошо зналъ уже Глѣбъ — по дорогѣ къ Сарову. Кучеръ пустилъ лошадей рысцей. Илѣвъ быстро кануль въ былое. Глѣбъ не очень о немъ и думалъ, мелко-лѣсье, мхи да пески окружили, завели медленное свое круговращеніе вокругъ коляски.

— Жаль, сказалъ Глѣбъ, что мы на Балыково не поѣдемъ.

Отецъ мирно курилъ, мирно смотрѣлъ равно-ли идутъ лошади, хорошо-ли берутъ пристяжныя, не засѣкаются-ли. По его отдохнувшему, спокойному лицу было видно, что онъ наконецъ въ своемъ мірѣ — лѣсовъ, природы, лошадей.

— Балыковскій заводъ въ сторонѣ, верстъ пять лишнихъ пришлось-бы сдѣлать.

Глѣбъ зналъ, что это новое мѣсто, тамъ строятъ домну и туда, тоже въ ново-строящейся домъ переѣдетъ къ осени отецъ. Тамъ будетъ жить мать и туда придется приѣзжать на каникулы.

— А черезъ Саровъ поѣдемъ?

— Въ самый монастырь не попадемъ. Но лѣса ихніе увидишь.

Путь лежалъ на уѣздный городокъ Темниковъ, а тамъ по Окѣ на Нижній. Пароходъ проходилъ около двухъ ночи, такъ что поторапливались — одна тройка ждала подставой въ селѣ близъ Сарова, другая въ Темниковѣ.

Саровскіе лѣса велики, знамениты. Сорокъ тысячъ десятинъ мачтовой сосны и ели, прорѣзаетъ ихъ рѣка Сатисъ, темноводная, глубоководная. Сколько рыбы, звѣрья! Но охотиться въ лѣсу нельзя, онъ подъ охраною Преподобнаго. Медвѣдь російскій предъ Святымъ склоняется. Таинственный старичекъ, сутулый, маленькій, несущій на спинѣ вязанку дровъ, братски даетъ ему хлѣбушка: по всей Руси прошелся Преподобный Серафимъ съ медвѣдемъ въ тысячахъ лубочныхъ воспроизведеній.

Уже смеркалось, когда Глѣбъ съ отцомъ вступили въ область Преподобнаго, со стороны Ардатовской дороги. Дѣйствительно, все сразу измѣнилось. Боръ, сумракъ, смоляной духъ, тишина. Лошади пошли шагомъ — корни сосенъ столѣтнихъ протягивали кое-гдѣ подъ дорогою свои узлы: коляску слегка покачивало.

— У нихъ тутъ, правда, и медвѣди есть, сказалъ отецъ. — Барсуки, лисы. Охота богатѣйшая. Глухарей однихъ сколько. Но это, братецъ ты мой, намъ съ тобой заказано. Въ пяти верстахъ жить будемъ да облизываться. Охотиться никому не позволяютъ. Хоть бч великій князь пріѣхалъ — не положено.

Кое-гдѣ кучеръ трогалъ рысцою.

Становилось темнѣе. Тянуло въ верхушкахъ гуломъ почти музыкальнымъ. Сосны медленно проходили, какъ на тихомъ парадѣ великаны. Гигантскій муравейникъ, пень, ель лежащая съ вывернутымъ корнемъ — выгребла изъ глубинъ рваные клочья земли, мелкую сѣтку корешковъ. А если полоса сплошныхъ елей, то сразу темно, и такъ мертвенно-сухо засыпано по землѣ иглами — ни травки, ни цвѣтка!

Глѣбу было довольно жутко. Правда, рядомъ отецъ, теперь лицо его видно лишь въ краснѣющемъ отсвѣтѣ

папироски. Глѣбъ какъ охотникъ зналъ жизнь медвѣдей, не очень-то разгуливающихъ по большимъ дорогамъ — все-таки... вдругъ да выглянетъ изъ-за сосны. Можетъ быть, и разбойники гдѣ-нибудь спрячутся. И во всякомъ случаѣ, смутно-таинственное и почти грозное было въ темнѣющемъ бору.

— Вотъ отъ этого поворота до монастыря версты полторы, сказалъ отецъ. — А намъ на Темниковъ направо.

Весьма вѣроятно, что именно въ этихъ мѣстахъ и встрѣтили-бы они шестьдесятъ лѣтъ назадъ сгорбленнаго старичка съ вязанкою дровъ, съ милымъ медвѣдемъ спутникомъ... — и не узнали бы его. Какъ и теперь, хоть и молчали всѣ, въ задумчивости, все-же не понимали, по какимъ мѣстамъ Родины ѣдутъ.

Ѣхали долго. Лѣсъ, тѣма, скоро ставшая почти непроглядной; утомили Глѣба, онъ пристраивался то къ углу коляски, то къ плечу отца. Въ головѣ путаница, слепалось, на толчкахъ вспыхивала мгновенная искра изъ батарейки, что-то связывала, а тамъ снова хаосъ. Въ немъ тонулъ и Саровъ, и отецъ, и лѣсъ, лошади.

Глѣбъ очнулся, когда тройка шла ровно, спокойною рысью, въ пустынномъ полѣ. Надъ головой увидалъ онъ звѣзды, впереди огоньки.

— Темниковъ, сказалъ кучеръ.

Отецъ наклонился къ Глѣбу, усы его пощекотали ему шеку.

— Ну что, проснулся гимназіастъ?

Глѣбъ несовсѣмъ довольнымъ тономъ отвѣтилъ:

— Можетъ быть, я немножко задремалъ сейчасъ... но все слышалъ.

— То-то вотъ и можетъ быть. Два часа ужъ изъ саровскаго лѣса выѣхали.

Такъ задернула ночь отъ Глѣба Саровъ и Илѣвъ — точно Илѣва и вовсе не было. Глѣбъ о немъ и не думалъ. Калачевъ-же въ Илѣвѣ все-таки существовалъ, и какъ разъ находился теперь одинъ, въ большомъ домѣ, выпи-

валь, а поболтать не съ кѣмъ: даже Финкъ уѣхалъ опять пытаться счастье въ Кильдѣево.

Въ Темниковѣ перепрягали лошадей, отецъ съ Глѣбомъ выпили по стакану чаю и опять началась ночь, коляска, темнота, опять Глѣбъ заснулъ мертво-отроческимъ сномъ, съ болтающейся на толчкахъ головой и въ предутренній часъ докатились они изъ тамбовскихъ стелей къ той-же Окѣ, что сопровождала Глѣбовъ путь съ дѣтства.

Трудно было Глѣбу понять, что это Ока. Умирая отъ жажды сна, онъ сидѣлъ съ отцомъ на захоластной пристани, подъ несчастнымъ фонарикомъ. Впереди что-то темное и безконечное. Пахнетъ рѣкой, вода поплѣскиваетъ. Но главное мракъ, мракъ... Сонъ, сонъ.

Появились огни на водѣ, весь свѣтящійся, Глѣбу показавшійся огромнымъ подошелъ пароходъ, «полу-волжскій», это ужъ не «Дмитрій Донской» Будаковъ. Блаженно перебрались въ мѣръ новый — изящества, тепла, свѣта, элегантнои рубки, отдѣльныхъ каютъ перваго класса.

Пароходъ въ мягкомъ подрагиваніи понесъ по Окѣ вытянувшіяся на диванахъ подобія отца и Глѣба—утромъ имъ предстояло ожить и вернуться въ мѣръ. И какъ разъ въ часы ихъ отсутствія шла въ Кильдѣевѣ карточная игра. Финкъ на этотъ разъ взялъ съ собой всѣ свои сбереженія.

Когда отецъ съ Глѣбомъ проснулись, былъ ужъ дождливый, сумрачный день. Подходили къ Нижнему Новгороду. Ока кончалась, и была сколь многоводнѣе, шире, чѣмъ подъ Калугою у Будаковъ. Чуть что не Волга!

Въ сѣрости мелкой мокрети особенно зеленѣли дубравные холмы съ красными срѣзами-обрывами, гдѣ проступали слои сланцевъ, глинистые размывы. Все текло, мокло. Кое-гдѣ посѣвы на поляхъ — посвѣтѣвшіе уже ржи, яркозеленый овесъ.

Показался и Нижній — Заволжье и Волга, лѣсъ и степь, Россія и Азія. Глѣбъ въ волненіи видѣлъ какія-то башни по горѣ, зубчатую древнюю стѣну, внизъ сбѣгающую, церкви, Кремль — надъ слияніемъ Волги и Оки знаменитый городъ. Финку, можетъ быть, не такъ ужъ онъ былъ пріятель — въ свое время выручилъ Нижній Россію... Но Финкъ не могъ сейчасъ ничего ни сказать, ни почувствовать. Проигравшись ночью до послѣдней трехрублевки, онъ вернулся на зарѣ въ Илѣвъ, легъ у себя на диванъ и болѣе ужъ не вставалъ. У его смертнаго ложа выдъ Наполеонъ.

Бор. Зайцевъ.

О ш и б к а

Василій Васильевичъ въ теченіе цѣлаго часа ходилъ по квартирѣ, заглядывая подъ столы и диваны, зажигалъ всюду электричество — въ городѣ уже наступили медленныя сумерки — но всѣ поиски его оставались безрезультатными. Онъ много разъ обошелъ всѣ комнаты, обшарилъ диваны и кресла, залѣзалъ рукой въ мягкія пространства, наполненныя бархатомъ и пылью, въ которыхъ нашель обрывки бумажекъ, англійскія булавки и пропавшаго изъ колоды картъ короля пикъ, но того, что онъ искалъ, не было нигдѣ. Неутомимо онъ снова принимался за поиски; онъ собирался уже влѣзть на буфетъ, подставивъ къ нему кресло, какъ вдругъ неожиданно замѣтилъ, что изъ-подъ тяжелой молочно-бѣлой вазы, стоявшей на маленькомъ столикѣ, выглядываетъ уголь его черной тетрадки. Онъ потянулъ ее къ себѣ, столикъ пошатнулся, но тетрадка не сдвинулась; онъ дернулъ сильнѣе и тогда, смѣшно накренившись на бокъ, столикъ упалъ вмѣстѣ съ вазой, она звонко ударилась о паркетъ и разбилась на маленькіе бѣлые куски, быстро раскатившіеся по полу. Василій Васильевичъ стоялъ, затаивъ дыханіе и прислушиваясь къ тишинѣ, особенно удивительной послѣ звонкаго грохота. Почти совсѣмъ стемнѣло, синій диванъ казался чернымъ, смутно желтѣлъ циферблатъ часовъ, тускло сверкала дискъ хвостатаго маятника, за окномъ неподвижно, какъ на картинкѣ, росли темныя деревья; потомъ, черезъ нѣсколько секундъ, на улицѣ зажглись фонари и тогда блѣдное ихъ сіяніе проникло въ квартиру и освѣтило лежавшій на полу столикъ, осколки бѣлаго стек-

ла и самого Василя Васильевича съ, наконецъ, найденной тетрадкой въ рукѣ; на Василя Васильевичѣ были длинные штаны и матросская куртка. Онъ стоялъ, какъ зачарованный, открывъ большіе синіе глаза и глядя на неподвижную бѣлую розсыпь на полу. Казалось, что прошло очень много времени, до той минуты, пока послышались неторопливые шаги, зажглось электричество и голосъ съ порога сказалъ:

— Что ты разбилъ, Василій Васильевичъ?

И только тогда Василій Васильевичъ заплакалъ, закрывъ лицо руками и понявъ всю непоправимость того, что онъ сдѣлалъ.

— Но зачѣмъ же ты ее трогалъ?

И Василій Васильевичъ, всхлиывая и отъ отчаянія говоря невнятно, объяснилъ, что онъ искалъ тетрадку, въ которой отецъ ему сегодня утромъ нарисовалъ замѣчательнаго чертика, что тетрадка оказалась подъ вазой, что онъ ее потянулъ, и тогда ваза случайно упала.

— Ну, хорошо, — сказала ему мать. — Теперь помоги мнѣ собрать осколки, только смотри не порѣжися.

— А они острые? — спросилъ Василій Васильевичъ.

— Очень острые.

— А ваза была не острая.

— А Василій Васильевичъ былъ очень глупый мальчикъ.

— Неправда, — сказалъ Василій Васильевичъ.

Сначала было только кресло, съ твердымъ и упругимъ сидѣніемъ, потомъ мелькнуло лицо кинематографической красавицы, потомъ вспомнился вкусъ воды въ купальнѣ, потомъ маринованная рыба, которую вчера приготовила Наташа, затѣмъ двѣ строки изъ давняго письма — «Вамъ я вѣрю всегда, и безгранично, и я надѣюсь, что пока я живъ, нѣтъ вещей, которыя могли бы поколебать эту увѣренность»; но эти строки уже имѣли отношеніе къ то-

му, о чемъ совсѣмъ не слѣдовало думать и что въ сущности почти не существовало; надо было думать о другомъ, напримѣръ, объ итальянской выставкѣ, объ искусствѣ, о скульптурѣ; но всѣ эти мысли не имѣли сейчасъ ни обычной убѣдительности, ни обычнаго содержанія; онѣ не уходили, но не поглощали вниманія, онѣ становились утомительными и бесплодными, какъ давно въ гимназій заданный и обязательный урокъ. И это усиліе — не думать о томъ, что почти не существовало — напоминало физическое напряженіе, доходящее уже до конца — когда болятъ мускулы и стучить въ вискахъ, и хочется остановиться и бросить все. И главное, все было напрасно и ненужно, потому что вся жизнь до сихъ поръ была счастлива, удачна и правильна, какъ классическое построеніе отвлеченной схемы, непогрѣшимое въ своемъ исполненіи. Она заключала въ себѣ — вплоть до послѣдняго времени — длинную смѣну ощущеній, воспоминаній, волненій, изъ которыхъ каждое было продолженіемъ того самаго счастливаго начала, которое затерялось во времени и осталось гдѣ-то далеко позади, можетъ быть, въ дѣтствѣ, на берегу моря. Оно усложнялось, обогащалось, становилось со временемъ все глубже и все, казалось бы, несомнѣннѣе, — и внѣ этого существовалъ лишь внѣшній незначительный міръ, почти нереальный и безсильный надъ тѣмъ, что составляло самую сущность жизни. Только лѣтъ восемь тому назадъ возникло и исчезло сомнѣніе, чувство необъяснимой, случайной пустоты — точно все-таки чего-то не хватало, — но потомъ появился Ваасилій Васильевичъ и тогда стало несомнѣннѣе, чѣмъ когда-бы то ни было, что все разрѣшено разъ навсегда самымъ лучшимъ и самымъ пріятнымъ образомъ. Дни и недѣли, особенно запомнившіеся за это время, отличались свѣжимъ и сильнымъ воспріятіемъ всего, что происходило вокругъ, до мельчайшихъ и незначительныхъ подробностей — и сознаніемъ того, что гибкая возможность понять какъ можно больше вещей и ощущеній почти безгранична. И когда это оста-

навливалось, то уже достигнутыя состоянія счастья были неизмѣнны, какъ все теперь въ этой квартирѣ, гдѣ тишина и сумракъ. Было дѣйствительно очень тихо и сумрачно, и неподвижно, и все, казалось, въ эти минуты, уже вернулось къ классической схемѣ, обогащенной еще однимъ днемъ, еще однимъ усиленіемъ воображенія въ тишинѣ, — какъ вдругъ, рѣзко неожиданно, съ неслышанной, отчаянной звонкостью сорвался и прокатился по квартирѣ шумъ разбитаго стекла.

Василій Васильевичъ давно уже спалъ, открывъ наполовину ротъ и подвернувъ маленькую скрюченную руку подъ голову, давно ушла Наташа, кресло смѣнилось диваномъ, у изголовья котораго горѣла лампа съ зеленымъ абажуромъ; осколки стекла были собраны и выброшены, все остальное было рѣшено и установлено; но оставалось все-таки найти во всѣхъ этихъ привычныхъ и милыхъ вещахъ, изъ которыхъ состояла жизнь, то мѣсто, которое оказалось незащищеннымъ, тотъ *point de départ*, послѣ котораго иногда вещи пріобрѣтали иное значеніе и теряли свою прежнюю форму. Гдѣ, когда, почему это могло случиться? Въ ранней юности были дурныя желанія, нѣсколько нехорошихъ поцѣлуевъ, но это объяснялось возрастомъ, а не испорченностью или отсутствіемъ точнаго представленія о томъ, что хорошо и что дурно. Потомъ была любовь и бракъ, и холодный взглядъ матери, ненавидѣвшей всѣхъ счастливыхъ людей на свѣтѣ и благословеніе иконой, древней, какъ міръ, и настолько почернѣвшей, что нельзя уже было разобрать, который святой былъ на ней нарисованъ; чернѣло только едва различаемое лицо, съ небольшими строгими глазами, да желтѣль ободокъ вокругъ головы, но все это имѣло очень условное и символическое значеніе и никто — ни благословляшіе ни благословляемые — даже не смотрѣлъ на икону, которую по окончаніи церемоніи поставили на прежнее

мѣсто, заслонивъ ее высохшей, побурѣвшей отъ времени зеленою. Еще до этого была Россія, свѣтлая квартира съ громадными окнами, гимназія, уроки языковъ, — все какъ у людей, — съ презрѣніемъ говорила мать, которая всю жизнь ждала либо страшной личной трагедіи, либо катастрофы и которая обычное безбѣдное существованіе считала унижительнымъ и недостойнымъ; всегда собиралась то въ монастырь, то въ революціонерки, и говорила мужу, что такъ жить нельзя и стыдно; но не пошла ни въ монастырь, ни въ революцію и продолжала ѣздить въ театръ и принимать знакомыхъ, глубоко презирая эту благополучную жизнь. Она оживлялась только тогда, когда съ кѣмъ-нибудь дѣйствительно происходило несчастье, кто-нибудь былъ при смерти; тогда, оставляя все, она отправлялась туда, понукая кучера, привозила докторовъ, тратила, не считая, деньги, заботилась о сиротахъ и вообще дѣлала множество добра, которому однако должна была предшествовать смерть или вообще нѣчто настолько непоправимое, что никакія деньги и никакія заботы уже не могли ничему помочь. Она не любила свою дочь, не любила сына, не любила мужа; зато постоянно къ ней приходили всевозможные просители и просительницы, иногда ужаснаго вида, калѣки, съ вывороченными вѣками, пьяницы, чахоточные, несчастные и жалкіе люди, которымъ она давала деньги, одежду, о которыхъ заботилась какъ о родныхъ, — и потомъ, входя въ столовую, гдѣ всѣ зати-хали при ея появленіи, говорила:

— Ну, поблагодаримъ Бога за то, что мы еще сегодня сыты.

И ея мужъ пожималъ плечами, привыкнувъ за тридцать лѣтъ къ этой ежедневной комедіи.

Она ненавидѣла и презирала все, въ чемъ проявлялось здоровье, счастье, богатство, любовь, — всѣ положительныя вещи вызывали съ ея стороны только насмѣшку и вражду. Когда женихъ ея дочери пришелъ къ ней, — это было уже за границей, въ Берлинѣ, но въ домѣ не измѣни-

лось почти ничего, — (и такіе же бѣдняки попрежнему тѣснились на черной лѣстницѣ, только среди нихъ стали попадаться нѣмцы вмѣстѣ съ русскими), и сказалъ, что онъ просить руки Екатерины Максимовны, она помолчала, глядя на него съ гнѣвомъ, и отвѣтила, что она очень счастлива, и это звучало такой ненавистью и издѣвательствомъ, что онъ ушелъ, смутившись и почти испугавшись этого непонятнаго гнѣва. И въ день свадьбы, въ тугомъ накрахмаленномъ платьѣ, она принимала поздравленія, потомъ вызвала къ себѣ дочь и сказала ей, что существуютъ извѣстные законы природы и инстинктъ размноженія и *plaisirs de la lune de miel*, и что, въ концѣ концовъ, случившееся хотя и грустно, но нормально; и совѣтовала дочери все же иногда вспоминать о томъ, что въ Берлинѣ есть десятки тысячъ людей, которые голодаютъ.

И только отецъ иногда говорилъ дочери:

— Ничего не подѣлаешь, Катя. Мама у насъ несчастная.

И было такъ удивительно, что потомъ, живя въ Парижѣ, Катя получила отъ матери первое письмо:

«Милая моя Катюша, моя нѣжная дѣвочка...» — И все было составлено изъ такихъ ласковыхъ выраженій, которыхъ она никогда не употребляла, все было такъ близко и тепло и такъ непостижимо и неожиданно, что Катя плакала надъ этимъ первымъ письмомъ и показала его мужу, который сказалъ, что онъ всегда былъ лучшаго мнѣнія о своей *belle-mère*, чѣмъ мнѣніе всѣхъ окружающихъ, потому что въ этой женщинѣ несомнѣнно много хорошаго, только это неудачно выражено. И въ день рожденія Василія Васильевича, первое лицо, которое увидѣла Катя, было лицо ея матери; она, впрочемъ, тотчасъ же ушла, констатировавъ съ грустью — какъ сказалъ братъ Кати — что, къ сожалѣнію, и Катя и ея потомокъ совершенно здоровы и находятся внѣ опасности. Когда мать встрѣтила въ клиникѣ своего сына, котораго не видѣла нѣсколько лѣтъ, она ему сказала: здравствуй, — почти во-

просительнымъ тономъ. — Ты что, собственно, здѣсь дѣлаешь? — У меня, мама, сестра рожаетъ, — отвѣтилъ онъ. — Да, только тебѣ-то здѣсь нечего дѣлать, — опять сказала она и направилась въ палату, изъ которой слышались крики ея дочери.

Потомъ рожденіе Василія Васильевича было отпраздновано, какъ только Катя оправилась, втроемъ: была Катя, ея мужъ и братъ, пили шампанское, послали телеграмму родителямъ и произносили тосты въ честь Василія Васильевича, который на другомъ концѣ квартиры мирно спалъ, туго завернутый въ пеленки. Васильемъ Васильевичемъ его называлъ Александръ, братъ Кати, который ей сказалъ:

— Посмотри, какой онъ важный, просто неловко къ нему по имени обращаться. Его надо звать Василій Васильевичъ. — И такъ это и установилось и всѣ потомъ привыкли и совершенно серьезно говорили:

— А гдѣ Василій Васильевичъ, что Василій Васильевичъ?

Василій Васильевичъ былъ маленькій и толстый, вначалѣ ползалъ, потомъ ходилъ по квартирѣ и падалъ, молчалъ и смотрѣлъ на всѣхъ серьезными блестящими глазами. Больше всѣхъ любилъ дядю, потомъ маму, потомъ, можетъ быть, папу, — какъ онъ сказалъ, когда его спросили объ этомъ въ сотый разъ и когда онъ впервые употребилъ выраженіе «можетъ быть».

Она принимала ванну поздно вечеромъ, передъ тѣмъ какъ лечь въ кровать, когда пришелъ ея мужъ. Онъ толкнулъ стеклянную дверь, вошелъ и увидѣлъ Катю въ ваннѣ, и ей вдругъ стало нестерпимо стыдно своего тѣла, — и она съ удивленіемъ ощутила этотъ жгучій и совершенно непонятный стыдъ, — что-то измѣнилось, что-то было не такъ какъ всегда. Онъ сказалъ, — извини меня, Катюша, пожалуйста, *je suis un peu dans la lune*, — и вышелъ

изъ ванной. Съ краской, заливающей ей лицо, она надѣла купальный халатъ и прошла въ свою спальню. Онъ явился туда черезъ нѣсколько минутъ, неся на подносъ чай, — тебѣ, навѣрное, хочется чаю послѣ ванны? — Спасибо, ты милъ, какъ всегда. Онъ сѣлъ въ кресло, разсказалъ ей о торжественномъ обѣдѣ, съ котораго вернулся; она слушала его точно издалека и съ удивленіемъ, какъ будто впервые, замѣчала, какъ умно онъ говорилъ о людяхъ, какъ сразу понималъ, что важно и что несущественно и всегда зналъ, что нужно сказать и что нужно сдѣлать. Онъ никогда, кажется, еще не ошибся — ни въ опредѣленіи, ни въ поступкѣ — и такъ было всегда и она привыкла очень вѣрить ему во всемъ. Вначалѣ она сомнѣвалась, провѣряла его чувства, подвергала его многочисленнымъ и разнообразнымъ испытаніямъ — и всегда подтверждались самыя лучшія предположенія, потому-ли, что онъ дѣйствительно любилъ ее больше всего на свѣтѣ, какъ онъ говорилъ, или потому, что ему помогали его чудовищный, какъ ей казалось, умъ. Второе предположеніе возникло потому, что этотъ человѣкъ былъ слѣпъ, или дѣлалъ видъ, что былъ слѣпъ, только въ одномъ — въ своемъ отношеніи къ женѣ. Онъ ничему не вѣрилъ — ни людямъ, ни идеямъ, ни отношеніямъ, все было построено только на расчетѣ, и Катю иногда удивляли его безпощадныя сужденія о людяхъ, которыя почти всегда подтверждались; онъ твердо зналъ, какъ нужно говорить съ такимъ-то и какъ съ другимъ, и не высказывалъ никакихъ бесполезныхъ чувствъ. Онъ всѣ вещи понималъ сразу и только оставаясь съ Катей вдвоемъ, онъ дѣлался беззащитнымъ, какъ Василій Васильевичъ, его сынъ, потому что былъ убѣжденъ, что Катя никогда не способна ни на какой дурной поступокъ. Онъ пожелалъ ей спокойной ночи и ушелъ, и она опять задумалась о томъ, какъ возможно, чтобы этотъ человѣкъ искренне вѣрилъ въ то, что она неспособна ни къ чему дурному. Правда, онъ не могъ предполагать, что у Кати вдругъ возникнутъ какія-то со-

миѣнія въ разъ навсегда существующихъ и неизмѣнныхъ вещахъ. Онъ понялъ, цѣлуя ея руку и заглянувъ въ ея глаза, что сегодня онъ не долженъ остаться съ ней, что сегодня ей это было непріятно. Можетъ быть онъ просто усталъ? Нѣтъ, она почувствовала по тому, какъ онъ взялъ ея руку, что это было не такъ, и только послѣ того, какъ ихъ глаза встрѣтились, его пальцы медленно и ласково разжались, онъ улыбнулся, поцѣловалъ ея руку и ушелъ своей неслышной походкой.

Ее иногда онъ начиналъ раздражать именно своей без-ошибочностью и неувязимостью, — точно это была идеальная мыслительная машина, а не человѣкъ. Ему, казалось, даже не нужно было дѣлать усилій, чтобы знать, что ей доставить удовольствіе, что будетъ непріятно, — и это могло касаться самой незначительной реплики или замѣчанія по поводу платья, которое она впервые надѣвала. Иногда она начинала ему говорить рѣзкія и несправедливыя вещи, — онъ никогда не сердился и только улыбался — причѣмъ въ его улыбкѣ не было ни тѣни насмѣшки, которую она бы ему не простила; была только нѣжность — онъ такъ же улыбался Василю Васильевичу. Выходило такъ, что онъ изучилъ Катю до конца — съ невысказанными желаніями, съ непродуманными и неожиданными мыслями, съ ея перемѣнами, — изучилъ такъ же легко, какъ изучалъ любой вопросъ, за который брался, и составилъ разъ навсегда одну непогрѣшимую формулу, какъ въ алгебраическомъ уравненіи.

Да, и до послѣдняго времени онъ оказывался правъ во всемъ. Но когда однажды Катя его спросила, что нужно для того, чтобы знать человѣка до конца, онъ отвѣтилъ:

— Любовная интуиція.

— А тѣ, кого ты не любишь? Законы общаго порядка?

— Законовъ общаго порядка, кажется, нѣтъ.

— Что же есть?

— Есть то, что каждый человѣкъ представляетъ изъ себя индивидуальность, которая можетъ походить на дру-

тую въ силу случайныхъ аналогій, но которая все-таки управляется своими собственными не законами, конечно, а различными соотношеніями, характерными для этого періода времени...

— Боже, какъ это сложно! Но въ общемъ, можешь ли ты его знать до конца или нѣтъ?

— Нѣтъ, конечно, Я могу предвидѣть, какъ онъ поступитъ въ точно опредѣленныхъ условіяхъ, и то далеко не навѣрное.

— Но ты, кажется, рѣдко ошибаешься.

— Охъ, очень часто, — сказалъ онъ улыбаясь. — Только ошибки почти никогда не бываютъ непоправимыми и я стараюсь ихъ не повторять.

— А я?

— Тебя я знаю, не думая, интуитивно, потому что тебя я люблю.

Быль второй часъ ночи, а она не спала, все отыскивая и стараясь понять, когда и какъ произошла эта ошибка. До извѣстнаго времени все было ясно: ея жизнь, думала она, лежа на спинѣ въ темнотѣ, протекала въ двухъ планахъ — одинъ надъ другимъ. Одинъ — это былъ ея мужъ, котораго она любила, Василій Васильевичъ, братъ и отецъ — разной силы и разнаго оттѣнка чувства, доставлявшія ей радость. Второй планъ, о которомъ она почти никогда не думала, но который подразумѣвался самъ собой и былъ такъ же ясенъ, какъ первый, состоялъ въ твердомъ знаніи нѣкоторыхъ отвлеченныхъ положеній; и это знаніе позволяло, на примѣръ, безошибочно сказать, хорошо или плохо тотъ или иной поступокъ. Въ мірѣ существовали болѣзнь, смерть, несчастья, ненависть, дурныя чувства, обманъ, измѣна, но все это не касалось ни ея, ни ея близкихъ. Это были всѣмъ извѣстныя вещи, отвлеченныя понятія, никогда не почувствованное знаніе, какъ представленіе о странѣ, которой она никогда не видѣла. Мысль, что она можетъ испытать когда-либо что-нибудь подобное, ей не приходила въ голову. И вотъ, въ этой

системъ чувствъ и мыслей произошло измѣненіе. Тамъ, гдѣ вчера было пустое и темное мѣсто, возникло нѣчто новое и отвратительное, — съ точки зрѣнія этихъ прежнихъ ея представлений, — вдобавокъ не случайное и почти такое же огромное, какъ все, что было до сихъ поръ, цѣлый новый міръ, непохожій ни на что испытанное прежде, тягостный, темный и непреодолимый.

Факты возстановить было легко и просто. Сначала вечеръ въ театрѣ съ мужемъ, потомъ знакомство, — молодой человѣкъ, старше ея лѣтъ на пять, неопредѣленной національности, хорошо говорившій по русски, среднеспортивного вида и ничѣмъ не замѣчательный на первый взглядъ. Онъ почему-то раздражалъ ее, хотя придраться было, казалось, не къ чему. Потомъ его визитъ къ нимъ, — первый, затѣмъ второй, черезъ недѣлю. — У васъ много свободнаго времени? — спросила она. — Вся жизнь, — отвѣтилъ онъ, улыбаясь, — я недавно получилъ наслѣдство. Затѣмъ первый выходъ съ нимъ, дневной сеансъ кинематографа, такси, и его приблизившіяся губы, и нестерпимое желаніе захватить зубами этотъ ротъ, и на слѣдующій день, блеклый, зимній свѣтъ въ окна и точно возникающее на простыняхъ свое собственное голое тѣло.

Она вернулась домой, мужа не было, Василий Васильевичъ строилъ башню изъ желѣзныхъ переплетовъ. Черезъ десять минутъ позвонилъ телефонъ и голосъ мужа сказалъ, что онъ будетъ только поздно вечеромъ и не можетъ обѣдать дома. — Хорошо, — отвѣтила она. Она пообѣдала вдвоемъ съ Василиемъ Васильевичемъ, затѣмъ пришелъ братъ, рассказывавшій смѣшныя исторіи и просидѣвшій до часу ночи, — и эта смертельная тоска, съ которой она вернулась домой, постепенно исчезла, точно медленно смѣщаясь въ далекой темнотѣ, и тогда, поднявъ просвѣтлѣвшіе глаза, Катя почувствовала, что она такая же, какъ всегда, и что все осталось на своихъ мѣстахъ — и все, что она любила до сихъ поръ, она любитъ такъ же, какъ раньше.

Прошло три дня; раздался телефонный звонокъ и необычнымъ, измѣнившимся и высохшимъ голосомъ, она отвѣтила, что хорошо, она согласна — и потомъ было то же, что въ первый разъ: сначала губы и гулъ во всемъ тѣлѣ, потомъ медленные пальцы на ея груди и ногахъ и наконецъ послѣднее, невыразимо долгое движеніе и сверкающія капли пота на лицѣ и на тѣлѣ, и прикосновение твердой и горячей кожи, сознание, что она задыхается и что это можетъ быть самая лучшая смерть.

И затѣмъ это стало повторяться уже регулярно. Это не имѣло ничего общаго ни съ любовью, ни съ привязанностью и только случайно оказалось, что молодой человѣкъ былъ по отношенію къ Катѣ безупреченъ, скромненькій и нѣженъ; кромѣ того ихъ свиданія были окружены такой тайной, что кромѣ нихъ никто не зналъ объ этомъ. Если Катя не видѣла его въ теченіе недѣли, она начинала вновь чувствовать себя такъ, какъ если бы ничего не случилось; но достаточно было ей услышать его голосъ, какъ она готова была ѣхать куда угодно; и съ этимъ влеченіемъ она совершенно не могла бороться. Они никогда не выходили вмѣстѣ и нигдѣ не бывали вдвоемъ, онъ совершенно пересталъ бывать въ домѣ у Кати и ея братъ, Александръ, даже сказалъ какъ-то:

— Катюша, а куда пропалъ этотъ алкоголикъ?

— Какой алкоголикъ?

— Ну, помнишь, молодой человѣкъ, такой, брюнетъ, кажется, богатый наслѣдникъ?

— Да, помню. Только почему онъ алкоголикъ? Ты его хорошо знаешь?

— Совершенно не знаю. Да и не нужно знать. Ты на него посмотри: всегда чистенькій, аккуратный, веселый — это, милая моя, подозрительно. А потомъ выясняется: оказывается алкоголикъ.

— Глупъ ты, Саша, до ужаса.

— А я тебѣ говорю, что ты ничего не понимаешь въ психологій. А у меня глазъ безошибочный. Это недора-

зумѣніе, что я архитекторъ: мнѣ надо было стать ученымъ.

— Что ты архитекторъ — это дѣйствительно недоразумѣніе.

Катя съ удивленіемъ отмѣчала, что со своимъ любовникомъ она даже почти не разговаривала и это было совершенно ненужно. Но съ самаго начала она испытывала къ нему, наряду съ непреодолимымъ влеченіемъ, нѣчто чрезвычайно похожее на ненависть. Онъ не могъ не замѣтить этого и даже сказалъ ей какъ-то, что быть можетъ лучше было бы вообще не встрѣчаться: если она его не любить...

— Я никогда васъ не любила, — сказала она, — никогда, вы слышите, никогда. Но я не могу безъ васъ жить.

— Это слишкомъ сложно для меня.

— Да, — сказала она, — съ сожалѣніемъ и съ презрѣніемъ, — это вѣрно. Для тебя это слишкомъ сложно.

У нея началъ портиться характеръ, она стала раздражительна безъ причины и однажды въ присутствіи брата и мужа дала пощечину Василию Васильевичу, который такъ удивился, что даже не заплакалъ. Братъ ея вскочилъ и закричалъ на всю квартиру:

— Дура!

Она посмотрѣла на него, потомъ на мужа — и тогда впервые увидѣла его холодные и совершенно чужіе глаза. Не повышая голоса, онъ сказалъ:

— До сихъ поръ я не злоупотреблялъ своими правами, Катя. Сейчасъ я вынужденъ это сдѣлать. Есть вещи, которыхъ я допустить не могу и не допущу.

— Чѣмъ ты становишься старше, тѣмъ ты больше на маму похожа, — съ бѣшенствомъ говорилъ Александръ. — Прелестная наслѣдственность.

— Я думаю, что дѣло не въ этомъ, Саша, — медленно сказалъ мужъ.

Кончилось это истерикой, рыданьями и тѣмъ, что Катя легла въ постель и не встала до слѣдующаго утра.

Она становилась совершенно невозможной. Она дѣла-

ла выговоры прислугѣ, постоянно озлобленно суетилась, переставляла мебель въ квартирѣ, требовала, отказывалась, покупала вещи и отсылала ихъ обратно, вообще стала совершенно непохожа на ту спокойную женщину, которой была раньше. Мужъ ея уѣхалъ на мѣсяць за границу, Василя Васильевича братъ взялъ къ себѣ «погостить», какъ онъ сказалъ, и она осталась одна. Ей казалось, что она близка къ самоубійству. Казлось, что больше вынести такую жизнь невозможно.

И вотъ однажды онъ не пришелъ на свиданіе. Она просидѣла въ маленькой квартирѣ, которую онъ снялъ для ихъ встрѣчъ, часъ, его не было. Она ушла. Она ждала телефоннаго звонка или письма, думала, что съ нимъ, можетъ быть, случилась катастрофа. Но ни звонка, ни письма не было.

Прошла недѣля. Она провела ее за чтеніемъ книгъ, которыхъ никакъ не могла понять. Она начинала и бросала писать письма мужу и ждала, вопреки очевидности разрѣшенія вопроса о томъ, что произошло.

Поздно вечеромъ, ровно черезъ полторы недѣли со дня несостоявшагося свиданія, незнакомый голосъ сказалъ ей по телефону, что Мсье такой-то очень хотѣлъ бы ее видѣть. Она рѣзко повѣсила трубку, но черезъ минуту тотъ же голосъ снова вызвалъ ее и объяснилъ, что она неправильно поняла, что она ошиблась — что Мсье очень плохо, и что если она сейчасъ же не пріѣдетъ... — Я ѣду, — сказала она, — точный адресъ, пожалуйста.

Черезъ десять минутъ она входила въ его квартиру, которой не знала. Уже по тому, что ей открыла дверь фельдшерница съ очень значительнымъ выраженіемъ лица, которое бываетъ у людей только въ чрезвычайныхъ и чаще всего непоправимыхъ обстоятельствахъ, она поняла, что онъ умираетъ. Докторъ съ разсѣяннымъ и ожесточеннымъ выраженіемъ на небритомъ лицѣ, прошелъ мимо нея, не замѣтивъ, казалось, ея присутствія. Въ большой гостиной находилось еще нѣсколько человекъ; она

не знала никого изъ нихъ, но, взглянувъ на каждого, можно было догадаться обо всемъ совершенно безошибочно. Въ комнатахъ было душно и жарко, запахъ лѣкарствъ смѣшивался съ особеннымъ, трудно определяемымъ дурнымъ запахомъ. Черезъ гостиную, навстрѣчу Катѣ, прошла еще одна фельдшерица, неся подъ своимъ безукоризненно бѣлымъ халатомъ какой-то большой предметъ. Сидѣвшій въ креслѣ молодой человекъ поднялъ голову, взглянулъ на Катю, какъ взглянулъ бы на стулъ или столъ, и опять опустилъ голову, охвативъ ее руками.

Едва только Катя вошла, у нея тотчасъ же началось физическое, холодное, почти невыносимое томленіе. Она постояла минуту въ гостиной, потомъ зачѣмъ-то перекрестилась и вошла наконецъ въ комнату, гдѣ лежалъ больной. И только взглянувъ на него, она ощутила невѣдомый и непреодолимый ужасъ.

Онъ лежалъ на постели, обнаженный до пояса. Въ-сто торса, который она такъ хорошо знала, съ переливающимися мускулами подъ смуглой, упругой кожей, она увидѣла туго обтянутую грудную клѣтку съ рѣзко выступающими костями. Руки были тоненькія, пальцы слишкомъ большіе. Она наклонилась надъ чужимъ заросшимъ лицомъ. Глазныхъ яблокъ не было видно, вмѣсто нихъ были неподвижные, закатившіеся, еще желтоватые бѣлки. Ротъ былъ раскрытъ. Умирающій дышалъ необыкновенно неглубоко и часто, какъ собака послѣ бѣга. Онъ былъ безъ сознанія.

Она стала на колѣни передъ его кроватью, взяла его горячую руку, онъ повидимому не чувствовалъ этого. Потомъ на секунду, показались его глаза, онъ посмотрѣлъ на Катю, не понявъ и прохрипѣлъ незнакомымъ голосомъ: кисло... кисло.. — Онъ просить кислорода, — сказала Катя. — Да, да, — сказалъ изъ гостиной разсѣянный голосъ доктора, повидимому въ отвѣтъ на вопросъ фельдшерицы. — Хотя это бесполезно, все равно, все равно.

Къ утру дыханіе становилось все рѣже и рѣже и въ

четыре часа, не приходя въ сознаніе, онъ умеръ. Катя съ мокрымъ лицомъ вышла изъ комнаты. Молодой человѣкъ, сидѣвшій въ креслѣ, братъ покойнаго, плакалъ навзрыдъ, по дѣтски всхлипывая. И только въ эту минуту то, что давно уже было, но никакъ не могло дойти до сознанія Кати, вдругъ стало необыкновенно ясно: именно, что умеръ тотъ самый человѣкъ, котораго она любила, и что любила она только его.

Она вернулась домой, закурила папиросу и сѣла писать письма. Въ восемь часовъ утра, раннимъ поѣздомъ пріѣхалъ мужъ. Онъ поцѣловалъ ей руку, посмотрѣлъ на ея измѣнившееся лицо и сказалъ по французски — онъ часто переходилъ на французскій языкъ:

— *Tu reviens de loin.*

— *Je ne reviens pas,* — отвѣтила она. — *Je pars.*

И въ тотъ же день, подписавъ прошеніе о разводѣ, она уѣхала изъ дому.

Гайто Газдановъ.

Д а р ь *)

ГЛАВА 4.

.....

.....

ГЛАВА 5.

Спустя недѣли двѣ послѣ выхода «Жизни Чернышевскаго» отозвалось первое, безхитростное эхо. Валентинъ Линевъ (Варшава) написалъ такъ:

«Новая книга Бориса Чердынцева открывается шестью стихами, которые авторъ почему-то называетъ сонетомъ (?), а засимъ слѣдуетъ вычурно-капризное описаніе жизни извѣстнаго Чернышевскаго.

Чернышевскій, рассказываетъ авторъ, былъ сыномъ «добрѣйшаго протоіерея» (но когда и гдѣ родился, не сказано), окончилъ семинарію, а когда его отецъ, проживъ святую жизнь, вдохновившую даже Некрасова, умеръ, мать отправила молодого человѣка учиться въ Петербургъ, гдѣ онъ сразу, чуть ли не на вокзалѣ, сблизился съ тогдашними «властителями думъ», какъ ихъ звали, Писаревымъ и Бѣлинскимъ. Юноша поступилъ въ университетъ, занимался техническими изобрѣтеніями, много работалъ и имѣлъ первое романтическое приключеніе съ Любовью Егоровной Лобачевской, заразившей его любовью

*) См. «Совр. Зап.» № № 63, 64, 65, 66. — Глава 4-ая, цѣликомъ состоящая изъ «Жизни Чернышевскаго», написанной героемъ романа, пропушена съ согласія автора. — Ред.

къ искусству. Послѣ одного столкновеніи на романтической почвѣ съ какимъ-то офицеромъ въ Павловскѣ, онъ однако принужденъ вернуться въ Саратовъ, гдѣ дѣлаетъ предложеніе своей будущей невѣстѣ, на которой вскорѣ и женится.

Онъ возвращается въ Москву, занимается философій, участвуетъ въ журналахъ, много пишетъ (романъ «Что намъ дѣлать»), дружитъ съ выдающимися писателями своего времени. Постепенно его затягиваетъ революціонная работа, и послѣ одного бурнаго собранія, гдѣ онъ выступаетъ совмѣстно съ Добролюбовымъ и извѣстнымъ профессоромъ Павловымъ, тогда еще совсѣмъ молодымъ человекомъ, Чернышевскій принужденъ уѣхать за границу. Нѣкоторое время онъ живетъ въ Лондонѣ, сотрудничая съ Герценомъ, но затѣмъ возвращается въ Россію и сразу арестованъ. Обвиненный въ подготовкѣ покушенія на Александра Второго Чернышевскій приговоренъ къ смерти и публично казненъ.

Вотъ вкратцѣ исторія жизни Чернышевскаго, и все обстояло бы отлично, если бъ авторъ не нашелъ нужнымъ снабдить свой разсказъ о ней множествомъ ненужныхъ подробностей, затемняющихъ смыслъ, и всякими длинными отступленіями на самыя разнообразныя темы. А хуже всего то, что, описавъ сцену повѣшенія, и покончивъ со своимъ героемъ, онъ этимъ не удовлетворяется и на протяженіи еще многихъ неудобочитаемыхъ страницъ разсуждаетъ о томъ, что было бы, если бы — что, если бы Чернышевскій, напримѣръ, былъ не казненъ, а сосланъ въ Сибирь, какъ Достоевскій.

Авторъ пишетъ на языкѣ, имѣющемъ мало общаго съ русскимъ. Онъ любитъ выдумывать слова. Онъ любитъ длинныя запутанныя фразы, какъ напримѣръ: «Ихъ сортируетъ (?) судьба въ предвидѣніи нуждъ (!!) біографъ» или вкладываетъ въ уста дѣйствующихъ лицъ торжественныя, но несовсѣмъ грамотныя, сентенціи, вроде «Поэтъ

самъ избираеть предметы для своихъ пѣсенъ, толпа не имѣеть права управлять его вдохновеніемъ.

Почти одновременно съ этой увеселительной рецензіей, появился отзывъ Христофора Мортуса (Парижъ), — такъ возмущившій Зину, что съ тѣхъ поръ у нея тарасились глаза и напрягались ноздри всякій разъ, какъ упоминалось это имя.

«Говоря о новомъ молодомъ авторѣ (тихо писалъ Мортусъ), обыкновенно испытываешь чувство нѣкоторой неловкости: не собьешь ли его, не повредишь ли ему слишкомъ «скользящимъ» замѣчаніемъ? Мнѣ кажется, что въ данномъ случаѣ бояться этого нѣтъ основанія. Годуновъ-Чердынцевъ новичекъ, правда, но новичекъ крайне самоувѣренный, и сбить его, вѣроятно, нелегко. Не знаю, предвѣщаетъ-ли какія-либо дальнѣйшія «достиженія» только что вышедшая книга, но, если это начало, то его нельзя признать особенно утѣшительнымъ.

Оговорюсь. Собственно, совершенно неважно, удачно ли или нѣтъ произведеніе Годунова-Чердынцева. Одинъ пишетъ лучше, другой хуже, и всякаго въ концѣ пути поджидаетъ Тема, которой «не избѣжить никто». Вопросъ, мнѣ кажется, совѣмъ въ другомъ. Безвозвратно прошло то золотое время, когда критика или читателя могло въ первую очередь интересовать «художественное» качество или точная степень талантности книги. Наша литература, — я говорю о настоящей, «несомнѣнной» литературѣ, — люди съ безошибочнымъ вкусомъ меня поймутъ, — сдѣлалась проще, серьезнѣе, суше, — за счетъ искусства, можетъ быть, но зато (въ нѣкоторыхъ стихахъ Циповича, Бориса Барскаго, въ прозѣ Коридонова...) зазвучала такой печалью, такой музыкой, такимъ «безнадежнымъ» небеснымъ очрованіемъ, что, право же, не стоитъ жалѣть о «скупныхъ пѣсняхъ земли».

Сама по себѣ затѣя написать книжку о выдающемся дѣятелѣ шестидесятыхъ годовъ ничего предосудительнаго въ себѣ не содержитъ. Ну, написала, ну, вышла въ

свѣтъ, — выходили въ свѣтъ и не такія книги. Но общее настроеніе автора, «атмосфера» его мысли, внушаетъ странныя и неприятныя опасенія. Я не стану говорить о томъ, насколько своевременно или нѣтъ появленіе такой книги. Что жъ, — никто не можетъ запретить человѣку писать о чемъ ему угодно! Но мнѣ кажется, — и не я одинъ такъ чувствую, — что въ основѣ произведенія Годунова-Чердынцева лежитъ нѣчто, по существу глубоко безтактное, нѣчто рѣжущее и оскорбительное... Его право, конечно (хотя и съ этимъ можно было бы поспорить), такъ или иначе отнестись къ «шестидесятникамъ», но «разоблачая» ихъ, онъ во всякомъ чуткомъ читателѣ не можетъ не возбудить удивленія и отвращенія. Какъ это все некстати! какъ это все не попадъ! Постараюсь уточнить. Изъ-за того, что именно сейчасъ, именно сегодня производится эта безвкусная операція, тѣмъ самымъ задѣвается то значительное, горькое, трепетное, что зрѣтъ въ катакомбахъ нашей эпохи. О, разумѣется, — «шестидесятники» и въ частности Чернышевскій высказывали немало ошибочнаго и можетъ быть смѣшнаго въ своихъ литературныхъ сужденіяхъ. Кто въ этомъ не грѣшенъ, да и не такой ужъ это грѣхъ... Но въ общемъ «тонѣ» ихъ критики сквозила какая-то истина, — истина, которая, какъ это ни кажется парадоксально, стала намъ близка и понятна именно сегодня, именно сейчасъ. Я говорю не о нападкахъ на взяточниковъ и не о женской эмансипаціи... Дѣло не въ этомъ, конечно! Мнѣ кажется, что я буду вѣрно понять (поскольку вообще другой можетъ быть понять), если скажу, что въ какомъ-то послѣднемъ и непогрѣшимомъ смыслѣ наши и ихъ требованія совпадаютъ. О, я знаю, — мы тоньше, духовнѣе, «музыкальнѣе», и наша конечная цѣль, — подъ тѣмъ сіяющимъ чернымъ небомъ, подъ которымъ струится жизнь — не просто «община» или «низверженіе деспота». Но и намъ, какъ и имъ, Некрасовъ и Лермонтовъ, особенно послѣдній, ближе, чѣмъ Пушкинъ. Беру именно этотъ простѣйшій примѣръ, потому

что онъ сразу опредѣляетъ наше съ ними свойство, если не родство. То холодноватое, хлыщеватое, «безотвѣтственное», что ощущалось ими въ нѣкоторой части пушкинской поэзіи, слышится и намъ. Мы можемъ возразить, что мы умнѣе, воспримчивѣе... Не спору; но въ сущности вѣдь дѣло вовсе не въ «раціонализмѣ» Чернышевскаго (или Бѣлинскаго, или Добролюбова, — имена и даты тутъ роли не играютъ), а въ томъ, что тогда, какъ и теперь, люди, духовно передовые, понимали, что однимъ «искусствомъ», одной «лирой» сытъ не будешь. Мы, изощренные, усталые правнуки, тоже хотимъ прежде всего человѣческаго; мы требуемъ цѣнностей, необходимыхъ душѣ. Эта «польза» возвышеннѣе, можетъ быть, но въ какомъ-то отношеніи даже и насущнѣе той, которую проповѣдывали они.

Я отклонился отъ прямой темы моей статьи. Но вѣдь иногда можно гораздо точнѣе и подлиннѣе высказаться, бродя «около темы», въ ея плодотворныхъ окрестностяхъ... Въ сущности говоря, разборъ всякой книги нелѣпъ и безцѣленъ, да кромѣ того, насъ занимаетъ не выполнение «авторскаго задания», и не самое даже «заданіе», а лишь отношеніе къ нему автора.

И еще: такъ ли ужъ нужны эти экскурси въ область прошлаго съ ихъ стилизованными дрязгами и искусственно оживленнымъ бытомъ? Кому важно знать, какъ Чернышевскій велъ себя съ женщинами? Въ наше горькое, нѣжное, аскетическое время нѣтъ мѣста для такого рода озорныхъ изысканій, для праздної литературы, не лишенной къ тому же какого-то надменнаго задора, который самага благосклоннаго читателя можетъ только оттолкнуть».

Послѣ этого посыпалось. Профессоръ пражскаго университета, Анучинъ (извѣстный общественный дѣятель, человѣкъ сияющей нравственной чистоты и большой личной смѣлости: это былъ тотъ профессоръ Анучинъ, который, въ 1922 году, незадолго до высылки, когда наганны-

кожанья личности пришли его арестовать, но, заинтересовавшись коллекцией древних монетъ, замѣшкались съ его уводомъ, — спокойно сказалъ, указавъ на часы: господа, исторія не ждетъ), напечаталъ въ толстомъ журналѣ, выходившемъ въ Парижѣ, обстоятельный разборъ «Жизни Чернышевскаго».

«Въ прошломъ году (писалъ онъ) вышла замѣчательная книга Проф. Боннскаго Университета Отто Ледерера (Otto Lederer) «Три Деспота (Александръ Туманный, Николай Хладный, Николай Скучный)». Движимый страстной любовью къ свободѣ человѣческаго духа и горячей ненавистью къ попиравшимъ его, авторъ бывалъ въ иныхъ своихъ оцѣнкахъ несправедливъ, — вовсе не учтя, напримеръ, того пафоса російской государственности, который мощной плотью облекъ символъ трона; но излишній пылъ и даже ослѣпленіе въ процессѣ порицанія зла всегда понятнѣе и простительнѣе, чѣмъ малѣйшая насмѣшка, какъ бы она ни была остроумна, надъ тѣмъ, что ощущается обществомъ, какъ объективное благо. Однако именно этотъ второй путь, путь эклектической язвительности, избранъ господиномъ Годуновымъ-Чердынцевымъ въ его трактоvkѣ жизни и творчества Н. Г. Чернышевскаго.

Авторъ несомнѣнно основательно и по-своему добросовѣстно ознакомился съ предметомъ; несомнѣнно также, что у него талантливое перо: нѣкоторыя высказываемыя имъ мысли и сопоставленія мыслей несомнѣнно находчивы; но со всѣмъ этимъ его книга отвратна. Попробуемъ спокойно разобраться въ этомъ впечатлѣніи.

Взята извѣстная эпоха, и выбранъ одинъ изъ ея представителей. Но усвоено-ли авторомъ понятіе «эпоха»? Нѣтъ. Прежде всего у него совершенно не чувствуется сознаніе той к л а с с и ф и к а ц і и в р е м е н и, безъ коей исторія превращается въ произвольное вращеніе пестрыхъ пятенъ, въ какую-то импрессионистическую картину съ фигурой пѣшехода вверхъ ногами на несуществующемъ въ природѣ зеленомъ небѣ. Но въ этомъ приѣмѣ (уничто-

жающемъ, крѣпко сказать, всякую научную цѣнность даннаго труда, несмотря на щегольскую эрудицію) все-таки не главная ошибка автора. Главная его ошибка въ томъ, какъ къ онъ изображаетъ Чернышевскаго.

Совсѣмъ не важно, что Чернышевскій хуже разбирался въ вопросахъ поэзіи, чѣмъ современный молодой эстетъ. Совсѣмъ не важно, что въ своей философской концепціи онъ чуждался тѣхъ трансцендентальныхъ тонкостей, которыя господину Годунову-Чердынцеву пріятны. А важно то, что, каковъ бы ни былъ взглядъ Чернышевскаго на искусство и науку, это было мировоззрѣніе передовыхъ людей его эпохи, неразрывно къ тому же связанное съ развитіемъ общественной мысли, съ ея жаромъ и благотворной дѣятельной силой. Вотъ въ этомъ аспектѣ, при этомъ единственно правильномъ свѣтѣ, строй мыслей Чернышевскаго пріобрѣтаетъ значительность, далеко превышающую смыслъ тѣхъ беспочвенныхъ, ничѣмъ не связанныхъ съ эпохой шестидесятыхъ годовъ доводовъ, которыми орудуетъ господинъ Годуновъ-Чердынцевъ, ядовито высмѣивая своего героя.

Но издѣвается онъ, впрочемъ, не только надъ героемъ, — издѣвается онъ и надъ читателемъ. Какъ иначе квалифицировать то, что среди извѣстныхъ авторитетовъ приводится авторитетъ несуществующій, къ которому авторъ будто апеллируетъ? Въ какомъ то смыслѣ можно было бы, если не простить, то по крайней мѣрѣ научно понять глумленіе надъ Чернышевскимъ, если бы господинъ Годуновъ-Чердынцевъ былъ горячимъ сторонникомъ именно тѣхъ, кто Чернышевскаго преслѣдовалъ. Это была бы по крайней мѣрѣ какая-то точка зрѣнія, и, читая разсматриваемый трудъ, читатель дѣлалъ бы постоянную поправку на партійную точку зрѣнія автора, тѣмъ самымъ добывая себѣ истину. Но горе въ томъ, что у господина Годунова-Чердынцева не на что сдѣлать поправку, а точка зрѣнія — «всюду и нигдѣ»; мало того, — какъ только читателю кажется, что, спускаясь по теченію фразы, онъ

наконецъ вплылъ въ тихую заводь, въ область идей, противныхъ идеямъ Чернышевскаго, но кажущихся автору положительными, а потому могущихъ явиться нѣкоторой опорой для читательскихъ сужденій и руководства, авторъ даетъ ему неожиданнаго щелчка, выбиваетъ изъ-подъ его ногъ мнимую подставку, такъ что опять неизвѣстно, на чьей же сторонѣ господинъ Годуновъ-Чердынцевъ въ своемъ походѣ на Чернышевскаго, — на сторонѣ ли поклонниковъ искусства для искусства, или правительства, или какихъ-то другихъ враговъ Чернышевскаго, читателю неизвѣстныхъ. Что же касается издѣвательства надъ самимъ героемъ, тутъ авторъ переходитъ всякую мѣру. Нѣтъ такой отталкивающей подробности, которой онъ бы погнушался. Онъ вѣроятно отвѣтитъ, что всѣ эти подробности находятся въ «Дневникѣ» молодого Чернышевскаго; но тамъ онъ на своемъ мѣстѣ, въ своей средѣ, въ должныхъ порядкѣ и перспективѣ, среди многихъ другихъ мыслей и чувствъ, гораздо ихъ цѣннѣйшихъ. Но авторъ выудилъ и сложилъ именно ихъ, какъ если бы кто-нибудь пожелалъ возстановить образъ человѣка путемъ лишь кропотливаго собиранія обрѣзковъ его волосъ, ногтей и тѣлесныхъ выдѣлений.

Иными словами, авторъ на протяженіи всей своей книги всласть измывается надъ личностью одного изъ чистѣйшихъ, доблестнѣйшихъ сыновъ либеральной Россіи, -- не говоря о попутныхъ пинкахъ, которыми онъ награждаетъ другихъ русскихъ передовыхъ мыслителей, уваженіе къ которымъ является въ нашемъ сознаніи имманентной частью ихъ исторической сущности. Въ его книгѣ, находящейся абсолютно внѣ гуманитарной традиціи русской литературы, а потому внѣ литературы вообще, фактической неправды нѣтъ (если не считать вышеприведеннаго «Страннолюбскаго», двухъ-трехъ сомнительныхъ мелочей да нѣсколькихъ описокъ), но та «правда», которая въ ней заключается, хуже самой пристрастной лжи, ибо такая я правда идетъ въ разрѣзъ съ той бла-

городной и цѣломудренной правдой (отсутствіе которой лишаетъ исторію того, что великій грекъ назвалъ «тропо-тость»), которая является однимъ изъ неотъемлемыхъ сокровищъ русской общественной мысли. Въ наши дни, слава Богу, книгъ на кострахъ не сжигаютъ, но приходится признать, что, если бы такой обычай еще существовалъ, книга господина Годунова-Чердынцева могла бы справедливо считаться первой кандидаткой въ площадное топливо».

Затѣмъ въ альманахѣ «Башня» выступилъ Кончеевъ. Онъ началъ съ того, что привелъ картину бѣгства во время нашествія или землетрясенія, когда спасающіеся уносить съ собой все, что успѣваютъ схватить, причемъ непременно кто-нибудь тащить съ собой большой, въ рамѣ, портретъ давно забытаго родственника. «Вотъ такимъ портретомъ (писалъ Кончеевъ) является для русской интеллигенціи и образъ Чернышевскаго, который былъ стихійно, но случайно унесенъ въ эмиграцію, вмѣстѣ съ другими, болѣе нужными вещами», — и этимъ Кончеевъ объяснялъ *stupéfaction*, вызванную появленіемъ книги Федора Константиновича («кто-то вдругъ взялъ и отнял портретъ»). Далѣе, покончивъ разъ навсегда съ соображеніями идейнаго порядка и принявшись за разсмотрѣніе книги, какъ произведенія искусства, Кончеевъ сталъ хвалить ее такъ, что, читая, Федоръ Константиновичъ почувствовалъ, какъ вокругъ его лица собирается нѣкое горячее сіяніе, а по рукамъ бѣжитъ ртуть. Статья заканчивалась слѣдующими словами: «Увы! За рубежомъ врядъ ли наберется и десятокъ людей, способныхъ оцѣнить огонь и прелесть этого сказочно-остроумнаго сочиненія; и я бы утверждалъ, что сейчасъ въ Россіи и одного цѣнителя не найдется, не доведись мнѣ знать о существованіи цѣлыхъ двухъ такихъ, одного живущаго на Петербургской Сторонѣ, другого, — гдѣ-то въ далекой ссылкѣ».

Монархическій органъ «Восшествіе» посвятилъ «Жизни Чернышевскаго» замѣтку, въ которой указывалось, что-

всякій смыслъ и цѣнность разоблаченія «одного изъ идеологическихъ дядекъ большевизма» совершенно подрывается «дешевымъ либеральничаніемъ автора, всецѣло переходящаго на сторону своего плачевнаго, но вреднаго героя, какъ только долготерпѣливый Русскій Царь наконецъ ссылаетъ его въ мѣста, не столь отдаленныя». «И вообще; — добавляя авторъ замѣтки, Петръ Левченко, — давнымъ давно пора бросить писать о какихъ-то тамъ жестокостяхъ «царистскаго режима» по отношенію къ никому не интереснымъ «свѣтлымъ личностямъ». Красное масонство только обрадуется «труду» господина Годунова-Чердынцева. Прискорбно, что носитель такой фамилии занимается воспѣваніемъ «общественныхъ идеаловъ», давно обратившихся въ грошечные идола».

Въ «большевианствующей» газетѣ «Пора» (это была та, которую берлинская «Газета» неизмѣнно называла «рептилей»), въ статьѣ о празднованіи столѣтней годовщины рожденія Чернышевскаго, въ концѣ говорилось такъ: «Въ богоспасаемой нашей эмиграціи тоже зашевелились: нѣкто Годуновъ-Чердынцевъ съ армейской развязностью поспѣшилъ сбить книжонку, натаскавъ туда матеріала откуда ни попало, и выдавъ свой гнусный поклепъ за «Жизнь Чернышевскаго». Какой-то пражскій профессоръ поспѣшилъ найти эту работу «талантливой и добросовѣстной», и всѣ дружно подхватили. Написана она лихо и по своему внутреннему стилю ничѣмъ не отличается отъ васьильевскихъ передовицъ о «Близкомъ концѣ большевизма»».

Послѣднее было особенно мило въ связи съ тѣмъ, что въ своей «Газетѣ» Васильевъ рѣшительно воспротивился какому-либо упоминанію о книгѣ Федора Константиновича, причемъ честно сказалъ ему (хотя тотъ ни о чемъ не спрашивалъ), что, не будь онъ съ нимъ въ добрыхъ отношеніяхъ, помѣстилъ бы такую статью, послѣ которой отъ автора «Жизни Чернышевскаго» «мокраго мѣста бы не осталось». Словомъ, вокругъ книги создалась хоро-

шая, грозовая атмосфера скандала, повывившая на нее спрось, а вмѣстѣ съ тѣмъ, несмотря на нападки, имя Годунова-Чердынцева сразу, какъ говорится, выдвинулось, и, поднявшись надъ пестрой бурей критическихъ толковъ, утвердилось у всѣхъ на виду, ярко и прочно. Но былъ одинъ человекъ, мнѣніе котораго Федоръ Константиновичъ уже узнать не могъ. Александръ Яковлевичъ Чернышевскій умеръ незадолго до выхода книги.

Когда однажды французскаго мыслителя Delalande на чьихъ-то похоронахъ спросили, почему онъ не обнажаетъ головы (*ne se découvre pas*), онъ отвѣчалъ: я жду, чтобы смерть начала первая (*qu'elle se découvre la première*). Въ этомъ есть метафизическая негалантизмъ, но смерть большаго не стоитъ. Боязнь рождаетъ благоговѣніе, благоговѣніе ставитъ жертвенникъ, его дымъ восходитъ къ небу, тамъ принимаетъ образъ крыль, и склоненная боязнь къ нему обращаетъ молитву. Религія имѣетъ такое же отношеніе къ загробному состоянію человекъ, какое имѣетъ математика къ его состоянію земному: то и другое только условія игры. Вѣра въ Бога и вѣра въ цифру: мѣстная истина, истина мѣста. Я знаю, что смерть сама по себѣ никакъ не связана съ внѣжизненной областью, ибо дверь есть лишь выходъ изъ дома, а не часть его окрестности, какой является дерево или холмъ. Выйти какъ-нибудь нужно, «но я отказываюсь видѣть въ двери больше, чѣмъ дыру да то, что сдѣлали столяръ и плотникъ» (*Delalande, Discours sur les ombres p. 45 et ante*). Опять же: несчастная маршрутная мысль, съ которой давно свыкъся человѣческій разумъ (жизнь въ видѣ нѣкоего пути) есть глупая иллюзія: мы никуда не идемъ, мы сидимъ дома. Загробное окружаетъ насъ всегда, а вовсе не лежитъ въ концѣ какаго-то путешествія. Въ земномъ домѣ, вмѣсто окна — зеркало; дверь до поры до времени затворена; но воздухъ входитъ сквозъ щели. «Наиболѣе доступный для нашихъ домоѣдныхъ чувствъ образъ будущаго постиженія окрестности долженствующей раскрыться намъ по рас-

падѣ тѣла, это — освобожденіе духа изъ глазницъ плоти и превращеніе наше въ одно свободное сплошное око, разъ видящее всѣ стороны свѣта, или, иначе говоря: сверхчувственное прозрѣніе міра при нашемъ внутреннемъ участіи» (тамъ же, стр. 64). Но все это только символы, символы, которые становятся обузой для мысли въ то мгновеніе, какъ она приглядится къ нимъ...

Нельзя ли какъ-нибудь понять проще, духовно удовлетворительнѣе, безъ помощи сего изящнаго аэрея, какъ и безъ помощи популярныхъ вѣрованій? Ибо въ религіи кроется какая-то подозрительная общедоступность, уничтожающая цѣнность ея откровеній. Если въ небесное царство входятъ нищіе духомъ, представляю себѣ, какъ тамъ весело. Достаточно я ихъ перевидалъ на землѣ. Кто еще составляетъ небесное населеніе? Тьма кликушъ, грязныхъ монаховъ, много розовыхъ близорукихъ душъ протестантскаго, что-ли, производства, — какая смертная скука! У меня высокая температура четвертый день, и я уже не могу читать. Странно, мнѣ раньше казалось, что Яша всегда около меня, что я научился общенію съ призраками, а теперь, когда я можетъ быть умираю, эта вѣра въ призраки мнѣ кажется чѣмъ-то земнымъ, связаннымъ съ самыми низкими земными ощущеніями, а вовсе не открытіемъ небесной Америки.

Какъ-нибудь проще. Какъ-нибудь проще. Какъ-нибудь сразу! Одно усиліе — и все пойму. Исканіе Бога: тоска всякаго пса по хозяинѣ, дайте мнѣ начальника, и я поклонюсь ему въ огромныя ноги. Все это земное. Отецъ, директоръ гимназіи, ректоръ, хозяинъ предпріятія, царь, Богъ. Цифры, цифры, — и ужасно хочется найти самое-самое большое число, дабы всѣ другія что-нибудь значили, куда-нибудь лѣзли. Нѣтъ, этимъ путемъ упираешься въ ватные тупики, — и все становится неинтереснымъ.

Конечно, я умираю. Эти клещи сзади, эта стальная боль совершенно понятны. Смерть беретъ за бока, пододвигает сзади. А я вѣдь всю жизнь думалъ о смерти, и если

жить, то жить всегда на поляхъ этой книги, которую не умѣю прочесть. Кто это былъ? Давнымъ-давно въ Кіевѣ.. Какъ его звали, Боже мой? Бралъ въ библіотекѣ книгу на неизвѣстномъ ему языкѣ, дѣлалъ на ней помѣтки и оставлялъ лежать, чтобы гость думалъ: Знаетъ по португальски, по арамейски. Ich habe dasselbe getan. Счастье, горе — восклицательные знаки en marge, а контекстъ абсолютно невѣдомъ. Хорошее дѣло.

Страшно больно покидать чрево жизни. Смертный ужась рожденія. L'enfant qui naît ressent les affres de sa mère. Бѣдный мой Яшенька! Очень странно, что, умирая, я удаляюсь отъ него, когда, казалось бы, напротивъ, — все ближе, ближе.. Его первое слово было: муха. И сразу потомъ — звонокъ изъ полиціи: опознать тѣло. Какъ я его теперь оставляю? Въ этихъ комнатахъ.. Некому будетъ являться, — въ обонихъ смыслахъ. Она вѣдь все равно не увидитъ.. Бѣдная Сашенька. Сколько? Пять тысячъ восемьсотъ.. И еще тѣ.. итого.. А потомъ? Боря поможетъ, — а можетъ быть и не поможетъ.

..Ничего въ общемъ въ жизни и не было, кромѣ подготовки къ экзамену, къ которому все равно подготовиться нельзя. «Ужу, уму — равно ужасно умирать». Неужели всѣ мои знакомые это продѣлаютъ? Невѣроятно! Eine alte Geschichte: названіе фильма, который мы съ Сашей смотрѣли наканунѣ его смерти.

О, нѣтъ. Ни за что. Она можетъ уговаривать сколько угодно. Или это она вчера уговаривала? Или давнымъ-давно? Ни въ какія больницы меня не увезутъ. Я буду здѣсь лежать. Довольно было больницъ. Опять сойти съ ума передъ самымъ концомъ, — нѣтъ, ни за что. Я останусь здѣсь. Какъ трудно ворочать мысли: бревна. Я слишкомъ плохо себя чувствую, чтобы умирать.

«О чемъ онъ писалъ книгу, Саша? Ну, скажи, ты помнишь! Говорили объ этомъ. О какомъ-то священникѣ, — нѣтъ? Ну, ты никогда ничего.. Плохо, трудно..»

Послѣ этого онъ уже почти не говорилъ, впавъ въ со-

стояніе сумеречное; Федоръ Константиновичъ былъ допущенъ къ нему и навсегда запомнилъ сѣдую щетину на впа-
лыхъ щекахъ, потускнѣвшую лысину и руку въ сѣрой эк-
земѣ, шевелившуюся какъ ракъ на простынѣ. На другой
день онъ умеръ, но передъ тѣмъ пришелъ въ себя, жало-
вался на мученія и потомъ сказалъ (— въ комнатѣ было
полутемно изъ-за спущенныхъ шторъ): «Какія глупости.
Конечно, ничего потомъ нѣтъ». Онъ вздохнулъ, прислу-
шался къ плеску и журчанію за окномъ и повторилъ не-
обыкновенно отчетливо: «Ничего нѣтъ. Это такъ же ясно,
какъ то, что идетъ дождь».

А между тѣмъ за окномъ играло на черепицахъ крышъ
весеннее солнце, небо было задумчиво и безоблачно, и
верхняя квартирантка поливала цвѣты по краю своего
балкона, и вода съ журчаніемъ стекала внизъ.

Въ витринѣ похороннаго бюро на углу Кайзералее бы-
ла выставлена въ видѣ приманки (какъ Кукъ выставляетъ
модель Пульмана) макета крематорской постановки: ря-
ды стульчиковъ передъ крохотной кафедрой, на нихъ си-
дящія куколки величиной съ согнутый мизинецъ и впе-
реді, немножко отдѣльно, можно было различить вдовицу
по квадратному сантиметру платочка, поднятаго къ лицу.
Нѣмецкая соблазнительность этой макетки всегда смѣши-
ла Федора Константиновича, а потому было слегка про-
тивно войти въ крематорій настоящей, гдѣ изъ-подъ лав-
ровъ въ кадкахъ по-настоящему опускался при звукахъ
многопудовой органной музыки гробъ съ тѣломъ въ об-
разцовую преисподнюю, прямо въ печь. Чернышевская
платка не держала, а сидѣла неподвижно и прямо, съ мер-
цающими сквозь черный флеръ глазами. У друзей и зна-
комыхъ было на лицахъ обычное въ такихъ случаяхъ на-
стороженное выраженіе: подвижность зрачковъ при нѣ-
которой напряженности шейныхъ мускуловъ. Адвокатъ
Чарскій искренне сморкался; Васильевъ, имѣвшій, какъ об-
щественный дѣятель, большой траурный опытъ, внима-
тельно слѣдилъ за паузами пастора (Александръ Яковле-

женерь Кернь безстрастно поблескивалъ стеклами пенснэ; Горяиновъ все высвобождалъ изъ воротничковъ полную шею, но до покашливанія не доходилъ; дамы, бывавшія у Чернышевскихъ, сидѣли всѣ вмѣстѣ; вмѣстѣ сидѣли и писатели, — Лишневскій, Шахматовъ, Ширинъ; было много людей, Федору Константиновичу незнакомыхъ — на примѣръ, чопорный господинъ съ бѣлокурой бородкой и необыкновенно красными губами (кажется, двоюродный братъ покойнаго), да какіе-то нѣмцы, съ цилиндрами на колѣняхъ, деликатно сидѣвшіе въ послѣднемъ ряду.

По окончаніи церемоніи присутствующіе должны были, по замыслу крематорскаго распорядителя, подходить по одному къ вдовѣ со словами соболѣзнованія, но Федоръ Константиновичъ рѣшилъ этого избѣжать и вышелъ на улицу. Все было мокро, солнечно и какъ-то обнаженно ярко; на черномъ, отороченномъ молодой травой, футбольномъ полѣ дѣвочки въ трусикахъ занимались гимнастикой. За сѣрымъ, съ гуттаперчевымъ отливомъ, куполомъ крематорія виднѣлись бирюзовыя вышки мечети, а по другую сторону площади блестѣли зеленыя луковки бѣлой, псковскаго вида, церкви, недавно выросшей вверхъ изъ углового дома и казавшейся почти обособленной благодаря зодческому камуфляжу. На террасѣ у входа въ паркъ два скверныхъ бронзовыхъ боксера, тоже недавно поставленныхъ, застыли въ позахъ, совершенно противныхъ взаимной гармоніи кулачнаго боя: вмѣсто его собранно-горбатой, кругло-мышечной граціи получились два голыхъ солдата, повздорившіе въ банѣ. Съ открытаго мѣста за деревьями пушенный змѣй высоко въ лазури стоялъ румянымъ ромбикомъ. Съ удивленіемъ, съ досадой, Федоръ Константиновичъ замѣчалъ невозможность остановить свою мысль на образѣ только-что испепеленнаго, испарившагося человѣка; онъ старался сосредоточиться, представить себѣ недавнюю теплоту ихъ живыхъ отношеній, но душа не желала шевелиться, а лежала, сонная и

зажмуренная, довольная своей клѣткой. Заторможенный стихъ изъ «Короля Лира», состоящій цѣликомъ изъ пяти «певег», — вотъ все, что ему приходило на умъ. — Вѣдь я никогда его не увижу больше, несамостоятельно думаль онъ. — но этотъ прутикъ ломался, души не сдвинувъ. Онъ старался думать о смерти, и вмѣсто этого думаль о томъ, что мягкое небо, съ блѣдной и нѣжной какъ сало полосой улегшагося слѣва облака, было бы похоже на ветчину, если бы голубизна была розовостью. Онъ старался представить себѣ какое-то продленіе Александра Яковлевича за угломъ жизни — и тутъ же примѣчалъ, какъ за стекломъ чистильно-гладильной подъ православной церковью, съ чертовской энергіей, съ избыткомъ пара, словно въ аду, мучать пару плоскихъ мужскихъ брюкъ. Онъ старался въ чемъ-то покаяться передъ Александромъ Яковлевичемъ, хотя бы въ дурной мальчишеской мысли, мелькавшей прежде (о непріятномъ сюрпризѣ, который онъ ему готовилъ своей книгой) — и вдругъ вспоминалъ пошлый пустякъ: какъ Щеголевъ говорилъ по какому-то поводу: «Когда у меня умирають добрые знакомые, невольно думаю, что они тамъ похлопочуть о моей здѣшней судьбѣ, — го-го-го!» Это было смутное, слѣпое состояніе души, непонятное ему, какъ вообще все было непонятно, отъ неба до желтаго трамвая, гремѣвшаго по раскату Гогенцоллерндама (по которому нѣкогда Яша Чернышевскій ѣхаль на смерть), но постепенно досада на самого себя проходила, и съ какимъ-то облегченіемъ — точно отвѣтственность за его душу принадлежала не ему, а кому-то знающему, въ чемъ дѣло, — онъ чувствовалъ, что весь этотъ переплетъ случайныхъ мыслей, какъ и все прочее, швы и просвѣты весенняго дня, неровности воздуха, грубая, такъ и сякъ скрещивающіяся нити неразборчивыхъ звуковъ — ни что иное какъ изнанка великолѣпной ткани, съ постепеннымъ ростомъ и оживленіемъ невидимыхъ ему образъ на ея лицевой сторонѣ.

Онъ очутился около бронзовыхъ боксеровъ, вокругъ

которыхъ на клумбѣ зыблились блѣдныя съ чернымъ Анютины глазки, личиками похожія нѣсколько на Чарли Чаплина, и сѣлъ на ту скамейку, гдѣ ночами раза два сиживалъ съ Зиной, — ибо за послѣднее время какое-то безпокойство вынесло ихъ далеко за предѣлы тихой, темной улицы, гдѣ они укрывались сначала. По сосѣдству сидѣла женщина, вязавшая на спицахъ; рядомъ съ ней маленькій ребенокъ, весь въ голубой шерсти, сверху кончающейся помпономъ на колпачкѣ, а снизу штрипочками, утюжилъ скамейку игрушечнымъ автомобилемъ; въ кустахъ кричали воробьи, изрѣдка всѣ вмѣстѣ совершавшіе налеты на газонъ, на бронзу; липко пахло тополевыми почками, а далеко за площадью круглый крематорій имѣлъ теперь сытый, облизанный видъ. Издали Федоръ Константиновичъ могъ видѣть маленькія фигуры расходившихся... онъ даже различилъ, какъ кто-то подвелъ Александру Яковлевну къ автомобилю (завтра нужно будетъ зайти къ ней), и какъ у остановки трамвая набралась кучка знакомыхъ, какъ ихъ скрылъ остновившійся на мгновение трамвай, и какъ съ легкостью фокуса они исчезли по отводѣ заслонки.

Федоръ Константиновичъ собрался было во-свояси, когда его сзади окликнулъ шепелявый голосъ: онъ принадлежалъ Ширину, автору романа «Сѣдина» (съ эпитафией изъ книги Іова), очень сочувственно встрѣченнаго эмигрантской критикой. («Господи, отче — — ? По Бродваю, въ лихорадочномъ шорохѣ долларовъ, гетеры и дѣлцы въ гетрахъ, дерясь, падая, задыхаясь, бѣжали за золотымъ тельцомъ, который, шурующими боками протискиваясь между небоскребами, обращалъ къ электрическому небу изможденный ликъ свой и вылъ. Въ Парижѣ, въ низкопробномъ притонѣ, старикъ Лашезъ, бывший пионеръ авіации, а нынѣ дряхлый бродяга, топталъ сапогами старуху-проститутку Буль-де-Сюифъ. Господи, отчего — — ? Изъ московскаго подвала вышелъ палачъ и, присѣвъ у конуры, сталъ тюлюкать мохнатого щенка: Махонькій, при-

говаривалъ онъ, махонькій.. Въ Лондонѣ лорды и лэди танцовали джими и распивали коктейль, изрѣдка посматривая на астраду, гдѣ на исходѣ восемнадцатаго ринга огромный негръ кнокъ-оутомъ уложилъ на коверъ своего бѣлокураго противника. Въ арктическихъ снѣгахъ, на пустомъ ящикѣ изъ-подъ мыла, сидѣлъ путешественникъ Эриксенъ и мрачно думалъ: Полюсь или не полюсь?.. Иванъ Червяковъ бережно обстригалъ бахрому единственныхъ брюкъ. Господи, отчего Вы позволяете все это?». Самъ Ширинъ былъ плотный, коренастый человекъ, съ рыжеватымъ бобрикомъ, всегда плохо выбритый, въ большихъ очкахъ, за которыми, какъ въ двухъ аквариумахъ, плавали два маленькихъ, прозрачныхъ глаза, совершенно равнодушныхъ къ зрительнымъ впечатлѣніямъ. Святая ненаблюдательность (а отсюда — полная неосвѣдомленность объ окружающемъ мірѣ — и полная неспособность что-либо именовать) — свойство, почему-то довольно часто встрѣчающееся у русскаго литератора-средняка, словно тутъ дѣйствуетъ нѣкій благотворный рокъ, отказывающій безталанному въ благодати чувственнаго познанія, дабы онъ зря не изгадилъ матеріала. Бываетъ, конечно, что въ такомъ темномъ человекѣ играетъ какой-то собственный фонарикъ, — не говоря о томъ, что извѣстны случаи, когда по прихоти находчивой природы, любящей неожиданная приспособления и подмѣны, такой внутренней свѣтъ поразительно яркъ — на зависть любому краснощекому таланту. Но даже Достоевскій всегда какъ-то напоминаетъ комнату, въ которой днемъ горитъ лампа.

Сейчасъ, идя вмѣстѣ съ Ширинымъ черезъ паркъ, Федоръ Константиновичъ безкорыстно наслаждался смѣшной мыслью, что его спутникъ — глухой слѣпецъ съ заткнутыми ноздрями, но къ этому состоянію относится совершенно равнодушно, хотя иногда не прочь наивно вздохнуть о разобщенности интеллигента съ природой: недавно Лишневскій рассказывалъ, что Ширинъ назначилъ ему дѣловое свиданіе въ Зоологическомъ саду и, когда, по-

слѣ часового разговора, Лишневскій случайно обратилъ его вниманіе на клѣтку съ гіеной, обнаружилось, что тотъ едва ли сознавалъ, что въ Зоологическомъ саду бываютъ звѣри, а вскользь посмотрѣвъ на клѣтку машинально замѣтилъ: «Плохо, плохо нашъ братъ знаетъ міръ животныхъ», — и сразу продолжалъ обсуждать то, что его особенно въ жизни волновало: дѣятельность и составъ Правленія Общества Русскихъ Литераторовъ въ Германіи. И теперь онъ находился въ крайней степени этого волненія, такъ какъ «назрѣвало нѣкоторое событіе».

Предсѣдателемъ Правленія былъ Георгій Ивановичъ Васильевъ, да и все предопредѣляло это: его досовѣтская извѣстность, многолѣтняя редакторская дѣятельность, а главное — та непреклонная почти грозная честность, которой имя его славилось; дурной же характеръ, полемическая рѣзкость и, при громадномъ общественномъ опытѣ, полное незнаніе людей, честности этой не только не вредили, а, наоборотъ, — придавали ей нѣкую пріятную герпикость. Недовольство Ширина было направлено не противъ него, а противъ остальныхъ пяти членовъ правленія — во-первыхъ, потому, что ни одинъ (какъ, впрочемъ, и двѣ трети всего состава Союза) не имѣлъ профессиональнаго касательства къ перу, а во-вторыхъ потому, что трое изъ нихъ (въ томъ числѣ казначей и товарищъ предсѣдателя) были — если не прямыми мошенниками, какъ пристрастно утверждалъ Ширинъ, — то, во всякомъ случаѣ, филломедами въ своихъ стыдливыхъ, но избрѣтательныхъ дѣлахъ. Вотъ уже нѣсколько времени, какъ началась довольно забавная (по мнѣнію Федора Константиновича) и абсолютно неприличная (по терминологіи Ширина) исторія съ кассой Союза. Всякій разъ, какъ поступало отъ какого-нибудь члена прощеніе о пособіи или ссудѣ (различіе между коими было приблизительно такое, какъ между арендой на девяносто девять лѣтъ и пожизненнымъ владѣніемъ), начиналась погоня за этой кассой, дѣлавшейся при попыткѣ ее нагнать до странности

текучей и безпредметной, словно она всегда находилась гдѣ-то на полпути между тремя точками; представляемыми казначеемъ, и двумя членами правленія. Погоня затруднялась тѣмъ, что Васильевъ давно съ этими тремя членами не разговаривалъ, отказываясь даже сноситься съ ними письменно, и послѣднее время выплачивалъ ссуды и пособия изъ собственныхъ средствъ, предоставляя другимъ добывать деньги изъ Союза для возвращенія ему. Въ концѣ концовъ деньги эти по кусочкамъ выпцарапывались, но тогда оказывалось, что казначей у кого-то взялъ въ долгъ, такъ что призрачное состояніе казны отъ этого не мѣнялось. Члены Союза, особенно часто обращавшіеся за помощью, начали замѣтно нервничать. Черезъ мѣсяць созывалось общее собраніе, и Ширинъ подготовилъ къ нему планъ рѣшительнаго дѣйствія.

«Было время, — сказала она шагая съ Федоромъ Константиновичемъ по аллеѣ и машинально слѣдуя ея лукаво ненавязчивому завороту; — было время, когда въ правленіе нашего Союза входили все люди высокопорядочные, вродѣ Подтягина, Лужина, Зиланова, но одни умерли, другіе въ Парижѣ. Какимъ-то образомъ просочился Гурманъ, а затѣмъ постепенно втащилъ пріятелей. Для этой тройки полная апатія добрѣйшихъ — я ничего не говорю — но совершенно инертныхъ Керна и Горяинова (это же двѣ глиняныя глыбы!), только прикрытіе, блиндажъ. А натянутыя отношенія съ Георгіемъ Ивановичемъ являются залогомъ и его бездѣтельности. Во всемъ этомъ виноваты мы, члены Союза. Если бы не наша лѣнь, беспечность, неорганизованность, равнодушное отношеніе къ Союзу, вопіющая неспособленность къ общественной работѣ, то никогда бы не случилось, что изъ года въ годъ Гурманъ со товарищи выбирали себя самихъ или себѣ удобныхъ. Пора положить этому конецъ. На ближайшихъ выборахъ будетъ какъ всегда циркулировать ихъ списокъ... А мы тутъ пустимъ нашъ, стопроцентно-профессиональный: предсѣдатель Васильевъ, товарищъ предсѣ-

дателя Гець, члены: Лишневскій, Шахматовъ, Владиміровъ, вы и я, — ну и ревизионную комиссію составимъ по-новому, тѣмъ болѣе что Бѣленькій и Чернышевскій изъ нея выбыли».

«Нѣтъ ужъ, пожалуйста, — сказала Федоръ Константиновичъ (мелькомъ полюбовавшись ширинскимъ опредѣленіемъ смерти), — на меня не рассчитывайте. Ни въ какія правленія никогда въ жизни не войду».

«Перестаньте! — воскликнулъ Ширинъ, поморщившись. — Это недобросовѣстно».

«Напротивъ, очень добросовѣстно. И вообще — если я членъ Союза, то это по разсѣянности. Честно говоря, Кончеевъ правъ, что держится отъ всего этого въ сторонѣ».

«Кончеевъ, — сказала Ширинъ сердито. — Кончеевъ — никому ненужный кустарь-одиночка, абсолютно лишенный какихъ-либо общихъ интересовъ. А вы ужъ потому должны интересоваться судьбой Союза, что, простите за прямоту, берете отсюда деньги».

«Вотъ именно, вотъ именно! Сами понимаете, что, если войду въ правленіе, то выдавать себѣ самому будетъ невозможно».

«Что вы фантазируете? Почему невозможно? Это вполне законная процедура. Будете просто вставать и удаляться въ уборную, на минуту превращаясь, такъ сказать, въ рядового члена, пока обсуждается коллегами ваше прошеніе. Все это пустыя отговорки, которыя вы сейчасъ придумали».

«Какъ вашъ новый романъ? — спросилъ Федоръ Константиновичъ. — Подходить къ концу?»

«Дѣло сейчасъ не въ моемъ романѣ. Я васъ очень прошу дать свое согласіе. Нужны молодыя силы. Этотъ списокъ мы съ Лишневскимъ обдумывали безъ конца».

«Ни за что, — сказала Федоръ Константиновичъ. — Не хочу дурака валять».

«Ну, если вы называете общественный долгъ валяніемъ дурака...»

«Если войду въ правленіе, то валять буду непременно, такъ что отказываюсь какъ разъ изъ уваженія къ долгу».

«Очень печально, — сказалъ Ширинъ. — Неужели придется вмѣсто васъ взять Ростислава Страннаго?»

«Конечно! Чудно! Обожаю Ростислава».

«Я собственно его отложилъ для ревизіонной комисіи. Есть еще, конечно, Бушъ... Но вы все-таки еще подумайте. Дѣло не пустяковое. Будетъ настоящее сраженіе съ этими разбойниками. Я такое выступленіе готовлю, что ой-ё-ёй. Подумайте, подумайте, у васъ есть еще цѣлый мѣсяцъ».

За этотъ мѣсяцъ вышла книга Федора Константиновича, и успѣло появиться два-три отзыва о ней, такъ что на общее собраніе онъ отправился съ приятнымъ чувствомъ, что увидитъ тамъ не одного врага-читателя. Происходило оно, какъ всегда, въ верхнемъ помѣщеніи большаго кафе, и, когда онъ пришелъ, всѣ уже были въ сборѣ. Феноменально проворный кельнеръ со стрѣляющими глазами разносилъ пиво и кофе. За столиками расположились члены Союза. Чистые литераторы тѣснились вмѣстѣ, и уже слышалось энергичное «пестъ, пестъ» Шахматова, которому подали не то, что онъ заказалъ. Въ глубинѣ, за длиннымъ столомъ, сидѣло правленіе: грузный, чрезвычайно мрачный Васильевъ, съ инженеромъ Керномъ и Горяиновымъ одесною, и тремя другими ошую. Кернъ, занимавшійся главнымъ образомъ турбинами, но когда-то близко знавшій Александра Блока, и бывшій чиновникъ бывшаго департамента Горяиновъ, прекрасно читавшій «Горе отъ Ума», а также діалогъ Иоанна съ литовскимъ посломъ (причемъ великолѣпно поддѣлывалъ польскій акцентъ), держались съ тихимъ достоинствомъ, давно, впрочемъ, предавъ своихъ трехъ неправедныхъ коллегъ. Изъ этихъ Гурманъ (удареніе на первомъ слогѣ) былъ

толстый, лысый человекъ, съ кофейнымъ родимымъ пятномъ въ полчерепа, большими покатыми плечами и презрительно-обиженнымъ выраженіемъ на толстыхъ, лиловатыхъ губахъ. Его прикосновенность къ литературѣ исчерпывалась недолгимъ и всецѣло коммерческимъ отношеніемъ къ какому-то нѣмецкому издательству техническихъ справочниковъ; главной же темой его личности, фавбулой его существованія, была спекуляція, — особенно онъ увлекался совѣтскими векселями. Рядомъ съ нимъ сидѣлъ маленькій, но крѣпко-упругій, присяжный повѣренный, съ выдающейся челюстью, волчьимъ огонькомъ въ правомъ глазу (другой былъ отъ природы прищуренъ) и цѣлымъ складомъ металла во рту, — человекъ бойкій, горячій, своего рода бретеръ, постоянно привлекавшій людей къ третейскому суду, причемъ объ этомъ говорилъ (я его вызвалъ, онъ отказался) съ чеканной суровостью испытаннаго дуэлянта. Второй пріятель Гурмана, рыхлый, сѣрый, томный, въ роговыхъ очкахъ, похожій всѣмъ обликомъ на мирную жабу, которая желаетъ только одного, — чтобы ее оставили совершенно въ покоѣ на сыромъ мѣстѣ, — когда-то куда-то давалъ замѣтки по экономическимъ вопросамъ, — хотя злоязычный Лишневскій даже и въ этомъ ему отказывалъ, клянясь, что единственнымъ его печатнымъ произведеніемъ было письмо въ редакцію одесской газеты, въ которомъ онъ возмущенно отмежовывался отъ неблаговиднаго однофамильца, оказавшагося въ послѣдствіи его родственникомъ, затѣмъ — его двойникомъ, и наконецъ — имъ самимъ, словно тутъ дѣйствовалъ неотвратимый законъ капельнаго притяженія и сліянія.

Федоръ Константиновичъ сѣлъ между Шахматовымъ и Владиміровымъ, около широкаго окна, за которымъ мокро чернѣла блестящая ночь, со свѣтовыми рекламами двухъ оттѣнковъ (на большее число не хватило берлинскаго воображенія), озонно-лазурнаго и портвейно-краснаго, и съ гремящимъ, многооконнымъ, отчетливо-быстро-

озареннымъ снутри электрическимъ поѣздомъ, скользвившимъ надъ площадью по вѣдуку, въ пролеты котораго внизу тикался и все не могъ найти лазейку медленной, скрежещущей трамвай.

Между тѣмъ предсѣдатель правленія всталъ и предложилъ выбрать предсѣдателя собранія, и тогда съ разныхъ мѣстъ понеслось: «Краевичъ, просимъ, Краевичъ...» — и профессоръ Краевичъ (ничего общаго не имѣвшій съ составителемъ учебника физики, — онъ былъ профессоромъ международного права), подвижной, угловатый старикъ въ вязаномъ жилетѣ и разлетающемся пиджакѣ, необычайно быстро, держа лѣвую руку въ карманѣ штановъ, а правой подкидывая пенснэ на шнуркѣ, пронесся къ столу президіума, опустился между Васильевымъ и Гурманомъ (который медленно и угрюмо вкручивалъ папиросу въ янтарный мундштукъ), тотчасъ вытянулся опять и объявилъ собраніе открытымъ.

«Интересно бы знать, — подумалъ Федоръ Константиновичъ, искоса взглянувъ на Владимірова, — прочелъ ли онъ уже...?» Владиміровъ опустил свой стаканъ и посмотрѣлъ на Федора Константиновича, но не произнесъ ничего. Подъ пиджакомъ у него былъ спортивный свэтеръ съ оранжево-черной каймой по вырѣзу, убылъ волосъ по бокамъ лба преувеличивала его размѣры, крупный носъ былъ что называется съ костью, непріятно блестяли сѣровато-желтые зубы изъ-подъ слегка приподнятой губы, глаза смотрѣли умно и равнодушно, — кажется, онъ учился въ Оксфордѣ и гордился своимъ псевдо-британскимъ пошибомъ. Онъ уже былъ авторомъ двухъ романовъ, отличныхъ по силѣ и скорости зеркальнаго слога, раздражавшаго Федора Константиновича потому, можетъ быть, что онъ чувствовалъ нѣкоторое съ нимъ родство. Какъ собесѣдникъ, Владиміровъ былъ до странности непривлекателенъ. О немъ говорили, что онъ насмѣшливъ, высокомеренъ, холоденъ, неспособенъ къ оттепели пріятельскихъ преній, — но такъ говорили и о Кончеевѣ, и о

самомъ Федорѣ Константиновичѣ, и о всякомъ, чья мысль живеть въ собственномъ домѣ, а не въ баракѣ или кабацѣ.

Когда выбранъ былъ и секретарь, профессоръ Краевичъ предложилъ почтить память двухъ скончавшихся членовъ Союза вставаніемъ; во время этого пятисекунднаго оцѣпенѣнія оглашенный кельнеръ окидывалъ глазами столики, забывъ, кто ему заказалъ принесенный имъ на поднось бутербродъ съ ветчиной. Каждый стоялъ, какъ могъ. Гурманъ, на примѣръ, опустивъ пѣгую голову, держалъ руку ладонью вверхъ на столѣ, такъ, словно выплеснулъ кости и сокрушенно замеръ надъ проигрышемъ.

«Алло! Хирь!», — крикнулъ Шахматовъ, съ трудомъ дождавшись того мгновенія, когда, съ грохотомъ облегченія, жизнь усѣлась опять, — и тогда кельнеръ быстро поднявъ указательный палецъ (вспомнилъ), скользнулъ къ нему и со звономъ поставилъ тарелку на поддѣльный мраморъ. Шахматовъ немедленно сталъ рѣзать бутербродъ, крестообразно держа ножъ и вилку; на краю тарелки желтая нашлепка горчицы подняла, какъ это обычно бываетъ, желтый свой рогъ. Покладисто-наполеоновское лицо Шахматова, съ голубовато-стальной прядью, идущей ко со къ виску, особенно нравилось Федору Константиновичу въ эти его гастрономическія минуты. Рядомъ съ нимъ сидѣлъ и пилъ чай съ лимономъ, самъ очень лимонный, съ печально приподнятыми бровями, сатирикъ изъ «Газеты», псевдонимъ котораго, Фома Муръ, содержалъ, по собственному его завѣренію, «цѣлый французскій романъ, страничку англійской литературы и немножко еврейскаго скептицизма». Ширинъ точилъ карандашъ надъ пепельницей, — весьма обиженный на Федора Константиновича за отказъ «фигурировать» въ избирательномъ списокѣ. Изъ литераторовъ тутъ былъ еще Ростиславъ Странный, — страшноватый господинъ съ браслеткой на волосатой кисти, — и пергаментная, съ воронными волосами, поэтесса Анна Аптекарь, и театральнѣйшій критикъ, — тощій, своеобразно-тихий молодой человекъ, съ какимъ-то неуловимо-

дагерротипнымъ оттѣнкомъ русскихъ сороковыхъ годовъ во всемъ обликѣ, — и, конечно, добрѣйшій Бушъ, отечески поглядывавшій на Федора Константиновича, который, въ полуха слушая отчетъ председателя Союза, теперь перешелъ взглядомъ отъ Буша, Лишневаго, Ширина и другихъ сочинителей къ общей гушѣ присутствующихъ, среди которыхъ было нѣсколько журналистовъ, вроде старичка Ступишина, въѣдавагося ложечкой въ клинъ кофейнаго торта, и много репортеровъ, и одиноко сидѣвшая, неизвѣстно по какому признаку здѣсь находившаяся Любовь Марковна, въ дугливо блестящемъ пенснэ, и вообще большое количество тѣхъ, которыхъ Ширинъ страстно называлъ «пришлымъ элементомъ»: представительный адвокатъ Чарскій, державшій въ бѣлой, всегда дрожащей рукѣ четвертую за это время папиросу; какой-то маленькій бородатый мытарь, когда-то напечатавшій некрологъ въ бундистскомъ журнальчикѣ; нѣжный, блѣдный старикъ, на вкусъ напоминавшій яблочную пастилу, съ увлеченіемъ отправлявшій должность регента церковнаго хора; громадный, загадочный толстякъ, жившій отшельникомъ въ сосновомъ лѣсу подъ Берлиномъ, чуть ли не въ пещерѣ, и тамъ составившій сборникъ совѣтскихъ анекдотовъ; отдѣльная группа скандалистовъ, самолюбивыхъ неудачниковъ; пріятный молодой человекъ, неизвѣстнаго состоянія и назначенія («чекистъ»), просто и мрачно говорилъ Ширинъ); еще одна дама, — чья-то бывшая секретарша; ея мужъ — братъ извѣстнаго издателя; и все эти люди, начиная отъ безграмотнаго оборванца, съ тяжелымъ, пьянымъ взглядомъ, пишущаго обличительно-мистическіе стихи, которые еще ни одна газета не согласилась напечатать, и кончая отвратительно-маленькимъ, почти портативнымъ присяжнымъ повѣреннымъ Пышкинымъ, который произносилъ въ разговорѣ съ вами: «Я не дымаю» и «Сымасшествіе», — словно устраивая своей фамиль нѣкое алиби, — все они, по мнѣнію Ширина, роняли достоинство Союза и подлежали немедленному изгнанію.

«Засимъ, — сказала Васильевъ, кончивъ свой отчетъ, — доведу до свѣдѣннй собранія, что слагаю съ себя обязанности председателя Союза и баллотироваться въ новое правленіе не буду».

Онъ сѣлъ. Потянудо холодкомъ. Гурманъ въ изнеможеніи печали смежилъ тяжелыя вѣки. Электрической поѣздъ проскользилъ смычкомъ по басистой струнѣ.

«Далѣе слѣдуетъ... — сказала профессоръ Краевичъ, поднявъ къ глазамъ пенснэ и смотря въ повѣстку, — отчетъ казначея. Прошу».

Упругій сосѣдъ Гурмана, взявъ сразу вызывающій тонъ, сверкая здоровымъ глазомъ и мощно кривя набитый драгоценностями ротъ, сталъ читать... посыпались, какъ искры, цифры, запрыгали металлическія слова... «вступили въ отчетный годъ»... «заприходовано»... «обревисовано»... — а Ширинъ, между тѣмъ, на оборотѣ папиросной коробки быстро началъ что-то отмѣчать, подытожилъ и побѣдоносно переглянулся съ Лишневскимъ.

Дочитавъ, казначей закрылъ со шелкомъ ротъ, а подалъ уже выросъ членъ ревизионной комиссіи, грузинскій социалистъ, съ выщербленнымъ оспой лицомъ, съ черными, какъ сапожная щетка волосами, и вкратцѣ изложилъ свои благопріятныя впечатлѣнія. Послѣ этого попросилъ слова Ширинъ, и сразу пахнуло чѣмъ-то приятнымъ, тревожнымъ и неприличнымъ.

Онъ сначала придрался къ тому, что расходъ по годовому балу непонятно великъ; Гурманъ хотѣлъ отвѣтить... председатель, нацѣлившись карандашемъ въ Ширину, спросилъ, кончилъ ли онъ... «Дайте высказаться, нельзя комкать!» — крикнулъ Шахматовъ съ мѣста, — и председательскій карандашъ, трепеща какъ жало, нацѣлился въ него, снова затѣмъ вернувшись къ Ширину, который, впрочемъ, поклонился и сѣлъ. Гурманъ, тяжело вставъ, презрительно и покорно неся горестное бремя, заговорилъ... но Ширинъ вскорѣ его прервалъ, и Краевичъ схватился за колокольчикъ. Гурманъ кончилъ, послѣ чего

мгновенно попросилъ слова казначей, но Ширинъ уже всталъ и продолжалъ: «Объясненіе достопочтеннаго джентльмена съ Фридрихштрассе...» — председатель позвонилъ и просилъ умѣрить выраженія, пригрозивъ лишить слова. Ширинъ опять поклонился и сказалъ, что у него только одинъ вопросъ: въ кассѣ, по словамъ казначея, находится три тысячи семьдесятъ шесть марокъ пятнадцать пфенниговъ, — можно на эти деньги сейчасъ взглянуть?

«Браво», — крикнулъ Шахматовъ, — и наименѣе привлекательный членъ Союза, мистическій поэтъ, захохоталъ, захопалъ въ ладоши, чуть не упалъ со стула. Казначей, поблѣднѣвъ до снѣгового блеска, сталъ быстро и дробно говорить... Пока онъ говорилъ прерываемый невозможными восклицаніями съ мѣстъ, нѣкто Шуфъ, худой, бритый господинъ, чѣмъ-то похожій на индѣйца, покинулъ свой уголь, незамѣтно, на резиновыхъ подошвахъ, подошелъ къ столу правленія и вдругъ по нему шмякнулъ краснымъ кулакомъ, такъ что даже подскочилъ звоночекъ. «Вы лжете!» — заоралъ онъ и снова усѣлся.

Скандалъ уже выпиралъ отовсюду, причемъ къ огорченію Ширина обнаружилось, что есть еще одна партія желающихъ захватить власть, а именно та группа вѣчно обойденныхъ, въ которую входилъ и мистикъ, и господинъ индѣйскаго вида, и маленький бородачъ и еще нѣсколько худосочныхъ и неуравновѣшенныхъ господъ, изъ которыхъ одинъ вдругъ началъ читать по бумажкѣ списокъ лицъ — совершенно непріемлемыхъ, — изъ которыхъ предлагалъ составить новое правленіе. Бой принялъ новый оборотъ, довольно запутанный, такъ какъ было теперь три воюющихъ стороны. Летали такія выраженія, какъ «спекулянтъ», «вы не дуэлеспособны», «вась уже били»... Говорилъ даже Бушъ, говорилъ перекрикивая оскорбительные возгласы, ибо изъ-за природной темноты его стили никто не понималъ, что онъ хочетъ сказать, пока онъ самъ не объяснилъ, садясь, что всецѣло присоеди-

няется къ мнѣнію предыдущаго оратора. Гурманъ, усмѣхаясь однѣми ноздрями, занимался своимъ мундштукомъ. Васильевъ покинулъ свое мѣсто и, сѣвъ въ уголь, дѣлалъ видъ, что читаетъ газету. Лишневскій произнесъ громкую рѣчь, направленную главнымъ образомъ противъ члена правленія, похожаго на мирную жабу, который при этомъ только разводилъ руками и обращалъ безпомощный взглядъ къ Гурману и къ казначею, старавшимся не смотрѣть на него. Наконецъ, когда поэтъ-мистикъ, шатко вставъ и качаясь, съ многообъщающей улыбкой на потномъ, буромъ лицѣ, началъ говорить стихами, предсѣдатель бѣшено зазвонилъ и объявилъ перерывъ, послѣ котораго должно было приступить къ выборамъ. Ширинъ метнулся къ Васильеву и принялся его уговаривать въ углу, а Федоръ Константиновичъ, почувствовавъ внезапную скуку, нашель свой макинтошъ и выбрался на улицу.

Онъ сердился на себя: ради этого дикаго дивертисмента пожертвовать всегдашнимъ, какъ звѣзда, свиданіемъ съ Зиной! Желаніе ее тотчасъ увидѣть его мучило своей парадоксальной неосуществимостью: не спи она въ двухъ съ половиной саженьяхъ отъ его изголовья, доступъ къ ней былъ бы легче. Потянулся по віадуку поѣздъ: зѣвокъ дамы, начавшійся въ освѣщенномъ окнѣ головного вагона, былъ законченъ другою — въ послѣднемъ. Федоръ Константиновичъ тихо пошелъ къ трамвайной остановкѣ, вдоль маслянисто-черной, трубящей улицы. Свѣтовая реклама мюзикъ-холя взбѣгала по ступенямъ вертикально расположенныхъ буквъ, онѣ погасали разомъ, и снова свѣтъ карабкался вверхъ: какое вавилонское слово достигло бы до небесъ... сборное названіе трилліона тоновъ: брилліантоводуннодилитовосизолазоревогрозносафиристосинелидово, — и такъ далѣе — сколько еще! Можетъ быть, попробовать позвонить? Всего гривенникъ въ карманѣ, и надо рѣшить: позвонить — все равно значило бы лишитъ себя трамвая, но позвонить впустую, т. е. не

попасть на самое Зину (звать ее через мать не допускалось кодексомъ), и вернуться пѣшкомъ, было бы черезчуръ обидно. Рискну. Онъ вошелъ въ пивную, позвонилъ, и все кончилось очень быстро: получилъ неправильный номеръ, попавъ какъ разъ туда, куда постоянно пытался попасть анонимный русскій, постоянно попадавшій къ Щеголевымъ. Что жъ, — пѣшедраломъ, какъ сказалъ бы Борисъ Ивановичъ.

На слѣдующемъ углу автоматически заработалъ при его приближеніи кукольный механизмъ проститутокъ, всегда сторожившихъ тамъ. Одна даже изобразила даму, замѣшкавшуюся у витрины, и было грустно думать, что эти розовые корсеты на золотыхъ болванкахъ она знаетъ наизусть, наизусть... «Дусенька», — сказала другая съ просительнымъ смѣшкомъ. Ночь была теплая, съ пылью звѣздъ. Онъ шелъ скорымъ шагомъ, и обнаженной головой было какъ-то дурманно легко отъ ночного воздуха, — и, когда дальше онъ проходилъ садами, наплывали привидѣнія сиреней, темнота зелени, чудные голые запахи, стлавшіеся по газону.

Ему было жарко, горѣлъ лобъ, когда онъ наконецъ, тихо защелкнувъ за собой дверь, очутился въ темной прихожей. Верхняя, тускло-стеклянная, часть Зибиной двери походила на озаренное море: она должно быть читала въ постели, — и, пока Федоръ Константиновичъ стоялъ и смотрѣлъ на это таинственное стекло, она кашлянула, шуркнула чѣмъ-то, и — свѣтъ потухъ. Какая нелѣпая пытка. Войти, войти... Кто бы узналъ? Люди, какъ Щеголевы, спятъ безчувственнымъ, простонароднымъ, стопроцентнымъ сномъ. Зибина щепетильность: ни за что не отпретъ на звонъ ногтя. Но она знаетъ, что я стою въ темной передней и задыхаюсь. Эта запретная комната стала за послѣдніе мѣсяцы болѣзненно, обузой, частью его самого, но раздутой и опечатанной: пневмотораксомъ ночи.

Онъ постоялъ — и на носкахъ пробрался къ себѣ. Въ общемъ — французскія чувства. Фома Муръ. Спать, спать

— тяжесть весны совершенно бездарна. Взять себя въ руки: монашескій каламбуръ. Что дальше? Чего мы, собственно, ждемъ? Все равно, лучшей жены не найду. Но нужна ли мнѣ жена вообще? «Убери лиру, мнѣ негдѣ вернуться...» Нѣтъ, она этого никогда не скажетъ, — въ томъ то и штука.

А черезъ нѣсколько дней, просто и даже глуповато, намѣтилось разрѣшеніе задачи, казавшейся столь сложной, что невольно спрашивалось: нѣтъ ли въ ея построении ошибки? Борисъ Ивановичъ, у котораго за послѣдніе годы дѣла шли все хуже, весьма неожиданно получилъ отъ берлинской фирмы солиднѣйшее представительство въ Копенгагенѣ. Черезъ два мѣсяца, къ первому іюля, надо было переселяться туда, по крайней мѣрѣ на годъ, а можетъ быть и навсегда, если дѣло пойдетъ успѣшно. Маріаннѣ Николаевнѣ, почему-то любившей Берлинъ (насиженное мѣсто, прекрасныя санитарныя условія, — сама-то она была грязнущая), уѣзжать было грустно, но когда она думала объ усовершенствованіяхъ быта, ожидавшихъ ее, грусть разсѣивалась. Такимъ образомъ было рѣшено, что съ іюля Зина останется одна въ Берлинѣ, продолжая служить у Траума, покамѣстъ Щеголеву «не подыщетъ ей службы» въ Копенгагенѣ, куда она и пріѣдетъ «по первому вызову» (т. е. это Щеголевы такъ думали, — Зина рѣшила совсѣмъ, совсѣмъ иначе). Оставалось урегулировать вопросъ квартиры. Продавать ее Щеголевымъ не хотѣлось, такъ что они стали искать, кому бы ее сдать. Нашли. Какой-то молодой нѣмецъ съ большимъ коммерческимъ будущимъ, въ сопровожденіи невѣсты, — простоватой, ненакрашенной, хозяйственно-коренастой дѣвицы въ зеленомъ пальто, осматрѣлъ квартиру — столовую, спальни, кухню, Федора Константиновича въ постели, — и остался доволенъ. Однако, квартиру онъ бралъ только съ перваго августа, такъ что еще въ теченіе мѣсяца послѣ отъѣзда Щеголевыхъ Зина и жилецъ могли въ ней оставаться. Они считали дни: полсотни, сорокъ девять, трид-

цать, двадцать пять, — каждая изъ этихъ цифръ имѣла свое лицо: улей, сорока на деревѣ, силуэтъ рыцаря, молодой человекъ. Ихъ вечернія встрѣчи вышли изъ береговъ первоначальной улицы (фонарь, липа, заборъ) еще весной, а теперь расширяющимися кругами безпокойное блужданіе вводило ихъ въ далекіе и никогда не повторявшіеся углы города. То это былъ мостъ надъ каналомъ, то трельяжный боскетъ въ паркѣ, за которымъ пробѣгали огни, то немощеная улица вдоль туманныхъ пустынь, гдѣ стояли темные фургоны, то какія-то странныя аркады, которыхъ днемъ было не отыскать. Измѣненія привычекъ передъ миграціей, волненіе, томная боль въ плечахъ.

Газеты опредѣлили молодое еще лѣто, какъ исключительно жаркое, и, дѣйствительно, — это было длинное многоточіе прекрасныхъ дней, прерываемое изрѣдка междомѣттемъ грозы. Въ то время, какъ Зина. изнемогала отъ зловонной жары въ конторѣ (пропотѣвшій подмышками пиджакъ Хамеке одинъ чего стоилъ... а топлёныя шеи машинистокъ... а липкая чернота угольной бумаги!), Федоръ Константиновичъ съ ранняго утра уходилъ на весь день въ Груневальдъ, забросивъ уроки и стараясь не думать о давно просроченномъ платежѣ за комнату. Никогда прежде онъ не вставалъ въ семь утра, это бы казалось чудовищнымъ, — но теперь при новомъ свѣтѣ жизни (въ которомъ какъ-то смѣшались возмужаніе дара, предчувствіе новыхъ трудовъ и близость полного счастья съ Зиной) онъ испытывалъ прямое наслажденіе отъ быстроты и легкости этихъ раннихъ вставаній, отъ вспышки движенія, отъ идеальной простоты трехсекунднаго одѣванія: рубашка, штаны и тапки на босу ногу, — послѣ чего онъ забиралъ подмышку пледъ, свернувъ въ него купальные трусики, совалъ въ карманъ на ходу апельсинъ, бутербродъ, и вотъ уже сбѣгалъ по лѣстницѣ.

Отвернутый половикъ держалъ дверь въ широко отворенномъ положеніи, покаместъ швейцаръ энергично выбивалъ пыльный матъ о стволъ нервной липы: чѣмъ я

заслужила битье? Асфальтъ еще былъ въ синей тѣни отъ домовъ. На панели блестяла первая свѣжая собачья куча. Вотъ изъ сосѣднихъ воротъ осторожно выѣхалъ и повернулъ по пустой улицѣ черный погребальный автомобиль, стоявшій вчера у починочной мастерской, и въ немъ, за стекломъ, среди бѣдыхъ искусственныхъ розъ, лежалъ на мѣстѣ гроба велосипедъ: чей? почему? Молочная была уже открыта, но еще спалъ лѣнивый табачникъ. Солнце играло на разнообразныхъ предметахъ по правой части улицы, выбирая какъ сорока маленькія блестящія вещи; а въ ея концѣ, гдѣ шель поперекъ широкой логъ желѣзной дороги, вдругъ появилось съ правой стороны моста разорвавшееся о его желѣзныя ребра облако паровознаго дыма, тотчасъ забѣлѣлось опять съ другой и прерывисто побѣжало въ просвѣтахъ между деревьями. Проходя затѣмъ по этому мосту, Федоръ Константиновичъ, какъ всегда, былъ обрадованъ удивительной поэзіей желѣзнодорожныхъ откосовъ, ихъ вольной и разнообразной природой: заросли акацій и лозняка, дикая трава, пчелы, бабочки, — все это уединенно и безопасно жило въ рѣзкомъ сосѣдствѣ угольной сыпи, блестящей внизу, промежъ пяти потоковъ рельсовъ, и въ блаженномъ отчужденіи отъ городскихъ кулисъ наверху, отъ облупившихся стѣнъ старыхъ домовъ, грѣвшихъ на утреннемъ солнцѣ татуированныя спины. За мостомъ, около скверика, двое пожилыхъ почтовыхъ служащихъ, покончивъ съ провѣркой марочнаго автомата и вдругъ разыгравшись, на цыпочкахъ, одинъ за другимъ, одинъ подражая жестамъ другого, изъ-за жасмина подкрались къ третьему, съ закрытыми глазами, кротко и кротко, передъ трудовымъ днемъ, сомлѣвшему на скамьѣ, чтобы цвѣткомъ пощекотать ему носъ. Куда мнѣ дѣвать всѣ эти подарки, которыми лѣтнее утро награждаетъ меня — и только меня? Отложить для будущихъ книгъ? Употребить немедленно для составления практическаго руководства: «Какъ быть Счастливымъ»? Или глубже, дотошнѣе: понять, что скрываетъ

ся за всё это, за игрой, за блескомъ, за жирнымъ, зеленымъ гримомъ листвы? А что-то вѣдь есть, что-то есть! И хочется благодарить, а благодарить некого. Спиритъ уже поступившихъ пожертвованій: 10.000 дней — отъ Неизвѣстнаго.

Онъ шель дальше, мимо чугунныхъ оградъ, мимо глубокихъ садовъ банкирскихъ виллъ, съ гротовыми тѣнями, буксомъ, плющомъ, газонами въ бисерѣ поливки, — и тамъ уже попадались, среди ильмовъ и липъ, первая сосны, высланные далеко впередъ груневальдскимъ боромъ (или, напротивъ: отставшія отъ полка?). Звонко посвистывая и поднимаясь (въ гору) на педаляхъ своего трехколеснаго велосипеда, проѣхалъ разсылный пекарни; медленно, съ влажнымъ шорохомъ, проползъ водометный автомобиль — кить на колесахъ, широко орошая асфальтъ. Нѣкто съ портфелемъ захлопнулъ за собой выкрашенную въ вермиліонъ калитку и отправился на невѣдомую службу. По его пятамъ Федоръ Константиновичъ выцель на бульваръ (все тотъ же Гогенцоллерндамъ, въ началѣ котораго сожгли бѣднаго Александра Яковлевича), и тамъ, сверкнувъ замкомъ, портфель побѣжалъ къ трамваю. Теперь до лѣса было уже близко, и онъ ускорилъ шагъ, уже чувствуя горячую маску солнца на приподнятомъ лицѣ. Въ глазахъ рябило отъ частотола, мимо котораго онъ шель. На вчерашнемъ пустырькѣ между домами строилась небольшая вилла, и такъ какъ небо глядѣло въ провалы будущихъ оконъ, и лопухи да солнце, по случаю медленности работъ, успѣли устроиться внутри бѣлыхъ недоконченныхъ стѣнъ, онѣ отдавали задумчивостью равалинъ, — вродѣ слова «нѣкогда», которое служить и будущему и былому. Навстрѣчу Федору Константиновичу прошла молоденькая, съ бутылкой молока, дѣвица, похожая чѣмъ-то на Зину — или, вѣрнѣе, содержащая частицу того очарованія — и определеннаго и вмѣстѣ безотчетнаго — которое онъ находилъ во многихъ, но съ особенной полнотой въ Зинѣ, такъ что всё онѣ были съ

Зиною въ какой-то таинственной родственной связи, о которой онъ зналъ одинъ, хотя совершенно не могъ выразить признаки этого родства (въ котораго находившіяся женщины вызывали въ немъ болѣзненное отвращеніе), — и теперь, оглянувшись и уловивъ какую-то давно знакомую, золотую, летучую линію, тотчасъ исчезнувшую навсегда, онъ мелькомъ почувствовалъ наплывъ безнадежнаго желанія, вся прелесть и богатство котораго были въ его неутолимости. Банальный бѣсъ бульварныхъ блаженствъ, не соблазняй меня страшнымъ словомъ «мой типъ». Не это, не это, а что-то за этимъ. Опредѣленіе всегда есть предѣлъ, а я домогаюсь далей, я ищу за рогатками (словъ, чувствъ, міра) бесконечность, гдѣ сходится все, все.

Въ концѣ бульвара зазеленѣлась опушка бора, съ пестрымъ портикомъ недавно выстроеннаго павильона (въ атриумѣ котораго находился ассортиментъ уборныхъ, — мужскихъ, женскихъ, дѣтскихъ), черезъ который — по замыслу мѣстныхъ Ленотровъ — слѣдовало пройти, чтобы сначала попасть въ только-что разбитый садъ, съ альпійской флорой вдоль геометрическихъ дорожекъ, бывшій — все по тому же замыслу — приятнымъ преддверіемъ къ лѣсу. Но Федоръ Константиновичъ взялъ влѣво, избѣжавъ преддверія: такъ было ближе. Сосновая, еще дикая опушка тянулась безъ конца вдоль автомобильной аллеи, но былъ неизбѣженъ слѣдующій шагъ со стороны отцовъ города: загородить весь этотъ свободный доступъ бесконечной рѣшеткой, такъ чтобы портикъ сталъ входомъ по необходимости (въ буквальнѣйшемъ, первоначальномъ смыслѣ). Я для тебя устроилъ казисто, но ты не прельстился; такъ теперь изволь: казисто, казенно, приказъ. Но (по обратному скачку мысли: фЗ-г1) врядъ ли было лучше, когда этотъ лѣсъ — теперь отступившій, теперь тѣснившійся вокругъ озера, — какъ у насъ, отдалившихся отъ мохнатыхъ предковъ, растительность постепенно остается лишь по бережкамъ, — простирается до самаго сердца теперешняго города, и рыскало по его дебрямъ

громкое княжеское хамье, съ рогами, псами, загонщиками.

Лѣсъ, какимъ я его засталъ, былъ еще живымъ, богатымъ, полнымъ птицъ. Попадались иволги, голуби, сойки; пролетала ворона пыхтя крыльями: хшу, хшу, хшу; красноголовый дятель стучалъ въ сосновый стволъ, — а иногда, полагая, лишь подражалъ собственному стуку, и тогда выходило особенно звонко и убѣдительно (для самочки); ибо ничего нѣтъ болѣе обворожительно-божественнаго въ природѣ, чѣмъ ея всплывающій въ неожиданный мѣстахъ остроумный обманъ: такъ, лѣсной кузнецикъ (заводящій свой маленькій моторъ, все немогущій завестись: цикъ-цикъ-цикъ — — обрывается), прыгнувъ и упавъ, сразу мѣняетъ положеніе тѣла, поворачивая его такъ, чтобы направленіе темныхъ полосокъ на немъ совпало съ направленіемъ палыхъ иголокъ (и тѣней иголокъ!). Но осторожно: люблю вспоминать, что писалъ мой отецъ: «При наблюденіи происшествій въ природѣ надобно остерегаться того, чтобы въ процессъ наблюденія, пускай наимвнимательнѣйшаго, нашъ разсудокъ, этотъ болтливый, впередъ забѣгающій драгоманъ, не подсказалъ объясненія, незамѣтно начинающаго вліять на самый ходъ наблюденія и искажающаго его: такъ на истину ложится тѣнь инструмента».

Дай руку, дорогой читатель, и войдемъ со мной въ лѣсъ. Смотри: сначала — сквозистыя мѣста, съ островками чертополоха, крапивы или царскаго чая, среди которыхъ попадаются отбросы: иногда даже рваный матрацъ со сломанными ржавыми пружинами, — не брезгуй ими! Вотъ — темный, частый ельничекъ, гдѣ однажды я набрелъ на ямку (бережно вырытую передъ смертью), въ которой лежалъ, удивительно изящно согнувшись, лапы къ лапамъ, трупъ молодой, тонкомордой собаки волчьихъ кровей. А вотъ — голые, безъ подлѣска, только бурными иглами высланные, бугры подъ простоватыми соснами, съ протянутымъ гамакомъ, наполненнымъ чѣмъ-то не требовательнымъ тѣломъ, — и проволочный остовъ аба-

жура валяется тутъ же на землѣ. Дальше — песчаная проплѣшина, окруженная акаціями, и тамъ, на горячемъ, съромъ, прилипчивомъ пескѣ, сидитъ, протянувъ страшныя босыя ноги, въ одномъ бѣлѣ женщина и штопаетъ чулокъ, а около нея возится младенецъ, съ почернѣвшими отъ пыли пашками. Со всѣхъ этихъ мѣстъ еще видна проѣзжая аллея, пробѣгающій блескъ автомобильныхъ радиаторовъ, — но стоитъ проникнуть немного глубже, и лѣсъ выправляется, сосны облагораживаются, подъ ногами хруститъ мохъ, и кто-нибудь, безработный бродяга, непремѣнно тутъ спитъ, прикрывъ лицо газетой: философъ предпочитаетъ мохъ розамъ. Вотъ точное мѣсто, гдѣ на-дняхъ упалъ небольшой аэропланъ: нѣкто, катая свою даму по утренней лазури, перерѣзвился, потерялъ власть надъ рулемъ и со свистомъ, съ трескомъ нырнулъ прямо въ соснякъ. Я пришелъ, къ сожалѣнію, съ опозданиемъ: обломки успѣли убрать, два полицейскихъ верхами ѣхали шагомъ къ дорогѣ, — но еще былъ замѣтенъ отпечатокъ удалой смерти подъ соснами, одна изъ коихъ была сверху донизу обрита крыломъ, и архитекторъ Штокшмайсеръ съ собакой объяснялъ нянѣ съ ребенкомъ, что произошло, — а еще черезъ нѣсколько дней всякіе слѣды пропали (только желтѣла рана на сосновомъ стволѣ), и уже въ полномъ невѣдѣніи на этомъ самомъ мѣстѣ двое, старикъ и его старуха, она — въ лифчикѣ, онъ — въ подштанникахъ, дѣлали другъ передъ другомъ несложную гимнастику.

Дальше становилось совсѣмъ хорошо: сосны входили въ полную силу, и между розоватыми чешуйчатыми стволами низкая перистая листва рябинъ и крѣпкая зелень дубовъ оживленно дробили полосоватость борového солища. Въ густотѣ дуба, если смотрѣть снизу, взаимное перекрытіе листьевъ тѣневыхъ и освѣщенныхъ, темно-зеленыхъ и ярко-изумрудныхъ, казалось особеннымъ сцѣпленіемъ ихъ волнистыхъ краевъ, и на нихъ садилась, то нѣжа въ блескѣ свой рыжей шелкъ, то плотно складывая

крылья, вырѣзная ванесса, съ бѣлой скобочкой на дикомъ исподѣ, и, вдругъ снявшись, садилась ко мнѣ на голую грудь, привлеченная человѣческимъ потомъ. А еще выше, надъ моимъ запрокинутымъ лицомъ, верхи и стволы сосенъ сложно обмѣнивались тѣнями, и хвоя напоминала водоросли, шевелившіяся въ прозрачной водѣ. И если еще больше запрокинуться, такъ, чтобы сзади трава (неизяснимо, первозданно-сызнава позеленѣвшая, — съ этой точки перевернутаго зрѣнія) казалась растущей куда-то внизъ, въ дустой прозрачный свѣтъ, и была бы верхомъ міра, я улавливалъ ощущеніе, которое должно поразить перелетѣвшаго на другую планету (съ другимъ притяженіемъ, другой плотностью, другимъ образомъ чувствъ) — особенно, когда проходила вверхъ ногами семья гуляющихъ, причемъ шагъ ихъ становился толчкомъ упругимъ и страннымъ, а подброшенный мячъ казался падающимъ — все тише — въ головокружительную бездну.

При дальнѣйшемъ движеніи впередъ, — не налѣво, куда боръ простирался безъ конца, и не направо, гдѣ онъ прерывался молоденькимъ березнякомъ, свѣжо и подѣтски попахивавшимъ Россіей, — лѣсъ становился опять рѣже, терялъ подсѣдъ, обрывался по песчанымъ косогорамъ, и внизу зажигалось столбами свѣта широкое озеро. Солнце разнообразно озаряло противоположные скаты, и, когда отъ наплыва облака воздухъ смежался, какъ великое синее вѣко, и медленно прозрѣвалъ опять, одинъ берегъ всегда отставалъ отъ другого, въ порядкѣ постепеннаго потуханія и просвѣтлѣнія. Песчаной каймы на той сторонѣ почти не было, деревья всѣ вмѣстѣ спускались къ густымъ тростникамъ, а повыше можно было найти горячіе, сухіе склоны, поросшіе кашкой, кислицей и молочаемъ, отороченные живой тьмой дубовъ и буковъ, валомъ налившихъ внизъ, въ сырыя ложбинки, въ одной изъ которыхъ застрѣлился Яша Чернышевскій.

Когда я по утрамъ приходилъ въ этотъ лѣсной міръ,

образъ котораго я собственными средствами какъ бы приподнялъ надъ уровнемъ тѣхъ нехитрыхъ воскресныхъ впечатлѣній (бумажная дрянь, толпа пикниующихъ), изъ которыхъ состояло для берлинцевъ понятіе «Груневальдъ»; когда въ эти жаркія, лѣтнія будни я направлялся въ его южную сторону, въ глушь, въ дикія, тайныя мѣста, я испытывалъ неменьшее наслажденіе, чѣмъ если бы въ этихъ трехъ верстахъ отъ моей Агамемнонштрассе находился первобытный рай. Дойдя до одного излюбленнаго уголка, сказочно совмѣщавшаго свободный потокъ солнца и защиту кустарника, я раздѣвался донага и ложился навзничъ на пледъ, подложивъ ненужные трусики подъ затылокъ. Благодаря сплошному загару, бронзой облившему тѣло, такъ что только пятки, ладони и лучевыя черты у глазъ оставались естественной масти, я чувствовалъ себя атлетомъ, тарзаномъ, адагомъ, всѣмъ, чѣмъ угодно, но только не голымъ горожаниномъ. Неловкость, обычно сопряженная съ наготой, зависитъ отъ сознанія нашей незащитной бѣлизны, давно утратившей связь съ окраской окружающаго міра, а потому находящейся въ искусственной дисгармоніи съ нимъ. Но вліяніе солнца восполняетъ пробѣлъ, уравниваетъ насъ въ голыхъ правахъ съ природой, и уже загорѣвшее тѣло не ощущаетъ стыда. Все это звучитъ, какъ брошюрка нюдистовъ, — но своя правда не виновата, если съ ней совпадаетъ правда, взятая бѣднякомъ напрокатъ.

Солнце наваливалось. Солнце сплошь лизало меня большимъ, гладкимъ языкомъ. Я постепенно чувствовалъ, что становлюсь раскаленно-прозрачнымъ, наливаюсь пламенемъ и существую только, поскольку существуетъ оно. Какъ сочиненіе переводится на экзотическое нарѣчіе, я былъ переведенъ на солнце. Тошій, зябкій, зимній Федоръ Годуновъ-Чердынцевъ былъ теперь отъ меня такъ же отдаленъ, какъ, если бы я сослалъ его въ Якутскую область. Тотъ былъ блѣднымъ снимкомъ съ меня, а этотъ, лѣтній, былъ его бронзовымъ, преувеличеннымъ

подобіемъ. Собственное же мое я, то, которое писало книги, любило слова, цвѣта, игру мысли, Россію, шоколадъ, Зину, — какъ-то разошлось и растворилось, силой свѣта сначала опрозраченное, затѣмъ пріобщенное ко всему мрѣнію лѣтняго лѣса, съ его атласистой хвоей и райски-зелеными листьями, съ его муравьями, ползущими по преображенному, разноцвѣтнѣйшему сукну пледа, съ его птицами, запахами, горячимъ дыханіемъ крапивы, плотскимъ душкомъ нагрѣтой травы, съ его небесной синевой, гдѣ высоко-высоко гремѣлъ самолетъ, какъ бы подернутый синей пылью, синей сущностью тверди: онъ былъ синеватъ, какъ влажна рыба въ водѣ.

Такъ можно было раствориться окончательно. Федоръ Константиновичъ приподнялся и сѣлъ. По гладко выбрированной груди стекала ручеекъ пота, впадая въ водоемъ пула. Впалый животъ отливалъ коричнево и перламутрово. По блестящимъ чернымъ колечкамъ волосъ нервно ползъ заплутавшій муравей. Голени лоснились. Между пальцевъ ногъ застряли сосновые иголки. Онъ трусиками отеръ коротко остриженную голову, липкій затылокъ, шею. Бѣлочка съ круглой спинкой пробѣжала по травѣ, отъ дерева къ дереву, волнисто и чуть неуклюже. Дубовые кусты, бузина, стволы сосенъ, — все было ослѣпительно пятнисто, и небольшое облако, ничѣмъ не портившее лица лѣтняго дня, ощупью ползло мимо солнца.

Онъ всталъ, шагнулъ — и немедленно легкая лапа лиственной тѣни легла ему на лѣвое плечо, но соскользнула при слѣдующемъ шагѣ. Посмотрѣвъ на положеніе солнца, Федоръ Константиновичъ перетаскилъ пледъ на аршинъ, такъ чтобы тѣнь листвы не могла на него покутиться. Двигаться нагишомъ было удивительнымъ блаженствомъ, — свобода чреселъ особенно веселила его. Онъ пошелъ между кустами, прислушиваясь къ звону насаѣкомыхъ, къ шорохамъ птицъ. Королекъ, какъ мышь, скользнулъ въ листвѣ дубка; низко пролетѣла земляная оса, держа въ лапкахъ трупъ гусеницы; давешняя бѣлка

съ прерывистымъ, скребущимъ звукомъ, вскарабкалась по корѣ. Гдѣ-то невдалекѣ зазвучали дѣвичьи голоса, и онъ остановился въ пятнахъ тѣни, неподвижно застывшихъ у него вдоль руки, но ровно содрагавшихся на лѣвомъ боку, между реберъ. Золотой, коренастый мотылекъ, снабженный двумя запятыми, сѣлъ на дубовый листъ, раскрывъ крыльца лодочкой и вдругъ стрѣльнулъ прочь, какъ золотая муха. И, какъ часто бывало въ эти лѣсные дни, особливо когда мелькали знакомыя бабочки, Федоръ Константиновичъ представилъ себѣ уединеніе отца въ другихъ лѣсахъ, исполинскихъ, безконечно далекихъ, по сравненію съ которыми этотъ былъ хворостомъ, пнемъ, дребеденью. А все-таки онъ переживалъ нѣчто родственное той зіяющей на картахъ азиатской свободѣ, духу отцовскихъ страстей, — и здѣсь труднѣе всего было повѣрить, что, несмотря на волю, на зелень, на счастливый, солнечный мракъ, отецъ все-таки умеръ.

Голоса зазвучали ближе и прошли стороною. Слѣпень, незамѣтно сѣвшій къ нему на ляжку, успѣлъ обжечь тупымъ хоботкомъ. Мохъ, мурава, песокъ — каждый по-своему — сообщался съ босой подошвой, и по-разному солнце и тѣнь ложились на горячій шелкъ тѣла. Чувства, обостренныя вольнымъ зноемъ, раздражала возможность сильвійскихъ встрѣчъ, мифическихъ умыканій. *Le sanglot dont j'étais encore ivre*. Далъ бы годъ жизни, даже высокосный, чтобъ сейчасъ была здѣсь Зина — или любая изъ ея кордебалета.

Онъ опять ложился плашмя, опять вставалъ; съ бьющимся сердцемъ прислушивался къ какимъ-то лукавымъ, невнятнымъ, что-то общающимъ звукамъ; затѣмъ, натянувъ только трусики и спрятавъ пледъ съ одеждой подъ кустомъ, уходилъ бродить по лѣсу, вокругъ озера.

Тамъ и сямъ, въ будни негусто, попадались болѣе или менѣе оранжевыя тѣла. Всматриваться онъ избѣгалъ, боясь перехода отъ Пана къ Симплициссимусу. Но иногда, рядомъ со школьнымъ портфелемъ и сверкающимъ вело-

силедомъ, прислоненнымъ къ стволу, лежала одинокая нимфа, раскинувъ обнаженные до паховъ, замшево-нѣжные ноги, заломивъ руки, показывая солнцу блестящія мышкы; стрѣла соблазна едва успѣвала пролѣтъ и вонзиться, какъ уже онъ замѣчалъ, что, на нѣкоторомъ разстоянїи, въ трехъ, одинаково отдаленныхъ точкахъ, образующихъ магическій треугольникъ вокругъ (чьей?) добычи, виднѣются среди стволовъ три неподвижныхъ ловца, другъ другу незнакомыхъ: два молодыхъ (этотъ ничкомъ, тотъ на боку) и старѣй господинъ въ жилетѣ, съ резинками на рукавахъ рубаки, плотно сидящїй на травѣ, неподвижный, вѣчный, съ грустными, но терпѣливыми глазами; и казалось, эти три ударяющихъ въ одну точку взгляда наконецъ, съ помощью солнца, прожгутъ дырку въ черномъ купальномъ трико бѣдной нѣмецкой дѣвочки, неподнимающей масломъ смазанныхъ вѣкъ.

Онъ спускался на песчаный бережокъ озера и тутъ, въ грохотѣ голосовъ, ткань очарованїя, которую онъ самъ такъ тщательно свиль, совсѣмъ разрывалась, и онъ съ отвращенїемъ видѣлъ измятыя, выкрученныя, искривленныя нордостомъ жизни, голая и полураздѣтыя — вторыя были страшнѣе — тѣла купальщиковъ (мѣлкихъ мѣщанъ, праздныхъ рабочихъ), шевелившїяся на грязно-сѣромъ пескѣ. Тамъ, гдѣ береговая дорога шла вдоль этой узкой, темной губы озера, послѣдняя была отъ дороги отдѣлена кольями съ замученной, провалившейся проволокой, и береговыми завсегдатаями особенно цѣнилось мѣсто около вѣшалы колъевъ — то ли потому, что на нихъ удобно вѣшались штаны на своихъ подтяжкахъ (а бѣлье клалось на пыльную крапиву), то ли изъ-за смутно охраннаго ощущенїя ограды за спиной. Тамъ же, гдѣ дорога поднималась выше, къ озеру спускались грубо-песчаные скаты въ заплаткахъ стоптанной травы, и въ различныхъ по положенїю солнца наплывахъ лѣгой тѣни отъ буковъ и сосенъ, несдержанно сошедшихъ внизъ.

Сѣрья, въ паростахъ и вздутыхъ жилахъ, старческа

ноги, какая-нибудь плоская ступня и янтарная, туземная мозоль, розовое, какъ свинья, пузо, мокрые, блѣдные отъ воды, хрипло-голосые подростки, глобусы грудей и тяжелыя гузна, рыхлыя, въ голубыхъ подтекахъ, ляжки, гусиная кожа, прыщавыя лопатки кривоногихъ дѣвъ, крѣпкія шеи и ягодицы мускулистыхъ хулигановъ, безнадежная, безбожная тупость довольныхъ лицъ, возня, гоготъ, плескъ — все это сливалось въ апофеозъ того славнаго нѣмецкаго добродушія, которое съ такой естественной легкостью можетъ въ любую минуту обернуться бѣшенымъ улюлюканіемъ. И надъ всѣмъ этимъ, особенно по воскресеньямъ, когда тѣснота была всего гаже, господствовалъ незабываемый запахъ, запахъ пыли, пота, тины, нечистаго бѣлья, провѣтриваемой и сохнувшей бѣдности, запахъ вяленыхъ, копченыхъ, грошевыхъ душъ. Но самое озеро, съ ярко-зелеными купами деревьевъ на той сторонѣ и солнечной рябью посрединѣ, держалось съ достоинствомъ.

Выбравъ тайный затончикъ среди камышей, Федоръ Константиновичъ пускался вплавъ. Теплая муть воды, въ глазахъ искры солнца. Онъ плывалъ долго, полчаса, пять часовъ, сутки, недѣлю, другую. Наконецъ, двадцать восьмого іюня, около трехъ часовъ пополудни, онъ вышелъ на тотъ берегъ.

Выбравшись изъ прибрежнаго шпината, онъ сразу попалъ въ дубраву и оттуда полѣзъ на горячій скатъ, гдѣ скоро обсохъ на солнцѣ. Справа былъ буеракъ, заросшій дубкомъ и ежевикой. И сегодня, какъ всякій разъ, когда онъ попадалъ сюда, Федоръ Константиновичъ спустился въ эту глубь, всегда притягивавшую его, словно онъ былъ какъ-то повиненъ въ гибели незнакомаго юноши, застрѣливашагося здѣсь, — вотъ здѣсь. Онъ подумалъ о томъ, что и Александра Яковлевна сюда приходила, маленькими, въ черныхъ перчаткахъ, руками дѣловито шарила между кустовъ... Онъ не зналъ ея тогда, не могъ видѣть

это, — но по ея разсказу о своихъ многократныхъ паломничествахъ чувствовалъ, что это было именно такъ: исканіе чего-то, шуршаніе, тыкающій зонтикъ, сіяющіе глаза, дрожащія отъ рыданій губы. Онъ вспомнилъ, какъ этой весной видѣлся съ ней — въ послѣдній разъ — послѣ кончины мужа, и странное ощущеніе, которое онъ испыталъ, глядя на ея опущенное, не по-житейски нахмуренное лицо, точно ее никогда раньше не видѣлъ по-настоящему, а теперь различалъ на этомъ лицѣ сходство съ ея покойнымъ мужемъ, чья смерть выразилась въ ней какимъ-то скрытымъ дотолѣ траурно-кровнымъ родствомъ съ нимъ. Черезъ день она уѣхала къ родственникамъ въ Ригу, — и уже теперь ея образъ, разсказы о сынѣ, литературные вечера въ ея домѣ, душевная болѣзнь Александра Яковлевича, все это отслужившее, само собою смоталось, кончилось, какъ накрестъ связанный свертокъ жизни, который будетъ храниться долго, но котораго никогда не развяжутъ опять лѣнвивыя, все откладывающія на другой день, неблагодарныя руки. Его охватило паническое желаніе не дать этому замкнуться такъ и пропасть въ углу душевнаго чулана, желаніе примѣнить все это къ себѣ, къ своей вѣчности, къ своей правдѣ, помочь ему произрасти по-новому. Есть способъ, — единственный способъ.

Онъ поднялся по другому скату, и тамъ, наверху, у спускавшейся опять тропинки сидѣлъ на скамейкѣ подъ дубомъ, съ медленно чертящей тростью въ задумчивыхъ рукахъ, сутулой молодой человѣкъ въ черномъ костюмѣ. Какъ ему должно быть жарко, подумалъ голый Федоръ Константиновичъ. Сидящій взглянулъ... Солнце, какъ деликатный фотографъ, повернуло и слегка приподняло его лицо, безкровное лицо съ широко разставленными близоручко-сѣрыми глазами. Между углами крахмальнаго воротничка типа «собачья радость» блеснула запонка надъ съѣхавшимъ узломъ галстука.

«Какъ вы однако загорѣли, — сказалъ Кончевъ, —

врядъ ли это безвредно. А гдѣ, собственно, ваша одежда?»
«Тамъ, — отвѣтилъ Федоръ Константиновичъ, — на той сторонѣ, въ лѣсу».

«Могутъ украсть, — замѣтилъ Кончеевъ. — Недаромъ «Неужели вамъ не жарко?» — спросилъ Федоръ Консаживайтесь».

Федоръ Константиновичъ сѣлъ и сказалъ: «А вы знаете, гдѣ мы съ вами находимся? Вонъ за этой ожиной, внизу, застрѣлился когда-то сынъ Чернышевскихъ, поэтъ».

«А, это было здѣсь, — безъ особаго любопытства проговорилъ Кончеевъ. — Что жъ — его Ольга недавно вышла за мѣховщика и уѣхала въ Соединенные Штаты. Несовсѣмъ гусарь, но все-таки...»

«Неужели вамъ ъне жарко?» — спросилъ Федоръ Константиновичъ.

«Нисколько. У меня слабая грудь, и я всегда зябну. Но, конечно, когда сидишь рядомъ съ голымъ, физически чувствуешь существованіе магазиновъ готоваго платья. И тѣлу темно. Зато мнѣ кажется всякая работа мысли совершенно невозможна для васъ при такомъ обнаженномъ состояніи?»

«Пожалуй, — усмѣхнулся Федоръ Константиновичъ. — Все больше — живешь на поверхности собственной кожи...»

«Въ томъ-то и дѣло. Только и занимаешься обходомъ самого себя да слѣжкой за солнцемъ. А мысль любить занавѣску, камеру обскуру. Солнце хорошо, поскольку при немъ повышается цѣнность тѣни. Тюрьма безъ тюремщика и садъ безъ садовника — вотъ, по-моему, идеаль. Скажите, вы читали, что я написалъ о вашей книгѣ?»

«Читалъ, — отвѣтилъ Федоръ Константиновичъ, слѣдя за маленькой гусеницей - землемѣромъ, провѣрившей, сколько дюймовъ на скамьѣ между нимъ и сосѣдомъ. — Очень даже читалъ. Я сначала хотѣлъ вамъ написать благодарственное письмо, — знаете, съ трогательной ссылкой на незаслуженность и такъ далѣе, — но потомъ по-

думалъ, что это внесло бы нестерпимый человѣческой душокъ въ область свободнаго мнѣнія. И потомъ, — если я что-нибудь хорошо сочинилъ, то я долженъ благодарить не васъ, а себя, точно такъ же, какъ вы должны благодарить не меня, а себя за пониманіе этого хорошаго, — правда? Если же мы начнемъ другъ другу кланяться, то, какъ только одинъ изъ насъ перестанетъ, другой обидится и уйдетъ надутымъ».

«Я отъ васъ не ожидалъ труизмовъ, — проговорилъ Кончеевъ съ улыбкой. — Да, все это такъ. Разъ въ жизни, только разъ, я поблагодарилъ критика, и онъ отвѣтилъ: «Что жъ, мнѣ дѣйствительно очень понравилось», — вотъ это «дѣйствительно» меня навсегда отрезвило. Между прочимъ, я не все сказалъ о васъ, что могъ бы... Васъ такъ много бранили за недостатки несуществующіе, что ужъ мнѣ не хотѣлось придирается къ недостаткамъ, для меня несомнѣннымъ. Къ тому же, въ слѣдующемъ вашемъ сочиненіи вы либо отдѣляетесь отъ нихъ, либо они разовьются въ сторону своеобразныхъ качествъ, какъ пятнышко на зародышѣ превращается въ глазъ. Вы вѣдь зоологъ, кажется?»

«Такъ, по-любительски. Но какіе это недостатки? Я хотѣлъ бы провѣрить, совпадаютъ ли они съ тѣми, которые я знаю самъ».

«Во-первыхъ, — излишнее довѣріе къ слову. У васъ случается, что слова провозятъ нужную мысль контрабандой. Фраза, можетъ быть, и отличная, но все-таки это — контрабанда, — и главное, зря, такъ какъ законный путь открытъ. А ваши контрабандисты подъ прикрытіемъ темноты слога, со всякими сложными ухищреніями, провозятъ товаръ, на который и такъ нѣтъ пошлины. Во-вторыхъ, — нѣкоторая неумѣлость въ переработкѣ источниковъ: вы словомъ такъ и не можете рѣшить, навязать ли былымъ дѣламъ и рѣчамъ вашъ стиль, или еще обострить ихъ собственный. Я не полѣнился сравнить кое-какія мѣста вашей книги съ контекстомъ въ полномъ изда-

ни Чернышевскаго, по экземпляру, которымъ повидимому пользовались вы: я нашелъ между страницами вашу пепель. Въ-третьихъ, — вы иногда доводите пародію до такой натуральности, что она, въ сущности, становится настоящей серьезной мыслью, и, въ этомъ планѣ, вдругъ даетъ произвольный перебой, который является уже собственной ужимкой, а не пародіей на ужимку, хотя именно въ этомъ родѣ черточки вы и выслѣживаете, т. е. получается такъ, какъ если кто-нибудь, пародируя неряшливое актерское чтеніе Шекспира, увлекся бы, загремѣлъ бы по-настоящему, но мимоходомъ перевралъ бы стихъ. Въ-четвертыхъ, — у васъ кое-гдѣ наблюдается механичность, если не машинальность, переходовъ, причемъ замѣтно, что вы преслѣдуете тутъ свою выгоду, себѣ самому облегчаете путь. Въ одномъ мѣстѣ, напримѣръ, такимъ переходомъ служить простой каламбуръ. Въ-пятыхъ, наконецъ, — вы порой говорите вещи, рассчитанныя главнымъ образомъ на то, чтобы уколотъ вашихъ современниковъ, а въдъ вамъ всякая женщина скажетъ, что ничто такъ не теряется, какъ шпильки, — не говоря уже о томъ, что малѣйшій поворотъ моды можетъ изъять ихъ изъ употребленія: подумайте, сколько повывопано заостренныхъ предметиковъ, точнаго назначенія которыхъ не знаетъ ни одинъ археологъ! Настоящему писателю должно наплевать на всѣхъ читателей, кромѣ одного: будущаго, — который, въ свою очередь, лишь отраженіе автора во времени. Вотъ, кажется, сумма моихъ претензій къ вамъ, и въ общемъ онѣ пустышны. Онѣ совершенно меркнуть при блескѣ вашихъ достоинствъ, — о которыхъ я бы тоже могъ еще поговорить».

«Ну, это не такъ интересно», — сказала Федоръ Константиновичъ, к о т о р ы й в о в р е м я этой тирады (какъ писали Тургеневъ, Гончаровъ, Графъ Саліасъ, Григоровичъ, Боборыкинъ), кивалъ головой съ одобрительной миной. «Вы очень хорошо опредѣлили мои недостатки, — продолжалъ онъ, — и они соотвѣтствуютъ

моимъ претензіямъ къ себѣ, — хотя, конечно, у меня рас-порядокъ другой, — нѣкоторые пункты сливаются, а дру-гіе еще подраздѣлены. Но кромѣ недочетовъ, которые вы отмѣтили, я знаю за собой по крайней мѣрѣ еще три, — они-то можетъ быть самые главные. Да только я вамъ ни-когда ихъ не скажу, — и въ слѣдующей моей книгѣ не будетъ ихъ. Хотите теперь — поговоримъ о вашихъ сти-хахъ?»

«Нѣтъ, пожалуйста, не надо, — со страхомъ сказала Кончеевъ. — У меня есть основаніе думать, что они вамъ по душѣ, но я органически не выношу ихъ обсужденія. Когда я былъ малъ, я передъ сномъ говорилъ длинную и мало понятную молитву, которой меня научила покой-ная мать, — набожная и очень несчастная женщина, — она-то, конечно, сказала бы, что эти двѣ вещи несомнѣсти-мы, но вѣдь и то правда, что счастье не идетъ въ черне-цы. Эту молитву я помнилъ и повторялъ долго, почти до юности, но однажды я вникъ въ ея смыслъ, понялъ всѣ ея слова, — и какъ только понялъ, сразу забылъ, словно на-рушилъ какія-то невозстановимыя чары. Мнѣ кажется, что то же самое произойдетъ съ моими стихами, — что если я начну о нихъ осмысленно думать, то мгновенно потеряю способность ихъ сочинять. Вы-то, я знаю, давно развра-тили свою поэзію словами и смысломъ, — и врядъ ли будете продолжать ея заниматься. Слишкомъ богаты, слишкомъ жадны. Муза прелестна бѣдностью».

«Знаете, какъ странно, — сказалъ Федоръ Константи-новичъ, — однажды, давно, я себѣ страшно живо предста-вилъ разговоръ съ вами на такія темы, — и вѣдь вышло какъ-то похоже! хотя, конечно, вы безстыдно подыгры-вали мнѣ и все такое. То, что я васъ такъ хорошо знаю, въ сущности не зная васъ вовсе, невѣроятно меня раду-етъ, ибо, значить, есть союзы въ мірѣ, которые не зави-сятъ ни отъ какихъ дубовыхъ дружбъ, ослиныхъ симпа-тій, «вѣяній вѣка», ни отъ какихъ духовныхъ организацій

или сообществъ поэтовъ, гдѣ дюжина крѣпко сплоченныхъ бездарностей общими усиліями «горить».

«На всякій случай я хочу васъ предупредить, — ска- залъ честно Кончеевъ, — чтобы вы не обольщались на- счетъ нашего сходства: мы съ вами во многомъ различны, у меня другіе вкусы, другіе навыки, вашего Фета я, напри- мѣръ, не терплю, а зато горячо люблю автора «Двойни- ка» и «Бѣсовъ», котораго вы склонны третировать... Миѣ не нравится въ васъ многое, — петербургскій стиль, галь- ская закваска, ваше нео-вольтеріанство и слабость къ Фло- беру, — и меня просто оскорбляетъ ваша, простите, по- хабно-спортивная нагота. Но вотъ, съ этими оговорками, правильно, пожалуй, будетъ сказать, что гдѣ-то — не здѣсь, но въ другой плоскости, уголь которой, кстати, вы сознаете еще смутнѣе меня, — гдѣ-то на задворкахъ на- шего существованія, очень далеко, очень таинственно и невыразимо, крѣпнеть довольно божественная между на- ми связь. А можетъ быть, вы это все такъ чувствуете и говорите, потому что я печатно похвалилъ вашу книгу, — это, знаете, тоже бываетъ».

«Да, знаю. Я объ этомъ самъ подумалъ. Особенно въ виду того, что я прежде завидовалъ вашей славы. Но, по совѣсти говоря — — »

«Слава? — перебилъ Кончеевъ. — Не смѣшите. Кто знаетъ мои стихи? Сто, полтора ста, отъ силы, отъ силы, двѣсти интеллигентныхъ изгнанниковъ, изъ которыхъ, опять же, девяносто процентовъ не понимаютъ ихъ. Это провинціальныи успѣхъ, а не слава. Въ будущемъ, мо- жетъ быть, отыграюсь, но что-то ужъ очень много време- ни пройдетъ, пока тунгузы и калмыкъ начнутъ другъ у друга вырывать мое «Сообщеніе», подъ завистливымъ окомъ финна».

«Но есть утѣшительное ощущеніе, — задумчиво ска- залъ Федоръ Константиновичъ. — Можно вѣдь занимать подъ наслѣдство. Развѣ не забавно вообразить, что когда- нибудь, вотъ сюда, на этотъ берегъ, подъ этотъ дубъ,

придетъ и сядетъ заѣзжій мечтатель и въ свою очередь вообразить, что мы съ вами тутъ когда-то сидѣли».

«А историкъ сухо скажетъ ему, что мы никогда вмѣстѣ не гуляли, едва были знакомы, а если и встрѣчались, то говорили о злободневныхъ пустякахъ».

«И все-таки попробуйте! Попробуйте почувствовать этотъ чужой, будущій, ретроспективный трепетъ... Всѣ волосы на душѣ становятся дыбомъ! Вообще, хорошо бы покончить съ нашимъ варварскимъ воспріятіемъ времени: особенно, по-моему, мило, когда заходить рѣчь о томъ, что земля черезъ триллионъ лѣтъ остынетъ, и все исчезнетъ, если заблаговременно не будутъ переведены наши типографіи на сосѣдную звѣзду. Или ерунда съ вѣчностью: столь много отпущено времени вселенной, что цифра ея гибели уже должна была выйти, какъ нельзя ни въ одномъ отрѣзкѣ времени разумно представить себѣ и ф л м ъ яйцо, лежащее на дорогѣ, по которой безъ конца проходитъ армія. Какъ это глупо! Наше превратное чувство времени, какъ нѣкого роста, есть слѣдствіе нашей конечности, которая, всегда находясь на уровнѣ настоящаго, подразумѣваетъ его постоянное повышеніе между водяной бездной прошедшаго и воздушной бездной будущаго. Бытіе, такимъ образомъ, опредѣляется для насъ какъ вѣчная переработка будущаго въ прошедшее, — призрачный, въ сущности, процессъ, — лишь отраженіе вещественныхъ метаморфозъ, происходящихъ въ насъ. При этихъ обстоятельствахъ, попытка постиженія міра сводится къ попыткѣ постичь то, что мы сами создали, какъ непостижимое. Абсурдъ, до котораго доходить пытливая мысль — только естественный видовой признакъ ея принадлежности человѣку, а стремленіе непременно добиться отвѣта — то же, что требовать отъ куриного бульона, чтобы онъ закудахталъ. Наиболѣе для меня заманчивое мнѣніе, — что времени нѣтъ, что все есть нѣкое настоящее, которое какъ сіяніе находится внѣ нашей слѣпоты, — такая же безнадежно конечная гипотеза,

какъ и всѣ остальные. «Поймешь, когда будешь большой», вотъ все-таки самыя мудрыя слова, которыя я знаю. Если къ этому добавить, что у природы двойлось въ глазахъ, когда она создавала насъ (о, эта проклятая парность, отъ которой некуда дѣваться: лошадь-корова, кошка-собака, крыса-мышь, блоха-клопъ), что симметричность въ строеніи живыхъ тѣлъ есть слѣдствіе мірового вращенія (достаточно долго пущеный волчокъ начнетъ, быть можетъ, жить, расти, размножаться), а что въ порывѣ къ ассиметри, къ неравенству, слышится мнѣ вопль по настоящей свободѣ, желаніе вырваться изъ кольца, — —

«Herrliches Wetter, — in der Zeitung steht es aber, dass es morgen bestimmt regnen wird», — проговорилъ, наконецъ, сидящій на скамьѣ, рядомъ съ Федоромъ Константиновичемъ молодой нѣмецъ, показавшійся ему похжимъ на Кончеева.

Опять, значить, воображеніе, — а какъ жаль! Даже покойную мать ему придумалъ для приманки дѣйствительности... Почему разговоръ съ нимъ никакъ не можетъ распуститься явью, дорваться до осуществленія? Или это и есть осуществленіе, и лучшаго не нужно, — такъ какъ подлинная бесѣда была бы только разочарованіемъ, — пеньками запинокъ, жмыхами хмыканья, осыпью мелкихъ словъ?

«Da kommen die Wolken schon», — продолжалъ кончеевовидный нѣмецъ, указывая пальцемъ полногрудое облако, поднимавшееся съ запада. (Студентъ, пожалуй. Можетъ быть, съ философской или музыкальной прожилкой. Гдѣ теперь Яшинъ пріятель? Врядъ ли сюдазаглядываетъ).

«Halb fünf ungefähr», — добавилъ онъ на вопросъ Федора Константиновича и, забравъ свою трость, покинулъ скамейку. Его темная, сутулая фигура удалилась по тѣнистой тропѣ. (Можетъ быть, поэтъ? Вѣдь есть же въ Германіи поэты. Плохонькіе, мѣстные, — но все-таки, не мясники. Или только гарниръ къ мясу?).

Ему было лѣнь возвращаться на другой берегъ вплавь; онъ побрелъ по дорожкѣ, огибающей озеро съ сѣверной стороны. Тамъ, гдѣ шелъ широкой песчаный свалокъ къ водѣ, съ обнаженными корнями опасливыхъ сосенъ, удерживающими оползающій берегъ, было опять людно, и внизу, на полоскѣ травы, лежало три голыхъ трупъ, бѣлый, розовый и коричневый, какъ тройной образецъ дѣйствія солнца. Дальше, по загибу озера, тянулось болотце, и темная, почти черная земля тропы свѣжо липла къ пяткамъ. Онъ поднялся опять наверхъ, по усыпанному хвойными иглами скату, и пошелъ пестрымъ лѣсомъ къ своему логовищу. Было весело, грустно, солнечно, тѣнисто, — не хотѣлось возвращаться домой, а пора было. На минуту онъ прилегъ у стараго дерева, словно подозвавшего, — покажу что-то интересное. Среди деревьевъ зазвучала пѣсенка, и вотъ — показались, идущія скорымъ шагомъ, пять евангелическихъ сестеръ, круглолицыхъ, въ черныхъ платьяхъ и бѣлыхъ наколкахъ, и пѣсенка — смѣсь гимназическаго и ангельскаго — все время висѣла между ними, покамѣстъ то одна, то другая наклонялась на ходу, чтобы сорвать скромный цвѣтокъ (незримый Федору Константиновичу, хотя онъ лежалъ близко), и разгибалась особенно ловко, одновременно догоняя остальныхъ, подхватывая тактъ и приобщая призракъ цвѣтка къ призрачному пучку идиллическимъ жестомъ (пальцы большой и указательный соединены на мигъ, другіе отогнуты), — и стало ясно: вѣдь все это сценическое дѣйствіе, — и какое умѣніе во всемъ, какая бездна граціи и мастерства, какой режиссеръ за соснами, какъ все рассчитано, — и то, что идти слегка вразбродъ, а вотъ теперь выровнялись, спереди три, сзади двѣ, и то, что сзади одна мимолетно смѣется (очень келейный юморъ), оттого что идущая впереди вдругъ, съ оттѣнкомъ экспансивности, подувплеснула руками на особенно небесной нотѣ, и то, какъ пѣсенка мельчаетъ, удаляясь, между тѣмъ, какъ все наклоняется плечо, и пальцы ловятъ стебель травы (но онъ, лишь качнувшись, остался бле-

стѣтъ на солнцѣ... гдѣ это уже разъ такъ было — что качнулось?..), — и вотъ — всѣ уходятъ за деревья своей скорой походкой на пуговкахъ, и какой-то полуголый мальчишкѣ, будто нища свой мячъ въ травѣ, грубовато и машинально повторяетъ обрывокъ ихъ пѣсенки (знакомый музыкантамъ с м ѣ ш н о й повторъ).. Какъ это поставлено! Сколько труда было положено на эту легкую, быструю сцену, на это проворное прохожденіе, какіе мускулы подъ этимъ тяжелымъ съ виду чернымъ сукномъ, которое послѣ антракта будетъ смѣнено на газовыя пачки!

Облако забрало солнце, лѣсъ поплылъ и постепенно потухъ. Федоръ Константиновичъ направился въ чашу, гдѣ оставилъ одежду. Въ ямкѣ подъ кустомъ, всегда такъ услужливо укрывавшей ее, онъ теперь нашелъ только одну туфлю: все остальное — пледъ, рубашка, штаны, — исчезло. Есть рассказъ о томъ, какъ пассажиръ нечаянно выронившій изъ вагоннаго окна перчатку, немедленно выбросилъ вторую, чтобъ по крайней мѣрѣ у нашедшаго оказалась пара. Въ данномъ случаѣ похититель поступилъ наоборотъ: туфли, вѣроятно, ему негодились, да и резина на подошвахъ была въ дыркахъ, но, чтобъ пошутить надъ своей жертвой, онъ пару разобилъ. Въ туфлѣ, кромѣ того, былъ оставленъ клочекъ газеты съ карандашной надписью: «Vielen Dank».

Федоръ Константиновичъ побродилъ кругомъ да около, никого и ничего не найдя. Рубашка была поношенная, Богъ съ ней, но клѣтчатаго пледа, вывезеннаго изъ Россіи, и хорошихъ фланелевыхъ штановъ, купленныхъ сравнительно недавно, было немного жалко. Со штанами ушли двадцать марокъ, третьяго дня добытыя для частичной хотя бы уплаты за комнату. Еще ушелъ карандашикъ, платокъ и связка ключей. Послѣднее было почему-то неприятнѣе всего. Если сейчасъ никого дома нѣтъ, что вполне вѣроятно, то попасть въ квартиру невозможно.

Ослѣпительно загорѣлся край облака, и солнце вы-

скользнуло. Оно источало такую жгучую, блаженную силу, что Федоръ Константиновичъ, забывъ досаду, прилегъ на мохъ и сталъ смотрѣть туда, гдѣ, съѣдая синеву, близилась слѣдующая снѣжная громада: солнце въ нее гладко вѣхало, съ какимъ-то траурнымъ трепетомъ въ двоящемся ободкѣ огня, дрожа и летя сквозь кучевую бѣлу, — а затѣмъ, найдя выходъ, сперва выбросило три луча, а потомъ распустилось пятнистымъ огнемъ въ глазахъ, проката ихъ на воронихъ (такъ что, куда ни взглянешь, скользятъ призраки каланчевыхъ балловъ), — и по мѣрѣ усиленія или обмиранія свѣта всѣ тѣни въ лѣсу дышали, то припадая грудью къ землѣ, то приподымаясь на рукахъ.

Маленькимъ побочнымъ утѣшеніемъ служило то, что благодаря завтрашнему отъѣзду Щеголевыхъ въ Данію, будетъ все равно лишняя связка ключей, — значить можно умолчать о пропажѣ. Уѣзжаютъ, уѣзжаютъ, уѣзжаютъ! Онъ вообразилъ то, что постоянно воображалъ въ теченіе послѣднихъ двухъ мѣсяцевъ, завтрашнее начало полной жизни съ Зинѣй, — освобожденіе, утоленіе, — а между тѣмъ заряженная солнцемъ туча, наливаясь, растя, съ набухшими бирюзовыми жилами, съ огненнымъ зудомъ въ ея грозовомъ корнѣ, всѣмъ своимъ тяжкимъ, неповоротливымъ великолѣпіемъ заняла небо, лѣсъ, его самага, и разрѣшить это напряженіе казалось чудовищнымъ, человѣчески непереноснымъ счастьемъ. Вѣтеръ пробѣжалъ по его груди, волненіе медленно ослабло, все было темно и душно, надо было спѣшить домой. Онъ еще пошарилъ подъ кустами; пожалъ плечами, потуже завелъ резиновый поясочъ трусиковъ — и отправился въ обратный путь.

Когда онъ вышелъ изъ лѣса и сталъ переходить улицу, смоляное прикосновеніе асфальта къ босой ступнѣ оказалось пріятной новинкой. Дальше, по панели, было тоже интересно итти. Легкость сновидѣнія. Пожилой прохожій въ черной фетровой шляпѣ остановился, глядя ему

вслѣдъ, и грубо сказалъ что-то, — но тутъ же, въ видѣ благого возмѣщенія убытка, слѣпой, сидящей съ гармоникой спиной къ каменной оградѣ, пробормоталъ, какъ ни въ чемъ не бывало, просьбу о малой милости, выжимая многоугольный звукъ (странно все же, — вѣдь онъ долженъ былъ слышать, что, я бось). Два школьника съ кормы трамвая окликнули голога мимоѣздомъ, и затѣмъ воробьи вернулись на газонъ, между рельсовъ, откуда ихъ спугнулъ гремящій желтый вагонъ. Началъ капать дождь, и это было такъ, словно кто-то прикладываетъ къ разнымъ частямъ его тѣла серебряную монету. Отъ газетной будки медленно отдѣлился и перешелъ къ нему молодой полицейскій.

«Такъ по городу гулять воспрещается», — сказалъ онъ, глядя Федору Константиновичу въ пупокъ.

«Все украли», — объяснилъ Федоръ Константиновичъ кратко.

«Этого случаться не должно», — сказалъ полицейскій.

«Да, но это все-таки случилось», — сказалъ, кивая, Федоръ Константиновичъ (нѣсколько человекъ уже остановилось подлѣ и слѣдило съ любопытствомъ за діалогомъ).

«Обокрали ли васъ или нѣтъ, но ходить по улицамъ нагишомъ нельзя», — сказалъ полицейскій, начиная сердиться.

«Однако я долженъ же какъ-нибудь дойти до стоянки таксомоторовъ, — какъ вы полагаете?»

«Въ такомъ видѣ — не можете».

«Къ сожалѣнiю, я неспособенъ обратиться въ дымъ или обрести костюмомъ».

«А я вамъ говорю, что такъ гулять нельзя», — сказалъ полицейскій. («Неслыханное безстыдство», — комментировалъ чей-то толстый голосъ сзади).

«Въ такомъ случаѣ, — сказалъ Федоръ Константиновичъ, — вамъ остается пойти за такси для меня, а я пока постою здѣсь».

«Стоять въ голомъ видѣ тоже нельзя», — сказалъ полицейскій.

«Я сниму трусики и изображу статую», — предложилъ Федоръ Константиновичъ.

Полицейскій вынулъ книжечку и такъ вырвалъ изъ нея карандашъ, что уронилъ его на панель. Какой-то мастеровой подобострастно поднялъ.

«Фамилья и адресъ», — сказалъ полицейскій, кипя.

«Федоръ Годуновъ-Чердынцевъ», — сказала Федоръ Константиновичъ.

«Перестаньте дѣлать вицы и скажите ваше имя», — взревѣлъ полицейскій.

Подошелъ другой, чиномъ постарше, и полюбобытствовалъ, въ чемъ дѣло.

«У меня въ лѣсу украли одежду», — терпѣливо сказалъ Федоръ Константиновичъ и вдругъ почувствовалъ, что совершенно влаженъ отъ дождя. Кое-кто изъ зѣвакъ убѣждалъ подѣ прикрытіе навѣса, а старушка, стоявшая у его локтя, распустила зонтикъ, едва не выколовъ ему глазъ.

«Кто укралъ?» — спросилъ вахмистръ.

«Я не знаю, кто, и главное, мнѣ это совершенно безразлично», — сказалъ Федоръ Константиновичъ. — Сейчасъ я хочу ѣхать домой, а вы меня задерживаете».

Дождь внезапно усилился и понесся черезъ асфальтъ, по всей плоскости котораго запрыгали свѣчки, свѣчки, свѣчки. Полицейскимъ (уже въ концѣ свалывшимся и почернѣвшимъ отъ мокроты) ливень, вѣроятно, показался стихіей, въ которой купальные штаны — если не умѣстны — то, во всякомъ случаѣ, терпимы. Младшій попробовалъ еще разъ добраться до адреса Федора Константиновича, но старшій махнулъ рукой, и оба, слегка ускоривъ чинный шагъ, отступили подѣ навѣсъ колоніальной лавки. Блестяшій Федоръ Константиновичъ побѣждалъ среди шумнаго плеска, завернулъ за уголъ и нырнулъ въ автомобиль.

Доѣхавъ и велѣвъ шоферу подождать, онъ нажалъ

кнопку, до восьми часовъ вечера автоматически отпиравшую дверь, и ринулся вверхъ по лѣстницѣ. Его впустила Маріанна Николаевна; въ прихожей было полно народу и вещей: Щеголевъ, безъ пиджака, двое мужиковъ, возившихся съ ящикомъ (въ которомъ, кажется, было радио), миловидная шляпница съ картонкой, какая-то проволока, горка бѣлья изъ прачешной...

«Вы съ ума сошли!» — вскрикнула Маріанна Николаевна.

«Ради Бога, заплатите за такси», — сказала Федоръ Константиновичъ, холоднымъ тѣломъ извиваясь между людей и вещей, — и, наконецъ, черезъ баррикаду чемодановъ, онъ довался до своей комнаты.

Въ тотъ вечеръ трапеза была общая, а попозже должны были придти Касаткины, балтійскій баронъ, еще кто-то... За ужиномъ Федоръ Константиновичъ рассказывалъ, не безъ прикрасъ, о приключившемся съ нимъ, и Щеголевъ смѣялся здоровымъ смѣхомъ, а Маріанна Николаевна интересовалась (не зря), сколько въ штанахъ было денегъ. Зина же пожимала плечами и съ непривычной откровенностью науськивала Федора Константиновича на водку, явно опасаясь, что онъ простудился.

«Ну что жъ, — послѣдній нашъ вечерокъ! — сказалъ Борисъ Ивановичъ, вдоволь нахохотавшись. — За ваше преуспѣваніе, синьоръ. Кто-то мнѣ на-дняхъ говорилъ, что вы накатали презлой рефератъ о Петрашевскомъ. Похвально. Слушай, мама, тамъ стоитъ еще бутылочка, не зачѣмъ везти, отдашь Касаткинымъ».

«...Значить, остаетесь сиротой (продолжалъ онъ, принимаясь за итальянскій салатъ и необыкновенно грязно его пожирая). Не думаю, что наша Зинаида Оскаровна будетъ особенно холить васъ. Ась, принцесса?»

«...Да, такъ-то, дорогой, мѣняется судьба человѣчья, печенка овечья. Думалъ ли я, что вдругъ улыбнется счастье, — тьфу, тьфу, тьфу, не сглазить. Еще этой зимой вѣдь прикидывалъ: зубы на полку али продать Маріанну

Николаевну на сломъ?... Полтора года, какъ-никакъ, прожили съ вами вмѣстѣ, душа — извините за выраженіе — въ душу, а завтра разстанемся, — вѣроятно, навсегда. Судьба играетъ человѣкомъ. Нынче — панъ, завтра — папанъ».

Когда ужинъ кончился, и Зина пошла внизъ впускать гостей, Федоръ Константиновичъ беззвучно отступилъ въ свою комнату, гдѣ отъ вѣтра и дождя все было тревожно-оживленно. Онъ прикрылъ раму, но черезъ минуту ночь сказала: Нѣтъ, — и съ какой-то широкоглазой назойливостью, презирая удары, подступила опять. Мнѣ было такъ забавно узнать, что у Тани родилась дѣвочка, и я страшно радъ за нее, за тебя. Я Танѣ на-дняхъ написалъ длинное лирическое письмо, но у меня неприятное чувство, что я неправильно надписалъ вашъ адресъ: вмѣсто «сто двадцать два» — какой-то другой номеръ, на ура (тоже въ рифму), какъ уже было разъ, не понимаю, отчего это происходитъ, — пишешь, пишешь адресъ, множество разъ, машинально и правильно, а потомъ вдругъ спохватишься, согласишься на него сознательно, и видишь, что не увѣренъ въ немъ, что онъ незнакомый, — очень странно... Знаешь: потолокъ, па-та-локъ, pas ta loque, патологъ, — и такъ далѣе, — пока «потолокъ» не становится совершенно чужимъ и одичалымъ, какъ «сло-котопъ» или «покотоль». Я думаю, что к о г д а н и б у д ь со всей жизнью такъ будетъ. Во всякомъ случаѣ, передай Танечкѣ всякаго отъ меня веселаго, зеленаго, лѣшински-лѣтняго. Завтра уѣзжаютъ мои хозяева, и отъ радости я внѣ себя: в и ѣ с е б я, — очень приятное положеніе, какъ ночью на крышѣ. Еще мѣсяцъ я останусь на Агамемнонѣ, а потомъ переѣду... Не знаю, какъ сложится дальше. Между прочимъ, мой Чернышевскій сравнительно неплохо идетъ. Кто именно тебѣ говорилъ, что Бунинъ хвалить? Мнѣ уже кажется давнишнимъ дѣломъ моя возня съ этой книгой, и всѣ тѣ маленькія бури мысли, заботы пера, — и теперь я совершенно пустъ, чистъ,

и готовъ принять снова постояльцевъ. Знаешь, я какъ цыганъ черенъ отъ груневальдскаго солнца. Кое-что вообще намѣчается, — вотъ напишу классическій романъ, съ типами, съ любовью, съ судьбой, съ разговорами — —

Дверь вдругъ открылась, наполовину вошла Зина и, не отпуская дверной ручки, бросила къ нему на столъ что-то.

«Это заплатите мамѣ», — сказала она; прищурилась — и исчезла.

Онъ развернулъ бумажку. Двѣсти. Сумма представилась огромной, но минутное вычисленіе показало, что только какъ разъ хватить за два прошлыхъ мѣсяца, восемьдесятъ плюсъ восемьдесятъ, и за ближайшій тридцать пять, уже безъ ѣды. Но все вдругъ спуталось, когда онъ началъ соображать, что въ этомъ послѣднемъ мѣсяцѣ не обѣдалъ, но зато получалъ болѣе сытный ужинъ; кромѣ того, внесъ за это время десять (или пятнадцать?) марокъ, а, съ другой стороны, долженъ за телефонные разговоры и за кое-какія мелочи, какъ на примѣръ, сегодняшній таксомоторъ. Рѣшеніе задачи было ему не по силамъ, скучно; онъ засунулъ деньги подъ словарь.

«— — и съ описаніями природы. Я очень радъ, что ты перечитываешь мою штуку, но теперь пора ее забыть, — это только упражненіе, проба, сочиненіе наканунѣ канникулъ. Очень я соскучился по тебѣ, и, можетъ быть (повторяю, не знаю, какъ сложится...) посѣщу тебя въ Парижѣ. Вообще, я бы завтра же бросилъ эту тяжкую, какъ головная боль, страну, — гдѣ все мнѣ чуждо и противно, гдѣ романъ о кровосмѣшеніи или бездарно-ударная, пригорно-риторическая, фальшиво-вшивая повѣсть о войнѣ считается вѣнцомъ литературы; гдѣ литературы на самомъ дѣлѣ нѣтъ, и давно нѣтъ; гдѣ изъ тумана какой-то скучнѣйшей демократической мокроты, — тоже фальшивой, — торчатъ все тѣ же сапоги и каска; гдѣ нашъ родной социальный заказъ замѣненъ социальной оказіей, — и такъ далѣе, такъ далѣе... я бы могъ еще долго, — и

занято, что полвѣка тому назадъ любой русскій мыслитель съ чемоданомъ совершенно то же самое строчилъ, — обвиненіе настолько очевидное, что становится даже плоскимъ. Зато раньше, въ золотой серединѣ вѣка, Боже мой, какіе восторги! «Маленькая гемютная Германія» — ахъ, кирпичные домики, ахъ, ребятишки ходятъ въ школу, ахъ, мужичекъ не бьетъ лошадку дреколемъ!.. Ничего, — онъ ее по-свсему замучить, по-нѣмецки, въ укромномъ уголку, каленымъ желѣзомъ. Да, я бы давно уѣхалъ, но есть нѣкоторыя личныя обстоятельства (не говоря о моемъ чудномъ здѣсь одиночествѣ, о чудномъ благотворномъ контрастѣ между моимъ внутреннимъ обыкновеніемъ и страшно холоднымъ міромъ вокругъ: знаешь, вѣдь въ холодныхъ странахъ теплѣе въ комнатахъ, конопатятъ и топятъ лучше), но и эти личныя обстоятельства способны такъ повернуться, что, можетъ быть, скоро, прихвативъ ихъ съ собой, покину Карманію. А когда мы вернемся в Россію? Какой идиотской сентиментальностью, какимъ хищнымъ стономъ должна звучать эта наша невинная надежда для осѣдлыхъ россиянь. А вѣдь она не историческая, — только человѣческая, — но какъ имъ объяснить? Миѣ-то, конечно, легче, чѣмъ другому, жить внѣ Россіи, потому что я навѣрняка знаю, что вернусь, — во-первыхъ, потому что увезъ съ собой отъ нея ключи, а во-вторыхъ, потому что — все равно когда, черезъ сто, черезъ двѣсти лѣтъ, — буду жить тамъ въ своихъ книгахъ, или хотя бы въ подстрочномъ примѣчаніи изслѣдователя. Вотъ это уже, пожалуй, надежда историческая, историко-литературная... «Вожделѣю безсмертія, — хотя бы его земной тѣни!» Я тебѣ сегодня пишу сквозныя глупости (какъ бываютъ сквозные поѣзда), потому что я здоровъ, счастливъ, — а кромѣ того, все это какимъ-то косвеннымъ образомъ относится къ таниному ребеночку.

Альманахъ называется «Башня». У меня нѣтъ, но я ду-

маю, ты найдешь въ любой русской библіотекѣ. Отъ дяди Олега мнѣ ничего не было. Когда онъ выслалъ? Помоему, ты что-то спутала. Ну, вотъ. Будь здорова, цѣлую тебя. Ночь, тихо идетъ дождь, — онъ нашелъ свой ночной темпъ и теперь можетъ идти безконечно».

Послышалось, какъ прихожая наполнилась прощающимися голосами, какъ упалъ чей-то зонтикъ, какъ ухнулъ и остановился Зиной вызванный снизу лифтъ. Все стихло опять. Федоръ Константиновичъ вошелъ въ столовую, гдѣ Щеголевъ, усѣвшись, дощелкивалъ орѣхи, жуя на одной сторонѣ, а Маріанна Николаевна убирала со стола. Ея полное, темно-розовое лицо, съ лоснящимися закрутками ноздрей, лиловыя брови, абрикосовыя волосы, переходящія въ колючую синеву на голомъ, жирномъ загривкѣ, васильковое око, съ засореннымъ рѣсничной краской лузгомъ, мимоходомъ окунувшее взглядъ въ опивочную тину на днѣ чайника, кольца, гранатовая брошь, цвѣтистый платокъ на плечахъ, — все это составляло вмѣстѣ грубо, но сочно намалеванную картину, нѣсколько заѣзженнаго жанра. Она надѣла очки и достала изъ сумки листокъ съ цифрами, когда Федоръ Константиновичъ спросилъ, сколько онъ долженъ. Щеголевъ при этомъ удивленно поднялъ брови: онъ былъ увѣренъ, что съ жильца не получить уже ни копѣйки, и, будучи въ сущности человѣкомъ добрымъ, еще вчера совѣтовалъ женѣ не настѣдать, а черезъ недѣли двѣ написать Федору Константиновичу изъ Копенгагена съ угрозой обратиться къ его роднымъ. Послѣ расчета, отъ двухсотъ марокъ Федору Константиновичу осталось три съ полтиной, и онъ пошелъ спать. Въ прихожей онъ встрѣтился съ Зиной, вернувшейся снизу. «Ну?» — сказала она, держа палецъ на выключателѣ, — полувопросительное, полуподгоняющее междометіе, значившее приблизительно: «Вы проходите? я здѣсь тушу, проходите». Ямка ея обнаженной руки, свѣтло-шелковыя ноги въ бархатныхъ баушкахъ, опущенное лицо. Погасло.

Онъ легъ и подъ шопоть дожда началъ засыпать. Какъ всегда, на грани сознанія и сна всякій словесный бракъ, блестя и звеня, вылъзъ наружу: хрустальный хрусть той ночи христіанской подъ хризолитовой звѣздой... — и прислушавшаяся на мгновение мысль, въ стремленіи прибрать и использовать, отъ себя стала добавлять: и умеръ исполинъ яснополянскій, и умеръ Пушкинъ молодой.. — а такъ какъ это было ужасно, то побѣжала дальше рябь рифмы: и умеръ врачъ зубной Шполянскій, астраханскій, ханскій, сломалъ нашъ Гансъ кій... Вѣтеръ перемѣнился, и пошло па зе: изобразили и бризъ изъ Бразиліи, изобразили и ризу грозы... тутъ былъ опять кончикъ, додѣланный мыслью, которая опускалась все ниже въ адъ аллигаторскихъ аллитерацій, въ адскіе кооперативы словъ, не «благо», а «blague». Сквозь этотъ безсмысленный разговоръ въ щеку кругло ткнулась пуговица наволочки, онъ перевалился на другой бокъ, и по темному фону побѣжали голые въ груневальдскую воду, и какое-то пятно свѣта въ вензельномъ образѣ инфузоріи поплыло наискось въ верхній уголъ подвѣчнаго зрѣнія. За кѣшкой прикрытой дверцей въ мозгу, держась за ея ручку и отворотясь, мысль принялась обсуждать съ кѣмъ-то сложную важную тайну, но когда на минуту дверца отворилась, то оказалось, что рѣчь идетъ просто о какихъ-то стульяхъ, столахъ, атоллахъ. Вдругъ, среди стущающейся мглы, у послѣдней заставы разума, серебромъ ударилъ телефонный звонокъ, и Федоръ Константиновичъ перевалился ничкомъ, падая... Звонъ остался въ пальцахъ, какъ если бы онъ острекался. Въ прихожей, уже опустивъ трубку обратно въ черный футляръ, стояла Зина, — она казалась испуганной. «Это звонили тебѣ, — сказала она вполголоса. — Твоя бывшая хозяйка, Egda Stoboy. Просить, чтобъ ты немедленно пріѣхалъ. Тамъ кто-то тебя ждетъ. Поторопись». Онъ натянулъ фланелевые штаны и пошелъ, задыхаясь, по улицѣ. Въ это время года въ Берлинѣ бываетъ подобіе бѣлыхъ ночей: воздухъ былъ прозрачно-

сѣрь, и мыльнымъ маревомъ плыли туманные дома. Какіе-то ночные рабочіе разворотили мостовую на углу, и нужно было пролѣзть черезъ узкіе бревенчатые коридоры, причемъ у входа всякому давалось по фанарику, которые оставлялись у выхода, на крюкахъ, вбитыхъ въ столбъ, или просто на панели, рядомъ съ бутылками изъ подъ молока. Оставивъ и свою бутылку, онъ побѣжалъ дальше по матовымъ улицамъ, и предчувствіе чего-то невѣроятнаго, невозможнаго, нечеловѣчески изумительнаго, обдавало ему сердце какой-то снѣжной смѣсью счастья и ужаса. Въ сѣрой мглѣ изъ зданія гимназіи вышли парами и прошли мимо слѣпыхъ дѣти въ темныхъ очкахъ, которыя учатся ночью (въ экономно-темныхъ школахъ, днемъ полныхъ дѣтей зрячихъ), и пасторъ, сопровождавшій ихъ, былъ похожъ на лѣшинскаго сельскаго учителя Бычкова. Прислонившись къ фонарю, опустивъ локматую голову, разставя ножницами ноги въ узкихъ панталонахъ со штрипками и заложивъ въ карманы руки, стоялъ худощавый пьяница, словно сошедшій со страницы старинной «Стрекозы». Въ русскомъ книжномъ магазинѣ былъ еще свѣтъ, — тамъ выдавали книжки ночнымъ шоферамъ, и сквозь желтоватую муть стекла онъ замѣтилъ сидущаго Миши Березовскаго, протягивавшій кому-то черный атласъ Петри. Тяжело должно быть такъ работать по ночамъ! Волненіе опять захлестнуло его, какъ только онъ попалъ въ районъ, гдѣ жилъ прежде. Было трудно дышать отъ бѣга, свернутый пледъ оттягивалъ руку, — надо было спѣшить, а между тѣмъ онъ запоминалъ расположеніе улицъ, пепельная ночь спутала все, перемѣнивъ, какъ на негативѣ, взаимную связь темныхъ и блѣдныхъ мѣстъ, и некого было спросить, всѣ спали. Вдругъ выросъ тополь, и за нимъ — высокая кирка, съ фіолетово-краснымъ окномъ въ арлекиновыхъ ромбахъ свѣта: внутри шла ночная служба, и спѣшила подняться по ступенямъ траурная старушка, съ ваткой подъ сѣдельцемъ очковъ. Онъ нашелъ свою улицу, но у ея начала

столбъ съ нарисованной рукой въ перчаткѣ съ раструбомъ указывалъ, что надо проникать въ несъ съ другого конца, гдѣ почтагтъ, такъ какъ съ этого свалены флаги для завтрашнихъ торжествъ. Но онъ боялся потерять ее во время обхода, а къ тому же почтагтъ — это будетъ потомъ. — если только матери у же не отправлена телеграмма. Онъ перелѣзъ черезъ доски, ящики, куклу гренадера въ букляхъ, и увидѣлъ знакомый домъ, и тамъ рабочіе уже протянули отъ порога черезъ панель красную полоску ковра, какъ бывало передъ особнякомъ на Набережной въ бальную ночь. Онъ взбѣжалъ по лѣстницѣ. Фрау Стобой сразу отворила ему. Лицо у нее горѣло, на ней былъ бѣлый госпитальный халатъ, — она прежде занималась медициной. «Только не волноваться, — сказала она. — Идите къ себѣ въ комнату и ждите тамъ». «Вы должны быть готовы ко всесму», — добавила она со звономъ въ голосѣ и втокнула его въ ту комнату, въ которую онъ думалъ, что никогда въ жизни больше не войдетъ. Онъ схватилъ ее за локоть, теряя власть надъ собой, но она его стряхнула. «Къ вамъ кто-то прѣхалъ, — сказала Стобой, — онъ отдыхаетъ... Обождите пару минутъ». Дверь захлопнулась. Въ комнатѣ было все совершенно такъ, какъ если бъ онъ до сихъ поръ въ ней жилъ: тѣ же лебеди и лиліи на обояхъ, тотъ же тибетскими бабочками (вотъ, напр., *Thecla bicli*) дивно разрисованный потолокъ. Ожиданіе, страхъ, морозъ счастья, напоръ рыданій — все смѣшалось въ одно ослѣпительное волненіе, и онъ стоялъ посреди комнаты не въ силахъ двинуться, прислушиваясь и глядя на дверь. Онъ зналъ, к т о войдетъ сейчасъ, и теперь мысль о томъ, какъ онъ прежде сомнѣвался въ этомъ возвращеніи, удивляла его: это сомнѣніе казалось ему теперь тупымъ упрямствомъ полоумнаго, недовѣріемъ варвара, самодовольствомъ невѣжды. У него разрывалось сердце, какъ у человѣка передъ казнью, но вмѣстѣ съ тѣмъ эта казнь была такой радостью, передъ которой меркнетъ жизнь, и ему было непо-

нятно отвращеніе, которое онъ бывало испытывалъ, когда въ насльхъ построенныхъ снахъ, ему мерещилось то, что свершалось теперь на яву. Вдругъ, за в з д р о г н у в ш е й дверью (гдѣ-то далеко отворилась другая), слышалась знакомая поступь, домашній сафьяновый шагъ, дверь безшумно, но со страшной силой, открылась, и на порогъ остановился отецъ. Онъ былъ въ золотой тюбетейкѣ, въ черной саржевой курткѣ, съ карманами на груди для портсигара и луны; коричневая щеки въ рѣзкомъ разбѣгѣ парныхъ бороздъ были особенно чисто выбриты; въ темной бородѣ блестѣла, какъ соль, сѣдина; глаза тепло и мохнато смѣялись изъ сѣти морщинъ; — а Федоръ стоялъ и не могъ ступить шага. Отецъ произнесъ что-то, но такъ тихо, что разобрать было нельзя, хотя какъ-то зналось: это относится къ тому, что вернулся онъ невредимымъ, цѣлымъ, человѣчески настоящимъ. И все-таки было страшно приблизиться, — такъ страшно, что Федору казалось—онъ умретъ, если вошедшій къ нему двинется. Гдѣ-то въ заднихъ комнатахъ раздался предостерегающе-счастливый смѣхъ матери, а отецъ тихо почмокалъ, почти не раскрывая рта, какъ дѣлалъ, когда рѣшался на что-нибудь или искалъ чего-нибудь на страницѣ... потомъ опять заговорилъ, — и это опять значило, что все хорошо и просто, что это и есть воскресенье, что иначе быть не могло, и еще: что онъ доволенъ, доволенъ, — охотой, возвращеніемъ, книгой сына о немъ, — и тогда, наконецъ, все полегчало, прорвался свѣтъ, и отецъ увѣренно-радостно раскрылъ объятія. Застонавъ, всхлипнувъ, Федоръ шагнулъ къ нему, и въ сборномъ ощущеніи шерстяной куртки, большихъ ладоней, нѣжныхъ уколовъ подстриженныхъ усовъ,росло блаженно-счастливое, живое, неперестающее расти, огромное, какъ рай, тепло, въ которомъ его ледяное сердце растаяло и растворилось.

Сначала нагроможденіе чего-то на чемъ-то и блѣдная дышущая полоса, идущая вверхъ, были совершенно не-

понятны, какъ слова на забытомъ языкѣ или части разобранной машины, — и отъ этой бессмысленной путаницы панической трепеть пробѣжалъ по душѣ: проснулся въ гробу, на лунѣ, въ темницѣ вялаго небытія. Но что-то въ мозгу повернулось, мысль ослѣла, поспѣшила замазать правду, — и онъ понялъ, что смотреть на занавѣску полураскрытаго окна, на столъ, передъ окномъ: таковъ договоръ съ разумомъ, — театръ земной привычки, мундиръ временнаго естества. Онъ опустилъ голову на подушку и попытался нагнать теплое, дивное, все объясняющее, — но уже теперь приснилось что-то безталанно-компильативное, кое-какъ сшитое изъ обрѣзковъ дневного житія и подогнутое подъ него.

Утро было пасмурное, прохладное, съ сѣрочерными лужами на асфальтѣ двора, и раздавался противно-плоскій стукъ выбиваемыхъ ковровъ. Щеголевы кончали укладывать чемоданы, Зина ушла на службу, а въ часъ дня должна была встрѣтиться съ матерью, чтобы обѣдать съ ней въ «Фатерландъ». Присоединиться къ нимъ Федору Константиновичу, къ счастью, не предложили, — напротивъ, Марианна Николаевна, подогрѣвая кофе на кухнѣ, гдѣ онъ сидѣлъ въ халатѣ, сбитый съ толку бивуачнымъ настроеніемъ въ квартирѣ, предупредила, что въ кладовкѣ оставлено ему на обѣдъ немного итальянскаго салата и ветчины. Выяснилось, между прочимъ, что ночью звонилъ все тотъ же незадачливый абонентъ: на этотъ разъ былъ въ ужасномъ волненіи, случилось что-то, — такъ и оставшееся неизвѣстнымъ.

Борисъ Ивановичъ въ десятый разъ перекладывалъ изъ одного чемодана въ другой башмаки на колодкахъ, все чистенькіе, блестящіе, — онъ былъ необыкновенно щепетиленъ въ смыслѣ обуви.

Потомъ они одѣлись и ушли, а Федоръ Константиновичъ долго и удачно купался, брился, подстригалъ на ногахъ ногти, было особенно пріятно подлѣзть подъ тугой уголокъ, щелкнуть, — они стрѣляли по всей ванной. Сту-

чался швейцаръ, но не могъ войти, потому что Шеголевы, уйдя, заперли дверь на американскій замокъ, а ключи Федора Константиновича неизвѣстно гдѣ разгуливали. Въ щелку, звякнувъ заслонкой, почтальонъ бросилъ бѣлградскую газетку «За Царя и Церковь», которую выписывалъ Борисъ Ивановичъ, а погода кто-то всунуль (оставшійся торчать лодочкой) рекламный листокъ недавно открывшейся парикмахерской. Ровно въ половинѣ двѣнадцатаго донесся съ лѣстницы гулкій лай, и взволнованное нисхождение эльзасской овчарки, которую въ это время водили гулять. Съ гребешкомъ въ рукѣ онъ выходилъ на балконъ, посмотрѣть, не прояснилось ли, но хотя не было дождя, небо бѣлѣло тускло и безнадежно — и немислимо было представить себѣ, что можно было вчера лежать въ лѣсу. Въ шеголевской спальнѣ валялась бумажная рвань, одинъ изъ чемодановъ былъ раскрытъ, и въ немъ сверху лежала на вафельномъ полотенцѣ резиновая груша. На дворъ пришелъ бродячій усачъ, съ шимбалами, барабаномъ, саксофономъ, весь увѣшанный музыкой, съ блестящей музыкой на головѣ, съ обезьянкой въ красной фуфайкѣ, и долго пѣлъ, притоптывая и бряцая, — не заглушая, впрочемъ, пальбы по коврамъ на козлахъ. Осторожно толкнувъ дверь, Федоръ Константиновичъ вошелъ въ зинину комнату, гдѣ не бывалъ никогда, и со страннымъ чувствомъ веселаго новоселья долго смотрѣлъ на бойко тикающій будильникъ, на розу въ стаканѣ, со стеблемъ, обросшимъ пузырьками, на оттоманку, превращавшуюся на ночь въ постель, и на чулки, сохнувшіе на паровомъ отопленіи. Онъ закусилъ, затѣмъ сѣлъ у своего стола, окунулъ перо и замеръ надъ бѣлой страницей. Вернулись Шеголевы, приходилъ швейцаръ, Марианна Николаевна разбила флаконъ духовъ, — а онъ все сидѣлъ надъ исподлобья глядѣвшимъ листомъ и только очнулся, когда Шеголевы собрались ѣхать на вокзалъ. До отхода поѣзда оставалось часа два, но вокзалъ, правда, находился далеко. «Грѣшный человекъ, — люблю при-

«взжать сранья», — бодро сказалъ Борисъ Ивановичъ, захватывая себя за рукавъ и манжету, чтобы влѣзть въ пальто. Федоръ Константиновичъ помогъ ему (тотъ съ вѣжливымъ восклицаніемъ, еще половинчатый, шархнулся и вдругъ, въ углу, превратился въ страшнаго горбуна), а потомъ пошелъ проститься съ Маріанной Николаевной, которая передъ зеркальнымъ шкапомъ, странно измѣнивъ выраженіе лица (затуманивая и задабривая свое отраженіе), надѣвала синюю съ синей вуалеткой шляпу. Федору Константиновичу вдругъ стало странно жаль ее и, подумавъ, онъ предложилъ пойти на уголъ за такси. «Да, пожалуйста», — сказала Маріанна Николаевна, тяжело ринувшись къ перчаткамъ на диванъ.

На стоянкѣ автомобилей не оказалось, разобрали, и ему пришлось перейти черезъ площадь и тамъ поискать. Когда онъ, наконецъ, подѣхалъ къ дому, Щеголевы уже стояли внизу, сами снеся чемоданы («тяжелый багажъ» былъ отправленъ вчера).

«Ну, храни васъ Богъ», — сказала Маріанна Николаевна и гуттаперчевыми губами поцѣловала его въ лобъ.

«Сароцка, Сароцка, телеграфуй!» — крикнулъ Борисъ Ивановичъ, шутиливо махая ручкой, и автомобиль, повернувши, отѣхалъ.

«Навсегда», — съ облегченіемъ подумалъ Федоръ Константиновичъ и, посвистывая, поднялся наверхъ.

Тутъ только онъ понялъ, что войти въ квартиру не можетъ. Особенно было обидно глядѣть, приподнявъ за слонку, въ почтовую щель на связку ключей, звѣздой лежавшую на полу въ прихожей: ихъ всунула обратно Маріанна Николаевна, заперевъ за собой дверь. Онъ сошелъ по ступенямъ гораздо медленнѣе, чѣмъ поднялся. Зина, онъ зналъ, собиралась поѣхать со службы на вокзалъ: считая, что поѣздъ отходитъ черезъ полтора часа съ лишнимъ, и что ѣзды на автобусѣ часъ, она (и ключи) раньше, чѣмъ часа черезъ три не вернется. На улицѣ было вѣтрено и смуро; итти было не къ кому, а въ ливныя, въ кафэ, онъ никогда не захаживалъ, ненавидя ихъ люто. Въ карманѣ было три съ полтиной, онъ купилъ папи-

рось, и такъ какъ сосущая, какъ голодь, потребность поскорѣй увидѣть Зину (теперь-то, когда все позволено) собственно и оттягивала отъ улицы, отъ неба, отъ воздуха, весь свѣтъ и смыслъ, онъ поспѣшилъ на тотъ уголь, гдѣ проходилъ нужный автобусъ. То, что онъ былъ въ ночныхъ туфляхъ, въ старѣйшемъ мятомъ костюмѣ, запятнанномъ спереди, съ недостающей на гульфикѣ пуговкой, мѣшками на колѣняхъ и материнской заплатой на задѣ, ни мало его не беспокоило. Загаръ и раскрытый воротъ чистой рубашки давали ему нѣкій пріятный иммунитетъ.

Былъ какой-то государственный праздникъ. Изъ оконъ домовъ торчали трехъ сортовъ флаги: черно-желто-красные, черно-бѣло-красные и просто красные: каждый сортъ что-то означалъ, а смѣшанье всего: это что-то кого-то могло волновать гордостью или злобой. Были флаги большіе и малые, на короткихъ древкахъ и на длинныхъ, но отъ всего этого экибиціонизма гражданскаго возбужденія городъ не сталъ привлекательнѣе. На Таунтціентрассе автобусъ задержала мрачная процессія; сзади, на медленномъ грузовикѣ, ѣхали полицейскіе въ черныхъ крагахъ, а среди знаменъ было одно съ русской надписью «За Серб и Молт!», такъ что нѣкоторое время Федоръ тяготился мыслью, гдѣ это живутъ Молты, — или это Молдаване? Вдругъ онъ представилъ себѣ казенные фестивалы въ Россіи, долгополыхъ солдатъ, культъ скульпъ, исполинскій плакатъ съ орущимъ общимъ мѣстомъ въ ленинскомъ пиджачкѣ и кепкѣ, и среди грома глупости, литавровъ скуки, рабьихъ великолѣпій, — маленькій ярмарочный пискъ грошовой истины. Вотъ оно, вѣчно, все болѣе чудовищное въ своемъ радушіи, повтореніе Ходынки, съ гостинцами — во какими (гораздо больше сперва предлагавшихся) и прекрасно организованнымъ увозомъ труповъ... А въ общемъ — пуская. Все пройдетъ и забудется, — и олять, черезъ двѣсти лѣтъ, самолюбивый неудачникъ отведетъ душу на мечтающихъ о до-

вольствѣ простакахъ (если только не будетъ моего міра, гдѣ каждый самъ по себѣ, и нѣтъ равенства, и нѣтъ властей, — впрочемъ, если не хотите, не надо, мнѣ рѣшительно все равно).

Потсдамская площадь, всегда искалѣченная городскими работами (о, старыя открытки съ нея, гдѣ все такъ просторно, отрада извозчиковъ, подола дамъ въ кушачкахъ, метущіе пыль, — но тѣ же жирныя цвѣточницы). Псевдо-парижскій пошибъ Унтеръ-денъ-Линдена. Узость торговыхъ улицъ за нимъ. Мостъ, баржа и чайки. Мертвые глаза старыхъ гостиницъ второго, третьяго, сотаго разряда. Еще нѣсколько минутъ ѣзды, и вотъ — вокзалъ.

Онъ увидѣлъ Зину въ бланжевомъ жоржетовомъ платьѣ и бѣлой шапочкѣ, взбѣгающую по ступенямъ. Она взбѣгала, прижавъ къ бокамъ розовые локти, зажавъ сумку, — и когда онъ ее полуобнялъ, догнавъ, она обернулась съ той нѣжной, матовой улыбкой, съ той счастливой грустью въ глазахъ, которыми она встрѣчала его наединѣ. «Слушай», — сказала она суетливо, — «я опаздываю, бѣжимъ». Но онъ отвѣтилъ, что уже распрощался съ ними и подождетъ ее внизу.

Низкое, садящееся за крыши, солнце, какъ бы выпало изъ облаковъ, покрывавшихъ сводъ (но уже совсѣмъ мягкихъ и отрѣшенныхъ, какъ волнистое ихъ таяніе на зеленоватомъ плафонѣ), и тамъ, въ узкомъ просвѣтѣ, небо было раскалено, а напротивъ, какъ мѣдь, горѣло окно и металлическія буквы. Длинная тѣнь носильщика, катящая тѣнь тачки, втянула эту тѣнь въ себя, но она опять острымъ угломъ выперла на поворотѣ.

«Будемъ скучать безъ тебя, Зиночка, — сказала Марианна Николаевна, уже изъ вагона. — Но ты, во всякомъ случаѣ, возьми отпускъ въ августѣ и пріѣзжай къ намъ, — посмотримъ, можетъ быть и совсѣмъ останешься».

«Не думаю, — сказала Зина. — Ахъ да. Я сегодня дала тебѣ мои ключи. Не увези ихъ, пожалуйста».

«Я, знаешь, ихъ въ передней оставила... А борины въ

столъ... Ничего: Годуновъ тебя впустить», — добавила Марианна Николаевна примирительно.

«Такъ-то. Счастливо оставагся, — вращая глазами, сказалъ Борисъ Ивановичъ, изъ-за женинаго полнаго плеча. — Ахъ, Зинка, Зинка, — вотъ прѣдешь къ намъ, на велосипедъ будешь кататься, молоко хлестать, — лафа!»

Поѣздъ содрогнулся и вотъ, поползъ. Марианна Николаевна еще долго махала. Шеголевъ, какъ черепаха, втянулъ голову (а, съвъ, вѣроятно, крикнулъ).

Она вприпрыжку сбѣжала по ступенямъ, — сумка теперь свисала съ пальцевъ, и отъ послѣдняго солнечнаго луча бронзовый блескъ пробѣжалъ у нея въ зрачкахъ, когда она подлетѣла къ Федору Константиновичу. Они поцѣловались такъ, словно она только-что прѣѣхала издалека, послѣ долгой разлуки.

«А теперь поѣдемъ ужинать, — сказала она, беря его подъ руку. — Ты, навѣрное, безумно голоденъ».

Онъ кивнулъ. Чѣмъ это объяснить? Откуда это странное смущеніе — вмѣсто ликующей, говорливой свободы, которую я такъ, такъ предвкушалъ? Я словно отвыкъ отъ нея или не могу съ ней, прежней, примѣниться къ этой свободѣ.

«Что съ тобой? Почему ты окислился?» — замѣтливо спросила она послѣ молчанія (они шли къ остановкѣ автобуса).

«Грустно разстаться съ Борисомъ Бодрымъ», — отвѣтилъ онъ, стараясь хоть остротой разрѣшить стѣпеніе чувствъ.

«А я думаю, что это вчерашнее безобразіе», усмѣхнулась Зина, — и вдругъ онъ уловилъ въ ея тонѣ какой-то приподнятый звонъ, по-своему отвѣчавшій его собственному замѣшательству и тѣмъ самымъ подчеркивавший и усиливавший его.

«Глупости. Дождь былъ теплый. Я дивно себя чувствую».

Подкатилъ, съѣли. Федоръ Константиновичъ заплатилъ изъ ладони за два билета. Зина сказала: «Жалованье я получаю только завтра, такъ что у меня сейчасъ всего двѣ марки. Сколько у тебя?»

«Слабо. Отъ твоихъ двухсотъ мнѣ отчислилось три съ полтиной, но изъ нихъ больше половины уже ухнуло».

«На ужинъ-то у насъ хватитъ», — сказала Зина.

«Ты совсѣмъ увѣрена, что тебѣ нравится идея ресторана? потому-что мнѣ — не очень».

«Ничего, примирисъ. Вообще теперь со здоровымъ домашнимъ столомъ кончено. Я не умѣю дѣлать даже яичницу. Надо будетъ подумать, какъ устроиться. А сейчасъ я знаю очень симпатичное мѣсто».

Нѣсколько минутъ молчанія. Уже зажигались фонари, витрины; отъ незрѣлаго свѣта улицы осунулись и поскрѣбли, а небо было свѣтло, широко, въ облачкахъ, отороченныхъ фламинговымъ пухомъ.

«Смотри, готовы фоточки».

Онъ ихъ взялъ изъ ея холодныхъ пальцевъ. Зина на улицѣ, передъ конторой, прямая и свѣтлая, съ тѣсно составленными ногами, и тѣнь липоваго ствола поперекъ панели, какъ опущенный передъ ней шлагбаумъ; Зина, за работой, плохо вышедшая, темнолицая, — зато на первомъ планѣ — царственная машинка, съ блескомъ на рычажкѣ каретки.

Она ихъ засунула обратно въ сумку, вынула и положила обратно мѣсячный трамвайный билетъ въ целофанѣ, вынула зеркальце, посмотрѣла, оскалившись, на пломбу въ переднемъ зубѣ, положила обратно, защелкнула сумку, опустила ее къ себѣ на колѣни, посмотрѣла себѣ на плечо, смахнула пушинку, надѣла перчатки, повернула голову къ окну, — все это необыкновенно быстро, съ движеніемъ на лицѣ, съ миганіемъ, съ какимъ-то внутреннимъ покусываніемъ и втягиваніемъ щекъ. Но теперь она сидѣла неподвижно, сухожилье было натянуто на блѣд-

ной шеѣ, руки въ бѣлыхъ перчаткахъ лежали на зеркальной кожѣ сумки.

Тѣсна бранденбургскихъ воротъ.

За Потсдамской площадью, при приближеніи къ каналу, пожилая скуластая дама (гдѣ я ее видѣлъ?), съ глазастой, дрожащей собачкой подмышкой, рванулась къ выходу, шатаясь, борясь съ призраками, и Зина посмотрѣла вверхъ на нее бѣглымъ небеснымъ взглядомъ.

«Узналъ? — спросила она. — Это Лоренцъ. Кажется, безумно на меня обижена, что я ей не звоню. Въ общемъ, совершенно лишняя дама».

«У тебя копотъ на скулѣ, — сказалъ Федоръ Константиновичъ. — Осторожно, не размажь».

Опять сумка, платочекъ, зеркальце.

«Намъ скоро вылѣзть, — проговорила она погодя. — Что?»

«Ничего. Соглашаюсь. Вылѣземъ, гдѣ хочешь».

«Здѣсь», — сказала она еще черезъ двѣ остановки, взявъ его за локоть, приподнявшись, сѣвъ опять отъ толчка, поднявшись окончательно, вылавливая, какъ изъ воды, сумку.

Огни уже отстоялись; небо совсѣмъ обмерло. Проѣхалъ грузовикъ съ возвращавшимися послѣ какихъ-то гражданскихъ оргій, чѣмъ-то махавшими, что-то выкрикивавшими молодыми людьми. Посреди бездревеснаго сквера, состоявшаго изъ большого продолговатаго цвѣтника, обведеннаго дорожкой, цвѣла армія розъ. Открытый загончикъ ресторана (шесть столиковъ) противъ этого сквера былъ отдѣленъ отъ панели бѣлымъ барьеромъ съ петуньями поверху.

Рядомъ жрутъ кабанъ съ кабанихой, у кельнера черной ногой окунается въ соусъ, а къ золотой каемкѣ моего пивного стакана вчера льнула губа съ язвочкой... Туманъ какой-то грусти обволокъ Зину — ея щеки, прищуренные глаза, душку на шеѣ, косточку, — и этому какъ-

то способствовалъ блѣдный дымъ ея папиросы. Шарканіе прохожихъ, какъ бы мѣсило сгушавшуюся темноту.

Вдругъ, въ откровенно ночномъ небѣ, очень высоко — —

«Смотри, — сказалъ онъ. — Какая предель!»

По темному бархату медленно скользила брошка съ тремя рубинами, — такъ высоко, что даже грома мотора не было слышно.

Она улыбнулась, приоткрывъ губы, глядя вверхъ.

«Сегодня?» — спросилъ онъ, тоже глядя вверхъ.

Теперь только онъ вступилъ въ строй чувствъ, который онъ себя сулилъ, когда прежде думалъ о томъ, какъ съ ней выскользнетъ изъ плѣна, постепенно утвердившагося за время ихъ встрѣчъ, постепенно ставшаго привычнымъ, хотя былъ основанъ на чемъ-то искусственномъ и, въ сущности, недостойномъ того значенія, которое оно приобрѣло: теперь казалось непонятнымъ, почему въ любви изъ этихъ четырехсотъ пятидесяти пяти дней они просто не съѣхали со щеголевской квартиры, чтобы поселиться вдвоемъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ подразумно зналъ, что эта внѣшняя помѣха была только предлогомъ, только показнымъ приемомъ судьбы, насильно поставившей первую попавшуюся подъ руку загородку, чтобы тѣмъ временемъ заняться важнымъ, сложнымъ дѣломъ, внутренней необходимостью котораго была какъ разъ задержка развитія, зависѣвшая будто бы отъ житейской преграды.

Теперь (въ этомъ бѣломъ, освѣщенномъ загончикѣ, при золотистой близости Зины и при участіи теплой вогнутой темноты, сразу за вырѣзнымъ озареніемъ летуцій) онъ окончательно нашелъ въ мысли о методахъ судьбы то, что служило нитью, тайной душой, шахматной идеей для едва еще задуманнаго «романа», о которомъ онъ наканунѣ вскользь сообщалъ матери. Объ этомъ то онъ и заговорилъ сейчасъ, такъ заговорилъ, словно это было только лучшее, естественнѣйшее выра-

женіе счастья, — котороё тутъ же, побочно, въ болѣе общедоступномъ изданіи, выражалось такими вещами, какъ бархатистость воздуха, три липовыхъ изумрудныхъ листа, полавшихъ въ фонарный свѣтъ, холодъ пива, лунные вулканы картофельнаго пюре, смутный говоръ, шаги, звѣзда среди развалинъ тучъ...

«Вотъ что я хотѣлъ бы сдѣлать, — сказала онъ. — Нѣчто похожее на работу судьбы въ н а ш е м ъ отношеніи. Подумай, какъ она за это принялась три года съ лишнимъ тому назадъ... Первая попытка свести насъ: аляповатая, громоздкая! Одна перевозка мебели чего стоила... Тутъ было что-то такое размашистое, «средствъ не жалѣю», — шутка ли сказать, — перевезти въ домъ, куда я только-что въѣхалъ, Лоренцовъ и всю ихъ обстановку! Идея была грубая: черезъ жену Лоренца познакомить меня съ тобой, — а для ускоренія былъ взятъ Романовъ, позвавшій меня на вечеринку къ нимъ. Но тутъ-то судьба и дала маху: посредникъ взятъ былъ неудачный, непріятный мнѣ, — и получилось какъ разъ обратное: изъ-за него я сталъ избѣгать знакомства съ Лоренцами, — такъ что все это громоздкое построеніе пошло къ чорту, судьба осталась съ мебельнымъ, фургономъ на рукахъ, затраты не окупились».

«Смотри, — сказала Зина, — на эту критику она можетъ теперь обидѣться — и отомстить».

«Слушай дальше. Она сдѣлала свою вторую попытку, уже болѣе дешевую, но обѣщавшую успѣхъ, потому что я-то нуждался въ деньгахъ и долженъ былъ бы ухватиться за предложенную работу, — помочь незнакомой барышнѣ съ переводомъ какихъ-то документовъ; но и это не вышло. Во-первыхъ, потому что адвокатъ Чарскій оказался тоже маклеромъ неподходящимъ, а во-вторыхъ, потому что я ненавижу заниматься переводами на нѣмецкій, — такъ что опять сорвалось. Тогда-то, наконецъ, послѣ этой неудачи, судьба рѣшила бить навѣрняка, т. е. прямо вселить меня въ квартиру, гдѣ ты живешь, и для

этого въ посредники она выбрала уже не перваго попавшагося, а человѣка, не только мнѣ симпатичнаго, но энергично извинягося за дѣло и не даваго мнѣ увильнуть. Въ послѣднюю минуту, правда, случился заторъ, чуть не погубившій всего: второпяхъ — или поскудившись — судьба не потратилась на твое присутствіе во время моего перваго посѣщенія; я же, понимаешь, когда пять минутъ поговорилъ съ твоимъ вотчимомъ, собственно по небрежности выпущеннымъ изъ клѣтки, и черезъ его плечо увидѣлъ ничѣмъ не привлекательную комнату, рѣшилъ ее не снимать, — и тогда, изъ крайнихъ средствъ, какъ послѣдній отчаянный маневръ, судьба, не могшая немедленно мнѣ показать тебя, показала мнѣ твое бальное голубоватое платье на стулѣ, — и странно, самъ не понимая почему, но маневръ удался, представляю себѣ, какъ судьба вздохнула».

«Только это было не мое платье, а моей кузины Раисы, — причеъ она очень милая, но совершенная морда, — кажется, она мнѣ его оставила, чтобы что-то снять или пришить».

«Тогда это совѣмъ остроумно. Какая находчивость! Все самое очаровательное въ природѣ и искусствѣ основано на обманѣ. Вотъ видишь — начала съ ухаъ-купецкаго размаха, а кончила тончайшимъ штрихомъ. Развѣ это не линия для замѣчательнаго романа? Какая тема! Но обстроить, завѣсить, окружить чащей жизни — моей жизни, съ моими писательскими страстями, заботами».

«Да, но это получится автобіографія, съ массовыми казнями добрыхъ знакомыхъ».

«Ну, положимъ, — я это все такъ перетасую, перекручу, смѣшаю, разжую, отрыгну... такихъ своихъ спецій добавлю, такъ пропитаю собой, что отъ автобіографіи останется только пыль, — но такая пыль, конечно, изъ которой дѣлается самое оранжевое небо. И не сейчасъ я это напишу, а буду еще долго готовиться, годами, можетъ быть... В овсякомъ случаѣ, сперва примусь за другое, — хочу кое-что по-своему перевести изъ одного старинна-

го французскаго умницы, — такъ, для окончательнаго порабощенія словъ, а то въ моемъ «Чернышевскомъ» они еще пытаются голосовать».

«Это все чудно, — сказала Зина. — Это мнѣ все страшно нравится. Я думаю, ты будешь такимъ писателемъ, какаго еще не было, и Россія будетъ прямо изнывать по тебѣ, — когда слишкомъ поздно спохватится... Но любишь ли ты меня?»

«То, что говорю, и есть въ нѣкоторомъ родѣ объясненіе въ любви», — отвѣтилъ Федоръ Константиновичъ.

«Мнѣ мало «нѣкотораго рода». Знаешь, временами я, вѣроятно, буду дико несчастна съ тобой. Но въ общемъ-то мнѣ все равно, иду на это».

Она улыбнулась, широко раскрывъ глаза и поднявъ брови, а потомъ слегка откинулась на своемъ стулѣ и стала пудрить подбородокъ и носъ.

«Ахъ, я долженъ тебѣ сказать, — это великолѣпно, — есть у него знаменитое мѣсто, которое, кажется, кажется, могу сказать наизусть, если не собою, не перебивай меня, перенюдь еще приблизительный: былъ однажды человѣкъ... онъ жилъ истиннымъ христіаниномъ; творилъ много добра, когда словомъ, когда дѣломъ, а когда молчаніемъ; соблюдалъ посты; пилъ воду горныхъ долинъ (это хорошо, — правда?); питалъ духъ созерцаніемъ и бдѣніемъ; прожилъ чистую, трудную, мудрую жизнь; когда же почувалъ приближеніе смерти, тогда, вмѣсто мысли о ней, слезъ покаянія, прощаній и скорби, вмѣсто монаховъ и чернаго нотарія, созвалъ гостей на пиръ, акробатовъ, актеровъ, поэтовъ, ораву танцовщицъ, трехъ волшебниковъ, толленбургскихъ студентовъ-гулякъ, путешественника съ Тапробаны, осушилъ чашу вина и умеръ съ безпечной улыбкой, среди сладкихъ стиховъ, масокъ и музыки... Правда, великолѣпно? Если мнѣ когда-нибудь придется умирать, то я хотѣлъ бы именно такъ».

«Только безъ танцовщицъ», — сказала Зина.

«Ну, это просто символъ веселаго общества... Можетъ быть, теперь пойдѣмъ?»

«Надо заплатить», — сказала Зина. — Кликни его».

Послѣ этого у нихъ осталось одиннадцать пфенниговъ, считая почернѣвшую монетку, которую она на-дняхъ подобрала съ панели: приносить счастье. Когда они пошли по улицѣ, онъ почувствовалъ быструю дрожь вдоль спины и — опять стѣсненіе чувствъ, но уже въ другомъ, томномъ, преломленіи. До дому было минутъ двадцать тихой ходьбы, и сосало подъ ложечкой отъ воздуха, отъ мрака, отъ медового запаха цвѣтущихъ липъ. Этотъ запахъ таялъ, замѣняясь черной свѣжестью, отъ липы до липы, и опять, подъ ждущимъ шатромъ, нарастало душное, пьяное облако, и Зина, напрягая ноздри, говорила: «ахъ... понюхай», — и опять прѣснѣлъ мракъ, и опять наливался медомъ. Неужели сегодня, неужели сейчасъ? Грузъ и угроза счастья. Когда я иду такъ съ тобой, медленно-медленно, и держу тебя за плечо, все немного качается, шумъ въ головѣ, и хочется волочить ноги, соскальзываетъ съ пятки лѣвая туфля, тащимся, тянемся, туманимся, — вотъ-вотъ истаемъ совсѣмъ... И все это мы когда-нибудь вспомнимъ, — и липы, и тѣнь на стѣнѣ, и чьего-то пуделя, стучащаго неподстриженными когтями по плитамъ ночи. И звѣзду, звѣзду. А вотъ площадь и темная кирка съ желтыми часами. А вотъ, на углу — домъ.

Прощай-же, книга! Для видѣній — отсрочки смертной тоже нѣтъ. Съ колѣнь поднимется Евгений, — но удаляется поэтъ. И все-же слухъ не можетъ сразу разстаться съ музыкой, рассказу дать замереть... судьба сама еще звенить, — и для ума внимательнаго нѣтъ границы — тамъ, гдѣ поставилъ точку я: продленный призракъ бытія синѣетъ за чертой страницы, какъ завтрашнія облака, — и не кончается строка.

В. Сиринъ.

(К о н е ц ъ).

СЛОВА И МОЛЧАНЬЯ.

Есть на землѣ Слова: они какъ тѣни,
Какъ тѣнь отъ тѣни, — въ нихъ не вѣрю
И есть Молчанья — сны безъ сновидѣн.
Какъ бы предчувствіе небытія.
За то другія мнѣ равно угольны
И открывается душа моя,
Когда Слова крылаты и чисты...
Когда молчанья трепетно-свободны,
И грустно мнѣ, что словъ не любишь ты.

ДВѢ СЕСТРИЦЫ.

Тихонько упрекала
Любовь свою Сестру:
Оставить убѣждала
Жестокою игру.
Шептала ей: «послушай,
Упрямицей не будь!
Оставь людскія души,
Не трогай ихъ, забудь.
И я несу терзанья,
И я пытаю ихъ.
Но сладки имъ страданья
И раны стрѣлъ моихъ.
Ты-жъ — словно тихимъ жаломъ
Пронзаешь духъ и плоть,
Отравленнымъ кинжаломъ
Не устаешь колоть...

А потому не странно,
 (И вѣчно будетъ такъ)
 Что я для нихъ желанна,
 А ты для нихъ — какъ врагъ».

«Сестрица, я не злая!
 Вѣдь я тебѣ сестра.
 Все знаю и сама я,
 И это не игра.
 Прости, что прекословлю,
 Пойми, пойми меня!
 Я въ душахъ путь готовлю
 Для твоего огня.
 Повѣрь: моей отравы
 Не знавшій человекъ —
 Тебя, съ твоею славой
 Не приметъ онъ вовѣкъ!
 И видишь: отъ кинжала
 Сама я вся въ крови...»

Такъ отвѣчала Жалость
 Сестрѣ своей — Любви.

REMEMBER!

«...Тотъ край, гдѣ о «прости» ужъ и помину нѣтъ...»
 «Прости» — Жуковскій.
 «...Въ разлукѣ вольной таятся ложь...»

Когда разлуку злѣсь, въ изгнаньи,
 Мы нашей волей создаемъ,
 Мы ею гасимъ обѣщанье
 И новыхъ встрѣчъ, свиданія въ краю иномъ.

Любовь всегда, вездѣ одна.
 И кто не Высшимъ указаньемъ

Здѣсь, въ этомъ мірѣ разстается —
Того покинула она.
Покинула и не вернется,
Не дастъ исполниться святымъ обѣтованьямъ.

Разлукой вольной — вѣчный кругъ
Смыкается и тамъ, за гранью:
Прощанье въ немъ безъ упованья...
Разлука вольная — страшнѣе всѣхъ разлукъ.

ПРИДВЕРНИКЪ:

Дойти бы только до порога!
Вѣка, вѣка... И нѣтъ ужъ силъ.
Вдругъ кто-то властно, но не строго,
Мой горькій путь остановилъ.
И вижу: дальше нѣтъ дороги.
Сверкаютъ бѣлые огни.
Старикъ, у двери, на порогѣ
Рукой мнѣ машетъ: «отдохни!»

Ужели новое томленье?
Опять вѣка, вѣка, вѣка
Здѣсь, на порогѣ? Съ нетерпѣньемъ
Я поглядѣлъ на старика
И тотчасъ началъ сказъ мой длинный:
Волнуюсь, путаясь, спѣша
Твердилъ и каялся: повинна
Во всемъ, во всемъ моя душа!
И нѣтъ такого дѣла злого,
Какого-бъ я не совершилъ... —

Старикъ, съ усмѣшкою суровой,
Потокъ рѣчей моихъ прервалъ:
«Не торопись! Кто ни прибудеть,

Во всемъ винить себя тотчасъ:
 Тамъ разберутся, моль, и разсудятъ
 И всѣ грѣхи простятъ заразь.
 Грѣховъ у каждаго не мало,
 Ты огуломъ казниться радъ...
 А разберись-ка самъ сначала,
 Найди, въ чемъ былъ — невиновать.
 Подумай, сядь вотъ здѣсь, на камнѣ,
 Спроси у сердца своего...»

Опять вѣка... Да что вѣка мнѣ!
 Не могъ придумать ничего.
 Мелькаютъ тѣни прегрѣшеній —
 Гордыня, страхъ, упорство въ злѣ,
 Измѣна...

О, старикъ! Въ измѣнѣ
 Я былъ невиненъ на землѣ!

Пусть это мнѣ и не въ заслугу,
 Но я Любви не предавалъ.
 И Ей — ни женщинѣ, ни другу —
 Я никогда не измѣнял!
 Быть можетъ, надо на пороѣ
 Въ томленьи ждать еще вѣка —
 Лишь объ измѣнѣ нѣтъ тревоги,
 Лишь отъ нея душа легка;
 Къ суду готовлюсь — за другое,
 И будь что будетъ впереди!

Но онъ, дрожащею рукою,
 Дверь отомкнулъ передо мною:

«Суда не будетъ. Проходи».

ДѢТСКАЯ КНИГА.

1.

Звонъ стекла, дуновенье шторы,
Шорохъ щопота на крыльцѣ.
Прямо въ окна вползають воры
Съ полумаскою на лицѣ.
И уже на ногахъ вериги. —
«Мы безжалостно заберемъ
Вашихъ куколъ и Ваши книги,
Даже плюшевый Вашъ альбомъ»...
Безошибочно, въ дунномъ свѣтѣ,
Тотъ, кто стройный и впереди,
Голубой медальонъ замѣтилъ
Подъ оборкою на груди.
«Вы влюбляетесь слишкомъ рано
(Створки — отперты безъ труда),
Бойтесь вѣрности и обмана,
Бойтесь памяти навсегда.
Въ черномъ бархатѣ полумаски
Холодны, тяжелы глаза:
«Вы читаете на ночь сказки
Передъ зеркаломъ, стрекоза.
И уже полюбить рѣшая,
Словно сердцу пятнадцать лѣтъ,
Вы мечтаете, какъ большая
И страдаете, какъ поэтъ»...
Но покорны, прозрачны руки
Отъ ладони и до плеча, —
И описаны эти муки
Въ баснѣ «Бабочка и свѣча»...
Забывая найденный мячикъ,
И оборванный медальонъ,
Нѣжный голосъ на утро плачетъ
И въ стихахъ вспоминаетъ сонъ.

А. ГОЛОВИНА

2.

Отъ словъ твоихъ, отъ памяти моей
И отъ почти такого-же апрѣля,
Опять поетъ забытый соловей,
И близится пасхальная недѣля.
Но все встаетъ въ какой-то полумгнѣ
И призраками — праздничныя лица,
Цвѣты сияютъ мутно на столѣ,
А соловей, какъ заводная птица.
Онъ такъ поетъ, что плачетъ богдыханъ,
Въ истрепанномъ собраньи Андерсена:
— Хочу того, — но тяжелѣй туманъ,
И дальше сѣверъ, и слышнѣ Сеня.
И дѣвочка подъ заводную трель
Боицца такъ, какъ прежде не боялась
Сказать тебѣ, что и сейчасъ апрѣль,
Что съ нами память, кажется, осталась,
Что можно бы попробовать еще,
Но вотъ она сама уже не вѣрить,
Хоть соловей садится на плечо
И шелкаетъ, и нѣжно лицемѣрить...
И дождь идетъ безъ запаха дождя,
Безъ шелеста, стекая съ переплета.
Гдѣ спятъ герои, руки разведя,
Какъ для обѣдья или для полета.

ВЕСНА.

О, какъ слаба, о, какъ нѣжна,
О, какъ скучна и нежеланна,
Встаетъ прохладная весна
Изъ за версальскаго фонтана.
И ей подчищенный тритонъ
Трубитъ зауценную встрѣчу,
Садовникъ — хилаго предтечу —
Пестуетъ забнушій бутонъ.

И въ рыжемъ пиджакѣ плебей
 Стоитъ, нацѣлясь аппаратомъ, —
 Богиня профилемъ носатымъ
 Ему позируетъ съ аллеи.
 Но эта встрѣча не для мукъ...
 Въ травѣ, потягиваясь, прѣлой,
 Амуръ натягивать лукъ
 И въ землю выпускаетъ стрѣлы.

**

Не черна моя совѣсть, а только мутна.
 Цѣлый мѣсяцъ въ окнѣ не вставала луна.
 Въ тишинѣ, въ темнотѣ наступала весна.
 И томила она, и звала у окна.
 — Умирай, наступила для смерти пора.
 Какъ туманны утра и душны вечера,
 Не вздыхай, не гори, не зови, не дрожи,
 Только вѣки сомкни, только руки сложи,
 Только жить перестань... А покой недалекъ,
 Жестяные цвѣты отъ весны на порогъ,
 Позументъ — у плеча и парча — на груди,
 Только ты не вставай, только ты не гляди...
 Розоватая глина легка и суха,
 Далеко до луны, высоко до грѣха.

Алла Головина.

FERREA TURRIS.

Stat ferrea turris ad auras.

Vergil. Aen. VI, 553.

Я видѣлъ сонъ въ то лѣто предъ войной.
 Врачалась самодвижная громада
 Твердыни круглой, — башни, сплошь стальной, —

Издѣліе горнилъ литейныхъ ада.
 Въ литой бронѣ, глухихъ бойницъ щиты
 Приподымались, точно вѣки гада.

И дымный клубъ изъ черной пустоты
 Изрыгнувъ, гладью выпуклой металла
 Смыкались огневержущіе рты.

Расчисленную смерть окрестъ метала
 Бездушная рабыня, плоть и гробъ
 Души, какой душа живая стала.

Волчкомъ крутилъ полкъ адскій башню злобъ,
 Когда по знаку наибольшаго бѣса,
 Взрывъ вспыхнулъ въ погребѣхъ ея утробъ —

И все застлала мрачная завѣса.

Вячеславъ Ивановъ.

ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖЪ.

Давно уже не видно мнѣ ни вѣтки
 Изъ моего замгленнаго окна;
 Передъ прокурениой чердачной кліткою
 Растетъ-цвѣтетъ кирпичная стѣна,
 Да крыши скатъ съ дымящею трубою
 (За ней луна живетъ по временамъ),
 Въ зенитѣ тучи дыбятся гурьбою,
 Въ надирѣ — дворъ булыжный. По утрамъ
 Надъ крытымъ черепицей косогоромъ
 Сквозить заря и слышенъ гамъ грачей:
 Тамъ глупымъ и животворящимъ хоромъ
 Они поютъ уютъ нагихъ вѣтвей.

Внизу шумятъ. Внизу пекутъ оладьи.
Внизу грачи спѣшать къ дѣламъ своимъ.
И лунный комъ надъ крышъ волнистой гладью
Мрачнѣя, исчезаетъ точно дымъ.

Евг. Кискевичъ.

ВЪСЫ АВЕЛЯ.

Ты отступаешь въ тѣнь своей судьбы,
Ты умолкаешь, бѣдный братъ мой Авель.
Слабѣетъ день и гаснетъ безъ борьбы.
И дождь идетъ, по трубамъ шепелявя.

Ты остаешься въ комнатѣ, безъ сна.
Костеръ времянь еще горитъ надъ крышей,
И блѣдная столичная весна
Еще цвѣтетъ, еще дрожить и дышитъ.

О, какъ легки часы любви твоей!
А въ вѣтрѣ былъ гортанный голосъ юга.
Онъ предлагалъ щемящій сокъ вѣтвей,
Лазурь небесъ, покой и руку друга.

Но жизнь тебѣ дана не для утѣхъ.
И тѣнь вѣсовъ скользитъ на небосводѣ,
Пока, синѣя, дымъ твой выше всѣхъ
Надъ утренними трубами восходить.

Вячеславъ Лебедевъ.

**

Въ ночной глуши, въ каморкѣ темной,
Захлебываясь вѣрностью и страхомъ,
Сводитъ, вздыхая, счетъ судьбъ заемной,
Возможностямъ паденія и краха,

Чтобъ то, о чемъ мы и мечтать не смѣли,
 Скользя, не помня, спотыкаясь, мимо...
 А рядомъ на обояхъ птицы пѣли
 О радости почти невыносимой.

П. Ставровъ.

**
 *

Простая радость бытія
 Необъяснима, недѣлима.
 Какъ различить, гдѣ ты, гдѣ я,
 Гдѣ міръ кончается любимый.

И изъ какихъ сѣмянъ цвѣты,
 Сіяющіе вырастаютъ,
 Пройдя сквозь темные пласты,
 Гдѣ къ солнцу путь имъ преграждаютъ.

Изъ звука какъ рождается звукъ,
 Какъ изъ волны волна взлетаетъ.
 Кто разъ вступилъ въ блаженный кругъ,
 Тотъ только дышетъ и не знаетъ.

Екатерина Тауберъ.

1.

За цѣлый день нѣтъ тягостнѣй минутъ,
 Чѣмъ эта грань: не сонъ и не сознанье.
 Мы ужъ не т а м ѣ, но мы еще не т у т ѣ,
 Еще не жизнь — уже существованье.

Сейчас наступит неизбежный мигъ
Еще страшнѣе этихъ -- пробужденье...
Лишь силой воли подавляешь крикъ,
Который разъ дозволенъ: при рожденьи.

Пора вставать и позабыть о снахъ,
Пора понять, что это будетъ вѣчно.
(Но дѣтскій страхъ и наши боль и страхъ
Одно и тоже въ сущности, конечно)...

2.

До вечера еще такой далекій срокъ,
Еще такъ много лжи, усталости и муки,
А ты уже совсѣмъ почти свалился съ ногъ
И, дверь заперѣвъ, тайкомъ, ломаешь руки.

Какъ будто-бы помочь сумѣеть здѣсь засовъ,
Какъ будто жизнь пройти не можеть черезъ щели.
Сдавайся по добру! И нѣсколько часовъ
Старайся дотянуть хотя бы еле-еле...

А. Штейгеръ.

Московскіе меценаты

Изъ воспоминаній *).

Къ Москвѣ я привязанъ крѣпкой традиціей и моею любовью, нѣжной и глубокой, къ самому обаятельному въ тѣ времена городу, единственному въ мірѣ по особому и трудно передаваемому очарованію. Только Константинополь и Севяля, во многомъ схожая съ Москвою, производили подобное впечатлѣніе. Все русское мое нутро питалось Москвою, съ годами крѣпло и художественное сознаніе того, что въ Москвѣ было необычнаго и единственнаго по красотѣ.

И все же приходится признать, что на ряду съ историческими памятниками и съ очень богатой сферой музыкальной и литературной, условія для развитія имѣвшихся въ Москвѣ художественныхъ силъ были не вполне благопріятны. Почему не было ихъ послѣ великаго культурно-національнаго дѣла П. М. Третьякова, почему преобладали въ этой области или узкій

*) Авторъ печатаемыхъ здѣсь воспоминаній о художественной жизни дореволюціонной Москвы — князь С. А. Щербатовъ, извѣстный художественный и общественный дѣятель своего времени. Самъ художникъ, горячій поклонникъ русскаго искусства, кн. Щербатовъ отдалъ на служеніе ему незаурядную свою энергію и крупныя личныя средства. Въ его стильномъ домѣ на Невинскомъ бульварѣ (получившемъ первый призъ Петербургской Академіи Художествъ и завѣщанномъ владѣльцемъ городу Москвѣ для устройства въ немъ музея), въ особнякѣ съ колоннами, расположенномъ наверху, помѣщалась собранная имъ цѣнная коллекція картинъ русскихъ художниковъ и старинныхъ русскихъ иконъ. Кн. Щербатовъ былъ членомъ совѣта и жюри Третьяковской галереи, по приглашенію акад. Шусева участвовалъ въ работахъ по росписи нонаго вокзала Моск.-Казанской жел. дороги, вмѣстѣ съ фонъ Меккь организовалъ выставку «Современнаго Искусства» въ Петербургѣ и пр. Даваемые здѣсь отрывки воспоминаній кн. Щербатова представляютъ собою главы изъ подготавливаемой авторомъ къ печати книги «Одна жизнь съ искусствомъ».

Ред.

консерватизмъ и косность, или, наоборотъ, непродуманное увлеченіе модными теченіями чужеземнаго искусства?

Это — сложный вопросъ, связанный со всей установкой нашей національной общественной жизни и культуры, нашимъ некритическимъ отношеніемъ къ Западу и недооцѣнкой своего собственнаго. Вся исторія искусства свидѣтельствуетъ о взаимныхъ вліяніяхъ живописи одной страны на другую, фламандской на итальянскую и обратно, итальянской на испанскую и т. д., но врядъ ли гдѣ либо въ такой степени, какъ въ Россіи, имѣло мѣсто такое раболѣпство передъ чужимъ и вмѣстѣ съ тѣмъ такое равнодушіе къ великимъ традиціямъ стараго, сложнаго по своему внутреннему составу, востоко-итало-русскаго, и все же русскаго по духу искусства. А между тѣмъ въ странѣ, не имѣвшей своего Ренессанса, но хранившей великое Византійское наслѣдіе, развившейся на иныхъ путяхъ, со своей особой природой и особымъ духовнымъ ликомъ, съ прекраснымъ самобытнымъ народнымъ искусствомъ, — казалось бы, необходимо было сугубо бережно культивировать національное художественное чувство.

При безспорно большой положительной роли художественнаго коллекціонерства, которымъ увлекались видные представители новаго класса, передового купечества, было въ этомъ увлеченіи, несмотря на кажущуюся утонченность, не мало провинциализма, наивнаго преклоненія передъ послѣдней модой парижскаго художественнаго рынка. Почему, напр., была поручена — и за большія деньги — С. А. Морозовымъ роспись въ его столовой въ Москвѣ Морису Денису, написавшему ужасныя по слащавости фрески, а не кому либо изъ русскихъ художниковъ, тому же Муссатову или Рябушкину, или Врубелю, котораго, несмотря на его геніальность, въ то время «держалъ въ рубляхъ» другой московскій меценатъ? Вспоминается торжество, устроенное Мих. Абр. Морозовымъ въ его дворцѣ по поводу купленной имъ, тоже за бѣшенныя деньги, очень плохой картины Бенара «Féerie intime». Для Москвы это было «événement du jour», ходили на поклоненіе этого «chef-d'œuvre», о которомъ теперь вспоминать стыдно.

Какъ не создавать было конкурсовъ, не питать прежде всего собственную русскую художественную жизнь, при столь огромныхъ матеріальныхъ затратахъ на импортное чужое искусство? Какъ не вспомнить нашихъ древнихъ русскихъ князей меценатовъ, гордившихся своимъ Рублевыми, Діонісіями. Чѣмъ при благоприятныхъ условіяхъ можетъ стать національное искусство, показавъ нѣсколько позже расцвѣтъ нашего те-

атра, оперы, балета. Но вмѣстѣ съ эфемерными декорациями и костюмами превратилось въ прахъ все лучшее, что создали для театра наши русскіе художники.

Характернымъ для Москвы и однимъ изъ самыхъ яркихъ явленій въ ея художественной жизни было собраніе Сергѣемъ Ивановичемъ Щукинымъ своей картинной галлерей французской и только французской живописи. Масштабъ этого заданія былъ по московски широкій!

Небольшого роста, коренастый, съ хитрыми умными глазами, необыкновенно живой и, несмотря на то, что онъ былъ занкой, чрезвычайно говорливый, Сергѣй Ивановичъ привлекалъ и заражалъ всѣхъ своимъ горячимъ темпераментомъ, который онъ изливалъ въ своей страсти коллекціонера. Тутъ онъ достигалъ подлиннаго пафоса и убѣждалъ своей искренностью и даже жертвенностью. Искренность этой страсти была несомнѣнна и это подкупало. Насколько отношеніе къ самимъ произведеніямъ искусства, а не къ идеѣ ихъ собранія, и ихъ внутренняя оцѣнка были искренними, это подлежало нѣрѣдко сомнѣнію.

Думается, что попадая въ Парижъ, куда Щукинъ ѣздилъ ежегодно, и откуда всякій разъ вывозилъ обычно очень ценныя, нѣрѣдко первоклассныя картины (у него были лучшія вещи Гогена, хорошій Ренуаръ, Пювистъ де Шаваннь, приобретенныя еще до увлеченія крайними теченіями), онъ не столько руководился внутренней потребностью избрать для себя на основаніи личной оцѣнки и непосредственного чувства ту или иную вещь, сколько учитывалъ признаніе ея значительности въ художественныхъ и художественно-торговыхъ сферахъ Парижа. Въ этихъ случаяхъ Щукинъ сталкивался съ агіотажемъ художественной биржи, и подчасъ грубѣйшей эксплуатаціей парижскихъ торговцевъ, нѣрѣдко перелачивая огромныя деньги за модный товаръ à la page. То, что онъ называлъ случаемъ, было имъ весьма относительно.

«Сергѣй Ивановичъ!» — воскликнулъ я разъ (Щукинъ былъ обидчивъ, самолюбивъ и не любилъ критики купленныхъ имъ вещей) — «ну, зачѣмъ Вы купили эту, вѣдь, простите, плохую вещь Матисса, да еще за такую цѣну! 45.000 франковъ!»

Планъ моднаго уже въ то время Матисса было дѣйствительно невыносимое по озорству, несмотря на несомнѣнный талантъ этого неровнаго художника. «А Вы знаете», — какъ то неожиданно искренне признался мнѣ Щукинъ, — «наеди-

нѣ я и самъ ненавижу эту картину, недѣлями борюсь съ ней, ругаю себя, чуть не плачу, что купилъ ее, и только за послѣднее время чувствую, что она меня начинаетъ о д о л ѣ в а т ь!»!

Такое единоборство съ явно навязанной ловкимъ торговцемъ рекламистомъ вешью, всю «сокровенную прелесть» которой бѣдный Щукинъ считалъ недоступной для него, но которая высоко котировалась, было и трогательно и смѣшно. Думается, со многими холстами Пикассо онъ переживалъ то же самое; платя дорого и страдая самъ въ глубинѣ души, Щукинъ заставлялъ себя ими восхищаться и вызывать восхищеніе у «отсталыхъ» москвичей.

Но какъ бы то ни было, богатѣйшее собраніе Щукина было явленіемъ весьма замѣчательнымъ, оно было, наряду съ собраніемъ Ив. Абр. Морозова, гордостью Москвы. Я любилъ посѣщать собраніе Щукина и бесѣдовать съ владѣльцемъ, когда никого не было съ глаза на глазъ, что позволяло искренне дѣлиться мнѣніями о картинахъ.

По воскресеньямъ я заходилъ къ Щукину, интересуясь уже не столько картинами, сколько общеніемъ съ молодымъ художественнымъ міромъ Москвы. Въ галлерей съ утра толпились ученики школы живописи и ваянія, критики, журналисты, любители и молодые художники. Тутъ Сергѣй Ивановичъ выступалъ уже въ качествѣ лектора и наставника, поясняющаго и просвѣщающаго Москву, знатока и пропагандиста французскихъ современныхъ теченій искусства. Предъ холстами художниковъ крайнихъ теченій молодежь стояла, разинувъ рта.

Щукинскія лекціи о новыхъ вѣяніяхъ парижской живописи имѣли послѣдствіемъ немалое потрясеніе академическихъ основъ преподаванія. Они вызывали у молодежи бурные толки и порождали немедленную фанатическую подражательность. Расширяя горизонты, это знакомство съ парижскимъ импортнымъ искусствомъ опыняло молодыхъ художниковъ, но нерѣдко и сбивало съ толку молодежь въ учебные годы въ школь. Стрѣвъ однажды въ бесѣдѣ со мной подѣлился своимъ огорченіемъ по поводу учениковъ: «Послѣ перца школьные харчи не по вкусу! Хотѣ бросай преподаваніе, ничего больше слушать не хотятъ! Каждый жаритъ по своему, хотятъ догонять Парижъ, а учиться не желаютъ! Уйду! Мочи нѣтъ!»

Мое положеніе въ купеческой средѣ было нѣсколько необычное. Я былъ студентомъ и еще не художникомъ профессионаломъ, которые охотно приглашались московскими «Медицинами» и не всегда къ ихъ пользѣ вовлекались въ водоворотъ

роскошной жизни. Съ другой стороны, я былъ представителемъ нного «класса», а въ то время разграниченіе между купеческимъ и дворянскимъ сословіемъ соблюдалось еще довольно строго въ силу не только бытовыхъ традицій, но и директивъ свыше. Стоитъ припомнить, напр., что на большіе официальные балы у Моск. генераль-губернатора В. Ки. Сергѣя Александровича купечество не приглашалось. Но популярность и личное обаяніе моего отца, коренного москвича и въ свое время перваго избраннаго Москвой всесословнаго городского головы, были такъ велики, что онъ въ купеческой средѣ былъ всегда желаннымъ гостемъ. Въ силу этого, а также и въ силу моего личнаго живого интереса къ искусству, въ свою очередь заинтересовавшаго купцовъ, любителей искусства, и я былъ въ этой средѣ принятъ съ большимъ радушіемъ.

У моего отца до старости сохранилось почти юношеское любопытство къ новымъ и интереснымъ явленіямъ жизни, онъ любилъ посмотрѣть что кругомъ дѣлается, заглянуть къ чужую жизнь. Такимъ интереснымъ явленіемъ былъ вновь выстроенный дворецъ огромныхъ размѣровъ и необычайно роскошный въ англо-готическомъ стилѣ на Спиридоновкѣ богатѣйшаго и умнѣйшаго изъ купцовъ, Саввы Тимофеича Морозова, тоже крупнѣйшаго мецената.

Я съ отцомъ поѣхалъ на торжественное открытіе этого новаго московскаго «чуда». На этотъ вечеръ собралось все именитое купечество. Хозяйка, Зинаида Григорьевна Морозова, бывшая ткачиха, женщина большого ума, съ прирожденнымъ тактомъ, ловкая, съ вкрадчивымъ выраженіемъ черныхъ умныхъ глазъ на некрасивомъ, но значительномъ лицѣ, вся увѣшенная дивными жемчугами, принимала гостей съ поистинѣ королевскимъ величіемъ. Тутъ я увидалъ и услышалъ впервые молодого и еще довольно застѣнчиваго Шалапина, тогда еще только восходившее слѣтло, и Врубеля, исполнившаго въ готическомъ холлѣ отличную скульптуру изъ темнаго дуба и большое, менѣ другихъ его работъ мнѣ нравившееся витро, изображавшее Фауста съ Маргаритой въ саду.

На почвѣ интереса къ искусству я съ Саввой Морозовымъ довольно близко познакомился; онъ пригласилъ меня въ свое имѣніе «Горки» (гдѣ позже жилъ и умеръ Ленинъ). Грубый по внѣшности, приземистый, коренастый, съ блескомъ ума и богатствомъ замѣчательныхъ возможностей, онъ наизусть цитировалъ цѣлыя страницы поэтомъ, обожалъ театръ, щедрой рукой сыпалъ деньги на устройство новаго зданія Художественнаго Театра. Въ немъ были даннія и дарованія, которыя

могли бы сдѣлать его русскимъ Лоренцо Медичи, если бы онъ остался крупнымъ промышленнымъ дѣятелемъ, располагающимъ огромными средствами, и наряду съ этимъ щедрымъ меценатомъ. Къ сожалѣнію, его погубила и довела до самоубійства политика и увлечение, въ связи съ роковой для него дружбой съ Горькимъ, крайними лѣвыми идеями.

Иного, болѣе старомоднаго склада, былъ другой московскій меценатъ, милѣйшій Павелъ Ивановичъ Харитоненко. Я довольно часто бывалъ у него въ его роскошномъ особнякѣ за Москвой рѣкой, гдѣ все было на широкую ногу, добротнo, но довольно безвкусно.

Харитоненко обожалъ французскую живопись, но презиралъ современное искусство и считался въ купеческомъ мѣрѣ «vieux romprig». Онъ тратилъ огромныя деньги на крошечнаго Мэссонье; потолокъ его гостиной былъ расписанъ Фламэнгомъ. Хотя къ его собранію живописи передовые московскіе меценаты относились нѣсколько свысока, но искренней, интимной любви къ картинамъ «для себя» въ немъ было больше, чѣмъ у нихъ, и я очень цѣнилъ въ немъ эту черту, подлинную любовь къ своимъ пріобрѣтеніямъ. Подъ конецъ жизни онъ всецѣло сосредоточился на собираніи древнихъ русскихъ иконъ, которыми увлекалась почти еще болѣе его самого Вѣра Андреевна, его жена.

Не задолго до революціи Харитоненки пригласили меня въ ихъ знаменитое своимъ благоустройствомъ имѣніе «Натальевку», Харьковской губерніи, чтобы полюбоваться прелестной церковью, выстроенной, какъ священное хранилище цѣлаго музея изумительныхъ иконъ 15 и 16 вѣковъ.

У Харитоненко въ имѣніи я впервые познакомился съ бывшимъ послушникомъ Аѳонскаго монастыря и начинающимъ быть знаменитымъ художникомъ Малявинимъ. Онъ писалъ большой портретъ Павла Ивановича съ сыномъ. Писалъ онъ его страннымъ способомъ, т. е. натурщики были нетерпѣливые: зарисовывая отдѣльно носъ, глаза, ротъ, характерныя особенности, онъ по этимъ документамъ составлялъ затѣмъ портретъ на холстѣ. Удачи не получилось.

Изъ роскошной гостиной съ золоченной мебелью Aubusson, черезъ залу, гдѣ на изысканномъ вечерѣ, на эстрадѣ, убранной цвѣтами, танцовала прима-балерина Гельцеръ, Харитоненко по желанію моего отца разъ провелъ насъ къ своей матери, никогда не показывавшейся въ обществѣ. Убогая, сморщенная старушка, въ черномъ повойникѣ, — живой сюжетъ

Федотова — пила чай за своимъ самоваромъ въ довольно скромной спальнѣ, съ кѣтомъ въ углу и съ портретомъ на стѣнѣ ея покойнаго мужа, рослаго крестьянина въ длиннополыхъ сюртукахъ, умѣйнаго сахарозаводчика и филантропа, создававшего все состояніе Харитоненковъ. Не забуду контраста, меня поразившаго! Въ этомъ была тоже Москва и дѣя историческія эпохи ея жизни.

Если въ одномъ секторѣ московской художественной жизни культивировалось по преимуществу подражательное Западу искусство, то въ другомъ, наоборотъ, всѣ усилія были направлены на искусственную выработку своего особаго національнаго стиля. Но какъ всякая искусственность и нарочитость въ творествѣ, эти попытки могли въ результатѣ дать лишь произведенія псевдонаціональныя.

Дѣятельность по воссозданію русскаго національнаго стиля была въ мое время сосредоточена въ двухъ главныхъ центрахъ. Однимъ было Абрамцево, имѣніе Саввы Ивановича Мамонтова, другимъ имѣніе Талашкино, Смоленской губерніи, княгини Маріи Клавдіевны Тенишевой.

Въ силу отрицательнаго моего отношенія къ такому направленію дѣятельности, я уклонялся отъ любезныхъ приглашеній меня въ Талашкино, не желая кривить душой и не желая обижать мило всегда ко мнѣ относившуюся хозяйку. Жалѣю, что въ силу ряда случайныхъ причинъ мнѣ не удалось побывать въ Абрамцевѣ, но лично съ Саввой Ивановичемъ Мамонтовымъ я встрѣчался нерѣдко и чувствовалъ большое влеченіе къ этому самобытному крупному и талантливому человѣку. Съ княгиней Тенишевой я часто встрѣчался въ Парижѣ уже послѣ разгрома нѣсѣхъ ей Талашкинскихъ художественныхъ учреждений, на закатѣ ея яркой и интересной жизни.

Эта было одна изъ самыхъ незаурядныхъ женщинъ, съ которыми пришлось мнѣ въ жизни встрѣчаться, правда, нѣсколько неустойчиваго нрава, но широко образованная, съ большими запросами и безусловно искренней любовью къ искусству. Она сама цѣлкомъ предалась работѣ по эмали, технику которой изучила весьма серьезно. Невозможность для меня восхищаться ея личными произведеніями и мой умѣренный восторгъ передъ продукціями Талашкинскихъ кустарныхъ мастерскихъ нѣсколько стѣсняли меня при личномъ контактѣ съ М. К. Тенишевой, но бесѣды съ нею объ искусствѣ были всегда очень интересны, и ея сужденія, рѣзкія и часто пристрастныя, являлись обычно точкой отправленія для самыхъ живыхъ споровъ.

Кн. Тенишева могла бы сыграть очень большую роль въ жизни искусства въ силу недюженной своей природы, природной талантливости и организаторскихъ способностей, если бы уклонъ въ сторону псевдорусскаго «національнаго» стиля не обезпечивалъ ея кипучей энергіи.

Савва Мамонтовъ былъ человѣкъ темпераментный, и таковою же бурной была его личная и общественная жизнь. Купецъ, кулакъ, самодуръ и въ полномъ смыслѣ слова самородокъ, онъ былъ богато одаренъ умомъ и талантливостью. Въ его художественной жизни огромную роль сыгралъ художникъ Полѣновъ, баринъ, европейски образованный, много видѣвшій, много путешествовавшій и весьма культурный. Писалъ онъ пріятные пейзажи, довольно слабыя академическія композиціи, но умѣло сработанныя и былъ центромъ особаго художественнаго міра. Онъ сильно вліялъ на Мамонтова, обтесывалъ его, пополнял то, что за отсутствіемъ наслѣдственной культуры (отецъ Мамонтова былъ крестьянинъ) не доставало Саввѣ Ивановичу.

Имѣніе Абрамцево, по Ярославской ж. д., въ которомъ Полѣновъ и Мамонтовъ съ окружающими ихъ самыми талантливыми нашими художниками (Сѣровымъ, Коровинымъ, Головинымъ, Врубелемъ, Васнецовымъ и др.) проводили дѣло, стало одно время самымъ живымъ художественнымъ центромъ. — Ставились живыя картины, писались этюды съ природы, дѣлались зарисовки въ альбомѣ, находившемся въ распоряженіи всѣхъ и донныѣ сохранившемся, какъ драгоценная память.

Своимъ темпераментомъ Мамонтовъ умѣлъ разжигать художественную страсть у молодыхъ художниковъ, умѣлъ веселить, воодушевлять, забавлять и увлекать разными затѣями, пока самъ не затѣялъ крупное дѣло, основалъ свой театръ для выступленій г-жи Любатовичъ, пѣвицы, разрушившей его семейную жизнь. Еще ранѣе у себя въ домѣ Мамонтовъ ставилъ любительскіе спектакли необычайной красоты (Снѣгурочку), но въ театрѣ его дѣятельность уже развернулась во всемъ блескѣ. Тутъ была и новизна затѣи, и чуткость, талантъ и очень широкій размахъ. Привлекались лучшія силы, выписывались знаменитые итальяскіе пѣвцы, тратились огромныя деньги. Декораціи и костюмы заказывались лучшимъ русскимъ художникамъ. Наряду съ интенсивной художественной дѣятельностью шла разудалая, веселая, кутежная жизнь, съ ресторанами, цыганами, тройками, жизнь на широкій московскій ладъ. Помимо живописи въ Абрамцевѣ процвѣтало и прикладное искусство, древообдѣлочное и гончарное, подъ руководствомъ

Полѣнова, собиравшаго по всей Россіи образцы издѣлія кустарей.

Подъ вліяніемъ Полѣнова сочное, своеобразное талантливое народное искусство перевоплощалось въ нѣкій заурядный «полѣновскій стиль», меня мало прельщавшій, но все же неизмѣримо болѣе художественный, чѣмъ условно-національный «стиль Глобы», директора Московскаго Строгановскаго училища. Такой же нарочитостью дышало и творчество художника Малютина, къ несчастью водворившагося въ Талашкинѣ кн. Тенишевой и сильно повредившаго ей въ ея искреннемъ служеніи русскому искусству.

Не избѣжалъ и С. Мамонтовъ этого вліянія, хотя въ его гончарной мастерской у Московской Заставы, гдѣ онъ жилъ послѣ разрыва съ семьей, исполнялись мастеромъ Фроловымъ прекрасныя гончарныя работы съ благородными поливами со скульптуры Врубеля.

Я любилъ навѣщать старика Савву Ивановича въ его скромной мастерской у Заставы (гдѣ я заказывалъ всѣ работы для устраиваемой мною съ В. В. фонъ-Меккъ выставки «Современное Искусство» въ Петербургѣ). Въ память имения Абрамцево эта гончарная мастерская носила то же названіе. Мамонтовъ въ то время былъ трагической фигурой. По приговору суда (онъ былъ обвиненъ, не знаю, справедливо, или нѣтъ, въ растратѣ денегъ Ярославскіей ж. д., председателемъ правленія которой состоялъ); онъ былъ описанъ за долги и лишень всего огромнаго состоянія и всѣхъ любимыхъ, собранныхъ имъ, произведеній искусства. Потому бѣднаго старика особенно трогалъ всякій знакъ вниманія, всякое поощреніе и радовало его, когда цѣнили его работы. Все такъ же онъ разгорался, жестикулировалъ оживленно, когда рѣчь шла о дорогомъ ему искусствѣ, и любилъ рассказывать объ интересной своей жизни, о театрѣ, интересовался художинками, выставками, самъ рѣдко гдѣ показываясь.

Грязно одѣтому, въ дурно пахнущемъ бѣльѣ, съ сѣрвато желтымъ, плохо вымытымъ лицомъ и таковыми же руками, со злыми, хитрыми, но умными глазами, пристально смотрящими, сильно картавящему на особомъ старинно-русскомъ языкѣ Черногоубову въ Москвѣ было суждено сыграть въ моемъ художественномъ міровоззрѣніи очень большую роль.

Жилъ онъ со старухой матерью въ крошечномъ особнячкѣ гдѣ-то на задворкахъ въ глубокомъ дворѣ въ одной изъ такихъ ни на что — ни на городъ, ни на деревню — не похо-

жихъ окраинъ Москвы, все обаяніе которой въ этой «ни на что непохожестя» и заключалось. Тѣсная, душная коморка его была вся завалена книгами, увѣшена иконами и лампадами. Познакомился я съ Черногубовымъ у Ильи Семеновича Остроухова, столь же, какъ и я, этому своеобразному человѣку обязанному нѣкимъ сдвигомъ въ художественныхъ воззрѣніяхъ и коллекціонерской страсти, а этой страсти у москвича Остроухова было хоть отбавляй!

Цѣлый долгій вечеръ за самоваромъ рѣчь шла о русскихъ иконахъ и мы рѣшили съ Остроуховымъ на другой же день поѣхать къ какому-то странному, указанному намъ Черногубовымъ, священнику, собирателю и продавцу лучшаго типа древнихъ иконъ.

Стыдно сознаться, что въ то время мнѣ, русскому до мозга костей и москвичу, эти иконы явились подлиннымъ откровеніемъ, но въ утѣшеніе мое такимъ же откровеніемъ явились онѣ и Остроухову. Я былъ совсѣмъ потрясенъ всѣмъ виднымъ у священника, большого знатока и цѣнителя иконной живописи (конечно, къ тому же и ловкаго дѣльца, — онъ съ притворными слезами разставался съ каждой своей иконой), и увезъ съ собой отъ него большую икону «Сошествіе во адъ новгородскихъ писемъ XVI в., чудесное «Знаменіе» той же эпохи и цѣлый рядъ маленькихъ продолговатыхъ иконъ въ золотой оправѣ, изъятыхъ изъ старинныхъ царскихъ вратъ, тончайшаго письма по золоту. Золотой фонъ, на который были наложены краски, давалъ имъ фосфорисцирующую переливчатость и необычайную прелесть изысканнѣйшихъ *objets d'art*.

И. С. Остроуховъ не сразу рѣшился на покупку, но на другой же день не утерпѣлъ, вернулся къ священнику и увезъ сразу иконъ вдвое больше меня. Это послужило началомъ цѣлой эры нашей съ Остроуховымъ жизни. Общій интересъ, страсть, изученіе иконъ насъ очень сблизили. Все другое въ искусствѣ для меня какъ то померкло съ этого дня, отошло на задній планъ. Открылось что-то столь великое, неоцѣненное, неугаданное до той поры въ русскомъ искусствѣ, что оно затмило всѣ остальные достиженія его въ живописи, теперь казавшейся убогой, вышней и мало значительной.

Словно нѣкая пелена спала съ глазъ прозрѣвшихъ и изумленныхъ въ это время. Русское, родное иконное искусство сразу стало въ рядъ съ высшими произведеніями мірового значенія Равенны, лучшихъ фресокъ итальянскихъ соборовъ, лучшихъ примитивовъ, притомъ отличаясь отъ всего намъ извѣстнаго въ религіозной живописи особо русской умилитель-

ностью, наряду съ серьезностью и праздничной радостью красокъ.

Секретъ этого внезапнаго прозрѣнія, оправдывающей нашу запоздалую переосцѣнку непонятой до той поры красоты русской иконы, заключался въ столь же запоздаломъ открытіи нашемъ того, что русская церковная живопись на самомъ дѣлѣ изъ себя представляла, послѣ того какъ сняты были съ иконъ вѣковыя наслоенія, записи, потемнѣвшая мѣстами коричневая олифа и копоть. Очищенные отъ этихъ наслоеній иконы являлись поистинѣ преображенными, новоявленными. Новоявленными для насъ, людей 20-го вѣка, но какъ волнительно было сознавать, что то, что мы узрѣли теперь, — пять или шесть, подчасъ семь вѣковъ тому назадъ видѣли русскіе люди вышедшимъ изъ-подъ кисти мастеровъ современниковъ! Сквозь вѣка установилась связь съ великой эрой, когда все это творилось, водружалось въ наши древніе храмы и считалось гордостью національнаго творчества.

Такими уже явились намъ иконы въ первый разъ у этого собирателя священника, никому кромѣ извѣстной среды старовѣровъ невѣдомому, живущему вдаль отъ всѣхъ, гдѣ то на окраинѣ города.

Съ этого момента собраніе иконъ стало цѣлью и содержаниемъ жизни И. С. Остроухова, тратившаго на свое собраніе, ставшее музеемъ, большія средства. Въ иныхъ совѣтѣхъ размѣрахъ я также со строгимъ отборомъ сталъ собирать иконы, которыя болѣе всего любилъ (наряду съ произведениями Врубеля) въ моемъ собраніи художественныхъ произведеній, удѣливъ имъ особое мѣсто, вѣхъ галлерей картинъ, въ моемъ рабочемъ кабинетѣ. У богатаго московскаго купца Викулы Морозова и у П. И. Харитоненко въ скоромъ времени на почвѣ увлеченія и сорешлованія развилась также подлинная страсть собранія древнихъ иконъ. На этой почвѣ мы всѣ общались другъ съ другомъ, сѣлиши посмотреть новыя пріобрѣтенія и чрезъ Черногоубова и мастеровъ по расчисткѣ иконъ (Чирикова и другихъ) были всегда въ курсѣ того, чѣмъ пополнилось то или другое собраніе.

Сама расчистка иконъ представляла собой необыкновенное зрѣлище.

Разъ старообрядецъ въ длинномъ сюртукѣ, узнавъ о моемъ увлеченіи иконами, принесъ мнѣ большую икону «Троицы». У меня уже развилось умѣніе и чутье распознавать сквозь плохую записъ хорошіе оригиналы, таившіеся иногда подъ цѣлымъ рядомъ наслоеній. Подчасъ по очень немногимъ уцѣлѣв-

шимъ признакамъ, или по стилю композиціи можно было безошибочно догадаться, что здѣсь кроется чудесное произведение. Икона «Троицы» казалась 18-го вѣка съ пышными золочеными сосудами на столѣ и роскошной одеждой Авраама и Сарры, прислуживающихъ тремъ ангеламъ, безбожно записанныхъ въ безвкусныхъ мантияхъ съ розовыми лицами, но необычайно красивой композиціи. Я на свой страхъ купилъ икону. Острое чувство риска, что, быть можетъ, внизу почти уже ничего не сохранилось, вызвало всегда въ такихъ случаяхъ напряженное волненіе. Я пригласилъ къ себѣ лучшаго мастера, Чирикова, столь же умѣлаго техника, сколько просвѣщенного знатока. Какія это были незабываемыя минуты чистой радости, какого-то волненія передъ готовящимся «сюрпризомъ»: что будетъ, что окажется? промахъ? или радостное событіе?

Чириковъ полилъ икону спиртомъ и зажегъ. Вспыхнулъ цѣлый костеръ на столѣ, и вся икона покрылась пузырями и трещинами олифы. Ловкимъ движеніемъ ножа Чириковъ началъ соскабливать обожженный слой. Стала выявляться другая живопись, интересная, 17-го вѣка, но мѣстами стало проглядывать снизу и что то другое, неясное и заманчивое. Живопись 17 в. была хорошей сохранности — оставить, или искать дальше? «Воля Ваша: какъ рѣшите — это неплохо, но снизу кажется еще много будетъ интереснѣе, вижу уже! посмотрите!» Чириковъ разгорѣлся страстью, и такъ и рвался расчищать дальше. Я рѣшилъ: «вальяйте, будь, что будетъ!» Вторая расчистка болѣе осторожная, безъ огня, ножомъ, кусочекъ за кусочкомъ, цѣлыми часами. «Хватитъ дня на три», — сказала, торжествуя, Чириковъ, — «а вѣдь это великолѣпіе! половина 16-го в., а то и раньше! Византіи! что Богъ дастъ!» — онъ перекрестился. Тоненькій ножикъ скоблилъ бережно и любовно. Показалась необычайная красота. Барочныя чаши съ прихотливымъ орнаментомъ превратились въ круглыя чашки византійскаго стиля, усыпанныя жемчугами. Жемчужинами и тончайшимъ орнаментомъ, хорошо уцѣлѣвшимъ, была украшена одежда Сарры, а ангелы предстали во всемъ великолѣпнн золотистаго «кастиса» (золотыя линіи по одеждѣ, изображающія сіяніе ризы) и съ дивными, строгими лицами, до того вполнѣ искаженными записью. Дня черезъ три я оказался обладателемъ дивнаго образа псковскихъ писемъ начала 16-го вѣка, приведшаго въ восторгъ проф. Кондакова. Гдѣ теперь это сокровище?

«Мода» всегда во всемъ. Иконы переписывались не изъ-за порчи ихъ, а согласно вкусу эпохи. Недавно я прочелъ въ очень серьезномъ трудѣ проф. Швейнфуртера, изучавшаго въ

послѣдніе годы русскія церкви и иконы, что въ ожиданіи пріѣзда на сѣверъ императрицы Екатерины II спѣшно былъ выломанъ въ одномъ соборѣ старый иконостасъ съ дивными иконами (часть ихъ, письма Рублева, найдены были въ сараѣ) и замѣненъ золоченымъ новымъ, съ пестрыми иконами итальянскаго стила «для большей роскоши».

Очень увлекался собраніемъ иконъ и государь Николай II и онъ обогатилъ музей Александра III въ Петербургѣ чудеснымъ собраніемъ. Подъ вліяніемъ новыхъ вѣяній государь заказалъ талантливому архитектору Покровскому стройку собора въ Царскомъ Селѣ, гдѣ иконы и отдѣлка были въ хорошемъ стилѣ древней эпохи.

Не стану описывать собранія И. С. Остроухова въ Москвѣ, въ Трубниковскомъ переулкѣ, съ которымъ я такъ сроднился, будто оно было моимъ собственнымъ. Каждую икону мы облюбовывали и изучали вмѣстѣ и радовались ея «воскресенію» послѣ расчистки. Видѣвшіе это собраніе его не забудутъ, а не видѣвшимъ его не опишешь*). Но о самомъ Остроуховѣ мнѣ хочется вспомнить, ужъ очень это была типичная, яркая московская фигура и по своему значительная.

Человѣкъ крутого нрава, крайне властный и переменчивый, быстро вскипавшій и отходчивый, невоспитанный, капризный, раздражительный, русскій «самодуръ», на котораго «накатывало» то одно, то иное настроеніе, Остроуховъ могъ быть столь же грубымъ и неприятнымъ, нетерпимымъ въ сужденіяхъ и оцѣнкахъ, сколь внезапно ласковымъ, добрымъ, почти сердечнымъ, внимательнымъ, участливымъ. Онъ не лишенъ былъ красиваго жеста, порыва, желанія порадовать и войти въ вашу радость. Наряду съ этимъ онъ могъ быть крайне скупъ, завистливъ, мелоченъ, но могъ вдругъ подарить любимую вещь.

Къ нему нужно было приспособиться, понять его, оцѣнить въ немъ культурные интересы, живые и искренніе на некультурномъ общемъ фонѣ. Тогда все отрицательное въ немъ отходило на задній планъ, грубость прощалась и на первомъ планѣ оставалось главное и самое важное въ Остроуховѣ — страсть къ искусству, и увлеченіе имъ собираемыми, музейными по качеству, иконами.

Конечно, онъ цѣнилъ при этомъ, какъ человѣкъ съ огромнымъ самолюбіемъ, и внѣшнюю сторону: любилъ доминировать въ Москвѣ какъ авторитетный, тонкій знатокъ, передовой ме-

*) По послѣднимъ свѣдѣніямъ это собраніе расхищено и разбазарено большевиками.

пенать въ области тогда еще новой и потому возбуждавшей острый интересъ и любопытство. Онъ любилъ наставлять, открывать глаза непонимающимъ, просвѣщать, — любилъ онъ и лести. Черногубовъ, ловкій, хитрый и подобострастный, умѣлъ этой чертой Остроухова ловко пользоваться, но обдѣлывая свои дѣлишки, онъ являлся и цѣннѣйшимъ наставникомъ и руководителемъ Остроухова, будучи хорошо освѣдомленнымъ, что и гдѣ можно найти интереснаго, подчасъ первокласснаго. Эти два влюбленныхъ въ иконопись фанатика другъ друга пополнили, они создали атмосферу культа иконы, храмомъ котораго сдѣлался пристроенный къ старому тѣсному особняку Остроухова музей, гдѣ бывала вся Москва и куда наѣзжали иностранцы.

Таковъ былъ Остроуховъ, бывший мелкимъ служащимъ при Торговомъ домѣ Боткиныхъ, женившійся на богатой, некрасивой, но симпатичной Надеждѣ Петровнѣ Боткиной, на благо русскому искусству тратившій крупное состояніе, самъ далеко не бездарный художникъ пейзажистъ, умѣлый и чуткій, но бросившій личное искусство, будучи одержимъ благородной, безудержной, всепоглощающей страстью коллекціонера.

Кн. С. А. Щербатовъ.

О «Шинели» Гоголя

1.

Нужно ли еще писать о «Шинели»? Мы все знаем повесть Гоголя со школьных дней; а если нам случилось позже читать книги и статьи о Гоголе, то и в них — безразлично, были ли это работы с типичным для русской литературной критики и русской историко-литературной науки «специальным подходом» или работы «формалистов» — мы читывали всегда одно и то же: «Шинель» — одно из звеньев на пути развития Гоголя-писателя в направлении к реализму, тема ее — один из «униженных и оскорбленных», «бѣдный чиновникъ» — тема обработанная в болѣе чѣм сотнѣ русскихъ разсказовъ и повѣстей, напр., в «Бѣдныхъ людяхъ», «Слабомъ сердцѣ» и др. раннихъ повѣстяхъ Достоевскаго, самихъ Гоголемъ в «Запискахъ сумасшедшаго», тема Вейнбергскаго —

Онъ былъ титулярный совѣтникъ,
она — губернаторская дочь...

Центральную мысль «Шинели» видятъ обычно въ знаменитомъ патетическомъ мѣстѣ, слѣдующемъ за словами Акакія Акакіевича, надъ которымъ подшучиваютъ чиновники: «Оставьте меня. Зачѣмъ вы меня обижаете...» — «И что то странное заключалось въ словахъ и въ голосѣ, которымъ они были произнесены. Въ нихъ слышалось что-то такое, преклоняющее на жалость, что одинъ молодой человекъ, недавно опредѣлившійся, который по примѣру другихъ позволилъ себѣ посмѣяться надъ нимъ, вдругъ остановился, какъ будто пронзенный, и съ тѣхъ поръ какъ будто все перемѣнилось передъ нимъ и показало въ другомъ свѣтѣ. Какая-то неестественная сила оттолкнула его отъ товарищей, съ которыми онъ познакомился, принявъ ихъ за приличныхъ, свѣтскихъ людей. И долго потомъ, среди самыхъ веселыхъ минутъ, представлялся ему низенькій чиновникъ съ лысинкою на лбу, съ своими проникающими словами «Оставьте меня! зачѣмъ вы меня обижаете!» Въ этихъ

проникающихъ словахъ звенѣли другія слова: «Я братъ твой!» И закрывалъ себя рукою бѣдный молодой человѣкъ, и много разъ содрогался онъ потомъ на вѣку своемъ, вида какъ много въ человѣкѣ безчеловѣчья...» Нѣтъ сомнѣнья, что это мѣсто содержитъ существенныя для Гоголя мысли. Но не странно ли, что такое центральное мѣсто стоитъ въ самомъ началѣ повѣсти, какъ будто бы предвосхищая и дѣлая ненужнымъ все дальнѣйшее развитіе событій: а въ дальнѣйшемъ только еще начинается трагическая исторія Акакія Акакіевича, исторія, которую съ перваго взгляда можно скорѣе назвать траги-комедіею и въ которой такой тонкій цѣнитель русскихъ классиковъ, какъ Достоевскій, увидѣлъ насмѣшку, издѣвку надъ героемъ, первое человѣческое чувство котораго направлено на... шинель. Не испортилъ ли Гоголь этимъ продолженіемъ начала? не ослабилъ ли онъ впечатлѣніе? не объявилъ ли онъ Акакія Акакіевича нашимъ братомъ, чтобы потомъ зло посмѣяться надъ нимъ?

Уже такая странная невязка въ композиціи повѣсти заставляетъ насъ искать вложеннаго въ нее Гоголемъ смысла въ чемъ то иномъ, а не въ этомъ «Я братъ твой!» — въ этой мысли, которая, при всей ея патетичности и христіанскомъ характерѣ, пахнетъ прописями и напоминаетъ знаменитое Карамзинское «и крестьянки чувствовать умѣютъ», фразу, которую мы теперь не можемъ, признавая всю ея справедливость, читать безъ улыбки.

Попробуемъ подойти къ разсказу Гоголя ближе путемъ метода медленнаго чтенія, единственнаго правильнаго метода чтенія классиковъ, метода, отъ котораго насъ отучила и школа, гдѣ собственное наше размышленіе надъ произведеніемъ было сдѣлано ненужнымъ разъясненіями учебника и учителя — да были ли мы на школьной скамьѣ достаточно зрѣлы, чтобы дѣйствительно понимать смыслъ художественнаго произведенія? — и газета, и детективный романъ, и иное «легкое чтеніе».

При медленномъ чтеніи, при наслажденіи разсказомъ Гоголя «по каплямъ», мы замѣтимъ много мелочей, мелкихъ, какъ кажется ничтожныхъ чертъ... Можетъ быть, съ одной изъ такихъ «ничтожныхъ мелочей» стоитъ начать разборъ «Шинели». Въ повѣсти «Шинель» необычайно часто повторяется одно и то же малозначущее словечко «даже!» На тѣхъ 32-40 страницахъ, которая занимаетъ «Шинель» въ обычныхъ изданіяхъ Гоголя, это словечко «даже» встрѣчается не болѣе не менѣе какъ 73 раза! При этомъ его употребленіи на нѣкоторыхъ страницахъ какъ-то особенно сгущено: на протяженіи

страницы мы встречаемъ его 3, 4, даже 5 разъ! Случайность ли это? Просто ли повторяетъ Гоголь ненужное слово, потому что оно разъ подвернулось подъ перо? означаетъ ли это повтореніе просто извѣстную стилистическую склонность; инертность, въ силу которой каждый изъ насъ порою въ собственной статьѣ или письмѣ внезапно встрѣчаетъ нѣсколько разъ повтореннымъ какое-либо мало-осмысленное, ненужное слово или словечко въ нѣсколькихъ сосѣднихъ фразахъ?

По всему тому, что мы знаемъ о методѣ работы Гоголя надъ его произведеніями, такое объясненіе должно намъ представляться мало вѣроятнымъ, да просто невозможнымъ. Какъ извѣстно, Гоголь безконечно обрабатывалъ и перерабатывалъ текстъ своихъ произведеній, перерабатывалъ по отдѣльнымъ словамъ, измѣняя и варьируя ихъ, пока не достигалъ какой-то послѣдней отточенности, послѣдней отшлифовки. Мы знаемъ со словъ С. Т. Аксакова, какъ Гоголь въ 1850 году читалъ два раза главу изъ второй части «Мертвыхъ Душъ»; при второмъ чтеніи Аксаковы были поражены: «мы были поражены удивленіемъ: глава показалась намъ еще лучше и какъ будто написана вновь. Поправки повидимому самыя ничтожныя: тамъ одно словцо убавлено, здѣсь прибавлено, а тутъ переставлено — и все выходитъ другое». Если мы могли бы сомнѣваться въ свидѣтельствѣ такого судьи, какъ Аксаковъ, — сомнѣваться, не переоцѣнилъ ли слишкомъ увлеченный Гоголемъ, какъ писателемъ, человѣкомъ и «пророкомъ», Аксаковъ (а старый Аксаковъ ни въ коемъ случаѣ не былъ такъ безоговорочно увлеченъ Гоголемъ, какъ молодые Аксаковы), то достаточнымъ свидѣтельствомъ остаются для насъ и напечатанныя переработки самимъ Гоголемъ своихъ произведеній («Портрета», «Ревизора», «Тараса Бульбы») и рукописи Гоголя, — онѣ вполне подтверждаютъ то, что по словамъ Берга самъ Гоголь рассказывалъ (въ тѣ же годы) о методѣ своей писательской работы: «Сначала нужно набросать все, какъ придется, хотя бы плохо, водянисто, но рѣшительно все и забыть объ этой тетради. Потомъ, черезъ мѣсяцъ, черезъ два, иногда и больше (это скажется само собою), достать написанное и перечитать: вы увидите, что многое не такъ, много лишняго, а кое-чего и недостаетъ. Сидѣйте поправки и замѣтки на поляхъ — и снова забросьте тетрадь. При новомъ пересмотрѣ ея — новыя замѣтки на поляхъ — и гдѣ не хватаетъ мѣста — взять отдѣльный клочекъ и приклеить сбоку. Когда все будетъ такимъ образомъ исписано, возьмите и перепишите тетрадь собственноручно. Тутъ само собою явятся новыя озаренія, урѣзы, добав-

ки, очищенія слога. Между прежнихъ вскочать слова, которыя необходимо должны тамъ быть, но которыя почему-то не являются сразу. И опять положите тетрадку. Путешествуйте, развлекайтесь, не дѣлайте ничего, или хоть пишите другое. Придетъ часъ, вспомнится брошенная тетрадь: возьмите, перечитайте, поправьте тѣмъ способомъ, и когда снова она будетъ измарана, перепишите ее собственноручно. Вы замѣтите при этомъ, что вмѣстѣ съ крѣпчаніемъ слога, съ отдѣлкой, очисткой фразъ — какъ бы крѣпчаетъ и Ваша рука: буквы ставятся тверже и рѣшительнѣе. Такъ надо дѣлать по моему в о с е м ь разъ. Для иного, можетъ быть, нужно меньше, а для иного и еще больше. Я дѣлаю восемь разъ. Только послѣ восьмой переписки, непременно собственною рукою, трудъ является вполне художничѣски законченнымъ, достигаетъ перла созданія. Дальнѣйшія поправки и пересматриванія, пожалуй, испортятъ дѣло; что называется у живописцевъ: зарисуешься. Конечно, слѣдовать постоянно такимъ правиламъ нельзя, трудно. Я говорю объ идеалѣ. Иное пустишь и скорѣе. Человѣкъ все-таки человѣкъ, а не машина.

Врядъ ли можно допустить, что т а к ъ работавшій писатель оставилъ въ силу простой психической косности въ такомъ чрезмѣрномъ изобиліи ненужное словочко въ произведеніи, которому онъ приписывалъ такую роль! Очевидно, «даже» имѣетъ въ произведеніи какое-то значеніе, «несетъ какую-то функцию» — а скорѣе нѣсколько функций; у Гоголя всегда такъ: его художественные приемы многосторонни, многофункциональны... Какова же роль «даже» въ «Шинели»? Разсмотримъ ее поближе.

2.

Прежде всего, повтореніе одного и того же слова характеризуетъ — у Гоголя и другихъ писателей — разговорную рѣчь или «сказъ», какъ говорятъ теперь историки литературы. Въ «Шинели» — и на это слѣдуетъ обратить вниманіе — рассказъ ведется какъ будто не отъ лица Гоголя, не Гоголемъ самимъ, а какимъ-то рассказчикомъ, котораго Гоголь совершенно опредѣленно держитъ на извѣстномъ разстояніи, на дистанціи отъ себя. Гоголь все еще продолжаетъ традицію «Вечеровъ» и «Миргорода» съ ихъ рассказчиками. Что рассказъ ведется какимъ-то, ближе не характеризованнымъ, рассказчикомъ, Гоголь подчеркиваетъ при помощи различныхъ приемовъ, напр., при помощи вводныхъ фразъ, вродѣ: «ничего этого неизвѣстно», «не помню какого-то города», «Акакій Акакіевичъ родил-

ся противъ ночи, если только память не измѣняетъ мнѣ, на 23 марта», «трудно сказать, въ какой именно день», «гдѣ именно жилъ приглашенный чиновникъ, къ сожалѣнію, не можемъ сказать: память начинаетъ намъ сильно измѣнять», «въ чемъ состояла роль значительнаго лица, это осталось до сихъ поръ неизвѣстнымъ», «кому все это досталось (наслѣдство Акакія Акакіевича), Богъ знаетъ — объ этомъ, признаюсь, даже не интересовался рассказывающій сію повѣсть» и т. д. Для этой же цѣли примѣняетъ Гоголь отступленія, — какъ, напр., сразу же въ началѣ повѣсти: «Въ департаментѣ...» — рассказчикъ обрываетъ: «Но лучше не называть, въ какомъ департаментѣ» — слѣдуетъ двадцать (!) строкъ отступленія, послѣ которыхъ рассказъ начинается снова: «Итакъ, въ одномъ департаментѣ служилъ одинъ чиновникъ...» Въ украинскихъ рассказахъ Гоголь пользуется украинскими словами и фразами, чтобы напомнить читателю о рассказчикѣ, въ уста котораго вложенъ рассказъ. Въ «Шинели» и «Запискахъ сумасшедшаго» Гоголь наиболее приближаетъ свою рѣчь къ разговорной: въ «Запискахъ сумасшедшаго» это было проще, авторъ заставляетъ героя вести дневникъ; Акакій Акакіевичъ дневникъ врядъ ли способенъ былъ бы вести! Но рассказчикъ въ какомъ-то смыслѣ приближенъ къ Акакію Акакіевичу. Это приближеніе достигнуто повтореніемъ нѣкоторыхъ ненужныхъ словъ, напр., замѣной осмысляющихъ, наполняющихъ содержаніемъ существительное, къ которому онѣ относятся, опредѣлений, ничего не значущихъ: «одинъ» («одного капитанъ-исправника», «одинъ директоръ» и т. д.), «какой-то» («какое-то отношеніе», «какого-то города» и т. д.), «что-нибудь», «кой-какой» и т. д. Гоголь самъ обращаетъ вниманіе на характеръ рѣчи своего героя: «Нужно знать, что Акакій Акакіевичъ изъяснялся большею частью предложениями, нарѣчьями, и, наконецъ, такими частицами, которыя рѣшительно не имѣютъ никакого значенія. Если же дѣло было очень затруднительно, то онъ даже имѣлъ обыкновеніе совсѣмъ не оканчивать фразы, такъ что весьма часто, начавши рѣчь словами «Это право совершенно того...», а потомъ уже и ничего не было, и самъ онъ позабывалъ, думая, что все уже выговорилъ...» Да и значительное лицо — второй герой повѣсти — «оставался вѣчно въ одномъ и томъ же молчаливомъ состояніи, произносилъ только изрѣдка какіе-то односложные звуки... «Обыкновенный разговоръ его (съ низшими) отзывался строгостію и состоялъ почти что изъ трехъ фразъ...»

Поэтому не случайно «обдѣлннѣе» рѣчи рассказчика. Довести это обдѣлннѣе до ступени, на которой стоитъ рѣчь Ака-

кія Акакіевича или «значительнаго лица», Гоголь, очевидно, не могъ. Если бы и рассказчикъ «изъяснялся... предлогами, нарѣчїями, и, наконецъ, такими частицами, которыя рѣшительно не имѣютъ никакого значенія», или «оставался вѣчно въ... молчаливомъ состояніи», — то никакого разсказа бы не случилось! Гоголь, однако, въ какой-то мѣрѣ приближаетъ рѣчь рассказчика къ рѣчи своихъ героевъ: для этого и служить странное «обѣднѣніе» языка «Шинели», обѣднѣніе, стоящее, казалось бы, въ противорѣчїи съ основнымъ внутреннимъ закономъ всякаго художественнаго произведенія, неизбѣжно стремящагося къ какому-то наибольшему, въ предѣлахъ возможнаго, богатству, полнотѣ, пышности. Очевидно, здѣсь возможности богатства и полноты рѣчи ограничены именно своеобразнымъ «косноязычіемъ» рассказчика и героевъ.

Въ дальнѣйшемъ развитїи натуралистическаго стиля въ русской литературѣ мы найдемъ примѣры, далеко оставляющіе за собою скромныя начатки Гоголя: такова, напр., рѣчь Макара Дѣвушкина въ «Бѣдныхъ людяхъ» и неизвѣстнаго рассказчика въ «Двойникѣ» Достоевскаго: на нѣкоторыхъ страницахъ читатель, неуловившїй намѣренія автора, приходитъ въ нѣкоторое раздраженіе, — зачѣмъ брать въ рассказчики какихъ-то заикъ! Но и самъ Гоголь превзошелъ себя въ «Повѣсти о Капитанѣ Копѣйкинѣ», — здѣсь на 8-ми страницахъ накоплено такое обиліе вводныхъ — и часто бессмысленныхъ — словъ, что остается только поражаться, съ какимъ искусствомъ неподражаемый мастеръ, Гоголь, рассказывалъ, растасовывалъ такое количество сказовыхъ элементовъ на этихъ восьми страницахъ; здѣсь встрѣчаемъ 13 разъ — «судырѣ ты мой», 15 разъ — «можете вообразить» и «можете представить», 23 раза «знаете» или «понимаете», 20 разъ «этакой», 17 разъ — «какой-нибудь», 12 разъ — «въ нѣкоторомъ родѣ», 11 разъ — «такъ сказать», 9 разъ «относительно» или «относительно сказать» и т. д. Напомнимъ: «Вдругъ передъ нимъ свѣтъ, относительно сказать, нѣкоторое поле жизни, сказочная Шехеразада, понимаете, этакая. Вдругъ какой-нибудь этакой, можете представить себѣ, Невскїй прешпектъ, или тамъ, знаете, какая-нибудь Гороховая, чортъ возьми, или тамъ этакая какая-нибудь Литейная; тамъ шницъ этакой какой-нибудь въ воздухѣ; мосты тамъ висятъ этакимъ чортомъ, можете представить себѣ, безъ всякаго, то есть, прикосновенія; словомъ, Семирамида, судырѣ, да и полно...» Или: «Проходить мимо этакого какаго-нибудь ресторана: поварь тамъ, можете себѣ представить, иностранецъ, французъ этакой съ открытой фізіогномїей, бѣлье на немъ голланд-

ское, фартукъ бѣлизною равный, въ нѣкоторомъ родѣ, снѣгамъ, работаетъ фенаервъ какой-нибудь этакой, котлетки съ трюфелями, словомъ разсупеделикатесь такой, что просто себя, то-есть съѣлъ бы отъ аппетита. Пройдетъ ли мимо Милютинскихъ лавокъ: тамъ изъ окна выглядываетъ въ нѣкоторомъ родѣ, семга этакая, арбузъ-громадище, дилижансъ этакой, высунулся изъ окна и, такъ сказать, ищетъ дурака, который заплатилъ бы сто рублей — словомъ на всякомъ шагу соблазнъ, относительно такъ сказать слюнки текутъ, а онъ — жди...»

Явняя «ненужность» всѣхъ этихъ словесныхъ узоровъ съ точки зрѣнія изложенія опредѣленнаго содержанія, настолько очевидна, что, пожалуй, на такихъ примѣрахъ яснѣе всего выступаютъ характерныя черты словеснаго творчества, которая при всякомъ подходѣ къ содержанію произведенія, при игнорированіи формы исчезаютъ изъ взгляда читателя, — словесное искусство какъ и г р а, и словесное искусство какъ р е м е с л о остаются въ тѣни. А между тѣмъ, какъ мы увидимъ на нашемъ примѣрѣ, отъ этихъ «формальныхъ» элементовъ отъ игры со словомъ и отъ ремесленнаго характера словеснаго творчества («какъ сдѣлано», «какъ сработано») протягиваются нити къ существенному содержанію литературнаго произведенія.

3.

Но многочисленныя «даже» въ «Шинели» несутъ не только упомянутую функцію: стилизовать рѣчь, какъ сказъ. Онѣ связаны и существеннѣйшими чертами юмора Гоголя, комическаго у Гоголя.

Комизмъ Гоголя своеобразная игра противопоставленій, антитеза осмысленнаго и безсмысленнаго, игра, въ которой онѣ смѣняютъ другъ друга, — казалось то или другое: фраза, слово, мысль — имѣеть смыслъ, а вдругъ оказалась безсмыслица; или наоборотъ: казавшееся безсмыслицей оказалось осмысленнымъ. Къ этой игрѣ относится и употребленіе «даже»; «даже» вводитъ усиленіе, подъемъ, означаетъ, отмѣчаетъ напряженіе, ожиданіе, — и если подъема не оказывается, ожидаемое нѣчто не появляется, мы разочарованы, изумлены, а Гоголь достигъ комическаго эффекта! Гоголь вводитъ вмѣсто усиленія послѣ «даже» то «словесной нуль» (безсмысленныя фразы у Гоголя очень часты: ср. въ Ссорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ: «въ приточеніи ошельмовавшись состоялся» и цѣлый рядъ другихъ мѣстъ), а иногда — вмѣсто усиленія насъ

поражаетъ ослабленіе. Такъ смѣняются серьезное и шутка, и если восходящая линія особенно подчеркнута патетической интонаціей, то и простая рѣчь кажется бессмыслицей: восходящая линія рѣчи, залетѣвшая въ лафосѣ слишкомъ высоко, внезапно обрывается и все кончается ничѣмъ, пустяками или прямою противоположностью къ тому, чего читатель ожидалъ.

Въ такихъ мѣстахъ часто «даже!» И до «Шинели» и позже. Возьмемъ примѣръ изъ «Мертвыхъ душъ». Гоголь говоритъ о «просвѣщеніи» «города NN»: «прочіе тоже были люди просвѣщенные, — кто читалъ Карамзина, кто «Московскія Вѣдомости», а кто д а ж е (!) и совсѣмъ ничего не читалъ». Въ томъ же родѣ и знаменитое: «губернаторъ — былъ большій добрякъ и д а ж е самъ вышивалъ иногда по тюлю». Похожія мѣста встрѣчаемъ уже въ «Евгеніи Онегинѣ», произведеніи, оказавшемъ несомнѣнное вліяніе на Гоголя (на что историкъ литературы не удосужились обратить вниманіе): изображеніе секунданта Ленскаго, Зарѣцкаго:

...добрый и простой
отецъ семейства холостой,
надежный другъ, помѣщикъ мирный
и д а ж е честный человѣкъ...

Какъ будто честность — самое рѣдкое и необыкновенное качество человѣка!

Въ «Шинели» функція «даже» сплошь и рядомъ та же самая: «даже» вводитъ фразы, мысли, не стоящія съ предыдущими въ ожидаемой логической связи, а то не стоящія съ предыдущимъ вообще ни въ какой связи. Такъ «даже» опустошаетъ осмысленное. Да и осмысленное не всегда полно смысла — таковъ здѣсь художественный замыселъ Гоголя. Примѣры: «Фамилія чиновника была Башмачкинъ. Уже по самому имени видно, что она произошла отъ башмака; но когда, въ какое время и какимъ образомъ произошла она отъ башмака, — ничего этого неизвѣстно. И отецъ, и дѣдъ, и д а ж е шуринъ, и всѣ совершенно Башмачкины ходили въ сапогахъ, перемѣняя только три раза въ годъ подметки...» Послѣ перваго логическаго срыва — перехода къ шурину, который вѣдь ни въ какой генетической связи съ Акакіемъ Акакіевичемъ не стоитъ, слѣдуетъ здѣсь еще второй срывъ — переходъ къ подметкамъ, не имѣющимъ вообще ничего общаго съ именемъ «Башмачкинъ». Цѣлый рядъ подобныхъ же, вводимыхъ «даже», срывовъ логическаго хода мысли группируются вокругъ своеобразныхъ представленій рассказчика объ отношеніи природы и судьбы къ

высшимъ ступенямъ россійской «табели о рангахъ»: петербургскій морозъ заставляетъ «болѣть лобъ и слезы выступать на глазахъ... да же у занимающихъ высшяя должности»; или: «кразныя бѣдствія разсыпаны на жизненной дорогѣ не только титулярнымъ, но да же тайнымъ, дѣйствительнымъ, надворнымъ и всякимъ совѣтникамъ, да же и тѣмъ, которые не даютъ никому совѣтовъ, и ни отъ кого не берутъ ихъ сами...» (двойной срывъ: «совѣтникъ» вовсе не означаетъ — давать совѣты). Когда привидѣнне начинаетъ сдергивать шинели съ плечъ петербургскихъ жителей: «со исѣхъ сторонъ поступали безпрестанно жалобы, что спины и плечи, пускай бы еще только титулярныхъ, но да же и надворныхъ совѣтниковъ, подвержены совершенной простудѣ, по причинѣ частого сдергиванія шинелей». Въ томъ же стилѣ и фраза: «Хозяйка (жена портного Петровича), готовя какую-то рыбу, напустила столько дыму въ кухнѣ, что нельзя было видѣть да же и самыхъ таракановъ»...

Подобнымъ же образомъ «играетъ» Гоголь и съ другими словами, не только съ «даже»: портной Петровичъ «не смотря на свой кривой глазъ и рябизну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьихъ и всякихъ другихъ панталонъ и фраковъ, когда былъ въ трезвомъ состоянн и не питалъ въ головѣ какого-нибудь другого предпрятя». И здѣсь — достаточно параллелей изъ другихъ произведеннй Гоголя: противопоставленне Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича заключаетъ такая концовка — «Иванъ Ивановичъ нѣсколько боязливаго характера, у Ивана Никифоровича на проги въ то го, шаровары въ такихъ широкихъ складкахъ, что если бы раздуть ихъ, то въ нихъ можно бы помѣстить весь дворъ съ амбарами и строенемъ»: или въ «Тарасѣ Бульбѣ» — Бульба съ нѣсколькими друзьями своевольно начинаютъ бить въ литавры, грохотъ которыхъ созывалъ казачью «раду», — «на бой литавръ прежде всего прибѣжалъ довбишъ, высокнй челоувѣкъ съ однимъ только глазомъ, не смотря однакожь на то страшно заспаннымъ».

Такова техника, которую пользуется Гоголь для приведення читателя въ изумленне! Но часто — въ частности и въ «Шинели» — методъ Гоголя и противоположенъ: читатель ожидать чего-нибудь обыкновеннаго, понятнаго, положительнаго, — вмѣсто этого Гоголь поражаетъ его вычурнымъ, необыкновеннымъ, отрицательнымъ. Вотъ примѣры изъ «Шинели»: для Акакія Акакіевича находятя въ календарѣ имена — Мокій, Сосій, Хоздозать, затѣмъ — Трифилій, Дула и Варахасій — «звотъ

это наказаніе — проговорила старуха — какія все имена! Я и не слыхивала такихъ. Пусть бы еще» — мы ожидаемъ послѣ этого «пусть бы еще» какихъ-нибудь довольно повседневныхъ именъ, но Гоголь готовитъ намъ поражающія — «Пусть бы еще Варадать или Врухъ, а то Трифилій и Варахасій». — «Взбираясь по лѣстницѣ, ведущей къ Петровичу, которая — надобно отдать справедливость» — читатель ждетъ услышать о лѣстницѣ что-нибудь положительное, но изумляется вдвойнѣ читая: «надобно отдать справедливость была вся умашена водой, улита помоями и проникнута насквозь тѣмъ спиритуознымъ запахомъ, которой, какъ извѣстно, присутствуетъ неотлучно на всѣхъ черныхъ лѣстницахъ петербургскихъ домовъ...»

Къ этой технике приведенія читателя въ изумленіе принадлежить и игра Гоголя со словомъ «даже».

4.

Но «даже» повторяется такъ часто въ повѣсти не только какъ одинъ изъ пріемовъ этой техники! «Даже» существенно и для одного изъ главныхъ аспектовъ повѣсти, приоткрываетъ намъ это аспектъ, если мы достаточно внимательны.

Мы уже говорили о томъ, что «даже» вводитъ и сопровождаетъ усиленіе, возрастаніе, напряженіе, которое, однако, Гоголь, разочаровывая и въ то же время изумляя читателя, беретъ назадъ. Такимъ образомъ онъ искривляетъ передъ нами ничтожество изображаемаго круга, отрѣзка жизни. То, чему предшествуетъ «даже», оказывается ничтожествомъ, пустякомъ: это значить: въ этой сферѣ жизни значительнымъ и существеннымъ представляется ничтожное, пустое, «ничто». Не такъ то легко изобразить и понять «ничто»; съ этою трудностью не мало пришлось бороться и философамъ отъ Гегеля до Гейдегера. Эту трудность пытается преодолѣть и Гоголь своимъ «даже». Содержаніе и цѣли жизни оказываются ничтожными, пустыми, безсодержательными, «никакими»...

Къ этой сферѣ примѣненія «даже» принадлежать тѣ, уже цитированныя, мѣста, въ которыхъ Гоголь вызываетъ впечатленіе, что по мнѣнію рассказчика его повѣсти, на «табелѣ о рангахъ» ориентируется природа, судьба, даже сверхчувственный міръ — привидѣніе! — который нормально шалитъ страдающій отъ холода организмъ, плечи, «жизненный путь» чиновниковъ высшихъ ранговъ.

При помощи того же пріема изображено наивысшее, наисильнѣйшее чувство Акакія Акакіевича — его страсть къ но-

вой шинели. Эти чувства изображены Гоголемъ съ патетической интонаціей, но ихъ обнаруженія оказываются ничтожными повседневностями. Акакій Акакіевичъ «даже» смѣется или улыбається, онъ «даже» невнимателенъ на службѣ, «почти что» дѣлаетъ описку при перепискѣ, онъ «даже» обращаетъ вниманіе на хорошецькую даму. — «Огонь порою показывался въ глазахъ его, въ головѣ д а ж е мелькали самая дерзкія и отважныя мысли: не положить ли точно куницу на воротникъ». Но вѣдь и вся жизнь Акакія Акакіевича изображена въ томъ же стилѣ: его усердіе по службѣ таково, что «если бы, соразмѣрно его рвенію, давали ему награды, то онъ, къ изумленію своему, можетъ быть, попалъ бы д а ж е въ статскіе совѣтники». Его собственные желанія, однако, еще умѣреннѣе: «и если бы д а ж е директоръ былъ такъ милостивъ, что, вмѣсто сорока рублей наградныхъ, опредѣлилъ бы сорокъ пять или пятьдесятъ...» Только его новая жизненная задача создаетъ въ немъ что-то похожее на характеръ, дѣлаетъ его живымъ, оживленнымъ: «Онъ сдѣлался какъ-то живѣе, д а ж е тверже характеромъ, какъ человѣкъ, который уже опредѣлился и поставилъ себѣ цѣль». Въ первый разъ вечеромъ на улицѣ, Акакій Акакіевичъ «шелъ въ веселомъ расположеніи духа, д а ж е побѣждалъ было вдругъ, неизвѣстно почему, за какой-то дамою... Но, однакожъ онъ тутъ же остановился и пошелъ опять по-прежнему тихо, подивясь д а ж е самъ неизвѣстно откуда взявшейся рыси». И послѣ катастрофы (а что вся катастрофа состоитъ въ пролажѣ шинели, не слѣдуетъ забывать!), когда Акакій Акакіевичъ борется со смертію, онъ «наконецъ, д а ж е сквернохульничалъ, произнося самая страшныя слова, такъ что старушка-хозяйка д а ж е крестилась, отъ роду не слышавъ отъ него ничего подобнаго, тѣмъ болѣе, что слова эти слѣдовали непосредственно за словомъ «ваше превосходительство», — такая наивысшая возможная ступень протеста «бѣднаго чиновника»!

Но не только основная линія развитія сюжета испещрена этими «даже», вскрывающими ничтожество жизни и переживаний главнаго героя. Не лучше и побочныя дѣйствующія лица: «значительное лицо», которому приносятъ свои жалобы на жизнь и судьбу Акакій Акакіевичъ, таковы и коллеги Акакія Акакіевича, таково и все окруженіе его, въ которомъ онъ живетъ, «существуетъ». Уже роковое приглашеніе Акакія Акакіевича въ гости вызвано не человѣческой близостью къ нему его коллегъ, — какая-то близость между людьми можетъ вѣдь возникнуть и мимолетно, но она не возникаетъ въ «Шинели»,

— нѣтъ! — «одинъ изъ чиновниковъ, какой-то д а ж е помощникъ столоначальника, вѣроятно, для того, чтобы показать, что онъ не гордецъ и знаетъ д а ж е съ низшими себя, сказалъ — «прошу ко мнѣ сегодня на чай. Я же сегодня кстатѣ именинникъ...» Общество у помощника столоначальника было самое блестящее: въ передней «висѣли все шинели да плащи, между которыми нѣкоторые были д а ж е съ бровными воротниками или съ бархатными отворотами». Характеристика «значительнаго лица» вся построена Гоголемъ на «даже», на «срывахъ». Значительное лицо было «во всѣхъ отношеніяхъ д а ж е неглупый человѣкъ», и нѣкоторые изъ своихъ недостатковъ онъ «д а ж е самъ чувствовалъ». И сцена распеканія Акакія Акакіевича значительнымъ лицомъ полна «даже»: «тутъ онъ топнулъ ногою, возведя голосъ до такой сильной ноты, что д а ж е и не Акакію Акакіевичу сдѣлалось бы страшно»; и когда Акакій Акакіевичъ почти что былъ готовъ упасть въ обморокъ, «значительное лицо» довольно тѣмъ, что эффектъ превзошелъ д а ж е ожиданія, и совершенно упоено мыслью, что его слово можетъ лишить д а ж е чувствъ человѣка. Угрызеніе совѣсти значительнаго лица изображены съ помощью того же приѣма: «онъ д а ж е задумался о бѣдномъ Акакіи Акакіевичѣ», мысль о немъ до такой степени тревожила его, что, недѣлю спустя (!), онъ рѣшился д а ж е «послать къ нему чиновника». Узнавъ, что Акакій Акакіевичъ «умеръ скоропостижно и въ горячкѣ», значительное лицо «остался д а ж е пораженнымъ, слышалъ упреки совѣсти и весь день былъ не въ духѣ». Изъ гостей значительное лицо рѣшаетъ ѣхать къ приятельницѣ, Каролинѣ Ивановнѣ, «ламѣ, кажется, нѣмецкаго происхожденія»; появленіе мертвеца нагнало на него «мертвецкій страхъ» — мужественный и богатыйрскій съ виду, онъ «почувствовалъ такой страхъ, что не безъ причины д а ж е сталъ опасаться какого-нибудь болѣзненнаго припадка. Онъ д а ж е самъ скинулъ съ плечъ поскорѣе шинель и закричалъ кучеру не своимъ голосомъ: «поспѣшь во весь духъ домой!» Кучеръ, услышавши голосъ, который признается обыкновенно въ рѣшительныя минуты и д а ж е сопровождается кое-чѣмъ гораздо дѣйствительнѣйшимъ... помчался, какъ стрѣла». На значительное лицо это приключеніе произвело глубокое впечатлѣніе, — «онъ д а ж е гораздо рѣже сталъ говорить подчиненнымъ...: «понимаете ли вы, кто стоитъ передъ вами?».

Въ борьбѣ противъ мертваго Акакія Акакіевича терпнть поражение и полиція: и ея героизмъ характеризуванъ тѣмъ же

словом «даже»: «въ полиціи сдѣлано было распоряженіе поймать мертвеца во что бы то ни стало, живого или мертваго... и въ томъ едва было да же и не успѣли». Но когда привидѣніе уже было въ рукахъ полиціи, «будочникъ... полѣзъ на одну только минуту за сапогъ, чтобы вытащить оттуда тавлинку съ табакомъ... но табакъ, вѣрно, былъ такого рода, котораго не могъ вынести да же и мертвецъ...», который чихнулъ такъ сильно, что «забрызгалъ имъ всѣмъ троемъ глаза». Съ этихъ поръ будочники получили такой страхъ къ мертвецамъ, что да же опасались хватать и живыхъ...», и «мертвецъ-чиновникъ началъ показываться да же и за Калинкинымъ мостомъ...».

Такъ вскрывается въ аспектъ «даже», въ постоянныхъ «срывахъ» линіи повѣствованія въ ничтожество, въ ничто, вся суетная пустота большой любви... къ шинели, такъ вскрывается ничтожество всего окруженія «бѣднаго чиновника», — коллегъ Акакія Акакіевича, «значительнаго лица», успокаивающаго свою совѣсть въ обществѣ нѣсколькихъ пріятелей «одного и того же чина», такъ расплывается въ ничто даже «героизмъ» будочниковъ, уничтожаемый понюшкой сквернаго табаку.

5.

Психологическое заостреніе разсказъ получаетъ черезъ приближеніе автора къ герою. Именно съ цѣлью «приблизиться» къ герою Гоголь вводитъ разсказчика, который принимаетъ все въ серьезъ. Такое приближеніе достигается въ «Запискахъ сумасшедшаго», благодаря формѣ дневника, позволяющаго читателю заглянуть въ душу Поприщина, того же результата достигаетъ Достоевскій въ «Бѣдныхъ людяхъ», заставляя своего героя писать письма; въ украинскихъ разсказахъ Гоголь съ изумительной легкостью подходит къ своимъ героямъ, даже сливается съ ними при посредничествѣ своихъ «разсказчиковъ» (Фома Григорьевичъ), при помощи двухъ слоевъ языка: литературнаго русскаго, насыщеннаго украинизмами; но уже внутренняя значительность разсказываемаго въ однихъ случаяхъ («Страшная месть», «Тарасъ Бульба», «Вечеръ наканунѣ Ивана Купала» и т. д.) или лирическое отношеніе автора къ описываемому міру въ другихъ («Ночь подъ Рождество», «Майская ночь», «Старосвѣтскіе помѣшники» и т. д.) существенно облегчаютъ задачу автора. Гораздо труднѣе задача приблизиться къ герою и его внутреннему міру въ «Шинели». Какъ уже сказано, пустоту, ничтожество, ничто — гораздо труднѣе изо-

бразить, чѣмъ великое и возвышенное. Заставить самого Акакія Акакіевича рассказать о своихъ приключеніяхъ и переживаніяхъ было бы совершенно невозможно. Не такъ просто и созлатъ типъ рассказчика близкаго къ Акакію Акакіевичу!

Гоголь все же пытается въ «Шинели», гдѣ только можно, перенести насъ во «внутренній міръ» своего героя, показать намъ, какъ Акакій Акакіевичъ смотритъ на міръ. Перспектива, съ которой видѣнъ міръ Акакію Акакіевичу, въ значительной степени и раскрывается намъ Гоголемъ при помощи постоянныхъ «даже!» «Даже» указываютъ намъ, какъ много на свѣтѣ вещей и людей, на которыхъ бѣдный чиновникъ смотритъ снизу вверхъ. Логическій смыслъ «даже» вѣдь въ томъ и состоитъ, что указывается на предметы, объекты «высшіе», «возвышенныя», «значительныя», «недостижимыя»... И вотъ для Акакія Акакіевича и рассказчика его исторіи къ этой высшей сферѣ принадлежитъ столь многое: шинели съ бровными воротниками и бархатными отворотами, статскіе, надворные и иные совѣтники, неподчиненные дѣйствию тѣхъ законовъ природы и судьбы, которымъ подвластенъ «бѣдный человѣкъ». Таковъ же міръ и иныхъ дѣйствующихъ лицъ въ повѣсти: не только для Акакія Акакіевича, но и для его портного — новая шинель — событіе необыкновенное.

Маленькій міръ, мірокъ бѣднаго чиновника для него самого — большой свѣтъ, именно потому, что онъ полонъ объектовъ, на которые бѣдный чиновникъ смотритъ снизу вверхъ! Именно эту форму бытія хогль Гоголь сдѣлать для насъ понятой — поэтому безчисленныя «даже», характеризующія внутреннюю установку героя, его душевную позу. Маленькій міръ — большой міръ, — въ этомъ противорѣчій основа всей повѣсти, всего ея движенія. «Шинель» построена на колебаніи между контрастными переживаніями. Гоголь переноситъ насъ въ мірокъ Акакія Акакіевича, мы не можемъ тамъ оставаться, ибо перевоплощеніе въ Акакія Акакіевича не легко, наше собственное представленіе о его мірѣ, какъ о «міркѣ», снова и снова разрушаетъ иллюзію, что мы въ «большомъ мірѣ», что мы переживаемъ серьезную трагедію, рѣшающую вопросъ о жизни и смерти героя; мы выходимъ изъ мірка Акакія Акакіевича, но Гоголь снова и снова переноситъ насъ въ него, — въ значительной степени при помощи своихъ «даже»... Въ колебаніи между оцѣнками «маленькій», «крошечный», «ничтожный» (для насъ, для читателя) и «огромный», «великій», «значительный» (для Акакія Акакіевича и для рассказчика) — существо художественной структуры повѣсти «Шинель».

6.

«Шинель» — одно из звеньев в развитии характерной для русской литературы темы «бѣдный чиновникъ», — наиболее известны наряду съ «Шинелью» повѣсти Достоевскаго, уже не разъ упоминавшіяся: «Бѣдные люди», «Двойникъ», «Слабое сердце», «Господинъ Прохарчинъ»...

Сюжетъ Гоголя — наиболее удачный и дѣйственный изъ всѣхъ сюжетовъ такихъ повѣстей (которыхъ насчитывается историками литературы около 200). Позже въ повѣстяхъ о «бѣдномъ чиновникѣ» возобладала исключительно «соціальная точка зрѣнія». Уже Бѣлинскій понялъ и повѣсть Гоголя какъ соціальный протестъ, протестъ противъ положенія «бѣдныхъ чиновниковъ»... Однако, если бы центръ повѣсти Гоголя заключался въ этомъ, въ соціальномъ протестѣ, то не гораздо ли дѣйственнѣе было бы изобразить полноцѣннаго, глубокаго человѣка на низкой служебной ступени? Не забудемъ, что Гоголь самъ въ молодости долженъ былъ урывать время для своихъ литературныхъ работъ отъ безплодной мелкой канцелярской работы... Конечно, болѣе соответствуетъ моралистическимъ тенденціямъ Гоголя пониманіе его повѣсти, какъ моральнаго, «этическаго» протеста («я братъ твой»), — но является ли Акакій Акакіевичъ удачнымъ литературнымъ типомъ для демонстраціи читателю мысли «я братъ твой»? Вѣдь не нужно быть особымъ гордецомъ, чтобы отказаться видѣть въ Акакіи Акакіевичѣ съ его жалкою и смѣшною трагедіей своего «брата». Не долженъ ли былъ Гоголь понимать, что сюжетъ «Шинели», что специфическій характеръ психологіи Акакія Акакіевича скорѣе должны привести многихъ — столь многихъ — изъ читателей къ признанію Акакія Акакіевича не братомъ, а самое большее какимъ-то очень отдаленнымъ нашимъ родственникомъ? Не гораздо ли дѣйственнѣе такія повѣсти о «бѣдномъ чиновникѣ», какъ «Бѣдные люди» Достоевскаго, или — одна изъ наилучшихъ повѣстей на ту же тему — «Яковъ Яковлевичъ» біографа Гоголя А. А. Кулиша?

Мы не можемъ здѣсь подробно останавливаться на томъ, что для Гоголя соціальный аспектъ былъ однимъ изъ наименѣе существенныхъ. Мысль, что каждое человѣческое существо «нашъ братъ», была для христіанскаго міровоззрѣнія Гоголя аксіомой, о которой онъ счелъ нужнымъ между прочимъ напомнить въ началѣ повѣсти; но вѣдь и въ этомъ мѣстѣ, если мы въ него вчитаемся безъ предвзятой мысли, какъ «человѣкъ» выступаетъ — въ противопоставленіи «безчеловѣчю» коллегъ

Акакія Акакіевича — отнюдь не Акакія Акакіевичъ самъ, а тотъ «молодой человекъ», для котораго «все переѣнилось!» Существеннѣе связанъ сюжетъ «Шинели» съ центральной въ мировоззрѣніи Гоголя проблемою «своего мѣста», проблемою позже опошленною въ социальномъ аспектѣ въ псевдопроблему «лишнихъ людей» (замѣчательный — идеологически и художественно — отвѣтъ Лѣскова на эту псевдопроблему въ его «Праведникахъ», стремящихся показать, что нѣтъ лишнихъ людей, былъ никѣмъ не замѣченъ). Но въ связи съ нашимъ вышеизложеннымъ разборомъ «Шинели», мы подойдемъ сейчасъ къ идеологическому содержанию повѣсти съ иной точки зрѣнія..

Источникъ «Шинели» случайно намъ извѣстенъ. Это анекдотъ, слышанный Гоголемъ задолго до созданія повѣсти. Одинъ изъ знакомыхъ Гоголя сообщаетъ объ этомъ (Анненковъ: «Однажды при Гоголѣ былъ разсказанъ канцелярскій анекдотъ о какомъ-то бѣдномъ чиновникѣ, который необыкновенной экономіей и неутомимыми, усиленными трудами сверхъ должности накопилъ сумму, достаточную на покупку хорошаго лапачевскаго ружья, рублей въ 200 (асс.). Первый разъ, какъ на маленькой своей лодочкѣ пустился онъ по Финскому заливу за добычей, положивъ драгоценное ружье передъ собою на носъ, онъ находилъся, по его собственному увѣренію, въ какомъ-то самозабвеніи и пришелъ въ себя только тогда, какъ взглянувъ на носъ, не увидѣлъ своей обновки. Ружье было снято въ воду густымъ тростникомъ, черезъ который онъ гдѣ-то проѣзжалъ, и всѣ усилія отыскать его были тщетны. Чиновникъ возвратился домой, легъ въ постель, и уже не вставалъ: онъ схватилъ горячку. Только общей подпиской его товарищей, узнавшихъ о происшествіи и купившихъ ему новое ружье, возвращенъ онъ былъ къ жизни, но о страшномъ событіи онъ уже не могъ вспоминать никогда безъ смертельной блѣдности на лицѣ... Всѣ смѣялись анекдоту, имѣвшему въ основѣ истинное происшествіе, исключая Гоголя, который выслушавъ его и задумчиво опустилъ голову...»

Что же сдѣлалъ Гоголь изъ этого анекдота? Онъ замѣнилъ объектъ «благороднаго» спорта, охоты, ружье прозаическимъ предметомъ первой необходимости. И все же — несомнѣнно съ намѣреніемъ — онъ говоритъ объ этомъ предметѣ первой необходимости языкомъ страсти, любви, эротическимъ языкомъ: «даже онъ совершенно пріучился голодать по вечерамъ, но зато онъ питался духовно, нося въ мысляхъ своихъ вѣчную идею будущей шинели. Съ этихъ поръ какъ будто самое существованіе его сдѣлалось какъ-то полнѣе, какъ будто бы онъ.

женится, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить жизненную дорогу, — подруга эта была не кто другая, как та же шинель, на теплой вате, на крепкой подкладке, без износу. «Все же таки перед самым концом жизни мелькнул светлый гость в виде шинели, ожививший на миг блдную жизнь». Читатель готов воспринять такие строки скорее как издевку над блдным чиновником, чем за выражение действительного сочувствия ему, чем за обнаружение сознания братства с ним. Но только в этом «эротическом» аспекте становятся понятны некоторые мелочи в повести Гоголя. Например, то, что морь не просто срывает с Акакия Акакиевича шинель, а зачем то говорить: «А вде шинель то моя!» — не есть ли этот ночной грабитель какое-то видоизмененное сильное соперника любовных сюжетов? Только любовь к шинели пробуждает в Акакии Акакиевиче вообще эротическая переживания, — он бжигт за очаровательной дамой, рассматривает эротическую картинку в окне магазина... И самое появление привидения, ищущего шинель (в первоначальной редакции Гоголь назвал свою повесть «Повестью о чиновнике, крадущем шинели», что уже показывает, что заключительная странная для произведения существенны, центральны, а не просто какая-то озорная ненужная концовка) — не является ли оно своеобразною пародией на романтического «мертвого любовника», выходящего из гроба за своей невестой: сюжет «Шинели» — известный сюжет «Леноры» Бюргера, сюжет «Людмила» и «Светланы» Жуковского, тема строфы «Евгенія Онгина» (VII, 11 и варианты) и стихотворений («Заклинание» и др.) Пушкина, «Любви мертвеца» Лермонтова. Эта тема — тема всепобеждающей силы любви, любви, преодолевающей смерть.

Тщкий — и, конечно, забытый — литературный критик, Н. Н. Страхов обратил внимание, что «Блдные люди» Достоевского — своеобразное «возражение», ответ на «Шинель» Гоголя: в последнее время этот вопрос прекрасно освещен А. Л. Бемом. Шинель — бессмысленный, мертвый предмет, заменен у Достоевского живым человеком, девушкой, Варенькой Доброселовой, безкорыстная и робкая любовь блдного чиновника Макара Двшушкина изображена без пренебрежительного взгляда сверху вниз, без уничтожающего смеха, без малйших элементов издевки. Человеческая честь «блдного чиновника» восстановлена вполне!

Но понял ли Достоевский замысел Гоголя? Так же не понял, как не понял его Бялинский. Как мы уже сказали, и «социальный аспект», и «я брат твой» — только побочные мотивы в «Шинели». Гоголь, читатель отповь церкви и «Добротолюбия», Гоголь, в котором рядъ его друзей видѣлъ пророка — или по крайней мѣрѣ учителя жизни — видѣлъ это тотъ же самый Гоголь, который написалъ «Шинель». Исследователямъ Гоголя (Зеньковский, Гиппиусъ, Миколаенко) становится постепенно яснымъ, какую основную роль играли въ тематикѣ художественнаго творчества Гоголя проблемы религиозныя, проблемы святоотеческой литературы, — проблемы «духовнаго дѣланія», подвига «духовной борьбы»... Письма Гоголя (не только «Переписка съ друзьями», а дѣйствительныя письма, — которыхъ, конечно, никто не читаетъ!) — не пустая причуда «учительства», а серьезная — пусть неудавшаяся — попытка дѣйствительнаго овладѣнія человѣческими душами, попытка духовнаго водительства. Психологическая тонкость, съ которой святоотеческая литература разработала проблемы духовной борьбы, изумительныя психологическія проникновенія «Добротолюбия» — бстались ли онѣ незамѣченными Гоголемъ? Конечно, нѣтъ! Но мы не хотимъ здѣсь давать интерпретаціи «Шинели», исходя изъ святоотечественной литературы. Имянитный разборъ «Шинели» приведетъ насъ саму къ проблемамъ «духовной борьбы». Наши замѣчанія имѣли только цѣлью подчеркнуть, что прежде всего отъ художественныхъ произведеній Гоголя надо ждать попытки разрѣшенія сложныхъ психологическихъ вопросовъ, а не простого повторенія аксіомъ («я брат твой») и избитыхъ истинъ («и крестьянки», то бишь «бѣдные чиншовники» «чувствовать умѣютъ»).

Тема «Шинели» — воспламенѣніе человѣческой души, ея перерожденіе подъ влияніемъ — правда, очень своеобразной — любви. Очевидна становится возможность воспламенѣнія души отъ соприкосновенія съ любымъ объектомъ. Не только — съ великимъ, возвышеннымъ, значительнымъ (подвигъ, отечество, живой человѣкъ — другъ, любимая женщина и т. д.), но и при встрѣчѣ съ повседневнымъ, прозаическимъ. Отношеніе героя къ шинели изображено, какъ мы видѣли, языкомъ эроса. И не только любовь къ великому, значительному можетъ погубить, увлечь въ бездну человѣка, но и любовь къ ничтожному объекту, если только онъ сталъ предметомъ страсти, любви.

Одна изъ центральныхъ мыслей художественныхъ произведеній Гоголя — у cadaго человѣка свой «задоръ», своя страсть, свое увлеченіе. Тема старая, тема Горация, тема поэзіи

европейского и украинского барокко, тема одного изъ «виршей» украинскаго мистика Григорія Сковороды, вирша, известнаго, вѣроятно, Гоголю хотя бы изъ «Наталки Полтавки» Котляревскаго (писателя, изъ котораго онъ беретъ часть эпиграфовъ къ «Сорочинской ярмаркѣ»). Современникъ (родился и умеръ въ томъ же самомъ году) и землякъ составителя славянскаго «Добролюбія», Паисія Величковскаго (1722-1794), Сковорода даетъ въ своемъ «виршѣ» (духовной пѣснѣ, распѣвавшейся на украинскихъ ярмаркахъ, конечно, во времена Гоголя такъ же, какъ и еще въ началѣ XX-го столѣтія слѣпыми «лириками»), послѣ нѣсколькихъ вступительныхъ строкъ, противопоставляющихъ пестротѣ интересовъ и увлеченій «свѣта» («всяка имѣть свой умъ голова, всякому сердцу своя есть любовь, всякому горлу свой вкусъ есть...»), «однодумство» духовнаго увлеченія автора («а мнѣ одна только въ свѣтѣ дума, а мнѣ одно только нейдетъ съ ума...»), пеструю картину разнообразія человѣческихъ «задоровъ» говоря слогомъ Гоголя. Гоголь возвращаетъ насъ — въ тѣхъ строкахъ «Мертвыхъ душъ», которыя В. Гиппюсъ правильно призналъ однимъ изъ идеологически важнѣйшихъ мѣстъ «позмы» — къ юмористической установкѣ своего земляка, Сковороды: «У всякаго свой задоръ: у одного соборъ обратился на борзыхъ собакъ; другому кажется, что онъ сильный любитель музыки и удивительно какъ чувствуетъ всѣ глубокія мѣста въ ней; третій мастеръ лихо пообѣдать; четвертый, сыграть роль, хоть однимъ нершкомъ выше той, которая ему назначена; пятый, съ желаніемъ болѣе ограниченнымъ, спать и грезить о томъ, какъ бы ему пройтись на гуляніи съ флигель-адъютантомъ, напоказъ своимъ пріятелямъ, знакомымъ и даже незнакомымъ». Страсти, увлеченія, «задоры» направлены здѣсь всѣ (кромѣ любви къ музыкѣ, но и та нѣдѣ кажущаяся только!) на ничтожные объекты. Въ началѣ «Невскаго проспекта» Гоголь изображаетъ «выставку», происходящую каждодневно при гуляніи на Невскомъ: «Одни показываютъ щегольской сюртукъ съ лучшимъ бобримъ, другой — греческій прекрасный носъ, третій — превосходныя бакенбарды, четвертая — пару хорошенькихъ глазокъ и удивительную шляпку, пятый — перстень съ талисманомъ на щегольскомъ мизинцѣ, шестая — ножку съ очаровательномъ башмачкѣ...»; эта «выставка» — выставка объектовъ «задоровъ»; здѣсь нѣтъ и тѣни какихъ-либо серьезныхъ интересовъ...

Но въ «Шинели» задоръ героя — ниже всего, что мы видимъ въ другихъ мѣстахъ у Гоголя. И все-таки Акакіевичъ имѣетъ задоръ, онъ выставляетъ объектъ своего задора,

свою шинель, — показывает ее коллегам, радуется, что может «даже и ввечеру» показаться в новой шинели. Страстность увлечения Акакія Акакіевича объектом своего задора каким-то образом включает его в ряды других — серьезных и юмористических — героев Гоголя. Он как-то перекликается и с «франтами» Гоголя, и с «накопителями», и с «несчастливыми любовниками». Типы франтов являются у Гоголя уже в украинских рассказах: «прежде бывало в Миргородѣ один судья да городничій хаживали зимою вь крытыхъ сукномъ тулупахъ, а все мелкое чиновничество носило просто нагольные: теперь же и зашдатель и подкоморій отсмалили себѣ новыя шубы изъ рѣшетилевскихъ смушекъ съ суконною покрывкою. Канцеляристъ и волостной писарь третьяго года взяли синей китайки по шести гривенъ аршинъ. Понамарь сдѣлалъ себѣ нанковыя на лѣто шаровары и жилетъ изъ полосатаго гаруса. Словомъ, всѣ лѣзутъ вь люди!» Но и этот задор пониженъ у Акакія Акакіевича до минимума: онъ мечтаетъ, собственно говоря, только о необходимомъ прикрытіи тѣла. На пути къ пріобрѣтенію шинели, Акакій Акакіевичъ вступилъ на путь «накопительства» или «пріобрѣтательства», примкнувъ къ «пріобрѣтателямъ» Гоголя, — отъ украинцевъ (въ традиціи «младоскательства»: «Заколдованное мѣсто», «Вечеръ наканунѣ Ивана Купала») до Чарткова, Чичикова и «игроковъ» мы видимъ у Гоголя различныя видоизмѣненія этого типа; но и здѣсь Акакій Акакіевичъ безконечно ниже всѣхъ своихъ собратьевъ, — его «накопленіе» — накопленіе съ ограниченою практическою цѣлью. Гибнетъ Акакій Акакіевичъ, собственно говоря, отъ любви, — онъ — странное видоизмѣненіе трагически гибнущихъ любовниковъ Гоголя, — отъ Петра («Вечеръ наканунѣ Ивана Купала») и Андрія («Тарасъ Бульба») до Поприщина и несчастнаго Пискарева Гоголь постоянно возвращался къ этому типу, даже и для Чичикова вѣдь роковымъ оказывается его минутное увлеченіе губернаторской дочкой... Здѣсь Акакій Акакіевичъ выступаетъ какъ пародія, карриатура, со своей пылкой — и побѣждающей самую смерть — любовью къ... шинели!

Смысль этого «сниженія» задоровъ до возможнаго минимума, станетъ намъ, пожалуй, яснѣе, если мы обратимся къ перепискѣ Гоголя того времени, когда была написана «Шинель». Одна изъ важнѣйшихъ темъ писемъ Гоголя 1840-42 г.г. — вопросъ о томъ, можно ли прикрѣплять свое существованіе къ вещамъ «внѣшняго міра». Вопросъ, который ставилъ себѣ и Достоевскій («неподвижныя идеи» — слово восходящее къ

Пушкинской «Пиковой дамѣ»). Для Гоголя это, собственно, даже не «вопросъ»: онъ сразу рѣшаетъ его категорически. Въ письмѣ Данилевскому (20. 6. 1843) Гоголь рѣзко противопоставляетъ внѣшнюю и внутреннюю жизнь. Надо имѣть «неподвижный якорь», такъ какъ всѣ вещи въ мѣрѣ обречены гибели, человѣкъ долженъ имѣть внутри «центръ, на который, опершись, могъ бы онъ пересилить и самыя страданія въ горѣ жизни». «Внѣшняя жизнь есть противоположность внутренней, когда человѣкъ подъ влияніемъ страстныхъ увлеченій влечется безъ борьбы потоками жизни».

«Центръ», о которомъ здѣсь говоритъ Гоголь — это «Centrum securitatis» христіанской мистики — Богъ. Въ немъ — увѣренность и прочность. Онъ же указываетъ человѣку и «свое мѣсто» (которое есть у каждаго человѣка) въ мѣрѣ; Богъ «заказчикъ», на котораго мы всѣ работаемъ. Потеря связи съ этимъ Центромъ — потеря своего мѣста въ мѣрѣ, потеря цѣли жизни (заказа). А отдача себя внѣшнему міру, связываніе своей судьбы съ объектами этого міра — и есть потеря Центра, и одновременно — потеря себя самого. «Внѣшняя жизнь внѣ Бога, внутренняя въ Богѣ», пишетъ Гоголь; поэтому познаніе Бога (какъ традиціонно въ христіанской мистикѣ) — самопознаніе: «надо, углубляясь въ себя, спросить и узнать, какія въ насъ сокрыты стороны полезныя и нужныя міру, ибо нѣтъ ненужнаго звена въ мѣрѣ».

Въ «Петербургскихъ повѣстяхъ» Гоголь изображаетъ людей, «теряющихъ себя», отдающихся во власть внѣшняго міра: онъ самъ говоритъ это о художникѣ Чертковѣ («Портретъ»), который гибнетъ отъ стремленія къ деньгамъ, къ славѣ, отъ пренебреженія къ данному ему Божескому «заказу»; отъ любви къ женщинѣ гибнутъ чиновникъ Поприщинъ («Записки сумасшедшаго») и художникъ Пискаревъ («Невскій проспектъ»). Акакій Акакіевичъ гибнетъ отъ «ничего»! Его страстное увлеченіе направлено на ничтожный, негодный объектъ — и у него нѣтъ центра, опираясь на который онъ могъ бы противостоять міру, «пересилить и самыя страданія и горе жизни». Трагична и возможна не только гибель отъ великихъ страстей, отъ страстей, направленныхъ на великое, возвышенное, значительное, но и отъ страстей, направленныхъ на ничтожное. Все мірское тлѣнно, — и увлекаетъ съ собою въ погибель человѣка, укрупившаго на немъ свое бытіе, все равно — есть ли это мірское бытіе нѣчто великое или — шивель.

Если бы мы даже выдѣлили (чего Гоголь, какъ мы видѣли, не дѣлаетъ) нѣкоторую сферу «мірскаго», какъ сферу объек-

товъ «законныхъ», «допустимыхъ», или просто хоть «понятныхъ» страстей, «задоровъ», — страстей, направленныхъ на «великое» или просто «большое», — то и тогда примѣръ Гоголя въ «Шинели» остается неоспоримымъ. Вѣроятно, именно поэтому Гоголь и выбралъ такой крайній, парадоксальный примѣръ, — для насъ, для «публики», для читателя. В письмѣ Данилевскому идетъ рѣчь о тяжелыхъ переживаніяхъ, которыя самъ Гоголь принимаетъ всерьезъ. Если даже въ такихъ случаяхъ Гоголь считаетъ возможнымъ говорить о потерѣ «внутренняго міра», о уступкѣ «внѣшнему міру», то какова же оцѣнка Гоголемъ Акакія Акакіевича! Міръ и чортъ ловятъ человѣка не только великимъ и возвышеннымъ, но и мелочами, не только пламенною любовью къ женщинѣ, не только мечтою о неземномъ счастьи, не только горами золота, но и повседневностью, жалкими, урѣзанными отъ грошевого жалованья грошами, шинелью. Если человѣкъ всюю душою запутался въ этихъ мелочахъ, ему нѣтъ спасенія. Сюжетъ шинели — своеобразное обращеніе евангельской притчи о «лептѣ вдовицы»: какъ лепта, грошь, можетъ быть великою жертвою, такъ и мелочь, шинель, можетъ быть великимъ искушеніемъ (мысль изъ «Добротолубія»). Не только Богъ, но и Чортъ соответствен-но цѣнить такую «лепту».

7.

Главный герой почти всѣхъ произведеній Гоголя, герой, котораго имя встрѣчаемъ въ каждомъ почти произведеніи — Чортъ. Въ «Шинели» Чортъ, какъ будто, не упоминается. Но, можетъ быть, только «какъ будто». Чортъ упоминается нѣсколько разъ — только въ одномъ мѣстѣ повѣсти, въ связи съ Петровичемъ, подавшимъ Акакію Акакіевичу самую мысль о новой шинели, отказавшимся исправлять «капотъ», — тѣмъ самымъ приведшимъ въ движеніе тяжелый камень сюжета. Можетъ быть только словесная игра слово «чортъ», когда Гоголь повѣствуетъ, что жена называла Петровича «одноглазымъ чортомъ», когда онъ бывалъ пьянъ: «осадили сивухой, одноглазый чортъ». Но Петровичъ былъ трезвъ, когда къ нему пришелъ Акакій Акакіевичъ, «а потому крутъ, несговорчивъ и охотникъ заламывать чортъ знаетъ какія цѣны», вообще «за Петровичемъ водилась блажь заломить вдругъ чортъ знаетъ какую непомѣрную цѣну». Можетъ быть случайность и то, что Петровичъ — обладатель табакерки «съ портретомъ какого-то генерала, какого именно — неизвѣстно, потому что

мѣсто, гдѣ находилось лицо, было проткнуто пальцемъ и потому заклеено четверугольнымъ лоскуточкомъ бумаги» — именно только этого безликаго генерала видитъ Акакій Акакіевичъ въ моментъ рѣшенія вопроса о новой шинели. Чортъ — безликъ! Начитанный въ религіозной литературѣ, знатокъ и собиратель фольклорнаго матеріала — народныхъ пѣсень и преданій, Гоголь, конечно, зналъ объ этой безликости чорта въ христіанской и фольклорной традиціи. Петровичъ раздуваетъ въ душѣ Акакія Акакіевича пламя страсти, «самыя дерзкія и отважныя мысли» о новой шинели, — при вторичномъ посѣщеніи Акакія Акакіевича Петровичъ былъ пьянъ, «но при всемъ томъ, какъ только узналъ, въ чемъ дѣло, точно какъ будто его чортъ толкнулъ. «Нельзя», сказалъ: «извольте заказать новую»...

Гоголь не только хотѣлъ показать намъ Акакія Акакіевича, какъ нашего «брата», — главною задачею «Шинели» было — указать на опасность даже мелочей, даже повседневности, на опасность, гибельность страсти, «страстныхъ увлеченій», независимо отъ ихъ объекта, даже если ихъ объектомъ является шинель. «Даже» — для Гоголя средство подчеркнуть свою основную мысль: какъ стрѣла, какъ неудержимое страстное стремленіе, «даже» уводитъ нашу мысль въ высь, чтобы она тѣмъ безильнѣе упала, спустилась въ повседневность. Безсильное, направленное на негодный объектъ стремленіе Акакія Акакіевича «свергается» съ мнимой высоты («даже») Чортомъ, который самъ и поставилъ такую прозаически-фантастическую пѣлю этому стремленію.

И побѣждаетъ стремленіе — «земная» любовь Акакія Акакіевича самую смерть, — это значитъ — для Гоголя — полную потерю себя, потерю и въ загробной жизни. Возвращаясь изъ загробнаго міра на холодныя улицы Петербурга, Акакій Акакіевичъ тѣмъ самымъ показываетъ, что онъ не нашелъ покоя за гробомъ, что онъ все еще всей душой привязанъ къ своей земной любви... Мнимая побѣда надъ смертью земной любви есть такимъ образомъ въ дѣйствительности побѣда «убійцы исконна», злого духа, надъ человѣческой душою. Не смѣшна, а страшна гоголевская исторія «бѣднаго чиновника»!

8.

Мы начали нашъ анализъ съ очевидной «мелочи», со словесной детали («даже») въ композиціи «Шинели». Мы видѣли, какъ важна эта «мелочь» для Гоголя: какъ средство стилизо-

вать разговорную рѣчь, «сказъ» повѣсти; мы видѣли, что ту же «мелочь» Гоголь примѣняетъ какъ приемъ въ игрѣ своего юмора (а что юморъ для Гоголя своеобразное средство борьбы противъ «ничтожества», противъ чертовскаго «ничто», — это, пожалуй, даже не надо повторять); мы видѣли, что та же словесная деталь — средство приблизиться къ герою, средство его психологическаго постиженія, средство передать своеобразный взглядъ снизу вверхъ героя повѣсти; мы увидѣли, наконецъ, что эта «деталь» помогаетъ понять идею произведенія. Дальнѣйшее развитіе «Шинели» въ русской литературѣ («мы всѣ вышли изъ «Шинели», — сказалъ Достоевскій) можно бы прослѣдить, — это значить — прослѣдить эволюцію «сказа», прослѣдить исторію «антитетическаго» юмора, характернаго для Гоголя, прослѣдить измѣненія въ способахъ натуралистически-психологической характеристики «ничтожнаго» героя, прослѣдить эволюцію сюжета о «бѣдномъ чиновникѣ» (опошленіе психологической глубины Гоголя въ «соціальною повѣсть»), — но мы только укажемъ здѣсь на эти темы.

Объ одномъ слѣдуетъ, впрочемъ, сказать нѣсколько словъ. Быть можетъ, нашъ анализъ — лишній разъ — подчеркиваетъ необходимость и небезполезность читать и перечитывать классиковъ, читать со вниманіемъ къ «мелочамъ» и «деталямъ» («медленное чтеніе» М. Гершензона, «методъ мелкихъ наблюдений» А. Л. Бема) — въ исканіи «содержанія» литературныхъ произведеній, которому насъ учила и школа и критика и вся традиція русской жизни, мы упустили очень многое — въ частности въ томъ же содержаніи — все то въ содержаніи, что обусловлено формою, съ нею связано. Въ формѣ литературнаго произведенія нѣтъ мелочей («сизюминка» Толстого!) — именно потому, что нѣтъ «мелочей» въ игрѣ, нѣтъ ихъ въ ремеслѣ, а художественное произведеніе есть игра и ремесло одновременно. Вокругъ произведеній классиковъ накопились горы предразсудковъ. Чтобы освободиться отъ нихъ, надо читать произведенія какъ нѣчто совершенно новое, неизвѣстное, никогда не читанное. Въ этомъ, впрочемъ, можетъ быть, основной принципъ правильнаго воспріятія художественныхъ произведеній — не только словесныхъ — вообще: подходить къ художественному произведенію какъ «новый человѣкъ», какъ вновь рожденный зритель и слушатель... Надо духовно «вновь родиться», чтобы получить право и возможность доступа въ сокровищницу искусства.

Дм. Чижевскій.

Николай Бердяевъ

(Гнозисъ и экзистенціальная философія).

I.

Н. Бердяевъ является несомнѣнно первымъ изъ русскихъ мыслителей, умѣвшихъ заставить себя слушать не только у себя на родинѣ, но и въ Европѣ. Его сочиненія переведены на многіе языки и вездѣ встрѣчали къ себѣ самое сочувственное, даже восторженное отношеніе. Не будетъ преувеличеніемъ, если мы поставимъ его имя наряду съ именами наиболѣе сейчасъ извѣстныхъ и значительныхъ философовъ — такихъ, какъ Ясперсъ, Максъ Шеллеръ, Николай Гартманъ, Гейдеггеръ. И Вл. Соловьевъ переведенъ на многіе языки (по иѣмкамъ вышло даже полное собраніе его сочиненій), но его гораздо меньше знаютъ, чѣмъ Н. Бердяева, и онъ никогда не привлекалъ къ себѣ интересовъ философиствующихъ круговъ. Можно сказать, что въ лицѣ Н. Бердяева русская философская мысль впервые предстала предъ судомъ Европы *) или, пожалуй, даже, всего міра. Но, въ нашей эмигрантской литературѣ о немъ почти не говорятъ. За пятнадцать лѣтъ своего пребыванія за границей онъ выпустилъ цѣлый рядъ крупныхъ философскихъ работъ: «Философія свободнаго духа», «О назначеніи человѣка», «Я и міръ объектовъ», «Духъ и реальность», «Новое среднесѣковье» и напечаталъ въ журналѣ «Путь», который онъ редактируетъ, много мелкихъ и крупныхъ статей по религіознымъ, философскимъ и социальнымъ вопросамъ, — но о немъ въ русскихъ журналахъ и газетахъ почти никто никогда не писалъ. Почему? Трудно сказать, почему. Во всякомъ случаѣ не потому, что его не цѣнятъ и имъ не интересуются или интересуются мало. И темы его и его подходъ къ этимъ темамъ не можетъ не захватывать даже тѣхъ, кто стоитъ въ сторонѣ отъ философскихъ и религіозныхъ вопросовъ.

Послѣдняя книга Н. Бердяева «Духъ и Реальность» есть до

*) Его книга «Философія свободнаго духа» удостоена преміи французской Академіи.

извѣстной степени комментарий и итогъ всего того, о чемъ онъ писалъ раньше. Но, какъ всегда у него бываетъ, каждая новая книга приносить кой что, чего въ предыдущихъ книгахъ не было. Уже въ предшествующей своей книгѣ: «Я и мѣръ объектовъ» чувствовалось что-то новое: прежде онъ говорилъ только о «гнозисѣ» — теперь онъ говоритъ и объ экзистенціальной философіи. Экзистенціальная философія — терминъ, привнесенный Киркегардомъ. Но нужно сразу сказать, что Бердяевъ, хотя онъ и очень высоко цѣнитъ Киркегарда, его философіей интересуется мало, что онъ почти не говоритъ о ней. И даже иной разъ говоритъ въ рѣзко отрицательномъ смыслѣ. Въ «Назначеніи человѣка» мы читаемъ: «у такого пламеннаго и значительнаго мыслителя, какъ Киркегардъ, есть элементъ нехристіанскаго максимализма, максимализма безблагодатнаго, противоположнаго любви». Уже изъ этихъ словъ ясно, что, усвоивъ себѣ киркегардовскій терминъ, Бердяевъ менѣе всего расположенъ принять то, что Киркегардъ связывалъ съ экзистенціальной философіей *). Да врядь-ли и могло быть иначе. Бердяевъ ведетъ свою философскую родословную отъ знаменитаго нѣмецкаго мистика, Якова Беме и чрезъ Беме отъ нѣмецкаго идеализма. Въ этомъ смыслѣ послѣдняя его книга еще болѣе выразительна, чѣмъ прежнія. Сейчасъ въ нѣмецкой философіи ясно обозначилось стремленіе вернуться къ Канту: сочиненія Ясперса, Гартмана, Гейдеггера объ этомъ достаточно свидѣтельствуютъ. Самъ Гуссерль, которому, казалось, судьба предназначила преодолѣть кантовскій субъективизмъ, положилъ начало этому движенію. Послѣдняя книга Бердяева, всегда про- являвшаго склонность къ кантовскимъ идеямъ, не отстаетъ въ этомъ отношеніи отъ книгъ нѣмецкихъ философовъ. «Духъ и Реальность» въ извѣстномъ смыслѣ пытается по новому или на иной манеръ повторить «коперниканскій подвигъ» кенигсбергскаго философа. Центромъ бытія долженъ быть не объектъ, а субъектъ. «Тайна реальности раскрывается не въ сосредоточенности на объектѣ, предметѣ, а въ рефлексіи, обращенной на

*) Если мнѣ память не измѣняетъ, то въ одной изъ своихъ статей или рѣчей Бердяевъ говоритъ и о безблагодатности философіи Нитше. Въ «Назначеніи человѣка» онъ употребляетъ выраженіе «непросвѣтленный профетизмъ Нитше». Знаменательно, что Кирль Ясперсъ, который еще больше, чѣмъ Бердяевъ, цѣнитъ дарованія и Киркегарда и Нитше, съ такой же энергіей отмежевывается отъ ихъ идей. Совпаденіе это или тутъ можно видѣть вліяніе (Бердяевъ тщательнo изучалъ Ясперса)? Въ обоихъ случаяхъ сходство — равно знаменательно.

актъ, совершаемый субъектомъ». Эта мысль, которая всегда была близка Бердяеву, въ послѣднихъ двухъ книгахъ проводится съ особенной настойчивостью. Онъ надѣется, что ему удастся такимъ образомъ освободить познание отъ выросшаго изъ аристотелевскаго ученія принципа *adaequatio rei et intellectus* и стряхнуть съ себя всѣ принужденія и скованности, тяготящія надъ человѣческимъ духомъ. Мы увидимъ, что это ему такъ же мало удается, какъ и вдохновляющему его Канту: принужденія и связанности прилаживаются къ субъекту не хуже, чѣмъ онѣ прилаживались къ объекту.

И это несмотря на то, что въ своей послѣдней книгѣ Бердяевъ съ еще большей настойчивостью, чѣмъ прежде, проводитъ дорогую ему идею богочеловѣчества, въ которой онъ всегда видѣлъ наиболѣе полное выраженіе христіанства. Въ «Духъ и Реальности» чувствуется особенно сильно то «новое», о которомъ я говорилъ. До сихъ поръ Бердяевъ называлъ христіанство «теоцентрическимъ» или «христоцентрическимъ». Теперь онъ заговорить о пневмацентричности христіанства. Это, конечно, не значитъ, что Бердяевъ отказался отъ идеи богочеловѣчества. Но, несомнѣнно, это значитъ, что въ двучленной формулѣ — «богочеловѣкъ» удареніе переносится на второй членъ. Правда, и это для Бердяева не совсѣмъ ново: какъ всегда, даже въ своихъ раннихъ книгахъ, все свое вниманіе онъ сосредоточивалъ на человѣкѣ. Его философская эволюція заключается лишь въ томъ, что въ формулѣ «богочеловѣкъ», второй членъ все больше и рѣзче подчеркивается и выдвигается — и, конечно, при установленной имъ связи, выдвигается на счетъ срезаго члена. Такъ что, по мѣрѣ того, какъ растетъ и обогащается независимымъ содержаніемъ человѣкъ, умаляется и бѣднѣетъ Богъ. До такой степени бѣднѣетъ, что формула сама начинаетъ терять устойчивость и грозитъ опрокинуться: богочеловѣчество готово превратиться въ челоѣкобожество. Думаю, что буду очень близокъ къ истинѣ, если скажу, что въ философіи нѣмецкаго идеализма эта возможность стала дѣйствительностью (кантовская «религія въ предѣлахъ разума»). Конечно, Бердяевъ далекъ отъ этого. Но его увлеченіе Кантомъ, равно какъ и увѣренность, что путь къ истинѣ идетъ черезъ гнозисъ, заставляетъ его иной разъ почти съ завистью глядѣть на «свободное» нѣмецкое мышленіе. «Даже въ Евангеліи, пишетъ онъ, чистота откровенія духа замутнена человѣческой ограниченностью... Феноменологія откровенія должна привести къ сознанію той истины, что духу, т. е. свободѣ, принадлежитъ абсолютный приматъ надъ всякимъ объективированнымъ быті-

емъ». Свобода — это тоже одна из основных идей Бердяева, которая во всѣхъ его произведеніяхъ развивается съ огромной страстностью и съ неподдѣльной искренностью. Являясь въ этомъ горячимъ послѣдователемъ Якова Беме, онъ постоянно говоритъ о свободѣ, причѣмъ такъ же, какъ Яковъ Беме и воспитавшіеся на Беме творцы нѣмецкой идеалистической философіи, онъ считаетъ свободу премірной, несотворенной. Собственно говоря, никакой феноменологіи въ сущности и дѣлать тутъ нечего: за столѣтія до того, какъ Гуссерль ввелъ слово феноменологія, Беме уже достаточно говорилъ о свободѣ и о томъ, что свобода не сотворена Богомъ, а дана ему, какъ лана людямя. Знаменитая статья Шеллинга о сущности человѣческой свободы, цѣликомъ вышедшая изъ Беме, исходитъ изъ мысли, что *der reale lebendige Begriff (der Freiheit), dass sie ein Vermögen des Guten und des Bösen ist*. Бердяевъ много разъ утверждаетъ, что эта статья есть лучшее изъ того, что философія дала на тему о свободѣ. Свобода премірна, не сотворена и свобода есть вмѣстѣ съ тѣмъ неограниченная возможность выбора между добромъ и зломъ. Это, конечно, врядъ ли можетъ быть названо феноменологіей откровенія, если подъ откровеніемъ разумѣть то, что мы находимъ въ книгахъ св. Писанія. Тамъ ничего не сказано ни о томъ, что свобода не сотворена, ни о томъ, что свобода есть способность выбирать между добромъ и зломъ. Но и Беме, и нѣмецкіе идеалисты, и Бердяевъ не считаютъ себя связанными Писаніемъ, точнѣе далеки отъ мысли, что откровеніе можно искать и найти только въ Писаніи. Есть и иной источникъ откровенія — мы уже называли его: гнозисъ. Въ «Философіи свободнаго духа» Бердяевъ самымъ рѣшительнымъ образомъ высказывается за то пониманіе свободы, которое привилъ нѣмецкой философіи Беме. Приведу его собственныя слова, такъ какъ его пониманіе свободы опредѣляетъ собой все его философское устремленіе — планъ, выражаясь стариннымъ языкомъ Бѣлинскаго, въ немъ — его паюсъ. Предъ лицомъ «геніальной діалектики» Ивана Карамазова Бердяевъ, не колеблясь, высказываетъ слѣдующія размышленія: «человѣкъ эвклидова вполне рациональнаго ума не можетъ понять, почему Богъ не создалъ безгрѣшнаго, блаженнаго, неспособнаго ко злу и страданіямъ міра. Но добрый чловѣческій міръ, міръ эвклидова ума, отличался бы отъ злого Божьяго міра тѣмъ, что въ немъ не было бы свободы, свобода не входила бы въ его замыселъ, человѣкъ былъ бы добрымъ автоматомъ». И еще: «проблема теодицеи разрѣшима лишь свободой. Тайна зла есть тайна свободы... Свобода порождаетъ

зло, какъ и добро. Поэтому зло не отрицаетъ существованіе смысла, а подтверждаетъ его. Свобода не сотворена, потому она не есть природа, свобода предшествуетъ міру, она вкоренена въ изначальное бытіе. Богъ всесилень надъ бытіемъ, но не надъ ничто, не надъ свободой. И потому существуетъ зло». И наконецъ: «Богъ всемогущъ въ отношеніи къ бытію, но это непримѣнимо въ отношеніи къ небытію». Повторяю, всѣ эти идеи принадлежатъ Беме, онъ же развиты въ упомянутой выше статьѣ Шеллинга. Бердяевъ самъ это усиленно подчеркиваетъ, постоянно ссылаясь на Беме и Шеллинга. Въ міросозданіи есть и что-то и ничто. Ничто не абсолютное. Опять-таки, слѣдуя Шеллингу, Бердяевъ отличаетъ ще опъ отъ оцк опъ. Небытіе есть ще опъ, т. е. оно, хотя и есть ничто, но есть такое ничто, которому дана огромная власть надъ всѣмъ — и надъ Богомъ и надъ людьми. Предъ лицомъ ничто — оно же есть свобода, — приходится ограничить даже всемогущество Божіе. Бердяевъ, со всѣмъ краснорѣчіемъ, на которое онъ способенъ, почти въ пророческомъ вдохновеніи возвѣщаетъ: «въ основѣ творенія должна лежать бездонная свобода, которая была уже до міротворенія заключена въ ничто, безъ нея твореніе не нужно Богу». Соответственно этому «зло оказывается двигателемъ и возбuditелемъ мировой жизни. Безъ зла осталось бы навѣки вѣковъ первобытное райское состояніе перваго Адама и не явился бы новый Адамъ, не была бы раскрыта высшая свобода и любовь. Добро, побѣдившее зло, есть добро большее, чѣмъ то, которое существовало до появленія зла». И «искупленіе не есть возвращеніе къ райскому состоянію до грѣхопаденія, искупленіе есть переходъ къ высшему состоянію, къ обнаруженію высшей духовной природы чловѣка». «Изначальное твореніе обожженнаго міра не знало бы свободы. Побѣда надъ грѣхомъ и зломъ есть обожженіе тварнаго міра».

Если вы спросите Бердяева, откуда ему все это извѣстно, онъ спокойно сошлется вамъ на глгозисъ: все это ему извѣстно изъ опыта, правда, не природнаго, а «духовнаго». И сошлется на свидѣтельства великихъ мистиковъ, преимущественно нѣмецкихъ — того же Беме, Мейстера Эккегарда, Ангелуса Силезіуса, Таулера и др. Но развѣ опытъ даетъ «знаніе»? Самъ Кантъ, который такъ многому научилъ Бердяева, открываетъ свою «кристику чистаго разума» словами: «всякое знаніе начинается съ опыта, но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, что оно все происходитъ изъ опыта». Больше того: въ опытѣ, какъ таковомъ, знанія еще нѣтъ. Всегда возможенъ новый опытъ, который старый опытъ совсѣмъ отмѣнить, или радикально измѣ-

нить. Это такъ же относится къ эмперическому опыту, какъ и къ тому, что Бердяевъ называетъ опытомъ духовнымъ, въ которомъ онъ видитъ прорывъ изъ иныхъ міровъ. Знаніе, всякое знаніе, всякій «гнозисъ» предполагаетъ оформленный опытъ — законченный, окончательный. Всѣ, приведенныя сейчасъ Бердяевымъ, сужденія именно потому и вправѣ называться знаніемъ, что имъ эта форма — форма всеобщности и необходимости — безусловна и присуща. «Добро, побѣдившее зло, есть добро большее, чѣмъ то, которое существовало до появленія зла». Отнимите у этого сужденія его всеобщность и необходимость, отнимите у него принудительность, со всеобщности и необходимостью связанная (все равно, пришла ли она отъ объекта или отъ субъекта), оно перестанетъ быть знаніемъ. А между тѣмъ Бердяевъ во всѣхъ своихъ книгахъ страстно ополчается на принудительность и самымъ рѣшительнымъ образомъ отказываетъ ей въ правѣ сопровождать и охранять истину. Бердяевъ прославляетъ свободу, какъ высшій даръ — правда, не небесъ, свобода вѣдь не сотворена — но все же, какъ даръ, и во всякаго рода принужденіи готовъ видѣть и дѣйствительно видѣть посягательство на священныя права человѣка.

Но, какъ же быть, если отказать высказаннымъ Бердяевымъ сужденіямъ въ принудительной силѣ? Онъ утверждаетъ: «свобода не сотворена», «добро, побѣдившее зло, есть большее добро, чѣмъ то, которое существовало до появленія зла», что не можетъ быть свѣта безъ тьмы и т. д. Такъ полагали Беме, такъ полагали и другіе иѣменькіе мистики. Но, вѣдь были люди, которые думали и говорили иначе. Бердяевъ сошлется на опытъ, Бердяевъ сошлется на интуицію, но мы уже знаемъ, что опытъ не обезпечиваетъ истины, да, затѣмъ, если у разныхъ людей ихъ опытъ свидѣтельствуетъ о разномъ, то откуда знать, какой опытъ открываетъ истину? Тоже и съ интуиціей. Кто только не ссылался на интуицію, кто не говорилъ даже объ *intuitus mysticus*? Очевидно, опыта и интуиціи недостаточно. Когда Спинозу спросили, откуда онъ знаетъ, что его философія истинна, онъ отвѣтилъ: оттуда, откуда ты знаешь, что сумма угловъ въ треугольникѣ равна двумъ прямымъ. Бердяевъ, конечно, не приметъ этого отвѣта Спинозы: въ немъ онъ усматриваетъ рационализмъ*). Но, тогда, какой же отвѣтъ можетъ онъ дать?

*) Бердяевъ говоритъ даже объ «ограниченномъ рационализмѣ» Спинозы, хотя мнѣ кажется, что тутъ обмолвка. Очень уже слово «ограниченный» не пристало Спинозѣ и не можетъ быть, чтобы такой тонкій мыслитель, какъ Бердяевъ, этого не чувствовалъ. Тѣмъ бо-

Или, говоря иначе, какъ быть съ опытомъ уже не ограниченыхъ рационалистовъ, а значительныхъ, великихъ гениевъ, провидцевъ и мистиковъ — такихъ, какими, по словамъ самого Бердяева, являются Мейстеръ Эккегардъ, Таулеръ, Ангелусъ Силезіусъ, Яковъ Беме и др. Вопросъ первостепенной важности и требуетъ того, чтобы на немъ внимательно остановиться. Возьмемъ хотя бы Мейстера Эккегарда. Онъ заявляетъ: вамъ говорили, что выше всего любовь. А я вамъ говорю, что отрѣшеніе выше любви. Надо рѣшить, надо выбрать — гдѣ истина? Тамъ ли (т. е. у апостола Павла), гдѣ любовь ставится надъ всѣмъ и, стало быть, надъ отрѣшеніемъ, или тамъ, гдѣ отрѣшеніе ставится надъ любовью? Или тотъ-же Эккегардъ заявляетъ, что Богъ оставался совершенно равнодушнымъ, слушая доходяшіе до Него вопли распинаемаго Сына. И находить, что «это хорошо: отрѣшеніе выше и любви, и милосердія, и состраданія». Выше не только для человѣка, но и для Бога. А Кирегардъ утверждаетъ, что Богъ безмѣрно страдалъ, слушая вопли своего Сына и мучался совсѣмъ по-человѣчески, такъ же, какъ и самъ Кирегардъ, когда ему пришлось порвать съ невѣстой своей, только безмѣрно больше. Или Ангелусъ Силезіусъ и Мейстеръ Эккегардъ говорятъ о томъ, что *Deitas* надъ Богомъ или что Богъ не могъ бы и мгновенія просуществовать безъ человѣка. Гегель ставитъ это въ центръ своей религіозной философіи, нѣмецкіе богословы (напр., знаменитый Рудольфъ Отто) видятъ въ этомъ глубочайшее постиженіе, самъ Бердяевъ, приводя въ оригиналь обширныя извлеченія изъ ихъ сочиненій, трепещетъ отъ восторга, считая, что тутъ имѣетъ мѣсто прорывъ изъ иного міра — но, несомнѣнно, что, если бы Паскалю довелось прочесть приводимыя Бердяевымъ выписки, онъ бы вспомнилъ слова псалмопѣвца: и сказалъ безумецъ въ сердцѣ своемъ — нѣтъ Бога. «Опытъ» — противъ «опыта». Которому отдать предпочтеніе? И кто тотъ, кому да и о

лѣе, что центральная глава его книги «О назначеніи человѣка» («Смерть и безсмертіе») несомнѣнно навѣяна размышленіями Спинозы на тему *amor erga rem aeternam et infinitam* и его же *sempiternus experimturque nos aeternos esse*. «Вѣчная жизнь наступаетъ уже во времени, она можетъ раскрыться въ каждомъ мгновеніи, въ глубинѣ мгновенія, какъ вѣчное настоящее. Вѣчная жизнь не есть будущая жизнь, а жизнь настоящаго, жизнь въ глубинѣ мгновенія», пишетъ Бердяевъ. Мысль вполнѣ спинозовская. И вообще вся «парадоксальная этика» Бердяева, какъ и этика Канта, пропитана спинозовской идеей: *beatitudo non est proemium virtutis, sed ipsa virtus*.

завѣдывать этими предпочтеніями? Такого вопроса Бердяевъ не ставитъ, не можетъ ставить: несотворенная свобода, открываемая феноменологіей въ первоизданномъ бытіи, не допускаетъ на него отвѣта. А межъ тѣмъ фактически онъ безъ отвѣта обойтись не можетъ. Онъ выбираетъ тотъ опытъ, который почему-либо больше говоритъ ему лично (вѣрнѣе, не онъ выбирать опытъ, а опытъ выбираетъ его) — и на этомъ строить свой гнозисъ. И, чтобъ положить конецъ докучнымъ вопрошаніемъ, онъ ссылается на то, что излюбленный имъ опытъ свидѣтельствуешь о прорывѣ изъ иныхъ міровъ, въ то время какъ всякій другой опытъ относится къ міру, какъ онъ выражается, природному. Въ этомъ, если хотите, притягательная сила писаній Бердяева. Въ противоположность Достоевскому, Киргегарду и Нитше (чтобы говорить лишь о современникахъ), онъ на вопросахъ не любитъ долго задерживаться и задерживать своихъ читателей — онъ всегда торопится къ отвѣтамъ, которые къ нему какъ бы сами собой приходятъ. Онъ вскользь говорить о «геніальной діалектикѣ Ивана Карамазова» (т. е. о замученныхъ дѣтяхъ), но неисчерпаемъ, когда нужно говорить о способахъ преодоленія трудностей и ужасовъ жизни. Онъ даже избѣгаетъ словъ «ужасы жизни» и никогда не вспоминаетъ о безысходности. Оттого его писанія несутъ въ значительной степени дидактической, назидательный характеръ и, нужно сказать, что тутъ онъ, точно обрѣтая свою родную стихію, доходитъ часто до великолѣпнаго пафоса. И, чѣмъ вдохновеннѣе онъ говоритъ на такого рода темы, тѣмъ больше убѣждается онъ въ томъ, что въ его словахъ скрыта единственная и послѣдняя правда, что они несутъ вѣсть о дѣйствительномъ прорывѣ изъ иныхъ міровъ и что всякій, кто не разслышитъ въ нихъ высшую истину, тѣмъ обрекаетъ себя на вѣчную гибель». Правда, никто съ такой энергіей, какъ Бердяевъ, не возставалъ противъ усвоенной теологами идеи вѣчной гибели. Но съ другой стороны, какъ быть съ людьми, которые останутся равнодушными къ доходящимъ до насъ изъ иныхъ міровъ вѣщаніямъ? У Бердяева въ «Назначеніи человѣка» мы читаемъ: «нравственное сознаніе началось съ Божьяго вопроса: Авель, гдѣ твой братъ Каинъ». Мы знаемъ, что отвѣтилъ Каинъ Богу: развѣ я сторожъ брату моему. Но, что можетъ отвѣтить Богу Авель, если даже предположить, что, въ противоположность брату своему, онъ окажется сотканнымъ изъ однихъ лишь добродѣтелей? Свобода, вѣдь, ирраціональна. «Побѣда надъ темной свободой, пишетъ тутъ-же Бердяевъ, невозможна для Бога, ибо эта свобода не Богомъ создана и коренится въ небы-

ти». Но, какъ же можно требовать или ждать отъ человѣка, что онъ сдѣлаетъ то, чего и Богъ сдѣлать не можетъ? И вообще возможна-ли такая побѣда и въ нашихъ и въ иныхъ мірахъ? Можеть-ли кто нибудь сдѣлать то, чего не можетъ сдѣлать Богъ? Бердяевъ утверждаетъ, что Богочеловѣкъ это можетъ сдѣлать. Откуда ему это извѣстно? И почему, если Богу не дано преодолѣть не имъ сотворенную свободу, то Богочеловѣку (единосущному Богу) удастся преодолѣть тоже не имъ сотворенную свободу? Какой «гнозисъ» здѣсь открываетъ намъ истину? Если полагаться на «знаніе» съ его «возможнымъ» и «невозможнымъ» — то придется сказать о Христѣ то-же, что Бердяевъ сказалъ о Богѣ: не Онъ сотворилъ свободу, не Ему ея владѣть и править. Но такого испытанія «гнозисъ» не выдерживаетъ. Онъ присмирѣлъ и не рѣшается уже вспомнить о несотворенной темной свободѣ, которую онъ называлъ вѣстью изъ иного, неприроднаго, духовнаго міра, прорвавшейся къ намъ, въ міръ природный.

II.

Но это не значитъ, что гнозисъ отказался отъ своихъ притязаній. Всѣ свои притязанія онъ связываетъ не съ Богомъ, и не съ Богочеловѣкомъ, а съ человѣкомъ, принужденнымъ и готовымъ считаться съ «возможностями», установленными безъ него и не для него. Оттого у Бердяева этика такъ разрастается и, въ концѣ концовъ, доминируетъ надъ всей его мыслью. Правда, онъ говоритъ о «парадоксальной этикѣ» (таковъ подзаголовокъ его книги «о назначеніи человѣка»^{*)}). Но этика парадоксальная не перестаетъ быть этикой, т. е. сохраняетъ и свою самозаконность и повелительность. Объ этикѣ Бердяева можно сказать то же, что Дейсенъ, желая сблизить индусскую мысль съ еврпейской, сказалъ объ этикѣ Канта: въ ней человѣкъ, какъ *Ding an sich*, диктуетъ свои законы человѣку эмпирическому. У меня нѣтъ мѣста, чтобъ распространяться здѣсь объ «этическомъ идеализмѣ» Фихте. Скажу лишь вкратцѣ, что этика Фихте не только не преодолеваетъ кантовскаго принципа: поступай такъ, чтобъ въ твоемъ поступкѣ выразился и обязательный принципъ поведения для всѣхъ, но предполагаетъ

^{*)} «Кантъ со своимъ ученіемъ объ интеллигибельномъ характерѣ и свободѣ, быть можетъ, былъ ближе къ истинѣ, чѣмъ другіе философы» («Духъ и реальность», 102).

его. Оттого и повелительная форма: ты долженъ быть самимъ собою. Почему ты дѣлать? Отъ кого исходить распоряженіе? Явно, что этика сохраняетъ за собою право рѣшать, осуществилъ ли человекъ свой долгъ, былъ-ли онъ «самимъ собою» въ томъ смыслѣ, въ какомъ это ей желательно — и въ первомъ случаѣ хвалить, во второмъ — порицаетъ его. Аннибалъ былъ безспорно «самимъ собою», когда, послѣ неслыханной по жестокости и безчеловѣчности осады Сагунта, когда измученное населеніе города сдалось на милость побѣдителя, отдалъ во власть своихъ свирѣпыхъ солдатъ и городъ и жителей, хотя зналъ хорошо, что солдаты разрушатъ городъ и перебьютъ всѣхъ до одного человека мужчинъ, женщинъ, стариковъ, младенцевъ. И Тигъ, такъ же поступившій съ Иерусалимомъ, былъ самимъ собою. Оба дышали полной грудью — какъ истинные побѣдители, — глядя на неистовавшихъ солдатъ своихъ. Что же? Бѣдной этикѣ пришлось имъ еще воздавать хвалы? Явно, что ни Шеллеръ, ни Бердяевъ отъ нея этого не требуютъ. Въ частности, самъ Бердяевъ, не смотря на то, что онъ неустанно твердитъ о свободѣ и возмущается отъ всей души всякаго рода «принужденіями», не можетъ какъ безъ воздуха жить безъ слова «ты долженъ». Онъ говоритъ: «творческое напряженіе есть нравственный императивъ и притомъ во всѣхъ сферахъ жизни». Или еще: «человѣкъ всегда долженъ поступать индивидуально и индивидуально разрѣшать нравственную задачу». Ссылаясь на М. Шеллера и книгу Гурвича о Фихте, онъ заявляетъ: «быть до конца личностью и личности не измѣнять... есть абсолютный нравственный императивъ». Бердяевъ даже считаетъ нужнымъ регулировать и въ мелочахъ повседневную человѣческую жизнь: «когда вы испытываете наслажденіе отъ удовлетворенія половой страсти и отъ ѣды, вы должны чувствовать въ немъ отраву... но когда вы испытываете наслажденіе, вдыхая горный или морской воздухъ или ароматъ лѣсовъ — тутъ нѣтъ похоти». То же говоритъ онъ и по поводу духовныхъ вождѣлнй, обличая корыстолюбіе, честолюбіе и т. п. Правда, Бердяевъ сравнительно снисходителенъ: Бернардъ Клервосскій или Катерина Сиенская склонны были подозревать и ароматъ полей. Но не въ этомъ дѣло. Сейчасъ насъ занимаетъ преимущественно и даже исключительно строго принудительный характеръ даже парадоксальной этики. «Ты долженъ» сохраняетъ у Бердяева ту-же независимость и власть, какія ему были присущи съ древнѣйшихъ временъ у всѣхъ народовъ и которыя были выдвинуты съ такой рѣшительностью Кантомъ въ его «Критикѣ практическаго разума». Конечно, это

плохо ладится съ общими задачами Бердяева: онъ хотѣлъ бы, чтобъ его этика была христіанской и принципиально отличалась бы отъ этики изыскаемой. Такое принципиальное различіе онъ пытается найти в томъ, что всѣ до-христіанскія и внѣ-христіанскія ученія не допускаютъ и не пріемлютъ идеи «личности». Но тутъ ему приходится «стилизовать», такъ какъ такое сужденіе не соответствуетъ исторической дѣйствительности. И греческая философія, и индусская мудрость всегда выдвигали на первый планъ идею личности и съ не меньшей настойчивостью, чѣмъ это дѣлаетъ Бердяевъ. Недаромъ самъ Бердяевъ въ стоицизмъ видитъ предвареніе христіанства*). И, вѣдь, дѣйствительно, книги стоиковъ были любимымъ чтеніемъ раннихъ христіанъ. Сенекой зачитывались всѣ, а «de consolatione philosophiae» Бозіція (хотя Бозіцій самъ былъ христіаниномъ, но онъ о христіанствѣ молчитъ) была настольной книгой монаховъ даже и въ средніе вѣка. Еще съ большимъ правомъ можно сказать, что у Платона и Сократа идея личности всегда выдвигалась на первый планъ. Ихъ этика предполагала, какъ свое естественное условіе, идею личности. Сократъ, наслѣдовавшій искусство своей матери, повивальной бабки, помогалъ человеку, въ которомъ рождалась личность. Въ своей рѣчи, въ платоновскомъ «Симпозіонѣ», Алкивиадъ говоритъ, что Сократъ научилъ его «стыдиться». То-есть различать между его эмпирической индивидуальностью и индивидуальностью высшей — тѣмъ именно, что Шеллеръ и Бердяевъ, Беме и Шеллингъ называютъ личностью. Повторяю, во всѣ времена этика ставила себѣ задачей высвобожденіе личности изъ индивидуума. И тутъ индусская философія нисколько не отстаетъ отъ европейской. Tat tvam asi, какъ и aham brahman asmi (это, т. е. браманъ есть — ты и я есмь браманъ) не только не покушаются на идею личности, но несъ смыслъ этихъ знаменитыхъ изреченій именно въ томъ, чтобы оправдать, возвысить и осмыслить личность. Индусы борются лишь противъ того, что они называютъ ahamikara (въ переводѣ на русскій языкъ — ячество, эгоизмъ, эготизмъ), но вѣдь Бердяевъ и самъ призываетъ противъ ячества всѣ громы**). Я думаю, что Бердяевъ это и безъ меня знаетъ. Если же

**) Очень поучительна, въ этомъ отношеніи, книга упомянутого христіанства. «Духъ и Реальность», 97 стр.

*) Очень поучительна, въ этомъ отношеніи, книга упомянутого мною выше Рудольфа Отто «Западная и восточная мистика». Отто сравниваетъ мистику Экггарда съ мистикой Шанкары, самаго замѣчательнаго изъ индусскихъ мудрецовъ (VIII вѣкъ) и пытается установить съ одной стороны сходство, съ другой — различіе межъ ними.

онъ все-таки съ такой настойчивостью, во всѣхъ своихъ книгахъ, присволяетъ право исключительной собственности на идею личности христіанству, то, повидимому, лишь потому что открытая ему гнозисомъ истина о безсиліи Бога справиться съ тѣмъ, что не Богомъ создано, повелительно требуетъ отъ него ждать не отъ Бога, а отъ человѣка преодоленія царствующаго въ мірѣ зла. Что сдѣлаетъ человѣкъ, то будетъ сдѣлано: Богъ можетъ только благословить человѣка на подвигъ (какъ и мораль), но уничтожить зло долженъ самъ человѣкъ. Соответственно этому основной задачей философіи (христіанской, по Бердяеву) въ первую очередь является теодицея. Надо показать, что Богъ не виноватъ во злѣ и не хотѣлъ его, что зло вошло въ міръ помимо Бога и уйдетъ изъ міра безъ его помощи: Богъ ждетъ отъ человѣка (опять-таки, какъ и мораль) рѣшающаго слова, дѣйствія, отвѣта. Чѣмъ больше мысль о безсиліи Бога преодолѣть зло овладѣваетъ Бердяевымъ, тѣмъ сильнѣй растетъ и повышается его предостерегающій голосъ. И тутъ съ особенной ясностью обнаруживается, какія перспективы раскрываетъ гнозисъ ищущему и страждущему человѣчеству. Гнозисъ порождаетъ теодицею: знающій человѣкъ убѣждается, что самое главное, самое важное въ жизни — это «оправдать Бога». А такъ какъ всякое «оправданіе Бога» неизбежно связано съ признаніемъ, что зло вошло въ міръ помимо Его воли, то всѣ теодицеи, какъ бы мало онѣ одна на другую не походили, принуждены исходить изъ мысли, что возможности Бога ограничены и Лейбницъ, называвшій нашъ міръ лучшимъ изъ возможныхъ міровъ, въ этой формулировкѣ далъ наиболѣе полное выраженіе тому, что есть самая сущность теодицеи. Такъ что, несмотря на ядовитыя насмѣшки Вольтера, приходится вмѣстѣ съ Шеллингомъ признать, что въ теодицеѣ своей Лейбницъ сдѣлалъ все, что только можетъ сдѣлать человѣкъ, взявшій на себя такую рискованную задачу. Теодицея

Первое ему блестяще удается: сходство по истинѣ поразительное. Но сколько онъ ни хлопочетъ, чтобы показать различіе, у него ничего не получается, кромѣ голаго утвержденія, что мистика Эккгарда опредѣлилась «палестинско-библейской почвой, на которой она была воздвигнута». Палестина и Библия чувствуются у Эккгарда только въ его стнѣхъ (дѣйствительно, чудесномъ и сохранившимъ колоритъ, даже ароматъ Палестины и Библии). Идеи же свои (хотя бы тѣ, о которыхъ я вкратцѣ говорилъ выше о *Deitas* и пр.) — онъ черпаетъ тамъ же, гдѣ и Шапкара — въ области, куда раздававшіеся въ Палестинѣ и запечатлѣнные въ Библии голоса никогда не доходили и дѣйствіи не могутъ.

Якова Беме и слѣдующаго ему во всемъ Бердяева исходить, какъ мы видѣли, изъ «знанія» о безсиліи Бога и соотвѣтственно этому, сводится къ подбору соображеній, показывающихъ, что міръ, даже и при безсильномъ Богѣ, все-таки хорошъ. Того больше: міръ въ значительной степени именно потому хорошъ, что Богъ не всесилень и, что, игрою случая, въ мірѣ оказалось Ничто, свобода, не Богомъ созданная, но все же являющаяся источникомъ и необходимымъ условіемъ всего хорошаго, о чемъ можетъ мечтать человѣкъ. Правда, свобода дѣлаетъ возможнымъ зло. Но гнозисъ стоитъ на своемъ: эта возможность есть вовсе не нѣчто отрицательное, а нѣчто положительное. Бердяевъ приходитъ почти въ ужасъ при мысли, что человѣкъ былъ бы выброшенъ въ міръ, въ которомъ не было бы несотворенной свободы, дающей ему возможность дѣлать зло: онъ былъ бы «автоматомъ добра». Онъ тоже твердо «знаетъ», что павшій человѣкъ, т. е. человѣкъ, познавшій и добро и зло, выше невиннаго человѣка, ибо ему больше открылось. Даже предъ тѣмъ, что Бердяевъ окрещиваетъ философскимъ терминомъ — «діалектика Ивана Карамазова» — т. е. предъ рассказомъ Достоевскаго объ истязаемыхъ дѣтяхъ — гнозисъ не колеблется: да, все это безспорно — зло, но Богъ тутъ ничего подѣлать не можетъ. Приходится отдавать на пытки дѣтей, чтобы не отнять у взрослыхъ возможности выбора между добромъ и зломъ и не лишить ихъ премірной свободы. Бердяевъ слышитъ Шеллинга *): «истинная свобода гармонируетъ со святой необходимостью, такъ какъ духъ и сердце, связанные только своимъ закономъ, добровольно утверждаютъ то, что необходимо», — но онъ не слышитъ вопроса Достоевскаго: зачѣмъ познавать это чертово добро и зло, если это такъ дорого стоитъ? Не потому не слышитъ, что онъ равнодушный или черствый человѣкъ. Наоборотъ: всѣ писанія его свидѣтельствуютъ, что онъ на рѣдкость отзывчивъ. Но затравленный на глазахъ у матери генеральскими собаками мальчикъ — «фактъ», беспомощно зывающая «Боженька, Боженька» дѣвочка есть тоже «фактъ». Боженька не можетъ выручить дѣвочку, какъ онъ не можетъ оторвать отъ мальчика генеральскихъ собакъ. Это «святая необходимость»: нельзя покуситься на «свободу выбора между добромъ и зломъ», величайшій даръ судьбы человѣку. Оттого рассказы Карамазова обозначаются короткими, успокаивающими словами — «гениальная діалектика» и не только не выдвигаются, какъ у Достоевскаго, на видное мѣсто, но

*) «О сущности человѣческой свободы».

какъ бы затушевываются. Если-бы Бердяевъ, вмѣсто того, что-бы славословить «несотворенную свободу» — задержался бы на ужасахъ, о которыхъ повѣствуетъ намъ устами Карамазова Достоевскій — все радикально измѣнилось бы. Онъ проклялъ бы эту свободу, какъ прокляли ее Карамазовъ и Достоевскій, проклялъ бы и самое «познаніе добра и зла», которое съ этой свободой связано и въ которомъ умозрительная философія видитъ источникъ высшихъ, духовныхъ цѣнностей. По меньшей мѣрѣ ему по крайней мѣрѣ сообщилось бы подозрѣніе Достоевскаго о томъ, что «познаніе добра и зла» отнюдь не свидѣтельствуетъ о совершенствѣ и возвышеніи человѣка, что въ немъ нужно видѣть паденіе и паденіе роковое — то, что выразилъ Достоевскій (очевидно подъ дѣйствіемъ разсказа книги Бытія о грѣхопадении) въ словахъ «познавать чортово добро и зло». Но повторяю, Бердяевъ этого не дѣлаетъ, не можетъ слѣлать: гнозись крѣпко держитъ его въ своихъ цѣпкихъ рукахъ и не выпускаетъ. Съ «фактами» нельзя спорить, съ ними ничего не подѣлаешь: мальчика растерзали генеральскіе псы, дѣвочку замучили изувѣры родители. И Богъ ихъ не защитилъ: явно, что не могъ. И если мы хотимъ «оправдать Бога» — у насъ есть лишь одинъ выходъ: всѣ свои умственные и нравственные силы сосредоточить на томъ, чтобы доказать невозможность вмѣшательства для Бога и сверхъ того, чтобы убѣдить себя и другихъ, что эта невозможность хороша. Чтобы генералъ былъ свободенъ, необходимо («святая необходимость» Шеллинга), чтобы мальчикъ, отданный имъ на растерзаніе псамъ, былъ беззащитенъ. Мы видимъ, что теодицея Бердяева и тѣхъ, у кого онъ учился, идетъ тѣмъ же путемъ, какимъ шла мудрость у всѣхъ людей во всѣ времена. Стоикъ Клеантъ выразилъ это въ словахъ, пріобрѣвшихъ широкую извѣстность благодаря Сенека и Цицерону: *fata volentem ducunt, nolentem trahunt*. Мудрость никогда не шла за предѣлы такой свободы, которая выражается въ радостной готовности покориться неизбежному, ибо мудрость всегда опиралась на гнозись, и тамъ, гдѣ гнозись открывалъ «необходимость», мудрость безропотно воздвигала свое «ты долженъ» и въ этомъ видѣла сущность свободы. Свобода въ философіи и античной, и средневѣковой, и новѣйшей не есть свобода распоряжаться дѣйствительностью, а лишь свобода такъ или иначе расцѣпывать ее: кто покоряется необходимости, того судьба ведетъ, кто не покоряется, кто принимаетъ необходимость невольнo, того она тащитъ насильно. На этомъ же зиждется автономная мораль.

Всѣ размышленія Бердяева о «смыслѣ страданій» не выхо-

дять и не могутъ выйти за предѣлы той свободы, которую знали и проповѣдывали уже древніе мудрецы. И въ этой свободѣ онъ видитъ «просвѣтленность», которую принесло людямъ библейское откровеніе. Но повторяю и настаиваю: ни въ Библии, ни въ откровеніи эта «просвѣтленность» не имѣла никакой нужды. Мудрость всѣхъ народовъ и во всѣ времена ее знала — и не только у грековъ, но и у индусовъ (даже въ буддизмѣ) только и идетъ рѣчь, что о такой просвѣтленности. Если же Бердяевъ очень упорно отвергаетъ, что мудрость собственными средствами добывала просвѣтленности, какъ онъ отвергаетъ, что у грековъ и индусовъ была уже полностью выработана идея личности, то это, по видимому, объясняется тѣмъ, что онъ хотѣлъ бы имѣть въ активѣ своей философіи не только то, что принесло Св. Писаніе. Бердяевъ — философъ культуры и его горячая приверженность къ культурнымъ достижениямъ, поведенительно требуетъ отъ него пріобрѣтенія исключительной собственности на всѣ ея завоеванія. Мы видѣли, какъ уклонился онъ отъ «гениальной діалектики» Карамазова. Онъ не рѣшился explicitе говорить о томъ, что такъ волновало Достоевскаго. Другой случай: его толкованіе книги Іова. Совсѣмъ, какъ Кантъ (въ его замѣчательной статьѣ: «отчего до сихъ поръ не удавались всѣ теодицеи?»), онъ въ книгѣ Іова видитъ только споръ между многострадальнымъ старцемъ и его друзьями. Друзья утверждаютъ, что Іовъ виноватъ и заслужилъ тѣ бѣды, которыя на него свалились — Іовъ протестуетъ и говоритъ о своей невинности. Кончается же все вмѣшательствомъ Бога, который беретъ въ этомъ спорѣ сторону Іова и осуждаетъ его друзей: но, вѣдь этотъ споръ только эпизодъ, внесенный въ книгу Іова. Смыслъ же всего повѣствованія въ томъ, что Іовъ, вопреки завѣтамъ мудрости, не хочетъ и не можетъ примириться съ ужасами своего новаго существованія и не столько спорить со своими друзьями, сколько изываетъ къ Тириу. Сначала онъ еще держится и заявляетъ, при первыхъ извѣстіяхъ о постигшихъ его ударахъ — совсѣмъ, какъ подобаешь музрому чловѣку: Богъ далъ, Богъ взялъ. Выражаясь языкомъ стойкова или Бердяева, онъ просвѣтленно принимаетъ горе. Но потомъ — и тутъ собственно начинается «книга Іова» — онъ домогается возврата потеряннаго и въ домогательствахъ своихъ проявляетъ крайнюю, неслыханную безудержность. Друзья говорятъ про него: «онъ льетъ хулу, какъ воду». И вѣдь говорятъ правду! Если къ кому-либо можно по праву примѣнить выраженіе Бердяева «безблагодатный максимализмъ» — то это именно къ Іову. Іовъ не пріемлетъ назиданія, онъ не слышитъ голоса «мудро-

сти»: онъ добивается возвращенія отнятаго у него — богатствъ, здоровья, дѣтей. И, такъ какъ этого его друга дать не могутъ, а предлагаютъ ему взамѣнъ то, что люди могутъ предложить въ такихъ случаяхъ — стоическія размышленія на тему *fata volentem ducunt, nolentem irahunt* (Иовъ и безъ нихъ это зналъ — его же слова: Богъ далъ, Богъ взялъ) и притомъ требуютъ, чтобъ Иовъ такой «свободой» удовлетворился, то тутъ возникаетъ между ними споръ. «Скучные вы утѣшители», возмущается Иовъ, друзья же его корятъ тѣмъ, что онъ не хочетъ и не умѣетъ, какъ подобаетъ мудрецу просвѣтленно нести страданія, осмысливать ихъ. И они, конечно, правы по своему. Можеть быть они кой въ чемъ и преувеличили: пожалуй, лучше было бы не говорить Иову о его «винѣ»: но очень рѣдко человѣческія утѣшенія держатся въ должныхъ границахъ. Вспомнимъ, что писалъ В. Соловьевъ о Пушкинѣ и Лермонтовѣ: оба были виноваты и заслужили своей участи. Но, скажу еще разъ: въ книгѣ Иова друзья и ихъ рѣчи только эпизоды. Существенны въ ней — рѣчи, съ которыми Иовъ обращается къ Богу. И еще болѣе существенно: отвѣтъ Бога. Богъ призналъ правоту Иова — и не на словахъ, а тѣмъ, что вернулъ ему все утраченное. Объ этомъ Бердяевъ молчитъ, какъ молчитъ и Кантъ въ упомянутой выше статьѣ: роль Бога сводится исключительно къ оправданію Иова предъ моралью. Почему Бердяевъ и Кантъ молчатъ о томъ, что Богъ вернулъ Иову все имъ утраченное? Почему они ограничиваютъ роль Бога чисто моральнымъ воздѣйствіемъ? Двухъ отвѣтовъ быть не можетъ: гнозисъ вошелъ въ свои права, оба они твердо знаютъ, что Богъ можетъ облечь Иова предъ моралью, но Онъ безсиленъ защитить его отъ бѣдъ. Соответственно этому, они убѣждены, что урѣзавъ (исправивъ) библейское повѣствованіе, они его истолковали въ духѣ и истинѣ, и что вообще только такое пониманіе Писанія, при которомъ не предполагается ничего оскорбляющаго наше познаніе, есть пониманіе въ духѣ и истинѣ. Въ своей религіозной философіи Гегель это формулировалъ въ слѣдующихъ словахъ: «чудо есть насиліе надъ естественной связью явленій и потому есть насиліе надъ духомъ».

III.

Мы полошли къ самому главному, а вмѣстѣ съ тѣмъ и къ самому загадочному и трудному моменту того, что Киргегардъ называетъ экзистенціальной философіей. Киргегардъ беретъ

исходнымъ пунктомъ своихъ размышленій тоже книгу Іова. Но въ противоположность Канту и Бердяеву «требованія» много-страдальнаго старца не только не представляются ему предосудительнымъ максимализмомъ — въ его смѣлости и безудержѣ онъ усматриваетъ единственно правильное отношеніе человѣка къ Богу. Не меньше, конечно, чѣмъ Бердяевъ и Кантъ, онъ знаетъ, какъ мало ладить развязка книги Іова съ вросшими въ насъ представленіями о «возможномъ» и «невозможномъ». Знаетъ тоже, что она заслуживаетъ моральнаго осужденія, какъ «насиліе надъ духомъ». Но это не только не смущаетъ его, но вдохновляетъ на новую, правда отчаянную и неслыханную по наирѣжисней боръбу. «Гнозись», все, довлѣющее себѣ, «эмансипированнейся» отъ Бога, познаніе уже не представляется ему, какъ Бердяеву, прорывомъ изъ иныхъ міровъ: гнозись онъ, слѣдуя Писанію, связываетъ съ паденіемъ человѣка и говоритъ объ «отстраненіи этического». «Все, что не отъ вѣры — есть грѣхъ», неустанно повторяетъ онъ слова апостола — и толкуетъ ихъ въ томъ смыслѣ, что противоположное понятіе грѣху есть свобода. Но не та несотворенная свобода, о которой мы столько слышались отъ Беме, Шеллинга и Бердяева, свобода, гармонирующая со святой необходимостью, свобода выбирать между добромъ и зломъ. Такое пониманіе свободы, по мнѣнію Киргегарда, рѣшительно противорѣчитъ Писанію. Свобода — есть возможность. И вѣра есть безумная борьба о невозможномъ — то именно, что предпринялъ Іовъ и о чемъ умалчиваетъ Бердяевъ и Кантъ. Вѣра начинается тогда, когда по всѣмъ очевидностямъ, всякія возможности кончены, когда и опытъ и разумніе наше безъ колебаній свидѣлствуютъ, что для человѣка нѣтъ и быть не можетъ никакихъ надеждъ. Греческая философія, пишетъ Киргегардъ, начиналась съ «удивленія», экзистенціальная — начинается съ отчаянія. Вѣра есть источникъ экзистенціальной философіи и именно постолько, поскольку она дерзаетъ возставать противъ знанія, ставить самое знаніе подъ вопросъ. Экзистенціальная философія есть философія *de profundis*. Она не вопрошаетъ, не допрашиваетъ, а взываетъ, обогащая мышленіе совсѣмъ чуждымъ и непо-стижимымъ для философіи умозрительной измѣреніемъ. Она ждетъ отвѣта не отъ нашего разумѣнія, не отъ видѣнія — а отъ Бога. Отъ Бога, для котораго нѣтъ ничего невозможнаго, который держитъ въ своихъ рукахъ всѣ истины, который властенъ и надъ настоящимъ, и надъ прошлымъ, и надъ будущимъ. «Другъ Киргегарда» (Киргегардъ почти всегда говоритъ отъ третьяго лица), бѣжитъ отъ Гегеля

къ частному мыслителю Юву, въ краткихъ замѣчаніяхъ котораго онъ находитъ больше, чѣмъ въ системахъ цѣмешкаго идеализма, чѣмъ въ «греческомъ Симпозионѣ». Быть можетъ, самое раздражающее и самое вызывающее, а вмѣстѣ съ тѣмъ наиболѣе влекущее и плѣнительное изъ того, что писалъ Киргегардъ, мы находимъ въ его размышленіяхъ о книгѣ Юва. Когда его другъ, отвернувшись отъ Гегеля, идетъ къ Юву, онъ идетъ къ нему не за нравственными утѣшеніями, не за теодицеей. Всѣ нравственныя утѣшенія онъ испыталъ и отвергъ. Теодицея же, т. е. оправданіе Бога предъ разумомъ, представляется Киргегарду самой неудачной, самой несчастной, самой роковой идеей изъ всего, что придумывала когда-либо человѣческая мудрость. Онъ ищетъ «повторенія» — т. е. того же, чего добивался Ювъ и, что, по сужденію Киргегарда, въ философіи будущаго замѣнить греческое воспоминаніе (апомнезисъ). Онъ проситъ Юва — и надѣется, что Ювъ не отвергнетъ его просьбу — принять его подъ свое покровительство. Онъ хоть не имѣлъ такъ много, какъ Ювъ, и потерялъ только свою возлюбленную, но это было все, чѣмъ онъ жилъ, какъ у сказочнаго бѣднаго юноши, влюбленнаго въ царскую дочь, его любовь была содержаніемъ всей его жизни. Всѣ знаютъ, что бѣдному юношѣ никогда не видать царской дочери. И Киргегардъ это знаетъ и говоритъ объ этомъ такъ-же рѣшительно, какъ и всѣ. Но всѣ знаютъ тоже, что и раздавленному судьбой Юву нечего надѣяться на «повтореніе». Пока знаніе, пока опытъ и разумѣніе сохраняютъ свои державныя права — говорить о повтореніи не приходится. Пока знаніе сохраняетъ свои права! Пока мы ищемъ истины у опыта и нашего разумѣнія! Но что насъ побуждаетъ обращаться къ знанію? Что привязало насъ такъ къ опыту и разумѣнію? Киргегардъ ставитъ тотъ же вопросъ, который въ свое время поставилъ и Достоевскій: я не могу прошибить головой каменную стѣну, но значить-ли это, что стѣна есть навѣки непреодолимое препятствіе? Опытъ и разумѣніе отвѣчаютъ на этотъ вопросъ утвердительно — но кто далъ опыту и разумѣнію право окончательнаго рѣшенія? Кто внушилъ намъ увѣренность, что наше знаніе, даже знаніе фактовъ, есть нѣчто окончательное и безповоротное? Греческій симпозионъ? Нѣмецкая мистика? Гегелевская философія? И Киргегардъ съ безумной смѣлостью возвѣщаетъ: черезъ разумъ Ювъ все потерялъ, черезъ разумъ бѣдный юноша лишился царской дочери, самъ онъ — Регины Ольсень. Но не разуму дано вершать человѣческія судьбы. Черезъ Абсурдъ Юву все вернулось, черезъ Абсурдъ бѣд-

ный юноша получить царскую дочь, Серень Киргегардъ — свою невѣсту.

И вотъ въ этомъ пунктѣ экзистенціальная философія становится для Бердяева совершенно невыносимой. Правда, онъ оставляетъ въ покоѣ Іова, требующаго себѣ отъ Бога (и получающаго — по Библии, конечно) обратно и свои богатства, и свое здоровье, и своихъ дѣтей. Но съ тѣмъ большей силой обрушивается онъ на бѣднаго юношу, добивающагося царской дочери и самого Киргегарда, не могущаго забыть Регины Ольсень. И, надо сказать, разсужденія его безупречны: «можетъ быть, говорить онъ, Богъ предпочитаетъ, чтобъ Киргегардъ лишился невѣсты, а бѣдный юноша не получилъ царевны... Я даже позволяю себѣ думать, что можетъ быть это было-бы не такъ ужъ плохо. Регина Ольсень, вѣроятно, была бы самой обыкновенной мѣшанкой и при счастливой жизни Киргегардъ писалъ бы банальныя богословскія книги, но мы не имѣли бы его гениальныхъ произведеній». Конечно, можно было и слѣдовало бы то-же и про Іова сказать: если бы не его несчастья, не было бы несравненной книги Іова. Но, вѣдь, Киргегардъ это такъ-же хорошо «знаетъ», какъ и всѣ мы *). Знаетъ, что Регина Ольсень, если на нее смотрѣть глазами «всѣхъ» — самое ординарное существо. Если смотрѣть глазами всѣхъ! Но, сколько пламенныхъ страницъ написалъ Бердяевъ противъ всѣхъ и всѣмства, какъ возмущался онъ вслѣдъ за Нитше, притязаніями «многихъ, слишкомъ многихъ» раздавить и уничтожить индивидуальныя оцѣнки! А теперь, когда представился случай конкретно взять сторону «отдѣльнаго человѣка», Бердяевъ самымъ рѣшительнымъ образомъ переходитъ на сторону его извѣчнаго врага. Киргегардъ не написалъ бы своихъ гениальныхъ книгъ. Правильно, конечно; и мудрость и обыкновенный здравый смыслъ стоять на этомъ. Пушкинъ выразилъ это въ извѣстныхъ стихахъ: «постигнетъ-ли пѣвица изгнанье, заточенье — тѣмъ лучше, говоритъ любители искусствъ. Тѣмъ лучше: наберетъ онъ новыхъ думъ и чувствъ и намъ ихъ передастъ». Но вѣдь Гоголь сжегъ второй томъ «Мертвыхъ душъ», Толстой отвергъ свою «Войну и Миръ» и даже самъ Шекспиръ относился съ «суверен-

*) Надо сказать, что вообще всѣ представляемыя Бердяевымъ Киргегарду возраженія — безупречны. Единственный упрекъ, который ему можно сдѣлать: онъ какъ бы забываетъ, что самъ Киргегардъ въ своихъ писаніяхъ развивается съ огромной силой («съ надрывами» — какъ Достоевскій) всѣ эти возраженія. Поневолѣ мнѣ все время приходится напоминать объ этомъ.

нымъ пренебреженіемъ» къ своимъ тоже «геніальнымъ» произведеніямъ. И если-бы Бердяевъ говорилъ о здоровомъ смыслѣ или о человѣческой мудрости! Но онъ говорить отъ имени самого Бога, представляетъ свои сужденія, какъ прорывъ изъ области духа. Тутъ можно было ждать, что онъ возстанетъ противъ «всѣмства» и обрадуется случаю стать на сторону «аристократической» (одна изъ любимыхъ квалификацій Бердяева — приближающая его къ Нитше), одинокой личности. И надо думать, онъ такъ бы и сдѣлалъ. Но, несмотря на то, что онъ перенесъ центръ познанія съ объекта на субъектъ, «гнозисъ» сохранилъ всѣ свои принудительности: стоитъ на пути и не пускаетъ. Богъ безсиленъ, ничего подѣлать не можетъ съ властнымъ Ничто. «Кирегардъ, пишетъ Бердяевъ, умеръ, не получивъ Регины Ольсенъ, Нитше умеръ, не избѣжившись отъ ужасной болѣзни, Сократъ отравленъ и дальше ничего». Все, конечно, правильно, все безупречно, все убѣдительно. Но опять-таки развѣ Кирегардъ не «знаетъ» все это такъ-же хорошо, какъ мы всѣ? И если все же онъ утверждаетъ, что бѣдный юноша получилъ царскую дочь, что Юву были возвращены его дѣти и т. д., то не потому, что онъ не знаетъ того, что мы всѣ знаемъ, а потому что *de profundis* онъ чувствуетъ, что наше знаніе, что знаніе вообще не можетъ быть источникомъ послѣдней, окончательной истины. Экзистенціальная философія опирается на Абсурдъ и не только не скрываетъ, но при всякомъ случаѣ подчеркиваетъ это. Бѣдный юноша вѣритъ, что, подъ сѣнью Абсурда — невозможное, абсолютно и навсегда, по нашему убѣжденію, невозможное, становится возможнымъ. Вѣра есть свобода. Не та несотворенная свобода, которая радостно гармонируетъ со «святой необходимостью», свобода, выбирающая между добромъ и зломъ, свобода, самая идея которой уже предполагаетъ вторженіе зла въ жизнь, которая для Кирегарда знаменуетъ собой предѣльную связанность, берущую свое начало отъ плодовъ запретнаго дерева — а та сотворенная свобода, которая рождаетъ библейское «добро зѣло» и великое обѣтованіе: «не будетъ для васъ ничего невозможнаго». Еще разъ скажу (сколько не повторять — все мало): всѣ соображенія, которыя приводятся мудростью и здоровымъ смысломъ о томъ, что такой свободы нѣтъ, что такая свобода относится къ области чистой фантастики и грубыхъ предразсудковъ (Кантовскія *Schwärmerei und Aberglauben*), Кирегарду превосходно извѣстны. Бердяевъ противопоставляетъ бѣдному юношѣ Кирегарда другого юношу, который мечтаетъ о «познаніи тайнъ бытія или о научныхъ открытіяхъ тайнъ природы» и ирониче-

ски замѣчаетъ, что «Богъ не можетъ удовлетворить желаній этого юноши». Но развѣ къ Богу идутъ за познаніемъ? И развѣ познаніе когда-либо пріобщало человѣка къ «тайнѣ»? Киркегардовскій юноша (точнѣе самъ Киркегардъ) со всѣмъ пыломъ, на какой способенъ человѣкъ, искалъ этихъ знаній и открытій и побывалъ вездѣ, гдѣ только можно было хоть что-нибудь узнать — слушалъ рѣчи грековъ на ихъ симпозионахъ, ходилъ къ мистикамъ, изучалъ новѣйшую философію — вплоть до Гегеля и Шеллинга — и отъ нихъ побѣжалъ къ невѣжественному полудикарю (по Библии — праведнику) Іову — за тѣмъ, что ему нужно было больше всего на свѣтѣ, но чего, согласно «знанію» прославленныхъ учителей, нигдѣ не бываетъ и быть не можетъ — за «повтореніемъ» — оно же и есть исполненіе обѣтованія — «не будетъ для васъ ничего невозможнаго». Несомнѣнно опять — Киркегардъ лучше кого бы то ни было зналъ, что онъ предпринимаетъ, когда, подъ прикрытіемъ Абсурда, онъ рѣшилъ промѣнять Симпозионъ и Гегеля — на Іова. Іовъ, какъ философъ, Іовъ, какъ мыслитель (и именно библейскій Іовъ, не приукрашенный просвѣщенной критикой) — что можетъ быть бессмысленнѣе, нелѣпѣе этого? Если бы Канту довелось прочесть «повтореніе» Киркегарда, онъ навѣрное краснѣлъ бы за него и, вѣроятно, написалъ бы вариаци на тему «о грезахъ духовидца» или о томъ, «какъ нужно ориентироваться въ мышленіи»: вѣдь Сократа отравили, бѣдный юноша либо удовольствовался вдовой пивовара, либо остался на всю жизнь холостякомъ, Регина Ольсенъ досталась Шлегелю — все это вѣчныя истины, надъ которыми самъ Богъ уже не имѣетъ власти. Все это «самоочевидно». Но развѣ на этихъ самоочевидностяхъ есть хоть малѣйшій слѣдъ прорыва изъ иныхъ мировъ? Развѣ превращеніе «фактовъ» въ вѣчныя истины не является только дѣломъ кантовскихъ «синтетическихъ сужденій а priori»? Но экзистенціальная философія есть не разысканіе, а преодоленіе «самоочевидностей». Отсюда и «максимализмъ» Киркегарда, который Бердяевъ со спокойной увѣренностью квалифицируетъ, какъ «безблагодатный». Но не говоритъ-ли намъ этотъ именно «максимализмъ» о «прорывѣ»? Преодоленіе, точнѣе отчаянная, безумная борьба Киркегарда съ самоочевидностями, связана, какъ я уже сказала, съ прорвавшейся до него благой вѣстью о божественномъ «добро зѣло» и о томъ, что «не будетъ для насъ ничего невозможнаго». Но разумъ этой вѣсти не пріемлетъ — она воспринимается и становится истинной лишь подъ снѣю Абсурда — того, точнѣе, что Киркегардъ называетъ вѣрой.

На этой почвѣ и возникло то страшное столкновение съ епископомъ Мюнстеромъ, которымъ ознаменовались послѣдніе мѣсяцы жизни Киргегарда. Мюнстеръ былъ главой датской церкви. Все население Даніи чтило его, какъ глубоко религіознаго, благочестиваго, беззаветно преданнаго своему дѣлу пастыря — почти святого. Онъ же былъ и духовникомъ отца Киргегарда и умѣлъ вносить миръ въ его безпокойную и истерзанную душу. Для тѣхъ, кто не знаетъ, сообщу, что когда отцу Киргегарда было 8 лѣтъ, онъ въ припадкѣ отчаянія проклялъ Бога и до самой смерти своей не могъ снять съ себя страшнаго бремени сознанія, что онъ навѣки погубилъ свою душу. Самъ Киргегардъ, котораго Мюнстеръ на рукахъ носилъ и который не пропускалъ ни одной проповѣди его, зналъ превосходно, что въ лицѣ Мюнстера Данія имѣла образцоваго духовнаго вождя. И вотъ, когда послѣ смерти Мюнстера проф. Мартензенъ, зять его, убѣжденный регелианецъ и самъ будущій глава датской церкви назвалъ его въ надгробной рѣчи «свидѣтелемъ истины», Киргегарда вдругъ прорвало и онъ съ безудержемъ, даже и у него рѣдко проявлявшимся съ такой силой, заявилъ протестъ противъ словъ Мартензена. Забылъ все — и то, что Мюнстеръ сдѣлалъ для духовнаго развитія родной страны, и то, какъ онъ умѣлъ поддержать и укрѣпить душу его отца (предъ которымъ онъ благоговѣлъ) и что онъ для него самого сдѣлалъ. «Свидѣтелемъ истины» не дано быть тому, кто свидѣтельствуешь только о возможномъ. Свидѣтелю истины открывается и онъ открываетъ другимъ, что Юну вернули убитыхъ дѣтей, что Сократа не отравили, что бѣдный юноша овладѣлъ царской дочерью, что Регина Ольсенъ досталась Киргегарду. «Для Бога нѣтъ ничего невозможнаго» — это самая заветная, самая глубокая, единственная, я готовъ сказать, мысль Киргегарда — а вмѣстѣ съ тѣмъ она есть то, что кореннымъ образомъ отличаетъ экзистенціальную философію отъ умозрительной и порождаетъ грозное и непримиримое киргегардовское «*enweder — oder*». Въ другой формѣ Киргегардъ выразилъ это въ словахъ «отстраненіе этического». Если этическое есть высшее — Авраамъ, отецъ вѣры, погибъ, писалъ онъ. Это, конечно, не значитъ, что онъ восхвалялъ «безнравственность». Но самая благородная мораль, если она становится «высшимъ» превращается въ «чортово добро и зло».

Странно, что Бердяевъ, который въ своей книгѣ «О назначеніи человѣка» такъ приближается къ Нитшевскому Заратустрѣ и его размышленіямъ о добрыхъ и злыхъ (даже по формѣ вторая часть этой книги, называющаяся «Этика по сую сто-

рону добра и зла», напоминает Нитше, ни разу не спрашивая себя, что побудило Нитше, по природѣ своей кроткаго и мягкаго человѣка, такъ неистово славословить жестокость. Любовь, милосердіе, состраданіе — темы, которымъ во всѣхъ писаніяхъ Бердяева посвящено столько вдохновенныхъ страницъ — какъ все это ни хорошо и ни важно — не только не разрѣшаетъ мучительныхъ проблемъ жизни, — оно ихъ ставитъ съ новой силой. И тутъ Киргегардъ снова сближается съ Достоевскимъ, который, въ послѣдніе годы жизни писалъ въ своемъ «дневникѣ писателя»: я утверждаю, что любовь къ человѣчеству, при сознаніи, что помочь ему невозможно, превращается въ ненависть. Достоевскій оказался пророчищемъ: на нашихъ глазахъ Нитше, убѣдившись, что человѣчество, со всеми ужасами, на которое оно обречено въ своемъ существованіи, предоставлено самому себѣ и своимъ ничтожнымъ силамъ и принуждено искать спасенія въ морали (онъ говорилъ: «Богъ умеръ», «мы убили Бога»), провозгласилъ высшимъ принципомъ жестокость. Самъ Киргегардъ даже превосходитъ Нитше, когда онъ въ своихъ назидательныхъ рѣчахъ съ такимъ упоеніемъ, почти со сладострастіемъ на тысячи ладовъ развиваетъ идею о безграничной свирѣпости христіанства. Правда, все это у Киргегарда «непрямая высказыванія» — но сущность дѣла отъ этого не мѣняется. Любовь, жалость, милосердіе нужно проповѣдывать черствымъ, замкнувшимся въ своихъ мелкихъ и ничтожныхъ интересахъ людямъ. И это очень важное, очень значительное дѣло, которому не даромъ Бердяевъ отдаетъ свои лучшія силы и дарованіе. Но для тѣхъ, кто «разомкнулся», для кого ближній не объектъ и не субъектъ, и даже не «личность», а такое же живое существо, какъ и онъ самъ — любовь и милосердіе приносятъ не разрѣшающіе отвѣты, а тревожные и мучительные, неизбывные вопросы. Въ этомъ и смыслъ размысленій, изложенныхъ Достоевскимъ въ уста Ивана Карамазова о слепкахъ ребенка и о послѣдней гармоніи *).

Соответственно этому возвѣщенное пророками и осуществленное Христомъ дѣло искупленія понимается разное, смотря потому, съ кѣмъ приходится говорить объ этомъ. Бердяевъ выдвигаетъ на первый планъ великую нравственную красоту жертвеннаго подвига Христа. И онъ, конечно, по своему правъ:

*) Въ этомъ смыслѣ знаменитаго письма «недоучившагося студента» Бѣлинскаго, въ которомъ онъ, наперекоръ Гегелю, дерзаетъ требовать отчета обо всѣхъ жертвахъ инквизиціи, случайностей и т. д.

этотъ моментъ нельзя и не нужно затушевывать. Въ нашей юдоли плача сознание, что Богъ раздѣлилъ съ нами наши скорби и страданія, приноситъ великое облегченіе и утѣшеніе: все, что Бердяевымъ написано на эту тему — превосходно и оставляетъ неизгладимое впечатлѣніе. Врядъ-ли только онъ правъ, полагая, что всё его размышленія на эту тему являются соблазномъ для іудеевъ и кажутся безуміемъ для эллиновъ. Такъ, дѣйствительно, было когда-то, но давно, очень давно. Въ наше время дѣло обстоитъ иначе; недаромъ самъ Бердяевъ столько говорить о раскрытіи христіанства въ исторіи. Сейчасъ «страдающей Богъ» всѣмъ «понятенъ», кажется всѣмъ «естественнымъ» и никто не видитъ въ этомъ безумія, никто этикъ не соблазняется. Историки говорятъ даже о религии страдающаго Бога вообще и въ христіанствѣ видятъ одну изъ многихъ религій этого рода. А для философовъ страдающей Богъ открываетъ возможность *bona fide* называть себя христіанами: въ этомъ выражается, говоря словами Гегеля, единство человѣческой и божественной природы. Человѣкъ осужденъ на страданія. Богъ осужденъ на страданія — тутъ нѣтъ нарушенія естественнаго порядка вещей, нѣтъ чуда, нѣтъ «насилія надъ духомъ». Иначе говоря — мы освобождаемся отъ идеи богочеловѣчества и приходимъ къ человѣкобожеству, въ которомъ нашъ разумъ и наша мораль узнаютъ дѣла своихъ собственныхъ рукъ — никакихъ откровеній не предполагающее. Но есть еще одинъ моментъ, который Бердяевъ почти обходитъ: Богъ взялъ на себя грѣхъ міра. Лютеръ говоритъ: «Богъ позвалъ своего сына — и сказалъ ему: не Петръ отрекся, не Давидъ прелюбодѣйствовалъ, не разбойникъ на крестѣ убивалъ, не Адамъ сорвалъ яблоко съ запретнаго дерева — все это сдѣлалъ ты». И вотъ этотъ моментъ, составляющій сушность пророчества Исаи и Давида и опредѣляющій собой содержаніе великаго, неслыханнаго по своей огромности дѣла Искупителя, опредѣляетъ собой направленіе экзистенціальной философіи. Если Петръ не отрекся, Давидъ не прелюбодѣйствовалъ, Адамъ не вкусилъ отъ запретнаго плода — то все, что рассказываетъ намъ Киргегартъ о бѣдномъ юношѣ, объ Ювѣ, о своихъ правахъ на Регину Ольсенъ, изъ области вѣчно невозможнаго переходитъ въ область дѣйствительнаго по преимушеству. Конечно, для нашего разума все это верхъ безсмыслицы и безнравственности, какъ и верхъ безсмыслицы и безнравственности раскрывающаяся въ такихъ возможностяхъ вѣра. Все, что въ насъ есть и здраваго смысла и разума — малаго, большого и огромнаго, все моральное чувство наше встаетъ на дыбы въ отвѣтъ на притязаніе та-

кой вѣры. Киргегардъ превосходно понимаетъ это — оттого онъ столько говоритъ объ Абсурдѣ и объ отстраненіи этическаго. Оттого онъ и рѣшился предъ лицомъ всей Даніи (теперь уже всего міра) протестовать, когда Мартензенъ — отъ всей, нужно сказать, души и со всей искренностью — провозгласилъ Мюнстера свидѣтелемъ истины. Свидѣтелемъ истины будетъ тотъ, по слову котораго станутъ сдвигаться горы и для котораго не будетъ ничего невозможнаго. Но, возмущается Бердяевъ, въ такомъ случаѣ въ мірѣ никогда не было вѣры: вѣдъ никто не сдвигалъ горъ, даже среди святыхъ не было людей, которые бы не считались съ невозможнымъ. Опять безупречное возраженіе, какъ безупречны всѣ возраженія Бердяева. Но вѣдъ Киргегардъ совсѣмъ безупречностями и возраженіями не озабоченъ: онъ умышленно ихъ не слышитъ и не хочетъ слышать *). Онъ слышитъ другое: слышитъ голосъ, возвѣщающій ему, что, когда онъ увѣруетъ, для него не будетъ ничего невозможнаго, что Петръ окажется оставшимся вѣрнымъ Учителю, Давидъ окажется авторомъ псалмовъ, но не предлюбодемъ, Сокрытъ не отравленнымъ, и Іовъ получившимъ обратно все у него отнятое. Правда, Киргегардъ признается, что онъ не могъ сдѣлать движенія вѣры. Но развѣ это хоть сколько нибудь отслабляетъ значеніе того, что до него донеслось изъ Писанія? Не наоборотъ-ли? И вообще, развѣ какія угодно соображенія могутъ ослабить значеніе того, что онъ услышалъ? Наступилъ моментъ, когда кончились всѣ соображенія: «чтобы обрѣсти Бога, нужно потерять разумъ». И не только тотъ «дискурсивный разумъ», который болѣе или менѣе охотно уступаютъ философы, но всѣ разумы, всѣхъ качествъ и званій, великіе и малые, которые до сихъ поръ являлись и продолжаютъ являться единственнымъ источникомъ истины для человѣка — отъ всѣхъ нихъ нужно отречься, освободиться: подлиннымъ источникомъ истины является вѣра, вѣра, которая не то, что не даетъ, но преодолеваетъ самое несомнѣнное знаніе («факты» и «непосредственныя данныя») и, преодолевая его, обнаруживаетъ его ненужность и ничтожность. Мы слышали, что свобода была до

*) Здѣсь снова открывается поразительное сходство между Киргегардомъ и Достоевскимъ. Достоевскій на «двоуды», которые ему представляютъ, отвѣчаетъ — показывая кукишъ и высовывая языкъ. И считаетъ это «возраженіемъ». Правда, мы это находимъ въ «Запискахъ изъ подполья», съ которыми, какъ извѣстно, никто никогда не считался. Но все же Достоевскій — хотя тоже въ непрямой формѣ — сказалъ все, что ему нужно было сказать.

Бога, что Богъ надъ свободой не властенъ, — безсилень предъ Ничто; мы слышали, что тьма является условіемъ свѣга, что свобода есть свобода выбора между добромъ и зломъ, что человѣкъ, который бы не выбиралъ между добромъ и зломъ, былъ бы автоматомъ добра, что тотъ, кто, познавши и добро и зло, вернулся бы къ добру, имѣеть безконечное преимущество предъ невиннымъ человѣкомъ, этой разницы не познавшимъ, — и все это слышали отъ проникновенныхъ, глубокихъ, мудрыхъ людей, — какъ истины, открываемыя намъ высшимъ разумомъ, какъ истины, прорвавшіяся изъ иныхъ міровъ. Но это не истины изъ иныхъ міровъ — а кантовскія синтетическія сужденія а priori, являющіяся необходимымъ условіемъ разумнаго мышленія. Несотворенная свобода — есть фикція, увѣренность, что познавшій разницу между добромъ и зломъ имѣеть «преимущества», имѣеть больше «опыта», чѣмъ человѣкъ райскаго невѣдѣнія и т. д. — все это — навязчивыя идеи, связанныя съ плодами запретнаго дерева. Свободы, какъ и Ничто, властно рѣшающаго наши судьбы — нѣтъ и никогда не было, а былъ созданъ свободный человѣкъ Творцомъ и его свобода въ томъ именно и заключалась, что онъ не имѣлъ нужды ни въ знаніи, ни въ различеніи между добромъ и зломъ. Райское невѣдѣніе отнюдь не бѣднѣе, чѣмъ вѣдѣніе падшаго человѣка. Оно качественно иное и безконечно богаче и содержательнѣе всѣхъ нашихъ знаній: кой-кто (напр., Достоевскій въ «Снѣ смѣшнаго человѣка») умѣеть эту тайну подглядѣть и даже разсказать о ней. Начало всякаго знанія — страхъ. Когда человѣкъ, прежде, чѣмъ обратиться къ Богу, начинаетъ допрашивать: а какой это Богъ и соотвѣтствуетъ-ли Онъ тѣмъ высокимъ представленіямъ о верховномъ (существовѣ, которое я себѣ составилъ — онъ повторяетъ вновь преступленіе Адама; хотя онъ и воображаетъ, что такимъ образомъ онъ осуществляетъ свою свободу. Онъ провѣряетъ Бога тѣмъ «знаніемъ», которое ему принесли плоды съ запретнаго дерева, не подозревая даже, что его страхъ, что всѣ его опасенія знаменуютъ собой потерю свободы: свободный человѣкъ не боится, ничего не боится, свободный человѣкъ не спрашиваетъ, не оглядывается — оттого его отношеніе къ Богу выражается не въ знаніи, а въ вѣрѣ. Вѣра и есть та свобода, которую Творецъ вдохнулъ въ человѣка вмѣстѣ съ жизнью. И экзистенціальная философія — въ противоположность умозрительной, уже не ищетъ знанія и не видитъ въ знаніи послѣдній и единственный путь къ истинѣ: для нея само знаніе превращается въ проблему, становится проблематиче-

скимъ. И въ тотъ моментъ, когда оно становится проблематическимъ, оно теряетъ свою власть надъ человѣкомъ: въ силу Абсурда бѣдный юноша добился руки царевны, Юва были возвращены его дѣти, Регина Ольсенъ досталась Киргегарду. Для Бога нѣтъ ничего невозможнаго: и истины, и дѣйствительность въ Его рукахъ. Судьбы человѣческія рѣшаются на вѣсахъ Юва, а не на вѣсахъ умозрѣнія.

IV.

И сказалъ, что въ своей послѣдней книгѣ Бердяевъ въ идеѣ «богочеловѣчества» усиленнѣе, чѣмъ въ предыдущихъ, подчеркиваетъ моментъ человѣчности и что это есть «новое» въ его эволюціи. Но, загадочнымъ образомъ, въ такой-же, если не въ большей степени онъ выдвигаетъ въ этой книгѣ экзистенціальную философію, несмотря на всѣ свои выпады противъ Киргегарда и Нитше, которымъ онъ настойчиво противопоставляетъ нѣмецкихъ мистиковъ — для нихъ же всякая похвала ему кажется недостаточной. «Вѣчной правдой звучитъ голосъ пророка: не носите больше даровъ тщетныхъ мнѣ. Научитесь дѣлать добро, ищите правду, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. И такъ же звучитъ голосъ самого Христа». Или: «Евангеліе погружено въ юдаистическую человѣческую атмосферу... Исусъ Христосъ съясѣмъ не уходитъ отъ міра множественнаго, Онъ не отрѣшается отъ грѣшнаго міра... Онъ жилъ среди людей, среди мытарей и грѣшниковъ, посѣщалъ пиры» и т. д. Бердяевъ могъ бы припомнить и то, какъ Исусъ лѣчилъ больныхъ, кормилъ голодныхъ, возвращалъ зрѣніе слѣпымъ, воскрешалъ мертвыхъ и т. д. Казалось бы, та глубокая чедовѣчность, которой одушевлены писанія Бердяева, должна была направить вниманіе Бердяева на эту сторону дѣятельности Христа и что, ссылаясь, какъ Киргегардъ, на слова Исуса «блаженъ, кто не соблазнится обо мнѣ», онъ попытается въ экзистенціальной философіи хоть до нѣкоторой степени осуществить идею: «для Бога нѣтъ ничего невозможнаго». Но на это Бердяевъ рѣшиться не можетъ. Традиціонная философія (или, какъ говорятъ, *philosophia receptis*) внушила ему увѣренность, что для Бога есть тоже невозможное — и много невозможнаго. Оттого онъ заботливо избѣгаетъ очной ставки между гнозисомъ и экзистенціальной философіей. Но тамъ, гдѣ, противъ его воли, они случайно сталкиваются, побѣдителемъ выходитъ гнозисъ. И соблазнъ гнозиса такъ великъ, что Бердяевъ даже торжествуетъ по поводу его побѣды, я почти

готовъ сказать благословляетъ его на побѣду. Напомню еще разъ уже приведенныя выше слова Бердяева, такъ какъ подъ ними скрывается камень преткновенія, да который неизбѣжно наталкивается всякій гнозисъ. «На что можно надѣяться? На то, что Богъ есть неограниченная возможность? Но вѣдь Киргегардъ умеръ, не получивъ Регины Ольсенъ, Нитше умеръ, не излѣчившись отъ ужасной болѣзни, Сократъ отравленъ и больше ничего». Что можетъ быть убѣдительнѣй этихъ словъ? И кто рѣшится спорить съ разумомъ, свидѣтельствующимъ объ этихъ истинахъ? Развѣ не ясно — даже и для слѣпого — что все обстоитъ такъ, какъ рассказываетъ Бердяевъ? Но прежде всего — умѣстно-ли тутъ торжествовать, умѣстно-ли благословлять разумъ, свидѣтельствующій о такихъ истинахъ, что онѣ вѣчны и неизмѣнны? Еще съ большей настойчивостью возникнетъ этотъ вопросъ — если раскрыть содержаніе того, что Бердяевъ называетъ «геніальной діалектикой Ивана Карамзина». На глазахъ у матери заравили собаками мальчика, изувѣры родители замучили несчастную дѣвочку и т. д. Что тутъ можно подѣлать? Имѣетъ самъ Богъ возможность что-либо тутъ измѣнить? Или Онъ тутъ безсиленъ, ибо это область, гдѣ царитъ Ничто? Бердяевъ, который свои вопрошанія обращаетъ къ разуму, вѣрнѣе принужденъ обращать къ разуму, покорно и безвольно принимаетъ доходящій до него отъ разума отвѣтъ: никто, ни люди, ни Богъ тутъ ничего подѣлать не могутъ. Тутъ все конечно навсегда: Сократа отравили, мальчика загрызли собаки и т. д. **Х о т ѣ л ь э т о г о Б е р д я е в ѣ** — Бердяевъ, одинъ изъ самыхъ человѣчныхъ философовъ, не только русскихъ, но и европейскихъ, законный духовный наслѣдникъ той великой традиціи, которую привилъ русской мысли величайшій изъ русскихъ людей, Пушкинъ? Не хотѣлъ, конечно, не хотеть, но съ его волей никто не считается. Гдѣ же тогда свобода, которую онъ такъ самозабвенно прославлялъ? Иначе говоря, не есть ли «несотворенная свобода», которая принуждена, говоря словами Шеллинга, гармонировать съ необходимостью, да еще благословлять ее, называть ее святой — есть такая свобода еще свободная свобода и не правъ ли былъ Лютеръ, назвавши ее свободой порабощенной? Свобода, порабощенная, парализованная гнозисомъ. При этомъ вопросъ со всей жуткой наглядностью выясняется смыслъ кирггардовскихъ «entweder — oder» и вѣчная, непримиримая противоположность между умо-врительной и экзистенціальной философій. Киргегардъ ставитъ тотъ-же вопросъ, но онъ его обращаетъ не къ разуму, а къ Творцу — и не спрашиваетъ, а взываетъ. Сколько бы разумъ не убѣ-

ждалъ его, что все кончено, что Сократа отравили, что мальчишка собаки разорвали въ клочья — и сколько бы разумъ не настаивалъ на томъ, что отъ его истинъ нѣтъ спасенія, что отъ нихъ некуда уйти, Киргегардъ продолжаетъ твердить свое: для Бога нѣтъ невозможнаго. Даже истины, самимъ Богомъ возвышенныя, не становятся окончательными, отъ Бога независящими, самостоятельными. *Ego sum Dominus et non mutor* — вовсе не значить, какъ полагають теологи, что разъ Богъ что-либо постановилъ, Онъ уже этимъ самымъ связалъ и людей и себя. Наоборотъ, неизмѣнность Бога значить, что все, даже истины, имъ сотворенныя, остаются въ его власти и повинуются Ему. Скажутъ, что это — произволь: самое страшное, что можно придумать. И точно, для насъ — это произволь и для насъ произволь безумно страшенъ. Но «по ту сторону добра и зла», для существъ, иначе говоря, не вкусившихъ отъ плодовъ познанія, для существъ, приобщенныхъ къ первоначальному «добро зѣло» — произволь совпадаетъ со свободой. Онъ не страшенъ, онъ благодѣтеленъ, какъ дико это ни звучить для насъ: онъ не гармонируетъ съ необходимостями, не признаетъ за ними святости: онъ самъ — святъ. Оттого-то, по Киргегарду, свобода не есть — способность выбирать между добромъ и зломъ, какъ принято обычно думать, а свобода — есть возможность. Сократа отравили, у Иова перебили дѣтей, Авраамъ заклалъ своего сына и т. д. — все это, убѣждаетъ насъ разумъ, — послѣдняя, окончательная, вѣчная истины, которыя хоть и возникли во времени, не прейдуть никогда и никогда, никакими вѣяніями изъ иныхъ міровъ не будутъ выметены изъ бытія. Но есть ли разумъ хозяинъ надъ истинами и бытіемъ? Не правы ли апостолы и пророки: мудрость человѣческая есть безуміе предъ Господомъ? Пока мы вѣряемся разуму — возможности ограничены — и «опытъ» гордо наряжается въ ризы вѣчности. Но точно-ли разумъ всемогущъ? Вправдѣ ли онъ раздавать титула на вѣчность? Съ дерзновеніемъ, почти неслыханнымъ въ исторіи новѣйшей мысли, Киргегардъ провозглашаетъ: разумъ захватчикъ и самозванецъ. Истины надо искать не у разума, а у Абсурда. Въ силу Абсурда бѣдный юноша получаетъ царскую дочь, Авраамъ закланнаго Исаака. Киргегардъ отлично знаетъ, что для всѣхъ его слова — безуміе. Но вѣдь пророки и апостолы насъ приготовили къ безумію.

Я сказалъ, что дерзновеніе Киргегарда почти неслыханно въ исторіи новѣйшей мысли. «Почти», ибо наряду съ нимъ въ XIX вѣкѣ жилъ еще одинъ человѣкъ, чужавшій и безконечно любившій «безуміе» Писаній. Для Достоевскаго, мы помнимъ,

«стѣны», т. е. обнажаемая разумомъ «невозможности», не есть возраженіе. И опять же не потому, что онъ не знаетъ, какъ «мы всѣ» расцѣпываемъ власть стѣны. Знаетъ превосходно — не хуже составителей обширныхъ трактатовъ по гносеологии. «Предъ стѣной непосредственные люди и дѣятели, пишетъ онъ, искренно пасуютъ... Стѣна имѣетъ для нихъ что-то успокоительное, нравственное разрѣшающее и окончательное, пожалуй, даже что-то мистическое». Миѣ уже приходилось не разъ это говорить: автору «Критики чистаго разума» не приходило на умъ такъ критиковать разумъ. Даже нѣмецкіе мистики, которымъ въ своихъ книгахъ Бердяевъ посвящаетъ столько пламенныхъ страницъ, находили въ стѣнѣ что-то успокоительное, нравственно разрѣшающее и окончательное. Развѣ они не превращали свои истины, что Deitas настолько же тысячъ верстъ возвышается надъ Богомъ, какъ небо надъ землей, что Богъ безсилень предъ Ничто, которое вовсе и не есть Ничто, а есть мрачная, бездушная сила, дающая злу на землѣ торжествовать надъ добромъ, убивающая праведниковъ, ни въ чемъ неповинныхъ дѣтей — развѣ они не превращали эти истины въ «святую необходимость» и не находили въ нихъ нѣчто «мистическое» *par excellence*? Люди хотятъ успокоенія, во что бы то ни стало, и мистику находятъ тамъ, гдѣ имъ грезится успокоеніе.

Но какъ случилось, что проникновенная человѣчность Бердяева согласилась купить успокоеніе — хотя бы и мистическое — цѣной тѣхъ ужасовъ, которые рисуетъ у Достоевскаго Иванъ Карамазовъ? Не явно-ли, что свобода его порабощена «гнозисомъ», что она, выражаясь словами Киргегарда, въ обморокѣ. Свободно Бердяевъ ни за что въ мірѣ — я въ этомъ ни на минуту не сомнѣваюсь — не призналъ бы сужденій разума о данныхъ опыта за окончательную истину. Свободно никто бы изъ насъ не отдалъ Сократа во власть Анита и Мелита, беззащитнаго мальчика — генералу, изувѣрамъ-родителямъ несчастную дѣвочку. Если же Бердяевъ соглашается на это, то лишь потому, что ему, какъ и намъ всѣмъ, какая-то чуждая и враждебная сила внушила неискоренимое убѣжденіе, что съ приговорами разума не дано бороться ни человѣку, ни Творцу. И до того заворожила его, что въ попыткахъ Киргегарда, Нитше, Достоевскаго и имъ подобныхъ стряхнуть съ себя власть разума и его нудящихъ истинъ онъ видитъ «безблагодатный максимализмъ», «непросвѣтленный профетизмъ» и т. п. Его пугаютъ «скорчи и судороги» тѣхъ дѣйствительно сверхчеловѣческихъ напряжений воли, которыя чувствуются въ писаніяхъ Киргегарда (хотя, при случаѣ, это не мѣшаетъ ему говорить о квіэтизмѣ

экзистенціальной философіи). Допустимо даже, что въ спорт Киргегарда съ профессоромъ Мартензенемъ о Мюнстерѣ — Бердяевъ изьялъ бы сторону Мартензена и именно потому, что Мюнстеръ въ своей дѣятельности никогда къ невозможному не стремился. И совершенно безспорно, что Мартензень, если бы ему довелось прочесть Бердяева, радостно бы привѣтствовалъ его слова о безблагодатномъ максимализмѣ Киргегарда и нашель бы ихъ исполнѣ соответствующими собственнымъ его сужденіямъ.

Для Бердяева экзистенціальная философія въ стилѣ Киргегарда вовсе и не есть библейская философія: ея библейскія мысли, какъ онъ выражается, «коротки». Длинными же библейскими мыслями онъ считаетъ мысли традиціонной философіи и мистиковъ. И именно потому, что у философовъ и мистиковъ онъ не находитъ стремленія къ невозможному. Даже ихъ прорывы изъ иного міра не оскорбляютъ и не задѣваютъ разума: *quam aram parabit sibi qui majestatem rationis laedit?* Они все же не зываютъ, — а спрашиваютъ, т. е. не дѣлаютъ даже попытки ввести въ мышленіе новое измѣреніе: а это есть *conditio sine qua* поц экзистенціальной философіи. Собственно говоря, если бы Бердяевъ хотѣлъ быть строго послѣдовательнымъ, ему бы пришлось обвинить въ безблагодатномъ максимализмѣ пророковъ и апостоловъ, возвѣстившихъ, что человѣческая мудрость (гнозисъ) есть безуміе предъ Господомъ. Но онъ никогда и нигдѣ не говоритъ ничего подобнаго. Наоборотъ, онъ и самъ не разъ восхищается смѣлостью такого рода свидѣтельствъ объ истинѣ. Въ чемъ же тутъ дѣло? Отчего же онъ такъ ополчается противъ Нитше и Киргегарда и пропускаетъ мимо ушей критику чистаго разума Достоевскаго? Думаю, что потому, что — какъ видно изъ выше сказаннаго — Бердяевъ есть прежде всего учитель и философъ культуры. Его задача поднять уровеньъ человѣческаго сознанія и направить интересы людей къ высокимъ хотя, но все же осуществимымъ, идеаламъ: въ этомъ онъ видитъ назначеніе человѣка, въ этомъ онъ видитъ и свое собственное назначеніе писателя и проповѣдника. И онъ, конечно, безспорно правъ по своему. Въ наше смутное и мрачное время предостерегающій и поучающій голосъ Бердяева, его благородная борьба съ мракобѣсіемъ, обскурантизмомъ, съ попытками угашенія духа имѣетъ огромное значеніе: его слушаютъ и ему любовно покоряются тысячи. Но все же это врядъ ли оправдываетъ его стремленіе «примирить» экзистенціальную философію съ умозрительной, богочеловѣчествомъ съ человѣко-

божествомъ, какъ это дѣлали Лейбницъ*), Кантъ, Шеллингъ и Гегель. И кто знаетъ? Можетъ быть въ глубинѣ души, онъ чувствуетъ, что выдвинутые Киркегардомъ и Достоевскимъ вопросы все же говорятъ о «единомъ на потребу» и что «короткая» мысль о томъ, что для Бога все возможно и что объ истинѣ нужно не спрашивать разумъ, а взывать къ Творцу («праведникъ живъ будетъ вѣрой» — по словамъ пророка), больше приближаетъ насъ къ Писанію, чѣмъ длинныя мысли о Deitas, о несотворенной свободѣ, о необходимости зла и т. п., развиваемыя нѣмецкими мистиками и философами. И что можетъ быть наступить день, когда «человѣчность» Бердяева откроетъ ему истинный смыслъ той безумной борьбы о невозможномъ и той свободы — не какъ способности выбирать между добромъ и зломъ, а какъ наличія ничѣмъ не ограниченныхъ возможностей, — о которомъ, слѣдуя Писанію, свидѣлствуетъ намъ въ своихъ книгахъ и дневникахъ Киркегардъ.

Что и говорить: «вѣрять противъ разума есть мученичество!» Киркегардъ это понималъ не хуже другихъ. Зналъ онъ тоже, что по учению схоластиковъ и по общему мнѣнію, *virtu-ferabile est credere contra rationem*. Но, всѣмъ существомъ онъ чувствовалъ потрясающую диллему: чтобы обрѣсти Бога, нужно преодолѣть разумъ и отстранить этическое. Пока разумъ господствуетъ надъ бытіемъ — Юву не вернется его дѣти, если «этическое» есть высшее — Авраамъ погибъ, если умозрительная философія, поставившая надъ Библейскимъ Богомъ свою Deitas права, придется, вслѣдъ за Гегелемъ признать, что все дѣйствительное разумно и ужасы существованія неизбежны.

Чтобы подкрѣпить свою парадоксальную этику, Бердяевъ ссылается на Моисея и его законы — и опять представляется, что его устами говоритъ сама истина. Но Лютеръ тоже помнилъ Моисея. Это, однако, не помѣшало ему сказать: пока Моисей стоялъ на горѣ, лицомъ къ лицу предъ Богомъ, законовъ не было, когда онъ спустился къ людямъ, онъ сталъ править при посредствѣ законовъ. Недаромъ и у апостола мы читаемъ: законъ пришелъ послѣ, дабы умножились преступленія. Предъ лицомъ Творца нѣтъ законовъ, нѣтъ «ты долженъ», нѣтъ при-

*) Лейбницевское утвержденіе, что вѣчныя истины вошли въ разумѣніе Бога, не испрашивая Его соизволенія, есть предвосхищеніе шеллинговскаго утвержденія, что свобода гармонируется со святой необходимостью: до-критическая философія такъ же примиряла вѣру съ разумомъ, какъ и послѣ-критическая.

нуждений, всё ипсы съ чловѣка падають — и преступленія перестаютъ существовать. Предъ лицомъ Творца въ чловѣкѣ оживаетъ подлинная, сотворенная Богомъ свобода, свобода, которая есть ничѣмъ неограниченная, безпредѣльная возможность — какъ свобода самого Творца. Тогда и только тогда, когда чловѣкѣ обрѣтаетъ подлинную свободу, всё опасенія и страхи и специально тѣ страхи предъ Ничто, о которыхъ мы столько слышали отъ философовъ и мистиковъ, обнаруживаются (въ этомъ одно изъ поразительнѣйшихъ «откровений», воспринятыхъ изъ Писанія экзистенціальной философій), какъ результатъ гнозиса, знаній и, стало быть, какъ то страшное паденіе, о которомъ разсказано въ первыхъ главахъ Книги Бытія. Но Бердяевъ думаетъ иначе. Онъ готовъ бороться и фактически борется постоянно съ «законничествомъ», но парадоксальная, какъ и обычная этика равно боится отречься отъ идеи долженствованія. Онъ неустанно повторяетъ, что первая заповѣдь: чловѣкѣ долженъ любить Бога, но ни разу не вспоминаетъ мѣстъ Евангелія (Маркъ, XI, 28, 29), гдѣ на вопросъ: какая первая изъ всѣхъ заповѣдей, Иисусъ отвѣчаетъ: «первая изъ всѣхъ заповѣдей: слушай, Израиль! Господь Богъ нашъ есть Богъ единый». Изъ иныхъ міровъ прорываются и доходятъ до чловѣка повелѣнія, а не благія вѣсти: того требуетъ гнозисъ.

Конечно, все это представляется обычному разумію до такой степени безсмысленнымъ, невѣроятнымъ и нелѣпымъ, что «учить» этому, строить на этомъ культуру кажется столь же безнадежнымъ, какъ разсчитывать на возможность распространения Писанія, не приспособленнаго къ тому уровню развитія, на которомъ находится современное чловѣчество. Какъ можно требовать отъ просвѣщенныхъ (и даже непросвѣщенныхъ) людей, чтобы они серьезно слушали разсказы о томъ, что Юву вернули его убитыхъ дѣтей, Аврааму — закланнаго Исаака, что бѣдный юноша получилъ царскую дочь и т. п.? Хотя я уже не разъ говорилъ это, но въ заключеніе считаю нужнымъ еще разъ повторить: Киргегарду все это такъ же хорошо извѣстно, какъ Гегелю и участникамъ греческаго Симпозіона. Въ плоскости обычного мышленія все это — невозможно, въ плоскости обычного мышленія разумъ или здравый смыслъ расплывається, вдавливаются въ свои измѣренія откровенную истину. Оттого Киргегардъ и обращается, точнѣе вретъ къ «частному мыслителю» — Юву. Тамъ, гдѣ для разума съ его измѣреніями все кончается, тамъ начинается великая и послѣдняя борьба за возможность. Отъ криковъ и воплей Юва, какъ отъ іерихонскихъ трубъ, валяются крѣпостныя стѣны: открывается новое,

небывалое измѣреніе мысленій. Этого измѣренія мышленія — оно-же опредѣляетъ собой разницу между умозрительной и экзистенціальной философійей — мы напрасно станемъ искать у грековъ или великихъ представителей нѣмецкаго идеализма. Сколько бы они не говорили о свободѣ, какъ бы они не превозносили разумъ — истина остается для нихъ истиной принудительной: Богъ не властенъ надъ Ничто. Если хочешь свободы, нужно удовлетвориться стоическимъ «*fata volentem ducunt, nolentem trahunt*»: человѣкъ долженъ цѣнить только то, что въ его власти («возможное») и быть равнодушнымъ ко всему, что не въ его власти («невозможное»). Знаніе же о томъ, что возможно и невозможно даетъ намъ разумъ.

Но сотворенная Богомъ свобода, не терпящая и не выносящая принужденія, имѣетъ совсѣмъ иной источникъ, съ нашими знаніями не сливающейся. Она пренебрегаетъ знаніями, она ищетъ не только того, что въ нашей власти, но и того, что внѣ нашей власти. И я думаю, что, когда и если Бердяеву придется свести къ очной ставкѣ гнозисъ и экзистенціальную философію, онъ и самъ не станетъ колебаться въ выборѣ. Тогда такія слова, какъ «безблагодатный» и «непросвѣтленный» онъ уже не станетъ примѣнять ни къ Киргегарду, ни къ Нитше, а побережетъ ихъ (если только онъ все-же найдетъ ихъ нужнымъ беречь) къ Гартману, Ясперсу, къ Гегелю и Канту, можетъ быть къ Таулери и Эккергарду, несмотря на ихъ большія, даже безмѣрныя заслуги предъ міровой культурой. Начало премудрости есть страхъ Божій, а не страхъ предъ Ничто. Свобода же приходить къ человѣку не отъ знанія, а отъ вѣры, полагающей конецъ всѣмъ нашимъ страхамъ.

Л. Шестовъ.

Нѣмецкая проблема въ Чехословакии

Послѣднія событія въ Центральной Европѣ — изменение центрально-европейской карты въ результатѣ аншлусса Австріи, заявление Гитлера о томъ, что Германія считаетъ себя вправѣ охранять нѣмцевъ, которые живутъ внѣ ея предѣловъ и не въ состояніи собственными силами обезпечить себѣ въ предѣлахъ иныхъ государствъ всеобщія гражданскія права, усиленіе, въ явной связи съ этимъ, активности судетонѣмецкой партіи Генлейна въ Чехословакии, а въ особенности обостреніе опасности вооруженнаго столкновенія на германо-чехословацкихъ границахъ въ маѣ текушаго года — привлекли къ Чехословакии и къ вопросамъ ея нѣмецкаго меньшинства вниманіе не только международной дипломатіи, но и широкихъ слоевъ міровой общественности.

Меньшинственный вопросъ въ Чехословакии разбирался за послѣдніе мѣсяцы міровой печатью и по существу, и по своему международному значенію въ многочисленныхъ статьяхъ освѣдомленныхъ и малоосвѣдомленныхъ авторовъ, и о немъ было высказано множество самыхъ разнообразныхъ мнѣній; но всѣ они сходились въ одномъ: въ томъ, что вопросъ нѣмецкаго національнаго меньшинства въ Чехословакии при современномъ положеніи вещей, признаніемъ динамикой германскаго национализма, можетъ послужить толчкомъ или хотя бы поводомъ къ конфликту между Германіей и Чехословакіей, конфликту, который наврядъ ли ограничился бы этими двумя государствами и разросся бы, вѣроятно, въ конфликтъ европейскаго или даже міроваго масштаба.

Для практической политики отсюда вытекаетъ выводъ: чтобы предотвратить катастрофу, надо попытаться разрѣшить этотъ вопросъ мирнымъ путемъ, воспрепятствовать тому, чтобы этотъ вопросъ былъ использованъ какъ поводъ къ вооруженному конфликту. Какъ извѣстно, такой выводъ сдѣлало въ первую очередь само чехословацкое правительство, которое стремится разрѣшить этотъ вопросъ путемъ уступокъ нѣмецкому меньшинству въ переговорахъ съ представителями этого

меньшинства въ лицѣ «судетонѣмецкой партіи». Усилія французской и англійской дипломатіи направлены къ той же цѣли.

Каковъ будетъ окончательный результатъ этихъ стремлений, которыя въ ближайшее время найдутъ себѣ конкретное выраженіе въ законодательныхъ мѣрахъ чехословацкаго Національнаго собранія, — это покажетъ ближайшее будущее. Во всякомъ случаѣ, не будетъ излишнимъ ознакомить читателей съ вопросомъ нѣмецкаго меньшинства въ Чехословакіи, какимъ онъ представлялся до сего времени и какія измѣненія претерпѣлъ. Естественно, что авторъ, будучи чехословакомъ, будетъ придерживаться въ своемъ изложеніи чехословацкой точки зрѣнія, не ставя себѣ задачей и не будучи уполномоченъ быть выразителемъ мнѣнія чехословацкихъ официальныхъ круговъ. Въ его намѣренія входитъ объективное изложеніе проблемы, какой она представляется стороннику того направленія, которое съ самаго начала существованія Чехословацкой республики придерживалось осуществленія наиболѣе прогрессивнаго режима національной терпимости и демократическаго сотрудничества всѣхъ національностей, живущихъ въ Чехословакіи.

Чехословацкая республика возникла въ 1918 г. какъ результатъ воли чехословацкаго народа, который во время войны революціоннымъ путемъ (политическая дѣятельность Масарика, Бенеша и Штефаника за границей и активное участіе ста тысячъ чехословацкихъ легіонеровъ въ міровой войнѣ на сторонѣ Антанты), равно какъ и путемъ пассивнаго сопротивленія центральнымъ державамъ у себя на родинѣ и, наконецъ, путемъ государственнаго переворота 28 октября 1918 г., добился государственной самостоятельности и независимости, образовавъ свободное демократическое государство.

Границы Чехословацкой республики, какъ государства, возникшаго на основаніи международнаго признанія права чехословацкаго народа на самоопредѣленіе и независимость, были установлены и утверждены мирными договорами, причѣмъ наряду съ основнымъ и руководящимъ началомъ самоопредѣленія были приняты въ расчетъ и другіе принципы. Естественно право самоопредѣленія было согласовано съ государственнымъ историческимъ правомъ, при учетѣ въ то же время нѣкоторыхъ нуждъ практическаго характера. На основаніи естественнаго права, въ составъ чехословацкаго государства вошли словаки сѣверной Венгрии и кромѣ того къ нему присоединились, выговоривъ себѣ автономію, русины, какъ основное населеніе

Подкарпатской Руси. Въ силу же историческаго права, въ чехословацкое государство были включены: историческое чешское королевство (Богемія) вмѣстѣ съ остальными святоцлавскими коронными землями, т. е. бывшимъ маркграфствомъ Моравскимъ и частью Силезіи, оставшейся послѣ раздѣла Силезіи въ 18 вѣкѣ во владѣніи Габсбурговъ, за исключеніемъ тешинской Силезіи, которая была уступлена Польшѣ. При реализаціи обоихъ названныхъ видовъ государственнаго права были учтены и практическіе моменты: чешскія коронныя земли составляли на протяженіи цѣлаго тысячелѣтія единое политическое цѣлое, не переставшее существовать и послѣ пораженія на Бѣлой Горѣ въ 17 вѣкѣ, какъ геополитическое и экономическое цѣлое. Въ отношеніи Словакіи были приняты во вниманіе требованія территоріальной цѣлостности и стратегической безопасности, съ использованиемъ по возможности естественныхъ границъ.

Въ результатъ всего этого, въ Чехословакію были включены также значительныя національно-меньшинственныя группы, право которыхъ на самоопредѣленіе было въ силу необходимости ущемлено; въ своей преобладающей части онѣ были включены въ составъ новаго государства даже противъ своей воли. Но объ этомъ — ниже. Пока отмѣтимъ лишь самый фактъ, что въ составъ населенія Чехословакіи входятъ также крупныя національныя меньшинства. Приведемъ данныя послѣдней переписи населенія Чехословакіи 1930 года въ отдѣльныхъ областяхъ республики по національному признаку. Приводимыя нами цифры заключаютъ въ себѣ лишь крупнѣйшія національныя группы и касаются только чехословацкихъ граждан; граждане другихъ государствъ фигурируютъ лишь въ общей цифрѣ населенія, безъ раздѣленія по національному признаку.

Области	Общ. число исследован- наго населенія (включая ино-угра- нцевъ)	Чехосла- вковъ	Нѣмцевъ	Мальевъ	Русскихъ и Украиновъ	Евреевъ, Гречковъ, поляковъ, кро- нцевъ, цыганъ, и др. по своему званію	Польско-яз.
Чехія	7.109.376	4.713.366	2.270.943	7.609	7.162	12.235	1.195
Моравія и Си- лезія	3.565.010	2.585.534	789.955	2.860	4.012	17.267	79.150
Словакія	3.329.793	2.345.909	147.501	571.986	91.079	65.385	933
Подкарпатская Русь	725.357	33.967	13.249	109.472	44.916	91.255	159
Итого по всей республикѣ ..	14.720.536	9.688.770	3.231.688	691.923	59.169	186.642	21.737

Для наглядности приведемъ также сравнительную таблицу національнаго состава Чехословакии въ процентномъ отношеніи. Изъ 100 чехословацкихъ гражданъ на отдѣльныя національности приходится:

Области	Чехословаки	Нѣмцевъ	Мадьяръ	Русскихъ и украинцевъ	Евреевъ	Поляковъ
Чехія	66.64	33.04	0.08	0.03	0.17	0.02
Моравія и Силезія	72.40	24.67	0.02	0.04	0.59	2.28
Словакия	68.12	4.73	21.48	2.90	2.39	0.08
Подкарпатская Русь	3.31	1.73	17.35	62.32	13.33	0.05
Въ республикѣ	65.53	23.36	5.57	3.45	1.35	0.57

Мы видимъ, что среди національныхъ меньшинствъ въ Чехословакии наиболѣе значительнымъ является нѣмецкое меньшинство, особенно сильное въ такъ называемой исторической части государства — Чехіи, Моравіи и Силезіи, гдѣ насчитывается 3 милліона нѣмцевъ. Мадьярское меньшинство особенно сильно въ Словакии, гдѣ оно составляетъ пятую часть всего населенія. Что касается русинъ (русскихъ и украинцевъ), то они представляютъ основное населеніе Подкарпатской Руси. Польское меньшинство занимаетъ извѣстные пункты въ отдѣльныхъ округахъ Силезіи. Евреи въ меньшинственной политикѣ не имѣютъ особыхъ притязаній; лишь часть ихъ открыто примыкаетъ къ еврейской національной группѣ, а многіе входятъ въ другія національныя группы, въ частности, въ нѣмецкую.

Пестрая картина національнаго состава населенія Чехословакии показываетъ такимъ образомъ, что вопросамъ національныхъ меньшинствъ суждено играть въ чехословацкой республикѣ немаловажную роль. Этого чехословацкіе политическіе круги никогда, разумѣется, не скрывали, ни отъ самихъ себя, ни отъ остальнаго міра.

Выше мы отмѣтили, что значительная часть національныхъ меньшинствъ была включена въ Чехословацкую республику противъ своей воли и что такимъ образомъ образованіе Чехословацкой республики на основѣ самоопредѣленія чехословацкаго народа было связано съ ущербленіемъ права этихъ меньшинствъ на самоопредѣленіе. Это относится къ нѣмцамъ, мадьярамъ и отчасти къ полякамъ, — остальныя народности не относились къ образованію Чехословацкой республики въ ея нынѣшней формѣ отрицательно, наоборотъ, это отвѣчало же-

ланию ихъ большинства. Но поскольку нѣмецкое меньшинство ссылается на то, что его притязаніе на самоопредѣленіе не было принято во вниманіе, надо признать, что эта претензія до известной степени обоснована.

Другой вопросъ, насколько обоснована эта претензія съ точки зрѣнія болѣе широкой справедливости. Достаточно взглянуть на національную карту Центральной Европы, чтобы убѣдиться, что вообще эта область въ національномъ отношеніи чрезвычайно смѣшана и что принципъ самоопредѣленія здѣсь невозможно примѣнить со всею послѣдовательностью, поскольку при какомъ бы то ни было раздѣленіи ея по національно-стямъ, немедленно возникли бы новыя, довольно значительныя національныя меньшинства. Этого не станеть отрицать ни одинъ объективный наблюдатель. Впрочемъ, и германскій канцлеръ Гитлеръ въ своей рѣчи отъ 20 февраля призналъ, что въ Европѣ едва ли существуютъ границы, которыя могли бы всѣхъ удовлетворить; этотъ вполне правильный взглядъ онъ высказалъ еще разъ и въ Лейпцигѣ: «Всѣ народы настолько вклинены одинъ въ другой, что невозможно найти государственныхъ границы, которыя полностью соответствовали бы національнымъ интересамъ».

Если правильно то, что въ Чехословакии, или вѣрнѣе — въ Чехии, Моравии и Силезіи есть районы, въ которыхъ нѣмецкій національный элементъ преобладаетъ, то не менѣе правильно и то, что въ этихъ районахъ живутъ довольно значительныя чешскія меньшинства. Другими словами, примѣненіе права самоопредѣленія къ нѣмецкому населенію этихъ районовъ означало бы уцербленіе права самоопредѣленія чехословацкаго населенія названныхъ районовъ. Проблема не поддается т. о. одностороннему рѣшенію въ виду смѣшаннаго характера населенія въ этихъ районахъ. Принципъ самоопредѣленія, взятый изолированно отъ другихъ привходящихъ моментовъ, обнаруживаетъ въ данномъ случаѣ свою недостаточность. Для справедливаго рѣшенія проблемы необходимо принять во вниманіе и другія соображенія.

Въ осуществленіи своихъ притязаній на включеніе названныхъ районовъ въ составъ государства, чехословацкій народъ руководился слѣдующими мотивами.

1. Указанные районы на протяженіи тысячелѣтій входили въ составъ историческаго чешскаго государства, образованнаго чехословацкимъ народомъ.

2. Историческое чешское государство было свыше тысячи лѣтъ мѣстожителемъ чехословацкаго народа. Нѣмецкій

элементъ обосновался въ немъ преимущественно путемъ иммиграціи. Соотношеніе національностей въ теченіе тысячелѣтняго періода мѣнялось нѣсколько разъ, но вплоть до середины прошлаго столѣтія нѣмецкій элементъ послѣдовательно признавалъ себя составной частью этого государства, какъ политическаго цѣлаго. Историческій симбіозъ чеховъ съ нѣмцами на территоріи этого государства проявлялъ себя болѣе въ ихъ сотрудничествѣ подъ чешскимъ политическимъ руководствомъ, чѣмъ въ формѣ национальной борьбы, хотя послѣдняя также имѣла мѣсто.

3. Территорія чешскаго историческаго государства и территорія, на которой словаки въ теченіе тысячи лѣтъ чужого владычества сохранили свою національность и родной языкъ, являются единственной территоріей, на которой чехословацкій народъ можетъ осуществлять свое право на независимое существованіе. Нѣмецкій народъ обладаетъ (въ то время еще существовала Австрія) двумя государствами (изъ которыхъ одно — большое), въ которыхъ этотъ народъ полностью осуществляетъ свои національныя стремленія. Уже существованіе нѣмецкаго національнаго государства даетъ возможность и зарубежнымъ нѣмцамъ питаться источникомъ нѣмецкой національной жизни и вносить въ него, по крайней мѣрѣ въ культурномъ отношеніи, свою долю.

4. Въ районахъ съ нѣмецкимъ большинствомъ населенія живетъ свыше полумилліона чехословаковъ. Какой изъ обонихъ народовъ болѣе пострадаетъ? Нѣмецкій народъ, насчитывающій 70 милліоновъ и обладающій могущественной державой, если даже внѣ основной его стихіи останется 2½ милліона нѣмцевъ, населяющихъ преимущественно нѣмецкіе районы чешскихъ земель, или же чехословацкій народъ, насчитывающій 10 милліоновъ, въ случаѣ, если полмилліона его членовъ будетъ оторвано отъ его ядра, къ которому они принадлежали въ теченіе тысячи лѣтъ. Кому прозритъ большая опасность: трехмилліонному меньшинству въ государствѣ съ 14 милліоннымъ населеніемъ, или же полумилліонному въ государствѣ съ 70 милліонами?

5. Но и въ отношеніи геополитическомъ историческое чешское государство возникло не случайно. Его границы были естественными границами. Замкнутая цѣпь горъ, окружающихъ страну, и высокія вершины издавна служили сторожевыми постами и охраняли ея безопасность, ограждая ее отъ вражескихъ набѣговъ. Населенные нѣмецкимъ меньшинствомъ районы сами по себѣ не образуютъ географически замкнутаго простран-

ства. Они не образуют даже этнографически однородного цѣлаго, представляя собой пять или шесть небольшихъ пограничныхъ районовъ, отдѣленныхъ отъ Германіи естественной границей горъ, а другъ отъ друга — округами съ чешскимъ большинствомъ населенія. Отторженіе этихъ районовъ лишило бы чехословацкое государство естественной границы, которую ничѣмъ нельзя было возмѣстить. Это привело бы къ обезоруженію и ослабленію государства.

6. Это ограниченное самой природой географическое цѣлое образовало, благодаря распредѣленію природныхъ богатствъ и въ результатѣ тысячелѣтней эволюціи, столь же компактное экономическое цѣлое, въ которомъ взаимно дополняются и уравниваются богатства минеральныя съ растительными и промышленность съ сельскимъ хозяйствомъ, и которое представляетъ собой единый, скрѣпленный сѣтью новѣйшихъ техническихъ сооружений и путей сообщенія экономической организмъ, расчлененіе котораго не можетъ быть произведено безъ ущерба для всѣхъ его составныхъ частей.

Таковы были вѣскіе доводы, въ силу которыхъ право самоопредѣленія нѣмецкаго населенія въ чешскихъ областяхъ отошло на второй планъ передъ правомъ на самоопредѣленіе чехословацкаго народа въ свободномъ чехословацкомъ государствѣ, при образованіи котораго должны были естественно быть приняты во вниманіе и условія, гарантирующіе ему жизнеспособность. Эти аргументы, наряду съ другими, были признаны міровой конференціей болѣе обоснованными, чѣмъ аргументы, которыми оперировали судетскіе нѣмцы, пытавшіеся добиться отторженія районовъ съ нѣмецкимъ большинствомъ населенія отъ историческаго ядра чешскихъ областей. Все это только подтверждаетъ трудность чисто формальнаго примѣненія права самоопредѣленія въ национально смѣшанныхъ областяхъ. Изъ всѣхъ рѣшеній вопроса единственно правильнымъ было то, которое наиболѣе отвѣчало требованіямъ справедливости.

Однако, требуя справедливости въ широкомъ ея пониманіи, чехословацкій народъ и его политическіе руководители должны были отдавать себѣ отчетъ въ томъ, что это требованіе налагаетъ на нихъ самихъ моральное обязательство установить для меньшинствъ такой режимъ, который гарантировалъ бы ихъ отъ денационализаціи. Что такого рода обязательство не могло въ практической жизни оставаться въ границахъ чисто моральнаго постулата, — это было ясно. Да и сама міровая

конференція сочла нужным, чтобы Чехословакія дала соотвѣтствующія гарантіи въ обязательной для нея юридической формѣ.

Такіе гарантіи были даны ввидѣ договора, который Чехословакія заключила съ союзными державами Америкой, Англией, Франціей, Италией и Японией, одновременно съ мирнымъ договоромъ съ Австріей, въ Сенъ-Жерменъ-анъ-Лей 10 сентября 1919 г. Глава 1 этого договора содержитъ помимо подробныхъ постановленій, касающихся автоматическаго вступленія въ гражданство и права оптаціи, также рядъ постановленій объ охранѣ меньшинства.

Приведемъ соотвѣтственныя постановленія этого договора.

Статья 2.

§ 1. Чехословакія обязуется предоставить всѣмъ жителямъ полную и абсолютную охрану ихъ жизни и свободы, безъ различія ихъ происхожденія, гражданства, языка, расы или вѣроисповѣданія.

§ 2. Различіе въ религін, вѣроисповѣданіи или вѣрованіи не должно быть въ ущербъ никому изъ гражданъ въ отношеніи пользованія гражданскими и политическими правами, въ частности, относительно приѣма на государственную или общественную службу и повышенія по службѣ, а также въ выборѣ профессіи, рода занятій или промысла.

§ 3. Чехословацкимъ гражданамъ не будетъ поставлено никакихъ ограниченій въ пользованіи любымъ языкомъ какъ въ частныхъ или торговыхъ сношеніяхъ, такъ и при выполненіи религиозныхъ обрядовъ, въ печати и на публичныхъ собраніяхъ.

§ 4. Въ случаѣ, если чехословацкое правительство введетъ какой-либо официальный языкъ, то иноязычнымъ гражданамъ должна быть предоставлена соотвѣтственная возможность пользоваться на судѣ роднымъ языкомъ, какъ устно, такъ и письменно.

Статья 8.

Чехословацкіе граждане, принадлежащіе къ этническимъ, религиознымъ или иноязычнымъ меньшинствамъ будутъ юридически и фактически равноправны съ остальными чехословацкими гражданами и будутъ юридически и фактически пользоваться тѣми же гарантіями, что и остальные чехословацкіе граждане. Въ частности, они будутъ пользоваться одинаковымъ правомъ основывать на собственные средства и содержать подъ своимъ руководствомъ и надзоромъ учрежденія благотвори-

тельного, религіознаго или соціального характера, равно какъ и школы и другія просвѣдительныя и воспитательныя учрежденія, съ правомъ свободнаго пользованія въ нихъ роднымъ языкомъ и свободнаго исповѣданія своей вѣры.

Статья 9.

§ 1. Въ области народнаго просвѣщенія чехословацкое правительство предоставляетъ въ городахъ и округахъ, въ которыхъ чехословацкіе граждане иного языка, чѣмъ чешскій, представляютъ значительную часть населенія, возможность дѣтямъ этихъ чехословацкихъ гражданъ обученія на ихъ родномъ языкѣ. Это постановленіе, однако, не препятствуетъ чехословацкому правительству ввести обязательное обученіе чешскому языку.

§ 2. Въ городахъ и округахъ, въ которыхъ чехословацкіе граждане, принадлежавшіе къ этническимъ, религіознымъ и иноязычнымъ меньшинствамъ, составляютъ значительную часть населенія, этимъ меньшинствамъ гарантируется справедливая доля въ пользованіи суммами, отпускаемыми на просвѣдительныя, воспитательныя, религіозныя или благотворительныя цѣли изъ общественныхъ фондовъ, государственнаго бюджета, общинныхъ и другихъ бюджетовъ.

Приведенныя постановленія договора великихъ державъ съ Чехословаціей представляютъ собой гарантіи, которыми договаривающія стороны сочли справедливымъ возмѣстить потерю возможности осуществить право самоопредѣленія, на которое претендовали граждане чехословацкаго государства другихъ національностей. Эти гарантіи были признаны отвѣчающими естественному праву названныхъ меньшинствъ на охрану ихъ національности (и вѣроисповѣданія) и ея нормальнаго развитія. Можно ли серьезно утверждать, что эти постановленія не достаточно охраняютъ національное меньшинство отъ денационализанціи и не даютъ ему возможности свободнаго національнаго развитія?

Изложивъ обязательства, взятыя на себя Чехословаціей въ отношеніи меньшинствъ, перейдемъ къ вопросу, выполнила ли Чехословація свои обязательства. На этотъ вопросъ мы можемъ заранѣе отвѣтить утвердительно, — въ дальнѣйшемъ мы приведемъ конкретныя доказательства этому; но прежде всего когнемся психологической обстановки, въ какой вопросы о меньшинствахъ рѣшались. Чехословацкій народъ гордится тѣмъ, что онъ произвелъ государственный переворотъ безъ крово-

пролитія и что во время переворота нѣмцы въ Чехословакии не потерпѣли ущерба. Если даже не считать это особой заслугой, все же слѣдуетъ признать, что терпимость, проявленная по отношенію къ національному противнику въ моментѣ сверженія его трехвѣковаго владычества, нельзя считать зауряднымъ явленіемъ. Чехословацкій народъ, лишенный незадолго до войны послѣднихъ остатковъ своихъ политическихъ правъ, подвергавшійся во время войны преслѣдованіямъ и испытывавшій крайнюю нужду, народъ, который въ Германіи и въ симпатизирующихъ ей нѣмцахъ внутри страны видѣлъ виновниковъ страшной войны и всѣхъ испытываемыхъ имъ бѣдъ, народъ, котораго въ случаѣ побѣды центральныхъ державъ ожидала насильственная германизация, согласно извѣстныхъ плановъ нѣмецкихъ націоналистовъ — этотъ народъ оказался побѣдителемъ. Развѣ не были бы при такихъ условіяхъ понятны даже какіе-либо эксцессы, развѣ желаніе возмездія не было бы психологически оправдано? Въ дѣйствительности, такого рода явленіямъ не было мѣста не только въ руководящихъ политическихъ кругахъ чехословацкаго народа, но и въ стихійномъ движеніи массъ. Не было значительнаго кровопролитія даже тогда, когда пришлось прибѣгнуть къ военной оккупации отдаленныхъ районовъ, въ которыхъ подъ руководствомъ нѣмецкихъ вожakovъ были сдѣланы попытки организовать мѣстную власть и отторгнуть ихъ отъ республики. Эта попытка не удалась, что не помѣшало ея политическимъ руководителямъ-нѣмцамъ предпринимать изъ-заграницы шаги, чтобы добиться на мировой конференціи отторженія названныхъ районовъ. Это повредило лишь самимъ судетскимъ нѣмцамъ, помѣшавъ имъ принять участіе въ выработкѣ конституціи. Однако, даже враждебное дѣйствіе политическихъ руководителей нѣмцевъ и ихъ заграничная дѣятельность не вызвала чувства ненависти ни въ чехословацкихъ политическихъ кругахъ, ни въ народныхъ массахъ. Требования гарантій охраны меньшинствъ, выставленныя на мировой конференціи и вошедшія въ сенъ-жерменскій договоръ, не встрѣтили въ чехословацкомъ народѣ ни малѣйшихъ возраженій.

Точка зрѣнія, занятая чехословацкой общественностью по вопросу о нѣмецкомъ меньшинствѣ въ Чехословакии, была формулирована вскорѣ послѣ переворота, 14 ноября 1918 года, въ правительственномъ заявленіи, сдѣланномъ первымъ премьеръ-министромъ чехословацкаго правительства, докторомъ Крамержемъ на первомъ же засѣданіи только что образованнаго Национальнаго собранія. Въ этомъ заявленіи говорится: «Со-

храняя вѣрность нашему историческому прошлому и нашимъ демократическимъ традиціямъ, мы не хотимъ урѣзывать права нашихъ согражданъ-нѣмцевъ въ ихъ культуру и языкъ. Наше государство будетъ, разумѣется, государствомъ чешскимъ. Но мы будемъ гордиться, если сбудется наше желаніе, чтобы никто у насъ, не будучи чехомъ, не чувствовалъ себя угнетеннымъ и несвободнымъ. Мы слишкомъ долго испытывали на себѣ все варварство культурнаго угнетенія, все униженіе нашего народа, лишеннаго правъ на родной языкъ, лишеннаго школы, въ которыхъ онъ могъ бы получать образованіе на своемъ языкѣ, чтобы хотѣть совершать ту же несправедливость по отношенію къ свободѣ и культурѣ другихъ... Такъ было формулировано убѣжденіе, господствовавшее въ самыхъ широкихъ слояхъ чехословацкаго народа, для котораго было вопросомъ чести — показать, что онъ строитъ свое государство на основахъ благородства. И этой амбіціей, отъ которой чехословацкій народъ никогда не отказывался, онъ вправѣ гордиться.

Это убѣжденіе опиралось также и на громадный моральный авторитетъ Масарика, Великій мыслитель-гуманистъ и политическій вождь чехословацкаго народа употребилъ въ этомъ отношеніи все свое вліяніе. У пишущаго эти строки свѣжо еще въ памяти, какъ на одной изъ бесѣдъ съ журналистами послѣ своего возвращенія на родину, Президентъ-Освободитель повелъ рѣчь объ отношеніи къ меньшинствамъ какъ въ принципѣ, такъ и въ практической жизни. Искреннее стремленіе Масарика заключалось въ томъ, чтобы нѣмцы въ Чехословацкой республикѣ не чувствовали себя униженными въ своемъ человеческомъ достоинствѣ или ограниченными въ своихъ національныхъ правахъ, чтобы ихъ не раздражала бюрократическая тупость или безсмысленныя соображенія престижа со стороны большинства, короче, чтобы Чехословацкая республика служила образомъ подлинно человеческой уживчивости и взаимнаго уваженія.

Вліяніе Масарика безспорно сказалось въ значительной мѣрѣ при закладкѣ правовыхъ основаній чехословацкой общественной жизни. Это вліяніе нашло себѣ дополненіе въ дѣятельности другого выдающагося чехословацкаго политическаго дѣятеля — вождя сельскихъ массъ Антонина Швеглы. Масарикъ вмѣстѣ съ Шwegлой добились того, что въ то время, какъ нѣмцы упорствовали въ своей непримиримой оппозиціи къ чехословацкому государству, чехословацкая конституція давала меньшинствамъ б о л ь ш е, чѣмъ этого требовали

обязательства молодого государства передь союзниками. На этотъ разъ дѣло не обошлось безъ споровъ. Позднѣйшій внутренне-политическій процессъ развитія страны устранилъ изъ правительства националь-демократическую партію д-ра Крамаржа, которая въ періодъ разработки конституціи стояла въ рѣзкой оппозиціи къ ея меньшинственнымъ постановленіямъ. Но даже и тогда, даже и эта крайне націоналистическая оппозиція не отвергла ничего изъ того, что было установлено сень-жерменскимъ договоромъ. Предметомъ политическихъ схватокъ и острой кампаніи въ печати былъ рядъ уступокъ нѣмцамъ, сдѣланныхъ еще въ тогдашней обстановкѣ д о б р о в о л ь н о, безъ ихъ участія и какого бы то ни было нажима извнѣ, но просто изъ чувства справедливости и изъ предусмотрительности. А это было въ то время, когда націоналистическая бульварная печать нападала на самого Президента-Основодителя, обвиняя его чуть ли не въ измѣнѣ нашіи. Тѣмъ не менѣе, большинство осталось на сторонѣ Масарика и Швеглы и настояло на принципѣ, что чехословацкая конституція не должна удовлетворяться минимумомъ уступокъ нѣмецкому меньшинству, но дать ему какъ можно больше. Авторъ этихъ строкъ, самъ бывшій участникомъ этой борьбы и лозаннскій въ качествѣ молодого журналиста копьѣ съ противниками: — корифеями тогдашней публицистики — во имя наиболѣе широкой справедливости къ нѣмцамъ, самъ видѣвшій возбужденныя толпы передь зданіемъ парламента, считаетъ себя вправе дать свидѣтельское показаніе противъ нѣмецкихъ націоналистовъ, обвиняющихъ чехословацкій народъ въ стремленіи «уничтожить» нѣмецкое меньшинство въ Чехословакіи. Было время, когда одинъ чехословакъ готовъ былъ проломить голову другому, своему же соплеменнику, чтобы только добиться справедливости для судетскихъ нѣмцевъ, которые въ настоящее время утверждаютъ, что эти фанатики пранды хотѣли лишить ихъ возможности существованія. Какъ бы то ни было, 29 февраля 1920 г., чехословацкій народъ утвердилъ конституцію, которая является краснорѣчивымъ документомъ его національной терпимости и предоставляетъ національнымъ меньшинствамъ добровольно и по собственному почину больше правъ, чѣмъ того требовали принятія имъ на себя международныя обязательства.

Возвращаясь къ четыремъ приведеннымъ выше статьямъ сень-жерменскаго договора и сравнивъ заключенныя въ нихъ

требования съ фактическимъ правовымъ положеніемъ нѣмецкаго меньшинства, мы увидимъ, что дѣйствительно это меньшинство получило больше, чѣмъ ему гарантировалъ договоръ.

1. Политическое положеніе нѣмецкаго меньшинства.

Статья 2 и два первыхъ параграфа статьи 7 цитированнаго нами договора имѣютъ цѣлью обезпечить свободу и равенство передъ закономъ всѣмъ гражданамъ, безъ различія расы, вѣроисповѣданія и національности. Что эти принципы въ демократической Чехословацкой республикѣ осуществлены, не требуетъ, какъ намъ кажется, особыхъ доказательствъ.

Естественно, что по чехословацкой конституціи это равенство было распространено и на избирательныя права меньшинствъ при выборахъ представителей въ законодательныя и прочіе выборныя органы. Слѣдуетъ отмѣтить, что чехословацкое избирательное право беретъ меньшинства всѣхъ видовъ подъ охрану, предусматривая невыгодныя для нихъ послѣдствія мажоритарнаго избирательнаго порядка и устанавливая порядокъ пропорціональный; система «связанныхъ» кандидатскихъ списковъ страхуетъ избирателей отъ потери голосовъ въ результатъ дробленія. Преимущество такого избирательнаго порядка передъ мажоритарной системой состоитъ въ томъ, что число представителей отъ меньшинствъ точно отвѣчаетъ количеству поданныхъ за нихъ голосовъ. Объ этомъ свидѣтельствуетъ распределеніе мандатовъ не только въ обоихъ палатахъ чехословацкаго Национальнаго собранія, но и во всѣхъ выборныхъ общественныхъ органахъ. Въ парламентѣ число мандатовъ нѣмецкаго меньшинства даже нѣсколько превышаетъ процентное отношеніе нѣмецкаго меньшинства къ общему числу населенія. На послѣднихъ выборахъ нѣмецкія партіи получили въ общей сложности 66 мандатовъ, т. е. 22% общаго числа мандатовъ; но помимо этого слѣдуетъ принять во вниманіе и тѣ голоса нѣмцевъ, которые были поданы за интернаціональную коммунистическую партію и представляютъ не менѣе 6 мандатовъ.

Можно было бы, конечно, возразить, что, несмотря на все это, нѣмцы остаются въ парламентѣ меньшинствомъ, которое всегда можетъ быть подавлено чехословацкимъ большинствомъ. Это вѣрно, но одинаково дѣйствительно для всѣхъ парламентскихъ фракцій. Вопросъ, слѣдовательно, сводится къ тому, въ какой степени та или иная фракція сумѣетъ включиться въ парламентскую работу. Занимая отрицательную позицію, нѣмецкое меньшинство дѣйствительно наталкивалось на отпоръ все-

го механизма парламентскаго большинства, тогда какъ при иной, позитивной тактикѣ оно само было бы составной частью послѣдняго. Надо имѣть ввиду, что сильная парламентская группа нѣмецкаго меньшинства оказываетъ извѣстное вліяніе на общую политическую группировку въ парламентѣ. Это было замѣтно особенно въ 1925 году, когда въ результатѣ раскола социаль-демократовъ и образованія коммунистической партіи были ослаблены позиціи социалистическихъ группъ. Тогда двѣ нѣмецкихъ буржуазныхъ партій, вступивъ въ правительство, дали чешскому буржуазному лагерю перевѣсъ надъ социалистическими партіями. Чешскія буржуазныя партіи имѣли 126 мандатовъ и удержали за собой большинство только благодаря тому, что къ нимъ присоединились 37 депутатовъ двухъ нѣмецкихъ партій. Такимъ образомъ, 37 депутатовъ-нѣмцевъ входили въ парламентское большинство, тогда какъ противоположный лагерь составляли 57 чехословацкихъ социалистовъ, 13 нѣмецкихъ социаль-демократовъ и 41 коммунистъ. Какъ мы видимъ, въ чехословацкой политической жизни парламентское большинство вовсе не непремѣнно противопоставлено нѣмцамъ, — нѣмцы могутъ въ него входить и пользоваться его механизмомъ даже противъ чехословацкихъ оппозиціонныхъ группъ.

Во всякомъ случаѣ, политическое положеніе нѣмецкаго меньшинства съ наибольшей справедливостью отвѣчаетъ его численности, а степень его участія въ государственной жизни цѣлкомъ зависитъ отъ политики его представителей.

2. Право пользованія роднымъ языкомъ нѣмецкаго меньшинства въ Чехословакии.

§ 3 статьи 7 сень-жерменскаго договора устанавливаетъ для меньшинствъ свободу пользованія роднымъ языкомъ какъ въ частной жизни, такъ и въ частно-правовой области, а § 4 предусматриваетъ также примѣненіе этого права на судѣ.

Чехословацкая конституція гарантируетъ меньшинствамъ гораздо болѣе широкое право пользованія роднымъ языкомъ. Постановленіе § 3 о правѣ пользованія роднымъ языкомъ въ частной жизни и частно-правовой области было, разумѣется, осуществлено полностью и останавливаться на немъ не приходится. Гораздо существеннѣе — это предписанія о пользованіи роднымъ языкомъ меньшинствъ въ области публичнаго права. Какъ это предусматривалъ сень-жерменскій договоръ, въ Чехословакии былъ, дѣйствительно, введенъ officialный языкъ (чехословацкій), но меньшинствамъ была предоставлена возможность пользоваться роднымъ языкомъ и въ другихъ пуб-

лично-правовыхъ учрежденіяхъ, помимо судовъ, которыми ограничивались требованія § 4.

О правѣ пользованія роднымъ языкомъ былъ изданъ специальный, входящій въ конституцію, законъ (№ 122 отъ 29 февраля 1920 г.), по которому не только судамъ, но и всѣмъ учреждениямъ и органамъ республики во всѣхъ судебныхъ округахъ (наиболѣе мелкая единица административнаго дѣленія), въ которыхъ, согласно послѣдней переписи населенія, живетъ не менѣе 20% гражданъ, говорящихъ на одномъ изъ меньшинственныхъ языковъ, вмѣняется въ обязанность не только принимать заявленія на ихъ родномъ языкѣ, но и отвѣчать, наравнѣ съ официальнымъ языкомъ, также на языкѣ даннаго меньшинства, а иногда только на языкѣ меньшинства. Въ округахъ съ 20%-нымъ національнымъ меньшинствомъ объявленія и оповѣщенія судовъ, государственныхъ учреждений и органовъ должны опубликовываться также и на языкѣ даннаго меньшинства. Вывѣски и печати всѣхъ учреждений должны носить также надпись на языкѣ меньшинства.

Остановившись подробнѣе на проведеніи въ жизнь закона о правѣ пользованія роднымъ языкомъ, мы легко обнаружимъ, какое широкое примѣненіе находитъ себѣ это право. Вся чехословацкая республика раздѣлена на 379 судебныхъ округовъ, изъ нихъ въ 131 округѣ нѣмецкое большинство пользуется этимъ правомъ. Другими словами, болѣе чѣмъ въ трети всѣхъ судебныхъ округовъ всѣ государственные органы обязаны вести дѣла съ нѣмецкимъ меньшинствомъ на нѣмецкомъ языкѣ. Распространенность льготъ въ пользованіи роднымъ языкомъ среди нѣмцевъ въ Чехословакии станетъ еще болѣе наглядной, если мы укажемъ, что изъ общаго числа 3.231.688 чехословацкихъ гражданъ нѣмецкой національности, согласно послѣдней переписи 1930 г., этимъ правомъ въ полной мѣрѣ пользовались 2.916.943 человѣка, т. е. 90,26%. Было бы по меньшей мѣрѣ неслѣсообразно со стороны чехословацкаго народа предоставлять нѣмецкому меньшинству такія права, если бы онъ дѣйствительно хотѣлъ «стереть съ лица земли» и «денационализировать» нѣмцевъ, какъ это утверждаетъ германская и судетонѣмецкая пропаганда. Думается, что уже одинъ этотъ фактъ въ достаточной мѣрѣ доказываетъ явную тенденціозность такой пропаганды.

Добавимъ кстатѣ, что, благодаря упомянутому закону, нѣмцы въ Словакии, въ количествѣ 77.759 человѣкъ, получили право пользованія роднымъ языкомъ только послѣ основанія Чехословацкой республики, тогда какъ во времена дуалистиче-

ской австро-венгерской монархіи они не могли и думать о такого рода правѣ въ обстановкѣ систематической мадьяризації. Приведенная цифра заключаетъ въ себѣ свыше половины всѣхъ нѣмцевъ, живущихъ въ Словакии. Разумѣется, въ Словакии, гдѣ нѣмцы не представляютъ собой окраиннаго меньшинства, со-сѣдствующаго съ Германіей, вопросъ не ставится въ подпитой кампаніи такъ остро, какъ въ историческихъ областяхъ (земляхъ) Чехословакии. Что касается послѣднихъ, то въ Чехіи изъ 2.270.943 живущихъ тамъ нѣмцевъ льготами упомянутого закона, пользуются 2.154.655 челов. (почти 95%, а въ Моравіи изъ 799.995 нѣмцевъ ими пользуются 684.529 человекъ (85,5 процента).

Въ населенныхъ пунктахъ (общинахъ), управляемыхъ самими гражданами на основахъ самоуправления, право пользования роднымъ языкомъ примѣняется въ разныхъ мѣстахъ по разному. Общины сами устанавливаютъ свой обиходный языкъ. Официальный (чехословацкій) языкъ является обязательнымъ въ сношеніяхъ съ мѣстными органами только въ тѣхъ общинахъ, гдѣ національное меньшинство не достигаетъ 20% общаго числа населенія, а кромѣ того въ тѣхъ общинахъ, которые установили своимъ обиходнымъ языкомъ иной языкъ, чѣмъ чехословацкій, но въ которыхъ граждане, родной языкъ которыхъ — чехословацкій, численно преобладаютъ надъ гражданами того меньшинственного языка, который въ данной общинѣ былъ принятъ за обиходный. И наоборотъ — меньшинственный языкъ въ общинахъ, гдѣ къ этому меньшинству принадлежитъ не менѣе 50% населенія, является для данной общины обязательнымъ языкомъ въ сношеніяхъ съ мѣстными органами. Слѣдовательно, что касается въ частности нѣмецкаго меньшинства, въ Чехословакии встрѣчаются общины, въ которыхъ все дѣлопроизводство ведется исключительно на нѣмецкомъ языкѣ, поскольку въ нихъ чехословацкое населеніе не преобладаетъ. Встрѣчаются также общины, въ которыхъ дѣлопроизводство ведется на двухъ языкахъ. Даже общины съ преобладающимъ чешскимъ населеніемъ должны въ сношеніяхъ съ гражданами нѣмецкой національности пользоваться нѣмецкимъ языкомъ, при условіи, что въ данной общинѣ нѣмцы составляютъ не менѣе 20% населенія.

Высшими органами самоуправления являются окружныя представительства, на двѣ трети состоящія изъ выборныхъ членовъ (согласно постановленія 1927 г.) и краевыя (земскія) представительства. Члены первыхъ изъ нихъ, принадлежащіе къ національному меньшинству, могутъ пользоваться роднымъ

языкомъ въ тѣхъ окружныхъ представительствахъ, въ которыя входитъ хотя бы одинъ судебный округъ (окружные представительства соответствуютъ политическимъ округамъ, объединяющимъ отъ 2 до 5 судебныхъ округовъ), въ которомъ не менѣе 20% населенія принадлежитъ къ данному меньшинству. Предсѣдатели и чиновники представительствъ могутъ по желанію снабдить свои рѣчи и заявленія переводомъ на языкъ меньшинства, но обязаны это сдѣлать въ томъ случаѣ, если отвѣчаютъ на запросъ или интерпеляцію члена, принадлежащаго къ меньшинству. Нѣмецкое меньшинство пользуется этимъ правомъ въ краевыхъ (земскихъ) представительствахъ Чехіи, Моравіи и Силезіи.

Въ чехословацкомъ Національномъ собраніи засѣданія ведутся на государственномъ языкѣ, но депутаты и сенаторы отъ національныхъ меньшинствъ могутъ дѣлать заявленія, предложенія и запросы на родномъ языкѣ. Только въ случаяхъ, когда они выступаютъ въ качествѣ предсѣдательствующихъ пленума или комиссіи, или въ качествѣ докладчиковъ, они обязаны говорить на государственномъ языкѣ. Письменные предложенія, запросы и интерпеляціи печатаются на томъ языкѣ, на которомъ были внесены, съ приложеніемъ перевода на государственниій языкъ. Переводы дѣлаетъ секретаріатъ Національного собранія. И обратно: къ отвѣтамъ на запросы и интерпеляціи, внесенные на одномъ изъ меньшинственныхъ языковъ, прилагается переводъ на этотъ же языкъ.

Какъ мы видимъ, право пользованія роднымъ языкомъ, принадлежащее меньшинствамъ (а, слѣдовательно, и нѣмцамъ) въ Чехословакіи отличается значительной широтой, и приведенные факты въ достаточной мѣрѣ вскрываютъ подлинный характеръ всякихъ обвиненій въ стремленіи «стереть съ лица земли» нѣмцевъ въ Чехословакіи.

Постановленія и предписанія, касающіяся права пользованія меньшинственными языками, были въ значительной мѣрѣ результатомъ соглашенія. Многіе изъ чеховъ считаютъ осуществимымъ дальнѣйшее расширенія этого права, въ частности, въ сношеніяхъ меньшинствъ съ центральными учрежденіями и органами. Надо полагать, что въ подготавливаемомъ урегулированіи этого вопроса меньшинствамъ будутъ сдѣланы дальнѣйшія уступки.

3. Нѣмецкія школы въ Чехословакіи.

Обратимся теперь къ вопросу о нѣмецкихъ школахъ. § 1 статьи 9 сень-жерменскаго договора содержитъ въ себѣ тре-

бование предоставления дѣтямъ національныхъ меньшинствъ возможности обучаться на родномъ языкѣ въ тѣхъ городахъ и округахъ, въ которыхъ эти меньшинства составляютъ значительную часть населенія. Чехословакія въ своей школьной и просвѣтительной политикѣ не только не уклонилась отъ сто-процентнаго выполнения этого принципа, но пошла въ этомъ направленіи значительно дальше.

Остановимся сначала на школахъ первой ступени, которыхъ касается приведенное постановленіе договора.

По статистическимъ даннымъ за 1937/38 школьный годъ, въ Чехословацкой республикѣ насчитывается 15.552 школы первой ступени, раздѣленныхъ на 46.400 классовъ, въ которыхъ обучается 1.728.950 учениковъ, согласно закона объ обязательномъ обученіи. Изъ этого общаго числа школъ, на нѣмецкія школы первой ступени съ нѣмецкимъ языкомъ преподаванія приходится 3.310 школъ (21,3% общаго числа классовъ), въ которыхъ обучается 316.641 ученикъ. Поскольку общее число учениковъ нѣмецкой національности въ школахъ первой ступени выражается въ цифрѣ 322.667, не трудно заключить, что всего лишь 6.026 учениковъ нѣмецкой національности, или 1,87%, обучаются не въ нѣмецкихъ школахъ. Какой процентъ этихъ учениковъ обучается въ чехословацкихъ школахъ, а какой — въ школахъ другихъ національныхъ меньшинствъ, по нашему источнику (*Statistický zpravodaj 1938*, с. 4) установить нельзя, такъ же, какъ нельзя установить число дѣтей чехословацкой національности, посѣщающихъ нѣмецкія школы. Зато на этотъ счетъ имѣются данные за 1935/36 школьный годъ, по которымъ изъ общаго числа 343.567 учениковъ нѣмецкой національности чешскія школы посѣщало 9.907 дѣтей, тогда какъ 2.062 ученика чехословацкой національности посѣщало нѣмецкія школы. Изъ этого слѣдуетъ, что возможность обученія на родномъ языкѣ предоставлена дѣтямъ нѣмецкаго меньшинства всюду, гдѣ только это было практически осуществимо, то-есть, тамъ, гдѣ число дѣтей позволяло открыть для нихъ школу. О томъ, что нѣмецкія школы отнюдь не переполнены, свидѣтельствуетъ тотъ фактъ, что въ 1937/38 школьномъ году на одинъ классъ нѣмецкой школы приходилось 34 ученика, тогда какъ на одинъ классъ чехословацкихъ школъ 37 учениковъ. Слѣдовательно, условія въ нѣмецкихъ школахъ были въ этомъ отношеніи даже благоприятнѣе, чѣмъ въ чехословацкихъ.

Элементарныхъ школъ слѣдующей ступени, то-есть городскихъ училищъ, въ 1937/38 школьномъ году въ Чехословакіи

насчитывалось 2.106 съ 12.087 классами и 459.975 учениками. Изъ этого числа на нѣмецкія школы приходилось 457 школъ (или 21,7%) съ 2.230 классами и 83.358 учениками. Всего въ городскихъ училищахъ обучалось 85.460 учениковъ нѣмецкой національности, такъ что на не нѣмецкія городскія училища ихъ приходилось всего 2.102 человекѣка. Среднее число учениковъ на одинъ классъ составляло въ нѣмецкихъ школахъ 37 человекѣкъ, а въ чехословацкихъ 38 человекѣкъ. Мы видимъ, что и здѣсь обязательства, которыя Чехословакія взяла на себя по сентъ-жерменскому договору были ею выполнены въ мѣрѣ, не оставляющей мѣста какимъ-либо упрекамъ.

Въ школахъ высшихъ ступеней, то-есть въ средних, профессиональныхъ и высшихъ, нѣмецкое меньшинство поставлено въ еще лучшія условія. Согласно послѣднимъ статистическимъ даннымъ за 1936/37 школьный годъ (Statistický zpravodaj 1938, с. 6) въ Чехословакіи насчитывалось 315 гимназій и среднихъ техническихъ училищъ съ 3.872 классами и 144.591 учениками. Изъ этого числа на нѣмецкія школы приходится 72 (или 22,9%, что болѣе, чѣмъ отвѣчаетъ численности нѣмецкаго меньшинства, съ 812 классами (21%) и 27.960 учениками (19,3%). 5,08% общаго числа учениковъ чехословацкой національности посѣщало нѣмецкія школы названныхъ ступеней, а 5,47% учениковъ нѣмецкой національности — чехословацкія школы. Ниже мы приводимъ статистическія данныя за 1935/36 школьный годъ о количествѣ специальныхъ школъ въ Чехословакіи, причемъ первая цифра означаетъ число нѣмецкихъ школъ, а цифра въ скобкахъ — общее число школъ той же категоріи въ республикѣ: институты учителей — 10 (62), сѣльско-хозяйственныя школы — 52 (264), торговныя школы — 27 (103), промышленныя и профессиональныя школы — 89 (276), прочія спеціальныя школы — 14 (79), народныя школы сѣльского хозяйства — 190 (1.017), общеобразовательныя курсы 491 (2.021), университетъ 1 (4), высшія техническія училища — 2 (4).

Такимъ образомъ, нѣмецкія школы въ Чехословакіи поставлены въ самыя благоприятныя условія и Чехословацкая республика можетъ гордиться тѣмъ, что даетъ своимъ меньшинствамъ полную возможность расширять свое образование и обогащать свою культуру. Надо отмѣтить кромѣ того, что въ Словакіи вообще сѣтъ нѣмецкихъ школъ возникла лишь послѣ основанія республики.

Что касается послѣдняго изъ приведенныхъ нами постановленийъ сентъ-жерменскаго договора, а именно о предоставленіи

меньшинствамъ справедливой доли въ распредѣленіи общественныхъ средствъ, отпускаемыхъ на общественное призрѣніе и филантропическія цѣли, то мы могли бы привести длинный рядъ доказательствъ, въ какой широкой мѣрѣ эти постановленія проводятся въ жизнь не только въ области общественнаго призрѣнія, включая сюда и социальное обезпеченія, но также и въ области физической культуры, здравоохраненія и гигиены, всякаго рода матеріальной помощи и пр. Но не станемъ утомлять читателя избыткомъ цифръ.

Чехословацкая республика сдѣлала все для удовлетворенія нуждъ своихъ меньшинствъ и въ этомъ отношеніи совѣсть ея спокойна. Если что грубо задѣваетъ чехословаковъ, то лишь несправедливость нападокъ германской и судетонѣмецкой пропаганды, не останавливающейся передъ утвержденіемъ, будто Чехословакія ведетъ съ нѣмцами борьбу на уничтоженіе.

При такихъ условіяхъ становится яснымъ, что въ современномъ крайнемъ обостреніи проблемы нѣмецкаго меньшинства вопросъ не ставится въ плоскости національнаго существованія или упадка этого меньшинства, или возможности его свободнаго культурнаго и политическаго развитія въ чехословацкомъ государствѣ, но въ совсѣмъ иной плоскости. Вопросъ касается самыхъ основъ чехословацкой государственности.

Такое положеніе вещей было не всегда. Во время революціи 1848 года, въ борьбѣ за права человѣка и демократическія свободы, преобладающая часть свободомыслящихъ нѣмцевъ въ Чехіи стояла на сторонѣ чеховъ, хотя требованія послѣднихъ заключали въ себѣ также возстановленіе историческихъ правъ чешскихъ областей (земель). Но позднѣе, во всѣ послѣдующіе періоды чешской политической борьбы, уже въ обстановкѣ дуалистической австро-венгерской монархіи, подвергшей Словакию въ Венгріи безпощадной мадьяризаціи, а въ австрійской своей части установившей режимъ германизирующаго централизма, нѣмецкая политическая общественность почти цѣликомъ занимала рѣзко отрицательную позицію по отношенію къ стремленіямъ чеховъ возстановить свои государственныя права, стремленіямъ, которыми характеризовалась довоенная чешская политика въ своихъ основныхъ фазахъ. Лойальныя къ монархіи нѣмецкія группы защищали просто централистическія тенденціи Вѣны; но противъ Вѣны одновременно росло, преимущественно на территоріи чешскихъ историческихъ областей, пангерманское движеніе, стремившееся присоединить габсбургскія владѣнія въ германской имперіи; это движеніе

нашло себѣ много сторонниковъ именно среди «судетскихъ нѣмцевъ» (хотя это названіе въ то время не было общепринятымъ). Даже отличавшаяся наибольшей національной терпимостью нѣмецкая социаль-демократія въ Австріи поддерживала противъ чешскихъ требованій централизмъ не только потому, что онъ въ общемъ отвѣчалъ ея взглядамъ, но и въ противоборствѣ къ одинаково для Вѣны неприемлемымъ пангерманскимъ тенденціямъ. Такимъ образомъ, чехи въ своей борьбѣ за восстановление своихъ государственныхъ правъ въ рамкахъ Австро-Венгрии наталкивались на противодействие не только со стороны самой династии, но и со стороны австрійскихъ нѣмцевъ. Даже частичныя уступки чехамъ неизмѣнно встрѣчали сопротивление со стороны нѣмцевъ. Эти уступки касались преимущественно вопросовъ языка, ставшихъ предметомъ затяжной политической борьбы въ Австріи. Когда въ видѣ уступки чехамъ, въ чешскихъ областяхъ была введена двуязыковая система, нѣмцы выставили контръ-требованіе, чтобы районы, населенныя нѣмецкимъ большинствомъ (въ Чехии и въ Моравіи) были объединены въ «замкнутую область», на которую двуязыковая система не распространялась бы. Такимъ образомъ, уже во времена австрійскаго владычества были налицо поползновенія отторгнуть судетонѣмецкіе районы отъ чешскихъ областей съ цѣлью утверждения господства нѣмецкаго элемента въ этихъ районахъ и подавленія чешскаго элемента. Но даже находясь подъ австрійскимъ владычествомъ, чехи не допустили расщепленія чешскихъ областей; возможно ли ожидать, что они пойдутъ на это въ собственномъ, свободномъ государствѣ? Послѣ распада Австро-Венгрии и пражскаго переворота нѣмцы снова попытались отторгнуть нѣмецкіе районы отъ находящейся въ процессѣ образованія Чехословацкой республики. Но (что характерно для взаимоотношеній національностей въ Чехословакии), даже тогда у нихъ не являлось мысли выдѣлить компактную «судетонѣмецкую» территорию. Были образованы отдѣльныя «правительства» для четырехъ территорий: *Deutschböhmen* въ сѣверной Чехии, *Sudetenland* въ сѣверной Моравіи, *Znaïmergau* въ районѣ города Знаймо въ южной Моравіи и *Böhmerwaldgau* на Шумавь вдоль юго-западной границы Чехии. «Правительства» этихъ районовъ не считали обстановку благоприятной, чтобы притязать на присоединеніе къ побѣжденной Германіи, и высказались за то, чтобы прикнута къ Австріи, съ которой, однако, два крупнѣйшихъ изъ этихъ районовъ территориально не соприкасались. Попытка эта не удалась, не найдя себѣ особаго отклика у нѣмецкаго населенія

названныхъ районовъ и не имѣя за собой сколько-нибудь авторитетной поддержки извнѣ. Ея единственнымъ результатомъ было то, что нѣмецкая часть населенія не приняла участія въ разработкѣ чехословацкой конституціи и втеченіе полутора лѣтъ не имѣла фактически представителей ни въ парламентѣ, ни въ правительствѣ для защиты своихъ интересовъ въ новомъ государствѣ. Это обстоятельство, какъ мы уже отмѣтили, отнюдь не было съ чешской стороны использовано въ ущербъ нѣмецкому меньшинству.

Такимъ образомъ, нѣмецкія политическія партіи выступили впервые на политическую арену лишь послѣ выборовъ въ первый регулярный чехословацкій парламентъ въ 1920 году. Отъ нѣмецкаго меньшинства было избрано 72 депутата, а именно: 31 социаль-демократовъ, 16 депутатовъ націоналистическихъ партій (нѣмецкихъ националь-соціалистовъ и нѣмецкой национальной партіи), 11 нѣмецкихъ аграріевъ, 10 нѣмецкихъ христіанскихъ социалистовъ и 5 депутатовъ отъ нѣмецкой демократической партіи свободы. Всѣ нѣмецкія партіи, за исключеніемъ социаль-демократовъ, образовали такъ называемый нѣмецкій парламентскій блокъ, во главѣ котораго сталъ одинъ изъ вождей неудавшейся попытки отторженія «Deutschböhmen» — д-ръ Лодгманнъ. Обѣ нѣмецкія группы, какъ парламентскій блокъ, такъ и социаль-демократы, вошли въ парламентъ въ качествѣ рѣзкой оппозиціи и сдѣлали самостоятельныя, но въ сущности аналогичныя заявленія о томъ, что нѣмцы были включены въ Чехословацкую республику противъ ихъ воли и что они настаиваютъ на своемъ правѣ самоопредѣленія. Одновременно они выдвинули требованія объ отмежеваніи нѣмецкихъ районовъ отъ остальной территоріи и введеніи въ нихъ автономіи. Втеченіе всего перваго парламентскаго періода нѣмецкіе крайніе националисты пытались сорвать работы парламента систематическими obstructіями. Радикализмъ требованій нѣмецкой парламентской группы, вся предшествовавшая дѣятельность нѣмцевъ, а особенно уже упомянутая нами выше идеологическая борьба изъ-за нѣмцевъ внутри самого чехословацкаго политическаго лагеря сгущали внутренне-политическую атмосферу, но нѣмцы добились только того, что чехословацкія партіи снова сплотились воедино и даже въ критическій моментъ раскола социаль-демократіи и возникновенія коммунистической партіи смогли противопоставить нѣмецкой оппозиціи правительственное большинство. Только въ этотъ періодъ нѣмецкій радикализмъ испыталъ на себѣ твердость мажоритарнаго механизма. Зато результатъ неизмѣннаго возста-

новления чехословацкаго парламентскаго большинства былъ всегда положительный: въ части нѣмецкой парламентской группы начало возникать сомнѣнiе въ нѣлесообразности чисто отрицательной позиціи и зарождался сознание, что сотрудничество съ чехословацкими партіями скорѣе послужитъ интересамъ нѣмцевъ, чѣмъ безрезультатная борьба. Уже съ 1922 года начинается раздѣленіе нѣмецкаго политическаго лагеря на двѣ группы, изъ которыхъ одна проявляла готовность сотрудничать съ чехословацкими политическими партіями, а другая объединяла вокругъ себя крайнихъ сторонниковъ борьбы съ чехословацкимъ государствомъ. Въ результатѣ, нѣмецкій парламентскій блокъ распался на двѣ группы: *Arbeitsgemeinschaft* («активисты», сторонники органическаго сотрудничества въ рамкахъ конституціи) и *Kampfgemeinschaft* («негативисты») радикальная оппозиція. Нѣмецкіе социаль-демократы, принужденные послѣ раскола партіи вести борьбу на два фронта — и съ коммунистами, и съ націоналистами, стремившимся выгадать на этомъ расколѣ — въ то время еще не созрѣли для активизма и часто состязались въ радикализмѣ требованій съ самими націоналистами.

Въ теченіе трехъ послѣдующихъ лѣтъ нѣмецкій активизмъ укрѣплялъ свои позиціи въ нѣмецкой общественности. Успѣхъ его могъ, разумѣется, обнаружиться лишь на выборахъ, и уже выборы 1925 года наглядно показали побѣду активистовъ и поражение негативистовъ. Число мандатовъ активистскихъ партій возросло съ 26 до 47, что дало активистамъ абсолютное большинство нѣмецкихъ голосовъ въ парламентѣ. Это позволило чехословацкимъ партіямъ начать съ ними переговоры, которые, при активномъ участіи лидера чехословацкихъ аграріевъ, покойнаго Антонина Швеглы, нынѣшняго премьеръ-министра д-ра Годжи и покойнаго лидера національ-демократовъ д-ра Крамаржа, завершились образованіемъ въ 1926 году перваго національно-смѣшаннаго правительства буржуазнаго состава. Съ 1926 и до марта 1938 года всѣ чехословацкіе кабинеты были смѣшанными и нѣмецкія активистскія партіи участвовали въ управленіи государствомъ. Послѣ того какъ нѣмецкая социаль-демократія оправилась отъ потрясеній, вызванныхъ расколомъ партіи, и осознала, на опытѣ буржуазнаго кабинета, важность участія социалистическаго элемента въ правительствѣ, она также примкнула къ активистамъ. Участіе активистовъ въ правительствѣ принесло нѣмецкому меньшинству большія преимущества практическаго характера и длившееся двѣнадцать лѣтъ сотрудничество нѣмцевъ съ чехословаками

безспорно было полезно для обѣихъ сторонъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что это сотрудничество продолжалось бы по сей день и находило бы себѣ все больше и больше почвы, если бы побѣда національ-соціализма въ Германіи не оказала такого сильного вліянія на нѣмецкое меньшинство въ Чехословакии.

Германскій національ-соціализмъ послужилъ мощнымъ импульсомъ къ подъему энергии сторонниковъ пангерманской идеи не только въ Австріи, но и въ Чехословакии, гдѣ обѣ нѣмецкихъ негативистскихъ партій, какъ сама нѣмецкая національ-соціалистическая партія въ Чехословакии, такъ и нѣмецкая національная партія, стремились использовать его успѣхъ и всемирно содѣйствовать его экспансии. Вскорѣ послѣ перехода власти въ Германіи къ національ-соціалистамъ, дѣятельность обѣихъ названныхъ партій въ Чехословакии приобрѣла такой характеръ, что было признано нужнымъ примѣнить по отношенію къ нимъ законъ о роспускѣ политическихъ партій, подрывающихъ демократическій строй и цѣлостность Чехословацкой республики. Послѣ того, какъ была распушена нѣмецкая национальная партія, нѣмецкая національ-соціалистическая партія ликвидировалась сама, а ея вожди, депутаты чехословацкаго парламента Юнгъ и Кребсъ, бѣжали въ Германію, гдѣ оба до сихъ поръ занимаютъ посты депутатовъ рейхстага, достаточно ясно свидѣтельствуя этой своей функцией объ экспансивныхъ цѣляхъ Германіи въ Чехословакии.

Ликвидация нѣмецкой національ-соціалистической партіи была произведена при характерныхъ обстоятельствахъ. Подъ вліяніемъ «тоталитарной» идеологии, проповѣдуемой Третьей имперіей, негативисты пытались вызвать среди судетскихъ нѣмцевъ «тоталитарное» движеніе въ формѣ Volksfront, который долженъ былъ объединить вокругъ себя всѣ нѣмецкія партіи, культурныя и прочія нѣмецкія организаціи въ Чехословакии. За три дня до упомянутой ликвидации національ-соціалистической партіи, на нѣмецкой общественной аренѣ появилась новая фигура, до тѣхъ поръ политически никакъ себя не проявившая, а именно предсѣдатель нѣмецкой гимнастической организаціи (Turnverband) Конрадъ Генлейнъ, опубликовавшій воззваніе ко всѣмъ судетскимъ нѣмцамъ съ призывомъ вступить въ члены единого судетонѣмецкаго фронта, представляемаго новой организаціей Sudetendeutsche Heimatsfront, во главѣ которой стоялъ онъ самъ въ качествѣ ««фюрера». Черезъ три дня нѣмецкая національ-соціалистическая партія была ликвидирована, а всѣ ея руководящіе дѣяте-

ли, равно какъ и активные дѣятели распущенной національной партіи, вступили въ Heimatsfront Генлейна.

Таково было начало этого движенія, датируемое 1 октября 1933 г. Годъ спустя Heimatsfront преобразовался въ Sudetendeutsche Partei Конрада Генлейна. Судетонѣмецкая партія, обладая крупными матеріальными средствами, собственной печатью и развитымъ аппаратомъ, состоящимъ изъ молодыхъ людей, развернула лихорадочную агитаціонную дѣятельность передъ новыми выборами въ парламентъ. Поднятая агитація по своимъ приѣмамъ, характеру и идеологической подкладкѣ указывала на тѣсную идейную и тактическую связь съ германскимъ національ-соціализмомъ и ловко использовала для своихъ цѣлей экономическія затрудненія, вызванныя тогдашнимъ тяжелымъ хозяйственнымъ кризисомъ, особенно ошутимымъ, естественно, въ экспортной промышленности нѣмецкихъ районовъ. Впрочемъ, эта партія дѣйствовала съ оглядкой, чтобы не вызвать необходимости ея роспуска, долгое время отрицала какъ передъ выборами, такъ и въ парламентѣ, что раздѣляетъ и поддерживаетъ «тоталитарные» взгляды, и всячески увѣряла, что она является демократической партіей. Только 14 апрѣля 1938 года, т. е. уже послѣ аншлусса, Конрадъ Генлейнъ провозгласилъ въ Карловахъ Варахъ (Карлсбадѣ), что онъ и его партія раздѣляютъ національ-соціалистическое міровоззрѣніе. Раньше эта партія утверждала, что она стоитъ на платформѣ республики, но высказывалась туманно и неопредѣленно до того момента, пока судьба Австріи не окрылила ее надеждъ на повтореніе того же въ Чехословакіи.

На выборахъ въ парламентъ въ маѣ 1935 года партія Генлейна имѣла неожиданный успѣхъ. Вѣрнѣе, извѣстный успѣхъ ея можно было заранее предвидѣть, но неожиданнымъ было то, что эта партія получила двѣ трети всѣхъ нѣмецкихъ мандатовъ. Используя свой успѣхъ и приобретя сильныя позиціи въ парламентѣ, партія еще шире развернула крайнюю пропаганду, въ которой ограничивалась больше критикой, чѣмъ выставляла положительныя требованія, и утверждала, что нужда, порожденная экономическимъ кризисомъ, въ дѣйствительности является слѣдствіемъ чешской политики, проникнутой враждебнымъ отношеніемъ къ нѣмцамъ, и что будто бы чехи намѣренно «берутъ изморомъ» судетонѣмецкіе районы. Въ качествѣ средства противъ этого выставлялась судетонѣмецкая автономія.

Эти нападки, переносимыя изъ судетонѣмецкой въ германскую печать и въ радио, росли съ неимовѣрной быстротой, при-

чемъ активистскія партіи — союзъ нѣмецкихъ земледѣльцевъ, нѣмецкіе христіанскіе социалисты и нѣмецкіе социаль-демократы подвергались особенно рѣзкимъ нападкамъ и обвиненіямъ.

Активисты защищались по мѣрѣ силъ и судя по многимъ признакамъ имъ удалось бы защитить свои позиціи, если бы не мартовскія событія въ Австріи, которыя вырвали у нихъ почву подъ ногами. Разумѣется, и у нихъ были свои національно-политическія требованія. Эти требованія встрѣтили съ чехословацкой стороны полное пониманіе, нашедшее себѣ выраженіе въ извѣстномъ постановленіи чехословацкаго правительства 18 февраля 1937 года. Это постановленіе намѣтило вѣхи для дальнѣйшаго развитія національной политики правительства, выдвинувъ принципъ послѣдовательнаго пропорціональнаго участія нѣмецкаго меньшинства въ государственной администраціи, общественномъ управленіи и пр.

Нѣмецкій активизмъ боролся съ генлейновскимъ радикализмомъ до марта тек. года, подчеркивая при этомъ свою вѣрность демократическимъ принципамъ и доказывая правильность «политики 18 февраля». Еще въ годовщину упомянутаго правительственнаго постановленія, 18 февраля 1938 года, президіумы всѣхъ трехъ активистскихъ партій устроили въ сенатѣ общее торжественное собраніе, на которомъ была дана самая положительная оцѣнка результатовъ этой политики. Но 11 марта 1938 года было произведено присоединеніе Австріи къ Германіи и это событіе подорвало нѣмецкій активизмъ въ Чехословакіи. Пять дней спустя, нѣмецкая аграрная партія представила рѣшеніе своей участи председателю партіи Гакеру, который единолично объявилъ ликвидацію партіи и ея сліяніе съ партіей Генлейна. А черезъ два дня ея примѣру послѣдовала и нѣмецкая партія христіанскихъ социалистовъ по постановленію президіума партіи. Единственной активистской партіей осталась нѣмецкая социаль-демократическая партія, которая, однако, пережила внутренній кризисъ и перемѣнила своего председателя. Во главѣ партіи сталъ молодой депутатъ Якшъ, послѣдовательный противникъ Генлейна и ярко выраженный демократъ, но приверженецъ такъ называемаго «народнаго социализма» скандинавскаго типа (Volksozialismus). Прежній председатель партіи и ея представитель въ кабинетѣ министровъ, старый марксистъ, министръ д-ръ Чехъ, сославшись на то, что онъ не можетъ изъ идейныхъ соображеній сотрудничать съ Якшемъ, выступилъ изъ партіи и отказался отъ министерскаго поста. Другой кандидатъ на этотъ постъ отъ социаль-демократической партіи назначенъ уже не былъ.

Добровольное «Gleichschaltung», въ которомъ двѣ ранѣ бывшихъ активистскими партіи послѣдовали примѣру Австріи, создало новую политическую ситуацію. Судетонѣмецкая партія стала самой сильной фракціей въ парламентѣ. Правительственное большинство потеряло партнеровъ, правда, представлявшихъ лишь меньшинство въ нѣмецкомъ лагерѣ, но все же замѣтное меньшинство, у котораго были всѣ шансы для проведенія въ жизнь своихъ политическихъ стремленій.

Переговоры о меньшинственныхъ вопросахъ уже не могли вестись, какъ до сего времени, безъ судетонѣмецкой партіи и попытка новаго рѣшенія, признанная въ новой обстановкѣ необходимой, имѣла предпосылкой, что эта партія сформулируетъ свои требованія. Премьеръ-министръ д-ръ Годжа огласилъ по радио намѣреніе правительства договориться о дальнѣйшемъ урегулированіи меньшинственного вопроса, послѣ чего правительство вошло въ контактъ съ партіей Генлейна, чтобы установить возможность компромисса, при непремѣнномъ условіи, однако, чтобы онъ не ставилъ подъ угрозу плѣдность, независимость и демократическій строй Чехословацкой республики. При соблюденіи этого условія правительство выразило готовность пойти навстрѣчу требованіямъ нѣмецкаго меньшинства до крайнихъ предѣловъ возможнаго.

Какъ извѣстно, эти переговоры ведутся до сихъ поръ. Извѣстно, что 21 мая этого года на границахъ Чехословацкой республики положеніе крайне обострилось, но благодаря энергичнымъ мѣрпріятіямъ чехословацкаго правительства снова наступило успокоеніе; извѣстно также, что за ходомъ этихъ переговоровъ съ напряженнымъ интересомъ слѣдятъ за границей, въ частности во Франціи и въ Англии, гдѣ имъ придается значеніе крупнаго фактора въ дѣлѣ сохраненія европейскаго мира; извѣстно, наконецъ, что исключительный интересъ Англии нашелъ свое выраженіе въ томъ, что лордъ Ренсменъ взялъ на себя миссію независимаго «наблюдателя и посредника», чтобы помочь найти компромиссъ.

Удастся ли такой компромиссъ отыскать? Въ данный моментъ отвѣтить на этотъ вопросъ невозможно, если мы не хотимъ ограничиться лишь выраженіемъ пожеланій. Среди чехословацкой общественности едва ли найдется хоть одинъ человекъ, который бы счелъ реальными требованія судетонѣмецкой партіи въ той формѣ, въ какой они были сформулированы въ меморандумѣ партіи, представленномъ правительству 7 июня.

Мы лишены возможности привести здѣсь полностью текстъ этого обширнаго документа. Судетонѣмецкій планъ содержитъ

въ себѣ требованіе объединенія всѣхъ гражданъ одной національности въ «национальную группу» (Фольксгруппъ), которая должна разсматриваться какъ юридическое лицо и въ качествѣ такового фигурировать въ государственной - правовой жизни, какъ равноправная съ остальными единица. Наряду съ этой «личной» автономіей планъ выставляетъ также требованіе территориальной автономіи, т. е. послѣдовательное разчлененіе территории по національному признаку. Возможно-ли такое разчлененіе вообще? Соотношеніе между личной и территориальной автономіей въ планѣ вообще конкретно не формулировано. Личная и территориальная національная автономія находить свое выраженіе въ Национальномъ собраніи въ видѣ національныхъ курій, компетенціи которыхъ устанавливаются столь широкія границы, что фактически она обнимаетъ въ себѣ все, кромѣ вѣдомства иностранныхъ дѣлъ, военнаго вѣдомства и нѣкоторыхъ общихъ законовъ. Полиція изымается изъ вѣдѣній государства. Руководство національными группами фактически цѣликомъ переходитъ въ руки одного лица: національная группа избираетъ своего предсѣдателя, который не является отвѣтственнымъ передъ парламентомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ автоматически становится членомъ правительства. Этотъ предсѣдатель назначаетъ «директорію» группы, члены которой стоятъ во главѣ административныхъ органовъ. На территории нѣмецкаго меньшинства чиновниками могутъ назначаться только нѣмцы (даже если тамъ имѣется крупное ненѣмецкое меньшинство), тогда какъ въ центральныхъ государственныхъ органахъ національности должны быть представлены пропорціо-нально. Предсѣдатель директоріи имѣетъ право назначать и смѣнять. Можно-ли послѣ этого утверждать, что эти предложенія совмѣстимы съ принципами недѣлимости, независимости и демократической формы правленія?

Какъ извѣстно, чехословацкое правительство подготавливаетъ въ свою очередь проектъ, въ который войдетъ изъ предложеній судетонѣмецкой партіи все, что только приемлемо съ точки зрѣнія вышеизложенныхъ принциповъ. Извѣстно также, что будетъ изданъ особый статутъ національностей, который объединитъ въ себѣ всѣ основныя постановленія о правахъ меньшинствъ. Другіе параллельные проекты заключаютъ въ себѣ расширеніе компетенціи окружныхъ представительствъ, причемъ въ этихъ основныхъ административныхъ единицахъ управленіе мѣстными дѣлами будетъ въ рукахъ выборныхъ коллегій, такъ что, напр., въ округахъ съ нѣмецкимъ большинствомъ населенія названные вопросы будутъ рѣшаться нѣмецкимъ

большинствомъ. Измѣненія будутъ внесены также и въ краевые (земскіе) органы, во главѣ которыхъ будутъ стоять краевые (земскіе) сеймы, носящіе отчасти нормативныя функціи, особенно въ вопросахъ хозяйственныхъ. Вопросы национально-меньшинственного характера должны рѣшаться (разумѣется, демократическимъ, а отнюдь не авторитарнымъ путемъ) национальными куріи краевыхъ (земскихъ) сеймовъ. Законъ о пользованіи роднымъ языкомъ подвергается реформѣ, въ смыслѣ расширенія меньшинственныхъ правъ. Проектъ, касающійся организаціи краевого (земскаго) самоуправления переданъ уже судетнѣмской партіи. Остальные проекты доканчиваются.

Въ какой мѣрѣ окажется возможнымъ привести намѣченные требованія и контръ-предложенія къ такому компромиссу, который былъ бы принятъ всѣми участниками ведущихся переговоровъ, — покажетъ ходъ самихъ переговоровъ. Во всякомъ случаѣ, съ чехословацкой стороны было сдѣлано все, что только было въ предѣлахъ возможнаго, чтобы помочь осуществленію компромисса.

1 сентября 1938 г.

Вацлавъ Калоусъ.

Въ дополненіе къ статьѣ Вацлава Калоуса считаемъ нужнымъ привести тексты двухъ основныхъ документовъ, формулирующихъ съ одной стороны требованія партіи Генлейна, съ другой — окончательныя предложенія чехословацкаго правительства.

I. Восемь пунктовъ такъ наз. Карлсбадской программы.

§ 1. Полное равноправіе группы судетскихъ нѣмцевъ съ чехословаками.

§ 2. Признаніе за судетами правъ юридического лица.

§ 3. Признаніе и установленіе границъ территоріи судетскихъ нѣмцевъ.

§ 4. Созданіе автономной нѣмецкой администраціи на территоріи судетовъ во всѣхъ публичныхъ учрежденіяхъ, обслуживающихъ интересы нѣмецкой національной группы.

§ 5. Мѣры покровительства нѣмецкимъ выходцамъ, проживающимъ внѣ территоріи судетовъ.

§ 6. Возмѣщеніе несправедливостей, которыя потерпѣло нѣмецкое населеніе съ 1918 г.

§ 7. Признаніе и примѣненіе на практикѣ принципа приѣма на службу нѣмецкихъ чиновниковъ на территоріяхъ съ нѣмецкимъ населеніемъ.

§ 8. Полная свобода для судетскихъ нѣмцевъ примыкать къ националь-соціалистической идеологии нѣмецкаго государства.

II. Отвѣтныя предложенія чехословацкаго правительства.

къ § 1. Это требованіе принято; національности будутъ представлены, пропорціонально ихъ численности, въ административныхъ органахъ государства и во всѣхъ другихъ публичныхъ учрежденіяхъ.

къ § 2. Гражданамъ различныхъ національностей будетъ гарантировано право голоса не только въ отношеніи ихъ принадлежности къ данной національности, но и относительно распоряженія ихъ имуществомъ и защиты противъ политическаго, социальнаго и экономическаго угнетенія.

Въ случаѣ нарушенія этого закона, членамъ кантональных собраний и курій будетъ принадлежать право апеллировать по поводу этихъ правонарушеній къ соответствующимъ властямъ.

Этимъ способомъ граждане различныхъ національностей будутъ имѣть возможность защищать ихъ національныя права какъ благо коллективное и выражать такимъ образомъ ихъ коллективное національное сознаніе.

къ § 3. Это требованіе принято; оно будетъ осуществлено посредствомъ національнаго самоуправленія, организованнаго административно на основаніи системы «жуповъ» (кантоновъ).

къ § 4. Это требованіе принято.

къ § 5. Полностью принято.

къ § 6. Это требованіе удовлетворено: посредствомъ пропорціональнаго представительства судетскихъ нѣмцевъ въ административныхъ органахъ государства и во всѣхъ публичныхъ учрежденіяхъ; черезъ заемъ судетскимъ областямъ въ размѣрѣ 700 милл. коронъ и черезъ полное равенство языковъ чехословацкаго, нѣмецкаго, венгерскаго, польскаго и русскаго.

къ § 7. Это требованіе приемлемо въ общемъ и принято; его примѣненіе въ жизни, имѣя въ виду большую національную пестроту населенія, должно быть приспособлено къ практическимъ нуждамъ государства и его подданныхъ. Государственныя нужды и интересы требуютъ, чтобы чиновники различныхъ національностей, въ томъ числѣ нѣмецкіе чиновники, несли службу по всей территоріи республики. Эти потребности государства означаютъ, что еще 30% нѣмецкихъ чиновниковъ могутъ быть назначены на службу въ округахъ (кантонахъ), гдѣ граждане нѣмецкой національности не составляютъ большинства населенія.

Будетъ восстановлена прежняя система полиціи, т. е. организована мѣстная жандармерія и полиція (вмѣсто находящейся сейчасъ въ судетской области полиціи государственной).

къ § 8. Эта проблема не ставится, ибо демократическое чехословацкое государство признаетъ за каждымъ своимъ гражданиномъ и за каждымъ коллективомъ право принадлежать къ любой національности и къ любому міросозерцанію, лишь бы они полностью оставались въ рамкахъ закона.

Ред.

Россія и Западъ

I.

Безоговорочное и непримиримое противопоставленіе Россіи Западу, Запада Россіи есть ядро идейнаго комплекса, любопытнаго прежде всего тѣмъ, что его создали и дружно развивали ни въ чемъ другомъ не согласные между собой умы: исключительные приверженцы всего русскаго въ Россіи и фанатическіе поклонники Запада на Западѣ. Первымъ принадлежитъ то преимущество надъ вторыми, что ихъ воззрѣнія, даже самой крайностью своей, содѣйствовали осознанію національных особенностей Россіи, тогда какъ европейскій Западъ самъ представляетъ собой сложное сочетаніе національных культуръ, по отношенію къ которымъ положительная работа такого рода давно уже была исполнена. Однако, при всей неравноцѣнности теорій, основная ошибка и тѣхъ, и другихъ теоретиковъ одна: ихъ представленію о Европѣ не хватаетъ широты и гибкости. И тѣ, и другіе стремятся возвеличить «свое» путемъ умаленія «чужого», не понимая относительности различія между своимъ и чужимъ, и само стремленіе это приноситъ имъ заслуженную кару, неизбѣжно приводя къ суженію своего, которому начинаетъ отовсюду угрожать ихъ же собственными усилиями раздутье, разросшееся чужое. Ревнивые европейцы окапываются за Рейномъ и Дунаемъ, а наши собственные самобытники отступаютъ отъ Невы къ Москвѣ-рѣкѣ, покуда и Москва не показалась имъ еще недостаточно восточной.

Это понятіе Востока, примѣняемое къ Россіи (а то и къ славянской или православной Европѣ вообще), самой расплывчатостью и переѣмчивостью своей указываетъ на полемическое свое происхожденіе. Что такое «Западъ», т. е. западная Европа, это болѣе или менѣе ясно всякому, но что такое Востокъ, гораздо менѣе ясно; это понятіе конструируютъ какъ угодно, съ тѣмъ только, чтобы оно возможно рѣзче противопоставлялось все равно положительно или отрицательно оцѣниваемому Западу. Въ сколько-нибудь послѣдовательной системѣ культурно-историческихъ понятій европейскій Западъ

долженъ противоположаться такому же европейскому Востоку, а затѣмъ оба они, въ качествѣ Европы, — азіатскому Востоку, ближнему или дальнему. Православіе можно называть восточнымъ христіанствомъ, но его нельзя назвать христіанствомъ азіатскимъ. Русскую культуру можно называть восточно-европейской, но она родилась и развилась въ Европѣ, а не въ Азіи. Понятіе Евразіи по отношенію къ Россіи географически столь же оправдано, какъ понятіе Еврафрики по отношенію къ Испаніи, но ни о евразійской, ни о еврафриканской культурѣ говорить нельзя, а можно говорить лишь о національныхъ культурахъ русской и испанской, въ которыхъ черты занесенныя съ востока сыграли большую роль, чѣмъ въ національныхъ культурахъ другихъ европейскихъ странъ. Всѣ эти простыя истины забывались бы менѣе легко, если бы сравнительно отчетливѣя понятія Азіи, или ближняго востока, или магометанскаго міра, не замѣнялись постоянно всезначущимъ словомъ Востокъ, безпрепятственно дающимъ себя использовать любой идеологией. Стоитъ это слово произнести, чтобы все европейское, но не относящееся къ Западной Европѣ, немедленно превратилось въ нѣчто отнюдь не европейское уже, а иное, враждебное, «восточное». Эта магическая операція удавалась безчисленное количество разъ въ минувшемъ вѣкѣ, да и сейчасъ не лишилась способности затмевать какъ западные, такъ и русскіе умы. Ей мы обязаны тѣмъ невѣрнымъ, идущимъ въ равной мѣрѣ отъ Чаадаева и первыхъ славянофиловъ истолкованіемъ допетровской Руси, которое противопоставляетъ ее Европѣ уже тѣмъ самымъ, что выводитъ ее изъ византійской традиціи.

Византія не Азія; она, какъ и западный міръ, вырастаетъ изъ античной и христіанской основъ европейской культуры. Вполнѣ законно ее Западу противоположать, но лишь въ качествѣ е в р о п е й с к а г о Востока. Востокъ и Западъ единой Европы не два инородныхъ (хотя бы и находившихся въ общеніи другъ съ другомъ) міра, а двѣ половины одной и той же культуры, основанной на христіанствѣ и античности. Ихъ потому и плодотворно другъ съ другомъ сравнивать, другъ другу противопоставлять, что они внутренне объединены великимъ духовнымъ наслѣдіемъ, воспринятымъ по разному, но отъ этого не утратившимъ единства. Вотъ почему византійское вліяніе на Западъ или позже западное вліяніе на воспитанный Византіей міръ не можетъ быть сравниваемо съ такими явленіями, какъ китайское христіанство или воспріятіе арабами греческой философіи и науки. Если византійская имперія была географически въ значительной мѣрѣ имперіей азіатской, то вѣдь и дреа-

не-греческая культура цвѣла въ малоазіатскихъ городахъ, и христіанство родилось не въ Афинахъ и не въ Римѣ, и крупнѣйшаго изъ отцовъ западной церкви бл. Августина лишь историкъ причислитъ къ Европѣ, а географъ оставитъ въ Африкѣ. Историческое понятіе Европы съ географическимъ не совпадаетъ: историческая Европа родилась три тысячи лѣтъ тому назадъ на крайнемъ востокѣ средиземноморскаго бассейна, а сѣверная часть европейскаго материка не многимъ больше (а то и меньше) тысячи лѣтъ вообще живетъ историческою жизнью. Въ византійской культурѣ несомнѣнно есть больше подлинно восточныхъ или азіатскихъ элементовъ, чѣмъ въ культурѣ западнаго средневѣковья, однако, и въ ней эти элементы находятся не въ центрѣ, а на периферіи; ихъ больше на окраинахъ, чѣмъ въ столицѣ, и въ проявленіяхъ второстепенныхъ, чѣмъ въ жизненныхъ и существенныхъ. Очень хорошо это видно на примѣрѣ художественнаго творчества, гдѣ константинопольская традиція сохраняетъ наибольшую вѣрность греческо-христіанской его основѣ и гдѣ позднія восточныя (особенно персидскія) вліянія, свободно проникающія въ область орнаментально-декоративную, задерживаются на порогѣ большой архитектуры и церковнаго изобразительнаго искусства. Правда, въ самомъ образованіи византійскаго художественнаго стиля восточные элементы сыграли, какъ извѣстно, значительную роль, но творческая работа, приведшая къ созданію его, въ томъ и заключалась, что эти элементы были поставлены въ новую связь и по новому оформлены эллинскимъ ритмическимъ чувствомъ и христіанской волей къ одухотворенію тѣлеснаго.

Византійская культура была прежде всего культурой греко-христіанской и только въ этомъ своемъ качествѣ она могла стать воспитательницей еще лишенныхъ высокой культуры народовъ восточной Европы. Въ составѣ огромнаго дара, полученнаго или унаслѣдованнаго отъ нея, могли быть и специфически-восточныя черты, однако, въ большинствѣ преобразованная эллинствомъ и христіанствомъ, и во всякомъ случаѣ не опредѣляющія его абсолютной цѣнности и историческаго значенія. Воспитанная Византіей древняя Русь не могла быть воспитаніемъ этимъ отрѣзана отъ Европы, такъ какъ воспитаніе состоялось прежде всего въ передачѣ ей греко-христіанской традиціи; она могла быть только отрѣзана отъ Запада въ силу того, что византійское христіанство отличалось отъ западнаго христіанства и воспринятая сквозь Византію античность — отъ античности, воспринятой Западомъ сквозь Римъ. Правда, еще до татарскаго нашествія Россія была открыта вліяніямъ, шед-

шимъ непосредственно изъ восточныхъ частей византійской имперіи, съ Кавказа и изъ Закавказья черезъ Трапезундъ; это привело, однако, лишь къ эпизодическимъ заимствованіямъ, какихъ было сколько угодно и въ западной Европѣ. Какъ все больше выясняется, нѣкоторые ориентальные и архитектурные мотивы пропутешествовали частью морскимъ путемъ, частью же, вѣроятно, и сухопутнымъ, черезъ Россію, на крайній Западъ. Ничто такъ не похоже на армянскіе украшенные рѣзьбой кресты, какъ такіе же кресты Ирландіи, и такого же рода странствіемъ съ востока на западъ, спустя нѣсколько вѣковъ, можно объяснить наличие сходныхъ декоративныхъ принциповъ въ скульптурномъ украшеній суздальскихъ церквей и нѣкоторыхъ памятниковъ Кавказа, южной Германіи и Франціи. Это движеніе формъ не имѣетъ къ тому же ничего общаго съ византійской традиціей, какъ цѣлымъ. Традиція эта, въ области искусства, какъ и въ другихъ областяхъ, противопоставила Россію, вмѣстѣ съ остальнымъ православленнымъ міромъ, Западу, но не только не овосточнила, не объазіатила ее, а напротивъ опредѣлила ей на вѣка впередъ быть ничѣмъ инымъ какъ именно Европой.

Церковно-славянскій языкъ, воспитавшій русскій и, въ концѣ концовъ, слившійся съ нимъ въ новомъ русскомъ литературномъ языкѣ, въ своемъ культурномъ словарѣ, словообразованіи, синтаксисѣ, стилистическихъ возможностяхъ есть точный сколокъ съ греческаго языка, въ отношеніи внутренней формы (хотя, конечно, не происхожденія) гораздо болѣе близкій къ нему, чѣмъ романскіе языки къ латинскому. Проповѣди Кирилла Туровскаго по своей музыкальности, по своему утонченному ритмико-синтаксическому складу ближе стоятъ къ греческимъ образцамъ, чѣмъ даже латинскія писанія его западныхъ современниковъ къ высокимъ образцамъ латинской прозы. Икона Рублева ближе къ греческому пониманію полноты формы, мелодичности линіи и насыщенности ритма, чѣмъ искусство Мазаччіо или Фра Беато, его современниковъ въ Италіи. Благочестіе, благолѣпіе, благоговѣніе, благообразіе, чистосердечіе, милосердіе, цѣломудріе, умиленіе, — все это не только по-гречески сложенные слова, но и по-гречески воспринятые образы жизни и мысли, ставшіе сперва церковно, а потомъ и народно русскими, какъ о томъ свидѣтельствуетъ старецъ изъ «Подрустка», знающій единое осужденіе: «Благообразія не имѣютъ» и наставляющій близкихъ къ блаженному и благолѣпному житію. «Православіе, — сказалъ Розановъ, — въ высшей степени отвѣчаетъ гармоническому духу, но въ высшей степе-

ни не отвѣчаетъ потревоженному духу», если же когда-нибудь была культура гармоническаго духа, то это — греческая культура, и если это греческое христіанство, проникающее всю древне-русскую духовную жизнь, называть «Востокомъ» или Азіей, то неизвѣстно, что же еще будетъ позволено называть Европой.

Опираясь на фактъ византійской преемственности, можно подчеркивать особенность русской культуры по отношенію къ Западу, но только утверждая ея принадлежность къ общей христіанско-европейской культурѣ, наслѣдницѣ классической древности. Поэтому новѣйшіе послѣдователи славянофильской традиціи опираются уже не на зрѣлы фактъ, а на факты, свидѣтельствующіе въ ихъ глазахъ о связяхъ древней Руси не съ Византійей или неопредѣленнымъ «Востокомъ», а непосредственно съ тюрко-татарской или монгольской Азіей. Факты эти распадаются на двѣ категоріи: одни предшествуютъ отпочкованію древне-русской культуры отъ культуры византійской (и могутъ касаться поэтому лишь географическихъ, этническихъ и фольклористическихъ предпосылокъ русскаго культурнаго развитія), другіе относятся къ вѣкамъ, когда эта византійско-русская культура уже существуетъ и живетъ историческою жизнью (такъ что слѣдуетъ разсмотрѣть, не образуютъ ли они всего лишь совокупность ея наносныхъ, виѣшнихъ и заимствованныхъ чертъ). О той, и о другой категоріи фактовъ можно сказать, что евразійскія наблюденія, относящіяся къ нимъ, вѣрны, но что выводы, дѣлаемые изъ этихъ наблюденій, неправильны. Евразія, какъ «мѣсторазвитіе» — плодотворная формула, многое объясняющая въ русской исторіи, при условіи не считать мѣсторазвитіе предопредѣленіемъ и не создавать такимъ образомъ новой разновидности географическаго детерминизма. Точно также наблюденія, касающіяся этническаго состава русскаго народа или извѣстныхъ чертъ русскаго языка, народной музыки и народной орнаментики, позволяющихъ сближеніе съ аналогичными чертами азіатскихъ народовъ, сами по себѣ цѣнны, но должны быть истолкованы, какъ относящіяся къ матеріалу, изъ котораго строится культура, или къ почвѣ, на которой она строится, а не къ самой культурѣ. Русскій языкъ, какъ этническое явленіе, обнаруживаетъ нѣкоторыя черты сходства съ тюрко-татарскими языками, но русскій языкъ, какъ явленіе національной культуры, т. е. русскій литературный языкъ, сложился не подъ татарскимъ, а подъ греческимъ влияніемъ, къ которому прибавилось впослѣдствіи влияніе западно-европейскихъ языковъ. Въ высокихъ памятникахъ искусства,

литературы, религіозной жизни древней Руси столь же мало азіатскаго, какъ и въ культурѣ послѣ-петровской Россіи. Что же касается отдѣльныхъ элементовъ, перенятыхъ у татаръ послѣ татарскаго нашествія или заимствованныхъ Москвою у Персіи, Индіи или Китая, то они конечно сыграли свою роль, подобно тому какъ арабскія вліянія сыграли еще гораздо большую роль въ испанской культурѣ, но греческое христіанство, Византію, а слѣдовательно Европу, они изъ Россіи не вытравили, точно такъ же, какъ и мавры не сумѣли превратить Испанію въ неевропейскую страну.

Позитивистическія или натуралистическія предпосылки евразіиства сказываются въ стремленіи пѣликомъ выводить культуру изъ данныхъ географіи и этнологіи, забывая о томъ, что духовная преемственность можетъ оказаться сильнѣй и тѣхъ, и другихъ, а также въ пониманіи національной культуры, какъ нѣкоего непосредственнаго выдѣленія народа, тогда какъ она можетъ содержать не только не народныя по своему происхожденію, но и противонародныя черты. Стать на такую точку зрѣнія значитъ отказаться признавать венгровъ европейскимъ народомъ или видѣть, что элдинство Гете или Гельдерлина столь же подлинно, какъ ихъ германство, что западность и русскость Пушкина — одно; это значитъ въ конечномъ счетѣ утверждать, что христіанами могутъ быть только евреи или что въ средневѣковой Франціи дѣла французская, но не христіанская культура. Вѣрно въ этихъ воззрѣніяхъ лишь то, что духовная преемственность протекаетъ не въ царствѣ духа, а въ условіяхъ историческаго существованія, вслѣдствіе чего христіанство, античность, византіиство и все вообще, что распространяется и передается, мѣняетъ свой обликъ подъ вліяніемъ мѣстныхъ условій, окрашивается по новому въ новой этнической средѣ. Для того, кто хочетъ опредѣлить степень «восточности» древней Руси и степень ея принадлежности Европѣ, открыть только одинъ путь: провѣрить, въ какіе именно тона окрашивается она византіискую культуру, какимъ образомъ дѣлаетъ она ее русской, тѣмъ самымъ видоизмѣняя, перетолковывая ее на новый ладъ. Если бы историки согласились правильно поставить вопросъ, а именно спросить себя, была ли древняя Русь такъ сказать западнѣй или восточнѣй Византіи, они давно нашли бы и правильный отвѣтъ, который избавилъ бы ихъ отъ лишнихъ споровъ и недоразумѣній.

До-петровская русская культура была западнѣе византіиской, и потому дѣло Петра было лишь законнымъ завершеніемъ того круга, прошедшаго сквозь четырнадцать вѣковъ

исторического пути, который начался основаніемъ Константинополя и кончился основаніемъ Петербурга. Религіозная, государственная, правовая жизнь древней Руси, при всѣхъ отличіяхъ отъ Запада, была все же ближе къ нему, чѣмъ соотвѣтственные области византійской культуры. Св. Сергій Радонежскій въ концѣ концовъ даже и болѣе похожъ на св. Франциска, чѣмъ на любого византійскаго подвижника. Русскій расколъ, несмотря на всѣ тѣ черты, что такъ глубоко отличаютъ его отъ западной Реформаціи, все же внутренне ближе къ ней, чѣмъ любое религіозное движеніе въ византійскомъ мірѣ. Государственный и правовой бытъ удѣльнаго періода во всякомъ случаѣ менѣе похожъ на Византію, чѣмъ на Западъ, а византійская идеологія Москвы весьма сильно отличалась отъ московской дѣйствительности. Тамъ, гдѣ великое воспитательное дѣло Византіи завершилось полной ассимиляціей и самостоятельнымъ творчествомъ, т. е. прежде всего въ области искусства, мы видимъ, что русскіе мастера отходятъ отъ византійскихъ образцовъ какъ разъ въ направленіи западномъ, а вовсе не восточномъ. Дѣло тутъ притомъ совсѣмъ не въ заимствованияхъ, которыя случайны и рѣдки. Новгородская орнаментика связана со скандинавской не подражаніемъ, а внутреннимъ родствомъ, и стилистическіе принципы ея проникаютъ также и въ новгородскую икону. Деревянное зодчество русскаго сѣвера опять-таки родственно скандинавскому и склонно къ рѣшительному вертикализму, который въ XVI-омъ вѣкѣ находитъ свое выраженіе въ шатровыхъ храмахъ, окончательно порвавшихъ съ византійской традиціей и направленныхъ скорѣй къ созданію нѣкоей русской готики, совершенно независимой отъ западной, рѣзко отъ нея отличной, да ничего и не знающей о ней, однако болѣе близкой къ основнымъ устремленіямъ ея, чѣмъ къ древнимъ религіозно-эстетическимъ принципамъ византійской архитектуры. Въ искусствѣ искони выражались всего яснѣй неосознанныя, но глубокія потребности, чаянія, стремленія духовной жизни. До-петровское русское искусство, прежде всего орнаментъ и архитектура, менѣе чѣмъ иконопись связанные церковнымъ послушаніемъ, — неопровержимое свидѣтельство не только европейскости Россіи (въ ея пользу говорить уже сама византійская преемственность), но и ея поворота къ Западу, не придуманнаго, а отгаданнаго и такъ свирѣпо, судорожно, но и безповоротко завершенаго Петромъ.

2.

Древняя Русь, уже въ силу византійскаго воспитанія своего, была Европой, т. е. обладала основными предпосылками европейскаго культурнаго развитія; однако рѣзкая обособленность ея, особенно въ московскій періодъ, могла привести подконечъ и къ полному отъединенію европейскаго востока отъ запада: Россія могла выпасть изъ Европы. Этого тѣмъ не менѣе не случилось даже и за пять вѣковъ отъ татарскаго нашествія до Петра, потому что препятствовали этому не только сохранившіяся, хотя и слабыя, связи съ западнымъ міромъ, но и еще больше тѣ западныя сравнительно съ Византіей черты, что проявились въ духовномъ обиходѣ и культурномъ творествѣ московской Руси. Опасность была окончательно устранена Петромъ: Константинъ раздвоилъ, Петръ возстановилъ европейское единство. Удача, по крайней мѣрѣ въ планѣ культуры, совершеннаго имъ всемірно-историческаго дѣла засвидѣтельствована всѣмъ, что было создано Россіей за два вѣка петербургской ея исторіи. Судить о націи нужно, какъ о личности, не столько по корнямъ ея, сколько по ея плодамъ; у насъ слишкомъ часто судили о Россіи не по тому, чѣмъ она стала, а по тому, чѣмъ якобы обѣщала стать. Даже если бы древне-русская культура не была частью европейской, а соответствовала во всемъ славянофильскимъ или евразійскимъ представленіямъ о ней, новой русской культуры было бы вполне достаточно, чтобы доказать предначертанность для Россіи не какого-нибудь иного, а именно европейскаго пути. Если бы Петръ былъ японскимъ микадо или императоромъ ацтековъ, на его землѣ завелись бы со временемъ авіаціонныя парки и сталелитейныя заводы, но Пушкина она бы не родила.

Возсоединеніе съ Западомъ было дѣломъ отнюдь не легкимъ и не безопаснымъ. Славянофилы это поняли и тутъ ихъ было бы не въ чемъ упрекнуть, если бы ихъ истолкованіе опасности не было основано на той же ошибкѣ, какую постоянно совершали западники и которая больше всего помѣшала плодотворному развитію знаменитаго идеологическаго спора. Ошибка заключается въ противопоставленіи другъ другу Запада и Россіи, какъ чужого и своего, какъ двухъ величинъ ничѣмъ органически одна съ другой не связанныхъ. Западники предпочитаютъ чужое и хотятъ его поставить на мѣсто своего; славянофилы предпочитаютъ свое и хотятъ очистить и отмежевать его отъ всего чужого. Для западника его любимый Западъ — всего

лишь носитель нѣкоей безличной цивилизаціи, которую можно и должно пересадить въ полудикуую Россію, точно такъ же, какъ послѣ открытія междупланетныхъ сообщеній ее можно и должно будетъ пересадить и на дуну. Для славянофила, болѣе подготовленнаго къ воспріятію органическихъ культурныхъ единствъ, такимъ единствомъ представляется Россія, или православіе, или славянскій міръ, но на Европу онъ эту концепцію не распространяетъ, а въ Западѣ видитъ или иное, враждебное восточному культурное единство или чаще, какъ западникъ, безличную совокупность пріятностей и полезностей, которую онъ склоненъ однако не благословлять, а проклинать... Ни тотъ, ни другой не видятъ той общей укорененности Россіи и Запада въ европейскомъ единствѣ, которое только и дѣлаетъ тѣсное общеніе между ними плодотворнымъ и желательнымъ. Оба противника разсуждаютъ недостаточно исторически, слишкомъ отвлеченно, какъ будто воссоединеніе съ Западомъ Россіи, христіанской и воспитанной Византійей страны, а значить страны европейской, не въ географическомъ только, но въ культурномъ смыслѣ, могло и въ самомъ дѣлѣ быть чѣмъ-то подобнымъ европеизаціи Японіи или Китая, т. е. столкновенію двухъ чуждыхъ другъ другу культуръ, могущему кончиться либо полнымъ истребленіемъ одной изъ нихъ, либо превращеніемъ обѣихъ въ такую механическую смѣсь, которую уже нельзя назвать культурой.

Въ дѣйствительности происходило конечно совѣмъ другое. Воссоединиться съ Западомъ значило для Россіи найти свое мѣсто въ Европѣ и тѣмъ самымъ найти себя. Русской культурѣ предстояло не потерять свою индивидуальность, а впервые ее цѣлостно приобрести, — какъ часть другой индивидуальности. Европа есть многонаціональное единство, неполное безъ Россіи; Россія есть европейская нація, incapable внѣ Европы достигнуть полноты національнаго бытія. Европеизація неевропейскихъ культурныхъ міровъ — дѣло въ извѣстномъ смыслѣ безпрепятственное, но и безнадежное; сближеніе Россіи съ Западомъ было дѣломъ труднымъ, но и плодотворнымъ. Трудность его объясняется долгимъ отчужденіемъ между ними и зависитъ отъ постоянной возможности преувеличеній и односторонностей, вродѣ галломаніи конца XVIII-го вѣка, гегельянства сороковыхъ годовъ или пѣнкоснимательства и западническаго чванства, никогда не исчезавшихъ изъ русской дѣйствительности. Опасность денационализаціи Россіи была реальна и тѣ, кто съ ней боролись, были тѣмъ болѣе правы, что лишенная національнаго своеобразія страна тѣмъ самымъ лишилась

бы и своего мѣста въ европейской культурѣ. Опасность эта проявилась съ самаго начала, благодаря излишне рѣзкому и насильственному характеру петровской реформы, но очень рано сказался и тотъ національный творческій подъемъ, который ею же былъ вызванъ. Русская рѣчь при Петрѣ была надломлена и засорена, однако изъ нея очень скоро выработался тотъ общій литературный языкъ, котораго такъ не хватало до-петровской Россіи. Русскій стихъ еще до Петра принялъ подъ западнымъ вліяніемъ несвойственную ему структуру, но усилія Третьяковскаго и Ломоносова не то чтобы вернули его на старыи путь, а впервые поставили его на твердую почву и обезпечили его дальнейшее развитіе. Въ судьбѣ русскаго стихосложенія особенно ясно выразилась судьба русской культуры. Старый путь былъ узокъ и къ созданію большой національной (а не народной только) поэзіи привести не могъ; первый натискъ Запада, положившій ему конецъ, былъ хаотиченъ и случаенъ, какъ и многое другое въ петровской реформѣ и въ заимствованияхъ, ей предшествовавшихъ; но болѣе серьезное ознакомленіе не съ ближнимъ Западомъ только, а съ совокупностью западно-европейскихъ національных культуръ припело одновременно къ осознанію національной особенности русскаго стихосложенія и къ занятію имъ опредѣленнаго мѣста среди національных стихосложеній Европы. Русскій стихъ оказался близокъ не къ польскому (или французскому), а къ нѣмецкому и англійскому, хотя и съ ними не во всемъ совпалъ. Тотъ, кто въ свѣтѣ этого примѣра взглянетъ на русскую исторію, уже не согласится ни съ славянофиломъ, готовымъ въ нѣкоторомъ родѣ довольствоваться народнымъ тоническимъ стихомъ, ни съ западникомъ, уху котораго стихъ Кантемира долженъ казаться болѣе радикально-«европейскимъ» и значить «передовымъ», нежели стихъ Пушкина.

Утверждаясь въ Европѣ, Россія утверждалась и въ себѣ. Современникамъ Екатерины это было такъ ясно, что споры, связанные съ этимъ, касались лишь частныхъ, а не существа дѣла; и почти столь же ясно это было современникамъ Александра I. Славянофильство и западничество возникли характернымъ образомъ лишь послѣ того, какъ были осознаны или хотя бы почувствованы нѣкоторыя перемѣны, произошедшія въ самой западной культурѣ: только исходя изъ нихъ и можно понять настоящій смыслъ обѣихъ доктринъ, то, что внутренне раздѣляло ихъ, хотя и заглушевывалось нерѣдко въ узаконенныхъ формулахъ ихъ полемики. Перемѣны, о которыхъ идетъ рѣчь, сводятся къ намѣтившемуся на рубежѣ новаго вѣка медленному пре-

вращению старой семьи органически выросших и жизненно сросшихся между собой национальных культуръ въ интернациональную научно-техническую цивилизацію. Западники — послѣдователи того течения европейской мысли, что этому превращению содѣйствовало и съ восторгомъ принимало его плоды; славянофилы — ученики тѣхъ противниковъ его, что и на Западѣ пытались съ нимъ бороться. Западно-европейское происхождение той и другой идеологін очевидно, но и вполнѣ законно: ихъ борьба только часть той большой борьбы, что велась во всей Европѣ между традиціей XVIII-го вѣка и романтической традиціей. Наличие ихъ въ Россіи — свидѣтельство ея принадлежности къ Европѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ уже не къ старой Европѣ, а къ новой, проблематической Европѣ XIX-го столѣтія. Чаадаевъ и ранніе славянофилы въ этомъ отношеніи занимаютъ еще не совсѣмъ отчетливыя идеологическія позиціи (въ частности Западъ Чаадаева — католическая, а не «просвѣщенная» Европа); тѣмъ не менѣе именно съ тридцатыхъ годовъ Россія принимаетъ участіе не просто въ европейской духовной жизни, а въ томъ новомъ, особо потрясенномъ и критическомъ фазисѣ ея, въ который Западъ вступилъ на полвѣка раньше. Пушкинъ, едва-ли не цѣликомъ еще по ту сторону этого перелома. Его гений средни Рафаэлю, Аріосто, Расину, Вермеру, Моцарту и двумъ послѣднимъ старымъ европейцамъ, Гете и Шендау. Онъ весь обращенъ къ старой, до-романтической Европѣ; ему врождены всѣ ея наслѣдія, всѣ памяти, всѣ любви; его основная миссія — сдѣлать ее духовной родиной будущей Россіи. Миссію эту онъ выполнилъ во всю мѣру отпущеннаго ему дара, но срашеніе Россіи съ Западомъ въ единой Европѣ совершилось уже въ новой обстановкѣ, Пушкину чуждой и съ точки зрѣнія которой онъ самъ кажется обращеннымъ не къ будущему, а къ прошлому. Россія завершилась, досоздалась въ грохочущей мастерской девятнадцатаго вѣка.

Девятнадцатый вѣкъ то-же для Россіи, что вѣка Возрожденія для Италіи, что для Испаніи, Англій и Франціи конецъ XVI-го и XVII-й вѣкъ, онъ то-же, что для Германіи время, очерчиваемое приблизительно годами рожденія и смерти Гете. Но если въ исторіи Россіи онъ занимаетъ особое мѣсто, то это совсѣмъ не значить, что русскій девятнадцатый вѣкъ есть что-то отъ европейскаго девятнадцатаго вѣка отдѣльное и ему чужое. Въ томъ то и дѣло, что окончательное своеобразие свое въ европейскомъ сложномъ единствѣ Россія получаетъ въ этомъ вѣкѣ, когда сама Европа, чѣмъ дальше, тѣмъ больше, перестаетъ быть тѣмъ, чѣмъ она была: отнынѣ вростая въ нее, Россія

вростаеть и въ ея распадъ, въ ея трагическую разъятость и бездомность. Отсюда необычайно сложное строеніе нашего «великаго вѣка», какъ по сравненію съ «великими вѣками» другихъ народовъ, такъ и по сравненію съ тѣмъ же столѣтіемъ на Западѣ. Сраженіе съ европейскимъ прошлымъ привело къ расцвѣту русской національной культуры, но сраженіе съ европейскимъ настоящимъ окрасило этотъ расцвѣтъ въ такіе тревожные тона, какіе не были свойственны культурнымъ расцвѣтамъ другихъ европейскихъ націй. Стихійныхъ жизненныхъ силъ, тѣхъ, что сказались, напримѣръ, въ первоизданно-земномъ и тѣлесномъ геніи Толстого, въ Россіи прошлога вѣка было больше, чѣмъ на Западѣ, но и онѣ не остались отдѣльнымъ достояніемъ Россіи, а влились въ общій Западъ и ей европейскій девятнадцатый вѣкъ. Искусство Толстого или Достоевскаго — русское искусство; Достоевскій — русскій, какъ Шекспиръ англичанинъ или какъ Паскаль французъ, но, какъ они, чѣмъ глубже онѣ укоренены въ своей странѣ, тѣмъ глубже прорастають онѣ въ Европу. Условія, сдѣлавшія возможными появленіе Шекспира и Паскаля, наступили раньше въ Англии и во Франціи, чѣмъ сходныя условія въ Россіи, гдѣ Достоевскій столько же современникъ Шекспира, какъ и Диккенса, и Паскаля, какъ Бодлера, а Толстой — эпическій поэтъ, второй Гомеръ, соблазненный хитростями отрицательнаго и доказывающаго разсудка. Трудомъ поколѣній отъ Петра до Пушкина вся Европа принадлежитъ Россіи, вся Россія Европѣ; все, что было создано въ Россіи послѣ Пушкина, принадлежитъ европейскому девятнадцатому вѣку.

Русская литература отъ Лермонтова и Гоголя до нашихъ дней вся выросла изъ переворота, произведеннаго европейскимъ романтизмомъ, участвовала въ немъ, его продолжила и ни чѣмъ отъ него не отрелась. Русская музыка больше получила отъ музыки западной, чѣмъ отъ музыки народной; и больше всего связана она съ западной музыкой послѣ Бетховена. Русская живопись, даже та, что въ лицѣ Иванова и Врубеля осталась вѣрна религиозной своей основѣ, возвратиться къ иконописи все же не могла, минуя европейское искусство, и лишь укореняясь въ этомъ искусствѣ, находила форму, одновременно европейскую и свою. Русская философія начинается съ Шеллинга и Гегеля, русская наука — съ западной науки. Даже русская богословская мысль столько же исходитъ изъ собственной восточно-христіанской традиціи, сколько изъ традиціи западной философской и богословской мысли. Дѣло тутъ не въ нашей переимчивости и не въ западномъ засильи, а въ томъ,

что на Западѣ и въ Россіи девятнадцатый вѣкъ — единь. Пусть не ссылаются на непонятность русской культуры для нѣмцевъ, французовъ или англичанъ: между собой въ былыя времена имъ было куда труднѣе объясниться. Еще и сейчасъ елизаветинская драма доступна лишь избраннымъ во Франціи, а французская трагедія скучна для англичанъ; на континентѣ весьма рѣдко читаютъ Мильтона и французы не безъ труда принимаютъ за Данте и Гете. Зато русскіе писатели девятнадцатаго вѣка, если не уснаиваются Европой, то лишь по лѣни, по незнанію языка, по нераднѣию переводчиковъ: всѣ они плоть отъ ея плоти, всѣ они соприсродны ей, да и нѣтъ въ европейской литературѣ послѣднихъ пятидесяти лѣтъ болѣе европейскіихъ именъ, чѣмъ имена Толстого, ученика Руссо, и Достоевскаго, поклонника французскихъ трагиковъ, Жоржъ Сандъ, Диккенса и Бальзака. Западъ уже не только даетъ намъ свою культуру, но и принимаетъ нашу отъ насъ. Взаимопроницаемость Запада и Россіи, совмѣстимость ихъ, условность и относительность всякаго ихъ противоположенія таковы, что уже во многихъ случаяхъ трудно рѣшить, его-ли собственный забытый даръ возвращаетъ Западу Россія, или нѣчто новое, доселѣ невѣдомое ему зарить. Вѣрнѣе, рѣшать этого нельзя и ненужно. Въ томъ и дѣло, что Ивановъ и Мусоргскій, Достоевскій, Толстой или Соловьевъ — глубоко русскіе люди, но въ такой же точно мѣрѣ и люди Европы. Безъ Европы ихъ бы не было, но не будь ихъ, не будь Россіи, и Европа въ девятнадцатомъ вѣкѣ была бы не тѣмъ, чѣмъ она была. Русская культура вытекаетъ изъ европейской и соединившись съ Западомъ, себя построивъ, возвращается въ все. Россія — только одна изъ европейскихъ странъ, но уже необходимая для Европы, только одинъ, но уже неотъемлемый голосъ въ полифоніи европейскихъ голосовъ.

«Европа намъ мать, какъ и Россія, вторая мать наша; мы много взяли отъ нея, и опять возьмемъ и не захотимъ быть передъ нею неблагодарными». Это не западникъ сказалъ; это по ту сторону западничества, какъ и славянофильства, на вершинѣ мудрости, на порогѣ смерти пишетъ Достоевскій въ «Дневникѣ писателя». Послѣднее упованіе его — мессіаниззмъ, но мессіаниззмъ въ существѣ своемъ европейскій, вытекающій изъ ощущенія Россіи, какъ нѣкоей лучшей Европы, призванной Европу спасти и обновить. Пусть упованіе это было неоправданнымъ, но люди, хранившіе такую вѣру, не обращались «лишь шомъ къ востоку»; они обращались къ Европѣ, вѣруя, что въ Европѣ воссияетъ «восточный», т. е. русскій, т. е. обновленно-европейскій свѣтъ. Они еще не знали только, что пророчество

свое, въ мѣру его исполнимости, исполнили они сами. Русско-европейское единство никогда не было съ такой силой утверждено, какъ въ знаменитыхъ словахъ Ивана Карамазова. Европейское кладбище, о которомъ онъ говоритъ, — колыбель новой Россіи, залогъ ея культурнаго существованія. «Дорогіе покойники» потому такъ и дороги, что столько же, какъ Европѣ, они принадлежатъ и намъ. И то, о чемъ Иванъ Карамазовъ еще не говоритъ, чего еще не чувствуетъ Достоевскій, намъ нетрудно теперь почувствовать. Намъ нетрудно понять, что онъ самъ, какъ, въ разной мѣрѣ, всѣ современники его, всѣ русскіе люди его вѣка, не только унаслѣдовали европейскія могилы, но участвовали въ европейскомъ будущемъ, сами были твореніями и творцами европейской культуры, сами говорили отъ имени Европы, того не зная, что дѣломъ ихъ времени, что судьбой девятнадцатаго вѣка было Россію и Европу слить въ одно.

3.

Россія всегда была Европой, никогда не выпадала изъ нея, но лишь въ XIX-мъ вѣкѣ ей было суждено занять въ европейской культурѣ подобающее мѣсто. Суждено-ли ей въ слѣдующемъ вѣкѣ это мѣсто потерять? На этотъ вопросъ нельзя дать прямого отвѣта, и не потому чтобы дѣйствительность, переживаемая нами, не давала достаточно матеріала для него, а потому что въ ея свѣтѣ самый вопросъ становится бессмысленнымъ. Европа, какъ многонациональное единство, могла и должна была включатьъ въ себя Россію, но распространенная на весь міръ безличная, безнаціональная, лишь по своему происхожденію именуемая европейской, цивилизація не можетъ имѣть никакого о с о б а г о отношенія ни къ Россіи, ни къ Европѣ и склонна принимать совершенно одинаковыя формы будь то въ Парижѣ, въ Калькуттѣ, въ Токіо или въ Москвѣ. Поскольку европейская культура уже превратилась въ такую цивилизацію, вопроса о Россіи и Европѣ или Россіи и Западѣ больше не возникаетъ; онъ замѣняется другимъ, гораздо менѣ интереснымъ вопросомъ о томъ, въ какой срокъ эта цивилизація покончитъ съ Россіей, — раньше или позже, чѣмъ, напримѣръ, съ Франціей, или Китаемъ, или Афганистаномъ. Въ томъ, что перерожденіе органическихъ національныхъ культуръ въ безличную научно-техническую цивилизацію дѣйствительно происходитъ, сомнѣваться нельзя, хотя именно поэтому сомнѣнія или еще лучше пожиманія плечами на этотъ счетъ давно уже причислены къ правиламъ вѣжливости и требованіямъ комфор-

та. Происходить оно притомъ, какъ въ парламентарныхъ, такъ и въ тоталитарныхъ странахъ: политическій индивидуализмъ и либерализмъ не способны сопротивляться нейтрализующему и уравнивающему давленію массъ, а политическій націонализмъ, нуждающийся въ сочувствіи такихъ же массъ, не въ силахъ бороться съ культурной денационализацией. Европейскія нашіи могли, каждая по своему, строить церкви и писать книги, но когда дѣло касается отливанія пушекъ и печатанія газетъ, національные методы приходится рано или поздно замѣнить другими, рассчитанными единственно на то, чтобы набивать мозги или раскраивать черепа наиболѣе совершеннымъ способомъ. — Перерожденіе незакончено, въ этомъ тоже сомнѣнія нѣтъ, и не исключена возможность, что возникнуть силы, которыя съ нимъ сладятъ, но покуда оно происходитъ, да еще въ такомъ ускоренномъ темпѣ, какъ сейчасъ, къ вопросу о мѣстѣ Россіи въ Европѣ нужно, во всякомъ случаѣ, присоединить вопросъ о мѣстѣ Россіи въ разложеніи Европы.

Сближеніе съ Западомъ, какъ будто нѣсколько замедлившееся въ концѣ прошлаго столѣтія, стало еще оживленнѣе и шире къ началу новаго вѣка. Самое главное, впрочемъ, было уже сдѣлано; оставалось воспользоваться плодами бывшихъ трудовъ, сдѣлать завоеванное легкимъ и привычнымъ. Въ послѣдніе годы до войны культурная Россія совершенно естественно чувствовала себя европейскою націей, равноправной съ величайшими изъ западныхъ націй, никакой особой стѣной отъ нихъ не отдѣленной, и какъ разъ потому, ясное чѣмъ когда-либо, ощущала она и свое особое, личное бытіе. Углубленное изученіе прошлаго западной культуры шло параллельно съ углубленіемъ въ собственное прошлое. Никогда еще у насъ такъ усердно не читали и не переводили западныхъ поэтовъ, драматурговъ, романистовъ, но никогда съ такой любовью не склонялись и надъ памятниками старой русской письменности, такъ не цѣнили Державина или протопопа Аввакума, такъ не боготворили Пушкина, въ то время какъ, преодолевъ самое раздѣленіе Запада и Востока, нарождался русскій гуманизмъ въ лицѣ Анненскаго, Вячеслава Иванова, Э. Ф. Зѣлинскаго. Открытіе новой французской живописи помогло открытію древнерусской иконы, увлеченіе Италіей познанію Новгорода, Владиміра, Москвы, усвоеніе западнаго средневѣковья пониманію древне-русскихъ культурныхъ формъ. Чужое и свое перестали ощущаться, какъ двѣ враждующія силы, онѣ вступили въ сотрудничество, при полномъ сознаніи ихъ различія, но и ихъ родства, ихъ контраста, но и ихъ гармоніи. Споры о Востокѣ

и Западъ затихли или, во всякомъ случаѣ, потеряли свою остроту. Петербургъ снова сталъ тѣмъ, чѣмъ онъ пересталъ быть съ тридцатыхъ годовъ: неоспоримой духовной столицей страны, — и Москва старалась его отнынѣ превзойти уже не въ русскости, а въ европеизмѣ. Это новое положеніе вещей поддерживалось еще и тѣмъ, что усиленному усвоенію Запада Россіей стало отвѣчать, наконецъ, и гораздо болѣе усердное усвоеніе Россіи Западомъ. Именно въ эти годы Достоевскій и Толстой, Тургеневъ и Чеховъ стали дѣйствующими лицами въ европейской духовной жизни, русская музыка, русскій театръ распространились въ Европѣ и обновили ея музыкальную и театральную жизнь своимъ вліяніемъ. Это внѣдреніе Россіи въ западно-европейскій міръ было настолько внутренне-оправданнымъ и закономѣрнымъ, что его не приостановили и не ослабили ни война, ни революція, ни все, что обрушилось съ тѣхъ поръ на Россію и Европу. Россія была сломлена, но отъ этого Пушкинъ не пересталъ быть Пушкинымъ и Толстой Толстымъ, и Европа, поскольку она еще жива, не перестала нуждаться въ томъ, что могла ей дать одна Россія.

Революція, война, какъ и любая внѣшняя по отношенію къ духовной жизни сила, можетъ создать условія, дѣлающія невозможной эту жизнь и тѣмъ самымъ прекратить развитіе возникшей изъ нея культуры, но измѣнить направленіе, въ которомъ культура развивалась, она не въ состояніи. Мы не властны не только надъ прошлымъ, но и надъ будущимъ, заложеннымъ въ это прошлое: можно убить зародышъ во чревѣ матери, но убивъ его, нельзя сдѣлать такъ, чтобы онъ былъ зародышемъ птицы, а не человѣка. Государство, враждебное существующей на его территоріи культурѣ, напрасно пытается, какъ въ Германіи и Италіи, ее передѣлать: передѣлка либо ее уничтожитъ, либо уступить ей внутренней закономѣрности. Совѣтское государство, во время это понявъ, занявъ прямымъ истребленіемъ русской культуры, но и тутъ его западные друзья напрасно ожидаютъ отъ него построенія какой-то новой, усовершенствованной культуры: культура не строится, а вырастаетъ, и совершенно неизвѣстно, что именно вырастетъ на совѣтскомъ пустырѣ. Къ тому же сама совѣтская власть совѣмъ и не помышляетъ ни о какой культурѣ, а заботится лишь — въ той мѣрѣ, въ какой они ей нужны — о такъ называемыхъ благахъ цивилизаціи: грамотѣ (какъ преддверьи политграмоты), электрофикаціи (въ связи съ радио-пропагандой), техникѣ вообще и военной въ частности, т. е. о вещахъ, никакъ національно не окрашенныхъ, не русскихъ и не европейскихъ, а

универсальных, съ примѣсью известной доли шовинизма, такою же универсальнаго въ своей шаблонности. Все то, что официально культивируется въ совѣтской Россіи — безлично, не имѣетъ отношенія ни къ русской, ни къ европейской культурѣ, какъ таковымъ, и могло бы преподаваться любимымъ двуногимъ на любыхъ пространствахъ земного шара. Рядомъ съ этимъ, тамъ существуютъ жалкіе остатки русской культуры, части европейской, совершенно подобные тѣмъ нѣсколько болѣе обильнымъ ея остаткамъ, что сохранились въ эмиграціи. Противъ нихъ совѣтская власть безсильна, не потому чтобы она не могла ихъ уничтожить, а потому что она не можетъ переѣлать ихъ внутренняго смысла и направленія. Если серьезныхъ переѣвъ въ скоромъ времени не произойдетъ, эмиграція вымретъ, и культура въ Россіи будетъ окончательно раздавлена, однако, въ мѣрѣ духовныхъ цѣнностей русская культура, часть европейской, живетъ и будетъ жить, тогда какъ совѣтской цивилизаціи въ этотъ мѣръ нѣтъ доступа.

Все культурно-цѣнное, что обнаружилось въ Россіи за послѣдніе двадцать лѣтъ, какъ и все, что дала зарубежная Россія, непосредственно продолжастъ то движеніе навстрѣчу западной Европѣ, которое такъ оживилось въ послѣдніе годы до войны, отнюдь не въ ущербъ притомъ чертамъ національно-своеобразнымъ. Стихи, поскольку они принадлежатъ настоящимъ поэтамъ, какъ Пастернакъ, а не казеннымъ виршеплетамъ, проза, поскольку она отвѣчаетъ творческому замыслу, а не социальному заказу, живопись и архитектура, музыка и философія, покуда ихъ не свели на уровень утиль-потреба, развились въ прелклемъ направленіи, хотя и въ условіяхъ, мѣшавшихъ всякому развитію, а затѣмъ, не то что приняли какое-нибудь новое направленіе и новую форму, а просто сошли на нѣтъ. На первыхъ порахъ, искусство захотѣло быть формально-революционнымъ, что и выразилось въ преувеличенномъ подражаніи самому «передовому» западному искусству, но скоро выяснилось, что революція требуетъ совсѣмъ не этого, а лишь подходящаго сюжета, облеченнаго въ чьи угодно обноски, только попривычнѣй; такіе издѣлія и стали изготовляться, но къ искусству они уже не относятся. То немногое, что еще имѣетъ отношеніе къ нему, должно быть причислено къ старой, европейской, а не совѣтской Россіи, точно такъ же, какъ и дѣятельность переводчиковъ, движущаяся по старому пути начала вѣка, по пути усиленнаго сближенія Россіи съ Западомъ. По тому же пути идетъ и эмиграція, особое положеніе которой позволяетъ ей особенно успѣшно содѣйствовать болѣе

глубокому проникновенію Россіи въ Европу, но несетъ и новую опасность для нея и для русской культуры, чье сохраненіе — не въ мертвомъ, а въ живомъ видѣ — составляетъ ея главное или вѣрнѣй единственное призваніе. Опасность заключается, конечно, въ потерѣ національнаго лица, путемъ ли вхожденія въ другую европейскую націю, или растворенія въ послѣдъ-европейскомъ интернаціонализмѣ. До сихъ поръ, однако, культурно-творческая часть эмиграціи этой опасности довольно удачно избѣгала, и если самый выдающійся изъ ея писателей младшаго поколѣнія, Сиринъ, долженъ быть названъ самымъ западнымъ изъ всѣхъ русскихъ писателей со времени Кантемира, если большинство молодыхъ эмигрантскихъ авторовъ въ этомъ отношеніи сходны съ нимъ, то это слѣдуетъ объяснять не утратой русской традиціи, а вполне послѣдовательнымъ продолженіемъ ея новѣйшей дореволюціонной фазы, тѣмъ самымъ, правда, и доведенной до предѣла, который ужъ врядъ ли позволено переступать. Что бы ни случилось дальше, какимъ бы мрачнымъ не представлялось будущее русской культуры, можно сказать съ увѣренностью одно: эмиграція, какъ собственнымъ творчествомъ, досказывающимъ то, чего не успѣла досказать предреволюціонная Россія, такъ и своей работой по внѣдренію Россіи въ Европу, достаточно замѣтной въ области художественной, идейной и даже религіозной, завершаетъ тотъ путь новой русской культуры назадъ въ Европу, который, черезъ сближеніе съ Западомъ, привелъ ее одновременно къ осознанію своего неотъемлемаго мѣста въ европейской культурѣ и своего особаго, русскаго духовнаго бытія. Дѣло Петра, если и рушилось, то не въ той его части, гдѣ оно было доведено до рѣшающихъ успѣховъ Пушкинымъ. Нынѣ отношеніе русской культуры къ Западу можетъ быть проблематично лишь въ частностяхъ, но не въ цѣломъ. Западническо-славянофильскіе споры слѣдовало бы собственно прекратить, тѣмъ болѣе, что какъ разъ ошибки каждой изъ спорящихъ сторонъ теперь, какъ нельзя болѣе наглядно, разоблачены тѣмъ страннымъ положеніемъ, въ какое, по отношенію къ нимъ, попала совѣтская Россія.

Въ самомъ дѣлѣ, если не русской культурѣ, а ей предъявить традиціонный вопросъ о томъ, тяготеетъ ли она къ Западу или къ Востоку, то отвѣтъ ея будетъ противорѣчивымъ, а на первый взглядъ, пожалуй, и безсмысленнымъ. Революція одновременно рванула Россію на Западъ и на Востокъ, сдѣлала ее и западнѣй и восточнѣе, чѣмъ прежде: Западники того радикальнаго образа, что выработался еще въ сороковыхъ годахъ, мо-

гутъ быть довольны: всѣ историческія, природныя, душевныя и вещественныя препятствія, мѣшавшія водворенію въ Россіи любезной имъ, обезличенной, рационально-интернаціональной западной цивилизаціи, нынѣ устранены. Не то, чтобы она тамъ уже и нынѣ процвѣтала, — до этого еще далеко, — но дорога для нея расчищена тѣмъ, что искоренены всѣ особыя и мѣстныя положительныя цѣнности, противорѣчащія ей универсальнымъ идеаламъ. Правда, къ этимъ идеаламъ принадлежала въ сороковыхъ годахъ, а кое-гдѣ принадлежитъ и по сей день гуманитарно-либеральная мораль, если и равнодушная къ высшей духовной жизни человѣка, то все же требующая для него политической свободы и житейскаго благополучія. Мораль эту совѣтская Россія отрицаетъ; но развѣ не на самомъ Западѣ изъ этой морали родилась и ей пришла на смѣну коммунистическая идеологія, послужившая порокомъ для русскаго взрыва и остающаяся понинѣ послѣднимъ словомъ рационалистической цивилизаціи, не въ области науки и техники, конечно, а въ области религіозно-моральнаго сознанія. Недаромъ современные поклонники этой цивилизаціи на Западѣ (Уэллсъ, Шоу, Романъ Ролланъ) такъ тяготеютъ къ совѣтской Россіи, даже если отдѣльныя ея черты претятъ ихъ все еще гуманитарной совѣсти: они готовы многое простить тѣмъ, кто рѣшилъ покончить навсегда съ «отсталой», «суевѣрной», надѣленной какой-то особенной статью и значить враждебной цивилизаціи страной. Все, во что «можно только вѣрить», подлежитъ истребленію для блага человѣчества, а кромѣ того, если на полѣ дѣйствія великаго научно-соціолого-техническаго эксперимента не все обстоитъ благополучно по части морали, даже гуманитарной, то вѣдь новая цивилизація тѣмъ и отличается отъ старой культуры, что духовныя, а значить и моральныя, цѣнности образуютъ въ ней не фундаментъ, а лишь надстройку, фундаментъ же состоитъ изъ лабораторій, тракторовъ, шахтъ, заводовъ, а въ этой области совѣтской Россіи, если не все исполнено, то во всякомъ случаѣ все обѣщано.

Если Западомъ называть, какъ это постоянно и дѣлалось у насъ, не совокупность западно-европейской культуры, а лишь продуктъ ея распада, рационалистическую западную цивилизацію, то совѣтская Россія окажется и впрямь болѣе западной, чѣмъ досовѣтская Россія или чѣмъ остатки русской культуры за рубежомъ. Потомкамъ западниковъ это должно быть приятно, однако и потомки славянофиловъ могутъ кое-чѣмъ утѣшиться. Утрата прибалтійскихъ, литовскихъ и польскихъ земель, переносъ столицы въ Москву, болѣе реализмъ совѣт-

ской политики въ Азіи, нежели въ Европѣ, все это обращаетъ Россію не на западъ, а на востокъ. Въ области чисто-культурной къ этому присоединяется нѣчто болѣе важное: культурная эмансипація кавказскихъ и средне-азиатскихъ народностей, связанная съ общей, если можно такъ выразиться, деруссификаціей Россіи. Политика совѣтской власти въ этомъ вопросѣ за послѣдніе годы измѣнилась, однако многолѣтнее поощреніе всевозможныхъ мѣстныхъ нарѣчій и культурныхъ формъ, въ ущербъ русскому языку и русской культурѣ, бесплоднымъ остаться не могло. Оно усилило культурный сепаратизмъ Украины, создало его въ Бѣлоруссіи и повсюду привело къ побѣдамъ этническаго надъ національнымъ, а значитъ, при соотвѣтствующемъ составѣ населенія, и азиатскаго надъ русскимъ, т. е. европейскимъ. Правда, старымъ славянофиламъ все это гораздо меньше пришлось бы по душѣ, чѣмъ ихъ новѣйшимъ потомкамъ, евразійцамъ, связаннымъ, однако, съ предками, какъ смѣшеніемъ національнаго съ народнымъ, такъ и нежеланіемъ считать русскую культуру частью европейской. Родилось евразійство, безъ сомнѣнія самое плодотворное и живое изъ идейныхъ теченій, возникшихъ въ эмиграціи, не изъ этихъ фактовъ новѣйшей русской исторіи, составляющихъ, независимо отъ того, одобрены они имъ или нѣтъ, скорѣй ироническій комментарий къ его теоріямъ; оно родилось въ сердцахъ и умахъ лучшихъ русскихъ людей, глубоко потрясенныхъ русской катастрофой и неспособныхъ оставаться послѣ нея на старыхъ партійныхъ платформахъ и перебрасываться съ нихъ обветшалыми политическими лозунгами; родилось изъ страстнаго желанія оправдать катастрофу въ свѣтѣ историческаго познанія и исходя отсюда найти въ русской исторіи и въ самомъ существованіи Россіи новый смыслъ. Евразійцы ошибались во многихъ частностяхъ, но многія другія впервые поняли и объяснили; однако заблуждались они и въ основномъ: катастрофу Россіи приняли за внутреннюю катастрофу русской культуры, дефектами или болѣзнию этой культуры стремились объяснить русское бѣдствіе. Какъ будто, если деревенская баба заспала ребенка, это значитъ, что ребенокъ былъ немощенъ и хилъ, или самъ повиненъ въ томъ, что спала она слишкомъ крѣпко. Русская культура не болѣла Западомъ, а лишь вернувшись въ Европу и съ нимъ воссоединясь, обрѣла свое настоящее здоровье. Больна не русская культура, а Россія — отсутствіемъ, изгнаніемъ культуры —, и ужъ конечно ни Турксибъ, ни этническое азіатство, ни союзъ съ Китаемъ, какъ и ни индустриализація и

ни погоня за европейско-американскимъ штампомъ и стандартомъ, отъ этой болѣзни ее не вылѣчать.

Въ Россіи сейчасъ нѣтъ или почти нѣтъ — въ культурномъ смыслѣ этихъ словъ — ни Россіи, ни Европы, а есть Западъ и Азія въ нѣкоемъ союзѣ, нисколько даже не исключительномъ, ибо индустриально-техническая западная цивилизація можетъ существовать гдѣ угодно и использовать любой человѣческій матеріалъ. Если союзъ продлится, русская культура, пребывая въ лонѣ европейской, отойдетъ въ духовное бытіе, и никто не скажетъ, что жемчужина больна, даже тотъ, кто способенъ восторгаться здоровьемъ устрицы, уже не родящей жемчуга. Если же рухнетъ союзъ и Россія станетъ вновь матерью культуры, то русской эта культура заслужитъ называться лишь будучи европейской и сдѣлавъ снова своимъ живымъ сердцемъ ту жемчужину, что не сегодня, завтра мы можемъ выронить изъ ослабѣвшихъ рукъ.

В. Вейдле.

Письма А. И. Герцена къ дочери *)

1868. 26 апр. Вторникъ.

Я, милая Тата, какъ самый учтивый отецъ — отвѣчалъ тебѣ въ прошломъ письмѣ на половину твоихъ вопросовъ и разсужденій сутки прежде полученья твоего письма. Прибавлю слова два. Я писалъ не о равнодушіи, и не о безстрастїи — а о томъ, что есть уравновѣшеніе страстей и разума — до котораго всѣ гармоническія природы могутъ достигать. Все красивое и изящное только и состоитъ въ соразмѣрности частей, — въ мѣрѣ. Вспомни, сколько я писалъ и проповѣдывалъ о томъ, что любовь не должна играть главную роль — а одна изъ главныхъ ролей — въ жизни. Даже вообще все личное должно быть балансировано общимъ — иначе бѣда. Мнѣ кажется, что если бы у тебя было бы больше настойчивой дѣятельности, ты могла бы согласнѣе, стройнѣе устроить свою жизнь, чѣмъ Саша (Ольги характеръ я не могу еще это уловить, Лиза скорѣе ближе къ тебѣ, но нервна). Потому то я и сказалъ, что твоя жизнь можетъ свѣтлѣе устроиться. Теперь перехожу къ наружному устройству. — Нат. очень хочетъ въ Швейцарїю, съѣздить въ Альзасъ и посмотрѣть школы. На это пройдетъ весь июль. Вотъ стало тебѣ мѣсяцемъ больше остаться съ Ольгой. Огаревъ мнѣ кажется тоже не очень торопить. Онъ жалуется, что нога починеная плоха. Весь вопросъ, какъ тебѣ прїѣхать и куда, съ кѣмъ? Я могу прїѣхать навстрѣчу въ Домо д'Оссоло. У меня есть еще какой проэктъ. Бамбергеръ⁵⁷⁾ въ Берлинѣ депутатомъ въ Zonparlament'ъ. Я ему поручилъ спросить — какія права я имѣю въ Германїи — я бы сдѣлалъ прогулку и можетъ, съ тобой. Да и въ послѣдній мой проѣздъ я видѣлъ, что много можно хорошаго сдѣлать по части Колокола въ Парижѣ. Зима прошла бы въ разѣздахъ. Все это пла-

*) См. «Совр. Зап.» кн. 66-ая.

⁵⁷⁾ Л. Бамбергеръ, нѣмецкій публицистъ, участникъ революціи 1848 г. Давній знакомый Герцена. По возвращенїи изъ эмиграціи въ Германїю, депутатъ въ Рейхстагъ.

ны, которые могут, во-первыхъ, разрушиться войной, если она будетъ, а во-вторыхъ, — десятыю разными неожиданно-стями.

Въ Италию мнѣ не хочется. — Въ продолженіе этого времени, я хотѣлъ бы прискаты дачу или домъ, гдѣ бы можно было отдохнуть. Это будетъ зависть отъ согласия твоего и Нат.

Въ Женевѣ новый журналъ въ русскомъ изданіи Эльпидина⁵⁸⁾, я пришлю 1-ый листъ, ничего, говорятъ, Бакунинъ участвуетъ. Мѣрославскій будетъ мнѣ отвѣчать на мою статью, увидимъ. Не знаю кто называлъ меня аристократомъ и тебя тоже, но конфузиться этимъ нечего. Идетъ это все изъ той же Гулевичоутинарни и Серно - Эльпидовщины. Всѣ эти люди бездарные и долею безденежные — исходятъ завистью и воображаютъ, что социализмъ состоитъ въ томъ, чтобы имъ давали деньги, а демократія въ томъ, чтобы съ ними жить какъ *ami сошон*, нарочно говорить ихъ жаргономъ и пр. Все имѣющее достоинство, удаляющееся отъ вульгарнаго, они называютъ аристократизмомъ. Подлюють и отстанутъ.

Нѣкто доставилъ серьги и булавку — они отосланы по приказанью Бохо-Беку.

28, вторникъ.

Сейчасъ получилъ письмо отъ Ольги и отъ Саши. Одѣяло онъ можетъ кушать на здоровье. Статья его оканчивается дерзко — да и гревы то въ Женевѣ кончились не такъ весело, когда работники явились на работу. Хозяева отказали въ работѣ «зачинщикамъ» — тогда всѣ пошли вонъ изъ мастерскихъ. Эдакія собаки хозяева. Далѣе я не знаю что. Скажи Сашѣ, что надобно рѣзкія мѣста оттушевять.

Посылаю Фигаро съ уморительной статьей объ обѣдѣ Сень-Бева в новый русскій журналъ — въ которомъ статья о покореніи Европы — очень хорошо. Думаю, что Бакунинъ ее писалъ и не понимаю, зачѣмъ секретничаетъ. Не бросайте эти статьи, онѣ очень милы. Посылаю Мейзен. статью о ея братѣ. Помните какой день 2 мая⁵⁹⁾.

⁵⁸⁾ Эльпидинъ Мих. Коист. (1835-1908), привлекался по дѣлу «Земли и Воли», эмигрантъ съ 1865 г. Принадлежалъ къ женевскому кружку молодой эмиграціи, враждебно относившемуся къ Герцену. Упоминаемый Герценомъ новый журналъ — «Современность», выходившій въ Женевѣ въ 1868-1870 гг. Его издавали Л. И. Мечниковъ и Н. Я. Николадзе, — Эльпидинъ отрицалъ свою причастность къ журналу.

⁵⁹⁾ Годовщина смерти Натальи Александровны, жены Герцена (2-го мая 1852 г.).

Chère Olga — je t'écrirai plus longuement à toi et à Malvida dans deux, trois jours — je te remercie pour ta lettre, elle m'a beaucoup plu *) — mais tu ne me dis rien à propos de la danse — demande franchement l'opinion de Mestch. et dis moi ce qu'il en pense. Le livre que Wol. t'envoie est un peu enfantin et avec des frases **) — mais les français ne savent pas écrire autrement. Adieu.

1868. 1 мая. Пятница.

Твоя записочка заставляет много думать — и это уже само по себѣ хорошо. Я несомнѣн съ тобой согласенъ теоретически и практически. Не надобно шутить *libre arbitr'омъ*, въ размѣрахъ частной жизни съ этимъ дойдешь до страшнѣйшей распущенности и черезъ край примиришься со всѣми гадостями. Потомъ выходи, основанный на отбытіи людей — не выходи. Разумѣется, смерть радикально оканчиваетъ все. Выходи надобно искать при существующихъ условьяхъ. Ты говоришь, что ничего не перемѣнится отъ твоего замужества, напримѣръ. Это невѣрно. Да ужъ то, что я дѣйствительно свободно вздохну (если мужъ твой будетъ человѣкъ, котораго можно уважать) и сложность, въ которую и вы заступили — разрѣшится — неизмѣримо важно. Въ то время какъ бракъ Саши я принимаю за неотвратимое несчастье.

Жаль мнѣ очень, что ты ничѣмъ серьезно не занимаешься. Это все дилетантизмъ (портретъ Ге, пѣнье, микроскопъ и пр.). Занятые спасло бы отъ всего и отъ salto mortale замужества. Но надежда плоха, мало ли какъ тебѣ будили.

Если ты послушаешь моего совѣта, то ты не поѣдешь въ Берлинъ — съ Сашей (да я и объ немъ не слыхалъ, что онъ ѣдетъ). Если тебѣ дорога его дружба, если тебѣ интересенъ Берлинъ — не ѣзди съ ними. Ты будешь прикована какъ сидѣлка. Оставь первый годъ Сашу одного. Ему будетъ не до тебя — и вы очень можетъ столкнетесь жестоко. — Ольгу оставишь слѣдовать на годъ по крайней мѣрѣ во Флоренцію.

Общее житье съ Огаревымъ рѣшительно невозможно. Бѣдный Огаревъ, онъ съ лѣтами и болѣзнями, все больше и больше втягивается въ удушающую среду, въ которой живетъ. М. ⁶⁰⁾ добрая (для Ог.) няня — но пустѣйшая женщина, что не мѣшаетъ ей какъ англичанкѣ захватывать больше и боль-

*) Такъ въ подлинникѣ.

**) Такъ въ подлинникѣ.

⁶⁰⁾ Мэри Сутерландъ. См. примѣчаніе 52.

ше власти. Сынъ ея никуда не годится. Огаревъ взявъ грѣхъ на душу избаловавъ его. Но свидѣться надобно. Долею Н. стала тише — она была поражена Огар. акцидентомъ и только бунтуется на словахъ если бѣ ты хотѣла, ты имѣла бы влияние. Вѣроятно и ты стала терпѣливѣе (повторяю, я не былъ доволенъ тобой относительно Лизы). Въ прошломъ письмѣ, я предлагалъ тебѣ прїѣхать за тобой въ Домо д'Оссоло, или на Лаго Маджіоре. Тхоржевскій нашелъ сплавидное помѣщеніе воокъ Женевы (и принца Наполеона) въ Prangins, соберетесь тамъ въ июль и тамъ сѣлаемъ Ассизы для рѣшенія, что дальше. Можетъ съѣзжу въ Германію. Огаревъ очень хочетъ повидаться, я считаю это нужнымъ. — Прощай.

Мы готовимся ѣхать на 25 мая. А Нищу миѣ жаль, зимой будетъ тянуть сюда. Лиза здѣсь, почти не была больна — два года. М-мъ Гарибальди ѣдетъ къ мужу въ Парижъ, Ниши все не очень здорова.

Нѣтъ ли у V. Drapper'a Развитие европейской цивилизаціи — 2 части, на англійск., совѣтую достать, хорошее и здоровое чтенье — онъ уютнѣе Бекля и мѣстами живѣ.

2 мая.

Вотъ и шестнадцатая годовщина. Съ этого времени и предшествовавшего ему года, идутъ всѣ бѣды павшія и на меня и на васъ. Свѣтлаго времени нашей жизни ты почти и не знала.

Сашѣ кланяюсь — писать особо нечего. Огаревъ въ послѣднемъ письмѣ пишетъ, что ему гораздо лучше. Онъ становится на большую ногу. 8-го мая онъ переѣзжаетъ въ улицу des Petits Philosophes. — C'est un avantage pour la rue d'en avoir un grand et une modestie de la part d'Ogareff.

1868. 12 мая. Вторникъ, послѣ обѣда.

NB. Ниши скорѣе, хоть попросовъ нѣтъ.

Милая Тата,

Я почти всегда доволенъ твоими письмами, но послѣднимъ еще больше за это обнимаю и цѣлую тебя въ темя. Дѣло въ томъ, что у тебя у одной начало слагаться вѣрное понятіе о жизни — оно печально и то сначала, — а потомъ оно будетъ просто здорово. Знаешь ли ты, отчего, при всей противоположности характеровъ, столько нетерпимости въ Н. и Мальв. Отъ того, что обѣ идеалистки. Вообще замѣтъ, всѣ гоинтели, — (кромѣ корыстныхъ злодѣевъ, любящихъ власть и деньги) — религіозные фантасты. — «Жизнь и люди ихъ обманули» — они не могутъ примириться съ этимъ. А вѣдь жизнь и люди

ихъ не обманывали, они просто не могутъ дать того, что имъ угодно съ нихъ требовать. Отсюда борьба — аккюзации, анафемы — фантазія идетъ, идетъ, удержи нѣтъ, винтъ готовъ свинтиться и вотъ по такой спирали несутся мысли, злобы, слезы — и боль самимъ себѣ дѣлается развлеченьемъ и занятъемъ. Иной разъ кажется можно удержать — другой, что поздно. А все злодѣй идеализмъ. Ты счастливыѣ ихъ и даже счастливыѣ Саши — у него никакого нѣтъ взгляда на жизнь, — то-есть своего, онъ въ этомъ моложе тебя — а иногда старше меня. Тутъ бѣда въ томъ, что приму играть будутъ случайности — ну не всегда же въ рулетку выигрывается. Въмѣсто идеализма у него доктринаризмъ — можетъ это легче для себя, но для другихъ не думаю. Я думаю, что онъ самъ согласится со мной. Тутъ одна странная вещь, что это общая черта у него съ Дарделемъ — они все еще несовершеннолѣтніе.

Лиза будетъ похожа въ теоріяхъ на тебя. Кстати, когда она явилась къ М-мъ Георгъ для перваго купанья — всѣ тритоны и твой купальщикъ съ избитыми скулами и весь подвязанный — вышелъ на сушу съ крикомъ: «Ah, voilà que la petite Tata, vient aussi pour se baigner». Она со мной философствовала вчера и вотъ ея сентенціи: «Je pense que dans la vie il faut tacher de faire quelquechose de bon et s'amusser. Car, vois-tu, qui peut savoir quand il mourra». —

Нини Гарибальди говорить, что желала бы имѣть дѣтей, но мужа имѣть не хочетъ. А Лиза замѣчаетъ: «Oh, non il faut toujours avoir un mari — pour les affaires — pour ne pas s'inquiéter de l'argent». Ну поди, откуда она могла взять такую парижскую мораль. Наконецъ еще черта. Вчера я ей читалъ во французскомъ переводѣ «Былое и Думы» объ Иванѣ Алексѣевичѣ, она слушала съ большимъ вниманьемъ и потомъ, подумавши: «Quel fou était ton père!» Письмомъ Ольги она ужасно довольна — и что та писала ей, не показываетъ никому. Волод. давно въ Женевѣ. Я ей письмо послалъ — хотя и ненужно было его посылать особо — въ тотъ день, въ который Мальвида мнѣ писала.

Не могу найти случая съ кѣмъ переслать рубашку шитую тебѣ отъ Волод.—Бассо^{60а}) ѣдетъ, да я на него не надѣюсь, они всѣ небрежны. По почтѣ нельзя. А тутъ есть Ольгѣ книга «дусерь», какъ нѣмцы называютъ маленькіе подарки.

Огаревъ переѣхалъ и въ восхищеніи отъ новой квартиры — кругомъ сады — Chemin des Petits Philosophes 493. —

^{60а}) Хозяинъ дома, въ которомъ жилъ Герценъ въ Ниццѣ.

А Пантужскій ⁶¹⁾ тоже переѣхалъ: Route de Carouge 504. — Пантужскій рѣшительно кормилица наша и Вѣръ Артамонычъ не знаю, прїѣдетъ ли сюда. Я звалъ на недѣлю, за отличную работу по дѣлу Ог.

А нога Огарева опять плохо — онъ лежитъ съ лубкомъ. Припадки очень часто. Мы ѣдемъ рѣшительно 31 мая или 1-го іюня. Конечно если ты можешь ѣхать, avec les somnifères à l'Africaine — чего же лучше — но объ этомъ спишемся. Если-бы ты могла завладѣть капризными сторонами Нат., ты много слѣдала бы для Лизы и если сама не будешь спать, какъ кроты полжизни въ праздности (ты на этотъ счетъ что-то не пишешь). Скажи Ольгѣ, давно бы ей сказать, что она немного пляшетъ. Я только этого хотѣлъ. А вѣдь мнѣ Саша сказалъ, что она вовсе не умѣетъ. Буду Ольгѣ и Сашѣ писать слѣдующій разъ. Мальвидѣ тоже.

Supplément.

Тхоржевскій, живописецъ торжественной поѣздки Огарева изъ Ланси въ Птифилозофъ, говоритъ: «Въ четверомѣстной коляскѣ была точно постель и Н. П. съ роскошью отдыхалъ съ жимъ майскимъ воздухомъ». Sehr gut. Въ цѣнахъ Пранженъ въ пансіонѣ сошлись, тамъ мѣсяцъ другой можно провести славно.

1868. 20 мая. Середа.

Переписка съ вами трудна, вы такъ заняты, что отвѣтъ приходитъ на 10 и 11 день, въ то время какъ въ 6 дней могъ бы быть. — Мы ѣдемъ 1-го іюня. Разчестъ нехитро, что письмо брошеное 27 придетъ.

Нога Огарева что-то не клеится — опять въ лубкахъ. Въ Пранженъ въ июлѣ, не ѣхать ли потомъ въ Лугано и Комо — Бамбергерь спрашивалъ министерю — въ Пруссію можно.

Съ Сераф. Бассо побоялся послать Гарибальди. Все посылать по почтѣ и большой скоростью трудно. Не знаю, что дѣлать. Прощай, Сашѣ поклонъ.

Зачѣмъ Левые высылаютъ послѣднюю практику и шлетъ Долгорукова?

⁶¹⁾ «Пантужскій» — видимо шуточная передѣлка имени «пана» Тхоржевскаго (см. прим. 17). Герценъ дальше называетъ С. Тхоржевскаго «Вѣръ Артамонычемъ» въ воспоминаніи о Вѣрѣ Артамоновнѣ, нянь Герцена въ дѣтствѣ (съ ея разсказа маленькому Герцену о пожарѣ Москвы начинается первая часть «Былого и Думъ»).

1868. 23 мая. Суббота.

Ты полагаешь, Тата, что въ моихъ письмахъ, или въ послѣднемъ, нѣтъ вопросовъ — и очень ошибаешься. Въ нихъ (какъ и въ твоихъ) затрагиваются — вопросы о жизни — а эти гораздо важнѣе вопросовъ бѣхатъ ли въ С.-Теренца или въ Пранженъ. Многое ты поняла, но во многомъ еще туманно. Напр., когда я говорю о воспитаніи себя, для воспитанья — ты спрашиваешь, чѣмъ заниматься и какія книги. Заниматься умягченьемъ, уравновѣщеньемъ характера, а книги читай тѣ, которыя читаешь. Насчетъ живописи, это дѣло твоей совѣсти, мнѣ кажется, что при большой дѣятельности — ты могла бы дѣлать хорошія вещи — ты это доказала даже маленькими карандашными очерками. Не развить данную способность, когда внѣшне не препятствуетъ — грѣхъ. *S'il ne sent point du ciel, l'influence* (....), какъ говаривалъ Буало. Надобно броситься на что-нибудь другое. Ну хоть на мастерскія, школы, кооперативныя общества — что не мѣшаетъ вовсе собственному образованью. Мнѣ даже пришла по этому поводу мысль — не встрѣтятся ли намъ въ концѣ юля во Франціи, въ Альзасѣ есть чему научиться.

Огар. теорія по поводу Саши и его брака — никуда негодна, вовсе не все равно — Акулина, или Терезина. Всякій бракъ можетъ привести къ бѣдамъ — но тотъ который основанъ — не только на одномъ увлеченіи, а на равенствѣ развитій, на общей религіи, на взаимномъ уваженіи, тотъ который даже взявъ въ расчетъ кусокъ хлѣба себѣ и дѣтямъ — тотъ имѣетъ больше шансовъ рациональныхъ. Огар. теорія и потому никуда не годна, что она, дѣйствительно, какъ ты и замѣтила, ничего не даетъ взаимно. Личности могутъ возставать противъ стѣснительныхъ учреждений и стараться ихъ уничтожить, или замѣнить — но не какъ исключенье для себя — а общее правило для всѣхъ. Лютеръ опровергъ безбрачье поповъ — какъ нецѣлостно и могъ потомъ спокойно жениться (....) — не илеть. Пока историческія формы незамѣнены другими — люди поневолѣ (даже послѣдовательно), живутъ въ нихъ. Я убѣжденъ, что современное обращенье богатствъ и капиталовъ даетъ ренту выше справедливой и ни слова не скажу, когда она падеть для меня — какъ для другихъ. Но если бъ я вздумалъ (чего именно женевскіе базаровы и хотѣли) отдать имъ, напр. изъ 5% -4 — я остался бы полунищимъ и лишилъ бы себя во время борьбы — оружія и возможности бороться. Вотъ тебѣ на размышленье цѣлый возъ вопросовъ: Я никогда не скажу тебѣ (развѣ въ какомъ-нибудь чрезвычайномъ случаѣ) —

иди замужъ. Но не скажу никогда не ходи — тогда когда стремленье и обстановка, сердце и умъ будутъ согласны.

Жаль, что тебя злѣсь нѣтъ. Ницца во всей красѣ, Лиза плаваетъ подъ заглавіемъ *la petite Tata*, жаръ, но *ein sanfter Wind vom Blauenhimmel weht* и то лимонными цвѣтами. Удивительный край, жаль его покидать. Если бы можно было въ этихъ полосахъ что-нибудь устроить — хоть бы намъ вчетверомъ, Никъ — ты, Лиза и я — сначала. Но и это слишкомъ впикурейски — жить надобно тамъ, гдѣ есть наибольшее добро для насъ, а ужъ въ Клину или въ Специ — о томъ знаютъ обстоятельства. — *That is my humbly philosophy.*

Посылаю Ольгѣ довольно удачные стихи Гюго къ папѣ. А всѣмъ, всѣмъ листъ «Либерте» съ засѣданьемъ сената — которое прошу прочесть. Я вложилъ въ нее *plaisanterie atroce* изъ Фигаро.

Скажи Сашѣ, что когда выйдетъ 1-ый томъ Шиф. физиолог., чтобы онъ его послалъ по адресу: *M^r le Dr Bernazky, Cannes (Alp. Marit.)* ^{61a}).

Если что нужно послѣ 29, то можно адресовать Лионъ, до востребованія, или на Тхоржевскаго, 1-го слада дома, вѣдемъ 2-го іюня въ 3 часа.

Щенковичъ, Соловьевичъ и другіе Псевичи — мнѣ отвѣчаютъ за Мѣрославскимъ съ разными дерзостями.

Что ваша квартира, помнится она кончалась къ 1-му іюня?

1868. 1 іюня. Понедѣльникъ.

Завтра, если ничего не помѣшаетъ — въ три съ половиной мы поѣдемъ въ Лионъ — прямо — и оттуда я всѣмъ напишу. Въ Лионъ я бы хотѣлъ остановиться дней на десять. Въ Колмарѣ и Мильгузѣ — до 1 іюля (немного болѣе, немного менѣе). Конечно, всего лучше бы тебѣ прѣхать изъ Крейцнаха. Жить тамъ тебѣ, я не думаю, что было хорошо для Мейз. — но уѣхать и отправиться напр. въ Страсбургъ или Колмаръ было бы не дурно.

Зачѣмъ ни ты, ни Саша (онъ впрочемъ ко мнѣ совсѣмъ не пишетъ, даже свою брошюру разослалъ всюду, а мнѣ не прислалъ — въ силу чего я поручаю купить экземпляръ и прислать въ Лионъ — до востребованія) не писали ни слова о планѣ Мальвиды ѣхать въ Крейцнахъ съ приложениемъ вашего мнѣнья. Я боюсь за Ольгу тамошняго общества (русскаго) —

^{61a}) Докторъ Бернацкій, польскій эмигрантъ, большой почитатель Герцена.

это 500 Волод., а не одна. Мальвида ничего не увидитъ, развѣ ея театры. Воды въ Крейцнахѣ, навѣрно пить не нужно, это бы спросить у Шифа. Кстати — правда ли, что у Долгорукова гипертрофія сердца. Онъ въ Интерлакенѣ.

Я послалъ вамъ Michelet, Louis XVI превосходный томъ, читать сейчасъ. Развѣ цензура задержала. Переходя снова къ философіи de la vie privée — я скажу въ 1) идеализмъ — всегда бываетъ одинакій, у Мальвиды идеализмъ книжный — экзальтація общими тѣнями — безъ анализа, безъ желанья ясности. У Н. — оставшіяся безъ малѣйшаго разбора русско-молодыя экзальтаціи сороковыхъ годовъ. Ты говоришь, въ чемъ люди обманули ее. Да тутъ-то и бываетъ вся загвоздка — что все это ей кажется (какъ ты это не поняла), напр. Н. теперь думаетъ, что идеаль женщины матери — Сатина, дѣвушки — ея Тата. Ну прѣзжай они сюда на полгода, хватидь воспоминаній — а потомъ непременно отдаленье, потому, что Сатина не идеаль — а добрая саранская помѣщица, а Тата — вѣроятно чистое и благородное, но далеко не развитое существо — развѣ это не есть идеализмъ, фантазмагорія, мѣшающая видѣть то, что въ самомъ дѣлѣ. Тѣ же отношенія и къ Ал. (Ал.)⁶²⁾.

Виллари⁶³⁾ сказалъ тебѣ вздоръ, но вѣдь и на бѣломъ и сѣромъ веществѣ далеко не уѣдешь. Тутъ не физиологія мозга — а физиологія общественной, исторической жизни важно — социологія въ обществѣ и изученье страстей и влеченій въ частномъ важны. Не вѣрять религіознымъ бреднямъ — еще не значитъ сводить всѣ вопросы на химию. Въ юности обыкновенно дѣлають эту ошибку въ ту, или другую сторону. Не могу я тебѣ писать никакой теоріи брака. Нормальнаго брака нѣтъ. Это все невѣрные приемы — такъ Платонъ, Томасъ Морусъ писали свои идеальныя республики. Бракъ, измѣняющаяся исторически форма отношеній мужчины и женщины — къ другъ другу — и къ дѣтямъ. Но сію минуту, общество требуетъ з а я в л е н ь я — брачныхъ отношеній, но не вѣрять въ ихъ христіанскую неразрывность. Частно этого не перемѣнимъ — надобно вводить больше и больше разума въ существующіе по-

⁶²⁾ Ал. Ал. — Алексѣй Алексѣевичъ Тучковъ (1800-1879), отецъ Н. А. Огаревой. Помѣщикъ, членъ Союза Благоденствія, привлекался по дѣлу декабристовъ. Сатина — сестра Н. А. Огаревой Елена Алексѣевна Тучкова, вышедшая замужъ за Н. М. Сатина (см. прим. 50). Тата — ихъ дочь.

⁶³⁾ Виллари — итальянскій историкъ и педагогъ.

студаты. Сдѣланъ бракъ изъ религиозныхъ основаній — а поддерживается в о с п и т а н ь е м ъ и н а с л ѣ д с т в о м ъ. Фурьеристы принимали всѣ формы брака — отъ самаго постоянного — до самаго вѣтреннаго (они назвали *parillones*). Уничтожая бракъ сколько хочешь, бѣдъ и (...) не устранить. Женатъ или нѣтъ былъ Отелло — онъ все бы задушилъ Дездемону, и донъ-Жуана не остановила бы безъ сомнѣнья никакая церковь. Нравственность дѣло историческое, человѣкъ поступающій сообразно своему понятію о добрѣ и злѣ — поступитъ хорошо и почти вездѣ подъ вліяніемъ историческаго развитія. Но сію минуту, для полной практической свободы — бракъ такъ же необходимъ какъ капиталъ, наслѣдство и др. вещи, въ которыхъ въ сущности мы не вѣримъ. Пуще всего слѣдуетъ обратить вниманье на то, чтобъ въ понятяхъ было единство и послѣдовательность. Для этого надобно много думать, да и для облегченья кой-что почитать. О второмъ послѣ. Вотъ тебѣ диссертация.

Я послалъ новымъ путемъ 2.500 Сашѣ, пришли ли.

Скажу тебѣ по секрету что, чѣмъ ближе срокъ къ Пранжень, тѣмъ больше Огар. овладѣваетъ страхъ перѣзда (полчаса по жел. дорогѣ) — я при Сашѣ говорилъ тоже о Лозаннѣ. Неподвижность у него *idée fixe*. Если бъ я и этотъ разъ предвидѣлъ — я отложилъ бы поѣздку и очень. Видишь, какъ все сложно и трудно — шагу нельзя просто ступить.

Лиза похожа на обохъ портретахъ. Я былъ съ ней одинъ и потому прическа на моей совѣсти — но она не дурна. Да, она очень умна и если бъ ты хотѣла — ты ей могла бы принести пользу — и даже дѣйствовать на Нат., но не прежними путями. Самоперевоспитанье великая вещь — ты имѣешь много фасилитетовъ на него, — не увлекающійся характеръ и свѣтлый умъ. Затѣмъ прощай. Пиши Лионъ — до востребованія. Ольгу обнимаю и цѣлую — рада ли она ѣхать въ Швальбахъ-Руженахъ — или какъ.

У Бернадчкаго чемодашечка была, ну гдѣ же ему шитво Вол. братъ.

1868. 17 Юня. Lyon, Hôt. de l'Europe.

Письмо твое отъ 13-го меня какъ то удивило и сконфузило. Если бы было время, я многое бы перемѣнилъ бы. Для большаго конфуза ты даже приблизительно не написала, когда ѣдешь — а ѣдешь еще по чертъ знаетъ какой *dorort Mont Cenisa*. Знай я нѣтъ легко было бы остаться здѣсь. Отъ Колоза, тебѣ было бы всего проще заѣхать сюда и концертировать. Но я не

могу остаться потому что ты воруешь оглобли отъ Кюлоза въ Женеву — гдѣ же ты будешь жить. Тхоржевскому я напишу, но все это безконечно спутано и неловко. Отчего было бы просто не описать и сдѣлать все по общему плану. Случаевъ много, а тебѣ было бы все равно — выѣхать ли къ 15-25 и пр. Мы ѣдемъ завтра въ Колмаръ — и навѣрное тамъ до 1-го Юля. Телеграфировать трудно не зная отеля — пиши намъ какъ можно скорѣе.

Неужели планъ этотъ апробоваль Dr Al. Herzen?

Фотографію можно прислать. Въ Женевѣ я встрѣтилъ Володимірову въ пирожной и ѣлъ съ ней. Я и теперь стою на томъ, что ваши кальвинисты поступили съ ней *gaide*. Ею можно управлять. Прощай.

Если нужно телеграфировать — телегр. Тхоржевскому. Будь очень внимательна, чтобы посторонние за тебя не платили въ Женевѣ. Тхоржевскій можетъ тебѣ дать денегъ. У Огарева мѣста нѣтъ — да и *entre nous* Мару ходитъ за нимъ превосходно, кормить его отлично — но очень пустая женщина, себѣ на умѣ при этомъ и къ тому же постоянно вмѣстѣ. Генри — плохъ изъ рукъ вонъ, даже у него лицо красивое сдѣлалось тупо. Туць⁶⁴⁾ милъ и живъ. Съ ними скука — къ Касатк. я не позволю селиться. Владим. одна съ сестрой (Утины въ Эмстѣ). — Надѣлала ты кутерьмы.

Тургеневъ Ив. Сер. играетъ роль Огра — у себя при Королевѣ Прусской и разныхъ герцогиняхъ. Віардо съ ними, она писала музыку — онъ либретто и такимъ образомъ сталъ придворнымъ шутомъ⁶⁵⁾. Какъ вы съ прислугой? Пиши:

Colmar (poste restante) Haut Rhin.

⁶⁴⁾ Туць — Александръ, сынъ Ал. Ал. Герцена и Шарлотты Гэгсонъ (см. прим. 56а), въ то время пятилѣтній ребенокъ, Генри — сынъ М. Сутерландъ.

⁶⁵⁾ Въ обширномъ домѣ Тургенева въ Бадень-Баденѣ Поллина Віардо ставила при участіи своихъ ученицъ небольшія пьесы, музыку для которыхъ сочиняла она сама, а текстъ — Тургеневъ. *L'orge* (Людоѣдъ) — одна изъ такихъ пьесокъ. Спектакли Віардо были въ большой модѣ и посѣщались даже королевской семьей. Негодованіе Герцена вызывало личное участіе въ этихъ постановкахъ Тургенева, въ то время шестидесятилѣтняго, пользовавшагося европейской славой писателя, въ фантастическихъ роляхъ людоѣда, паши, колдуна. Въ томъ, что дѣлалъ Тургеневъ въ угоду Віардо, было, конечно, мѣнѣе всего «шутовства» передъ королевскимъ дворомъ. Но чувство-

Я Сашѣ писалъ что ему лучше прѣхать съ Т. ⁶⁶⁾ послѣ ко-гда она выучится француз. что же такъ возить какъ куклу, ни-кто ни слова.

Mülhouse. (Haut Rhin). Hôtel Romanu.

Татѣ. 1868. 27 Юня. Суббота.

Любезная Тата,

Тутъ нечего телеграфировать и некуда торопиться (письма всѣ получены — я такъ мѣры беру, что вамъ заботиться нече-го). Я полагаю, что à la longue жить, такъ какъ мы живемъ въ Женевѣ — невозможно — но недѣлю меньше, недѣлю больше ничего не значить. Въ Колмарь и Альзасъ ты не попала, потому что писала мнѣ, что ѣдешь въ концѣ мѣсяца — а по-ѣхала до 15.

Теперь мы можемъ съѣхаться въ Базель.. даже въ Люцер-нѣ... положимъ, что 1-го или 2-го Юля, мы будемъ въ Ба-зелѣ и я напишу тебѣ — ты отправишься въ Бернъ (ѣздить въ Бернъ и воротиться въ Женеву — такая нелѣпость о которой говорить нельзя) и оттуда напишите «Я ѣду съ такимъ то grain, въ столько то часовъ — я буду ждать. Въ Бернъ ты можешь ѣхать хоть завтра — я напишу тогда и Марьѣ Каспаровнѣ ⁶⁷⁾ (но и ты должна тотчасъ написать). Стало программа съ варьянтами дана. Теперь вотъ вопросъ а) Когда Огаревъ въ состо-яніи ѣхать въ Prangins? б) Думаешь ли ты, что онъ можетъ безъ ухода своего остаться двѣ недѣли и больше?

Сейчасъ развернулъ газеты и прочиталъ о смерти сенатора Матеуцци ⁶⁸⁾ неужели это нашъ? Его ужасно жаль было бы.

Не знаю что будетъ отъ свиданья (мнѣ очень жаль, что ты ни Nat., ни Лизѣ никогда не пишешь, этимъ ты поддержива-ешь даль) — но кажется ты могла бы принести пользу Лизѣ (измѣнивши все въ наружности). Учится она нехорошо, то есть теперь совсѣмъ нѣтъ уроковъ — это все вздоръ — главное

валъ въ своемъ положеніи иногда неладное и самъ Тургеневъ. «Дол-женъ сознаться», писалъ онъ однажды Влардо, «что во мнѣ что то дрогнуло, когда я въ роли паша лежалъ на полу и замѣтилъ легкую улыбку презрѣнія на неподвижныхъ губахъ кронпринцессы».

⁶⁶⁾ Терезина — жена А. А. Герцена, урожденная Феличе (см. прим. 51).

⁶⁷⁾ М. К. Рейхель. См. прим. 28.

⁶⁸⁾ Карлъ Матеуцчи (1811-1868), итальянскій ученый, профессоръ физики, подъ конецъ жизни сенаторъ, министръ народнаго просвѣ-щенія.

умъ — но надобно стараться отстранить баловство. Но все это зависит вполне отъ тебя.

Сегодня 27 суббота — письмо это придетъ 29 въ понедѣльникъ, отвѣтъ на него 31 или 1 Юля — (Середа или четвергъ) а потому пиши: *Bâle, poste restante*. Стало четвергъ — я буду знать, что ты дѣлаешь — а въ субботу ты получишь мой отвѣтъ. Прощай.

Привези гдѣ Берланни.

О романѣ Толстого надобно бы поговорить много. Общая картина вѣрна и интересна (вопреки Огарева-Мерчинскаго (...)), — лица плоше — а есть мѣста просто глупые да въдъ и у Толстого то тоже есть глупыя мѣста.

Ты знаешь, что Тургеневъ играетъ роль шута (Ogre) — въ Баденъ-Баденѣ передъ королевой прусской.

1868. 2 Юля. *Bâle, N-1 Trois Rois.*

№ 3.

Твое письмо къ N. пришло тотчасъ послѣ отправленья. Я пишу только для того, чтобы сказать, что торопиться не надобно — а сговориться — необходимо. — Но во первыхъ о Марьѣ Каспаровнѣ — я для дѣтей тебѣ разрѣшаю потратить отъ 50 до 60 руб. не на игрушки, а на серьезные подарки. Если Марьѣ Касп. нужны деньги, ты тонко намекни, что я всегда готовъ прислать ей отъ 200 до 500 фр. Далѣе о путешествіи: 1-го мы ѣдемъ въ субботу — если есть сильное желанье видѣть Шафгаузенъ пиши — а итъ, пріѣзжай просто въ Люцернъ, по полученіи письма и означивъ день. Тхорж. думаетъ, что до 1-го августа дѣлать нечего — тогда въ Люцернѣ можно остаться. — Ты многое поправила своимъ письмомъ, на эти вещи надобно имѣть свой тактъ.

Видя положенье Долгорукаго, я разумѣется не хочу продолжать съ нимъ ссоры. Ыздить къ нему, я не думаю, что бы нужно было — но спросить о здоровьѣ черезъ пана (если хочеть) можно. Прощай.

Скажи Тхоржевскому, что и его письмо пришло — и что все *all right*. А Долгор. пусть онъ не говоритъ, когда я буду въ *Luzern*ѣ, а то онъ пожалуй выпишетъ меня.

Итакъ обдумай насчетъ пути, привези пана. — Во всякомъ случаѣ, мы ѣдемъ въ субботу. А потому писать съ пятницы вечера: *Luzern (Poste restante)*.

Если напишешь завтра утромъ, письмо придетъ. Веди счетъ деньгамъ, которыя взяла у Тхоржевскаго. Зачѣмъ, видѣвшись

съ Касаткиной, ты не взяла у нея тетрадь о которой хлопоталъ Тхоржевскій.

Adol.⁸⁹⁾ долженъ almeno брать по 5 фр. за визитъ, хотя бы ихъ было больше 500 съ Долг.

Татѣ. 1868. 27 Іюля. Середа.

Очень радъ, что все съ рукъ сошло. Жаль, что Hôtel de la poste постоянно набитъ мерзкимъ обществомъ нѣмецкихъ сидельцевъ.

Подробности и пр. въ другое время. Ангаж съ виду бѣденъ — но интересенъ и имѣеть свой умъ и сильное образованье.

Я вездѣ былъ принятъ превосходно, братъ Шофура⁹⁰⁾ играетъ здѣсь роль, очень умный, очень образованъ — и холить меня какъ хорошаго гостя.

25 или 26-го — мы въ Мюльгаузъ и тамъ буду ждать отаѣта на это письмо. Soup de tête кончаю — теперь надобно опять привести въ порядокъ. Отвѣтъ на это письмо придетъ 28 или 29 — я его получу въ Мюльгаузѣ. Я готовъ въ М. жить до 5 Іюля и могу выѣхать тебѣ навстрѣчу — въ Базель — если ты думаешь что границу переѣзжать трудно — (есть ли у тебя паспортъ — обыкновенно не спрашиваютъ, но на случай). Ты можешь въ Женевѣ остаться еще нѣсколько дней, должна захватить къ Маріи Каспаровнѣ и тогда написать мнѣ день и train въ который ты пріѣдешь, въ Мюльгаузъ — или день и train когда ты пріѣдешь въ Базель. Отъ Базеля до Мюльгауза часъ и десять минутъ.

Можеть и мы изъ Мюльгауза переѣдемъ въ Базель, что бы поѣздить по Сѣверной Швейцаріи — въ этомъ случаѣ мы встрѣтись можемъ въ Базель. Alles ist möglich. Я предоставляю тебѣ рѣшеніе — но исполненіе и главное точность во времени требую огромную. Никакой разсѣянности, помѣхи не принимаю — это все вздоръ и невняманье — есть почта, есть телеграфъ.

Хочешь ты пріѣхать въ Мюльгаузъ?

Хочешь въ Ба — га — когда всѣ мы будемъ тамъ.

Пиши сейчасъ. Чрошай.

P. S. Получилъ отъ Саши письмецо. Жаль мнѣ сго. Вотъ

⁸⁹⁾ Adol. — профессоръ-медикъ Адольфъ Фогтъ (см. прим. 53), въ то время лечившій заболѣвшаго П. В. Долгорукова.

⁹⁰⁾ Французская семья Шофуровъ изъ Кольмара, съ большимъ уваженіемъ относившаяся къ Герцену. Братья Шофуръ, Викторъ и Игнатій, были въ 1848 г. членами Учр. Собранія.

отдать бы въ большой пансіонъ въ Библейганмъ Терез. на годъ, она бы нѣсколько отшлифовалась.

1868. 31 июля. Среда. Bâle. N-I Trois Rois N° 3.

Твоя записочка пришла. Самое лучшее встрѣтиться въ Люцернѣ — пожалуй мы переѣдемъ туда въ субботу утромъ или въ пятницу. Можно даже встрѣтиться въ Olten — если ты не видѣла реинскаго водопада. Но можно съѣздить и изъ Люцерна. День зависить отъ тебя, живи хоть двѣ недѣли въ Бернѣ — если не à charge Марья Каспаровиѣ.

Смерть Матеучи меня поразила — больше, чѣмъ положенье Долгор. Какая сила и какая свѣжесть. Теперь будутъ гнать свободную науку.

Итакъ я жду отвѣта kategorisch. Я ѣду въ Базель — train — часъ. — Я ѣду въ Люцернъ — часъ train число. Полагаю, что въ Люцернъ ближе и проще — дальше субботы я здѣсь не останусь.

А что же ты у Касаткиной не взяла рукопись.

Жду описанья о свиданіи съ Маріей Каспаровной — удивленіе Рейхеля.

Къ Frölich'амъ ⁷¹⁾ само собою разумѣется ходить не надобно — они негодяи.

Къ Адольфу надо.

Къ старушкѣ, если она хочетъ.

Всѣхъ Рейхелей обнимаю.

1868. 22 Сентября. Vichy. Hôtel des Ambassadeurs.

Ну Тата, какъ тебѣ Лионъ. Дали ли вамъ комнаты съ видомъ.

Я ничего, чувствую себя хорошо — подробности скажешь и прочтешь (...). Я все думаю, лучше ѣхать вамъ или нѣтъ — то есть ждуть въ Лионѣ и не придумую. Теперь, Тата, я тебя еще больше и серьезнѣе прошу сосредоточить полсилы на Лизѣ, а другой половиной буди самое себя. Чтенье всегда есть серьезное — даже ботаника и зоологія, книги объ инсектахъ представляютъ много. Съ Лизой сложи вѣчную строптивость и негодованье. Въ негодованіи и нетерпѣніи — часто гнѣздится, маскируя себя эгоизмъ.

Здѣсь заниматься досугъ — все какъ въ Ниццѣ запирается къ 1-му Октябрю. Гулянья и окрестности очень милы. Самъ го-

⁷¹⁾ ? — быть можетъ семья Фрелиха, педагога, въ пансіонѣ котораго училась одно время дочь Герцена Ольга.

родъ ничего — это «предбанникъ». Nat. тебѣ объяснить это слово.

Напиши какъ уѣхала Ольга и въ какомъ направленіи и расположеніи. Она мнѣ говорила, что ей надоѣло такъ жить, то есть не вмѣстѣ.

Ну обнимаю тебя и цѣлую.

Объ Огаревѣ, мнѣнне Б—на⁷²⁾ въ томъ, что если операцію нельзя сдѣлать безъ ножа (резекція, спиленье наростшей кости) — то и не дѣлать, а просто хромать. У Огарева кровь плоха и онъ слабъ — того гляди гангрена и смерть. Стало и этотъ вопросъ совершенно ясно поставленъ. Вообще 4 дня съ Боткинскимъ мнѣ открыли бездну вещей. Какъ вы оставили Огар.

(...) Лизу въ лобъ, въ середину.

Напомни о капитанѣ выброшенномъ на ладѣ — океанъ — 10 мальчиковъ и о литераторѣ убившемъ себя въ Парижѣ.

1868. 25-го Сент. вечеръ. H-1 des Ambassadeurs.

И такъ вы полагаетесь на мое рѣшеніе — я думаю, что лучше ѣхать сюда — и зову васъ очень. Вчера писалъ Natalie, сегодня пишу другой, то есть тебѣ. Сойдите въ вашу душу и скажите — твердо ли рѣшеніе мира и совѣта. Если — нѣтъ, стыдно. Если — да, зову во весь голосъ.

Квартира провизуарно въ 1-омъ этажѣ. Внизу англичанка одна съ добрымъ видомъ и совершенно хромая отъ подагры, ей лѣтъ 25. Мѣшать не можетъ.

Если будутъ скверно кормить (мы будемъ ѣсть одни) — переѣдемъ. Не теряйте времени и приѣзжайте. Если нѣтъ денегъ, телеграфируйте сколько надобно и еще разъ прошу за 24 часа извѣстить. Приѣзж. изъ Ліона въ 4 часа и въ 7½.

Приѣзжайте въ 7½ — для васъ удобнѣе. Изъ Ліона выѣзжаютъ — въ часъ кажется. Я дѣйствительно постараюсь замѣнить школу собой.

Лизу очень цѣлую за письмо, писать буду ей — когда она приѣдетъ. Я тоже видѣлъ Мориса изъ Лозанны въ Hôtel de Russie.

Насчетъ Огарева я писалъ тебѣ — ясная необходимость знать мнѣнне Люке, безъ этого все болтовня. Ни рѣзать, ни ломать кость я не позволю — ни въ самомалѣйшемъ размѣрѣ. Боткинъ укрѣпилъ меня.

⁷²⁾ Серг. Петр. Боткинъ (1832-1889), профессоръ Мед.-Хир. Академіи, выдающийся врачъ и общественный дѣятель.

Я никогда не был здоровѣе, какъ въ эту болѣзнь. Воду пью — и ничего.

Дг спрашиваетъ: «Ну что ванны?» — агитация, прострация, афектация — а я ничего. Сахаръ сведень съ $4\frac{1}{2}$ на $1\frac{1}{2}$. Я увѣренъ, что 22 Октября мы поѣдемъ назадъ.

Торопиться очень нечего — два, три дня позже ни копѣйки не стоитъ.

(въ октябрѣ, или сентябрѣ).

1868. 18. Пятница. Парижъ.

Grand Hôtel du Louvre N° 221.

Наконецъ я имѣю время порядкомъ сказать о свиданіи съ Б. и много сказать положительно о результатахъ его.

Еще разъ я долженъ замѣтить что вниманьемъ, умомъ и патологической догадливостью — онъ выше другихъ мною видѣнныхъ докторовъ. Къ тому же онъ въ самомъ дѣлѣ сердечно принялъ меня. Запишу и расскажу многое послѣ — напр. осмотръ всего организма, измѣреніе слуха, зрѣнія *) и пр. Теперь результаты. Въ самомъ диабетѣ сомнѣнья нѣтъ, четыре разложенія сдѣланныхъ ими при мнѣ доказываютъ ненормальное выдѣленіе сахара. 2) Причину болѣзни онъ прямо относитъ къ мозгу и психическимъ потрясеніямъ и считаетъ начало по крайней мѣрѣ за 4 года (Подумай, что тогда было ⁷³). Что организмъ такъ здоровъ, что онъ быстро выполняетъ уносимое сахаромъ и опасности, чтобы болѣзнь взяла быстро другой оборотъ (какъ полагаетъ Фогтъ) — онъ не предвидитъ. Но запускать нельзя ни подъ какимъ видомъ. 4) Ъхать въ Виши, пить воду отъ 4-5-ти недѣль, брать не очень долгія, теплыя ванны — и затѣмъ выждать весны. Если симптомы уменьшатся — ѣхать снова въ Виши. Если симптомы увеличатся ѣхать въ Карлсбадъ. 5) Ни Виши, ни Карлсбадъ радикально не вылечатъ, но служить отводомъ, отводомъ временнымъ, а потому — а потому не п р е м ѣ н н о ѣздить ежегодно — на мѣсяцъ (это всего скучиѣе). 6) Безъ сильныхъ психическихъ потрясеній — при такомъ организмѣ болѣзнь не страшна на нѣсколько лѣтъ. Но новые удары или заботы, опаснѣе всякаго нарушенія діеты. 7) Діеты глупой онъ не требуетъ. Мясо долж-

*) До шекотанья пятокъ.

⁷³) За четыре года передъ тѣмъ, въ декабрѣ 1864 г., Герценъ перенесъ сильное потрясеніе — погibli отъ дифтерита дѣти его и Н. А. Огаревой, близницы Леля-boy и Леля-girl. См. прим. 21а.

но составить фонд ѣды — но хлѣбъ въ маломъ количествѣ онъ допускаетъ и говорить, что одно мясо можетъ надолго до от-
вращенья. Далѣе — пиво сколько можно совсѣмъ исключить,
водку свести на капли, красное вино, бордо и бург. — разрѣ-
шены.

Худшее во всемъ этомъ изъ-за наружнаго — состоитъ въ томъ, что Виши совсѣмъ не такъ близко къ Лиону какъ я думалъ, потому, что крюкъ устроенъ дурно — все же 4 съ чѣмъ то часа. Этого я не ждалъ. Ѣздить на день можно.

Теперь мой планъ таковъ. Я поѣду 20 или 21 (въ одинъ день съ Боткинымъ) въ Виши — осмотрюсь тамъ и 23-го буду въ Лионѣ въ нашемъ Hôtel de l'Europe (....) (кажется такъ, словомъ у Крепо). Ты сейчасъ напиши подробно якъсьмо и адресуй въ Vichy — poste restante. Въ Лионѣ я тебѣ сообщу, что лучше — подождать Вамъ въ Лионѣ, или ѣхать. Б. считаетъ, что въ началѣ ноября окончится весь курсъ — я съѣзжу въ Женеву — и потомъ готовъ до весны ѣхать на югъ и побывать въ Ниццѣ или остаться, это по твоему выбору. Вотъ все. Теперь насчетъ Огарева. Боткинъ говорить, что Люке, знаменитый хирургъ — въ родѣ Нелатона и Лангенбейка и совѣтуе-
тъ съ нимъ повидаться и для того съѣздить въ Бернъ, чтобы порядкомъ осмотрѣлъ онъ. Но его мнѣнье — то, что операция нелегка, — а если придется дѣйствовать ножомъ, или ломать кость, или рѣзать — онъ рѣшительно противъ и говоритъ, что есть самые печальные шансы. Въ сущности онъ не за операцію — будь она сколько нибудь сложна. (Огар. не говорю).

Здѣсь Василій Боткинъ⁷⁴⁾ (я его не видалъ) — весь больной ревматизмъ во всѣхъ суставахъ. Его возюта катать. И Николай Боткинъ здѣсь. Василій разбогатѣлъ страшно и скупъ до невозможности.

Итакъ я жду письма въ Виши, можете тоже написать мнѣ въ Лионѣ Hôtel de l'Europe. Я приготовлю комнаты и все. Не бѣда есля записка будетъ лежать въ Лионѣ. Напиши подробно объ отъѣздѣ. Я буду телеграфировать изъ Vichy въ Женеву на имя Тхорж. или Огар.

24 въ четвергъ ты можешь быть въ Лионѣ — или въ среду. Устрой, что бы Лиза простилась съ Ага. Вамъ необходимо ѣхать Женевой — останов. въ Schweizer Hoffъ возлѣ горы или въ Hôtel de la Russie.

⁷⁴⁾ Вас. Петр. и Ник. Петр. Боткины — братья проф. С. П. Боткина.

1868. 4 Ноября, Среда. Genève.

Hôtel de la Paix N° 14.

Natalie и Татъ, пишу на удачу — *poste restante*.

Пишу только для того, чтобъ сказать, что я прѣхалъ въ Женеву — не нашель мѣста въ *Hôtel de la Russie* (Юсуповъ взялъ цѣлый этажъ) и помѣстился въ *Hôtel de la Paix*.

Бакунинъ встрѣтилъ тотчасъ. Онъ и простъ какъ ребенокъ и хитеръ какъ дѣти. И жаль его и досадно.

Опарева засталъ довольно хорошо, онъ ходитъ побольше и безъ костыля. Тхорж. увѣряетъ, что онъ совсѣмъ перебрѣлся, когда узналъ, что операціи не будетъ — помолодѣлъ. Мнѣ кажется, что онъ немного потолстѣлъ — но нехорошо, это отъ перебрѣданья безъ движенья. Тхорж. здоровъ. Въ Женевѣ солнце и свѣтло.

Отъ Саши письмо изъ Мюнхена.

Мнѣ такъ много — такъ необходимо много сказать, что жду съ нетерпѣніемъ адреса.

Цѣлую Лизу и жду адреса *). Бакунинъ и Тхорж. говорятъ, что я похудѣлъ и посвѣжѣлъ, это хорошо.

Вырубовъ¹⁵⁾ мнѣ писалъ, въ Марселѣ не знаеть никого — Лугининъ на дняхъ будетъ въ Парижѣ — и собирается черезъ Ниццу въ Италію.

Отъ Мейзенбургъ письмо къ Татѣ.

Въ *Hôt. de l'Europe* принесли корсетъ и мелочи для Таты.

Я не нашель здѣсь совсѣмъ новый жилетъ отданный въ *Vichy* въ стирку — не у насъ ли.

*) Лизѣ скажи, что все таки на рукѣ синее пятно и рука болитъ при движеніи отъ паденья на желѣзную дорогѣ.

1868. 7 Ноября. Н-1 de la Paix.

Многаго на твое письмо сказать не могу. Разумѣется я согласенъ на все — и мнѣ можетъ больше всего мучить то, что все это несущественно и ставится выше существеннаго.

У меня была мечта и въ моихъ глазахъ она была очень поэтична. Лиза никогда не довольна бы была мѣнять имени — а знать должна была, что она моя дочь — это было бы традиці-

¹⁵⁾ Вырубовъ Григ. Ник. (1843-1913), публицистъ, философъ. Почти всю жизнь прожилъ во Франціи. Вмѣстѣ съ Литтре редактировалъ журналъ *Philosophie positive*. Другъ Герцена и его семьи, его душеприказчикъ.

ей Огарева — но это не удалось ⁷⁶⁾). Главное, что я боюсь это за форму передачи ей, за смущенье всѣхъ понятій. И потомъ, развѣ не слѣдуетъ тотчасъ писать Ольгѣ. Я очень, Тата, во всемъ надѣюсь на тебя. Я много разъ говорилъ тебѣ, что я находилъ въ тебѣ больше такта, пониманья — а можетъ и сочувствія. Потому мнѣ легко было говорить тебѣ и при тебѣ. Н. недовольна, что я говорилъ при тебѣ — но я этимъ положилъ предѣлъ.

Прошу тебя объ величайшей обдуманности, — старайся имѣть мягкимъ разумомъ влиянье на Nat., а не спорамъ. Пуше всего, ужъ если Лизѣ сказано или сказано будетъ, привяжи ее къ себѣ и замѣни долею меня.

Если бѣ, Тата, у тебя немного самодѣтельности артистической или другой — а больше мягкости и умѣнья къ слабому — жизнь твоя пошла бы хорошо, да и ты сдѣлала бы страшную пользу Лизѣ.

Что касается до твоего нравственнаго паралича, недозволяющаго тебѣ ни рисовать, ни пѣть — это мое больное мѣсто. Когда же ты проснешься.

Огаревъ очень доволенъ портретомъ.

Суббота — 3 часа.

Получено ли мое письмо *poste restante* — въ немъ было письмо отъ Елизаветы ⁷⁷⁾). Если нѣтъ — сходи.

Hôtel Catalon, а отчего нѣтъ улицы? Все у васъ à peu près.

3 часа.

Письмо ваше до того удивило меня — что я не знаю, что и дѣлать. Буду ждать изъ Кана вѣсти. Неужели вы не могли подождать до 25 Ноября — когда я живу 7 дней въ морозѣ и бизѣ. Au reste, да будетъ святая воля ваша.

Natalie — я рѣшительно безусловно согласенъ на все, что ты скажешь. Аминь же.

⁷⁶⁾ Необходимость посвятить младшихъ дѣтей во всю сложность семейныхъ отношеній становилась повелительной. Ольга, которой шель уже 19-ый годъ, не знала, что Лиза ей сестра. Десятилѣтняя же Лиза все еще продолжала звать Огарева «папой», а Герцена — дядей. Была опасность, что онѣ случайно и неожиданно узнаютъ обо всемъ отъ постороннихъ, притомъ въ освѣщеніи искаженномъ. Задача осторожно подготовить сестеръ къ пониманію истиннаго положенія вещей выпала главнымъ образомъ на Наталью Александровну.

⁷⁷⁾ Горничная Герцена и Огаревой въ Ниццѣ.

Тхорж. отправилъ швейцара сегодня въ Россію въ Тамбовъ, самъ ѣдетъ весной.

Почему не Гелегри⁷⁸⁾ (....).

1868. 10 Ноября. Genève. Hôtel de le Paix.

Милая Тата, Ты такъ неопредѣленно пишешь, что я не понимаю — получили ли вы два письма или нѣтъ. Во вторыхъ было отъ Мейзен. 1. Я его послалъ помнится 6-го.

Вчера въ десять вечера — Огаревъ пошелъ одинъ къ себѣ въ комнату, совершенно здоровый — я и Чернецкій шли за нимъ — вдругъ онъ остановился — сталъ въ уголь и если бы мы не подхватили — расшибся бы вѣрно о кровать. Этотъ разъ на 14-й день⁷⁹⁾.

Прибавить къ тому, что я писалъ я ничего не могу. Я усталъ отъ этихъ бурь и хочу устроить — покой и занятъе, ты можешь конечно дѣйствовать на Лизу при стараніи и вниманіи.

Изданье Колок. въ 4 листа дѣло нешуточное и безъ меня оно не выйдетъ въ срокъ. Огаревъ къ срочной работѣ вовсе неспособенъ. Къ тому же онъ небреженъ.

Представь себѣ, что онъ позволилъ Бак. записать свое имя въ новый клубъ, заводимый тѣмъ и о которомъ Огар. ничего не знаетъ⁸⁰⁾. Когда я его спросилъ какъ его имя фигурируетъ — онъ сначала не зналъ, а потомъ сказалъ: — «Да, Бакунинъ мнѣ сказалъ, что записалъ меня». Прежде 20-го Ноября не думаю, что бы можно было ѣхать. Бумаги Долгор. еще не разбиралъ. Чернецкаго надобно безпрестанно подстегивать. Съ записками Мейзенб. опоздалъ. Сегодня будетъ кажется адвокатъ изъ Берна.

Суслиха выдала въ Петербургъ медицинскую книгу. Я вовсе не зналъ, что она брала уроки у Мерчинскаго. Его я раскусилъ больше теперь, это славный человекъ и очень уменъ.

78) ? — быть можетъ слово неправильно разобрано.

79) Огаревъ страдалъ припадками ладучей болѣзни.

80) Бакунинъ вначалѣ принималъ дѣятельное участіе въ международной «Лигѣ Мира и Свободы». Въ 1868 г., выйдя изъ нея, онъ основалъ новое общество, Alliance Internationale de la Democratie Socialiste. Внутри этого общества было образовано особое тайное братство, съ диктатурой въ немъ самого Бакунина. Въ этогъ тайный «клубъ» Бакунинъ убѣдилъ вступить Огарева (а также юношу Генри, сына М. Сутерландъ). Бакунинъ былъ очень раздраженъ противъ Герцена за то, что по настоянію послѣдняго Огаревъ снялъ свое имя изъ списковъ Alliance.

Еуставъ Фоттъ въ негодованіи веліемъ за мою статью о конгрессѣ, поляки опять меня отгаскали въ «неподлежности» — а «Былое и Думы» на французскомъ всѣ совѣтуютъ издавать. Чини карандашъ.

Кельсиева въ газетахъ ругаютъ на чемъ сабѣ стоитъ. Пришлю образчики ⁸¹⁾. Какъ же вы записались въ Hôtel'ъ — я не знаю какъ адресовать, да и полагаю, что все же слѣдуетъ спрашивать на имя Nat. Og. письма. Не худо бы спросить въ bureau de la poste aux lettres à Nice нѣтъ ли писемъ.

Не знаю отчего, но мнѣ больно, что Лиза переимѣнитъ имя мнѣ дорогое. Это обрывъ традиціи. Огар. тебѣ писалъ, онъ какъ всегда чистъ и широкъ — даже былъ бы силенъ — еслибъ не апатія и распушенность.

Цалую тебя и надѣюсь на тебя.

Я совершенно согласенъ остаться на зиму въ Марсель — посмотрите дачку, или домикъ.

Жди Устинова одного ѣдетъ въ Барселону, а бабѣ здѣсь.

Natalie и Tatъ.

1868. 12 Ноября. Четвергъ. N-1 de la Paix.

Наконецъ я au large въ бумагахъ Долгорукова ⁸²⁾, je rafauge et je me vaigre. Много интереснаго. Какой нибудь Касаткинъ умеръ бы на тетраджахъ. Все въ довольноомъ порядкѣ и я Тхорж. — общаю въ Маѣ мѣсяцѣ начать изданье «Матеріаловъ оставленныхъ княземъ Долгорукимъ, «для своихъ записокъ». Есть письмо Маріи Федоровны послѣ убійства Павла. Есть записка о ссорѣ Орлова когда онъ хотѣлъ жениться на Екатеринѣ, съ Чернышевымъ, который за столомъ ему показалъ ножъ со словами «до рукоятки» и есть либеральное, собственноручное письмо

⁸¹⁾ О Кельсievъ см. прим. 49. Герценъ безъ большой суровости отнесся въ свое время къ тому, что Кельсievъ, «усталый, безъ вѣры, безъ средствъ, бездомный и одинокій... довѣрился русскому правительству». Ознакомившись теперь съ вышедшими въ 1868 г. въ Россіи «Записками» Кельсievа, Герценъ не переимѣнилъ своего мнѣнія: «Кельсievъ сдѣлся какъ сумасшедшій, но не измѣнилъ», писалъ онъ Огареву. — Вообще къ этому времени у Герцена все болѣе складывается критическое отношеніе къ роли эмиграціи. «Вся эмиграція была нелѣпность», писалъ онъ Огареву въ августѣ 1868 г. «Мы слышкомъ далеко зашли, останемся въ нашей фортеціи умирать, но, пусть гарнизъ (желающая) идетъ по дворамъ».

⁸²⁾ Князь П. В. Долгоруковъ умеръ 17 августа 1868 г. Свое имущество онъ по завѣщанію отказалъ С. Тхоржевскому.

Каткова... къ Долгорукому. Словомъ интереснаго много и цѣлый ящикъ.

Записки Карабанова, я совѣтую продать въ Россію и поручу это Мер.

Деньги, сказалъ мнѣ Ломбаръ — котораго страшать посылалъ меня Тхоржевскій, будутъ выданы черезъ дней (....) и такъ дѣло выходить.

Девягми слжш.	20.000
Библіотека около	10.000
и вещи, купоны	5.000
	<hr/>
	35.000

Да на книгахъ, то есть рукописяхъ выиграть можно — 5.000.

Сорокъ тысячъ — почтенно. За то намъ мечтаеть ѣхать въ Марсель, Ниццу и Флоренцію и жертвуетъ на это 1.000 франковъ.

Съ субботы холодъ страшный и бива. Снѣгъ не таетъ. Но всѣ здоровы. Комната у меня очень хороша то есть тепла. Боязнь здѣшняго климата — отчасти баловство. Акціи за Цюрихъ опять поднялись — и я иду черезъ газеты цѣну.

Бакунинъ дуется и мы невидимы. До новаго набора Колок. ѣхать не могу. Топор. видѣлъ. Онъ говорить что Сатинъ⁸³⁾ теперь не такъ сильно играетъ, что имѣнье ихъ и заводъ прощѣтають, но вѣтъ онъ очень съ утра до вочи, растолстѣлъ, но объ опасной болѣзни не слыхалъ. Онъ его видѣлъ годъ тому назадъ и очень его любить. (....) деньги онъ высылать можетъ. Дѣтей онъ мало знаетъ.

Отъ Мейзенб. и Ольги получилъ письмо — все хорошо. А Сантъ ѣздить было не нужно. Шифъ поторопился — это глупо.

Мать Вырубова прислала мнѣ приглашенье съ запиской сына, вѣроятно зайду. «Москва» запрещена⁸⁴⁾. Вотъ и все. Это не письмо, а бюлетьень.

Майоръ говорить, что мой наростъ въ носу непременно придетъ вырѣзывать — оставлю его до Марселя. Діету я здѣсь веду, точно такую какъ въ Vichy и нахожу, что это очень полезно.

⁸³⁾ См. прим. 50. Топор., повидимому, Топорнинъ, знакомый Герцена изъ Самары.

⁸⁴⁾ «Москва» — газета И. Аксакова. Консервативная по направленію, газета тѣмъ не менѣ систематически подвергалась гоненіямъ правительства за недоброжелательное отношеніе къ пріябалтійскимъ иѣмцамъ.

В с ѣ м ѣ . 14 Ноября, 1868. Hôt. de la Paix.

Пишу въ Саае. Вчера писалъ въ Марсель, въ (...).

Жаль, что вы не подождали и «поторопились» какъ говорить у Толстого князь Болконскій. Но бѣды нѣтъ.

Биза (или вашъ мистраль) здѣсь неистовствуетъ больше недѣли. Это совершенно исключительное явленіе. Ресурсовъ представляетъ Ницца гораздо больше. Канна — ни для Лизы, ни для Таты, въ Каннѣ ничего нѣтъ. Лучше ѣхать въ Ниццу и взять домъ о которомъ писала Лизавета.

Писать не могу, не зная собственно гдѣ вы. Полагаю что лучше было бы впередъ написать или телеграфировать.

За этимъ наконецъ я поручу смотрѣть Лизѣ.

Мнѣ дѣла еще много и я много работаю.

Вы пишете письмо изъ Марсея, въ немъ много деталей на имя Таты.

Конечно Ницца меньше всего удобна для вашихъ перемѣнъ — но я и надъ этимъ возьму верхъ.

О здоровьѣ Марсея и докторовъ — я спрашивалъ Коста. Устиновъ вчера уѣхалъ въ Монпелье, вѣроятно это все ненужно.

Всѣ здоровы.

Письмо Ага къ Лизѣ — послалъ во вчерашнемъ письмѣ, Лизу за письмо очень шѣлую.

P. S. У васъ готовятся ужасы, смотрите, какъ бы не пришлось въ Геную, я и на это согласенъ.

До письма отъ васъ писать не буду.

Т а т ѣ . 18. Пятница.

Подробности обо мнѣ ты всѣ узнаешь изъ письма N. Укладывайся и отправляйся въ Лионъ. Далѣе увидимъ.

Пишу къ тебѣ особо, что бы сказать, что Полину и Левицкаго⁸⁵⁾ я видѣлъ, Сергій Львовичъ уѣхалъ въ день нашего пріѣзда. Полина подурнѣла — но очень добродушно весела. У нея огромный голодъ (я не слыхалъ, но по общему отзыву) — первый учитель здѣсь, дающій уроки даже Nilson — ее учить. Vartal и думаетъ, что ей слѣдуетъ дебютировать въ Парижѣ, въ Оперѣ. Was sagen Sie dazu? Я пойду къ ней до отъѣзда.

Объ тебѣ и Ольгѣ все разспрашивала — она васъ очень любить.

Сашу я встрѣтилъ въ Нефшатель, train остановился на 10

⁸⁵⁾ Левицкій — двоюродный братъ Герцена. Полина — повидимому, дочь Левицкаго.

минуть. Саша далъ мнѣ въ вагонъ кусокъ курицы и полбутылки краснаго вина. Дарделя⁸⁶⁾ онъ не засталъ, — Жаль мнѣ ужасно его стало — когда поѣхалъ. Какой безумный поступокъ онъ сдѣлалъ. Авось либо судьба вынесетъ.

Ну а что же Ольга и Мейзенб. куда, какъ. Пусть тотчасъ напишутъ адресъ, куда имъ писать. Пока прощай.

Поцалуй Лизу. Неужели ты не устроила съ ней правильныхъ занятій.

Когда получена телеграмма. Я ее послалъ въ 12 часовъ утра.

1868. 20 Ноября.

Въ прошлый разъ я не видалъ твоей приписки на письмѣ Лизы. Но все же пишете Вы безобразно мало. Я послалъ въ Сае пачку журналовъ и двѣ брошюры изъ Берлина. На дняхъ, когда узнаю гдѣ вы — пришлю очень любопытныя вещи — а можетъ и самъ привезу. Разсказъ Андреева о Сибири въ четырехъ книжкахъ (...) и статью Заборъ. «О нигилизмѣ».

Далье — пришли какъ то завалившіяся книжки (Юль, Августъ) Отечественныхъ Записокъ — и также «Пугачевъ» Мордовцева. Все это такъ и идетъ въ чтенье вмѣстѣ. Мерч. вѣроятно подъ Петерб. онъ много общалъ.

Отъ Саши письмо, все ладно у нихъ — я имъ послалъ при деньгахъ за фортепiano, еще 250 фр. въ презентъ — изъ этого видно, что дѣла финансовыя идутъ.

У Огарева опять два обморока (черезъ недѣлю).

Вырубовъ прислалъ письмо въ Колок. въ которомъ объявляеть, что онъ не нигилистъ^{86a)}. Очень плохо. Если я буду отвѣчать — *finis amicitiae*. Бакунинъ прервалъ всѣ дипломатическія сношенья... Огаревъ ему писалъ два письма — классически благородныя. Онъ отвѣчалъ: (...).

Завтра рожденье Ольги, 18 лѣтъ. Я надняхъ перечиталъ опять тотъ томъ записокъ въ которомъ я описываю 50-52 годы. Ни слова не могу ни прибавить, ни убавить. Читалъ ихъ еще и еще.

86) ? — Такъ иногда Герценъ сокращалъ фамилію лечившаго его яъ Виши врача, Дюранъ-Фарделя.

86a) Въ своей статьѣ «Русскіе на бернскомъ конгрессѣ» (Колоколь, октябрь 1868) Герценъ, самъ уклонившійся отъ участія въ «Лигѣ Мира и Свободы», сочувственно писалъ однако, что русскіе участники конгресса, Бакунинъ и Вырубовъ, «высоко держали наше знамя нигилизма». Вырубовъ въ открытомъ письмѣ въ редакцію «Колокола» рѣшительно возражалъ противъ причисленія его къ «нигилистамъ». Герцену пришлось отвѣчать ему (Колоколь, декабрь 1868 г.).

Холодъ ужасный — зима полная съ 5-го Ноября. Постоянно въ вѣтеръ и хоть бы насморкъ.

Цалую тебя.

Милая Лиза — тебѣ буду писать завтра или въ Воскресенье. За твои письма цѣлую тебя, пиши мнѣ больше. Берите если надобно книжки у Висконти. Кланяйся Елизаветѣ.

Обнимаю тебя.

1868. 24 Ноября. Вторникъ.

Еще есть время — Тата — и я пишу тебѣ нѣсколько строкъ. Письмо твое къ Ага — меня тронуло и я тебя за него обнимаю горячо. Все что ты писала объ Ольгѣ — и воспоминанье и желанье мнѣ очень по сердцу.

Письмо Natalie изъ рукъ вонъ жестоко. Это истинно бользнь и я совершенно не знаю что дѣлать — развѣ просто не ѣхать и ждать.

Это равняется несчастью. Я на все согласенъ, я несогласенъ на одно — на то чтобъ признаньемъ (...) я согласился бы признать разумную необходимость.

Я поѣду въ Цюрихъ — и тамъ буду ждать вашихъ писемъ (...), а если ихъ не будетъ, я буду жить въ Цюрихѣ. Наконецъ я возьму тамъ домъ и скажу «милости просимъ» и останусь тамъ.

Все, все кругомъ мрачно.

Лиза безъ меня — потеряетъ также какъ Ольга. Жалко — бѣдная жизнь Огарева, Сашинъ неловкій бракъ — еще ты держишься послѣдней могицанкой.

Я стремлюсь душой, что бы привести къ миру и гармоніи, ничего не могу. Я хочу — ищу покоя Natalie и блага и воспитанья Лизы — и сдѣлать ничего не могу. Думалъ пріѣхать въ самыхъ первыхъ числахъ Декабря — вмѣстѣ провести печальную годовщину — и прано не знаю пріѣду ли. Пиши развѣ въ Цюрихъ или два — я велю переслать письмо.

Очень скучно.

Платье у Ага взялъ. Книги пришлю.

Помни, что если бѣ тебѣ захотѣлось ѣхать во Флоренцію — ты можешь — но подожди меня, напиши за недѣлю, если я не пріѣду.

Поручаю еще разъ, покаместъ, тебѣ Лизу. Бѣдный ребенокъ, хочу и не могу ничего сдѣлать для ея развитія. Меня эти вещи (...).

Прощай.

1868. 26 Ноября. Genève.

Вчера отъ Саши письмо, — формальный отказ его пропустить въ Россію⁸⁷⁾. Вотъ скоты то. У Ольги лихорадка, день ея рожденья она пролежала, но 22-го было гораздо лучше. А у меня еще ни одного насморка. Я ѣду сегодня въ Цюрихъ — и тамъ буду ждать писемъ отъ Nat. и отъ тебя. Торопиться не буду — оно очень умѣстно теперь присмотрѣться къ Цюрихской пустынь. Домовъ тамъ ужасно много.

Здѣсь все тоже. Тхорж. разсорился съ Чернецк. — Чернецкій продаетъ типографію и дуется на меня⁸⁸⁾. Лапинскій укралъ у Свертеневича послѣднее пальто и деньги и скрылся, а Сверт. ѣсть нечего.

Осипъ Иван.⁸⁹⁾ при смерти, я вчера писалъ старику Квадрио — все gloomy. Книги Тхорж. будутъ тебѣ присылать по одной — потому, что самъ читаетъ Андосову. Ужаснѣ погоды трудно себѣ представить. Впрочемъ это экстраординарно — отъ 6-го Ноября не было солнца и свѣта. Туманы какъ въ Ліонѣ.

Гаридо⁹⁰⁾ идетъ въ гору — можетъ долгое тянунье поидеть Испаніи въ прокъ.

⁸⁷⁾ Когда въ 1868 г. сыну Герцена Александру, въ связи съ усиленіемъ реакціи въ Италіи, пришлось оставить научную карьеру въ университетѣ во Флоренціи, отецъ самъ подалъ ему мысль начать хлопоты о возвращеніи на родину. Въ октябрѣ 1868 г. А. А. сдѣлалъ соответствующее заявленіе русскому посланнику въ Берлинѣ. При этомъ А. А. счелъ нужнымъ оговорить, что, хотя онъ не занимается политикой, однако «воплнѣ раздѣляеть убѣжденія своего отца». Этого оказалось достаточно, чтобы правительство отказало сыну Герцена въ разрѣшеніи возвратиться въ Россію.

⁸⁸⁾ Л. Чернецкій, завѣдывавшій Герценовскою типографіей (см. прим. 15), отличался весьма неуживчивымъ характеромъ и часто досаждалъ Герцену своими выходками. Типографія, о которой идетъ здѣсь рѣчь — знаменитая Вольная Русская Типографія, переданная въ 1867 г. Герценомъ въ собственность Чернецкому.

⁸⁹⁾ «Осипъ Ивановичъ» — здѣсь Джузеппе Мадзини. Тяжело заболѣвшій въ концѣ 1868 г., Мадзини на этотъ разъ выздоравлилъ (ум. въ 1872 г.). О ходѣ его болѣзни Герцену сообщалъ Маурицио Квадрио, старый сподвижникъ Мадзини. Съ обоими Герцена связывали дружескія отношенія.

⁹⁰⁾ Одинъ изъ дѣятелей Лиги Свободы и Мира.

12 часовъ.

Сейчасъ принесли твое письмо отъ 24 — для меня всегда было ясно, что въ Ниццѣ не слѣдуетъ ничего перемѣнять... Это бросается въ глаза. Цѣлую тебя.

Что Лизу не пускаетъ N. въ (...) очень дурно — если можно устрой.

3 часа.

Отъ Мейзенб. письмо. Все ладно. Буду сейчасъ.

Перечитывая Куприна

Перечитывая Куприна, думая, между прочимъ, о времени его славы, вспоминаю его отношеніе къ ней. Другіе — Горькій, Андреевъ, Шалапинъ — жили въ непрестанномъ упоеніи своими славами, въ непрерывномъ чувствованіи ихъ не только на людяхъ, во всякихъ публичныхъ собраніяхъ, но и въ гостяхъ другъ у друга, въ отдѣльныхъ кабинетахъ ресторановъ, — сидѣли, говорили, курили съ ужасной неестественностью, каждую минуту подчеркивали избранность своей компаніи и свою фальшивую дружбу этими къ каждому слову прибавляемыми «ты, Алексѣй, ты, Леонидъ, ты, Федоръ...» Купринъ же, даже въ тѣ годы, когда едва ли уступалъ въ русской славі не только Горькому, Андрееву, но и Шалапину, несъ ее такъ, какъ будто ровно ничего новаго не случилось въ его жизни. Казалось, что онъ не придаетъ ей ни малѣйшаго значенія, ни въ грошъ не ставитъ ее, дружить, не разстается только съ прежними и новыми друзьями и собутельниками вродѣ Маныча... Слава и деньги дали ему одно — уже полную свободу дѣлать въ своей жизни то, чего моя нога хочетъ, жечь съ двухъ концовъ свою свѣчу, посылать къ чорту все и вся.

— Я не честолюбивъ, я самолюбивъ, — какъ-то сказала я ему по какому-то поводу.

— А я? — быстро спросилъ онъ. И на минуту задумался, сощуривъ, по своему обыкновенію, глаза и пристально взглядываясь во что-то вдаль. Потомъ зачастилъ своей армейской скороговоркой: — Да, я тоже. Я самолюбивъ до бѣшенства и отъ этого застѣнчивъ иногда до низости. А на честолюбіе не имѣю даже права. Я писателемъ сталъ случайно, долго кормился чѣмъ попало, потомъ сталъ кормиться разсказишками, — вотъ и вся моя писательская исторія...

Онъ это часто повторялъ — «я сталъ писателемъ случайно». Это, конечно, не правда, опровергается его же собственными автобиографическими признаніями въ «Юнкерахъ». Но вотъ что правда и очень важная — это то, что, выйдя изъ полка и кормясь потомъ дѣйствительно самыми разнообразными

трусами, онъ кормился между прочимъ при какой-то кievской газеткѣ не только журнальной работой, но и «разсказишками». Онъ мнѣ говорилъ, что эти «разсказишки» онъ сбывалъ «за сушіе гроши, разумеется, но очень легко», а писалъ и того легче, «на бѣгу, на лету, поспыстывая» — и ловко попадая, по своей талантливости, во вкусъ редактору и читателямъ. И съ такой же ловкостью онъ и продолжалъ писать — уже не для кievской газетки, а для толстыхъ журналовъ.

Я сказалъ: «по своей талантливости». Нужно сказать сильнѣй: по своей чрезвычайной талантливости. Всѣмъ извѣстно, въ какой средѣ онъ росъ, гдѣ и какъ провелъ свою молодость и съ какими людьми общался главнымъ образомъ всю свою послѣдующую жизнь. А что онъ читалъ? И гдѣ и когда? Въ своемъ автобиографическомъ письмѣ къ критику Измаилу онъ говоритъ:

— Когда я вышелъ изъ полка, самое тяжелое было то, что у меня не было никакихъ знаній ни научныхъ, ни житейскихъ. Съ ненасытимой и до сей поры жадностью я накинудся на жизнь и на книги...

Но надолго ли накинудся онъ на книги? На жизнь дѣйствительно надолго, что же до книгъ, то тутъ слова «и до сей поры» весьма сомнительны. Все его развитіе, все образование совершалось тоже «на бѣгу, на лету», давалось ему и усваивалось имъ истинно по Божьей милости, по его способностямъ, слѣдствіемъ чего и вышло нѣчто удивительное — то, что въ смыслѣ — какъ бы это сказать? — интеллигентности, что ли, — уровень его произведеній былъ вполне обычный. Нужно помнить еще и то, что онъ всю жизнь жилъ, такъ что просто непостижимо, какъ онъ могъ при этомъ писать, да еще такъ ясно, крѣпко, здраво, вообще въ полную противоположность съ тѣмъ, какъ онъ жилъ, какимъ былъ въ жизни, а не въ писательствѣ.

Какъ онъ жилъ, какимъ былъ въ жизни, извѣстно слишкомъ многимъ. И вотъ что замѣчательно: та разница, которая была между тѣмъ, какъ онъ жилъ и какъ писалъ. Критики безъ конца говорили о необыкновенной «стихійности», «непосредственности» его произведеній, о той «первичности переживаній, которыми они плѣняются». Читаешь о немъ и сейчасъ то же самое: «Помѣшали Куприну стать великимъ писателемъ только стихійность его дарованія и истинно русская небрежность, слишкомъ большое довѣріе къ «нутру», въ ущербъ законченности и отдѣланности во всѣхъ смыслахъ... то, что онъ «не кончилъ консерваторіи», какъ говорили символисты о бытовомъ

как... «Въ своемъ творчествѣ Купринъ, по самой природѣ своей не-книжный человекъ, не вдохновлялся литературными сюжетами...» «Ни въ немъ, ни въ его герояхъ не было двойственности...» Все это требуетъ большихъ оговорокъ. Точно ли не было двойственности въ немъ? Жилъ онъ дѣйствительно «стихийно», «непосредственно», «по нутру» — тутъ ему и впрямь всякое море было по колѣно, все тринь трава, тутъ онъ такъ не цѣнилъ ни своего тѣла, ни ума, ни сердца, ни своей репутаци, что былъ и еще долго будетъ притчей во языцѣхъ. А какимъ былъ какъ писатель?

Нѣтъ, «консерваторію» онъ проходилъ (это ужъ другое дѣло, какую именно). И въ силу его талантливости, той быстроты, съ которой онъ набивалъ руку въ писательствѣ, далеко не все шло ему на пользу тутъ.

Это еще мелочи — то, что не мало было въ его рассказахъ даже и средней поры его писательства такихъ выраженій, какъ «шикарная женщина», «шикарный ресторанъ», «желѣзный законъ борьбы за существованіе», «его нѣжная, почти женственная натура содрогалась отъ грубыхъ прикосновеній дѣйствительности съ ея будничными, но суровыми нуждами», «стройная, граціозная фигурка Нины, личико которой обрамляли мягкія пряди пепельныхъ волосъ, неотступно носилась передъ его умственнымъ взоромъ...» Это еще полбѣды, — бѣда въ томъ, что въ талантливость Куприна входилъ большой даръ заражаться и пользоваться не только мелкими шаблонами, но и крупными, не только внѣшними, но и внутренними. И выходило какъ будто такъ: требуется что-нибудь подходящее для кievской газетки? пожалуйста, — въ пять минутъ сдѣлаю и, если нужно, не побрезгую писать чуть не вродѣ того, что «заходящее солнце косыми лучами освѣщало вершины деревь...»; надо написать рассказъ для «Русскаго Богатства»? и за этимъ дѣломъ не постоятъ, — вотъ вамъ «Молохъ».

— Заводскій гулѣкъ протяжно ревлѣтъ, возвѣщая начало рабочаго дня. Густой, хриплый звукъ, казалось, выходилъ изъ-подъ земли и никакъ разстилался по ея поверхности...

Развѣ плохо для вступленія въ смыслъ литературности? Все честь честью — вплоть до ритма двухъ этихъ предложеній, который едва ли уступить ритму фразы о заходящемъ солнцѣ съ его косыми лучами. Все какъ надо и дальше — есть все, что требуется по образцамъ даннаго времени и все, что полагается для рассказа о Молохѣ: «нѣжная, почти женственная натура» болѣзненно-нервнаго интеллигента, инженера Боброва, который доходитъ на своей страдальческой службѣ капитализму до мор-

финизма, архи-акула капитализма Квашинъ, выдающій замужъ за своего служащаго, подлаго карьериста, эту «стройную, граціозную» Нину, дочь другого заводскаго служащаго и возлюбленную Боброва, съ цѣлью сдѣлать ее своей любовницей, бунтъ доведенныхъ до отчаянія голодомъ и холодомъ рабочихъ, пожаръ завода...

Я всегда помнилъ тѣ многія замѣчательныя достоинства, съ которыми написаны его «Конокрады», «Болото», «На покоѣ», «Лѣсная глушь», «Рѣка жизни», «Трусь», «Штабсъ-капитанъ Рыбниковъ», «Гамбринусъ», чудесные рассказы о Балаклавскихъ рыбакахъ и даже «Поединокъ» или начало «Ямы», но всегда многое задѣвало меня даже и въ этихъ рассказахъ. Вотъ, напримѣръ, въ «Рѣкѣ жизни», предсмертное письмо застрѣливашагося въ номерахъ «Сербія» студента: «Не я одинъ погибъ отъ моральной заразы... Все прошлое поколѣніе выросло въ духѣ набожной тишины, насильственнаго почтенія къ старшимъ, безличности и безгласности. Будь же проклято это подлое время, время молчанія и нищества, это благоденственное и мирное житіе подъ безмолвной сѣнью благочестивой реакціи!» Это ли «литература»? Потому я долго не перечитывалъ его и, когда теперь рѣшилъ перечитать, тотчасъ огорчился: я сперва сталъ только перелистывать его книги и увидаль на нихъ множество моихъ давнишнихъ карандашныхъ отмѣтокъ. Вотъ кое что изъ того, что я отмѣчалъ:

— Это была страшная и захватывающая картина (картина завода). Человѣчскій трудъ кипѣлъ здѣсь, какъ огромный, сложный и прочный механизмъ. Тысяча людей собралась сюда съ разныхъ концовъ земли, чтобы, повинувъсь желѣзному джону борьбы за существованіе, отдать свои силы, здоровье, умъ и энергію за одинъ только шагъ впередъ промышленнаго прогресса... («Молохъ»)

— Весь противоположный уголь избы занимала большая печь, и съ нея глядѣли, свѣсившись внизъ, двѣ дѣтскія головки съ выгорѣвшими на солнцѣ волосами... Въ углу, передъ образомъ, стоялъ пустой столъ, и на металлическомъ прутѣ спускалась съ потолка висячая убогая лампа съ чернымъ отъ копоти стекломъ. Студентъ присѣлъ около стола, и тотчасъ ему стало такъ скучно и тяжело, какъ-будто онъ пробылъ здѣсь много, много часовъ въ томительномъ и вынужденномъ бездѣйствіи...

— Окончивъ чай, онъ (мужикъ) перекрестился, перевернулъ чашку вверхъ дномъ, а оставшійся крошечный кусочекъ сахару бережливо положилъ обратно въ коробочку...

— Въ оконное стекло билась и настойчиво жужжала муха, точно повторяя все одну и ту же докучную, безконечную жалобу...

— Къ чему эта жизнь? — говорил онъ (студентъ) со страстными слезами на глазахъ. — Кому нужно это жалкое, нечеловѣческое прозябаніе? Какой смыслъ въ болѣзняхъ и смертяхъ милыхъ, не въ чемъ-не повинныхъ дѣтей, у которыхъ высасываетъ кровь уродливый болотный кошмаръ? («Болото»).

— Станный звукъ внезапно нарушилъ глубокое ночное молчаніе... Онъ пронесся по лѣсу низко, надъ самой землею, и стихъ... («Лѣсная глушь»).

— Онъ открывалъ глаза и фантастическіе звуки превращались въ простой скрипъ полозьевъ, въ звонъ колокольчика на дышлѣ; и попрежнему разстилались и налѣво и направо спящія бѣлые поля, попрежнему торчала передъ нимъ черная, согнутая спина очередного ящика, попрежнему равномерно двигались лошадиные крупы и мотались завязанные въ узелъ хвосты...

— Позвольте представиться: мѣстный приставъ и, такъ сказать, громовержецъ — Ирисовъ, Павелъ Афиногеновичъ... («Жидовка»).

Право, трудно было не отмѣчать всѣ эти тысячу разъ пѣтыя и перепѣтыя, обязательно «свѣшивающіяся съ печки» дѣтскія головки, этотъ вѣчный огрызокъ сахару, муху, которая «точно повторяла докучную жалобу», чеховскаго студента изъ «Болота», тургеневскій «странный звукъ, внезапно пронесшійся по лѣсу», толстовскую дремоту въ саняхъ («попрежнему равномерно двигались лошадиные крупы...»), этого громовержца пристава, фамилія котораго ужъ непременно Ирисовъ или Гіацинтовъ, а отчество Афиногеновичъ или Ардаліоновичъ, и опять это самое что ни на есть чеховское въ «Мелюзгѣ», — разговоры затерянныхъ гдѣ-то въ сѣверныхъ снѣгахъ учителя и фельдшера:

— Иногда учителю начинало казаться, что онъ, съ тѣхъ поръ, какъ помнить себя, никуда не выѣзжалъ изъ Курши... что онъ только въ забытой сказкѣ или во снѣ слышалъ про другую жизнь, гдѣ есть цвѣты, тепло, свѣтъ, сердечные, вѣжливые люди, умныя книги, женскіе нѣжные голоса и улыбки...

— Я всегда, Сергѣй Фирсычъ, думалъ, что это хорошо — приносить свою, хоть самую малюсенькую пользу, — говорилъ учитель фельдшеру. — Я гляжу напримѣръ на какое нибудь прекраснѣйшее зданіе, на дворецъ или соборъ, и думаю: пусть имя архитектора останется безсмертнымъ на вѣки вѣчные — я

радуюсь его славі и я совсѣмъ не завидую ему. Но вѣдь и незамѣтный каменщикъ, который тоже съ любовью клалъ свой кирпичъ и обмазывалъ его известкой, развѣ онъ также не можетъ чувствовать счастья и гордости? И я часто думаю, что ты съ тобой — крошечные люди, мелюзга, но если человечество станетъ когда-нибудь свободнымъ и прекраснымъ...

Въ разсказѣ «Нарцисъ» я отмѣтилъ описаніе свѣтскаго салона, какую-то баронессу и ея пріятельницу Бэтси, — да, это ужъ неизбежно: Бэтси! — и прозовой вечеръ, — «въ густомъ, раскаленномъ воздухѣ чувствовалась надвигающаяся гроза», — и тотъ первый поцѣлуй влюбленныхъ, который уже тысячу разъ соединяли писатели съ «надвигающейся грозой»... Въ «Ямѣ» отмѣтилъ то мѣсто, гдѣ «огоньки зажглись въ зеленыхъ длинныхъ египетскихъ глазахъ артистки, пѣніе которой такъ потрясло дѣвицу публичнаго дома, что даже самъ авторъ воскликнулъ совершенно серьезно: «Такова власть генія!»

Потомъ я сталъ читать, взявъ первую попавшуюся полъ руку книгу, прочелъ первый разсказъ и огорчился еще больше. Книга эта начинается разсказомъ «На разъѣздѣ». Содержаніе его таково: ѣдутъ по желѣзной дорогѣ въ одномъ и томъ же купѣ случайно встрѣтившіеся въ пути какой-то молодой человекъ, молодая женщина, у которой была «тоненькая, изящная фигурка и развѣвающіеся пепельные волосы», и ея мужъ, гнусный старикъ чиновникъ, изображенный крайне ядовито: «Господинъ Яворскій не умѣлъ и не могъ ни о чемъ говорить, кромѣ своей персоны, собственныхъ ревматизмовъ и гемороевъ и на жену смотрѣлъ какъ на благопріобрѣтенную собственность...» Этотъ старикъ день и ночь настаиваетъ, пилитъ свою несчастную «собственность», ревнуетъ ее къ молодому человеку, говоритъ и ему грубости и тѣмъ самымъ еще болѣе раздуваетъ загорѣвшуюся между молодыми людьми любовь, въ которой они въ концѣ концовъ и признаются другъ другу на остановкѣ на какомъ-то разъѣздѣ, гдѣ ихъ поѣздъ оказывается рядомъ съ другимъ, встрѣчнымъ, поѣздомъ, а признавшись, перебѣгаютъ въ этотъ поѣздъ, рѣшивъ бросить старика и соединиться навѣки. Тутъ молодой человекъ страстно воскликнулъ: «Навсегда? На всю жизнь?» И молодая женщина «вмѣсто отвѣта спрятала свое лицо у него на груди».

Потомъ я перечиталъ то, что больше всего забылъ: «Одиночество», «Святую любовь», «Ночлегъ» и военные разсказы: «Ночная смѣна», «Походъ», «Дознаніе», «Свадьба»... Первые три разсказа опять оказались слабы: и по неубѣдительности фабулъ и по исполненію, — написаны подъ Мопасана и Чехо-

ва и опять ужъ такъ ладно, такъ гладко, такъ «умѣло»... «У Вѣры Львовны вдругъ явилось непреодолимое желаніе прильнуть какъ можно ближе къ своему мужу, спрятать голову на сильной груди этого близкаго человѣка, согрѣться его тепло-той... То и дѣло легкія тучки набѣгали на свѣтлый и круглый мѣсяцъ и вдругъ окрашивались причудливымъ золотымъ сіяніемъ... Вѣра Львовна впервые въ своей жизни натолкнулась на ужасное сознаніе, приходящее рано или поздно въ голову каждаго чуткаго, вдумчиваго человѣка, — на сознаніе той неумолимой, непроницаемой преграды, которая вѣчно стоитъ между двумя близкими людьми...» Но съ военныхъ рассказовъ дѣло пошло уже иначе, я все чаще сталъ внутренно восклицать: отлично! Тутъ опять все немножко не въ мѣру ладно, гладко, опытно, но все это переходитъ въ подлинное мастерство, все другой пробы, особенно «Свадьба», рассказъ, не заставляющій, не въ примѣръ прочимъ названнымъ, думать: «охъ, сколько тутъ Толстого и Чехова!» — рассказъ очень жестокой, отдающей злымъ шаржемъ, но и блестящей. А когда я дошелъ до того, что принадлежитъ къ порѣ высшаго развитія купринскаго таланта, къ тому, что я выдѣлилъ выше, — «Конюкрады», «Болото» и такъ далѣе, — я, читая, уже не могъ думать о недостаткахъ этихъ рассказовъ, хотя въ числѣ ихъ есть и крупныя; тутъ дешевая идейность, желаніе не отстать отъ духа своего времени въ смыслѣ облечительности и гражданскаго благородства, тамъ заранѣе обдуманное намѣреніе поразить драматической фэбулой и почти свирѣпымъ реализмомъ... Я уже не думалъ о недостаткахъ, я только восхищался разнообразными достоинствами рассказовъ, тѣмъ, что преобладаетъ въ нихъ: свободой, силой, яркостью повѣствованія, его мѣткимъ и безъ излишества щедрымъ языкомъ, очень хорошимъ, въ конечномъ счетѣ...

Вотъ еще статья о немъ — строки человѣка, долго и близко его знаващаго, извѣстнаго критика Пильскаго:

— Купринъ былъ откровененъ, прямъ, быстръ на отвѣты, въ немъ была радостная и открытая пылкость и безхитрость, теплая доброта ко всему окружающему... Временами его сѣро-синіе глаза освѣщались чудеснымъ свѣтомъ, въ нихъ сіяли и трепетали крылья таланта... Онъ до самыхъ послѣднихъ лѣтъ мечталъ о совершенной независимости, о героической смѣлости, его восхищали времена «желѣзныхъ временъ, орловъ и великановъ»... Онъ былъ наивный, прилежный и жестокой...

Въ этомъ родѣ и еще будутъ не мало писать, будутъ опять и опять говорить, сколько было въ Купринѣ «первобытнаго,

звѣринаго», сколько любви къ природѣ, къ лошадямъ, собакамъ, кошкамъ, птицамъ... Во всемъ этомъ много правды, и я вовсе не хотѣлъ сказать, говоря о разницѣ между Купринимъ писателемъ и Купринимъ человѣкомъ, — такимъ, какимъ его характеризуютъ почти всѣ, — будто никакъ не проявлялся человѣкъ въ писателѣ: конечно, все таки проявлялся, и чѣмъ дальше, тѣмъ все больше.

«Теплая доброта Куприна ко всему живущему» или, какъ говорить другой критикъ: «купринское благословеніе всему міру»... И въ этомъ есть правда. Однако, надо помнить, что эти слова больше всего приложимы только къ послѣдней порѣ жизни и творчества Куприна.

10.IX.1938.

Приморскія Альпы.

Ив. Бунинъ.



Памяти А. И. Куприна

Если-бы Александръ Ивановичъ Купринъ скончался въ Парижѣ, его у насъ, навѣрное, проводили бы къ могилѣ такъ же, какъ Шаяпина. Но и безъ того память его была за рубежомъ Россіи почтена всѣми какъ слѣдовало. Холодка, который могъ бы создаться довольно естественно, въ эмиграціи не чувствовалось или почти не чувствовалось.

Въ СССР, напротивъ, былъ даже не холодокъ, а самый настоящій бойкотъ. Купринъ скончался отъ рака, въ петербургской больницѣ имени Эрисмана, въ ночь на 25-ое августа. Въ «Правдѣ» и въ «Извѣстіяхъ» 26-го августа помѣщено было внизу послѣдней страницы, рядомъ съ объявленіемъ «дорсанотдѣла ленинской ж. д.», крошечное объявленіе: «Правленіе сою-

за совѣтскихъ писателей СССР извѣщаетъ о смерти писателя А. И. Куприна, послѣдовавшей въ ночь на 25-ое августа сего года». Не было ни портретовъ, ни некролога, ни другихъ статей, ни воспоминаній, ни даже замѣтокъ о гражданской панихидѣ (была ли она?). 27 августа появилась статья, подписанная, по странному совѣтскому обычаю, не отдѣльнымъ лицомъ, а группой: правленіемъ того же союза (безъ имени). Нѣсколько больше вниманія удѣлила скончавшемуся писателю «Комсомольская Правда», но и она проявила подчеркнутую сдержанность въ оцѣнкѣ. На этомъ газетные проводы кончились.

Въ чемъ дѣло, мы не знаемъ. Отъѣздъ Куприна въ СССР въ свое время былъ названъ въ иностранной печати (разумѣется, плохо осведомленной о его здоровьи) «большой моральной побѣдой совѣтской власти». Надо думать, что именно для этого ему въ Москвѣ и были отпущены грѣхи. Встрѣтили его тамъ торжественно: цвѣты на вокзалѣ, статьи, «интервью», квартира въ «Метрополѣ». Что же случилось? Очевидно, какія-то дѣйствія Александра Ивановича вызвали у совѣтской власти неудовольствіе, — дѣйствія или, правильнѣе, отсутствіе дѣйствій. Друзьямъ покойнаго Куприна извѣстно (объ этомъ сообщалось и въ печати), въ какомъ состояніи онъ находился въ послѣдніе годы: почти не узнавалъ людей, очень плохо понималъ то, что ему говорили, самъ обычно говорилъ невразумительно. Но возможно, что такъ называемые проблески сознания у него бывали. Если бывали они и въ Москвѣ, то могъ онъ тамъ высказываться по своему. И почти съ увѣренностью думаю, что проявлять вѣрнополданническія чувства по тамошнему образцу онъ не сталъ бы, какъ не сталъ бы и смѣшивать съ грязью своихъ зарубежныхъ друзей.

О кончинѣ А. И. Куприна я узналъ, изъ замѣтки «Фигаро», съ истинной душевной болью. Не принадлежа къ числу самыхъ близкихъ къ нему людей, и очень его любилъ и хорошо зналъ, — впервые увидѣлъ лѣтъ тридцать пять тому назадъ, еще будучи гимназистомъ. Въ послѣдніе годы, изъ-за болѣзни Александра Ивановича, всѣ мы посѣщали его весьма рѣдко, — конечно, это наша общая вина: онъ несомнѣнно чувствовалъ себя брошеннымъ человѣкомъ.

Въ первые 2-3 года эмиграціи, писателей-беллетристовъ въ Парижѣ было еще мало: Тэффи, Мережковскіе, Бунинъ, Толстой, Купринъ, Яблоновскій. Они благожелательно приняли въ свое общество и меня, хоть я былъ тогда молодымъ писателемъ. Жили мы не худо, не скажу «одной семьей», — это почти все-

гда преувеличеніе, — но безъ ссоръ, довольно дружно; по крайней мѣрѣ, я сохранилъ о той порѣ самое лучшее воспоминаніе. Были гостепримные «салоны», были наши кофейни, былъ не существующій болѣе кабачекъ въ древнемъ домѣ на улицѣ Пасси, славившійся устрицами и бѣлымъ виномъ. Мы встрѣчались часто, нѣкоторые чуть не каждый день. Бывали даже чтенія вслухъ, о которыхъ теперь какъ будто не слышно, — притомъ самыя разныя. Одни происходили при очень большомъ числѣ слушателей, — такъ А. Н. Толстой читалъ въ домѣ М. О. Цетлина начало «Хожденія по мукамъ», — другія въ присутствіи лишь пяти-шести человѣкъ. Изъ двухъ превосходныхъ чтецовъ Ал. Толстой читалъ охотно и нерѣдко, И. А. Бунинъ рѣдко и неохотно; читалъ какъ-то свою мало извѣстную комедію покойный А. А. Яблоновскій; свои рассказы читалъ тоже нынѣ покойный Петръ Александровъ (принцъ Петръ Ольденбургскій). Купринъ почти никогда не читалъ, а слушать, кажется, любилъ или, по крайней мѣрѣ, дѣлать видъ, что любитъ. По окончаніи чтенія онъ обычно ничего не говорилъ и вообще старался быть незамѣтнымъ, точно это совершенно чужое ему дѣло, въ которомъ онъ ничего не понимаетъ, да и попалъ сюда случайно. Но позднѣе, дня черезъ два или три (помню по своему опыту), наединѣ, при встрѣчѣ въ кофейнѣ, высказывалъ автору свои замѣчанія, тонкія, умныя, откровенныя, порою нелестныя и всегда благожелательныя. При этомъ никогда своего мнѣнія не навязывалъ, говорилъ нисколько не докторально, хоть былъ онъ знаменитый писатель, а очень скромно, какъ бы неувѣренно, въ формѣ предположеній: «не думаете ли вы, что...»

Теперь, по обычаю (впрочемъ, хорошему обычаю), говорить, будто онъ былъ необыкновенно добръ, кротокъ, незлобивъ. Онъ въ самомъ дѣлѣ на старости лѣтъ старался такимъ стать и, можетъ быть, сталъ или почти сталъ. Но когда-то онъ былъ совершенно иной; да и въ послѣдніе годы жизни у него въ глазахъ иногда всплывали «огоньки» отнюдь не добрые и не кроткіе. Отличительной чертой А. И. Куприна, кромѣ его большого таланта, былъ умъ. Онъ былъ уменъ на рѣдкость. Это видно и по его книгамъ, видно было и въ жизни, хоть умъ у него былъ не показной и не «блестящій».

Думаю, что его жизненный опытъ нѣсколько преувеличенъ ходившими о немъ легендами (такъ это было и съ Джэкомъ Лондономъ, и съ Кнутомъ Гамсунотъ). Говорили, писали, будто онъ побывалъ въ молодости дантистомъ, псаломщикомъ, грузчикомъ, торговцемъ. Какъ это могло быть? Ни дантистомъ,

ни псаломщикомъ нельзя стать безъ опредѣленныхъ условий диплома или подготовки. Никакой причины работать грузчикомъ у Куприна никогда не было: это оплачивалось грошами, любая работа въ газетѣ давала гораздо больше, а для собственного удовольствія никто грузчикомъ не станетъ. Къ тому же писать онъ сталъ еще юношей, и слава къ нему пришла очень рано, раньше, чѣмъ къ кому бы то ни было изъ писателей его поколѣнія, за исключеніемъ Максима Горькаго и, быть можетъ, Леонида Андреева. Отъ него самого я рассказовъ о томъ, что онъ былъ дантистомъ или псаломщикомъ, никогда не слышалъ: онъ рассказывалъ лишь, какъ побывалъ актеромъ, и это, разумѣется, правда.

Но съ поправкою на нѣкоторыя преувеличенія, должно признать, что видѣлъ онъ на своемъ вѣку много, жизнь прожилъ разнообразную и людей зналъ самыхъ различныхъ. Память у него была громадная, а зрительная память совершенно феноменальная. Одна старая писательница когда-то мнѣ рассказывала: въ ранней молодости она, воспитываясь въ провинціи на югѣ, на общественномъ балу разъ встрѣтилась съ Купринымъ, въ то время никому неизвѣстнымъ молодымъ офицеромъ. Ихъ познакомили, они равнодушно обмѣнялись нѣсколькими словами и больше не видѣли другъ друга. Лѣтъ черезъ двадцать послѣ того, встрѣтившись съ ней въ Петербургѣ, онъ, уже будучи прославленнымъ писателемъ, подошелъ, назвалъ ее по имени-отчеству и напомнилъ объ ихъ знакомствѣ. Она удивилась: — «Неужели вы меня узнали?..» Купринъ засмѣялся и подробно описалъ, какое платье было на ней въ тотъ вечеръ, двадцать лѣтъ тому назадъ. — «Цвѣтъ, фасонъ, все рѣшительно, совершенно точно, ужъ вѣдь мы-то, женщины, наши платья помнимъ!», — изумленно рассказывала мнѣ писательница.

Умъ, простота, юморъ, знаніе жизни, тонкость сужденія, все это создавало ему большое личное очарованіе. Не будучи ни сансег'омъ, ни рассказчикомъ, онъ бывалъ въ свои хорошія минуты удивительнымъ собесѣдникомъ. Со всѣми онъ былъ ровень, ни съ кѣмъ не былъ искателемъ. Я видѣлъ его въ обществѣ людей, до революціи весьма высокопоставленныхъ; видѣлъ его (въ упомянутомъ выше кабачкѣ) среди французскихъ рабочихъ, — конечно, социалистовъ, если не коммунистовъ: это былъ одинъ и тотъ же, совершенно одинаково державшійся, человекъ, во второмъ случаѣ лишь стѣсненный иностраннымъ языкомъ. Въ практическихъ дѣлахъ Купринъ, со всѣмъ своимъ житейскимъ опытомъ, былъ до конца дней вполнѣ безпомощенъ. Безъ жены, столь ему преданной, онъ, вѣроятно, не

вернулся бы в советскую Россію; но безъ жены онъ, почти навѣрное, и не дожилъ бы до шестидесяти восьми лѣтъ.

Политикой А. И. интересовался очень мало. Не назову его ни правымъ, ни лѣвымъ, ни умѣреннымъ. Когда онъ писалъ о политическихъ дѣлахъ, самый стиль его мѣнялся и, столь для него неожиданно, становился казеннымъ, — то казенно-либеральнымъ, то казенно-консервативнымъ. Когда-то, въ «Гамбри-нусъ», онъ восторженно описывалъ 1905-ый годъ, какъ подъ звуки «Марсельезы» незнакомые люди «свѣтло улыбаются» другъ другу, какъ по Россіи носились «пламенная надежда» и «великая любовь». Потомъ въ эмиграціи онъ иногда повторялъ слова прямо противоположныя, но столь же избитыя и истертыя. По существу, думаю, онъ одинаково мало обольщался и красотами 1905 года, и красотами «контръ-революціи». Большевиковъ онъ ненавидѣлъ за то, что они «поганили Россію», уничтожили старый русскій бытъ, который онъ такъ хорошо зналъ и, несмотря на свои прежнія «обличенія», такъ искренно любилъ. Но можетъ быть, слово ненавидѣлъ и тутъ не вполне подходитъ. Вспоминаю его рассказъ, какъ онъ бесѣдовалъ съ Ленинымъ: помнится, являлся къ диктатору съ просьбой о разрѣшеніи на изданіе безпартіиной газеты. — «Онъ меня спросилъ: «Куп-г-инъ? Ахъ, да... Но какой же въ ф-г-акціи?» *). — Въ глазахъ Александра Ивановича сквозило довольно благодушное изумленіе: что за чудище! спрашиваетъ, какой фракціи Купринъ!

Какъ писатель, онъ чуть не съ первыхъ лѣтъ получилъ высокую, заслуженную и вѣрную оцѣнку. Въ этомъ съ критикой сходилась и публика: тиражъ «Поединка» былъ исключительный, — кажется, даже безпримѣрный со дня выхода въ свѣтъ «Воскресенія». Всѣмъ извѣстно, что на Куприна сразу обратилъ вниманіе Толстой, не очень жаловавшій его соперниковъ по славъ, Горькаго и Андреева. Едва ли тутъ имѣло значеніе то, что въ искусствѣ Александръ Ивановичъ былъ признаннымъ «ученикомъ Толстого»: учениками Толстого въ той или иной мѣрѣ были почти всѣ русскіе писатели послѣдняго полустолѣтія (и столь многіе иностранные); Левъ Николаевичъ давно къ этому привыкъ и говорилъ объ этомъ (по поводу Гаршина) безъ восторга. «Первымъ дѣломъ спрашивать у новаго писателя: скажи мнѣ, что ты за человѣкъ?» — эту мысль

*) Помню въ его рассказѣ именно это слово, — мнѣ казалось страннымъ, что Ленинъ сказалъ: «фракція», а не «партія», не «направленіе».

Толстой въ разныхъ формахъ выражалъ неоднократно. Повидимому, человѣкъ-Купринъ, — съ тѣмъ личнымъ, своеобразнымъ и обаятельнымъ, что въ немъ было и сказалось въ его произведенияхъ, — Льву Николаевичу нравился. Только о «Ямѣ» онъ отозвался съ негодованіемъ; это во всѣхъ отношеніяхъ самое слабое изъ большихъ произведеній Куприна.

Самъ Александръ Ивановичъ о Толстомъ говорилъ совершенно не такъ, какъ о всѣхъ другихъ писателяхъ, вполнѣ сходясь тутъ съ Чеховымъ и съ Бунинымъ: есть всѣ другіе писатели — и есть Толстой. При упоминаніи имени «старика» (такъ онъ обычно называлъ Толстого), у него на лицѣ появлялась благоговѣйная улыбка, вообще совершенно ему не свойственная: думаю, что онъ въ жизни «благоговѣлъ» лишь передъ очень немногимъ. О книгахъ Льва Николаевича говорилъ охотно, съ явной радостью: «Да, недурно написано, въ тоже, М. А., находите, что недурно, а?» — спрашивалъ онъ съ этой улыбкой, вспоминая ту или иную сцену, охоту въ «Войнѣ и Мирѣ», прїездъ Анны къ Сережѣ, или сцену въ Мытищахъ. Едва ли нужно пояснять, въ какомъ смыслѣ тутъ употреблялось слово «недурно»: оно означало «божественно», «безподобно», «такъ никто въ мірѣ не писалъ и написать не можетъ»... — «А буря на станціи? Или скачки, а? Нѣтъ, нѣтъ, не говорите (точно кто-то «говорилъ!»), у старика было дарованіе, владѣлъ перомъ, а? Было, было дарованіе», — повторялъ онъ, сіяя. Такъ суворовскіе офицеры называли старикомъ Суворова, — вѣроятно, съ такой же точно улыбкой.

Нѣкоторые другіе писатели также оказывали на него въ молодости извѣстное вліяніе, притомъ не одни русскіе, но и иностраннныя. Въ «Молохѣ», напримѣръ, Чеховъ чувствуется на каждой страницѣ. «Свадьба» самымъ своимъ сюжетомъ весьма напоминаетъ одинъ изъ наиболѣе извѣстныхъ рассказовъ Артура Шниллера. Кое-гдѣ сказывается, конечно, и Мопассанъ. Думаю, что по своему большому природному дару онъ не уступалъ никому изъ названныхъ писателей, — чего стоитъ одна его наблюдательность, его зрительная память, дававшая ему преимущество едва ли не передъ всѣми. А. И. Купринъ, въ сущности, все сдѣлалъ, чтобы зарыть свой талантъ въ землю, и о размѣрахъ его таланта можно судить именно по тому, что это ему совершенно не удалось: онъ въ с-е-т-а-к-и сталъ большимъ писателемъ.

Я никогда не могъ понять, какъ онъ работаетъ. О нѣкоторыхъ русскихъ писателяхъ говорили, что они «европейцы»: работаютъ ежедневно, отъ такого-то утренняяго часа до та-

кого-то. Сомнѣваюсь (даже просто не вѣрю), чтобы такъ можно было à la longue заниматься художественной работой (и ужъ во всякомъ случаѣ называть эту манеру европейской не приходится: на западѣ, какъ и у насъ, люди трудятся по разному). Другіе русскіе писатели пишутъ рѣдко, но «запо-емъ»: днемъ и ночью, забывая все, не отрываясь отъ письменнаго стола. Насколько могу судить, у Куприна не было подобныхъ недѣль необычайнаго творческаго подъема; не было и привычки къ систематическому труду. Когда приходило что-либо въ голову, когда хотѣлось или нужно было писать, онъ садился за столъ и писалъ, — но отнюдь не «днемъ и ночью», — и написанное тотчасъ сдавалъ въ наборъ. Едва ли у него есть хоть одно произведеніе, надъ которымъ онъ работалъ бы годами. Александръ Ивановичъ говорилъ, что не любитъ писательскаго дѣла, и, думаю, говорилъ совершенно искренно, — кто же изъ людей этой профессіи порою не относился къ ней съ искреннимъ отвращеніемъ. На распросы онъ отвѣчалъ больше о мелочахъ. — «Первымъ дѣломъ надо обзавестись хорошимъ верстакомъ», — такъ онъ забавно и мило называя письменный столъ, — кажется, предпочиталъ простые большіе кухонные столы, безъ сукна, безъ кожи, безъ ящиковъ; говорилъ о перьяхъ, о бумагѣ, а о «психологич. творчества» говорить не любилъ, хотя бы и безъ ученыхъ словъ, которыхъ не выносилъ вообще. Но его указанія о столѣ, бумагѣ, перьяхъ тоже были интересны и для него характерны.

Время, вѣрно, ничего не оставитъ отъ «Ямы», о которой когда-то столько говорили и писали. Быть можетъ, не будутъ читаться и нѣкоторыя другія его произведенія, — есть вѣдь у него, какъ почти у всѣхъ писателей, и страницы весьма слабыя. Но лучшее останется и выдержитъ тяжкое испытаніе времени. Этого болѣе чѣмъ достаточно для имени большого писателя. Конечно, онъ былъ большой писатель. Былъ онъ и чело-вѣкъ очень своеобразный, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ необыкновенный, во многихъ отношеніяхъ (особенно на старости лѣтъ) чрезвычайно привлекательный.

При проблескахъ сознанія, онъ долженъ былъ бы въ СССР чувствовать себя худо, очень худо. Если-бъ Купринъ объявилъ своимъ ближайшимъ друзьямъ, что собирается вернуться въ Россію, они, вѣроятно, зная условія его жизни, не стали бы насильно его удерживать. Онъ уѣхалъ, никому ничего не ска-завъ, ни съ кѣмъ не простившись, — хоть уѣзжалъ навсегда. Можно кое-что сказать и въ оправданіе этого. Но ему самому — если проблески сознанія были, — уходить, такой уходить, дол-

женъ быть быть очень тяжелъ. Въ Купринѣ до конца его дней сидѣлъ офицеръ, т. е. человѣкъ, своего лагеря не покидающій никогда, ни по какимъ причинамъ, ни при какихъ условіяхъ. Знаю всю условность примѣненія къ нашей жизни военныхъ словъ: лагерь, полкъ, знамя, непріятель и т. п. Но доля правды въ нихъ есть и въ отношеніи насъ, и эту долю правды самъ покойный Александръ Ивановичъ чувствовалъ, конечно, не мнѣ ясно, чѣмъ кто бы то ни было. Да, да, «увидѣть снова Москву, поклониться русской землѣ, подышать русскимъ воздухомъ», все это такъ, а дальше что? Дальше совѣтская жизнь, необходимость къ ней приспособиться — ему, съ его характеромъ, въ шестьдесятъ восемь лѣтъ! Я надѣюсь, что проблемъ сознанія у него не было.

М. Алдановъ.



К. С. Станиславскій и его театр

Онъ всю жизнь искалъ правды въ театрѣ, — той правды, какую полагають въ совершенной естественности сценическаго дѣйствія, въ его полной искренности и подлинной жизненности. Ради достиженія такой правды въ театрѣ, К. С. Станиславскій, вмѣсто «малеванныхъ» декораций, сталъ прибѣгать къ сооруженію цѣлыхъ квартиръ на сценѣ и «жилыхъ домовъ», съ настоящими окнами, дверями, паркетами; вмѣсто бутафоріи и принятыхъ въ театрѣ «аксесуаровъ», сталъ пользоваться, хоть и громоздкой, а частью ломкой мебелью, но зато достоверно существовавшей въ быту, такой-же утварью и прочими «всамдѣлишными» вещами. При этомъ, въ стремленіи къ идеальной жизненности, Станиславскій такъ разставлялъ мебель

на сценѣ, чтобы по диваннымъ спинкамъ и отвернувшимся отъ зрителя стульямъ можно было ясно представить себѣ четвертую стѣну, отсутствующую обычно въ театрѣ при изображеніи intérieurs; для этого, вдобавокъ, Станиславскій проектировалъ на полу, посредствомъ «волшебнаго фонаря», тѣни отъ оконныхъ переплетовъ, съ типичными, для мѣста дѣйствія, занавѣсками, съ горшками цвѣтовъ и силуэтами мимо-идущихъ людей. Ради полноты иллюзіи, при воссозданіи, напримѣръ, русской деревни на сценѣ, Станиславскій показывалъ не только копіи избъ, крытыхъ настоящей соломой, но даже точную копію дорожной грязи, которую специально мастерили въ Московскомъ Художественномъ Театрѣ, при постановкѣ «Власти тьмы» Льва Толстого, изъ папье-маше. Объ исторической вѣрности mis en scѣne такихъ пьесъ, какъ «Федоръ Ивановичъ», «Смерть Иоанна Грознаго» Ал. К. Толстого, «Борисъ Годуновъ» Пушкина или «Юлій Цезарь» Шекспира и говорить не приходится: ихъ кропотливо выявленные бытовые детали стали притчей во языцѣхъ театральной Россіи; для полнѣйшей исторической вѣрности, Станиславскимъ предпринимались даже, совместно съ Вл. И. Немировичемъ-Данченко и другими его сподвижниками, спеціальныя экскурсіи археологическаго назначенія, результаты коихъ придавали сплошь и рядомъ сценѣ МХТ'а характеръ настоящей музейной выставки.

Но все это вкупѣ было лишь «цвѣточками» насажденій въ театрѣ той правды, къ которой стремился потомъ неугомонный паладинъ ея Станиславскій: «ягодки» этой правды превозносили, можно сказать, всѣ ожиданія натуралистовъ въ искусствѣ.

Это началось съ постановокъ пьесъ Чехова. — «Въ его пьесахъ, — говоритъ Станиславскій, — надо быть, т. е. жить, существовать, идя по глубоко заложенной внутри главной душевной артеріи» (подчеркнуто самими Станиславскимъ, въ его книгѣ «Моя жизнь въ искусствѣ», стр. 380). — Это бытіе, вмѣсто игры, жизнь, вмѣсто представленія, существованіе, вмѣсто его видимости, стали навсегда идеалами для артистовъ МХТ'а.

Но одно дѣло сказать «живи на сценѣ», другое — исполнить это, т. е. и въ самомъ дѣлѣ начать жить на ней жизнью воплошаемаго образа, а не прикидываться лишь живущимъ въ качествѣ таковаго. Когда Качаловъ, завоевавъ себѣ признаніе въ провинціи, сталъ работать въ МХТ'ѣ, его собственная игра показала артисту, по сравненію съ игрою Станиславскаго и его антуража, насквозь фальшивой: «Насколько они были про-

сты и естественны, — вспоминалъ потомъ Качаловъ, — настолько я ходулень и декламационно-напыщенъ, насколько они горячи и по-настоящему темпераментны, настолько я театральнo-холоденъ и деревяненъ... Я былъ пораженъ. Всѣ они показались мнѣ замѣчательными актерами; чѣмъ меньше и незначительнѣе была роль, тѣмъ большимъ казался исполнительъ».

Чѣмъ было обусловлено такого рода впечатлѣніе у заправскаго уже актера Качалова? Оно было обязано не только свидѣательнымъ принципамъ «школы Станиславскаго», но прежде всего самымъ разрушительнымъ его принципомъ. «Мы протестовали, — говоритъ Станиславскій, — и противъ старой манеры, и противъ театральности, и противъ ложнаго пафоса, декламации, и противъ дремерства, которое портило ансамбль, и противъ всего строя спектаклей, и противъ ничтожнаго репертуара тогдашнихъ театровъ. Въ своемъ разрушительномъ, революціонномъ стремленіи, ради обновленія искусства, мы объявили войну всякой условности въ театрѣ, въ чемъ бы она ни проявлялась: въ игрѣ, постановкѣ, декорацияхъ, костюмахъ, трактовкѣ мьесы и пр.».

Короче говоря, К. С. Станиславскій, по его собственному признанію, сталъ «ненавидѣть въ театрѣ — театръ», ища въ немъ «живой, подлинной жизни» («Моя жизнь въ искусствѣ», стр. 227).

Возненавидѣть въ театрѣ «театръ», говорить про него — какъ это срывалось съ устъ Станиславскаго, въ начальную пору расцвѣта МХТ'а, — что «театръ мой врагъ» — до такого признанія не доходило, можно смѣло сказать, ни одинъ театральный дѣятель. И невольно возникаетъ, въ связи съ этимъ, вопросъ: если Станиславскому былъ такъ же ненавистенъ театръ, какъ онъ былъ ненавистенъ, напр., Ю. И. Айхенвальду (этому «литератору» *put-sang!*), почему же посвятилъ онъ всю свою творческую жизнь служенію именно театру и какъ артистъ, и какъ режиссеръ, и какъ директоръ театра?

Въ томъ, что эта странная «амбивалентность» относительно театра была, въ ту далекую пору, лишь недоразумѣніемъ, я убѣдился какъ нельзя лучше на одномъ изъ собраній у историка театра Н. В. Дризеня, когда, «подавленный» Георгіемъ Чулковымъ, я напрямки поставилъ Константину Сергѣевичу вопросъ о его отношеніи къ инстинкту театральности, каковому обязанъ былъ своимъ происхожденіемъ любой изъ существующихъ въ мірѣ театровъ... Оказалось, въ результатъ спора, что Станиславскій имѣлъ въ виду, говоря объ искусствѣ, не изысканную прослоу театральности, о которой и я больше всего

ратоваль, будучи режиссеромъ Драм. Театра В. Ф. Комиссаржевской и «Стариннаго Театра», а... «ложную театральность»; «хорошая»-же «театральность, условность (какъ формулировать потомъ Станиславскій, въ своей книгѣ) — та-же сценичность, въ самомъ лучшемъ смыслѣ слова».

Стало совершенно ясно, что Станиславскій любилъ въ театрѣ не то, что было съ нимъ связано въ продолженіе вѣковъ, а то, что самъ Станиславскій связывалъ съ театромъ, въ своемъ представленіи о немъ.

До Станиславскаго актеру ставилась задача «казаться» на сценѣ изображаемымъ лицомъ; съ приходомъ Станиславскаго въ театрѣ, задачей актера стало «быть» на сценѣ изображаемымъ лицомъ, а не только «казаться» имъ. Не будемъ здѣсь говорить объ иныхъ изъ вѣрныхъ выучениковъ Станиславскаго, доводившихъ въ своемъ усердіи методъ своего учителя до нелѣпыхъ крайностей, почти до форменной пародіи. Примѣромъ такой «станиславовщины», за которую самъ Станиславскій не могъ быть отвѣтственнымъ, являются, напр., взгляды, развивавшіеся покойнымъ Вал. Смышляевымъ въ его книгѣ «Техника обработки сценическаго зрѣлища» (изд. Всерос. Пролеткульта, М. 1922). Актеръ, который хочетъ не «казаться», а «быть» Фаустомъ на сценѣ, долженъ, по Смышляеву, вжиться въ его роль уже заблаговременно настолько, чтобы чувствовать себя подлиннымъ Фаустомъ даже еще только подходя къ зданію театра, въ день спектакля, даже разговаривая со швейцаромъ, съ рабочими, ставящими декорации и пр. Куда болѣе тонкій примѣръ использованія случайностей, при выходѣ на сцену (чтобы войти въ роль), показалъ самъ Станиславскій, на одной изъ репетицій «На всякаго мудреца довольно простоты» Островскаго. Вышелъ разъ Станиславскій на сцену, въ роли Крутицкаго, взялся привычнымъ «генеральскимъ жестомъ» за дверную ручку, а ручка-то оказалась испорченной. Что тутъ дѣлать?.. Позвать декоратора? помощника режиссера? бутафора? и просить ихъ о немедленномъ исправленіи? — Нѣтъ, такъ поступить значило бы выйти, благодаря случайности, изъ творческаго настроенія, изъ характера роли, изъ «бытія» генерала Крутицкаго. И Станиславскій тутъ-же извлекъ изъ досадной случайности максимальную выгоду художественнаго значенія: — напѣвая себѣ подъ носъ и нисколько не торопясь, онъ началъ, съ генеральской важностью, самъ починавъ дверную ручку и, преуспѣвъ въ этомъ дѣлѣ, почерпнулъ въ немъ лишній штрихъ для выраженія самодовольства генерала Крутицкаго, его тщеславной самоуверенности, его административной

маніи, чреватой всякими «разносами», и, наконецъ, для обрисовки томительнаго бездѣлія, когда радуется всякая мелочь, дающая случай заполнить время.

Когда гениальному Хокусай исполнилось 90 лѣтъ, ученики его говорили, что птицы, нарисованныя имъ, вотъ-вотъ готовы вспорхнуть и улетѣть, — «подождите, — увѣрялъ ихъ гениальный художникъ, — когда мнѣ исполнится 120 лѣтъ, птицы и въ самомъ дѣлѣ полетятъ!» Та-же воля къ непрестанному усовершенствованію своего искусства была присуща и нашему гениальному реалисту-революционеру въ драматическомъ театрѣ. Казалось, Станиславскій, научившійся самъ на Чеховѣ и научившій другихъ на немъ играть до такой степени правдоподобно, что грань между изображеніемъ дѣйствующаго лица и его бытіемъ на сценѣ стиралась, — могъ бы давно уже почить на неувядающихъ лаврахъ. Анъ нѣтъ! — недовольство собой, особенно какъ артистомъ, не покидало Станиславскаго не только во время его сценической дѣятельности въ «Алексѣевскомъ Кружкѣ» и въ «Обществѣ Искусства и Литературы», но и послѣ цѣлаго ряда лѣтъ подвижнической работы въ Московскомъ Художественномъ Театрѣ.

Онъ искалъ все вышней и все болѣе и болѣе убѣдительной правды въ театрѣ, не только не удовлетворяясь той, какой онъ достигалъ въ своихъ прежнихъ актерскихъ созданіяхъ, но почти издѣваясь надъ нею. — «Я механически повторялъ... — кается Станиславскій въ 1906 году, — механическіе знаки отсутствующаго чувства. Въ однихъ мѣстахъ я старался быть какъ можно нервнѣе, экзальтированнѣе и для этого производилъ быстрыя движенія; въ другихъ мѣстахъ старался казаться наивнымъ и для этого технически дѣлалъ дѣтски-наивные глаза; въ третьихъ мѣстахъ я усиленно выдѣлывалъ походку, типичные жесты роли — внѣшніе результаты уже уснушаго чувства. Я копировалъ наивность, но не былъ наивенъ; я смѣнилъ ногами при походкѣ, но не ощущалъ внутренней торпливости, вызывавшей мелкіе шаги, и т. д. Я болѣе или менѣе искусно наигрывалъ, подражая внѣшнимъ проявленіямъ переживанія и дѣйствія, но не испытывалъ при этомъ ни самого переживанія, ни искренней потребности къ дѣйствию. Я, отъ спектакля къ спектаклю, набилъ въ себѣ механическую привычку продѣлывать установленную однажды техническую гимнастику, а мускульная память, которая такъ сильна у актеровъ, — крѣпко зафиксировала актерскую привычку».

И вотъ, въ минуту покаяннаго раздумья надъ своими «грѣхами», Станиславскій задался вопросомъ исключительной важ-

ности для драматическаго искусства: «какъ уберечь роль отъ перерожденія, отъ духовнаго омертвѣнія, отъ самодержавія актерской набитой привычки и внѣшней приученности?»

Отвѣтъ, — послѣ длиннаго ряда лѣтъ его мучительныхъ поисковъ, — Станиславскій нашелъ прежде всего въ противоставленіи актерскому самочувствію на сценѣ, — вредному, благодаря мертвящимъ штампамъ напряженной игры, — творческаго самочувствія, дающаго актеру полную страховку отъ мертвечины въ искусствѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ тѣлесную свободу, т. е. превозможеніе мысленнаго напряженія, сопутствующаго игрѣ актера предъ стѣсняющей его аудиторіей. Актерское самочувствіе, по опредѣленію Станиславскаго, это «то состояніе человѣка на сценѣ, при которомъ онъ обязанъ внѣшне показывать то, чего не чувствуетъ внутри». Творческое же самочувствіе это то состояніе человѣка на сценѣ, при которомъ ему присуща «полная сосредоточенность всей духовной и физической природы».

Окрыленный этой истиной, Станиславскій задался вопросомъ: нѣтъ-ли какихъ-нибудь техническихъ путей для созданія творческаго самочувствія? Отвѣтъ былъ снова найденъ на путяхъ правды въ театрѣ, но на этотъ разъ условной правды, которую слѣдуетъ искать въ актерскомъ отношеніи къ тому, что окружаетъ его на сценѣ (будь то декорация, бутафорія и т. п.), какъ если бы то была самая реальная дѣйствительность. Вотъ въ развитіи такого чувства правды у актера — правды мнимой, воображаемой, какъ выражается Станиславскій, — и былъ усмотрѣнъ имъ, въ итогѣ, путь къ созданію творческаго самочувствія у актера.

Это открытіе могло привести Станиславскаго къ полному измѣненію его отношенія къ театру: театръ и все, что съ театромъ связано специфически театральнаго, могъ превратиться, въ глазахъ этого фанатичнаго правдолюбца, изъ врага, какимъ онъ его раньше считалъ, въ услужливаго друга, по сравненію съ которымъ самъ реально существующій міръ (т. е. внѣ-театральный) могъ въ свою очередь показаться, съ точки зрѣнія искусства, врагомъ. Прежде всего самъ Станиславскій, на вновь найденномъ пути, добился, въ роли Ракитина («Мѣсяць въ деревнѣ» Тургенева) того исключительнаго успѣха, когда «впервые, — говоритъ онъ, — были замѣчены и оцѣнены результаты моей долгой лабораторной работы, которая помогла мнѣ принести на сцену новый необычный тонъ и манеру игры, отличающіе меня отъ другихъ артистовъ». А затѣмъ произошелъ случай, который могъ воочию показать Станислав-

скому, что у театра, относительно правды въ искусствѣ, имѣются свои преимущества, по сравненію съ дѣйствительностью, внѣ театра лежащей.

Случай этотъ, — крайне показательный, по моему, для театровѣда, — имѣлъ мѣсто во время гастролей МХТ'а въ Кіевѣ. «Послѣ ужина, — рассказываетъ Станиславскій, — мы всей компаніей гуляли по берегу рѣки и пробрались въ дворцовый паркъ. Тамъ мы очутились въ обстановкѣ тургеневской эпохи, со старинными аллеями, боскетами. Въ одномъ изъ мѣстъ парка мы узнали нашу декорацию-и планировку изъ второго акта тургеневской пьесы «Мѣсяцъ въ деревнѣ». Рядомъ съ площадью были точно заранѣе приготовленные мѣста для зрителя; туда мы усадили всю гуляющую съ нами компанію и начали импровизированный спектакль въ живоѣ природѣ. Подошелъ мой выходъ: мы съ О. Л. Книпперъ, какъ полагается по пьесѣ, пошли вдоль длинной аллеи, говоря свои реплики, потомъ сѣли на скамью по нашей привычной мизансценѣ, заговорили и... остановились, такъ какъ не были въ силахъ продолжать. Моя игра въ обстановкѣ живоѣ природы казалась мнѣ ложью («Моя жизнь въ искусствѣ», стр. 418, разрядка моя).

Выводъ изъ этого происшествія подсказывался, для непредубѣжденнаго противъ театра артиста, самъ собою: если роль, въ которой артистъ (какъ мы видѣли) добился такого исключительнаго успѣха на путяхъ условной правды, удалась въ театрѣ и не удалась въ жизни (среди «живой природы»), значитъ и впрямь существуетъ, — рядомъ съ правдой въ театрѣ, которую искалъ Станиславскій, — и правда театра, въ послушаніи которой только и возможно «перевоплощеніе» актера. И, приди Станиславскій къ такому выводу, театръ изъ врага, какимъ онъ считалъ его раньше, могъ бы превратиться въ услужливаго друга, который, по самой «природѣ» своей, сотканной изъ условностей, не былъ способенъ на подвохъ, на какой оказалась способна безусловная «живая природа».

Но Станиславскій, какъ мы знаемъ, не былъ, въ отношеніи «театра», непредубѣжденнымъ артистомъ и потому выводъ его изъ даннаго происшествія оказался совершенно противоположнымъ: замѣтивъ, что игра въ обстановкѣ «живой природы» представляется ложью, онъ, съ грустной ироніей, заключилъ: «А еще говорятъ, что мы довели простоту до натурализма! Какъ условно оказалось то, что мы привыкли дѣлать на сценѣ». Другими словами, вмѣсто оправданія театра, обусловившаго ис-

ключительный успѣхъ его роли, Станиславскій обвинилъ лишний разъ этотъ самый театръ въ неправдѣ, по сравненію съ природой, испортившей ему удавшуюся роль, въ тотъ памятный кievскій вечеръ.

Что дѣлать? — такова была приверженность правдѣ въ искусствѣ этого вѣрнаго ея рыцаря, который и слышать не хотѣлъ о Гетевскомъ разсужденіи, будто искусство потому и искусство, что оно не натура.

Зато, исходя изъ собственнаго представленія о правдѣ въ искусствѣ, Станиславскій завѣщалъ актерамъ нѣчто такое, чего не дать имъ самъ Гете, несмотря на его 25-лѣтнюю дѣятельность въ Веймарскомъ театрѣ, въ качествѣ директора его, драматурга и режиссера. Станиславскій оставилъ актерамъ не только идеальный образецъ современнаго европейскаго театра, но, — что особенно важно, — цѣлую систему детально реформированнаго имъ драматическаго искусства, надъ которой онъ работалъ больше четверти вѣка своей творческой жизни, чѣмъ однимъ уже заслужилъ себѣ безсмертіе во всемирной исторіи театра.

Ограничься Станиславскій только личнымъ служеніемъ правдѣ въ театрѣ да горячею проповѣдью естественности на сценѣ, — никто, пожалуй, не увидѣлъ бы въ немъ оригинальнаго реформатора театра. И въ самомъ дѣлѣ! — внѣдреніемъ естественности на сценѣ занимался до Станиславскаго (и съ не меньшимъ усердіемъ и талантомъ) знаменитый М. И. Щепкинъ, завѣщавшій свои традиціи реалистической игры Московскому Малому Театру; до Щепкина естественность въ театрѣ культивировалъ учитель Щепкина — «любитель» князь П. В. Мещерскій; до Мещерскаго прославился своей реформой, въ направленіи естественности сценической игры, Ив. А. Дмитріевскій; Дмитріевскій-же опирался, въ своей театральной реформѣ, на французскіе примѣры игры, обновленные трудами энциклопедистовъ, и т. д. Рядомъ съ русскими предшественниками Станиславскаго, — на Западѣ были: Антуанъ, съ его труппой «Свободнаго Театра», «мейнингенцы», съ натуралистомъ Кронекомъ во главѣ, до нихъ Тальма. Станиславскій представляетъ собою, со своими достижениями правды въ театрѣ и проповѣдью ея на сценѣ, лишь крайнюю точку на пути къ идеалу, прѣотпанномъ уже до него названными подвижниками искусства.

И славенъ онъ, въ конечномъ итогѣ, не только личнымъ завершеніемъ подготовленнаго ему, въ исторіи театра, реалистическаго пути: — эти лавры Станиславскій раздѣляетъ поровну съ Вл. И. Немировичемъ-Данченко, коему принадле-

жить и починъ исторической нынѣ бесѣды, на предметъ основанія новаго театра, названнаго потомъ Московскимъ Художественнымъ Театромъ; Вл. И. Немировичу-Данченко, равнымъ образомъ, а не Станиславскому, принадлежитъ и огромная заслуга «открытія» А. П. Чехова, какъ подлиннаго вдохновителя «театра настроеній»; справедливость требуетъ отмѣтить, что и въ области режиссуры ея дѣятели пожаты въ МХТ'ѣ не только Станиславскимъ, а и другими «постановщиками»: Г. Крѣгомъ, Марджановымъ и особенно Вл. И. Немировичемъ-Данченко, показавшимъ такіе спектакли («Карамазовы», «Ставрогинъ» и др.), предъ которыми самъ Станиславскій преклонился въ восхищеніи.

Все это такъ. Одно только внѣ всякихъ сомнѣній принадлежитъ полностью и нераздѣльно гению Станиславскаго: это его знаменитая нынѣ (хоть еще и далеко не изученная) «система», т. е. открытый Станиславскимъ «методъ актерской работы, позволяющій актеру создавать образъ роли, раскрывать въ ней жизнь человѣческаго духа и естественно воплощать ее на сценѣ въ красивой художественной формѣ».

«Когда я оглядываюсь теперь на пройденный путь... — говоритъ Станиславскій, въ заключеніе своей книги «Моя жизнь въ искусствѣ», — мнѣ хочется сравнить себя съ золотоскателемъ, которому сперва приходится долго странствовать по непроходимымъ дебрямъ, чтобы открыть мѣста нахождения золотой руды, а потомъ промывать сотни пудовъ песка и камней, чтобы выдѣлать нѣсколько крупинокъ благороднаго металла. Какъ золотоскатель, я могу передать потомству не трудъ мой, мои исканія и лишенія, радости и разочарованія, а лишь ту драгоценную руду, которую я добылъ».

Говорить подробно объ этой «системѣ» не даютъ размѣры настоящей статьи. Говорить же о ней въ общихъ чертахъ можетъ оказаться поверхностнымъ и дать, по словамъ Станиславскаго, «обратные, отрицательные результаты»; авторъ этой «системы» не напрасно предостерегаетъ отъ поспѣшной критики его дѣятели и боится одобренія даже опытныхъ артистовъ, которые, быть можетъ, невольно торопятся подложить полъ слово «система» свои старыя «актерскія ощущенія и привычки», чтобы выдать ихъ за то новое, о чемъ говоритъ «система».

Поостережемся же и мы здѣсь, съ поверхностною хвалою въ отношеніи того, кто давно уже сталъ навсегда выше всякихъ похвалъ во всемірной исторіи театра.

Н. Евренновъ.

Вишерскій концлагерь*)

1. Этап.

Наступил январь 1932 г. Я все еще былъ въ Бутыркахъ. Все опротивѣло. Я не могъ ни думать, ни читать, ни слушать чужіе рассказы. Казалось — любой конецъ, только бы конецъ!

5 февраля я подалъ заявленіе, адресованное завѣдывающему К. Р. О. — Контръ-Револуціоннымъ Отдѣломъ ГПУ. Заявленіе было краткое. Я напоминалъ, что сижу уже 18 мѣсяцевъ и говорилъ, что, если дѣло мое не будетъ закончено въ ближайшемъ будущемъ, я найду способъ рѣшить его своими силами.

На слѣдующій-же день, въ 8 часовъ вечера, меня вызвали «с вещами»! Я собрался мгновенно. Меня провели къ коменданту. О чемъ-то онъ меня спрашивалъ — не помню. Затѣмъ двое гепеуствова обьскивали меня, раздѣтаго, голаго, такъ, что ихъ изобрѣтательность невысказанно описать или рассказать. Меня трясло отъ холода и злобы. Когда они кончили и, приказавъ одѣваться, оставили одного, я былъ въ какомъ-то полупомѣшанномъ состояніи. Я знаю, они подглядывали въ «волчокъ», желая прослѣдить, не выдамъ ли я нечаянно того, что скрылъ. Мнѣ нечего было скрывать. У меня не оставалось ничего, кромѣ истлѣвшей на мнѣ одежды, горстки табаку и нѣсколькихъ кусковъ сахара, которые мнѣ сунули на дорогу, на всякій случай!

Я не могъ собраться съ мыслями. Что будетъ? Что можетъ быть? Все равно — лишь бы пережѣна, лишь бы вонь изъ Бутырокъ!

Тяжелой волной накатила на меня слабость, я, въ буквальномъ смыслѣ, упалъ на скамью и уснулъ мертвымъ, глухимъ, безчувственнымъ сномъ.

— Встать! — кто-то трясъ меня за рукавъ.

Я всталъ, протирая глаза. Передо мной стояло трое гепе-

*) См. «Совр. Зап.» кн. 65-ая.

устовъ въ длинныхъ зимнихъ шинеляхъ, съ лицами красными отъ мороза.

— Фамилія? Имя отчество? Мѣсто рожденія? Годъ рожденія? — рубиль онъ грубо.

Я отвѣтилъ.

— «На основаніи статьи 58-6 и 59-9 Уголовнаго Кодекса СССР, Московская Коллегія ОГПУ, въ сессію отъ 6 января 1932 года, приговорила финскаго гражданина Фельтгейма, Олафа Карловича, къ 10 годамъ заключенія въ концлагеряхъ. Время заключенія считать съ 11 мая 1930». Распишитесь.

Я расписался. Лучшаго я не ждалъ, но руки у меня тряслись, когда я подписывалъ.

Одинъ изъ гепеустовъ взглянулъ на меня, можетъ быть, даже съ отбѣнкомъ жалости — 18 мѣсяцевъ тюрьмы должны были на меня наложить печать.

— Можете слѣдовать немедленно на этапъ?

— Куда я назначенъ?

— Красно-Вишерскъ. Ураль.

— Когда?

— Немедленно.

Я былъ готовъ на все, лишь бы вонъ изъ тюрьмы.

— Я готовъ. Можете мнѣ дать что-нибудь кромѣ моего лѣтнаго пальто?

Не отвѣчая, одинъ изъ гепеустовъ вышелъ и вернулся съ поношенной солдатской шинелью.

Была половина перваго ночи. «Черный Воронъ» стоялъ на свѣжемъ, хрустящемъ снѣгу. Былъ сильный морозъ. Заведенная машина тряслась и шумѣла. Въ тотъ моментъ, какъ меня влпх-няли, она уже мчалась, кидая меня изъ стороны въ сторону. Съ такимъ же снѣгомъ меня вытащили изъ этой темной клѣтки, когда она остановилась у вокзала. Я дрожалъ отъ холода и едва держался на ногахъ. Пятеро гепеустовъ окружили меня, ввели на платформу и потащили вдоль товарныхъ вагоновъ. На подножкѣ вагона, съ зарѣшеченными окнами, стоялъ начальникъ конвойной бригады съ пачкой документовъ въ рукахъ.

— Заходи! — приказалъ онъ, открывъ дверь.

Вагонъ уже былъ набитъ до отказа. Каждое отдѣленіе, нормально полагающееся на четырехъ человѣкъ, раздѣлено на три части — нижнюю полку, среднюю и верхнюю, и отгорожено отъ коридора рѣшетчатой дверью. По коридору прохаживался конвойный солдатъ съ ружьемъ наготовку. Въ полутьмѣ съ трудомъ можно было различить, что на нижнихъ полкахъ за-

тиснуто по шесть человекъ, которые сидѣть могли только въ скорченномъ состоянн, а лежать — только на боку. На второй и третьей полкѣ было по четыре человека. Итого, въ каждомъ отдѣленн 14 вмѣсто 4-хъ, а во всемъ вагонѣ 126 вмѣсто 36.

— Какого чорта они васъ прислали?! У меня — шпана, рецидивисты! У васъ 58-6, 59-9 — каерь! — негодовалъ начальникъ конвоя, видимо, не ожидая отвѣта, а только облегчая свою душу руганью.

— Помѣстить на нижнюю, рядомъ съ конвоемъ! — крикнулъ онъ.

— Мѣстовъ нѣтъ, — равнодушно откликнулся конвойный.

Начальникъ конвоя открылъ дверь отдѣленн, собственно-ручно вытащилъ за шиворотъ шпаненка лѣтъ 16 и приказалъ ему лѣзть наверхъ. Оттуда посыпалась дикая ругань, въ темнотѣ заворошились грязные и грозные кулаки. Но конвойный втолкнулъ мальчишку поверхъ чьей-то спины и приказалъ мнѣ лѣзть внизъ.

Въ вагонѣ было жарко и непродохнуть отъ человѣческой вони. Тѣснота-же была такая, будто вагонъ былъ груженъ дровами или трупами. На счастье у меня былъ табакъ, я предложилъ сосѣду. Онъ закурилъ и подвинулся насколько можно.

Меня одурѣвающе мучила жажда. Если-бъ только глотокъ воды! Въ тюрьмѣ хоть этого было вволю. Какъ тутъ достать въ этой звѣриной клѣткѣ.

Мимо прошелъ конвойный.

— Воды! Дайте воды!

— Молчать, — крикнулъ онъ.

Но вода стала *idée fixe*. Пересохъ языкъ, горло. Я былъ внѣ себя отъ этой муки.

— Воды! — крикнулъ я, когда конвойный опять шелъ мимо.

— Нѣтъ воды, — отвѣтилъ онъ зло.

Сосѣдь вытащилъ кружку изъ своего мѣшка и сталъ колотить ею по рѣшеткѣ двери.

— Воды! Дай воды!

Сосѣднее отдѣленн присоединилось къ крику.

— Воды! Даешь воды!

— Воды! — оралъ черезъ минуту весь вагонъ, перемеживая этотъ истошный крикъ съ невообразимыми ругательствами.

— Нѣтъ воды! — старался перекричать конвойный. — Дадутъ, когда время будетъ.

— Начальника подай!

— Воды дай!

— Воды-ы-ы!

Въ вагонѣ поднялся адъ отъ воя и крика, но конвойный замолкъ и шагаль будто онъ оглохъ. У него, очевидно, былъ опытъ и свой методъ поведенія. Ночью мы нѣсколько разъ стояли на станціяхъ, нѣсколько разъ поднимали крикъ — воды! — но онъ шагаль и молчалъ. Постепенно людей сморыла ночь и усталость.

Въ 6 утра стали по одному выпускать въ уборную. Каждому вслѣдъ неслись проклятія и ругань, чтобы поворачивались попроворнѣе. Эта процедура заняла два часа, доведи до бѣшенства тѣхъ, кто оказался въ концѣ хвоста.

Въ 9 часовъ принесли два ведра тепловатой воды: два ведра на 126 человекъ!

— Сюды! — Сюды! — Давай сюды! — Зачинай отсюда! — неслись вопли изъ каждой клѣтки, в которыхъ рѣшетки сотрясались съ такой силой и шумомъ, что заглушали стукотню вагона.

Конвойные, также невозмутимо, отирили каждому по одной кружкѣ, а остатокъ, подъ вой и проклятья, унесли въ свое отдѣленіе.

Далье мы могли наблюдать, что дѣлалось съ запасомъ продуктовъ, выданныхъ намъ на дорогу. Горячей пищи въ пути не полагалось, она замѣнялась добавочнымъ раціономъ хлѣба, 17 граммами сахара и 60 граммами селедокъ на день. Все это представляло крупный капиталъ въ рукахъ конвойныхъ; въ 1932 г. сахаръ въ провинціи былъ невиданной роскошью, а кило хлѣба цѣнилось, во всякомъ случаѣ, не меньше 15 рублей, а въ дорогѣ, при нуждѣ, люди готовы были платить вдвое и втрое. Все это было слишкомъ соблазнительно для конвойныхъ, такъ какъ по существу они были облечены неограниченной властью по отношенію къ намъ; они, раздавъ намъ половину полагающагося хлѣба, т. е. по 300 граммъ въ день на человекъ, все остальное, плюсь сахаръ и селедки, пустили въ оборотъ.

Если-бъ, въ обмѣнъ за это, они хотя-бы давали намъ воды! Мы погибали отъ жары и духоты. Трудно было дышать, невозможно пошевелить пересохшимъ языкомъ, большинство было въ полубезсознательномъ состояніи.

На второй день, лежа въ кошмарной дремѣ, я вдругъ очнулся отъ страшнаго удара по головѣ. Кровь текла у меня по лицу, а надо мной мелькали кулаки и сталкивались озвѣрѣвшія головы. Ударъ, пришедшійся нечаянно по мнѣ, былъ отъ чайника, запущеннаго въ противника и открывшаго сраженіе. Теперь они дрались тѣсно вицѣпившись другъ въ друга, какъ звѣ-

ри, зажатые однимъ капканомъ, пуская въ ходъ ноги, ногти, зубы. Одинъ другому впился зубами въ палець и прокусилъ его до кости, но тотъ схватилъ его за горло и славилъ такъ, что онъ потерялъ сознание.

Конвойный, не торопясь, подошелъ, открылъ дверь и пригрозилъ, что будетъ стрѣлять, когда одинъ уже лежалъ за мертво, а другой, откинувшись въ уголь, какъ звѣрь зализывалъ свои раны. Я былъ окровавленъ больше нихъ, дравшихся, поэтому конвойный счелъ меня виновникомъ и переташилъ въ другое отдѣленіе.

Еще одинъ день пути и, послѣ полуночи, мы оказались на запасныхъ путяхъ въ Свердловскѣ — надо было ждать разсвѣта, пока мѣстное начальство приметъ этапъ.

Все было еще въ сѣрой мглѣ, когда насъ вывели и выстроили на 42° морозѣ. Конвойные были въ пошубкахъ, въ ушастыхъ шапкахъ, въ валенкахъ и теплыхъ рукавицахъ; изъ насъ многіе были съ голыми головами, въ изношенной обуви, драной одеждѣ. Они стояли, зубоскалили, гоготали; мы — тряслись и стучали зубами отъ захватывавшаго дыханіе мороза.

— Ничего, просвѣжитесь съ дороги! — посмѣивались конвойные, поглядывая на насъ съ брезгливымъ презрѣніемъ.

Но, какъ только былъ отданъ приказъ — Давай! — началась, какъ всегда, бессмысленная, жестокая спѣшка.

— Вниманіе! Приказу конвойныхъ слушаться немедленно. Разговоры и знаки воспрещаются. Шагъ въ сторону — конвойный имѣетъ право стрѣлять безъ предупрежденія, какъ за попытку къ побѣгу. Ружья заряжены боевыми патронами. Понятно? Впередъ!

Мы двинулись вдоль подотна желѣзной дороги подъ крики: — Давай! Не отставать! Давай!

То одинъ, то другой скользилъ, спотыкался, падалъ. Конвойные ругались, не закрывая рта. Когда, за станціей, вышли въ поле, снѣгъ оказался почти по колѣно, и, несмотря на окрики и ругань, люди, издрогшіе и обезсиленные, завязали въ сугробахъ такъ, что казалось вотъ-вотъ потонуть. Весь этапъ поневолѣ подзадержался, но какъ только выбрались на улицы, насъ погнали почти бѣгомъ.

— Держи ряды! Давай! только и слышалось то съ одной стороны, то съ другой. Теперь я понималъ, почему про этапъ иначе не говорится, какъ « г и а т ь п о э т а п у ».

Когда насъ догнали до тюрьмы — три километра отъ станціи — не было человѣка, который-бы не задыхался, не кашлялъ, не шатался на ногахъ, хватаясь то за бокъ, то за грудь.

Ворота тюрьмы были открыты для насъ, но мы опять надолго застыли на мѣстѣ: насъ считали, пересчитывали, пере-кликали по списку, ругали и считали опять. Потомъ раздался крикъ начальника караула:

— Гони въ баню!

— Хлѣба давай! — завывала толпа.

— Согласно заявленій московскаго конвоя, хлѣбъ былъ выданъ на четыре дня. Слѣдуемый паекъ будетъ выданъ завтра, — невозмутимо отчеканилъ начальникъ караула. — Впередь!

Въ банѣ горячей воды не оказалось, потому что было слишкомъ рано, а сырые дрова не успѣли еще разгорѣться. Тѣмъ не менѣе приказано было мыться и подвергнуться «санобработкѣ», заключающейся въ повальной стрижкѣ подъ машинку и дезинфекціи одежды, которую вернули въ жеваномъ, мокромъ видѣ, потому что сушилка не дѣйствовала по той-же причинѣ, что баня. «Санобработка» изрыгнула насъ въ неописуемомъ видѣ: головы покрыты гдѣ плѣшинами, гдѣ порѣзами, гдѣ клоками неостриженныхъ волосъ; одежда превращена въ лохмотья.

Въ камерѣ, куда насъ забили 80 человѣкъ вмѣсто 20, да еще къ вечеру прикинули 10 съ другого этапа, ходили мрачные слухи, что концлагеря не принимаютъ новыхъ этаповъ изъ-за эпидеміи тифа, — казалось, что гдѣ-то впереди, на мѣстѣ, должно быть лучше. Но на другой день выдали хлѣба на три дня и составили списокъ назначенныхъ въ Вишеру. Среди нихъ только 12 человѣкъ были интеллигенты; Платонъ Михайловичъ, профессоръ физики изъ Кіевскаго университета, два агронома изъ Новочеркаска, два инженера изъ Грознаго, докторъ изъ Смоленска, и еще кое-кто помельче. Всѣ они были «вредители» и получили по 10 лѣтъ, за исключеніемъ бывшаго кондитера, который почему-то тоже примазывался къ этой группѣ, хотя считался «шпіономъ». Изъ «уроковъ» отобрали 50 человѣкъ, главную же массу составляли крестьяне съ Украины. Благодаря имъ въ этапѣ стало тише, покорнѣй и мрачнѣй. Црежнимъ порядкомъ загнали насъ въ вагоны, привезли въ Соликамскъ, высадили, обыскали и загнали въ лагерные бараки. Отъ усталости какъ будто даже урки присмирѣли, но это было только на поверхности — внутри у нихъ была своя, упорная, жестокая сила, готовая къ взрыву въ любой моментъ. Тутъ-же, въ Соликамскѣ, они намъ показали, на что они способны.

Былъ поздній вечеръ, холодный и голодный. Кое-кто дождавъ припрятанныя корки, но у многихъ и ихъ не было. Вдругъ среди урокъ завязалась свалка: одинъ у другого стащилъ ку-

сокъ хлѣба, на ихъ жаргонѣ «птюху» — и тутъ-же былъ накрытъ. Если-бъ хлѣбъ былъ украденъ у насъ, «фраеровъ», все было бы въ порядкѣ вещей, но кража птюхи у своего считалась тягчайшимъ преступленіемъ, и когда вора схватили, онъ отъ страха почти потерялъ сознание. Сейчасъ же его окружила вся шпана, самый сильный изъ нихъ взялъ палку отъ метлы и первымъ же ударомъ такъ хватилъ его по затылку, что онъ свалился ничкомъ, машинально закрывая лицо руками. Послѣ второго и третьяго удара по спинѣ, онъ раскинулъ руки и свалился на бокъ.

— Давай еще! — мрачно требовала шпана.

Палачъ отступилъ, примѣрился взглядомъ, взмахнулъ палкой.

— Стой! Человѣка убьешь! — крикнулъ я и бросился между нимъ и жертвой.

Двѣ пары сильныхъ рукъ схватили и отташили меня.

— Чего мѣшаешь! Брось! — слышались крики и ругань.

Еще ударъ, два и человѣкъ былъ конченъ. Шпана разошлась по своимъ угламъ. Одинъ изъ нихъ пошелъ доложить дежурному по бараку, что заключенный померъ. Тотъ, не торопясь, вызвалъ фельдшера.

— Сморился, — сказала тотъ, пощупавъ, для порядка, пульсъ. — Съ голодухи, — добавилъ онъ равнодушно. Записалъ имя и приказалъ вынести тѣло.

Ни допросовъ, ни слѣдствія. Человѣкъ — не топоръ и не молотокъ, которыхъ нигдѣ не достать, стоитъ о немъ разговаривать...

Только что вынесли тѣло, пришли объявить насчетъ завтрашняго этапа, и про убитаго забыли, какъ будто его никогда и не бывало.

— Этапъ въ семь. Валенки и теплая одежда будутъ выданы своевременно. Горячая пища полагается на второй и четвертый день. Большимъ, не могущимъ слѣдовать, явиться въ амбулаторію. Походъ — 30 километровъ въ день.

Тридцать километровъ въ день, это не страшно для нормальнаго человѣка, но послѣ мѣсяцевъ тюремнаго заключенія, это настоящая агонія. При томъ 30-градусный морозъ, вѣтеръ и свѣжевыпавшій снѣгъ, совершенно завалившій дорогу.

На утро полъ этапа стояло въ хвостѣ у амбулаторіи, но право на то, чтобы ѣхать на саняхъ съ багажемъ, получило всего 15 человѣкъ — только тѣ, которые дѣйствительно не стояли на ногахъ.

Передъ выступленіемъ каждому выдали по фунту хлѣба и

по селедкѣ. И, послѣ обычной напутственной рѣчи — «шагъ въ сторону, считаю за попытку къ побѣгу, стрѣляю безъ гредупрежденія» и т. д. — мы двинулись по свистку конвойнаго. Первую милю, черезъ Соликамскъ, шли парами; какъ только вышли изъ города — пришлось растянуться гуськомъ, потому что дорогу замело. Приходилось напрягать всѣ свои силы, все вниманіе, всю волю на то, чтобы заставить себя ставить ногу въ оставленный впереди идущимъ слѣдъ. На открытыхъ мѣстахъ, гдѣ вѣтеръ свисталъ, рѣзалъ лицо и металлъ снѣгъ, и этотъ слѣдъ трѣдно было видѣть.

Разъ или два въ теченіе дня мы проходили мимо сѣрыхъ избъ, увязшихъ въ снѣгу по самымъ окнамъ — никто и не глянулъ на насъ. Привыкли, приглядѣлись. Своя, деревенская жизнь, тоже можетъ была немногимъ слаше нашей. Нѣсколько разъ наша вереница, тянувшаяся на цѣлую милю по крайней мѣрѣ, разрывалась несмотря на неумолкаемые окрики — Давай! Давай! Тогда раздавался свистъ и желанный, протяжный крикъ — Сто-о-о-й! — по которому всѣ падали въ снѣгъ, гдѣ стояли.

Въ первый разъ, когда мы остановились, прошагавъ 10 километровъ, казалось, что не будетъ силъ встать. Сердце колотилось, стучало, болѣло. Голова кружилась. Я лежалъ на спинѣ, слышалъ голоса, — но не понималъ смысла словъ; чувствовалъ, что сосѣдъ курить, но запахъ табаку на морозѣ казался такимъ рѣзкимъ и неприятнымъ, что самому не хотѣлось курить. Въ мысляхъ не было ничего, кромѣ страха услышать окрикъ — Давай! На снѣгу было мягко и будто даже тепло. По крайней мѣрѣ тѣло горѣло и былъ моментъ, когда мнѣ ясно представлялось, что я лежу на солнечномъ дугу и передъ глазами мелькають яркія пятна не то цвѣтовъ, не то бабочекъ.

— Эй, не спи! Замерзнешь! Вставай, пока не околѣнешь.

Я приподнялся, повинуюсь чьей-то чужой волѣ. Спина моментально оледенѣла и застывшія ноги совершенно не повиновались. На снѣгу, на сколько глазъ хваталъ, лежали вразбродъ темныя кучки человѣческихъ тѣлъ.

— Давно мы тутъ? — спросилъ я крестьянина, который меня заставилъ встать.

— Давно? Минуть пять, что-ль стоимъ. Давно-ль!..

Свистъ, окрикъ, ругань конвойныхъ, ругань между собою, и опять это самое ненавистное изъ всѣхъ человѣческихъ словъ — Давай! А ну, давай!..

Больше я не считалъ ни часовъ, ни километровъ. Ноги двигались, глазами я видѣлъ ихъ и полу одежды, понималъ, что я задыхаюсь и качаюсь, какъ пьяный, но ничего не чувствовалъ.

Когда мы поднимались на холмъ, впереди кто-то упалъ ничкомъ и не всталъ. Следующіе, ругаясь, перешагивали черезъ него. Крестьянинъ передо мной обошелъ упавшаго, я перешагнулъ черезъ него, какъ другіе — въ обходъ надо было сдѣлать два лишнихъ шага. Снѣгъ вокругъ его головы розовѣлъ отъ крови и я слышалъ, какъ за моей спиной кто-то простоналъ:

— Господи, Боже мой!..

Но стонъ этотъ заглушилъ голосъ конвойнаго:

— Вставай! Чего чортъ, симулянтъ, валяешься!

Потомъ — ругань, свистокъ и крикъ — Сто-о-о-й! — Всѣ опять повалились въ снѣгъ.

Упавшаго отташили и бросили поверхъ багажа на сани. Если онъ не умеръ, то долженъ былъ замерзнуть, лежа, поверхъ всего, неприкрытый, въ безсознательномъ состояніи.

Весь второй день я боролся съ искушеніемъ: снѣгъ казался мягкимъ и теплымъ, хотѣлось одного — лечь въ него. Вѣсть съ тѣмъ я зналъ, что, если лягу, такъ уже не встану. Былъ моментъ, когда, казалось, не перебороть этой тяги къ снѣгу, какъ вдругъ мнѣ бросилось въ глаза, что кievскій профессоръ ѣсть что-то вродѣ снѣга. Сахаръ! Но у меня же было припрятано нѣсколько кусковъ сахара! Мнѣ говорилъ же Гурьевъ, какъ спасаетъ сахаръ отъ усталости! Я досталъ кусокъ и сталъ медленно, бережно сосать. Эффектъ оказался магическимъ. Было-ли это самовнушеніе или, правда, дѣйствіе сахара на годлдый организмъ, но я ободрился и справился съ собой.

Уже темнѣло, когда мы доплелись до деревушки. Несмотря на то, что это былъ маленькій, глухой поселокъ, результаты коллективизаціи сказывались и здѣсь. Избы «кулаковъ» стояли съ распахнутыми дверями и окнами, разгромленныя, никому не нужныя. Хозяева ихъ были раскиданы по лагерямъ и лѣсозаготовкамъ, а можетъ ихъ и вовсе не было на свѣтѣ. Оставшіеся «бѣдняки» влачили несчастное, мизерное существованіе. Всюду видѣлись только истощенныя, запуганныя лица, грязныя ребята съ ввалившимися щеками и глазами, — бѣдность, нищета, грусть. Церковь была закрыта, колокола сняты, могильныя плиты растащены и использованы на устройство крыльца у кооператива, передъ входомъ котораго можно было прочесть — «Упокой Господи». Говорили, что до коллективизаціи деревня жила производствомъ масла, теперь ни за какія деньги нельзя было найти бутылки молока — коровы вымерли и исчезли вмѣстѣ с «кулаками».

Этапъ былъ загнанъ въ бывшій поповскій домъ, можетъ

быть и достаточно просторный для одной семьи, но намъ негдѣ было вытянуть ноги. Приходилось скорчившись сидѣть на полу, во снѣ наваливаясь и толкая другъ друга. Какая-то добрая душа принесла намъ ведро горячей воды, изъ котораго не всѣмъ досталось по кружкѣ; ни о какой горячей пищѣ, обѣщанной передъ походомъ, не было и рѣчи.

Послѣдніе два дня этапъ брелъ словно въ безпамятствѣ. Ноги невыносимо болѣли, отъ слабости качало. Снѣгъ валилъ не переставая; дороги были заметены и сравнены съ полями. Разъ передовой солдатъ пропустилъ своротъ и завелъ насъ по невѣрному пути. Четыре километра пришлось шагать обратно. Это подѣйствовало удручающе: люди то и дѣло падали въ снѣгъ, отказывались вставать, задерживали весь этапъ. Когда затѣмъ пришлось итти черезъ деревню, двое урокъ бросились на зазѣвавшихся мужиковъ, мгновенно вздули ихъ и отняли хлѣбъ, съ которымъ они только что вышли изъ кооператива. Несмотря на стрѣльбу, усиленную ругань и грозныя требованія вернуть хлѣбъ, нельзя было обнаружить отъ него ни слѣда: добытый хлѣбъ былъ молниеносно разломанъ на куски, розданъ, съѣденъ. Въ концѣ концовъ, мужикамъ же досталось отъ конвойныхъ — чего зря на дорогѣ стояли!

На счастье, изъ Вишерскаго лагеря пришелъ приказъ задержать насъ въ карантинѣ, 6 километровъ не доходя до мѣста, иначе мы бы не дошли.

Въ карантинныхъ баракахъ, въ бывшемъ селѣ Чернушкѣ, а теперь подотдѣлѣ Вишерскихъ лагерей, всѣ, кромѣ шпаны, попадали отъ усталости въ мертвецкомъ снѣ. Шпана же использовала моментъ и когда, черезъ часть-два, люди стали приходить въ себя, всюду обнаружили покражи. У одного съ ногъ сняли казенные валенки, у другого собственные штаны; у всѣхъ пропалъ чай, сахаръ, табакъ, чайники, кружки. Поднялась невообразимая кутерьма: люди расталкивали сонныхъ сосѣдей, разспрашивали, шарили вокругъ себя; очнушіеся обнаруживали свои пропажи. Въ досадѣ и растерянности люди глухо ворчали, но усталость превозмогала и большинство валилось спать, несмотря на потерю всѣхъ запасовъ и сокровищъ.

На другой день пріѣхалъ докторъ. Насъ выстроили въ хвостъ и стали пропускать мимо его стола. Пока помлекаръ записывалъ имя и годъ рожденія, докторъ слушалъ сердце и легкіе, тратя, приблизительно, по ½ минуты на каждаго и тутъ-же опредѣлялъ категорію.

— Давай! Слѣдующій! Давай! — только и слышалось, какъ шелканье какой-то машины.

Только четверымъ дали третью категорію: престарѣлому кондитеру изъ Смоленска, инженеру изъ Грознаго съ явнымъ порокомъ сердца, чахоточному шпаненку и мнѣ.

На утро, еще до разсвѣта, всѣхъ угнали въ лѣсъ; вернулись они послѣ 9-ти вечера. Многие были такъ измучены, что не притронулись къ ѣдѣ. Насъ, инвалидовъ, назначили пилить дрова. Женщинъ погнали на кирпичный заводъ, на кухню, въ прачешную.

Ночью я всталъ подложить дрова въ печку.

— Точить топоры можешь? — спросилъ меня конвойный.

— Могу.

— Бери. Подъ твою ответственность. Чтобы къ 6-ти были востры, наточены. Исполнишь — дадутъ полный пакъ. Иди, тамъ урка поджидаетъ, вдвоемъ ловче.

Урка — Васька Червонецъ — былъ франтъ и щеголь. Онъ ежедневно брился, причесывался, стригъ ногти. Говорилъ онъ деликатно, со смѣшкомъ, не ругался, но, разговаривая съ женщинами, онъ употреблялъ невообразимо грязныя слова, произнося ихъ все тѣмъ-же сладкимъ голосомъ.

— Не безпокойтесь, — вѣжливо встрѣтилъ онъ меня. — Все будетъ исполнено. Дѣло мнѣ даже очень знакомое.

Топоровъ лежала огромная куча, но Васька досталъ горячей воды изъ кухни, а главное работалъ такъ складно и ловко, что посреди ночи мы могли сдѣлать передышку.

— Отдохните, вздремните, — наставлялъ онъ меня. — Работишка наша подходящая, но вы, какъ человѣкъ интеллигентный, и къ тому-же иностранецъ, можете понимать, что ранѣе времени кончать не слѣдуетъ. Однимъ словомъ, будетъ готово къ сроку. Не безпокойтесь.

Благодаря Васькѣ, который избралъ себѣ такую линію поведенія — исполнительнаго, гибкаго, готоваго къ услугамъ — и я оказался сразу на хорошемъ счету. Мы работали ночью, но могли съ удобствомъ спать днемъ, когда бараки пустовали. Кромѣ того, въ видѣ исключительнаго блага, намъ разрѣшалось ночью входить въ женскій баракъ и грѣть на ихъ печкѣ кипятокъ, необходимый для точки, которая производилась въ сѣняхъ, на морозѣ. Одинъ женскій баракъ былъ заполненъ деревенскими бабами и монахинями, другой — всякимъ сбродомъ, который скандалил, ругался и отказывался работать. Это были своеобразные подонки совѣтской жизни: всѣ молодые, почти всѣ миловидныя, съ пошибомъ проститутокъ, даже если онѣ ими не были въ профессиональномъ смыслѣ слова.

Была тамъ дѣвица изъ хора, изъ ревности зарѣзавшая свою

соперницу. Она, какъ ей и полагалось, распѣвала куплеты изъ оперетокъ, когда была въ хорошемъ настроеніи, что случалось обычно послѣ выигрыша въ карты, и горько рыдала, когда на нее накатывала тоска. Тогда она неизмѣнно вспоминала своего ребеночка, умершаго трехъ мѣсяцевъ отъ роду, и доводила себя до истерики. По лагерному успѣху съ ней состязалась маленькая, хорошенькая блондинка, кассирша изъ мѣхового магазина. За ними шли Вѣра и Маша, подавальщицы изъ совѣтской столовки, пойманныя на кражѣ продуктовъ и перепродавшія ихъ на сторону. Обѣ онѣ заигрывали съ комендантами, но отдавали болѣе серьезное предпочтеніе каптенармусу, черезъ котораго добывали хлѣбъ, сахаръ, табакъ. Васька тоже пользовался ихъ милостями. Онѣ находили своеобразное наслажденіе въ изобрѣтеніи невѣроятнѣйшихъ словъ и неприличныхъ анекдотовъ. Лагерь ихъ не пугалъ, онѣ были увѣрены, что клиенты имъ обезпечены — охрана и начальство всѣ были молодые парни.

2. Лагерь.

Но это еще не былъ лагерь. Лагерь начинался за рѣкой Вишерой. Онъ состоялъ изъ нѣсколькихъ отдѣленій. Первое отдѣленіе окружено колючей проволокой, за которой помѣщалось 44 барака по 300-400 заключенныхъ въ каждомъ, т. е. 15.000 въ общемъ. Вокругъ «проволоки», по деревенскимъ избамъ, жили еще тысячи «вольныхъ ссыльныхъ», которымъ разрѣшалось жить на вольныхъ квартирахъ, но которымъ не полагалось ни пайка, ни помѣшенія, вообще никакой поддержки. Они работали на бумажной фабрикѣ и лѣсопилькѣ, получая минимальное вознагражденіе. Мѣнять мѣсто жительства они не имѣли права и были, такимъ образомъ, прикрѣплены къ фабрикамъ. Лагерные работали, главнымъ образомъ, въ лѣсу и по сплаву. По другую сторону рѣки была земледѣльческая ферма, на которой руками заключенныхъ выращивались для начальства овощи и ягоды. Другая ферма, находившаяся въ 12-ти километрахъ, поставляла начальству молоко, масло, куръ, яйца. На различномъ разстояніи отъ лагеря были расположены его подотдѣлы и пункты, вмѣщавшіе отъ 200 до 2.000 заключенныхъ каждый. Общее количество доходило до 30.000, изъ нихъ 10% было женщинъ.

Это была цѣлая страна, со своими властелинами, «народомъ», мастерами и квалифицированными специалистами и потребными для начальства женщинами. Все было организовано по военному образцу: раздѣлено на роты и бригады, подчине-

но абсолютной, нерушимой дисциплинѣ. На каждомъ шагѣ, слышалось и чувствовалось — разстрѣлъ, стрѣляю, ружья заряжены боевыми патронами, — хотя тѣ, кто подлежалъ устраниенію, были доведены до такого упадка и безразличія, что непонятно было, къ чему такое бряцаніе оружіемъ. Заключенные въ тюрьмахъ были еще рѣзко-индивидуальны, въ каждомъ еще чувствовалось, съ чѣмъ онъ пришелъ съ воли, — тутъ всѣ были уже спрессованы непосильной работой въ одну тяжкую, сплошную массу.

И я становился однимъ изъ этихъ-же раздавленныхъ, обреченныхъ, обезличенныхъ. На какомъ основаніи могъ я претендовать на то, чтобы быть исключеніемъ, когда я самъ, своей волей, выбралъ эту страну, одной изъ основъ которой является принудительный трудъ, концлагерь и терроръ?

Итакъ, я докатился до концлагеря съ приговоромъ на 10 лѣтъ. Казалось, что это конецъ и надо только стараться не думать о немъ. Но мое финское гражданство, видимо, все-же колело глаза ГПУ. Не успѣлъ я оглядѣться, какъ меня уже вызвали въ ИСО — Информационно-Слѣдственный Отдѣлъ, своего рода ГПУ въ ГПУ.

Безуспѣшно попытавшись убѣдить меня «сознаться» въ своей винѣ и тѣмъ облегчить свою участь, гелеустъ переѣмнилъ тему разговора.

— Между прочимъ, — сказалъ онъ, слѣдя за дымомъ своей папироски, — съ кѣмъ-нибудь сошлись въ этапѣ?

— Нѣтъ.

— Почему? — изобразилъ онъ вѣжливое удивленіе. — Въ этапѣ были приличные люди — профессоры, инженеры, агрономы.

— Я работалъ со шпаной: всю ночь на точилкѣ.

— Но въ дорогѣ? Были-же разговоры въ пути? Навѣрно возмущались, негодовали?

— Я лично, чувствовалъ только облегченіе, покидая тюрьму, — отвѣчала я упрямо.

Опять наступилъ антрактъ. Крѣпкая папироса гелеуста меня не успокоила, а только взвинула.

— ГПУ строго наказываетъ враговъ, — началъ онъ опять измѣнившимся, тяжелымъ тономъ, — но... прощаетъ раскаявшихся, тѣмъ, кто готовъ начать новую жизнь. Такъ сказать — перекреститься. Долгъ каждаго сознательнаго заключеннаго понять это и, прежде всего, отмежевать себя отъ контр-революціонеровъ. Вы, можетъ быть, по нашимъ спискамъ, и числитесь ка-еромъ, но я васъ таковымъ не считаю. Я, со своей стѣ-

роны, готовъ пойти вамъ на встрѣчу, но предупреждаю, въ будущемъ вы должны будете доводить до моего свѣдѣнія о дѣйствіяхъ заключенныхъ, касающихся возбужденія къ неповиновенію, саботажа, плановъ побѣга и прочее.

— Могу вамъ обѣщать, что подобныхъ вопросовъ я съ заключенными обсуждать не буду. А что касается побѣга, такъ если представится случай, первый убѣгу.

— Это что, шутка? — сказала онъ зло.

— Нѣтъ. Но чего ради я буду притворяться и увѣрять, что моя мечта, это провести остатокъ моихъ дней въ концлагерь?

— Пріятно слышать такую откровенность, — замѣтилъ онъ съ насмѣшливымъ удивленіемъ. — Идите, мы побесѣдуемъ поближе въ слѣдующій разъ.

Я поклонился, вышелъ.

Когда возбужденіе отъ этого разговора нѣсколько спало, я сталъ соображать, что это значило? Такъ-ли я себя держалъ? Самое главное было, конечно, что ГПУ хотѣло добиться у меня «признанія» даже послѣ приговора. Очевидно, финское правительство спрѣвлялось о моей судьбѣ и ГПУ пріятно было-бы имѣть документъ, который оправдывалъ бы ихъ приговоръ. Но зачѣмъ имъ нужно было завербовать меня въ «стукачи»? Что будетъ слѣдствіемъ моего отказа?

Первый вопросъ долго оставался для меня неяснымъ, пока на другомъ примѣрѣ я не убѣдился, что ГПУ стремится завербовать иностранцевъ въ «сексоты», чтобы дискредитировать ихъ въ глазахъ правительства ихъ страны. На второй — о слѣдствіяхъ моего поведенія — отвѣтъ послѣдовалъ немедленно. Въ ту-же ночь меня перевели въ другой баракъ, гдѣ кромѣ испаны было только духовенство и крестьяне, въ слѣжкѣ за которыми ГПУ не заинтересовано, такъ какъ считаетъ ихъ безоговорочно обреченными.

Баракъ былъ сырой и нетопленный. Полъ мокрый, скользкій отъ грязи. Сквозь щели въ стѣнахъ и въ крышѣ видѣлся яркій, морозный мѣсяцъ. На нарахъ приткнуться было некуда и я всю ночь продрожалъ, прикурнувъ на полу.

Въ пять утра раздался крикъ — Вставать! — Послѣ этого выдали по кружкѣ кипятку и по плошкѣ «кашницы», т. е. мутной воды съ рѣдкими крупинками. Не успѣли люди кое-какъ проглотить эту жидкость, какъ всѣхъ выгнали на морозъ, во дворъ — выстроили и заставили около часа ждать въ рядахъ, пока придетъ комендантъ и проверитъ наличность. Онъ остался чѣмъ-то недоволенъ и, сказавъ ротному — Пусть постоятъ пока вернусь! — ушелъ на обходъ другихъ барачковъ. Мы мер-

зли еще больше часа, пока вернулся комендантъ и приказалъ гнать «бригады» въ лѣсъ. Каждому давался урокъ, до исполненія котораго онъ не имѣлъ права возвратиться въ баракъ. Меня оставили въ лагерѣ, чистить со двора снѣгъ. Изъ-за своей короткой лѣвой руки я не могъ дѣйствовать лопатой и потому мнѣ приказано было вывозить снѣгъ. Употреблять лошадей на такую работу было-бы излишней роскошью, но грузъ былъ нормальнымъ для хорошей лошади. Перевозочныя средства состояли изъ саней, на которыхъ стоялъ огромный деревянный ящикъ. Къ санямъ были привязаны обледенѣлыя веревки. Я съ трудомъ могъ сдвинуть пустой ящикъ; когда же его наваливали доверху смерзшимися комьями снѣга, я долженъ былъ напирать всѣ силы и всю тяжесть моего тѣла, чтобы, навалившись грудью на веревочную упряжь, медленно, борясь за каждый шагъ, скользя и падая, тащить сани къ обрыву, гдѣ я-же долженъ былъ опрокинуть ящикъ и скинуть снѣгъ. За день я долженъ былъ свезти по крайней мѣрѣ 15 такихъ саней. Къ полдню, когда съ лѣсопилки раздался гудокъ, я свезъ только пять и былъ въ такомъ состояннн, что казалось вотъ-вотъ упаду подъ этими санями, словно вмерзавшими въ снѣгъ, и больше не встану.

Къ вечеру бригадиръ, изъ заключенныхъ же, спросилъ меня: — Сколько свезъ?

— Десятый везу, — отвѣчала я безнадежно, считая, что пятнадцати я не свезу и за всю ночь.

Вслѣдъ за этимъ появился гекуестскій нарядчикъ. На мое счастье онъ спросилъ не меня, а бригадира, который ему отпортовалъ: — такой-то свезъ 17, такой-то 16, Фельтгеймъ — 15 саней.

Онъ спасъ меня. Я могъ вернуться въ баракъ, хотя и не кончилъ урока. Одѣтый, въ снѣгу, я повалился на нары и уснулъ, если это можно назвать сномъ — это было скорѣе безпамятство: иногда я смутно ощущалъ, что по мнѣ ползаютъ вши, кусаютъ клопы, но я не въ силахъ былъ пошевелиться.

Слѣдующій день и сколько-то послѣдующихъ были всѣ, какъ одинъ: иногда дулъ вѣтеръ, иногда густыми хлопьями валилъ снѣгъ а я все толкалъ проклятыя сани, и въ умѣ сверлила одна мысль — хлѣбъ! — Только бы выработать весь паекъ, 600 граммъ, только бы не сѣсть на штрафные 300 граммъ! Голодь не стихалъ ни на минуту. Цынга открылась опять: зубы шатались, ноги пухли. Вдобавокъ вспыхнулъ туберкулезъ лимфатическихъ железъ: гланды горла распухли такъ, что я едва дышалъ, а на шеѣ открылись гнойныя раны.

Однажды утромъ, это было въ началѣ апрѣля, я не смогъ встать. Сначала бригадиръ, потомъ ротный, наконецъ, комендантъ изрыгнули на меня всѣ возможные ругательства. Все равно, встать я не могъ, какъ они ни толкали и ни трясли меня. Днемъ пришелъ докторъ, осмотрѣлъ, что-то сказалъ коменданту. Я уловилъ одно слово — истощеніе. Меня оставили въ покоѣ, приказавъ ходить въ амбулаторію, когда смогу подняться.

Черезъ день я туда доѣхался. Картина была ужасная. Три доктора одновременно работали надъ шестью заключенными: пока трехъ перевязывали, трое разматывали свои раны. Отморозенные пальцы, руки, ноги, почернѣвшее мясо, глубокія, прогнившія впадины, покрытыя гноемъ. Грязное нижнее бѣлье прилипло къ ранамъ, его сдирали, раны промывали, присыпали и бинтовали старымъ, грязнымъ бинтомъ, который можетъ служить уже съ мѣсяцъ. Мнѣ дали ложку рыбьяго жира, вызвавшую жадную зависть у остальныхъ. Нарывъ-же завязали грязной, оторванной оъ изношенной въ лохмотья рубашки.

Черезъ недѣлю я опять ташилъ сани, теперь уже съ набухшимъ, талымъ снѣгомъ и опять день шелъ, какъ другой.

Однажды утромъ группа мѣстныхъ гепеуствоѣ, расхаживавшихъ между бараками, дошла и до края оврага, куда я сгружалъ свои сани. Они съ минуту слѣдили за мной, потомъ одинъ изъ нихъ крикнулъ:

— Имя? — Съ какого барака? — Въ чемъ дѣло съ рукой?

Я снялъ варежку съ правой руки и засучилъ рукавъ на лѣвой, чтобъ показать, гдѣ она у меня кончается.

Онъ нахмурился.

— Третьей категоріи?

— Да.

Гепеустъ повернулся къ своимъ, что-то сказалъ, одинъ изъ нихъ отмѣтилъ въ записной книжкѣ.

— Можете оставить работу и итти въ баракъ.

Я пошелъ и доложилъ бригадиру.

— Не хотятъ, чтобы комиссія видала инвалидовъ, — усмѣхнулся онъ. — Комиссію изъ Москвы ждутъ. Подчищаются.

Въ теченіе слѣдующихъ двухъ-трехъ дней старшій докторъ, въ сопровожденіи гепеуствоѣ, обходилъ баракы и отбиралъ «балластъ». Собрали человекъ 300. Тутъ были слѣпые, калѣки, цынготные, туберкулезные въ послѣдней стадіи. Особенно много было такихъ среди узбековъ и таджиковъ, которые, вывезенные съ сухого, знойного юга, совершенно не въ состояніи были выдержатъ сѣвера и гибли въ теченіе первой зимы. Священники, старые, сгорбленные, лохматые, были до ужаса

обезображены голодомъ и цынгой. Крестьяне, особенно украинцы, были искалѣчены и обморожены на лѣсозаготовкахъ. Дюжина шпаны, чахоточные и истощенные, были многіе безъ руки или безъ ноги — ампутированныхъ послѣ отмороженія.

Провожать насъ собралась цѣлая кампанія гепеустовъ. Зрѣлище было, дѣйствительно, рѣдкостное и было чѣмъ позабавиться. Конвойные суетились, бѣгали, кричали, неистово ругались, пытались выстроить въ ряды наше убогое стадо. Но что можно было сдѣлать, когда одни были хромые, другіе слѣпые, третьи просто не держались на ногахъ!

Гепеусты хохотали, отпуская шуточки, острили, показывали пальцами на особенно выдающихся квазимодъ, дрожавшихъ подъ своими отрепьями.

Когда мы выходили изъ воротъ, намъ повстрѣчалась бригада, возвращавшаяся изъ лѣса. Эти тоже не могли удержаться отъ соленыхъ шуточекъ.

— Смотри, ударники! Эти свою пятилѣтку живо справятъ!

— Держись, ребята, на загибъ гонють!

— Кто не работаетъ, тотъ не ѣстъ! Хлѣбца не ждите!

— Все едино зубовъ нѣтъ, чѣмъ имъ ѣсть!

— За конюшню, опредѣленно, — буркнулъ послѣдній, оглядываясь на насъ.

За конюшней была яма, куда скидывали покойниковъ, отсюда шло и выраженіе — за конюшню! — Мы какъ разъ шли мимо.

Ямы стояли незакопанныя, пока не наберется комплектъ — ждать долго не приходилось. Хоронили голыми, чтобъ зря не терять добра. Свозили въ ящикахъ для снѣга и сваливали, какъ дрова. Все это было хорошо извѣстно, и, проходя, одни отворачивались, другіе — крестьяне и священники — крестились, шпана острила — «нагъ родился, нагимъ и въ землю! — такъ что-ль, батюшка?!»

.....

О. Фельтгеймъ.

Верхнеуральскій политизоляторъ*)

Въ серединѣ октября меня и товарища Дѣдича увезли изъ Ленинграда. Вѣрное своимъ методамъ, ГПУ не сказало намъ, куда насъ везутъ: слѣдователь сказалъ только, что объ этомъ мы узнаемъ въ Челябинскомъ ГПУ.

Переброска политическихъ въ тюрьмы и ссылки совершается въ Россіи двоякимъ путемъ: ихъ либо пересылаютъ вмѣстѣ съ уголовными этапнымъ порядкомъ, группами въ 100-200 человекъ, среди которыхъ политическихъ 10-15 человекъ. Въ такомъ случаѣ политическіе путешествуютъ изъ города въ городъ, изъ тюрьмы въ тюрьму въ арестантскихъ вагонахъ въ теченіе многихъ мѣсяцевъ. Даже дорога съ Урала въ Сибирь или туда же изъ Центральной Азіи длится нерѣдко нѣсколько мѣсяцевъ. Такое путешествіе хуже всякой тюрьмы. И не мудрено, что политическіе предпочитаютъ лучше посидѣть лишній годъ въ тюрьмѣ, чѣмъ провести три мѣсяца такого пути, — въ грязи, ругани и тѣсотѣ. Другой способъ пересылки это прямой путь отъ мѣста отправки къ мѣсту назначенія въ обыкновенномъ поѣздѣ, только въ отдѣльномъ купѣ и въ сопровожденіи спеціального конвоя ГПУ. Этотъ послѣдній способъ пересылки былъ привилегіей, которая представлялась только одной части политическихъ, той, которая являлась аристократіей среди остальной массы политическихъ — для оппозиціонныхъ коммунистовъ. Такимъ способомъ поѣхали и мы съ Дѣдичемъ.

Въ дорогѣ мы разговорились съ нашимъ конвоемъ, познакомились съ пассажирами сосѣднихъ купѣ и двигались въ вагонѣ такъ свободно, какъ если бы были вольными людьми, а не заключенными, ѣдущими отбывать 3-годичное заключеніе въ изоляторѣ. Отъ всякихъ житейскихъ разговоровъ мы съ нашимъ конвоемъ быстро перешли къ бесѣдѣ о политикѣ, о троцкизмѣ. Въ разсужденіяхъ крестьянъ-красноармейцевъ насъ поразило ихъ утвержденіе, будто Троцкій хотѣлъ разоренія кре-

*) См. «Совр. Зап.» кн. 66.

стьянства, а партія стоитъ за союзъ крестьянства съ рабочимъ классомъ и за послѣднюю коллективизацію. Комиссаръ конвоя, бывший шахтеръ изъ Донбаса, былъ человекъ, уставшій отъ напряженной работы въ ГПУ и мечтавшій податься на учебу и перейти потомъ на другую работу.

Въ Челябинскомъ ГПУ намъ сообщили, что мы получили назначеніе въ Верхне-Уральскій политизоляторъ и что до прибытія оттуда спеціального конвоя, мы должны будемъ просидѣть двѣ недѣли въ мѣстной Челябинской тюрьмѣ. Эта большая тюрьма населена была крестьянами и частью уголовными. Крестьяне силѣли за коллективизацію, они были голодны, подавлены, запуганы и скупы на слова. Насъ послали въ отдѣльную камеру для политическихъ, которые прѣздомъ здѣсь иногда подолгу задерживались. Камера наша была открыта и мы могли свободно расхаживать по корридору, камеры крестьянъ были на запорѣ. Возлѣ главнаго зданія тюрьмы находилось еще подсобное, расположенное въ особомъ дворѣ. Это былъ Челябинскій Политизоляторъ. Въ немъ тогда помѣщались социаллисты различныхъ теченій. Но у насъ не было связи съ ними.

Въ Магнитогорскѣ кончалась желѣзнодорожная линія и дальше мы уже продолжали нашъ путь на автомашинахъ. Въ теченіе нѣсколькихъ часовъ ѣхали мы степью уральскихъ казакѣвъ, пока не подъѣхали къ маленькому мѣстечку — Верхне-Уральску. За нимъ въ нѣсколькихъ километрахъ ѣзды среди голѣй степи стояла наша новая обитель — Верхне-Уральскій Политизоляторъ. Машины застопорили передъ зданіемъ, изъ оконъ кивали и кричали намъ что-то заключенные: «Кто? Откуда?» — «Соціалъ-демократы изъ Ташкента, есть троцкисты!» У двери подъѣзда ждала насъ администрація. Завидѣвъ социалъ-демократовъ, администрація встрѣтила ихъ возгласами: «А, Рожковскій, Діаманштейнъ — опять здѣсь?» Тѣ, въ свою очередь, отвѣтствовали: «А, Бизюковъ, Матвѣевъ, вы все еще здѣсь хозяйничаете?» «Съ прѣздомъ, поздравляемъ!» — сыпалось со всѣхъ сторонъ.

Меня съ Дѣдичемъ увели въ камеру, находившуюся неподалеку отъ помѣщенія для обыска. Дверь открылась, и надзиратель втолкнулъ насъ въ камеру вмѣстѣ съ нашими вещами. Вдоль стѣнъ этой большой камеры стояли въ рядъ койки, въ серединѣ помѣщался длинный столъ, вокругъ котораго сидѣло 10 человекъ. Камера освѣщалась слабой электрической лам-

почкой, такъ что въ помѣщеніи было темно, лицъ людей разобратъ было нельзя, видѣлись только очертанія ихъ фигуръ.

Заключенные сидѣли въ полушубкахъ, въ пальто и въ валенкахъ. Было холодно и неуютно. Первый вопросъ ихъ былъ: кто мы такіе, откуда? Когда они узнали, что мы не ссыльные, а прибыли изъ центра, почти что съ воли, интересъ къ намъ сразу возросъ. Вѣдь всѣ мысли, вся жизнь заключенныхъ вертѣлась вокругъ того, что дѣлается тамъ, въ центрѣ, на волѣ? Узнавъ, что мы вдобавокъ еще заграничные коммунисты, новые наши товарищи еще больше заинтересовались. Мы ушли за столъ и стали рассказывать о своей судьбѣ и о томъ, что видѣли и слышали мы на волѣ. Тутъ выяснилось, что двое членовъ нашей группы — Зайковъ и Глыбовскій уже полтора мѣсяца обрѣтаются здѣсь въ изоляторѣ. Глыбовскій сидѣлъ даже въ камерѣ, расположенной прямо надъ нами. Ему объ этомъ тотчасъ же прокричали черезъ окно. Черезъ нѣсколько минутъ вѣсть о нашемъ прибытіи обошла уже всѣ три этажа тюрьмы. Въ камерную дверь постучалъ надзиратель: «Граждане, тише!» — но на его стукъ никто не обратилъ ни малѣйшаго вниманія.

Когда мы кончили первую часть нашего повѣствованія, изъ нашей камеры данъ былъ сигналъ по трубѣ, означавшій, что сейчасъ, молъ, будутъ отправлены новѣйшія свѣдѣнія. И, дѣйствительно, черезъ пару минутъ изъ камеры были отправлены свертокъ съ письмомъ, заключавшимъ всѣ важнѣйшія свѣдѣнія, полученныя отъ насъ. Мы не мало удивлены были той свободѣ общенія, которая царила здѣсь между заключенными. Въ прежнихъ тюрьмахъ, гдѣ довелось намъ сживать, ничего подобнаго не существовало. Но самые большіе сюрпризы ждали насъ еще впереди.

На слѣдующій день товарищи передали намъ журналы, входящіе въ тюрьмѣ. Какое разнообразіе, какая свобода высказыванія, чувствовались въ каждой статьѣ! Какая страстность и открытость въ обсужденіи не только абстрактныхъ, теоретическихъ вопросовъ, но и жгуче-практическихъ и тактическихъ проблемъ: имѣются ли еще шансы для мирнаго реформированія господствующаго общественнаго строя, или нужна уже новая революція, новое вооруженное возстаніе; является ли Сталинъ безсознательнымъ или сознательнымъ измѣнникомъ; означаетъ ли его политика реакцію или контръ-революцію; можно ли его будетъ устранить въ порядкѣ смѣны партійнаго руководства или только въ процессѣ новой революціи — обо всемъ этомъ писалось открыто, полнымъ голосомъ, со всѣми точками надъ «і» и — даже — за подписями самихъ авторовъ...

Но этимъ еще не ограничивался режимъ нашей свободы здѣсь. Когда заключенные нѣсколькихъ камеръ, составлявшие прогулочную группу, выходили на тюремный дворъ, они преспокойно собирались гдѣ-нибудь въ уголокъ, устраивая самое регулярное собраніе съ председателемъ, секретаремъ, съ очередью ораторовъ и съ перенесеніемъ незаконченнаго собранія на слѣдующую прогулку. На этихъ собраніяхъ обсуждались всѣ самыя крамольныя и запретныя темы, обсуждались не только во всеуслышаніе, но и безъ всякаго опасенія. Тюремный надзиратель, ходившій съ нами на прогулку, либо сидѣлъ тутъ же около собранія, либо прохаживался неподалеку. Онъ, конечно, доносилъ обо всемъ слышанномъ по начальству, но изъ-за этого никто здѣсь не волновался. Больше всего здѣсь доставалось, конечно, Сталину. Въ выборѣ эпитетовъ по его адресу никто не стѣснялся... Много чудесъ пришлось мнѣ уже встрѣтить въ СССР, но такого чуда я еще не видалъ. Куда я попалъ? на островокъ свободы въ океанѣ рабства или на островъ сумасшедшихъ? Контрастъ между запуганностью и придавленностью всей страны и моральной свободой, существовавшей здѣсь за рѣшетками этой тюрьмы — былъ такъ великъ, что скорѣе думалось, что ты попалъ на островъ умалишенныхъ. Въ самомъ дѣлѣ — на одной шестой земного шара, занимать которую такъ гордится СССР — имѣлось только 2-3 клочка, и эти клочки по ироніи судьбы были вдобавокъ тюрьмами, — гдѣ люди сохранили за собой право говорить вслухъ, что думаютъ и говорить объ этомъ не въ одиночку, а коллективно.

Наша тюрьма представляла собой большое трехэтажное зданіе въ формѣ параллелограмма. Основная масса заключенныхъ размѣщена была въ холодной, сѣверной части зданія. Значительная часть южнаго флигеля была отведена подъ административныя службы. Общежитіе администраціи расположено было внѣ тюрьмы въ отдѣльномъ зданіи, находившемся неподалеку. Тюрьма была окружена пятиметровой стѣной, на которой находились дозорныя вышки для вооруженной охраны. Расстояніе между зданіемъ тюрьмы и стѣной было разбито такой же стѣной на 5 дворовъ, куда заключенные и выходили на прогулку.

Тюрьма состояла изъ 60 камеръ, по 20 на каждый этажъ. Камеры разнились другъ отъ друга по размѣру, теплотѣ и удобству. За исключеніемъ десятка камеръ западной части, имѣвшихъ деревянный полъ, во всѣхъ остальныхъ полъ былъ цементный. Въ тюрьмѣ было центральное отопленіе, но первый этажъ оно почти не согрѣвало. Мы сидѣли въ камерѣ перваго

этажа сѣвернаго крыла и могли наблюдать функционированіе отопленія на собственной шкурѣ. Всю зиму приходилось сидѣть въ валенкахъ и полушубкахъ. Еще хуже были одиночныя камеры сѣверо-восточнаго крыла. Лучшими — двойники западной части, но ихъ было всего шесть. Остальныя камеры были большія на 6 и на 12 человекъ.

Тюремное питаніе состояло изъ хлѣба да каши, изо дня въ день, изъ года въ годъ, къ обѣду и къ ужину. Разнообразіе состояло лишь въ перемѣнѣ сорта каши въ разные сезоны года — гречневая крупа, просо, овсяная крупа. Къ обѣду полагался супъ изъ плохой рыбы или консервовъ изъ полугнилого мяса. Тотъ же супъ, но безъ рыбы или мяса подавался къ ужину. На день выдавалось по 700 граммовъ хлѣба, и 1 кило сахару въ мѣсяцъ. А также порція табаку, папирозъ, чая и мыла. Одинъ разъ въ недѣлю выдавался винигретъ изъ свеклы, капусты и селедки. Это было праздникомъ, такъ какъ это былъ единственный случай, когда заключенный получалъ немного овощей. Хлѣбъ былъ, конечно, черныи, средняго качества. Два раза въ годъ — 1-го мая и 7-го ноября выдавалось по куску бѣлаго хлѣба, за 3 года я получилъ, стало быть, 6 кусковъ. Три раза въ день полагался кипятокъ.

Наше питаніе было однообразно и въ недостаточномъ количествѣ. Но если сравнить его съ тѣмъ, какое имѣли сотни тысячъ заключенныхъ въ общихъ тюрьмахъ Россіи, не говоря уже о миллионахъ, брошенныхъ въ концлагери и ссылки сѣвера, — нужно констатировать, что оно являлось своего рода *p r i v i l e g i e*.

Обставлены были камеры очень бѣдно. Каждый заключенный получалъ козлы и нѣсколько досокъ въ качествѣ койки и маленькій столикъ къ ней. Кромѣ того, въ серединѣ камеры стоялъ большой, обшій столъ. Заключенные частью имѣли собственную одежду и бѣлье, а частью получали ихъ отъ тюрьмы. Но администрація систематически отказывала въ бѣльѣ и въ одеждѣ, ссылаясь на недостатокъ ихъ. Единственнымъ исключеніемъ являлись мы, иностранные коммунисты. По особому распоряженію изъ Москвы, администрація была обязана предоставлять намъ все необходимое безъ задержки.

Заключенныхъ выводили два раза въ день на прогулку. Каждая прогулка длилась змой по часу, лѣтомъ по полтора часа. На прогулку выводили сразу 4-5 камеръ, т. е. по 25-35 человекъ вмѣстѣ, и заключенные могли дѣлать въ это время что хотѣли — гулять, устраивать собранія, заниматься спортомъ (футболъ, теннисъ, городки). Лѣтомъ они могли разво-

дить огородъ или цвѣты. Разъ въ двѣ недѣли заключенныхъ водили въ баню, и въ этотъ же день мѣнялось бѣлье и отдавалось въ стирку собственное бѣлье заключенныхъ.

Въ тюрьмѣ имѣлась большая библиотека, состоявшая изъ небольшого наслѣдія царской тюрьмы (французская, англійская, нѣмецкая и русская беллетристика), частью состоявшая изъ даровъ уходящихъ на волю заключенныхъ. Изъ нихъ состоятъ, между прочимъ, въ основномъ весь социальнo-политическій, историческій и философскій отдѣлы. Частью библиотека пополнялась и пріобрѣтеніями администраціи. Изъ послѣднихъ новинокъ, помню, я прочиталъ «Путешествіе въ Конго» Андрэ Жида и «Хлопокъ» Травэна. Въ нѣломъ библиотека была очень недурна. Слѣдуетъ еще упомянуть, что заключенные подчасъ привозили съ собой очень хорошія личныя библиотечки, многіе имѣли по 100 книгъ, а у нѣкоторыхъ число книгъ доходило до 200-300 избранныхъ книгъ. Рядъ заключенныхъ получали книжныя новинки отъ родныхъ съ воли. Этими книгами пользовались не только владѣлецъ и его камера, но и другія ближайшія камеры. Всѣ совѣтскіе газеты и журналы заключенные имѣли право выписывать на свой счетъ. Изъ заграничныхъ изданій разрѣшалось выписывать только центральные органы коммунистическихъ партій — «Роте Фане», «Юманите» и «Дейли Уоркеръ», и то лишь 3 экземпляра каждой газеты, по экземпляру для каждой изъ трехъ основныхъ частей Изолятора.

При данныхъ условіяхъ, т. е. при относительной обезпеченности газетами и литературой, при отсутствіи возможности заниматься физической работой, при наличіи значительнаго свободного времени и специальномъ подборѣ заключенныхъ, естественно, вся скопленная энергія расходовалась на умственную работу и на политическую внутри-тюремную дѣятельность (составленіе журналовъ, писаніе статей, дискуссій и т. п.). Не будешь преувеличеніемъ сказать, что Верхне-Уральскій изоляторъ со своими 200-250 заключенными представлялъ собой нѣкій социальнo-политическій университетъ, къ тому же единственно свободный на всю Совѣтскую Россію.

Очень большую роль въ идейной жизни изолятора игралъ вопросъ о внутренней связи между заключенными. Связь эта, хотя и не допускалась, все же существовала, и ее до извѣстныхъ предѣловъ терпѣло начальство. Связь между 4-5 соседними камерами одного и того же этажа, которыя вмѣстѣ выходили на прогулку, была, конечно, легка и свободна. Труднѣе удавалось наладить вертикальную связь между камерами различныхъ этажей. Но и здѣсь ее удавалось держать: послѣ осо-

баго предварительнаго сигнала изъ оконъ верхнихъ камеръ къ соответствующимъ окнамъ нижнихъ опускался мѣшокъ на веревкѣ, и такимъ способомъ происходилъ обмѣнъ почтой. У надзирателей вмѣлись длинныя палки съ загнутымъ крючкомъ на одномъ концѣ, при помощи которыхъ они пытались перехватывать наши мѣшки съ почтой. Иногда это имъ удавалось, правда, не слишкомъ часто. Да, кромѣ того, находились бойкіе ребята, которые въ свою очередь высовывали изъ оконъ короткія палки, сбивавшія палки надзирателей. «Правилomъ игры» считалось не примѣнять силы къ той сторонѣ, которой удавалось перехватить мѣшокъ съ почтой. Старыя царскія рѣшетки передъ окнами были достаточно широки для всевозможныхъ манипуляцій.

Почтовое «вѣдомство» было самой общей организаціей изолятора. Оно обслуживало весь его составъ — коммунистовъ, социалистовъ и анархистовъ и руководило ихъ общими согласованными дѣйствіями. Размѣщеніе заключенныхъ въ тюрьмѣ было таково, что только съ помощью этого «техническаго» единого фронта можно было держать связь между отдѣльными крыльями тюрьмы. Другія организаціи и «вѣдомства» существовали уже отдѣльно у коммунистовъ, социалистовъ и анархистовъ. Долженъ здѣсь отмѣтить, что коммунисты не составляли прогулочныхъ группъ и не жили въ камерахъ вмѣстѣ съ социалистами и анархистами. Въ изоляторѣ существовало два сектора: коммунистическій и социалистическо-анархическій. Русскіе коммунисты-оппозиціонеры считали для себя политическимъ униженіемъ и оскорбленіемъ жить вмѣстѣ съ настоящими контр-революціонерами, каковыми, по ихъ мнѣнію, являлись социалисты и анархисты, которыхъ и нужно было держать въ тюрьмахъ. ГПУ въ этомъ пошло навстрѣчу коммунистамъ-оппозиціонерамъ и не смѣшивало ихъ съ социалистами и анархистами. Только постепенно эта психологическая разобщенность между коммунистами и не-коммунистами стала уменьшаться, и стала налаживаться согласованная борьба всѣхъ противъ ГПУ за сохраненіе и улучшеніе режима политзаключенныхъ. Коммунисты составляли основную массу заключенныхъ въ Верхне-Уральской тюрьмѣ. Ко времени моего пріѣзда ихъ было до 140 человекъ, въ дальнѣйшемъ эта цифра постепенно возрастала, достигнувъ 180 *). Социалистовъ и анархистовъ раз-

*) Среди заключенныхъ было не больше 15% рабочихъ, прибывавшіе въ Изоляторъ рабочіе сравнительно скоро капитулировали: «Что зря сидѣть? Когда подымутся массы, тогда наступитъ день и для оппозиціи». Соціальный и національный составъ отдѣльныхъ группъ былъ приблизительно такой. Самая многочисленная оппозиціонная группа,

личных течений было вначалѣ около 50 человекъ, потомъ около 80.

Корреспонденція разрѣшалась только съ ближайшими родственниками. Коммунисты имѣли право писать и получать письма 9 разъ въ мѣсяцъ. Соціалисты и анархисты, какъ низшее сословіе — 6 разъ. Тюремная цензура черкала немилосердно всякое конкретное сообщеніе заключенныхъ о тюремной жизни и сообщенія родныхъ о жизни на волѣ. И при всѣхъ этихъ суровыхъ мѣрахъ предосторожности, связь съ волей и даже съ границей все же существовала. Въ тюрьму доходили не только письма, но даже брошюры Троцкого изъ-за границы. Въ этомъ отношеніи тюрьма была лучше обезпечена, чѣмъ многія мѣста ссылки.

Особенностью режима политизолятора было фактическое недопущеніе свиданій съ родными. Разрѣшенія давались только Москвой и давались только въ самыхъ исключительныхъ случаяхъ. За нѣсколько лѣтъ моего заключенія въ политизоляторѣ при 200 заключенныхъ было всего два или три случая такихъ разрѣшеній. Жены нѣкоторыхъ заключенныхъ пытались поселиться въ городѣ Верхнеуральскѣ, чтобы помочь питаніемъ заключеннымъ и быть вблизи отъ своихъ, но ГПУ предпосылало имъ въ 24-часовой срокъ оставить городъ.

Практически самой важной и ответственной организаціей

троцкисты, на волѣ пользовавшаяся широкими симпатіями во всемъ коммунистическомъ аппаратѣ, въ тюрьмѣ состояла большею частью изъ молодой еврейской интеллигенціи, вышедшей изъ мѣстечковаго мѣщанства. Значительную прослойку среди троцкистовъ составляла грузинская и армянская молодежь крестьянско-демократическаго происхождения. Среди троцкистовъ выдѣлялась еще группа бывшихъ военныхъ и чекистовъ, среди которыхъ значительную прослойку составляли русскіе. Больше силенъ былъ русской и рабочей элементъ въ группѣ «демократическаго централизма» («децисты»), онъ преобладалъ въ рабочей группѣ «Мясниковцевъ». Русской по национальному составу была и прибывавшая съ 1933 года «правая оппозиція». Такимъ образомъ два крайнихъ фланга коммунистической оппозиціи были русскими, съ той, однако, символической разницей, что крайне правый флангъ былъ гораздо сильнѣе лѣваго. Въ общемъ во всемъ коммунистическомъ секторѣ по подсчету, сдѣланному старостатомъ, было 40% евреевъ, 30% кавказцевъ; остатоки въ 30% падали на русскихъ и прочихъ. Въ Изоляторѣ шутили, что русскіе составляютъ «нацменьшинство». Среди социалдемократовъ преобладали евреи, выходцы изъ Бунда; можно даже сказать, что правая часть Бунда дала въ итогѣ социалдемократовъ, лѣвая — троцкистовъ. Среди эсеровъ и анархистовъ преобладали русскіе.

заключенныхъ былъ старостать. Каждая большая камера выбирала старосту, представлявшего заключенныхъ передъ администраціей. Камеры, входившія въ одну прогулочную группу, выбирали прогулочный старостать изъ одного или трехъ чело-вѣкъ. Наконецъ, весь коммунистическій секторъ выбиралъ общесекторскій старостать, который являлся высшей инстанціей во внутреннихъ дѣлахъ заключенныхъ и въ ихъ отношеніяхъ съ администраціей. По вопросамъ внутренняго самоуправленія заключенныхъ и ихъ организованнаго представительства передъ администраціей шла постоянная борьба съ послѣдней. Администрація тюрьмы, т. е. ГПУ, отказывалась признавать де-юре общеколлективный и прогулочный старостать, но признавала ихъ де-факто, вела съ ними фактически разговоры и переговоры. Камерныхъ старостъ администрація тюрьмы признавала какъ де-факто, такъ и де-юре. Аналогичные старостаты существовали и у социалистовъ и у анархистовъ. Сплоченная организація изъ 150 до 200 заключенныхъ, готовыхъ въ своей борьбѣ пойти, въ случаѣ надобности, на самыя крайнія жертвы, имѣющая связи со многими мѣстами ссылки и воли въ СССР, а также и съ за-границей, представляла серьезную силу, съ которой администрація ГПУ не могла не считаться.

Больше всего интересовали меня въ Изоляторѣ его идейная и политическая жизнь. Слѣдить за всѣмъ, что происходитъ въ Россіи, думать надъ всѣми возникшими въ ходѣ революціи вопросами въ одиночку или внутри маленькой замкнутой группы товарищей, какъ это приходится дѣлать «на волѣ» въ Россіи — задача очень тяжелая, больше плодющая, чѣмъ разрешающая проблемы, вдвойнѣ тяжела она для иностранца, который попалъ въ страну на 10-й годъ революціи. Вотъ почему случай оцутиться среди нѣсколькихъ сотъ политическихъ заключенныхъ, представлявшихъ разныя политическія теченія Россіи, олицетворявшихъ непрерывность политической мысли въ жизни огромной страны, явился настоящимъ кладомъ. Изъ недѣли въ недѣлю, изъ мѣсяца въ мѣсяцъ я все обстоятельнѣе и систематичнѣе знакомился съ людьми и идеями, съ политическими теченіями и группами.

Когда я прѣѣхалъ въ Изоляторъ въ ноябрѣ 1930 года, эра капитуляцій, потрясшая и разложившая такъ основательно въ теченіе послѣднихъ полутора лѣтъ русскую оппозицію, была уже закончена. Но атмосфера еще была насыщена отзвуками этой тяжелой эпохи, унесшей четыре пятыхъ оппозиции. Уп-

режь въ капитулянствѣ и полукапитулянствѣ при разногласіяхъ и спорахъ быть самымъ обиднымъ и ходкимъ обвиненіемъ. Постепенно эти отзвуки исчезли, новыхъ капитуляцій не было, а черезъ полгода начали, наоборотъ, привозить снова въ Изоляторъ капитулянтовъ, оказавшихся недостаточно твердыми сторонниками генеральной линіи.

Подавляющее большинство заключенныхъ коммунистовъ принадлежало къ троцкистамъ: 120 человекъ изъ 140. Былъ одинъ еще не капитулировавшій «зиновьевецъ», 16-17 сторонниковъ крайне лѣвой группы «демократическаго централизма» и 2-3 сторонника «Рабочей Группы» Мясникова. Въ социалистическо-анархическомъ секторѣ было по 10 до 12 человекъ каждой изъ 3 основныхъ группъ — русскихъ социалдемократовъ-меньшевиковъ, анархистовъ и грузинскихъ социалдемократовъ. Была пятерка лѣвыхъ эсеровъ, затѣмъ по нѣсколько человекъ сіонистовъ, правыхъ эсеровъ, армянскихъ социалистовъ «даш-накцунтъ» и 1 максималистъ.

Таково было распредѣленіе по основнымъ «историческимъ» группамъ, но на дѣлѣ у каждой изъ нихъ были въ свою очередь подгруппы, отѣнки и даже расколы. Читатель воскликнетъ, быть можетъ, неодобрительно: на 200 человекъ 20 группъ и группочекъ! Но здѣсь нужно вспомнить, что рѣчь идетъ не о 200 человекъ, а о 200 представителяхъ почти всѣхъ теченій лѣваго фланга общества огромной страны, что рѣчь идетъ о своего рода нелегальномъ парламентѣ Россіи, существующемъ и при исключительныхъ историческихъ условіяхъ...

Вотъ почему, естественно, жгучія и мучительныя социально-политическія проблемы, которыя революція и въ частности теперешній этапъ пятидѣтки ставили передъ людьми, должны были вызвать въ изоляторской средѣ, въ этомъ своего рода тюремномъ полу-парламентѣ, полу-университетѣ глубокое броженіе, новыя исканія, кризисъ старыхъ идеологій, взаимную борьбу людей и идей. Только черезъ нѣсколько лѣтъ, когда экономическіе и социальные итоги пятидѣтки стали нагляднѣе, разбродъ уступилъ мѣсто новому спланиванію...

Съ совѣтской оппозиціей — коммунистической, социалистической, анархистской — съ товарищами, съ которыми я провелъ совместно 3 года въ тюрьмѣ и 2½ года въ ссылкѣ, меня связала общая судьба. Но это не должно помѣшать мнѣ дать объективное изображеніе политическаго лица совѣтской оппозиціи, какъ ея положительныхъ, такъ и ея отрицательныхъ сторонъ, поскольку и какъ я ихъ воспринялъ. Большое значеніе русскаго опыта для передоваго движенія всѣхъ странъ требу-

еть, думается мнѣ, глубочайшей объективности и правдивости въ изображеніи всѣхъ сторонъ совѣтской жизни. О русской оппозиціи нужно разсказать не сентиментально-слащаво, а критически-объективно. Это я могу сдѣлать тѣмъ спокойнѣе, что при всѣхъ недостаткахъ оппозиціи, ея общій морально-политическій обликъ и при самой строгой объективности несравненно выше морально-политическаго облика власти предрѣзавшей, ея преслѣдователей.

Перечисленные выше изоляторныя политическія группы представляли не просто идейныя теченія, а настоящія организаціи со своими руководящими тюремными комитетами, со своими тюремными журналами (писанными, конечно, отъ руки), съ признанными вождями въ ссылкѣ, въ другіхъ тюрьмахъ или за-границей.

Меня прежде всего интересовала политическая жизнь троцкистской оппозиціи, къ которой я самъ тогда принадлежалъ, и которая являлась и является по сей день — самой вліятельной оппозиціонной группой Россіи. Въ Верхне-Уральскомъ полит-изоляторѣ былъ собранъ почти весь активъ троцкистской фракціи.

«Верхне-Уральскій коллективъ большевиковъ-ленинцевъ», какъ официально называлась тюремная организація троцкистовъ, дѣлилась на 3 подгруппы, «субфракціи»: правая группа, центръ и лѣвая группа. Это подраздѣленіе оставалось въ теченіе всѣхъ трехъ лѣтъ моего тамошняго пребыванія, хотя острота внутренней борьбы, составъ самихъ группъ, отчасти и ихъ идеологія въ теченіе этого времени мѣнялись.

Ко времени моего прибытія въ Верхне-Уральскъ эти группы противопоставляли другъ другу три политическихъ платформы и два журнала.

Это были: 1) «Платформа трехъ», написанная тремя красными профессорами: Е. Солнцевымъ, Г. Яковиннымъ и Г. Стопаловымъ. Она отражала взгляды правой группы, тогда самой сильной среди верхне-уральскихъ троцкистовъ. 2) «Платформа двухъ» (зять Троцкаго Манъ-Нивельсонъ, Аронъ Папермейстеръ) отражала взгляды небольшой группы центра и 3) Тезисы группы «Воинствующій большевикъ» — платформа лѣвыхъ (Пушасъ, Каменецкій, Квачадазе, Бѣленькій). Платформы эти представляли собой солидныя работы, каждая изъ нихъ занимала по цѣлой тетради изъ 5-8 отдѣловъ (международное

положеніе, промышленность, сельское хозяйство, классы въ СССР, партія, рабочій вопросъ, задачи оппозиціи и т. д.). Въ платформѣ правыхъ были обстоятельно разработаны экономическіе отдѣлы, въ платформѣ лѣвыхъ хорошо написаны были главы «партія» и «рабочій вопросъ».

Правые и центръ издавали вмѣстѣ «обшеколлективный журналъ» «Правда за рѣшеткой», лѣвые — групповой органъ «Воинствующій большевикъ». Журналы выходили по номеру кажды 1-2 мѣсяца. «Правда за рѣшеткой» выходила нѣсколько чаще и объемистѣй, чѣмъ «Воинствующій большевикъ». Отдѣльный номеръ журнала состоялъ изъ 10 до 20 статей, каждая статья была сшита въ самостоятельную тетрадку: всѣ статьи-тетрадки составляли пакетикъ — номеръ журнала. Пакетикъ шелъ изъ камеры въ камеру и тутъ каждый, кто хотѣлъ, бралъ по статьѣ-тетрадкѣ и читалъ поочередно. Номеръ журнала писался въ трехъ экземплярахъ, для каждого крыла тюрьмы по экземпляру. Каждая политическая группа имѣла своихъ специалистовъ переписчиковъ, какъ и своихъ литераторовъ и организаторовъ.

Центромъ споровъ въ троцкистской средѣ въ теченіе 1930 года былъ вопросъ объ отношеніи къ партійному руководству, т. е. къ Сталину, къ его группѣ, къ его «лѣвому курсу».

Правая группа троцкистовъ находила, что пятилѣтка, хоть и съ искривленіями, правыми и ультра-лѣвыми, означаетъ выполнение основного требованія оппозиціи; отсюда дѣлался выводъ: поддержка официальной политики при критикѣ методовъ. Группа ориентировалась на «реформу сверху»: увеличивающіяся затрудненія заставить партію и отчасти руководство повернуть. Оппозиція будетъ возстановлена въ партіи и станетъ опять участницей руководства и власти. Ориентировку на дѣйствія низовъ, массъ, правая группа считала несвоевременной и крайне опасной: крестьянство противъ диктатуры пролетаріата, «противъ насъ», рабочій классъ колеблется, «кронштадтскія настроенія» пронизываютъ страну, «термидоріанскій фронтъ проходитъ черезъ рабочій классъ». Въ чемъ же критиковали правые троцкисты Сталина? Во-первыхъ, они вмѣстѣ со всей фракціей отвергали внутривнутрипартійный режимъ Сталина. Во-вторыхъ, они находили, что положеніе дѣлъ не требуетъ сталинскихъ сверхъ-максималистскихъ темповъ, и что страна не сможетъ ихъ выдержать. Они требовали того же самаго, только немножко меньше, немножко мягче. Они боялись только одного: какъ бы Сталинъ своими преувеличеніями, «ультра-лѣвой авантюрой», не погубилъ не только себя, отъ чего никакой

объды, конечно, не было бы, но и в с ю с и с т е м у, о сохранении которой они думали прежде всего.

Какъ рѣзкій и шумный антагонистъ правыхъ, выступала троцкистская группа «Вонствующій большевикъ». Основная тактическая мысль группы была: р е ф о р м а с н и з у, ставка на расколъ партіи, на рабочій классъ. Подчеркнутая непримиримость къ Сталину привлекала къ группѣ симпатіи рабочихъ и молодежи среди заключенныхъ, для которыхъ предложенія красныхъ профессоровъ являлись слишкомъ примиренческими по отношенію къ Сталину, слишкомъ бюрократическими по своей сути. Слабымъ мѣстомъ тезисовъ «В. Б.» являлась экономическая оцѣнка пятилѣтки. Зацѣпившись за однажды въ пылу полемики брошенныя слова Троцкого о пятилѣткѣ, какъ «швелухъ цифръ», они всю политику индустриализаціи Сталина провозгласили простымъ блефомъ и прожектерствомъ. Въ оцѣнкѣ международнаго положенія они отрицали не только наличие революціонной ситуаціи, но — въ пику Сталину — и наличие мірового экономическаго кризиса. Въ этихъ вопросахъ дала себя знать богемская часть группы, которая въ лицѣ молодого журналиста Пушаса и возглавляла группу «В. Б.». Среди болѣе серьезной части группы росло сознаніе, что въ этомъ отношеніи нужно было бы подвести болѣе солидный фундаментъ подъ позицію группы.

Троцкистская группа центра считала, что нужно учитывать объ возможности осуществленія реформы: и сверху и снизу. Центръ вскорѣ усилился присоединеніемъ къ нему двухъ красныхъ профессоровъ — Ф. Дингельштедта (пріѣхавшаго изъ ссылки въ началѣ ноября) и Виктора Эльцина (считавшагося до тѣхъ поръ крайне правымъ за принципиальное согласіе со сплошной коллективизаціей и съ раскулачиваніемъ). Къ центру примыкала по существу бывшій секретарь Троцкого — Игорь Познанскій, стоявшій организационно внѣ этихъ подгруппъ. Стоитъ упомянуть, что всѣ пять красныхъ профессоровъ — Солнцевъ, Стопаловъ, Яковинъ, Дингельштедтъ и Эльцинъ работали раньше непосредственно съ Троцкимъ въ его секретариатѣ и въ редакціи «Собранія сочиненій Троцкого», — заграничный органъ Троцкого упоминалъ о нихъ, называя ихъ «молодыми теоретиками оппозиціи».

Эта установка большинства оппозиціи на верхушечное примиреніе, на верхушечныя блоки отражалась и на критикѣ пятилѣтки, удареніе дѣлалось не на подчиненномъ положеніи и роли пролетаріата, какъ эксплуатируемой рабочей силы, а на хозяйской безтолковости, диспропорціяхъ, скверномъ качествѣ...

Словомъ: не обращеніе къ рабочимъ противъ ЦК, противъ бюрократической власти сквозило въ этой критикѣ, а будто члены ЦК критикуютъ на пленумѣ политику своего собственного ЦК и вносятъ дѣловыя предложенія къ порядку дня. «Соціалистическій характеръ» госпромышленности подразумѣвался самъ собой. Наличие эксплуатаціи пролетаріата отрицалось, «такъ какъ у насъ диктатура пролетаріата». Рѣчь могли итти только объ «извращеніяхъ» въ распредѣленіи, о «несправедливомъ распредѣленіи», но не объ эксплуатаціи. Два года тому назадъ (1928 г.) я самъ такъ думалъ. Но теперь (1930 г.) какимъ древнимъ, давно прошедшимъ временемъ мнѣ это показалось!

Съ этого и началось мое участіе въ политической жизни тюрьмы. Я написалъ двѣ статьи: «О нѣкоторыхъ теоретическихкихъ предпосылкахъ борьбы оппозиціи» и «По поводу тезисовъ группы «В. Б.». Въ нихъ я развивалъ, что въ критикѣ сталинской пятилѣтки удареніе должно быть на антисоціалистической, антипролетарской ея соціальной сущности, а не въ провозглашеніи пятилѣтки блефомъ или въ критикѣ второстепенныхъ ея моментовъ.

Мы, оппозиціонеры, видѣли въ сталинской фракціи новое изданіе Робеспьеристской фракціи и предсказывали Сталину судьбу Робеспьера. Но мы ошиблись, мы не учли того факта, что «коммунистическая» бюрократія имѣетъ въ рукахъ то, что не имѣла Робеспьеристская — хозяйство страны. Фактическое и неоспоримое владѣніе всѣми основными средствами производства страны превращаетъ коммунистическую бюрократію въ ядро формирующагося новаго господствующаго класса, такъ же антагонистическаго пролетаріату, какъ была имъ раньше буржуазія... Въ Россіи слѣдуетъ организовать экономическую борьбу пролетаріата (экономическія требованія, забастовки и такъ дал.) такъ же, какъ это дѣлается въ частно-капиталистическихкихъ странахъ. Если бы на заводахъ, гдѣ работаютъ коммунисты-оппозиціонеры, оказались бы соціалисты и анархисты, то эту борьбу нужно организовать на основѣ единаго фронта съ ними. Нуженъ лозунгъ подготовки новой революціонной рабочей партіи.

Еще будучи на волѣ, наблюдая политическое порабощеніе пролетаріата, я никакой «диктатуры пролетаріата» въ СССР не могъ уже найти. Но ожидаемаго «Термидора», ожидаемаго сверженія Сталина-Робеспьера тоже не происходило. Что тогда? Какъ въ такомъ случаѣ толковать событія? Въ Изоляторѣ я встрѣтилъ новую оцѣнку Троцкаго, что бюрократія готовитъ, минуя термидоръ, 18-ое Брюмера. Я увидѣлъ тропинку, кото-

рую так искалъ. Другія, болѣе радикальныя теченія, которыя я встрѣтилъ въ Изоляторѣ — «Децисты»*), мясниковы — утверждали, что бонапартизмъ уже восторжествовалъ. Это показалось мнѣ еще болѣе вѣрнымъ. Образъ Сталина слился въ моемъ пониманіи событій русской революціи съ образомъ в о с т о ч и а г о Б о н а п а р т а. Это являлось ключемъ къ пониманію какъ размаха дѣлъ, такъ и преступленій Сталинскаго режима.

Въ той же камерѣ со мной оказался харьковскій троцкистъ Денсовъ, хорошій экономистъ, бывшій начальникъ Конъюнктурнаго отдѣла Госплана Украины. Онъ почти единственный среди троцкистовъ разсматривалъ совѣтское хозяйство, какъ государственно-капиталистическое. Денсовъ прибылъ въ Изоляторъ только за недѣлю до меня изъ сибирской ссылки, по своимъ тактическимъ установкамъ онъ примыкалъ къ лѣвому флангу, но въ группу «В. Б.» не входилъ. Денсовъ всерьезъ безпокоился изъ-за нигилистическаго или мелочно-придирчиваго отношенія къ пятилѣткѣ среди оппозиціи. «Оппозиція рискуеть очутиться на мели — говорилъ онъ — если вовремя не поймешь, что суть дѣла въ несоціалистическомъ, антипролетарскомъ характерѣ того большого экономическаго строительства, которое осуществляетъ Сталинъ. Сегодня Солнцевы и Пушасы видяты въ пятилѣткѣ диспропорціи, низкое качество или просто блефъ, но что скажутъ они черезъ 2-3 года, когда диспропорціи выравниваются, качество улучшится, блефъ окажется крупнѣйшей экономической реальностью? Раковскій писалъ весной 1930 года, что къ осени отъ сплошной коллективизаціи ничего не останется, осень прошла, а коллективизація не исчезла, черезъ годъ-два она развернется еще больше, закрѣпится — что тогда скажетъ Раковскій? Несерьезные люди будутъ, конечно, говорить сегодня одно, завтра — другое, забывая сегодня, что говорили вчера, но у серьезныхъ людей получится провалъ, кризисъ, если они во время не разберутся въ дѣлѣ»...

Мои теоретическіе выводы встрѣтили въ лѣвой части троцкистской фракціи, если не одобреніе, то во всякомъ случаѣ благожелательное отношеніе. Многіе чувствовали, что, дѣйствительно, пора сдѣлать какой-то новый шагъ. Правые троцкисты и центръ встрѣтили мои статьи враждебно и выпустили рядъ статей, направленныхъ противъ меня. Они находили мои выводы преждевременными по существу, повтореніемъ старыхъ

*) «Демократическій централизмъ».

ультра-лѣвыя ошибокъ децистовъ, Рабочей оппозиціи и мясниковцевъ. Люди изъ болѣе радикальныхъ оппозиціонныхъ теченій — Децисты и Мясниковцы находили, что троцкистское движеніе неспособно къ полному разрыву съ бюрократіей, такъ какъ оно само составляетъ лишь «лѣвое либеральное крыло этой бюрократіи». «Это оппозиція сановниковъ» — писалъ мясниковецъ Тиуновъ: «Троцкій такая же гнилая оппозиція бюрократическому самодержавію, какимъ былъ Мидюковъ по отношенію къ царскому правительству» — утверждалъ онъ. Децисты считали, что Троцкій колеблется сейчасъ между настоящимъ, революціоннымъ большевизмомъ и мелко-буржуазнымъ его перерожденіемъ въ лицѣ официальной ВКП. Мнѣ казалось, что Децисты и Мясниковцы преувеличиваютъ въ своей критикѣ половинчатости троцкистской оппозиціи. Мнѣ казалось, что способность эволюціи троцкистской оппозиціи влѣво значительнѣе, чѣмъ это утверждали правые троцкисты, съ одной стороны, и децисты съ мясниковцами — съ другой. Было еще одно обстоятельство, толкавшее меня дѣлать ставку на троцкистскую оппозицію: Я видѣлъ, что болѣе радикальныя оппозиціонныя группы представляютъ собой въ совѣтской общественной жизни незначительныя величины, что сколько-нибудь серьезный удѣльный вѣсъ имѣется только у троцкистской оппозиціи. Отсюда слѣдовалъ выводъ: если троцкистская оппозиція не сумѣетъ стать выразителемъ потребностей рабочаго класса, тогда Россія обречена будетъ пережить какой-то «вакуумъ» политическаго безвременья, пока изъ самыхъ низовъ не вырастетъ сколько-нибудь широкое движеніе. Естественно, что я цеплялся за этотъ первый, болѣе экономный историческій вариантъ развитія.

Чисто идейная борьба внутри троцкистскаго коллектива переплелась и даже частично была заслонена въ ближайшіе мѣсяцы организаціоннымъ конфликтомъ. Я передамъ здѣсь его главные моменты. Очень ужъ характерной для пониманія психологии и политическихъ нравовъ русской оппозиціи, кажется мнѣ, исторія этого конфликта.

Правые и центръ предъявили ультиматумъ группѣ «Воннствующій Большевикъ»: прекратить выпускъ групповаго органа и распустить группу, въ противномъ случаѣ — исключеніе изъ троцкистской организаціи. По мнѣнію большинства, у троцкистской фракціи не могутъ существовать отдѣльныя группы, «субфракціи», также не могутъ издаваться и другіе журналы, кромѣ официальныхъ «общефракціонныхъ»...

Наставляя на монолитности фракціи, отказывая въ правѣ

на фракционность внутри фракции, большинство защищало по существу те же организационные принципы, которые Сталинъ защищаль для партіи. За этой организационной махинаціей скрывалась и своя «политика». Солдцевъ въ передовицѣ органа большинства «Правда за рѣшеткой» писалъ, что «послѣ прекращения капитулянтской волны, главная опасность въ оппозиціи — лѣвые — децидующіе», «на очереди — освобожденіе оппозиціи отъ этого балласта». За этимъ публичнымъ высказываніемъ была припрятана мыслишка: освободившись отъ лѣваго балласта, отъ «безответственныхъ элементовъ, ставящихъ подъ сомнѣніе пролетарскій характеръ нашего государства», государственнымъ мужамъ оппозиціи легче дастся створиться съ верхами ВКП, прежде всего со Сталинской фракціей, которая была имъ ближе всего.

По всемъ прогулочнымъ группамъ «Изо» — какъ сокращенно называли изоляторъ — пошли длинные собранія, мѣсячныя дискуссіи, посвященныя ультиматуму. Послѣ дебатовъ, шли многократныя голосованія и переголосованія. Наша «группа 30-ти» внесла компромиссное предложеніе: выбрать новую редакцію общеколлективнаго журнала въ составѣ одного члена отъ правыхъ, одного — отъ центра и одного отъ группы «В. Б. л.

Ссылаясь на то, что «большинство имѣетъ право выбрать кого хочетъ», правые отказались принять наше предложеніе. Это показывало, какъ глубоко въ троцкизмѣ сидитъ сталинизмъ, точнѣе, какъ много, при всей взаимной враждебности, между ними обшаго.

Въ связи съ совершившимся расколомъ въ «Изо», образовались въ серединѣ 1931 года двѣ троцкистскія организаціи: «Коллективъ большевиковъ-ленинцевъ» (большинство) и коллективъ «Большевикъ-Ленинецъ» (лѣвыхъ). Въ моментъ раскола первый коллективъ состоялъ изъ 75-78 человекъ, второй — изъ 51-52. Нѣсколько человекъ осталось внѣ обихъ организацій. Въ дальнѣйшемъ они стали ядромъ новой группировки — «внѣгрупповыхъ», добивавшейся восстановленія единства среди троцкистовъ.

Пока мы сидѣли въ тюрьмѣ, спорили межъ собой и воевали съ ГПУ, жизнь на волѣ не стояла на мѣстѣ. Шли 1931 и 1932 годы: апогей пятилѣтки. Газеты, книги и вновь прибывавшіе живые люди доносили ажъ этой бурной эпохи въ нашу тюрьму.

Куда идетъ Россія? Разлетится ли она во все стороны, какъ

бурлящий котелъ, не выдержавшій напряженія, или, пройдя черезъ всѣ испытанія, завоеуетъ какія-то новыя высоты? И что же дѣлать дальше? Спасать или свергать существующій порядокъ; во имя чего, съ какой программой — всѣ эти вопросы остро вставали передъ оппозиціей.

Расколотый троцкистскій коллективъ изолятора подходилъ къ этимъ вопросамъ по разному. «Большинство» (правые троцкисты и центръ) интересовалось только практическими, такъ сказать, дѣловыми проблемами, связанными съ самимъ ходомъ пятилѣтки. Ихъ красные профессора выпускали несмѣтное количество статей, въ которыхъ доказывалось, какія фабрики слѣдовало построить и какія — нѣтъ, какой заводъ надо было строить въ первую очередь и какой — во вторую. Глубокомысленно анализировали они вопросъ о томъ — слѣдовало-ли годовой планъ производства намѣтить на нѣсколько процентовъ выше или ниже. Эти разсужденія не лишены были серьезности, знанія предмета, но при всемъ томъ отъ нихъ вѣяло кабинетной педантичностью. Въ странѣ шла настоящая война, социальная и экономическая, какъ можно было тутъ двигаться по маршруту, разсчитанному по метрамъ? Какъ можно было въ нишей и отсталой странѣ сдѣлать большой технической скачокъ впередъ иначе, чѣмъ создавъ сперва напряженіемъ всѣхъ силъ какіе-то узловые экономическіе бастионы и выравнивая затѣмъ экономику страны по этимъ передовымъ пунктамъ?

Когда лѣтомъ 1932 года страна была охвачена голодомъ и темпы строительства явно перешагнули за кульминаціонный пунктъ, у теоретиковъ «большинства» возникла новая забота: составить планъ отступленія. При составленіи программы отступленія большинство, однако, разошлось идейно и раскололось на двѣ организациіи. Правые троцкисты во главѣ съ Солнцевымъ, Яковинымъ, Мелнаисомъ и др., находили, что отступленіе отъ сталинскихъ сверхтемповъ должно быть осторожное и постепенное: принудительныя мѣропріятія противъ крестьянства должны быть смягчены, но не устранены, чтобы не допустить полного распада колхозовъ и торжества свободы рыночныхъ отношеній. Въ тактическомъ отношеніи они ориентировались на блокъ со сталинцами. При помощи этого блока надо было помѣшатель тому, чтобы мелкобуржуазная стихія, при попустительствѣ правыхъ внутри ВКП (Бухарина и Ко), не воспользовалась отступленіемъ для открытія шлюзовъ Термидору. Троцкистскій центръ (Дингельштедтъ, Манъ-Невельсонъ, Аронъ Папермейстеръ и др.) выдвигали въ свою очередь лозунгъ «возстановленія нэпа», точнѣе, поддержали этотъ лозунгъ, выстав-

ленный Раковскимъ въ его политическихъ письмахъ изъ ссылки. Аграрный специалистъ этой группы, Сасоровъ (агрономъ по образованию) доходилъ даже до того, что считалъ неизбежнымъ роспускъ всѣхъ колхозовъ. Вообще эта группа находила, что Сталинъ такъ забѣжалъ впередъ, что придется сдѣлать большое отступление. Въ тактическихъ вопросахъ троцкистскій центръ ориентировался на блокъ съ правыми въ ВКП. Съ помощью этого блока надо было заставить Сталина согласиться на общій, «коалиціонный» Цека и на внутри-партийную демократію. Полного устраненія сталинской фракціи изъ «руководства» не желала даже эта группа, находя, что такое устраненіе слишкомъ бы сильно потрясло основы пролетарской власти и могло бы способствовать торжеству буржуазной реставраціи.

Отсутствіе большой политической линіи, противопоставленной официальной сталинской, сочеталось съ отсутствіемъ серьезной социальной критики сталинскихъ мѣропріятій и всего социальнаго уклада, создаваемого пятилѣткой. Критика «рабочей политики» Сталина этими обѣими троцкистскими группами касалась объема жертвъ, но не основъ социальныхъ отношеній въ производствѣ. Разнося «извращенія» и «бюрократизмъ» Сталина во всѣхъ деталяхъ, они въ общемъ все-же продолжали по проценту успѣховъ или неудачъ экономическаго строительства Сталина вычислять проценты социализма въ СССР.

На всѣ эти волненія и заботы троцкистскихъ правыхъ и центра я смотрѣлъ спокойно, видя въ нихъ лишь лѣвыхъ бюрократовъ, болѣе приличныхъ, чѣмъ сталинскіе, но не больше. Мое вниманіе и надежды были обращены на жизнь лѣвыхъ троцкистовъ, на коллективъ «меньшинства». Въ этомъ коллективѣ въ теченіе 1931 и 1932 годовъ страстно обсуждались какъ практическія, такъ и принципиальныя проблемы пятилѣтки и совѣтскаго строя. Кромѣ выпуска журнала и писанія статей по текущимъ вопросамъ, лѣвый коллективъ ставилъ себѣ цѣлью выработку своей особой платформы, безкомпромиссной въ отношеніи сталинской бюрократіи. Однако, при наличіи существенныхъ расхожденій среди самихъ лѣвыхъ выработка платформы являлась нелегкимъ дѣломъ.

Первымъ на обсужденіе былъ поставленъ вопросъ о характерѣ совѣтскаго государства: рабочее-ли это, социалистическое государство, а если нѣтъ, то каковъ именно его классовый характеръ. Трудность связи между отдѣльными крыльями тюрмы, гдѣ сидѣли отдѣльные члены коллектива и желаніе избѣжать раскола растянули дискуссію болѣе чѣмъ на полгода. Въ

итоги ее левому коллективу были предложены на голосование три резолюции. Первая резолюция — «признавателей» (Горлов, Любетко, Пестель, Рязозубов и др.). В ней советское государство признавалось при всех «бюрократических извращениях» еще рабочим государством, так как налицо еще «остатки диктатуры пролетариата» (национализация собственности, подавление буржуазии). Отсюда и следовал вывод о возможности «возстановления подлинной диктатуры пролетариата» путем «глубокой структурной реформы». «Отрицатели», отрицающие наличие диктатуры пролетариата в СССР, не смогли сговориться на одной резолюции. Одна часть «отрицателей», во главе с оставшимися руководителями «Вебеков» (Каменецкий, Альтгаузен, Пивер), находила, что диктатуры пролетариата в СССР больше нет, но что сохранены «экономические основы Октябрьской революции». Отсюда они делали вывод о необходимости «политической революции» в сочетании с глубокой экономической реформой. Существующее государство считали «надклассовым», так как в господствующей бюрократии не признавали нового господствующего класса, а видели в ней только особый промежуточный слой, захвативший на некоторое переходное время власть в свои руки. Другая часть «отрицателей» (Штейн, Глыбовский, Зак, Цилига и др.) находила, что не только политическая власть, но и весь социально-экономический уклад современной России классово-враждебно противостоят пролетариату. Отсюда группа делала вывод о необходимости не только новой политической революции, но и социальной, чтобы открыть дорогу к социалистическому развитию. Эта группа видела в бюрократии не межклассовую, а классово-враждебную пролетариату силу.

Вторым боевым спорным вопросом стало предложение лозунга «назад к нэпу», выдвинутое Каменецким и другими упомянутыми «Вебеками». Это предложение было отвергнуто подавляющим большинством, так как против лозунга «назад к нэпу» категорически возражала, как группа Горлова, так и группа «отрицателей», к которой примыкал и я.

Настроения заключенных, их подход к происшедшему в стране, и, в частности, к политике сталинского правительства, можно было бы, несколько упрощая, определить так: одни — большинство среди всех партий политических заключенных — считали что политика власти сплошная авантюра, насилие над развитием, безумие и просто неумение, в конце каждого сезона они ожидали катастрофы и из месяца

въ мѣсяць считали неизбежной частичную или полную смѣну власти. Эта перспектива лишала ихъ потребности искать какой-либо особый социальный смыслъ въ томъ, что совершалось въ Россіи. Другіе, меньшинство, считали, что въ этомъ безуміи есть своя система. Основная задача анализа, по ихъ мнѣнію, должна была какъ разъ состоять въ томъ, чтобы вскрыть смыслъ и глубокую закономерность того, что въ происходящемъ казалось бессмыслицей и сплошной административной вакханаліей. А 1931-32 годы давали какъ разъ обильный матеріалъ, толкавшій мысль въ сторону необходимости расшифровки внутренней связи смѣняющихся другъ друга отдѣльныхъ событій.

Сталинскія «реформы», начиная съ середины 1931 года, вскрывали совершенно новыя социальныя пружины строя. Въ іюнь 1931 года Сталинъ предалъ анафемѣ одну изъ самыхъ дорогихъ идей пролетаріата и одно изъ послѣднихъ завоеваний, оставшихся у совѣтскихъ рабочихъ отъ Октября — выравниеніе различныхъ группъ внутри пролетаріата. Приказомъ диктатора было введено закрѣплѣніе и увеличеніе различій внутри рабочаго класса, противопоставленіе высшихъ категорій рабочихъ низшимъ. Этотъ типично капиталистическій принципъ въ оплатѣ труда былъ провозглашенъ социалистическимъ и коммунистическимъ, а старому, если не законченно социалистическому, то во всякомъ случаѣ болѣе социальному принципу была объявлена беспощадная война, какъ «мелкобуржуазной уравниловкѣ». На подмогу новому принципу вводилась еще такая система сдѣльщины, которая давно уже была уничтожена рабочимъ движеніемъ въ капиталистическихъ странахъ Запада: «прогрессивно-преміальная сдѣльщина». Комбинируя новую потогонную систему съ административнымъ нажимомъ, совѣтскіе правители провозгласили, что интенсивности труда теперь уже нѣтъ предѣла: тотъ лимитъ, который въ капитализмѣ ставится интенсивности труда физиологіей рабочихъ, — «у насъ», «при социализмѣ» преодолевается «энтузіазмомъ рабочихъ». Еще большіе «разрывы» вводились въ положеніи между рабочими и отвѣтственными работниками, какъ партійными, такъ и безпартійными. Вакханалія «зажиточной жизни» для верховъ при нищетѣ массъ, послѣ іюньской рѣчи Сталина получила свое первое узаконеніе. Изъ новаго курса такъ и перло классовостью, антисоциалистичностью.

Чувствовалось, что новый курсъ, в сталинскихъ условіяхъ побѣды, ликвидируя старыя формы и формулы, какъ бы освобождаетъ строй отъ историческаго балласта, даетъ ему возмож-

ность выявить свое настоящее лицо, тѣмъ самымъ консолидируя и укрѣпляя его. Тенденція къ консолидаціи новаго уклада, выросавшаго на пятилѣткѣ, проявляла себя въ примиреніи различныхъ элементовъ новой социальной верхушки. Безпартійные специалисты, противъ которыхъ еще недавно велась такая беспощадная травля, были провозглашены союзниками коммунистической бюрократіи. Средняя, особенно техническая, интеллигенція была зачислена въ категорію промышленныхъ рабочихъ, а черезъ нѣкоторое время, въ 1932 году, декретомъ ЦИК'а дѣти квалифицированной интеллигенціи были приравнены въ правахъ къ дѣтямъ рабочихъ. Тутъ были заложены уже основы позднѣйшаго статута «непартійныхъ большевиковъ» и выравнивание безпартійной интеллигенціи въ политическихъ правахъ въ конституціи 1936 года. Монопольную власть, которой коммунистическая бюрократія владѣла «отъ имени рабочаго класса», она тѣмъ самымъ готова была подѣлить со спецовской интеллигенціей.

Опредѣленную помощь въ социальномъ освѣщеніи происходившихъ въ странѣ процессовъ оказывали письма Раковскаго изъ ссылки. Раковскій и Троцкій очень существенно дополнили другъ друга и большимъ ударомъ для русскихъ троцкистовъ является то, что дальнѣйшее развитіе привело не къ синтезу обоихъ, а къ ихъ разрыву. Начиная съ 1928 года Раковскій написалъ рядъ работъ, посвященныхъ вскрытію своеобразныхъ чертъ совѣтской бюрократіи, законотѣрности ея функционированія. Съ большой пронципальностью вскрывалъ онъ эксплуатарскія и паразитическія черты этой бюрократіи. Его анализъ вплотную подходилъ къ тому, чтобы опредѣлить совѣтскую бюрократію, какъ новый господствующій классъ. Но для этого у него не оказывалось достаточной ни политической, ни теоретической смѣлости. Въ рѣшительный моментъ, когда изъ анализа надо было дѣлать выводъ, онъ отступалъ назадъ. Руководствуясь принципомъ — спастись изъ существующаго то, что возможно, онъ возвращался вспять вплоть до лозунга «назадъ къ изпу». Въ конечномъ итогѣ его главной политической заботой оказывались не новыя задачи, встававшія передъ пролетаріатомъ въ новую эпоху, а боязнь реставраціи частно-капиталистической системы.

Въ нашихъ изоляторныхъ спорахъ о сталинской пятилѣткѣ вопросы индустриализаціи далеко не вызывали такого разнобоя, какъ вопросы «сплошной коллективизаціи». Это связано было съ тѣмъ, что по вопросамъ индустриализаціи троцкистская опозиція имѣла органическую, послѣдовательную позицію, чего

тѣмъ было сказать про ея отношеніе къ крестьянству. При осуществленіи политики индустриализаціи Сталинъ въ общемъ сѣдовалъ руслу, намѣченному троцкистской оппозиціей еще въ 1923 году. Тутъ было положеніе: Троцкій задумалъ, Сталинъ осуществлялъ.

Гораздо сложнѣе было взаимоотношеніе троцкистской оппозиціи и Сталина въ вопросѣ о «сплошной коллективизаціи». Здѣсь имѣлись, кромѣ количественныхъ, принципиальныя расхожденія. Когда въ 1923 году Троцкій впервые выдвинулъ планъ индустриализаціи, онъ сочеталъ его съ представленіемъ о фермерскомъ пути развитія русскаго сельскаго хозяйства. Перейти дальше отъ «ограниченія эксплуататорскихъ тенденцій кулачества» къ его полной экспроприаціи и отъ частичной коллективизаціи къ «сплошной» въ данныхъ историческихъ условіяхъ онъ и позже продолжалъ считать антимарксистской утопіей, которая должна привести къ катастрофѣ.

Понятно, что такія установки, тогда дошедшія до троцкистской ссылки и Изолятора, вызвали тамъ большое замѣшательство. Вѣдь какъ разъ тогда Сталинъ довелъ коллективизацію до 50-60% и подводилъ подъ нее, хотя и съ нѣкоторымъ запозданіемъ, механизированный базисъ. Недоумѣнія и колебанія въ изоляторной средѣ отягчались еще тѣмъ, что болѣе поздніе матеріалы Троцкаго 1931 года, въ которыхъ онъ дѣлалъ кое-какія поправки въ своей позиціи, къ намъ не доходили. Только въ серединѣ 1932 года мы получили рядъ свѣжихъ документовъ. Среди нихъ самой важной явилась работа Троцкаго «Проблемы развитія СССР», выпущенная имъ за границей еще въ апрѣлѣ 1931 г., какъ «Проектъ платформы Интернаціональной Лѣвой оппозиціи по русскому вопросу».

Какъ авторство, такъ и назначеніе этой работы, придавали ей особое значеніе. Вслѣдствіе этого она и была поставлена на обсужденіе всѣхъ троцкистскихъ группъ изолятора. Никто этимъ документомъ по существу удовлетворенъ не былъ, но, за исключеніемъ крайне лѣвыхъ, всѣ тактично и съ поклономъ обходили его. Воспитанные на разоблаченіяхъ Троцкимъ авантюризма сталинскихъ темповъ, изоляторные троцкисты были поражены тѣми дифирамбами и апофеозомъ успѣховъ, которые давались въ этомъ документѣ. Троцкій писалъ теперь о «нынѣшнихъ, поистинѣ гигантскихъ успѣхахъ... Небывало высокіе темпы индустриализаціи... показали разъ навсегда могущество социалистическихъ методовъ хозяйства». А про «сплошную» писалъ: «Нынѣшніе темпы коллективизаціи... знаменуютъ новую эпоху въ исторіи человѣчества, начало ликвидаціи идю-

тизма деревенской жизни». Онъ допускалъ даже возможность завершения «сплошной» «въ теченіе ближайшихъ двухъ-трехъ лѣтъ».

Въ своихъ социальнo-политическихъ выводахъ этотъ программный документъ Троцкаго явился для «лѣвыхъ» настоящимъ разгромомъ. Надежды лѣвыхъ съ 1930 года, что Троцкій перейдетъ къ оцѣнкѣ нынѣшняго совѣтскаго государства, какъ нерабочаго, потерпѣли полное крушеніе. Въ 1-ой же главѣ Платформы, посвященной характеристикѣ «классовой природы СССР», Троцкій особенно четко опредѣлялъ природу Совѣтскаго Союза какъ «пролетарскаго государства». Еще болѣе рѣшительный ударъ получили «лѣвые» отъ этого документа въ части, касающейся социальной характеристики пятилѣтки. Социалистическій характеръ, социалистическая направленность экономическаго строительства стояла въ немъ внѣ сомнѣній, даже методы этого строительства были провозглашены «социалистическими». Весь споръ со сталинской бюрократіей вокругъ социального существа строя свелся къ вопросу объ осуществленіи полнаго или частичнаго социализма: «Совѣтскій Союзъ вступилъ не въ социализмъ, какъ учитъ правящая сталинская фракція, а лишь въ первую стадію развитія въ направленіи социализма».

Послѣ такого принципиально-программнаго документа пришлось бросить надежду, что Троцкій когда-либо различитъ бюрократическое государство отъ пролетарскаго, диктатуру надъ пролетаріатомъ отъ диктатуры пролетаріата, государственный капитализмъ отъ социализма. Если не понять антирабочей и антисоциалистической характеръ строительства и всего общественнаго уклада теперь, въ разгаръ пятилѣтки, когда эти отрицательныя черты проявляютъ себя наиболѣе ярко, то когда же ихъ понять? Той части «отрицателей» въ лѣвомъ коллективѣ, которые не видѣли въ совершающемся строительстве никакого социализма, не оставалось послѣ проработки платформы Троцкаго ничего другого, какъ порвать съ нимъ и выйти изъ троцкистскаго коллектива. Набралось 10 человекъ, которые этотъ выводъ и сдѣлали, въ томъ числѣ и я. Свое рѣшеніе мы, какъ это было принято въ изоляторной средѣ, обосновали въ особой деклараціи.

Въ итогѣ моего участія въ идейной жизни и въ борьбѣ русской оппозиціи я приходилъ теперь къ выводу, который многіе люди сдѣлали до и послѣ меня: Троцкій и троцкистская оппозиція слишкомъ органически связаны съ создавшимся бюрократическимъ укладомъ СССР, чтобы послѣдовательно и до

конца съ нимъ бороться. Троцкій продолжалъ смотрѣть на этотъ бюрократическій строй, какъ на что-то свое. И въ новой платформѣ онъ подчеркивалъ, что смотреть на проблемы этого строя «не извне, а изнутри». Ставя задачей оппозиціи улучшение, а не уничтоженіе бюрократическаго строя, онъ протестовалъ въ платформѣ только противъ «чрезмѣрныхъ привилегій отдѣльныхъ группъ и слоевъ», только противъ «крайняго неравенства жизненныхъ условий», только противъ «чудовишныхъ прерогативъ и преимуществъ безконтрольной бюрократіи». Были бы привилегіи и неравенство нѣсколько меньше и все было бы по Троцкому въ порядкѣ, въ СССР была бы настоящая «диктатура пролетаріата».

«Бюрократическая или пролетарская оппозиція» — такъ назвалъ я свою статью въ Изоляторѣ, налагающую мое новое отношеніе къ троцкистской оппозиціи. Мои новыми выводами я вступилъ на общую почву крайне лѣвыхъ русской оппозиціи: «Демократическаго централизма», «Рабочей оппозиціи» и «Рабочей группы». Разсматривая эти группировки какъ элементы будущаго рабочаго движенія Россіи, я принималъ съ тѣхъ поръ активное участіе въ ихъ внутренней жизни.

Вопросъ о роли Ленина въ революціи во время моей сидки въ Верхне-Уральскомъ Изоляторѣ явился предметомъ жаркихъ споровъ среди различныхъ группъ оппозиціи. Втеченіе долгаго времени я стоялъ въ сторонѣ отъ этихъ споровъ. Принадлежа къ младшему поколѣнію коммунистовъ, воспитанному на безпрекословномъ преклоненіи передъ Ленинымъ, мнѣ казалось какъ бы самимъ собой подразумеваемымъ, что «Ленинъ былъ всегда правъ». Итогъ — завоеваніе и сохраненіе революціонной власти — говорили въ его пользу. Значить — заключалъ я вмѣстѣ со своимъ поколѣніемъ — тактика и средства его были правильны.

Въ этомъ духѣ я и выступалъ по приѣздѣ въ Изоляторъ. Въ немалое замѣшательство привели меня критическія замѣчанія дециста Прокопени на одной изъ первыхъ прогулокъ: «Да что ты такъ разоряешься, товарищъ Цилица, относительно борьбы Ленина противъ бюрократизма? Какъ Ленинъ боролся противъ бюрократизма? Ты ссылаешься на его предсмертную статью о реформѣ рабоче-крестьянской инспекціи. Что-же, развѣ онъ тамъ призываетъ къ организаціи рабочихъ массъ противъ бюрократизма? Ничего подобнаго: онъ предлагаетъ всего на всего организовать особое высокое бюрократическое

учреждение, которое должно вести борьбу против бюрократизма». — «Нѣтъ, товарищ иностранецъ, — продолжалъ Прокопеня, — къ концу своей жизни Ленинъ проникся недоувѣриемъ къ рабочимъ массамъ, онъ ставилъ ставку не на нихъ, а на бюрократическій аппаратъ». Помолчавъ немного, онъ добавилъ: «Конечно, чтобы не давать лишнихъ аргументовъ Сталину, объ этомъ нечего особо кричать, но на дѣлѣ оно-то такъ».

Итоги пятилѣтки заставили и меня, вмѣстѣ съ рядомъ другихъ заключенныхъ, критически посмотреть и на дѣйствія Ленина. Мы это дѣлали не для того, чтобы очернить великія историческія заслуги Ленина. Но финаль революціи, ея итоги бросали новый свѣтъ и на ея истоки и первые этапы. Въ отрицательныхъ явленіяхъ сталинской эры — при серьезномъ и взвѣсивомъ подходѣ — сказывались отрицательныя черты режима временъ Ленина, сталинская эра являлась какъ бы продолженіемъ и углубленіемъ этихъ отрицательныхъ чертъ. Тѣ же самыя отрицательныя черты, оказывается, побѣждали даже по инициативѣ Ленина.

Это касалось не только внутривъ партійной жизни: ограниченіе, а затѣмъ и ликвидація на X-омъ съѣздѣ РКП въ мартѣ 1921 года внутривъ партійной демократіи. Въ меньшей степени это касалось общеполитическаго режима въ странѣ — лишеніе свободы инакомыслящихъ, какъ внутри, такъ и внѣ партіи; организація хозяйственной жизни на заводахъ, отнятыхъ у буржуазіи, съ подчиненіемъ рабочихъ хозяйственной бюрократіи, какъ партійной, такъ и безпартійной. Всѣ эти основныя вопросы были рѣшены въ цѣломъ къ выгодѣ бюрократіи и къ невыгодѣ для рабочихъ еще во времена Ленина.

Критика, которой подвергали Ленина большевистскіе рабочіе ножаки, шлѣтъ русскаго революціоннаго пролетаріата — Сапроновъ, Шляпниковъ, Медвѣдевъ, Мясниковъ — оказалась пророческой. Она стала и завѣтомъ русскаго революціи будущимъ поколѣніямъ. Эта критика имѣеть то же значеніе, какое въ свое время имѣла критика Лютера Фомой Мюнцеромъ, критика Кромвелля со стороны Джона Лильберна, критика Робеспьера Жакомъ Ру и Гракхомъ Бабефомъ. К концу своей жизни Ленинъ олицетворялъ только настоящее, будущее воплощали, пусть еще слабыя, различныя оппозиціи рабочихъ, трулящихся.

Подвергая критическому анализу «эпоху Ленина», я входилъ въ святая святыхъ коммунизма и моей собственной идеологии. Я подвергалъ критикѣ вождя, овѣяннаго славой, легендой. При всей критичности среды, въ которой я жилъ, я могъ

лишь очень робко продвигаться въ этомъ храмѣ, повинуюсь внутреннему голосу, говорившему мнѣ: осмысленіе опыта и уроковъ революціи не должно ни передъ чѣмъ останавливаться, оно должно быть такъ же безопадно, какъ безопадной, ни передъ чѣмъ не останавливающейся была сама революція.

Чѣмъ дальше ступалъ я въ этомъ храмѣ, тѣмъ чаще — днями, недѣлями, мѣсяцами — вставалъ передо мной роковой вопросъ: неужели и ты Ленинъ?

Неужели и ты могъ во имя сохраненія власти жертвовать социальными интересами массъ? И ты могъ предпочесть побѣдителей-бюрократовъ побѣжденнымъ массамъ? Могъ помогать этой новой бюрократіи сѣсть на шею совѣтскихъ трупячихъ массъ? Могъ даже подавлять эти массы, когда онѣ не хотѣли примириться съ новымъ положеніемъ? Теперь понятно, почему послѣ твоей смерти событія въ Россіи могли такъ легко пойти такъ, какъ пошли. Ты подготовилъ почву для Сталина...

Пристально и гнѣвно гляжу я на портретъ Ленина, висящій надъ столомъ моей тюремной камеры. Два Ленина передо мной, какъ два Лютера, два Кромвелля, осуществляющіе подвѣмъ революціи — и ея скать.

Солнце заходитъ за далекіе Уральскіе хребты, бросая черезъ пустынную степь, простирающуюся между хребтами и тюрьмой, свои послѣдніе лучи въ окно моей камеры. Уже третій годъ я въ тюрьмѣ. Тяжело... Жадно гляжу черезъ рѣшетку: горы, солнце, воздухъ, воля, воля... Я одинъ въ камерѣ. Сосѣдъ въ больницѣ. На душѣ сиротливо... Я хороню дорогую мечту о безгрѣшномъ Ленинѣ...

Сбросить Ленина съ алтаря, превратить его изъ боготворимаго вожда въ человѣка съ крупными историческими заслугами, но и крупными провалами, было нелегко. Послѣ крушенія иллюзій наступило самое тяжкое время. Не хотѣлось ничего дѣлать, не хотѣлось ни съ кѣмъ дѣлиться. Я искалъ забытья въ чтеніи и въ размысленіяхъ, ревниво оберегая произведенное опустошеніе отъ посторонняго взора...

Это внутреннее состояніе мѣшало сосредоточиться на остроумъ кризисъ зимы 1932 года, въ который вступала Россія и который ознаменовался первой серіей террористическихъ процессовъ.

Террористическіе процессы противъ коммунистовъ начались не въ 1936 году и не послѣ убійства Кирова, а значительно раньше, въ 1932 году, только они были сначала тай-

ными. Когда въ 1933 году въ Верхне-Уральскій изоляторъ прибыли первая группы приговоренныхъ по этимъ процессамъ, это было настолько ново, настолько ошеломляюще, что не хотѣлось вѣрять своимъ ушамъ: заговоръ противъ Сталина, дворцовый переворотъ — какая фантазмагорія!

Рѣчь шла тогда о вождахъ второго калибра правой оппозиціи, бывшихъ членахъ ЦК и правительства — о Рютинѣ, Углановѣ, Толмачевѣ, Эйсмонтѣ и рядѣ болѣе молодыхъ коммунистовъ. В газетахъ было опубликовано сообщеніе объ исключеніи ихъ изъ партіи за попытки созданія контр-революціонныхъ, «буржуазныхъ, кулацкихъ организацій» съ цѣлью «возстановленія въ СССР капитализма и, въ частности, кулачества». Послѣ ихъ пріѣзда къ намъ въ изоляторъ мы узнали, что это было только однимъ изъ пунктовъ обвиненія. Второй пунктъ, о которомъ пресса ничего даже не сообщала, звучалъ куда серьезнѣе: осужденныхъ обвиняли въ организаціи заговора съ цѣлью дворцоваго переворота и убійства Сталина.

Главнымъ обвиняемымъ былъ Рютинъ. Онъ обвинялся въ томъ, что лѣтомъ 1932 года выпустилъ большой нелегальный документъ, настоящую платформу на 160 страницахъ, въ которой выдвинуты были слѣдующія требованія: 1) Экономическое отступленіе (сниженіе темповъ, отказъ отъ принудительной коллективизаціи), 2) внутривпартійная демократія, 3) отстраненіе Сталина. Документъ склонялся къ блоку правыхъ съ троцкистами, исходя изъ того, что «въ экономическихъ вопросахъ правыми оказались правые, въ критикѣ внутривпартійнаго режима — Троцкій». Особая глава посвящена была офннкѣ личности и роли Сталина. Сталинъ сравнивался съ извѣстными историческими тиранами и назывался «злымъ духомъ партіи и революціи».

Этотъ документъ, въ частности главу о Сталинѣ, официальное обвиненіе и рассматривало, какъ «идеологическое обоснованіе» террористическаго заговора. Рютину, бывшему редактору военнаго органа «Красная Звѣзда» и самому бывшему военному, было предъявлено обвиненіе въ организаціи среди курсантовъ «Военной Академіи имени ЦИК'а» группы, которая должна была убить Сталина. Толмачеву и Эйсмонтѣ, членамъ высшихъ правительственныхъ коллегій, было предъявлено обвиненіе въ попыткѣ организаціи дворцоваго переворота.

Находясь на краю гибели, вся страна молчаливо, страстно, настойчиво надѣялась на одно и требовала одного — дворцоваго переворота. 1932-ой годъ является дѣйствительно исторической датой народненія террористическихъ настроеній въ

странѣ: «Сталинъ губить страну, губить революцію, чтобы ихъ спасти, нужно убить Сталина», — такъ можно формулировать тѣ настроенія отчаянія, которыя зародились въ страшную зиму 1932-33 годовъ.

Но въ январѣ 1933 года Сталинъ началъ отступление. Въ послѣдній, 12-ый часъ, онъ перенялъ программу своихъ противниковъ, ихъ самихъ посадивъ подъ замокъ. Послѣ сталинскаго отступления въ странѣ началось медленное, очень медленное успокоеніе. 1934 годъ сталъ казаться уже годомъ стабилизации. Жизнь, казалось, входитъ въ какую-то колею, острый голодъ прекратился, крестьянамъ сдѣланы были небольшія уступки. Партийная и безпартийная бюрократія приступала «къ веселой зажиточной жизни».

И вдругъ 1 декабря 1934 года выстрѣлъ Николаева. Я въ это время уже вышелъ изъ Политизолятора и находился въ ссылке, въ глухой сибирской провинціи. «Выстрѣлъ бѣлогвардейца», — такъ гласило первое радиосообщеніе. «Конечно, бѣлогвардеецъ, кто-же другой могъ стрѣлять?» — подумалъ я въ числѣ многихъ. Но черезъ нѣсколько дней дошелъ и до ссылки слухъ, превратившійся позже въ фактъ, что убійца во все не бѣлогвардеецъ, а видный комсомолецъ изъ зинovieвской оппозиціи.

Общественное значеніе выстрѣла Николаева было подтверждено фактомъ отправки въ ссылку послѣ процесса Николаева до 30.000 ленинградскихъ коммунистовъ и безпартийныхъ рабочихъ. Ихъ везли вмѣстѣ съ ихъ семьями цѣлыми эшелонами и размѣстили по разнымъ глухимъ сибирскимъ угламъ. Нѣсколько тысячъ изъ нихъ прибыло въ Енисейскую область, гдѣ отбывалъ свою ссылку и я. Изъ разговоровъ съ ними я узналъ, что «веселая и зажиточная жизнь Сталина вызвала въ рабочихъ центрахъ сильное, хотя и глухое, возмущеніе. Рабочіе расцѣнивали «зжиточную и веселую жизнь», какъ признакъ окончательнаго возвышенія бюрократин и ограбленія пролетаріата. Выстрѣлъ Николаева на этомъ фонѣ вырисовывался, какъ протестъ противъ такого конца революціи. Конечно, это былъ протестъ, преломленный черезъ сознание низоваго аппаратчика, который, совершая самъ много преступленийъ противъ массы, утѣшалъ себя, что эти преступления въ будущемъ оправдаются. Этотъ маленькій низовой аппаратчикъ почувствовалъ въ «веселой и зажиточной жизни», что жизнь обошла его съ другой стороны...

Верхушка зинovieвской фракціи попала послѣ Кировскаго дѣла въ Верхнеуральскій изоляторъ. Среди прибывшихъ была

вся «головка» зиновьевской фракции: Зиновьевъ, Каменевъ, Куклинъ, Залуцкий, сестра Уншлихта, жена Вуйовича и другіе. Привезли и лидеровъ другихъ оппозиционныхъ группъ, большого, оглохшаго Шляпникова и Медвѣдева, лидеровъ бывшей «Рабочей Оппозиции», привезли лидера группы «Демократическаго централизма», старика рабочаго Тимофея Сапронова, виднѣйшаго бывшаго троцкиста Смильгу и другихъ. Кремль 1917-1927 годовъ какъ бы раскололся попаламъ: одна половина осталась въ Москвѣ, другая переселилась въ Верхнеуральскъ. Зиновьевская верхушка оставалась въ верхнеуральской тюрьмѣ полтора года вплоть до вызова въ Москву, закончившагося разстрѣломъ.

Какъ странно, какъ символично было появленіе на тюремномъ дворѣ председателя 3-го Интернационала. Старый, обрюзгшій, безъ пиджака, босикомъ, прохаживался по нагрѣтому солнцемъ песку Зиновьевъ лѣтомъ 1935 года. Черезъ годъ пуля, пущенная ему въ затылокъ, сдѣлала эту символику понятной всему міру. Зиновьевъ въ то время былъ очень запуганъ, боялся что-либо говорить о своихъ взглядахъ. Каменевъ держался нѣсколько свободнѣе. Онъ какъ-то сказалъ, что согласенъ со Сталинымъ «на девяносто восемь съ половиной процентовъ». Куклинъ, третій виднѣйшій зиновьевецъ, считалъ, что «все пропало»: революція въ Россіи погибла, коммунистическая партія и Интернационалъ — выродились... Нужно будетъ все начинать сначала — новое рабочее движеніе на новой основѣ. Про себя же Куклинъ говорилъ съ юморомъ вистъльника: «И подведу-же я Сталина! Не отсiju 10 годовъ... Мнѣ 60 лѣтъ, до 70 никакъ не дотяну»... Нужно думать, что именно эта законченность выводовъ Куклина и была той причиной, по которой его, единственнаго изъ зиновьевской верхушки, не вывели на публичную сцену московскаго процесса. Повидимому, его не удалось сломить. Но это вовсе не значитъ, что онъ остался въ живыхъ. Поѣздка Зиновьева-Каменева изъ Верхнеуральска въ Москву въ августъ 1936 года, кончившаяся ихъ разстрѣломъ, была не единственной ихъ поѣздкой. Ихъ возили въ Москву и лѣтомъ 1935 года и тоже на процессъ о покушеніи на Сталина. Но тогда они вернулись цѣлы и невредимы. Зиновьевъ, вернувшись изъ Москвы лѣтомъ 1935 года, успѣлъ прокричать изъ окна своей камеры во 2-омъ этажѣ, что въ Москвѣ все обошлось благополучно...

Процессъ лѣта 1935 года остался засекреченнымъ. Заграницей о немъ и по сей день мало что извѣстно. Тогда подсудимымъ было предъявлено обвиненіе въ подготовкѣ покуше-

ния на жизнь Сталина. На судъ предстало тогда болѣе 30 обвиняемыхъ. Составъ былъ смѣшанный, частью люди подозрительные: служащіе и всевозможная дворцовая челядь Кремля. Было много женщинъ, среди которыхъ преобладали бывшія дворянки, которыя попали въ эту среду въ качествѣ женъ или любовницъ. Два человѣка по этому процессу было разстрѣляно: одинъ сотрудникъ ГПУ по фамиліи, кажется, не то Черновскій, не то Чернякъ, второй — какой-то офицеръ кремлевской охраны, фамиліи котораго не помню, остальные привлеченные къ процессу получили отъ 5 до 10 лѣтъ заключенія. По этому дѣлу былъ привлеченъ братъ Каменева, художникъ Розенфельдъ, заявившій на судѣ, что только своевременнымъ арестомъ его, Розенфельда, была «предупреждена катастрофа» (убійство Сталина). Каменевъ отрицалъ всякую связь и всякую свою отвѣтственность за это дѣло. За это «упорство» онъ получилъ дополнительно новыхъ пять лѣтъ заключенія. Зиновьевъ, согласившійся заявить, что онъ допускаетъ возможность подобнаго преступнаго дѣла, и тѣмъ самымъ принявшій долю отвѣтственности, какъ одинъ изъ вождей оппозиціи — за хорошее поведеніе обошелся безъ всякаго дополнительнаго наказанія. вмѣстѣ съ возвратившимися Зиновьевымъ и Каменевымъ въ Верхнеуральскъ прибыла группа въ 15 человѣкъ, осужденныхъ по этому процессу.

Въ августѣ 1936 года началась новая волна террористическихъ процессовъ, продолжающаяся и понынѣ. Что кроется за этими расправами?

Сперва въ двухъ процессахъ судили бывшихъ лѣвыхъ оппозиціонеровъ, давно капитулировавшихъ передъ Сталинымъ и частью совершенно разложившихся (Радекъ). Зачѣмъ судили эти политическіе трупы? Повидимому для того, чтобы поразить кое-кого изъ живыхъ. Затѣмъ арестованы были лидеры правой оппозиціи — Бухаринъ и Рыковъ. Но до процесса надъ ними въ то время дѣло не дошло. Они, повидимому, еще не согласились тогда играть ту роль, которая желательна была Сталину. Возможно также, что за нихъ заступились такія силы, которыя заставили Сталина пойти въ обходъ. Такъ поставленъ былъ процессъ противъ верхушки Красной Арміи. Тухачевскій, повидимому, псевдонимъ или претеча «идушаго впереди» — можетъ быть, Ворошилова или кого-либо другого. Если разстрѣлы лѣвыхъ оппозиціонеровъ и даже главы ГПУ Ягоды можно еще истолковать, какъ ликвидацію вождей «вчерашняго дня»,

как ликвидацию призраков, то этого нельзя сказать про Бухарина и Рыкова и тѣмъ меньше — про разстрѣль вершущи Красной Арміи. Здѣсь уже рѣчь идетъ о борьбѣ живыхъ силъ, о борьбѣ подлинныхъ хозяевъ страны межъ собой.

Борьба — во имя чего? Официальное обвиненіе, подкидывающее своимъ жертвамъ намѣреніе возстановить капитализмъ, власть капиталистовъ и помѣщиковъ — чудовищное въ отношеніи оппозиціонеровъ, годами сидящихъ въ тюрьмахъ, — бессмысленно въ отношеніи людей, до послѣдней минуты самихъ стоявшихъ у вершинъ власти. Нѣтъ, борьба идетъ не по линіи: позстановленіе стараго порядка или сохраненіе новаго, рѣчь идетъ о борьбѣ въ рамкахъ существующаго порядка и на основѣ новаго строя за господство той или иной группы. Диктатура партіи или арміи — вотъ что стоитъ за борьбой Сталина съ военнымъ командованіемъ. Удалось ли Сталину кровавой расправой предупредить совѣтское «18 Брюмера»? Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, нужно отдать себѣ отчетъ въ нѣсколькихъ основныхъ явленіяхъ.

Революція кончилась. Пятилѣтка кончилась. Совѣтское общество — вулканическое, какъ всякое революціонное общество — начинаетъ остывать. Остывая, оно ищетъ новую форму политическаго режима. Массы обойдены революціей, разочарованы въ ней. Въмѣсто буржуазіи и помѣщиковъ на ихъ шеѣ сидитъ бюрократія. «За что боролись? За что страдали?» — такова подоплека лѣвыхъ оппозицій всѣхъ отгѣнковъ, имѣющихся въ странѣ. Массы, однако, разочарованы въ результатахъ революціи, политически пассивны. Въ этомъ — корень безсилія лѣвыхъ оппозицій. Можно даже сказать, что чѣмъ лѣвѣе оппозиціонная группировка, тѣмъ она въ данный историческій моментъ слабѣе. Это не значитъ, что массы просто инертны. Нѣтъ, массы ведутъ свою ежедневную, неустанную борьбу съ режимомъ, но эта борьба за «мелочи» на заводахъ и въ колхозахъ. Это борьба всеобщая, упорная, но глухая. Массы не смогли еще обобщить и поднять ее на уровень политической борьбы въ странѣ.

Совсѣмъ иначе обстоитъ дѣло въ лагерѣ «хозяевъ». Здѣсь въ разгарѣ жестокаго политическаго боя за наслѣдство. Борьба идетъ между двумя основными группами бюрократіи: между коммунистической («партійной») и «безпартійной» бюрократіей. Партія и рабочія организаціи цѣлкомъ въ рукахъ первой. Она преобладаетъ въ государственномъ аппаратѣ и въ арміи. Некоммунистическая бюрократія — техническая и культурная — преобладаетъ въ руководствѣ производствомъ, коман-

дует рабочими у станка. В профсоюзных секциях ИТР (Инженерно-Технические Работники) она имеет свой собственный корпоративный, иерархически централизованный аппарат. Она имеет значительный вес в общегосударственном аппарате, в армии и решительную поддержку одной из самых могущественных в современной России, хотя и державшейся в тени организаций — церкви. Значительные слои, разочаровавшихся в революции массе, тяготеют к церкви, сумевшей в свою очередь «модернизироваться».

Коммунистические бюрократы в глазах массе самые худшие эксплуататоры. После ликвидации нэпа, буржуазии и кулаков, коммунистическая бюрократия не может больше свалить вину на старые классы. В итоге в стране создалась изолированность коммунистической бюрократии. Сталин попытается помочь делу новой конституцией. Под маской «общаго» равноправия конституция должна была примирить, сблизить, выравнять в правах партийную и беспартийную бюрократию, одновременно уравнивая в безправии рабочих и крестьян. Примирение верхов между собой должно было компенсировать отход низов от власти. Но попытка такого примирения двух основных верхушечных групп между собой Сталину не удалась, впрочем, пока не удалась. Внеся в конституцию пункт о монопольной и руководящей роли компартии в каждой ячейке государственного и общественного аппарата, Сталин тем самым разоблачил свои уступки беспартийной бюрократии, как фиктивные. Процессами против левых оппозиционеров, которым сталинские уступки показались отходом от коммунизма, Сталин одновременно хотел терроризировать и беспартийную оппозицию, чтобы она не слишком зазнавалась.

Московскими процессами Сталин достиг обратных результатов: он дискредитировал партию и разжег аппетиты «беспартийных большевиков». В такой момент сами обстоятельства выдвигают армию на первый план. Она достаточно связана с революцией, чтобы обеспечить коммунистическую бюрократию от опасности «блогвардейской» реставрации и она достаточно «надпартийна», чтобы обеспечить более реальное равноправие между партийной и беспартийной бюрократией, она живое воплощение нового «безклассового» национального единства. Здесь корни советского бонапартизма.

Убийством старых вождей армии Сталин не избежать еще «18-го Брюмера». Молодые вожди могут оказаться более инициативными, чем «старики». Для того, чтобы реально предупредить «18-ое Брюмера», Сталину не остается ничего

иного, какъ осуществить на дѣлѣ примиреніе коммунистической бюрократіи съ безпартийной и съ церковью. Но для этого можетъ и самъ Сталинъ оказаться слишкомъ связаннымъ съ прошлыми этапами революціи, слишкомъ — «троцкистомъ».

Военная диктатура въ Россіи назрѣвала. Это подохла подоплека послѣднихъ расправъ съ генералами. Но насколько она созрѣла, доходило-ли дѣло до реального заговора, сказать трудно. Самое вѣроятное, что процессы противъ военныхъ, какъ и всѣ прочіе процессы съ 1929 по 1937 г. — превентивны. Эти процессы должны предупредить то, что могло случиться. Они обвиняютъ подсудимыхъ въ томъ, что назрѣвало въ странѣ, что имѣлось въ потенціи. Къ этому всякій разъ добавляются еще такія обвиненія, которыя въ данныхъ условіяхъ выгодно Сталину выдумывать и приписывать своимъ противникамъ.

А. Цилига.

КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ

Творческій кризисъ в музыкѣ.

Что творческій кризисъ в музыкальномъ искусствѣ въ наше время существуетъ — въ этомъ почти никто не сомнѣвается, но гораздо менѣе ясно, въ чемъ онъ, собственно говоря, заключается. Читающая публика не въ курсѣ музыкальныхъ дѣлъ, она несравненно хуже разбирается въ музыкѣ, чѣмъ въ любомъ изъ искусствъ, она даже не привыкла къ серьезнымъ критическимъ разборамъ музыкальныхъ явленій и событий, обычно довольствуясь «рецензій» о переходящихъ музыкальныхъ фактахъ. Это положеніе музыки является одной изъ самыхъ характерныхъ принадлежностей именно европейской культуры, если не самой ея характерной принадлежностью: безпримѣрной гипертрофіей музыки европейская культура отличается отъ античныхъ, до-христіанскихъ и восточныхъ культуръ, — только въ нашей культурѣ музыка достигла такого вліянія и такого расцвѣта, всѣ остальные искусства мы находимъ въ болѣе или менѣе развитомъ видѣ во всѣхъ культурахъ.

Оттого музыка является и однимъ изъ самыхъ чувствительныхъ барометровъ культуры, болѣе чувствительнымъ, чѣмъ живопись или даже поэзія. Ея чув-

ствительность усиливается отъ самой природы этого искусства. Музыка въ существѣ своемъ тріедина — въ ней три главныхъ стихіи или лика; музыка намъ представляется или какъ чистая игра звуковъ, какъ художественная организація разнообразныхъ звуковыхъ ощущеній; или какъ таинственный, символическій языкъ душевныхъ эмоцій, психическихъ состояній; или же, какъ полуметафорическое отраженіе звуковыхъ подобій вѣшняго міра.

Въ великихъ произведеніяхъ искусства обычно слиты въ той или иной пропорціи всѣ три образа музыки, преимущественно же первые два. Для широкой публики наиболѣе симпатичнымъ и понятнымъ являлся обычно ликъ музыки, какъ языка эмоцій. Надо замѣтить впрочемъ, что и для подавляющей массы музыкантовъ-исполнителей, и для наиболѣе крупныхъ музыкальныхъ творцовъ «музыка-эмоція» тоже всегда имѣла приоритетъ: дѣонисійскій элементъ «языка душевныхъ движеній» всегда порабоцалъ въ музыкѣ аполлинической моментъ звуковой красоты.

Странныя явленія, которыя замѣчаются въ музыкѣ въ послѣдніе, послѣвоенные годы, не должны удивлять тѣхъ, кто слѣдитъ

за развитіемъ искусства: вѣдь и остальные искусства претерпѣваютъ и частично уже «претерпѣли» совершенно подобныя вліянія и болѣзни; причины явственнымъ образомъ одинаковы и тутъ и тамъ. Повсюду мы замѣчаемъ повышенный интересъ творящихъ искусство къ отдѣльнымъ, узкимъ частностямъ своего искусства, «спеціальную культуру» того или иного — нарушение интегральности и цѣльности общаго, какъ бы разращеніе отдѣльныхъ тканей музыки въ злокачественную, раковую опухоль. Одновременно намѣчается сильнѣйшій разрывъ между тѣми, кто музыку творитъ, и публикой: эти двѣ категории перестаютъ понимать другъ друга, искусство замыкается въ спеціальный, узкій міръ, населенный только погруженными въ детали художниками и немногочисленными снобами, которые дѣлаютъ видъ, что они въ этомъ тоже разбираются. Широкая же публика отходитъ отъ актуальнаго, творимаго искусства: оно для нее непріемлемо, въ самомъ лучшемъ случаѣ забавно, занятно, но никакихъ глубокихъ состояній духа не вызываетъ. Въ подавляющей же массѣ случаевъ оно просто противно и способствуетъ тому, что публика его молчаливо игнорируетъ, начинаетъ избѣгать всякой новой музыки — фактъ самъ по себѣ достаточно грозный, потому что, если нельзя сказать, что искусство такое, какъ музыка, создается «для публики», то въ равной мѣрѣ нельзя утверждать, что оно создается ей наперекоръ и исключительно для ничтожной кучки адептовъ, въ искренности художественнаго самочувствія конхъ возможно идо-

бавокъ серьезное сомнѣніе. Всякое творчество есть актъ сѣва, — иногда постоянное всходитъ въ будущіихъ поколѣніяхъ, но врядъ ли можно признать нормальнымъ, когда абсолютно ничего не всходитъ.

Въ интересующей насъ области помимо разрыва съ массой потребителя происходитъ еще и рядъ иныхъ явленій, аналогію которымъ легко найти и во всѣхъ остальныхъ искусствахъ: среди самихъ адептовъ музыки наблюдается большая растерянность и разрозненность мнѣній и ощущений. Музыка въ своемъ ликѣ «звуковой красоты» и въ своемъ ликѣ «языка душевныхъ состояній» развивалась постепенно и медленно, какъ бы выработывая тѣ звуковые символы, которые составили ея содержаніе. Музыкальная культура не есть только Бахъ или Бетховенъ, но и наше, европейское пониманіе этого Баха и Бетховена, отличное отъ азіатскаго или негрскаго. Языкъ музыкальныхъ символовъ и системы благозвучія неотдѣлимъ отъ процессуальности всего своего историческаго развитія, но въ наше время мы наблюдаемъ трещины въ этомъ, европейскомъ пониманіи музыки — оно быстро перерождается. Языкъ звуковъ раньше былъ болѣе или менѣе общимъ для людей европейской культуры: были частныя различія, вызываемыя разницей въ степени культурности и личной даровитости, но онъ оставался междоевропейскимъ языкомъ. Теперь мы присутствуемъ при вѣкомъ вавилонскомъ столпотвореніи и актѣ смѣшенія музыкальныхъ языковъ: уже не только публика оторвалась отъ «понимающихъ» му-

зыкантовъ и отошла отъ нихъ, бросившись на легкіе музыкальныя фабрики, все-таки написанныя на прежнемъ діалектѣ, но и сами музыканты утратили взаимное пониманіе, звуковые символы потеряли свой смыслъ, и адепты музыки напоминаютъ перецуганыхъ авгуговъ, утратившихъ соприкосновеніе съ эзотерическими тайнами. Композиторы избѣгаютъ разговоръ о музыкѣ, боясь натолкнуться на совершенно иной типъ пониманія въ собесѣдникѣ и одновременно уже не имѣя въ своемъ распоряженіи никакихъ, прежде у музыкантовъ имѣвшихся въ изобиліи аргументовъ для подкрѣпленія своей позиціи.

Судьбы музыки, какъ это ни странно, во многомъ напоминаютъ современное политическое положеніе. Въ атмосферѣ царить общее недовѣріе и взаимная боязнь, антагонизмъ. И въ политикѣ мы видимъ потерю взаимнаго пониманія, утрачена всякая мораль, подобной которой была и «музыкальная мораль», опирающаяся на основныя категоріи музыкальнаго Добра и Зла, символически выраженные въ консонансѣ и диссонансѣ (скажу между прочимъ, что именно въ этомъ пунктѣ, въ остромъ и ясномъ чувствѣ консонанса и диссонанса, начинается отличіе европейской музыки отъ всѣхъ остальныхъ «музыкъ» — древнія музыкальныя искусства не знали этого, потому что были органически «монодичны», одногласны). Музыкальный міръ уже давно стонетъ подъ своеобразнымъ гнетомъ «музыкальныхъ вооруженій», подъ могучимъ импульсомъ количественности, на коленія побольше всего, чего только можно — звуковъ въ гар-

моніи, инструментовъ въ оркестрѣ, звуковыхъ колоритовъ, диссонансовъ... Многіе чувствуютъ, что пора прекратить этотъ количественный ростъ, пора вернуть музыкѣ ея былую наивность и заданность, но миротворческія и разоружительныя тенденціи (какъ и въ политикѣ) рушатся на практикѣ и приводятъ къ еще большому припадку вооруженій. Вдобавокъ ни одно искусство само по себѣ не способно давать такого разрашенія тканей, какъ музыка, потому что у всѣхъ у нихъ есть грани, поставленныя самой природой искусства — или предѣлами языка, или свойствами матеріала. У музыки почти нѣтъ никакихъ ограниченій — и она можетъ расти во всѣ стороны, во всѣхъ своихъ элементахъ безпрепятственно.

Были и прошлы тѣ счастливыя времена, когда композиторъ, подобно ботанику въ дѣйствиномъ лѣсу, на каждомъ шагѣ безъ труда и усилій находилъ неслыханныя, новые виды звучаній — было привольно и просторно въ звуковомъ мірѣ, онъ еще не открывалъ всѣхъ своихъ тайнъ человѣку и самое чувство тайны звукового міра наполняло творца особымъ очарованіемъ и благоговѣніемъ. Не надо было даже имѣть много дарованія, чтобы находить сокровища. Тогда творецъ имѣлъ право и возможность быть наивнымъ. Съ тѣхъ поръ много воды утекло — энергичныя музыкальныя конквистадоры изучили звуковую область почти до конца, исчерпали ее, сорвали всѣ новыя и всѣ дѣйныя виды музыкальныхъ произрастаній, оставивъ только то, что похуже, звуковые кактусы и лишайники. Вѣдь не неисчерпа-

емъ, въ сущности, самъ звуковой мѣръ, въ конечномъ счетѣ мѣръ звуковыхъ комбинацій, ограниченныхъ условиями приемлемости для уха. Если и велико общее число звуковыхъ комбинацій, то несравненно меньше среди нихъ число прекрасныхъ, и еще меньше количество достаточно яркихъ и между собою достаточно различныхъ, чтобы быть въ состояніи давать необходимые для искусства контрасты. Чѣмъ дальше изучался этотъ мѣръ, тѣмъ труднѣе становилось для композитора — все увеличивалась площадь музыкально застроеннаго и все меньше оставалось незанятыхъ территорій. То находженіе невѣдомаго, непрозвучавшаго, которое ранѣе достигалось рядовыми музыкальными дарованіями, теперь стало требовать гениальнаго напряженія фантазіи и нерѣдко предварительныхъ серьезныхъ усилій ума и комбинаціоннаго творчества. Одновременно повышалась и цѣнность новизны на музыкальной биржѣ, — она стала рѣдкостью, на нее появился спросъ, иначе искусство топталось бы на мѣстѣ, повторяя зады. Но чистота и дѣйственная напичканность творчества исчезала по мѣрѣ овладѣнія музыкальными тайнами. Узкій мѣръ благозвучія былъ исчерпанъ необычайно скоро и съ тѣхъ поръ вся музыкальная исторія можетъ быть охарактеризована, какъ «укрощеніе» или заклинаніе диссонансовъ, оправданіе ихъ чарами художественнаго мастерства, переключеніе ихъ изъ музыкальнаго «Зла» въ музыкальное «Добро». Непризнанность творчества исчезла уже въ эпоху поздняго романтизма — произведенія послѣднихъ

великихъ романтиковъ (Листъ, Вагнеръ) при всей ихъ гениальности не могутъ похвастаться ни легкостью ни наивностью — на нихъ лежитъ печать великихъ усилій духа.

Мы видимъ параллелизмъ съ музыкальными явленіями во всей жизни. Музыка, какъ «слѣпокъ съ душевнаго профиля», слѣпокъ по необходимости точный, хотя бы самъ композиторъ его вовсе не желалъ таковымъ имѣть — является могущественнымъ обличительнымъ, она протоколируетъ душевныя состоянія, и тѣмъ лучше, чѣмъ гениальнѣе одаренъ творціи. Если гениальный музыкантъ самъ по себѣ, какъ человекъ, психически несложенъ и незначителенъ, его музыка не преминетъ это констатировать, какъ бы онъ тому ни противился. Ничего лучше собственной музыки не свидѣтельствуемъ намъ объ аскетически-героической душѣ Бетховена, о ясной солнечности души Моцарта, о безмѣрной сложности духа Вагнера. Мы видимъ въ ихъ твореніяхъ одновременно и сублимацію духа ихъ эпохи. Но самъ мѣръ измѣняется — не только въ звуковой области не стало возбудяющей творчества тайны, но она исчезаетъ и изъ міра, изъѣженнаго вдоль и поперекъ, уменьшившагося до размѣровъ свадебнаго путешествія честнаго клерка. Мы присутствуемъ при процесѣ великой прозаизаціи міра — и не удивительно, что въ этомъ процесѣ наиболее страдаютъ тѣ явленія человѣческой культуры, которыя связаны съ интуитивнымъ ощущеніемъ тайны, въ которыхъ наименѣе значитъ сознаніе и разсудокъ, логическій моментъ: страдаетъ поэзія и въ осо-

бенности музыка, потому что у поэзии есть все-таки въ распоряженіи «міръ идей», логическая стихія, — у музыки ея нѣтъ, музыка не въ состояніи, какъ ни пытались, это сдѣлать, отразить и конкретизировать идею—она можетъ дать только слѣпокъ нашей душевной, эмотивной реакціи на нее.

Злоключенія, постигающія нынѣ музыку, не неожиданны—ихъ можно было предвидѣть при извѣстной наблюдательности. Причины ихъ кроются въ указанной выше прозаизаціи общаго психическаго тона европейскаго міра, въ господствѣ практическаго интереса и спортивнаго (количественнаго) уклона въ современной психикѣ. Это влечетъ за собою оскуднѣніе той почвы, на которой произрастаетъ музыкальное самовысказываніе. Композиторъ, какъ человѣческій типъ — тоже переродился. Исчезъ прежній образъ человѣка не отъ міра сего, религиозно влюбленнаго въ искусство, готоваго ради него на всѣ жертвы, для котораго образъ искусства являлся самоцѣлью, а жизнь — поводомъ къ его воплощенію. Современный музыкальный авторъ — человѣкъ не только не отъ міра сего, а всецѣло въ міръ реальностей. Обычно это весьма не глупый, дѣловой складки человѣкъ, нѣрѣдко весьма широко образованный (въ старину среди музыкантовъ это тоже не такъ часто встрѣчалось) — музыка для него во всякомъ случаѣ, даже если и является самоцѣлью, то не есть объектъ религиознаго отношенія — къ постигнутому обычно онъ не способенъ; въ лучшемъ случаѣ — это занятое времяпрепровожденіе, въ

худшемъ — одинъ изъ способовъ выдвинуться изъ общей стѣры массы обывателя. Подобнаго рода человѣкъ менѣе всего склоненъ въ своемъ искусствѣ къ самовысказыванію, къ исповѣданію себя передъ міромъ, къ раскрытію своего душевнаго міра. Вслѣдствіе этого обстоятельства меркнетъ одинъ изъ главнѣйшихъ ликовъ музыки, и одинъ изъ самыхъ мощныхъ стимуловъ музыкальнаго творчества. Ибо всегда музыка была главанымъ образомъ исповѣды души, слѣпкомъ съ ея эмоцій — этимъ она двигалась по пути развитія, этимъ она магически закодировывала враждебный міръ звуковаго «зла». Если въ гениальныхъ произведеніяхъ прежняго искусства часто бывали разны и другіе лики музыки — изобразительный и ликъ «звуковаго узора» — то они всегда носили подчиненный характеръ, они оправдывались эмотивнымъ моментомъ. Диссонансъ, вторгавшійся въ музыку постоянно и неминуемо, былъ ничѣмъ инымъ, какъ: или голосомъ трагедіи, страдальческой протестующей эмоціи, символомъ которой онъ и сталъ въ европейскомъ пониманіи музыки, или же голосомъ міра, метафорически преломленнымъ чрезъ музыку звуками стихій; на долю чистаго звуковаго узора оставалась только литература болѣе второстепенная, которой и сами авторы большаго значенія не придавали. Душевное оскуднѣніе, постигшее новыя поколѣнія, и въ частности композиторовъ, немедленно отразилось въ музыкальномъ ихъ языкѣ — сначала онъ сталъ предпочитать «изобразительность», потомъ перешелъ

окончательно къ «звуковому узор», когда внутренней миръ композитора сталъ уже секретомъ, не подлежащимъ распубликованію.

Но одновременно съ этой причиной были и другія, злѣкшія музыку къ ея трагическимъ блужданіямъ. Въ музыкальномъ мирѣ становилось тѣсно, въ немъ наблюдался перепроизводство музыки. Культурно - просвѣтительная тенденція 19 вѣка въ этомъ сыграли большую роль — въ наши дни число музыкантовъ въ тысячи разъ превышаетъ ихъ количество при Бетховенѣ. Число концертовъ и всякихъ музыкальных исполненій тоже возросло въ тысячи разъ. Огромно и количество композиторовъ, и какъ все, что выбрасывается на рынокъ въ большомъ количествѣ, музыкальные проявленія стали дешевы, особенно со времени, когда вошли въ обиходъ музыкальные консервы въ видѣ грамофоновъ и радио. Обезцѣнилось самое отношеніе къ музыкальному акту, въ которомъ ранѣе было нѣчто отъ религіознаго. Я не говорю уже о томъ, что классическая прежняя «барышня, ковыряющая на пианино» какое-нибудь отдаленное подобіе Шопена, представляла собою при всемъ ея убожествѣ все-таки нѣкій безусловно творческій актъ, тогда какъ почтенный и уважаемый булочникъ, который заводитъ грамофонъ съ Тосканини, не совершаетъ никакого художественнаго акта. Измѣнилась и рѣчь на этотъ актъ. Какъ бы плохо ни ковыряла барышня, но къ ея акту было неминуемое артистическое уваженіе, соответственное для каждаго круга и для каждаго квалифікаціи, — совершен-

но иное, чѣмъ отношеніе къ «радіо-Шалаянну», которому можно въ любой моментъ заткнуть глотку простымъ поворотомъ рычажка! Потеря уваженія къ музыкальному акту, его профанация въ точномъ смыслѣ слова, добольно плохо компенсируется тѣмъ преимуществомъ, что нынѣ и добрые поселяне могутъ слушать девятую симфонію Бетховена (но на дѣлѣ они все-же предпочитаютъ слушать модныя шансонетки).

А между прочимъ появленіе «творческой толпы» композиторовъ взаменъ прежнихъ единичъ измѣнило консистенцію музыкальнаго міра. Чтобы выдѣлиться въ этой толпѣ, чтобы не остаться въ композиторскомъ стадѣ, нужны стали большія усилія. Композиторъ силой вещей былъ влекомъ на путь вынужденнаго новаторства. Сначала были использованы звуковыя отображенія таковыхъ областей эмоциональнаго міра, на которыя ранѣе не обращали вниманія. Появилась тенденція къ культурѣ изысканныхъ, необычайныхъ музыкальныхъ ощущеній — на этотъ путь стали авторы эпохи, заключавшей прошлое столѣтіе, французскіе импрессионисты и русскіе музыкальные символисты (Скрябинъ). Исходя изъ требованій изысканной, исключительной психики, они сумѣли создать звуковыя міры, этой психикѣ адекватные. По существу тутъ еще не было никакого разрыва съ европейской культурной традиціей — приматомъ въ музыкѣ продолжалъ пользоваться попрежнему эмотивный и изобразительный языкъ музыки, которые лишь деформировали стихію чистыхъ звучаній для своихъ цѣлей. Эта эпоха обогатила музыкальную па-

энергии съ предыдущей, исходя из психической плоскости — она все-же отражала новую «эмоцию» и оттого не отступала въ своихъ истокахъ отъ классической и романтической эстетики. Болѣе того — именно въ ней начинается впервые пробуждаться известная тяга къ простотѣ (пока что — только простотѣ эмоций и строения) и тѣмъ намѣчающаяся характеристная для нашихъ дней тонка по музыкальному «разоруженію». Въ этомъ отношеніи музыка Хиндемита и Прокофьева болѣе классична по симпатіямъ, чѣмъ музыка Равеля и Скрябина.

Въ это же время мы наблюдаемъ новое явленіе — появленіе въ музыкѣ склонности къ декларативности въ творествѣ. Композиторъ уже не просто пишетъ музыку, представляя другимъ догадываться о лабораторіи своего творчества. Онъ сначала публикуетъ свою творческую методику, которая становится такимъ образомъ какъ бы личнымъ рецептомъ творчества. Въ прежнія времена встрѣчались декларации подобнаго рода — вспомнимъ лозунги Вагнера или исповѣданіе вѣры русскихъ «кучкистовъ» — но они касались обычно эстетическихъ предпосылокъ творчества, а не техническихъ приемовъ. Уже у Скрябина наблюдается склонность къ обнаруженію рычаговъ своей композиторской тайны — «секрета производства», который обычно склоненъ выдаваться за нѣкій общезначимый философскій камень музыки, позволяющій безошибочно писать музыку самую новую и оригинальную. Попутно обнаруживается у композиторовъ и другая склонность — писать музыку толь-

ко необычайнымъ, изысканнымъ музыкальнымъ языкомъ. Помимо желанія непременно не походить на кого-либо, главная причина лежала въ заостренности музыкальной области, которая уже не позволяла находить «прекрасную простоту». Музыка заполняется звуковымъ гротескомъ, начинается настоящій культъ диссонанса. Узкій міръ композиторовъ, искусственный въ звуковыхъ подробностяхъ, иначе смотрѣлъ на диссонансъ, чѣмъ «профанъ» — для композитора это была, помимо всего, интересная область звукового эксперимента — онъ съ удовольствіемъ погружался въ этотъ міръ звуковыхъ изысканій и находилъ острую красоту въ диссонансирующихъ комбинаціяхъ. Скрябинъ и Дебюсси еще слѣдовали въ своихъ звукосочетаніяхъ осознаннымъ или неосознаннымъ принципамъ, но другіе композиторы вышли въ міръ полной звуковой анархій: все стало позволено въ музыкальной области и это первоначально очейю окрыляло «новаторовъ поневолю». Не только разрѣшены были прежде изгнанныя изъ музыки или въ нее не поступавшія созвучія, но, наоборотъ, начинается своеобразное **гоненіе** на благозвучіе и на все, что напоминаетъ старые принципы музыки. Музыкальные моды не менѣе заразительны, чѣмъ моды на фасоны и шляпы — онѣ создаютъ вокругъ себя атмосферу вынуждающую имъ слѣдовать, иначе уклоняющійся становится въ положеніе свершающаго нѣкій актъ «неприличія» по отношенію къ принятымъ въ музыкальной элитѣ фасонамъ. Композиторъ начинаетъ пользоваться только диссонансами — исчезаетъ древнее,

всю европейскую музыкальную культуру породившее различие звучаний по принципу музыкального добра и зла, благозвучия и неблагозвучия. Музыка утрачивает свою въсковую полярность и направляется определенно в сторону «зла», которое уже не воспринимается как таковое слишком искушенными музыкантами. Для них всё созвучия становятся равноправны, всё интересно, отношение контраста к ним исчезает и музыкальная ткань вынужденно обрывается на безконтрастную сфору, а звуковое восприятие музыкальной элиты обнаруживает странное родство с восприятием той породы людей, которые раньше назывались «немузыкальными» или «антимузыкальными» и характеризовались подобными же неумением или неспособностью отличить музыкально-красивое от музыкально-безобразного. Вся музыка этой эры как бы специально написана для «немузыкальных людей», таких, которые не различают октавы от септими и фальши от благозвучия. Чрезмерное развитие уха привело к результатам, подобным тем, к которым вело раньше недоразвитие его.

В этой атмосфере возникают построения и теории, воздвигающие новые лозунги: атонализм, который сводится к избганию тоналности, и политонализм, который строит музыку одновременно звучащую во въскольких тональностях, что для изоциренного уха дает пикантный привкус. Шенберг вводит в принцип гипертрофированную выразительность — мелодия приближается к интонациям экзальтированной рѣчи, как бы к исте-

рическим выкрикам, а гармонія образует аморфный, хаотический фонъ к этому. Другимъ становится вообще тѣсно въ старомъ звуковомъ мѣрѣ изъ 12 нотъ въ октавъ — они призываютъ къ выселенію музыки въ иныя, болѣе просторныя территоріи (ультра-хроматизмъ), гдѣ уже оказывается 24, 36 и даже 53 звука въ октавъ (венгерецъ Алоизъ Хаба и русскій Вышнеградскій). Каждый старается внести какой-то новый принципъ или отмѣтить свою индивидуальность. При этомъ упускалось изъ виду, что въ создававшемся такимъ образомъ звуковомъ мѣрѣ все становилось необычайно однообразнымъ и похожимъ одно на другое, что вызывается уничтоженіемъ контрастовъ и приводитъ на дѣлѣ къ результатамъ діаметрально противоположнымъ тѣмъ, ради чего все это затѣвалось — всѣ авторы становятся неотличимы одинъ отъ другого. Появляется специальный типъ эпигоновъ новаторства; съ художественной же точки совершенно безразлично — быть ли эпигономъ Массне или Стравинскаго — и тутъ и тамъ это означаетъ извѣстный минимумъ творчества. Вырвавшіеся, какъ изъ ящика Пандоры, злые духи какофоніи, не чувствуя надъ собою сдерживающихъ узъ былыхъ эстетическихъ нормъ, вкусовъ и традицій, заполнили музыкальный мѣръ и въ создавшейся такимъ путемъ нездоровой атмосферѣ начинаютъ произрастать уже явленія «заумишленнаго» типа, прямья проявленія шарлатанства и очковитирательства, рассчитанныя на «эпатированіе буржуазіи».

Музыкальная матерія не принадлежитъ къ числу тѣхъ, кото-

рия ограничены естественными гранями и нормами, подобно материи художественного слова. Музыкантъ - композиторъ вправдѣ комбинировать звуки, какъ хочетъ. Та свобода отъ школьныхъ правилъ и рецептовъ классическаго благозвучія, которую принесла съ собою новая эпоха, сама по себѣ не представляетъ отрицательнаго явленія. Диссонансъ въ музыкѣ имѣетъ полное право на бытіе. Культура диссонанса правомѣрна и даже неминуема, если она есть дѣйствительно культура — если композиторъ своимъ творчествомъ познаетъ природу болѣе сложныхъ и ранѣе не употреблявшихся въ искусствѣ звуковъ. Не всегда это имѣетъ мѣсто — въ наши дни много сочинителей музыки сочиняютъ не отъ избытка своего звукового пониманія, а скорѣе отъ скудости его. Большой бѣды и тутъ нѣтъ — ибо всегда въ музыкѣ бывала извѣстный процентъ бездарныхъ и плохихъ композиторовъ, безразлично, въ какомъ стилѣ они писали. Но есть нѣкоторая общія эстетическія нормы, которыя нарушать нелюбимо самимъ авторамъ, и одна изъ этихъ органически неизбѣжныхъ нормъ есть понятіе эстетическаго контраста. Въ такомъ искусствѣ, какъ музыка — въ искусствѣ не ограниченномъ внѣшнимъ міромъ, лишенномъ «прекрасной природы» — соблюденіе пропорцій контрастовъ особенно существенно. Я полагаю, что ни одно изъ современныхъ музыкальныхъ направлений и ни одна изъ достигнутыхъ и осуществленныхъ современной музыкой «свободъ» — сами по себѣ не плохи и въ будущемъ стилѣ навѣрно всѣ эти элемен-

ты пригодятся. Не хороша только та дисгармонія, въ которой они всѣ сочетаются. Современная музыка грѣшна тѣмъ, что въ ней нарушено равновѣсіе, что она склонна разрастаться въ одномъ направленіи, игнорируя остальные, что она всегда страдаетъ какими-нибудь излишествомъ и утратила чувство мѣры и что всѣмъ ея достигнутымъ новизнамъ она не была въ состояніи сочетать въ гармоническое цѣлое. Грѣшна она и другимъ — бѣдностью того внутренняго міра, который въ сущности и вызываетъ и оправдываетъ музыкальное творчество, и безъ наличия котораго сочиненіе музыки обращается въ пустое и маловразумительное занятіе звуковыми бирюльками. Чѣмъ талантливѣе музыкантъ, тѣмъ ярче и острѣе его музыка отразитъ пустоту его внутренняго міра. Такъ и выходитъ на дѣло: современное творчество оперируетъ съ категориями «занятности», «любопытности», въ лучшемъ случаѣ оно интересно, какъ комбинація звуковыхъ экспериментовъ, но при гипертрофіи внѣшнихъ оболочекъ въ ней констатируется необычайно скудное количество отпущеннаго на нес духовнаго заряда. И возможно, что именно этимъ объясняется и распространенность теорій о ненужности такого «балласта»: современный авторъ, духовно тощій и обладающій огромнымъ матеріаломъ внѣшнихъ средствъ, склоненъ въ нихъ и переносить центръ интереса — это естественное самооправданіе. Модныя эстетическія теоріи боятся выразительности и изобразительности — онѣ боятся наградить музыку чѣмъ-то помимо ея звуковъ — и эта эстетика стоитъ

безусловно в каком-то стиле-вом соответствии с нашим вкусом, с его спортивным, механическим устремлением. Музыка становится безчувственной звуковой игрой, вроде шахматной, но игрой без правил, в которой оттого нет ни выигрывающих ни проигрывающих, и все одинаково одурячено и одинаково довольны. Одновременно значительно вырастает деятельность композитора «около музыки» — создается масса теорий, музыканты научились много говорить о музыке, разучившись ее творить — творчество подменяется разговором о нем.

Великая музыкальная революция, возмание против музыкальной прежней европейской красоты пронеслись над миром как бурный шквал, и смели в двадцать лет то, что воздвигалось веками. Композитор скован новой модой и не может вырваться из ее тисков, хотя «новый стиль» стал уже старым и писание в этом стиле менее всего гарантирует «непохожесть» композитора на соседей, а скорее имеет последствием обратное — полную композиторскую уравноводку. Но они не могут изменить этому новому стилю и потому, что всякое «разоружение», для них смертельно опасно, оно их немедленно выведет на чистую воду и обнаружит их антимузыкальность — тогда как в обдании какофонизма они могут по крайней мере казаться «непонятными». Но принципы и музыкальные нормы разрушены — им уже никто не верить и с ними не считаются. Разрушено общее музыкальное понимание, иератический язык музыки и неспро-

вержена музыкальная иерархия, которая придавала прочность построения музыкальной культуры. Карты спутаны и теперь никто не в состоянии авторитетно сказать, что хорошо и что плохо, а пестрота индивидуальных оценок, мѣшает изъ всего этого хаоса воздвигнуть некую новую музыкальную мораль. Но одновременно чувствуется уже накопление протеста и усталости от этой пережитой полосы музыкального бытия. Как всякое явление слишком себя высказавшее, эта довольно безславная страница музыкальной истории перевертывается тем быстрее, чем острее ее содержание. Смутно чувствуют и композиторы, что «так долго жить нельзя», что музыка должна вернуть себя хотя часть столь быстро растерянных атрибутов. В музыке начинается тоска по «новой простоте», по утраченной музыкальной невинности и наивности. Но как вернуть ее — эту невинность, когда столько испытано и пережито. Гениальный музыкальный Маккиавелли—Стравинский первый почувствовал, своим острым умом понял необходимость музыкального разоружения — он первый позвал к «возвращению»; призыв, едва ли не столь же безнадежный, как призыв Толстого к «остановке». Сам больше всех других способствовавший росту музыкального вооружения, он подобно императору Диоклетиану, пресыщенный звуковыми излишествами и испортивший свое музыкальное пищеварение, удаляется в уединение и садится на композиторскую диету. Он зовет назад к Баху и к Глинке — иными словами, к музы-

кальной структурности и къ мелодизму. Но его мудрые, стариковскіе совѣты плохо воплощаются въ реальность и обрѣтенная имъ новая простота лишена очарованія непосредственности. Не руками тѣхъ, кто болѣе всего способствовалъ паденію музыки въ ея нынѣшній хаосъ, должно свершится ея возрожденіе.

Можетъ быть дѣйствительно — мы имѣемъ сейчасъ подлинныя сумерки музыкальныхъ боговъ, можетъ быть въ самомъ дѣлѣ вкусившая все и испытывавшая все музыка, какъ вѣковой европейскій языкъ, души, становится уже просто ненужной? Но съ другой стороны отчего именно теперь, въ наши дни, воскресаетъ увлеченіе музыкальными классиками въ широкой публикѣ, отчего публика, переставъ считаться съ новой музыкой и какъ бы игнорируя ее, не получая отъ современности музыкальной пищи, ринулась на огромныя старыя запасы міровой музыки? Слѣдовательно, потребность въ подлинной музыкѣ есть въ публикѣ — она испарилась и переродилась только въ музыкальной элитѣ, ставшей антимузыкальной. Мы замѣчаемъ одновременно странный и прискорбный фактъ, что въ мірѣ не стало молодыхъ композиторовъ. Тѣ, которые считаются «молодыми», вовсе не такъ молоды — имъ за сорокъ лѣтъ. Въ этомъ безлюдьи, конечно, виновата прежде всего великая война, оторвавшая отъ музыкальнаго труда почти два поколѣнія, — но навѣрное есть и вторая причина: современный человѣкъ не созданъ для музыки — его духовная сущность не звучитъ и композиторская карьер

ера, всегда тяжелая и неблагодарная, его нисколько не влечетъ.

Какъ я говорилъ въ началѣ статьи, музыка есть характернѣйшее явленіе европейской культуры и какъ таковое — чувствительнѣйшій реактивъ на состояніе этой культуры. Европейская культура была всегда насквозь музыкальна — въ наше время она становится а-музыкальна, это очень пажный симптомъ перерожденія самой культуры. Возможно, что это феноменъ временный и такъ сказать «сезонный», что безлюдье въ музыкѣ есть только затишье передъ бурей, передъ появленіемъ небывалаго гениа, который выведетъ музыку изъ тупиковъ и найдетъ для нея новое равновѣсіе. Но пока характерно то, что музыка, которая была ведущимъ искусствомъ въ продолженіе вѣковъ и была наверху культурной гегемоніи въ послѣдніе два вѣка, сейчасъ сдаетъ свои позиціи и отступаетъ. Танецъ отвоевываетъ у музыки ея господство — самое безплотное и духовное изъ искусствъ уступаетъ мѣсто сѣмому тѣлесному, что какъ бы символизируетъ нарастаніе матеріальности въ европейскомъ мірѣ и упадокъ духовности. Исчезаетъ и вѣками выработавшаяся независимость музыки какъ искусства, музыка перестаетъ быть искусствомъ самодовлѣющимъ, музыкой для себя — она вновь какъ въ былыя эры становится «спровожденіемъ», утрачиваетъ самодовлѣнность, вытѣсняется музыкой прикладной, снисходить до роли подчиненнаго искусства и возвращается къ древнему (не варварскому ли?) синкретизму.

Л. Сабанъевъ.

Къ вопросу о Новомъ Человѣкѣ въ Россіи.

Въ какой мѣрѣ романъ, повѣсть, могутъ быть историческими источниками? Вопросъ этотъ очень сложенъ. Извѣстно, какъ часто и какъ грубо злоупотребляютъ памятниками этого рода, — и уже это одно порождаетъ противоположную склонность: отказываться отъ пользованія ими совсемъ при изученіи быта, нравовъ, духовныхъ интересовъ того или другого историческаго момента. Разумѣется, и это ошибка. Писатель, по необходимости, «сынъ своего времени» и въ его вещахъ оно такъ или иначе отражено. И чѣмъ вдумчивѣе, чѣмъ даровитѣе онъ, тѣмъ болѣе оснований ожидать въ его вещахъ жизненной правды. Но этотъ критерій слѣдуетъ уточнить. Все дѣло въ подходѣ писателя къ дѣйствительности — и въ этомъ отношеніи классическимъ является знаменитое шиллеровское разграниченіе двухъ видовъ художественнаго творчества — «наивное» и «сентиментальное» (хотя, конечно, элементы «наивности» и «сентиментальности» могутъ наличествовать вмѣстѣ въ одномъ и томъ-же произведеніи). Какъ бы то ни было, безспорно, что *Донъ-Кихотъ*, *Томъ Джонсъ*, *Капитанская Дочка*, *Дубровский*, *Война и Миръ*, являются правдивѣйшими и цѣннѣйшими историческими документами, въ томъ смыслѣ, что въ нихъ жизнь изображена такою, «какова она была въ дѣйствительности», — причемъ совершенно неважно, что Толстой не былъ современникомъ александровской эпохи: онъ настолько

былъ связанъ съ ней живой традиціей, что, благодаря его «наивному» подходу къ жизни, ему удалось совершить настоящее чудо — воскрешенія прошлаго. Толстой изъ всѣхъ писателей-«реалистовъ» — величайшій, и потому критеріемъ «документальности», «реалистичности», «объективности» литературнаго произведенія можетъ, кажется мнѣ, служить одинъ признакъ: насколько въ немъ чувствуется, угадывается сродство съ толстовскими.

Вотъ съ этой точки зрѣнія вышедшій въ прошломъ году романъ Юрія Германа «*Наши Знакомые*» представляетъ, на мой взглядъ, исключительный интересъ, какъ историческій источникъ, и притомъ, какъ видимый ниже, въ двухъ отношеніяхъ. Г. В. Адамовичъ, пристально слѣдящій за совѣтской литературой, высказался о Германѣ, что это самый замѣчательный изъ всѣхъ новыхъ совѣтскихъ писателей, и пояснилъ, въ чемъ эта его замѣчательность: въ чувствѣ жизни. Жизненность, умѣніе изобразить происходящее такъ, что «фигурные» персонажи становятся дѣйствительно «нашими знакомыми», — это и есть основная толстовская черта. Въ романѣ Германа болѣе 600 страницъ. Главный персонажъ романа, Антонина Старосельская («Тося»), съ нею почти не сходятъ. Если-бы пересказать «своими словами» всѣ ея приключенія — все одной и той же категоріи, различные неудачи въ поискахъ лучшей участи, которой она «достойна», вплоть до ожида-

емаго зранѣе harry end'a, показьлось-бы очень шаблонно и скучно, вполнѣ въ духѣ стариннаго чувствительнаго романа. А Германъ умѣетъ все это рассказать такъ, что оторваться нельзя, ибо Тося сразу, съ первыхъ - же строкъ, въ нашемъ сознаниіи изъ «героини романа» превращается въ «нашу знакомую». Въ чемъ гутъ секретъ? Попробую подвести къ его раскрытію, беря задачу одного отрывокъ: «Онѣ приходили обычно подѣ вечеръ и одѣты были особенно-парадно, съ гѣмъ торжественнымъ и милымъ выраженіемъ, которое бываеъ у людей, радующихся театру, или вечеринкѣ, или празднику, еще не привыкшихъ ко всему этому, а главное — занимающихся другимъ и важнымъ дѣломъ, по отношенію къ которому театръ или вечеринка — особое и радостное событіе. Если-бы я не предупредилъ зранѣе, что это цитата изъ «Нашихъ Знакомыхъ», то, я увѣренъ, всякій читавшій Толстого подумалъ-бы, что это его слова. Можно было-бы показать, что здѣсь все строеніе рѣчи, подборъ словъ, ритмъ. — чисто толстовскіе. Подражаніе? Толстому подражать нельзя, ибо подражать можно лишь «манерѣ»; а у Толстого манеры нѣтъ; есть только стиль. Стиль не копируется, а творчески усваивается, что предполагаетъ духовное сродство. Вліяніе Толстого очевидно. Рассказъ, какъ Тося еще дѣвочкой, влюбившись въ актера, отправляется на вокзалъ повидать его передъ отъѣздомъ, какъ она бѣжитъ за поѣздомъ, навѣявъ, повидимому, знаменитымъ эпизодомъ изъ Воскресенія; рассказъ, какъ она потеряла общественныя деньги, при-

водить на память конецъ Поликушки — и можно было бы приести еще немало параллелей изъ «Наш. Знак.» и «Войны и Мира», «Анны Карениной», «Крейц. Сонаты». Но въ томъ-то и дѣло, что прямыхъ заимствованій нѣтъ; параллели эти всѣ — лишь отдаленныя; сходство не столько въ «сохраненіи», въ фабулѣ, сколько въ тонѣ, въ передачѣ того неизяснимаго, таинственнаго, что составляетъ сущность жизни, въ чисто-толстовскомъ ощущеніи «реального присутствія» этой субстанции во всѣхъ жизненныхъ проявленіяхъ: не будь этого, иной эпизодъ изъ романа Германа могъ-бы скорѣе заставить насъ вспомнить о какомъ-нибудь другомъ романѣ, чѣмъ о Толстомъ.

Въ своей статьѣ о нынѣшней совѣтской литературѣ въ июльскомъ номерѣ «Рус. Записокъ», Адамовичъ замѣчаетъ, что конецъ германовскаго романа «казенный». Это замѣчаніе слѣдуетъ снабдить рядомъ оговорокъ, — и это-то и подведетъ насъ къ уразумѣнію того, въ чемъ показательное значеніе книги Германа. Прежде всего, если «людъ «казенной» понимать сообразованіе съ «соціальнымъ заказомъ» или съ «генеральной линіей», то «я немало не только въ концѣ романа. Во всѣхъ главахъ, посвященныхъ жизни въ нерыбаевскомъ «массивѣ» (своего рода «Фаланстеръ») и нравственному возрожденію Антонины, Толстой явно уступаетъ мѣсто Чернышевскому съ его, въ художественномъ отношеніи ужасающимъ, «Что дѣлать?» И это еще не все. Сему Щупака, самоотверженнаго работника на «гидроторфѣ» въ провинціи, вызываютъ въ

парткомъ. Въ кабинетѣ секретаря сидитъ нѣкто, заинтересовавшийся дѣятельностью Семы. Онъ задаетъ Семѣ вопросы. Тотъ въ недоумѣніи: «...вѣдь я даже не знаю... съ кѣмъ, такъ сказать, имѣю честь...» — Человѣкъ называетъ свою фамилію. Семѣ покачалось, будто онъ ослышался... Неужели это тотъ человѣкъ, о которомъ онъ столько читалъ? Неужели ему онъ, Сема, говоритъ о ячневой крупѣ, о баранинѣ, о сгущенной капустѣ?... Кто-же этотъ онъ? Авторъ умалчиваетъ, должно быть потому, что есть имена, которыя произносить святотатственно, да къ тому-же и излишне. Всякій іудей зналъ, что Эль, Онъ Библии это — Богъ. Ту-же благоговѣйную стыдливость авторъ проявляетъ всюду, гдѣ рѣчь идетъ объ орудіи всеблагого Провидѣнія, Альтусѣ. Альтусъ появляется неоднократно, но всякій разъ лишь на мигъ — для того, чтобы посрамить пороки и обезпечить торжество добродѣтели, устроить все къ общему благополучію (въ концѣ концовъ, этотъ идеальный человѣкъ женится на Антонинѣ). Въ чемъ состоитъ его, какъ онъ скромно говорить, «черная работа», связанная съ рискомъ для жизни, авторъ опять-таки умалчиваетъ. Сказать прямо — агентъ ГПУ было-бы чересчуръ прозаично. И вотъ, когда авторъ говоритъ объ этихъ объектахъ совѣтской религіи, слышится голосъ Фаддѣя Булгарина.

Итакъ, Толстой, Чернышевскій, Булгаринъ — какая разногласица! И эти срывы въ пошлятину, безвкусицу у автора, судя по всему очень культурнаго, — развѣ они не свидѣтельствуютъ о какой-то его измѣнѣ себѣ самому,

о томъ, что онъ или себя обманываетъ, или обманываетъ читающую? Можно было-бы остановиться на этомъ выводѣ, какъ лишнемъ доказательствѣ общезвѣстнаго факта того порабощенія, въ которомъ находится въ Россіи литература. Но мнѣ кажется, что дѣло обстоитъ много сложнее. Въ одной изъ своихъ статей въ «Новой Россіи» Г. П. Федотовъ сравнилъ совѣтскую литературу съ литературой XVIII вѣка: тѣ-же казенные восторги, тѣ-же раболовство, тѣ-же льстивыя похвалы, расточаемыя сильнымъ міра. Показательно, что въ примѣръ онъ привелъ — Державина, упустивъ изъ виду то, что самъ Державинъ сказалъ о себѣ, а именно, что, когда онъ разувѣрился въ «божественности» Екатерины и увидѣлъ, что она такой-же человѣкъ, какъ и другіе, онъ уже не могъ написать ничего «въ родѣ Фелицы». Это въ промахъ Федотова врядъ-ли случайность: трудно, глядя со стороны, усмотрѣть различіе между «энтузиазмомъ» истиннымъ и наиграннымъ, между похвалой отъ души и сознательной лестью, между исповѣданіемъ и «сообразованіемъ». И это еще не все. Существуетъ-ли въ дѣйствительности точная грань между тѣмъ и этимъ? Безъ надежды и безъ вѣры жить невозможно, и какъ часто человѣкъ старается заставить себя повѣрить въ то, во что вѣрятъ другіе или во что предписывается вѣрить, хотя-бы затѣмъ, чтобы не чувствовать себя отщепенцемъ, одиночкой, не утратить связи съ общей жизнью. И какъ къ тому-же велико воздѣйствіе общепринятаго ритуала, словесныхъ внушеній, всего того, что

считается «приличнымъ», мѣркою «порядочности». Для того, чтобы распознать, гдѣ кончается истинная вѣра — или хотя-бы само-анушение — и гдѣ начинается сознательный «конформизмъ», — единственный критерій, поскольку дѣло идетъ о литературѣ, конечно только тотъ-же: степень художественности. И вотъ съ этой точки зрѣнія важно отмѣтить, что ни «Чернышевскій», ни «Булгаринъ» нигдѣ и никогда не вытѣсняють у Германа нацѣло «Толстого». Альтусъ, можетъ быть, черзчуръ «душка», и все-таки не геряеть вполне сходства съ живымъ человѣкомъ. Это-то и позволяетъ предположить, что простымъ конформизмомъ, угодничествомъ всѣхъ срывовъ у Германа объяснить нельзя. И во всякомъ случаѣ тамъ, гдѣ у него рѣчь идетъ о новомъ общественномъ строѣ, о новомъ — не божествѣ и ангелахъ его — а просто человѣкѣ. Здѣсь, для правильного пониманія автора, необходимо преодолѣть иные привычные взгляды. На собраніи «поварь-производственниковъ» «руководящій поварь» Вишняковъ, чувствуемый по случаю награжденія его орденомъ Трудового Краснаго Знамени, произноситъ рѣчь. Онъ рассказываетъ о томъ, какъ онъ всю жизнь страдалъ, служа, при старомъ режимѣ, сукину сыну кн. Вадбельскому, и какъ осуществилъ послѣ Революціи свое призваніе, ставши шефомъ-кулинаромъ массы и получивъ такимъ образомъ возможность приобщить трудящіяся массы къ радостямъ стола, заставить ихъ узнать и понять, что такое вкусная и питательная пища, оцѣнить поварское искусство. Рѣчь эта

врядъ-ли не чистая выдумка и насъ она не трогаетъ ничуть; но Фурье, навѣрно, пришелъ-бы отъ нея въ восторгъ, и ему и въ голову-бы не пришло сомнѣваться въ искренности автора. Въ извѣстномъ отношеніи онъ былъ-бы правъ. Пусть авторъ и выдумалъ своего Вишнякова: это не значитъ, что онъ создалъ его «сизъ ничего». Вишняковъ возможенъ и когда-то онъ былъ — въ тѣ времена гильдій, цеховъ, когда не было различія между «ремесленникомъ» и «художникомъ», когда слово *art* обозначало оба эти лишь по нашимъ понятіямъ различные виды дѣятельности, и когда, въ средневѣковыхъ коммунахъ, такой «мастеръ» работалъ не на анонимнаго массоваго потребителя, но на сосѣдей, знакомыхъ, «товарищей». Обратимся къ другому типу «новаго человѣка» у автора. Это Володя, сынъ врага, ловкаго и много зарабатывающаго человѣка. Узнавши, что отецъ торгуетъ наркотиками и вообще занимается темными дѣлами, Володя доноситъ на него въ милицію, а самъ бросаетъ домъ, уходитъ ни съ чѣмъ и начинаетъ честную трудовую жизнь. Съ точки зрѣнія привычной европейской морали, поступокъ Володи чудовищень. Но въ Римѣ, въ Спартѣ, въ Аѳинахъ всякій бы его одобрилъ. Мы не задумываемся надъ гѣмъ, какъ много условнаго, недѣлаго, внутренне - противорѣчиваго, непослѣдовательнаго въ ходячей морали, съ ея разграниченіемъ сферъ «частныхъ» и «общественныхъ» или «государственныхъ» отношеній и видовъ и степеней нравственной отвѣтственности. Человѣкъ, который, можетъ быть, предпочелъ-бы мучаться отъ

голода, чѣмъ украсть хотя - бы одинъ рубль у богача, не видитъ ничего дурного въ томъ, чтобы скрыть отъ таможеннаго чиновника новый костюмъ, купленный за границей. Судья подписывающій смертный приговоръ преступнику, шарахается отъ палача, приводящаго этотъ приговоръ въ исполненіе. Государство, Общество для насъ черезчуръ большія величины. Наше сознание отстало на вѣка отъ ихъ разрастанія, и потому онѣ не живутъ въ немъ конкретно, а скорѣе какъ отвлеченныя понятія. Въ силу этого и «гражданинъ» не мыслится нами какъ «человѣкъ», какъ личность, а какъ безличнѣйшій атомъ этого коллективнаго, намъ въ сущности чуждаго дѣлаго — въ отличіе отъ отца, матери, сына, или сосѣда, пріятели, или, наконецъ, посторонняго человѣка, поскольку съ послѣднимъ мы вступаемъ въ «частныя» отношенія. Судья приговариваетъ къ смерти не «человѣка», а вотъ эту безличную, анонимную «дробь», нѣчто «умопостигаемое», ирреальное, «безплотное». Иное дѣло палачъ, переводящій эту чисто, такъ сказать, умственную операцию въ планъ реальности, касающійся тѣла приговореннаго. Для судьи онъ является истиннымъ виновникомъ того ужасающаго дѣла, на какое онъ самъ-бы не отразился, хотя палачъ выполнилъ только то, чего онъ отъ него потребовалъ; ибо, повторяю, въ сознаніи судьи — въ нашемъ, общемъ сознаніи — приговоренный къ смерти и казнимый существуютъ какъ два различныхъ, относящихся, каждый, къ двумъ несводимымъ планамъ бытія, объекта — сколь это ни абсурдно.

Благороднѣйшіе умы давно осознали весь ужасъ этихъ, выражаясь языкомъ Бэкона, «идоловъ» нашего нравственнаго сознанія и необходимость преодоленія его, необходимость осуществленія христіанскаго принципа **братства**. Признать, что всѣ люди братья — а съ тѣхъ поръ какъ нашъ міръ сталъ христіанскимъ, вѣдь, формально по крайней мѣрѣ, это общеобязательная истина, — значитъ, если быть послѣдовательнымъ, признать, что всякій коллективъ то-же самое, что семья или родъ, что во всѣхъ сферахъ жизни и дѣятельности единственно нормальными междучеловѣческими отношеніями являются отношенія **личныя**; что всякій человѣкъ для всякаго другаго — персона, а не предметъ пользованія или просто единица, математическое понятіе. И несоотвѣтствіе дѣйствительности съ этимъ принципомъ стало бить въ глаза съ особенной рѣзкостью съ тѣхъ поръ, какъ онъ былъ выдвинутъ уже не только въ качествѣ основы христіанской этики, но и въ качествѣ основы положительнаго права, и какъ вмѣстѣ съ тѣмъ, въ результатъ засилья анонимнаго капитала, банковъ, акціонерныхъ обществъ, междудюдскія отношенія все болѣе и болѣе приобрѣтали характеръ безличности, бездушія. Величайшіе представители общественной мысли новѣйшаго времени, Фурье, Оуэнъ, Прудонъ, Герценъ, Кропоткинъ, Сорель, Пэги, Де-Манъ, — всѣ они сознали, что преодоленіе этого противорѣчія между нравственными требованіями и дѣйствительностью возможно только путемъ социальной революціи, кореннымъ образомъ отличающейся отъ то-

го, что принято разумѣть подъ политической революціей, революціей, сводящейся къ измѣненію условій труда такъ, чтобы каждый человѣкъ сознавалъ, что онъ работаетъ не только для себя, но и для другихъ; чтобы всякая дѣятельность была какъ-бы частью общаго дѣла, чтобы каждый, въ свой или иной мѣрѣ, несъ свою долю ответственности за успѣхъ или неудачу этого общаго дѣла; чтобы въ этомъ отношеніи уничтожилась грань между «активными» членами общества и «пассивными», т. е. въ сущности находящимися **въ** Обществѣ. Въ предѣлахъ это должно было привести къ осуществленію идеи Демократіи во всей полнотѣ, т. е. къ тому, что каждый гражданинъ могъ-бы сказать о себѣ въ буквальномъ смыслѣ: «Государство — это я», что, въ глазахъ Прудона и тѣхъ немногихъ, которые были въ состояніи понять его сложную и глубокую мысль, было-бы равносильно переходу къ состоянію **ан-архій**, — не въ смыслѣ безвластія, господства, произвола, но въ смыслѣ устранения тѣхъ перегородокъ, которыя въ людскомъ **сознаніи**, а потому и въ жизни, существуютъ между Государствомъ и Обществомъ, между Личностью и Коллективомъ, между Властью и подвластными, между сферами личныхъ, частныхъ и политическихъ отношеній.

Но какъ добиться этого? Какъ осуществить эту революцію? Революція немислима безъ примѣненія силы. Не есть-ли это измѣненіе идеи **ан-архій**, т. е. свободы? Но и Прудонъ, и Кропоткинъ, и Сорель понимали подъ этимъ актъ насильственной ликвидаціи начала государственнаго принужде-

нія, освобожденія общественныхъ силъ; — и если, на склонѣ лѣтъ, Сорель привѣтствовала Ленина*), го, конечно, только потому, что — обознался, что по своему принялъ ленинскую революцію. Вопросъ въ томъ, нецѣло-ли ошибся Сорель. И вотъ, читая Германа, выносишь впечатлѣніе, что нѣтъ. Эта смѣсь «Чернышевскаго» съ «Толстымъ» свидѣтельствуется, кажется, о томъ, что «новый человѣкъ» съ его новой моралью; съ его повышеннымъ социальнымъ чувствомъ, его сознаніемъ ответственности передъ обществомъ, его увлеченностью общимъ дѣломъ, не препаратъ, не чистый вымыселъ, что онъ дѣйствительно **есть** въ Россіи. И подлинно: было-бы грубымъ упрощеніемъ представлять себѣ, что **всѣ** работники нынѣшнихъ русскихъ «фабрик» были насильственно загнаны туда. Свидѣтельство Германа служить къ подкрѣпленію свидѣтельства «Писемъ Оттуда», гдѣ такъ много говорится о характерномъ, по крайней мѣрѣ для лучшихъ представителей новаго поколѣнія, «чувствѣ коллектива».

Но это только одна сторона дѣла. То, что Германъ и тамъ, гдѣ на сценѣ появляется совѣтское Провидѣніе, трансцендентное, неизяснимое, вѣдмировое Божество, все-же не измѣняетъ вполне требованій художественности, что даже «Булгаринъ» у него какъ-то ужинается съ «Толстымъ», свидѣтельствуется о чемъ-то еще болѣе ужасномъ, нежели то, что мы привыкли считать самымъ ужаснымъ

*) Въ послѣднемъ (1921) изданіи его «Réflexions sur la violence».

въ русской дѣйствительности; о нравственномъ пріятіи начала вѣшней, надъ-соціальной организаціи надзора надъ всѣми проявленіями человѣческой дѣятельности, организаціи, дѣятельность которой не подлежитъ никакой критикѣ, которая мыслится по существу непогрѣшимою. Мнѣ Сореля и Кропоткина, очевидно, можетъ уживаться въ сознаніи вмѣстѣ съ мифомъ обожествленнаго Государства. Трагизмъ всякой Революціи въ томъ, что въ ней цѣль легко подмѣняется средствомъ. Цѣль — «освобожденіе». Средство — усиленіе начала принужденія. «Соціальная» Революція, какъ ее понимали ея идеологи, въ этомъ отношеніи можетъ оказаться много опаснѣе, страшнѣе «политической» — ибо она радикальнѣе, всестороннѣе, забираетъ глубже. «Земля новая и Небо новое!» Правда, во всякой революціи наличествуютъ элементы «соціальной». О «землѣ новой и небѣ новомъ» мечтали пуритане въ пору Первой Англійской Революціи, гербертисты и бабуисты въ пору Французской. Но тогда «политическая» революція восторжествовала надъ «соціальной». Въ Россіи случилось обратное. Въ результатѣ революція «нормализовалась», переходный моментъ, «скачка» въ «новый зонъ» (вѣкъ), самъ растянулся въ «вѣкъ». И разъ такая революція выполняется согласно плану непогрѣшимаго Провидѣнія, всякое несоотвѣтствіе дѣйствительности этому плану должно считаться результатомъ вредительства, злой воли. А въ силу этого новая мораль сама по себѣ выворачивается на изнанку: запощѣ любить «далекихъ» такъ же, какъ и «близкихъ», ибо всѣ —

братья, замѣняется другою: ненавидѣть «близкихъ» такъ же, какъ и «далекихъ». Преодоленіе границы между областью частныхъ, семейныхъ, личныхъ отношеній и отношеній общественныхъ, получаетъ тотъ смыслъ, что человѣкъ вмѣсто того, чтобы вездѣ быть какъ дома, уже нигдѣ не имѣетъ своего угла: онъ всюду «на государственной службѣ» и «подъ надзоромъ». И чѣмъ дальше затягивается «скачокъ», тѣмъ это скazujeвается сильнѣе — таковъ автоматизмъ развитія «соціальной» Революціи, задуманной и выполненной не по Прудону и Кропоткину, а по марксистски, т. е. по образцу революціи политической, по монтањярской шаргалкѣ—и это тѣмъ печальнѣе, что никакой нужды въ этой второй, октябрьской, революціи не было, такъ какъ первая, февральская, открывала широкія возможности осуществленія соціальной революціи ея собственными, нормальными, ей по ея природѣ присущими способами, т. е. путемъ свободнаго проявленія личнаго почина, при содѣйствіи государственной власти, но безъ государственной регламентаціи, и такъ какъ въ Россіи не было организованныхъ общественныхъ силъ, которыя были-бы въ состояніи воспрепятствовать этому.

Ужасаться, повторяю, приходится прежде всего тому, что человѣческое сознаніе въ Россіи повидимому склонно примириться съ развившимся изъ Октябрьской Революціи режимомъ. Германъ, правда, говорить о «шарствѣ свободы» какъ еще только имѣющимъ наступить въ результатѣ вовлеченія всѣхъ въ участіе въ общемъ дѣлѣ; но автоматизмъ тех-

ники этого вовлечения таковы, что осуществление прудоновского мифа оттягивается неизбежно на все больше и больше долгий срок, и что, в результате, приходится

считаться с опасностью, как-бы самое представление о том, что такое свобода, не изчезло из сознания безследно.

М. К.

Католическое социальное движение.

По мѣрѣ того, какъ развертываются мировыя событія, мы не только присутствуемъ при глубочайшемъ политическомъ и экономическомъ кризисѣ, но живемъ и подѣ угрозой духовнаго крушенія человѣчества. Тоталитарные режимы стремятся замѣнить органическую духовную культуру своей собственной «мистикой», новымъ, наспѣхъ созданнымъ суррогатомъ.

Однако, возникновеніе новыхъ мистикъ не только не приостановило подлинную духовную жизнь, но вызвало новый подъемъ самодѣятельности среди вѣрующихъ всѣхъ христіанскихъ исповѣданій. Во всѣхъ странахъ міра, «религиозники» борются подѣ тѣмъ или инымъ видомъ противъ тоталитарныхъ идеологій, защищая свободу духа и вырабатывая собственную культурно - общественную программу.

Этотъ новый общественный духъ проявила и католическая церковь, особенно съ 1930-го года, съ опубликованія энциклики «Quadragesimo Anno». Мы не станемъ подробно излагать содержаніе энциклики, она достаточно известна. Напомнимъ лишь, что она дополнила и развила основные тезисы посланія «Rerum Novarum», опубликованнаго еще въ 1891-мъ году Львомъ XIII-мъ. Какъ въ «Rerum Novarum», такъ и въ «Quadragesimo Anno» утвержда-

лась необходимость вернуть рабочимъ массамъ челоѣческое достоинство, право на «справедливый заработокъ» и на организацию производства на новыхъ началахъ, не противорѣчащихъ духовному равноправію трудящихся. Указывалось, что неотложный долгъ имущаго класса — это поднятіе моральнаго и матеріальнаго благосостоянія рабочихъ. Экономическій произволъ современнаго капитализма былъ подвергнутъ суровой критикѣ, такъ же, какъ и жестокое, безчелоѣчное отношеніе предпринимателя къ рабочей массѣ.

Папскія посланія, и особенно «Quadragesimo Anno», вызвали въ Европѣ и Америкѣ интенсивную религиозно - общественную дѣятельность. Въ то время, какъ католическая интеллигенція разрабатывала идеологию этого движенія, рабочая среда выдѣлила кадры религиозно - настроенныхъ активистовъ, вдохновителемъ которыхъ былъ бельгіецъ, аббатъ Карджинъ, основатель Jos'a (Jeunesse Ouvrière Chrétienne), Объединенія Христіанской Рабочей Молодежи, насчитывающаго сейчасъ 100.000 членовъ въ Бельгійи и 80.000 членовъ во Франціи.

Въ развитіи католической социальной идеологии за послѣднія пять-шесть лѣтъ исключительную роль сыграли труды извѣстнаго

философа-томиста Жака Маритана, который изложил в двух книгах, «Du Régime Temporel et de la Liberté» и «Humanisme Intégral», а также в рядъ статей и докладовъ, пути и методы духовно - социальнаго перерожденія челоуѣчества. Въ этихъ работахъ утверждается религиозно-общественная миссія челоуѣка и въ то же время неизбежность его правъ и неприкосновенность его свободы: «Челоуѣкъ, — пишетъ Маританъ, — это личность, созданная для Бога и для жизни вѣчной, прежде чѣмъ для государства. Онъ составляетъ часть семьи, прежде чѣмъ быть частью политическаго общества. Отсюда происходятъ основные права, которыя это общество должно уважать въ немъ, и которымъ оно не должно причинять ущербъ, вызывая челоуѣка служить ему».

Въ то же время какъ среди мирянъ-философовъ, экономистовъ, писателей, техниковъ, такъ и среди представителей духовенства и монашества, стали возникать кружки по изученію социальныхъ вопросовъ, выпускались книги, брошюры и журналы научнаго и популярнаго характера. Былъ опубликованъ рядъ критическихъ изслѣдованій марксизма и русскаго коммунизма, которымъ доминиканецъ Дюкатильтонъ, специализировавшійся по этому вопросу, посвятилъ серію лекцій. Основная черта этихъ трудовъ — желаніе понять и правильно оцѣнить сущность современнаго социальнаго кризиса, и строго научный, неполемическій тонъ критики.

Наибольше яркимъ выраженіемъ зародившагося среди молодежи движенія во имя «духовной революціи» является группа «Esprit»,

основанная молодымъ французскимъ мыслителемъ Эммануэлемъ Мунье. Это движеніе внесло въ сферу социальныхъ исканій весьма смѣлую, порой воинствующую ноту, и такія книги, какъ «Propriété Capitaliste et Propriété Humaine» Эммануэля Мунье и «Les Catholiques, la Politique et l'Argent» Пьера-Анри Симона, выражаютъ наиболѣе радикальныя настроенія западнаго христіанства. Слѣдуетъ, однако, отметить, что, несмотря на свою радикальность, эта молодежь сумѣла четко отмежеваться, какъ отъ соглашательства съ коммунистами, такъ и отъ симпатій къ социальнымъ построеніямъ фашизма. Противопоставляя коллективизму идею персонализма, и тоталитарному государству систему плюрализма, сторонники духовной революціи не допускаютъ ни малѣйшаго искаженія цѣлостности христіанскаго духа.

Среди группы «Esprit», такъ же, какъ и въ сродныхъ ему движеніяхъ, какъ, напр., общинное теченіе (Mouvement communalitaire) бельгийца Раймонда де Беккера, очень сильно развиты анти-капиталистическія настроенія, отрицаніе буржуазнаго міра, желаніе порвать съ «благонамѣренными», «les bienpensants», которые подъ христіанской личною скрываютъ жестокие и эгоистическіе инстинкты. Старымъ формамъ индивидуализма, замкнувшагося въ узко - материалистическія рамки, противопоставляются вѣчныя духовныя цѣнности автономной личности, т. е. челоуѣка, созданнаго по образу и подобию Божьему. Въ этомъ возведеніи челоуѣка въ планъ духовной автономіи и состоитъ сущность новаго гума-

низма: въ немъ мы узнаемъ мотивы Н. А. Бердяева, съ которымъ западная, социально-настроенная молодежь хорошо знакома, и у котораго очерпнула рядъ основныхъ принциповъ.

Коммунистическіе вожди не безъ тревоги слѣдили за развитіемъ религиозно - общественной идеологии среди интеллигентной молодежи и представителей трудовыхъ организаций. Анти-религиозная пропаганда встрѣчала серьезныя затрудненія, старые методы безбожниковъ уже не давали прежнихъ результатовъ. Необходимо было приостановить наступленіе и найти нѣкоторый «modus vivendi» съ католическими общественниками. Въ 1936-мъ году, наканунѣ выборовъ, Морисъ Торресъ «протянулъ руку» католикамъ, предлагая общія дѣйствія въ защиту мира и въ борьбѣ противъ фашизма; эта тактика продолжалась и послѣ созданія народнаго фронта. Несомнѣнно, французскіе коммунистическіе вожди надѣялись разложить католиковъ-общественниковъ при помощи маневрированія. Но имъ скоро пришлось убѣдиться, что «религиозники» были хорошо вооружены противъ этого натиска, ибо сами обладали отчетливо выработанной программой; послѣдняя признавала всю необходимость социальной перестройки міра, но отрицала въ самомъ корнѣ пути и методы коммунистовъ.

А между тѣмъ жизнь постоянно сталкивала во Франціи представителей духовно - общественныхъ теченій и социальныхъ реформаторовъ изъ противоположныхъ лагерей. Этотъ каждодневный практический опытъ не протекалъ, конечно, безъ большихъ

трудностей и острой полемики, тѣмъ болѣе, когда дѣло касалось членовъ Объединенія Христіанской Рабочей Молодежи или христіанскихъ рабочихъ синдикатовъ, дѣятельность которыхъ тѣсно связана съ жизнью массъ. Волна стачекъ и оккупаций заводовъ въ юнѣ 1936 года, быстрый темпъ социальныхъ реформъ и вызванное ими общественное броженіе, все это ставило передъ католиками рядъ новыхъ проблемъ.

Оставаясь внѣ политической борьбы и всякой политической агитации, французскіе «религиозники» широко пошли навстрѣчу социальной реконструкціи. Большинство реформъ, проведенныхъ во Франціи (особенно сокращеніе рабочаго времени, платные отпуска, помощь многосемейнымъ и организація досуговъ), было встрѣчено весьма сочувственно, поскольку эти реформы должны содѣйствовать духовному и материальному раскрытію рабочихъ массъ, и при условіи чтобы новый статутъ труда дѣйствовалъ въ строго законныхъ рамкахъ.

Уже въ юнѣ 1936-го года кардиналъ Вердье, архіепископъ Парижскій, обратился съ пастырскимъ посланіемъ къ населенію, призывая его къ социальному замиренію во имя созданія новаго порядка, котораго всѣ желаютъ. Несмотря на всю знаменательность этого выступления, оно было лишь мѣстнымъ явленіемъ, связаннымъ съ даннымъ моментомъ. Требовались болѣе общія директивы, обращенныя не только къ французскому населенію, а ко всему католическому церковному народу, переживающему во всѣхъ странахъ глубокой социальной кри-

зисъ. Эти директивы были даны Папой въ мартѣ 1937-го года въ энцикликѣ «Divini Redemptoris».

Въ этомъ посланіи Пій XI-ый еще разъ осудилъ и подчеркнул безбожную сущность коммунистической доктрины и въ то же время широко развернулъ социальную программу церкви. Энциклика напоминаетъ христіанамъ, о ихъ неотложныхъ обязанностяхъ передъ трудящимися и отличаетъ представителей патроната въ «пагубномъ раздвоеніи совѣсти», при которомъ они исполняютъ свой христіанскій долгъ въ личной жизни, въ то же время не соблюдая его въ жизни общественной. Она подчеркиваетъ необходимость первымъ дѣломъ поднять жизненный уровень трудящихся и создать матеріальныя условія, безъ которыхъ «планомѣрно организованное общество не можетъ существовать». Для этого «имущіе классы, накапливающіе капиталы и постоянно ихъ умножающіе къ великому ущербу другихъ», должны принести неизбежную жертву и взять на себя «бремя расходовъ», связанныхъ съ этими преобразованиями.

Необходимо отмѣтить еще одну весьма характерную и существенную черту папскихъ посланій. Все они подчеркиваютъ, что дѣятельная роль въ изученіи здравыхъ социальныхъ доктринъ и въ приложеніи социальной правды къ современной жизни, должна принадлежать организованной массѣ мірянъ, дѣйствующей автономно въ сотрудничествѣ съ церковью. Эта, такъ называемая «Action Catholique», «Католическая Акція», призванная на общее дѣло, не является теократіей. Она отли-

чается самостоятельностью, творческой автономіей. Въ «Католическую Акцію» входятъ все отрасли профессиональной, просвѣтительной, общественной и религиозной дѣятельности, отъ «Жюка» и Христіанскихъ Синдикатовъ, до социально-экономическихъ и философскихъ семинаровъ «Cercles d'Etudes», которые все болѣе распространяются среди мірянъ. Этотъ массовый и мірской характеръ духовно общественной дѣятельности является новымъ, весьма плодотворнымъ факторомъ въ развитіи современной католической социальной жизни.

Именно въ духъ «католической акціи» церковь обращается со своимъ социальнымъ ученіемъ къ массамъ и сочувственно относится къ широкимъ народнымъ движеніямъ. Іюльскій конгрессъ Объединеніи Христ. Рабоч. Молодежи, собравшій въ Парижѣ представителей 80.000 молодыхъ рабочихъ и работницъ, прошелъ съ исключительнымъ подъемомъ и доказалъ динамизмъ и цѣлеустремленность христіанской трудовой идеологіи. Крѣпнетъ и христіанское синдикальное движеніе. Число членовъ такъ наз. Confédération Française des Travailleurs Chrétiens достигаетъ сейчасъ 500 тысячъ.

Необходимо отмѣтить, что ростъ католическаго трудового движенія не ограничивается одной Франціей. И въ другихъ католическихъ странахъ Европы, и особенно въ Бельгіи, откуда Жос ведетъ свое начало, религиозно-общественная идеологія, сложившаяся на почвѣ папскихъ энцикликъ, пустила глубокіе корни. Въ Сѣверной Америкѣ и въ Канадѣ зародилось аналогичное движеніе бла-

годаря деятельности бывшей коммунистки, Дороти Дэ, перешедшей на христианские позиции и основавшей органъ «The Catholic Worker». Для своей общественной работы, протекающей среди бѣднѣйшаго бѣлаго и чернаго населения, Дороти Дэ вдохновляется учениемъ Св. Франциска Ассизскаго, духъ котораго она передаетъ рабочимъ массамъ на простомъ, понятномъ имъ, современномъ языкѣ.

Въ то же время, особое вниманіе католиковъ обращено на пропаганду и въ буржуазной консервативной средѣ, наиболѣе непроницаемой для новыхъ социальныхъ теченій и едва ли достаточно знакомой съ ихъ идейной сущностью.

Въ декабрѣ 1937 г. кардиналъ Вердые выступилъ въ Théâtre des Ambassadeurs, являющемся одной изъ самыхъ значительныхъ политическихъ и идеологическихъ трибунъ Парижа, съ пространнымъ докладомъ на тему «Церковь и духовная свобода». Въ этомъ докладѣ кардиналъ Вердые разсматриваетъ исторію человѣчества, какъ постоянную борьбу за раскрытіе. «Всякая революція является освобожденіемъ какого-нибудь угнетеннаго класса... кризисы, которые періодически потрясаютъ міръ, имѣютъ цѣлью создать при помощи большаго равенства, болѣе справедливыя условия существованія личности, т. е. для всѣхъ». Эта борьба за раскрытіе, это стремленіе къ болѣе справедливости продолжаются и по сей день, и защита духовныхъ свободъ является тѣмъ болѣе необходимой, что эти свободы находятся подъ угрозой со стороны тоталитарныхъ системъ.

Характерно, что нѣсколько дней спустя, на приемѣ французскихъ кардиналовъ, Папа дополнилъ свое социальное ученіе, еще разъ напомнивъ о томъ, что оно должно быть въ первую очередь основано на любви и братскомъ пониманіи. Рѣчь, произнесенная Пиемъ XI-мъ на этомъ приемѣ, касалась и вопроса «протянутой руки». Папа еще разъ осудилъ коммунистическое ученіе и подчеркнул, что всякое сближеніе съ коммунистами, даже въ цѣляхъ филантропическихъ, немисливо постольку, поскольку коммунизмъ проповѣдуетъ безбожье, ненависть и насиліе. Но это принципиальное осужденіе и доктрины и методовъ, не исключаетъ братскаго, милосерднаго отношенія къ падшему, особенно если этотъ падшій является страждущимъ и обездоленнымъ. «Мы хотимъ... протянуть руку всѣмъ страждущимъ»..., но при условіи, чтобы отъ церкви не требовали «ни малѣйшаго умаленія истины», «тайнаго соглашательства или сообщничества» или «умолчання» относительно «принциповъ, противорѣчащихъ духу христианства».

Какъ извѣстно, обращеніе Папы вызвало острую политическую полемику и въ правыхъ и въ лѣвыхъ кругахъ. Но сущность этого выступления нужно искать, конечно, не въ политическомъ, а въ чисто религіозно-общественномъ планѣ. Папскія директивы были основаны на учетѣ настроеній, преобладающихъ въ рабочей массѣ и среди рядового духовенства, тѣсно съ ними связаннаго. Послѣднему постоянно приходится сталкиваться то съ коммунистами, то съ представителями революціоннаго синдикализма. Во мно-

гих рабочихъ центрахъ, особенно во Франціи, христіанскія гуманитарныя организаціи работаютъ рядомъ съ организаціями «сесюитъ гонимыхъ», церкви строятся въ «красной зонѣ», на пролетарскихъ аванпостахъ, куда рѣдко заглядываетъ буржуазія. Въ рождественскую ночь бывшій коммунистъ, недавно посвященный въ священники, служилъ обѣдню въ одномъ изъ самыхъ воинствующихъ красныхъ поселковъ парижскаго предмѣстья. Рыса уже не пугаетъ и не отталкиваетъ рабочего такъ, какъ лѣтъ десять-пятнадцать тому назадъ. Общественно настроенный священникъ, хорошо разбирающійся въ социальныхъ доктринахъ и въ то же время умѣющій подойти къ коммунисту не какъ къ врагу, а какъ къ брату, проникаетъ въ самую толщу рабочего народа, ведетъ христіанскую просвѣтительную работу тамъ, куда «благонамѣреннаго» никогда бы не допустили. Католическая церковь стремится укрѣпить этотъ контактъ, обращаясь не къ отдѣльнымъ кругамъ, не къ духовной элитѣ, а ко всему народу, исходя изъ убѣжденія, что въ рабочей массѣ, даже когда она очень далека отъ церкви и въѣшно ее отрицаетъ, попрежнему теплится пламя евангельской любви.

Эту миссію общественнаго служенія въ духѣ любви и во имя защиты духовной автономіи человека особенно подчеркивались въ великопостныхъ проповѣдяхъ въ Notre Dame. Въ этомъ году великопостный циклъ былъ порученъ шануану Шевро, весьма популярному и дѣятельному представителю духовенства, обладающему не только даромъ красно-

рѣчія, но и способностью передавать своимъ слушателямъ все пламя и дѣйственную силу евангельскаго ученія. Проповѣди шануана Шевро были посвящены всецѣло одной темѣ: личное спасеніе каждого неразрывно связано съ общимъ дѣломъ, съ перестройкой и обновленіемъ всего человечества во имя братской любви и социальной справедливости. Это часто до сихъ поръ не понимаютъ христіане, замкнувшіеся въ узкій кругъ своихъ личныхъ интересовъ: «Если нашъ народъ, — подчеркнулъ Шевро, — отталкиваетъ христіанскую идею, то потому, что христіанская идея была предана многими изъ тѣхъ, которые были ея представителями въ глазахъ народа». Новое общество не можетъ быть построено безъ новаго человека, но и новый человекъ требуетъ новаго общества.

Наконецъ, укажемъ вкратцѣ на работы «Соціальной недѣли» (Semaine Sociale), ежегоднаго съѣзда представителей высшаго духовенства, экономистовъ и социологовъ, собравшагося этимъ лѣтомъ въ Руанѣ. На прошлогоднемъ собраніи, делегаты «Соціальной недѣли» посвятили свою сессію защитѣ личности, утвердивъ въ рядѣ докладовъ основные принципы персонализма. Въ нынешнемъ году, съѣздъ рассмотрѣлъ проблему свободы и пути ея защиты отъ натиска тоталитарныхъ доктринъ. Сама тема выбранная сессіей 1938 года служила доказательствомъ, насколько сейчасъ эта проблема стоитъ въ центрѣ общественно-религіозной жизни Франціи.

Тѣмъ временемъ, въ другихъ странахъ борьба между свобод-

нымъ духомъ Христіанства и тоталитарнымъ засиліемъ принимаетъ исключительно острыя, трагическія формы. Напомнимъ, что уже въ мартѣ 1937-го года Папа опубликовалъ вторую энциклику на нѣмецкомъ языкѣ, «Mit Brennender Sorge», посвященную положенію католиковъ въ Германіи, въ которой онъ рѣшительно осудилъ расизмъ, какъ теорію несомѣстимую съ ученіемъ церкви.

Съ тѣхъ поръ, какъ извѣстно, Папа не разъ повторилъ это осужденіе. Во время пріѣзда Гитлера въ Римъ, Пій XI-ый весьма точно опредѣлилъ причины несомѣстимости расизма съ христіанскимъ ученіемъ, и высказался о свастикѣ, какъ о «Крестѣ, который не есть Крестъ Христовъ». Лозунгъ этотъ произвелъ глубокое впечатлѣніе не только на итальянскій народъ, но и на все международное общественное мнѣніе, и можно признать этотъ моментъ рѣшающимъ въ отношеніи церкви къ тоталитарнымъ міровоззрѣніямъ. И когда, подъ влі-

яніемъ германскихъ идеологовъ, группа фашистскихъ ученыхъ попыталась обосновать итальянскій расизмъ, то Ватиканъ не замедлилъ въ корѣ осудить эту попытку. Вопреки появившимся въ нѣкоторыхъ газетахъ неправильнымъ свѣдѣніямъ, новое соглашеніе между «Католической Акціей» и фашистской партией не является побѣдой послѣдней, а, наоборотъ, возобновляетъ гарантіи, дарованныя «Католической Акціей» въ 1931 году.

Сейчасъ весь міръ слѣдитъ за патетической борьбой, протекающей между Кастель - Гандольфо и Римомъ, между представителемъ духа и представителями идеи насилия, между вселенской миссіей христіанства и узко-національными вождѣльніями тоталитарныхъ вождей. Нѣтъ сомнѣній, что сейчасъ, въ этомъ размежеваніи идей и аппетитовъ, духа и матеріи, идеологии войны и мира, — католическая социальная доктрина играетъ крупную, историческую роль.

Елена Извольская.

Институтъ общественнаго мнѣнія.

Демократія есть организованное господство общественнаго мнѣнія — по крайней мѣрѣ, она должна быть таковымъ. Свобода слова и печати обезпечиваетъ свободное образованіе общественнаго мнѣнія, а свобода выборовъ и тайное голосованіе — его свободное изъявленіе. Но гораздо менѣе совершенны методы познанія народной воли. При демократическомъ строѣ правительство обязано руководствоваться волей народа, а

между тѣмъ въ девятости случаяхъ изъ ста оно этой воли не знаетъ и не можетъ узнать.

Въ большинствѣ демократическихъ государствъ единственной организованной формой выраженія народной воли служатъ выборы народныхъ представителей. Но это форма явно несовершенная. Выборы по необходимости происходятъ сравнительно рѣдко. Еще Руссо въ энергическихъ словахъ разоблачалъ заблужденіе, будто

въ Англии народъ свободенъ: «онъ свободенъ одинъ день въ пять лѣтъ, когда производится выборы, а все остальное время онъ рабъ имъ же избраннаго парламента». Кромѣ того, на выборахъ избирателю приходится давать одинъ суммарный отвѣтъ на множество вопросовъ и притомъ вопросы политическихъ программъ смѣшиваются съ вопросомъ личности кандидатовъ. Ни одинъ избранный большинствомъ депутатъ не можетъ добросовѣстно сказать, какъ это большинство отнесется къ каждому пункту его программы.

Референдумъ и народная инициатива могутъ лишь въ ничтожной степени восполнить эту пробѣлу, такъ какъ они технически осуществимы только въ небольшихъ странахъ и то лишь по вопросамъ исключительной важности.

Полвѣка назадъ Джемсъ Брайсъ въ своей книгѣ объ Американской республикѣ писалъ, что «самою явной слабостью политической системы, основанной на господствѣ общественнаго мнѣнія, является трудность правильнаго установления этого мнѣнія». Эти слова справедливы и понынѣ. Важнѣйшимъ этапомъ въ эволюціи демократическаго строя было бы, по мнѣнію Брайса, изобрѣтеніе метода, при помощи котораго можетъ быть въ любое время установлено мнѣніе большинства гражданъ по любому вопросу.

Еще недавно полагалось считать свободную прессу безошибочнымъ показателемъ общественнаго мнѣнія во всемъ его многообразіи и измѣчивости. Но въ наши дни едва ли можно честно придерживаться этого взгляда.

Наиболѣе вліятельная часть печати — ежедневныя газеты — являются либо органами партийныхъ комитетовъ, либо крупно-капиталистическими предприятиями. Первые выражаютъ мнѣнія политиковъ - профессионаловъ, вторыя — взгляды своихъ издателей и отчасти фирмъ, питающихъ газету объявленіями. И тѣ и другія являются органами воздѣйствія на народное мнѣніе, а иногда — его фальсификаціи, но лишь въ слабой степени рупорами для его выраженія. Разумѣется, въ исключительные моменты волна общественнаго возбужденія пробивается наружу и въ печати, и въ собранияхъ, и въ манифестаціяхъ всякаго рода. Однако, демократическое правительство должно опираться на «гласъ народа» не только въ минуты волнения страстей, но и въ своей обыденной, каждодневной работѣ.

Въ Соед. Штатахъ, гдѣ и дѣловые люди и политики привыкли мыслить въ цифрахъ, издавна весьма распространены проверки общественнаго мнѣнія путемъ разнаго рода «пробныхъ голосованій» и анкетъ. Многія газеты въ теченіе десятилѣтій предъ каждыми выборами обращаются къ своимъ читателямъ съ вопросомъ: за кого вы будете голосовать? и затѣмъ ежедневно публикуютъ сводки полученныхъ отвѣтовъ. Нѣкоторые органы рассылаютъ анкеты по почтѣ или собираютъ отвѣты черезъ специальныхъ агентовъ.

До недавняго времени особенной популярностью пользовалось пробное голосованіе, устраиваемое предъ каждыми президентскими выборами журналомъ Literary Digest. Этотъ журналъ,

располагавший большими средствами, организовывать свои анкеты в широком масштабе. В 1936 году, пред вторичным избранием Рузвельта, на его анкету ответили 2.000.000 избирателей. Начиная с выборов 1920 года и вплоть до брѣвы Рузвельта с Гуэромъ в 1932 г. анкета *Literary Digest* с неизменной правильностью предсказывала не только исход голосования, но и приблизительное соотношение числа поданных за каждого из кандидатов голосов. Осенью 1936 года вся Америка с волнением ждала опубликования результата анкеты *Literary Digest* о томъ, кто побѣдитъ на президентскихъ выборахъ — кандидатъ демократической партіи Рузвельтъ или кандидатъ республиканцевъ Лэндоу? Подсчетъ полученныхъ редакціей ответовъ показалъ громадное большинство — въ пользу Лэндоу, и журналъ объявилъ, что республиканскій кандидатъ будетъ триумфально избранъ, а Рузвельтъ разбитъ. 3-го ноября, какъ извѣстно, произошло какъ разъ обратное: Рузвельтъ получилъ большинство голосовъ въ 46-ти штатахъ, а Лэндоу только въ 2-хъ. Престижъ *Literary Digest* былъ нанесенъ столь непоправимый ударъ, что журналъ растерялъ подписчиковъ и черезъ нѣкоторое время прекратилъ свое существованіе.

Сенсационная ошибка анкеты *Literary Digest* убѣждаетъ въ томъ, что самый методъ, по которому она была организована, пороченъ. Какъ все американскіе газеты и журналы, *Digest* стремился получить какъ можно больше ответовъ. Семизначныя цифры всегда импонируютъ читате-

лямъ. Кроме того, согласно обыквательскому представленію о теоріи вѣроятности и законѣ большихъ чиселъ, выводы анкеты должны считаться тѣмъ достовернѣе, чѣмъ большее число голосовъ удалось зарегистрировать. Задача организаторовъ сводилась къ тому, чтобы раздобыть возможно больше адресовъ и побудить какъ можно больше адресатовъ отвѣтить. Адреса было легче всего получить по спискамъ телефонныхъ абонентовъ (въ одномъ Нью-Йоркѣ 1,5 милліона телефоновъ) и по спискамъ владельцевъ автомобилей. Этотъ методъ опроса избирателей давалъ количественно внушительный результатъ, но, какъ показали выборы 1936 года, качественно ложную картину настроенія массъ. Какъ въ распространены въ Америкѣ автомобиль и особенно телефонъ, все же владѣніе тѣмъ и другимъ является признакомъ хоть нѣкотораго достатка. Изъ 12 милліоновъ безработныхъ, получающихъ казенное пособіе, вѣроят-но лишь незначительная часть сохранила автомобили и телефоны. Между тѣмъ, все они имѣютъ право голоса и почти все пошли къ избирательнымъ урнамъ въ 1936 году, опасаясь, что избраніе реакціоннаго кандидата грозитъ отменой законовъ о социальной помощи.

До выборовъ 1936 г. демаркаціонная линия между сторонниками республиканскаго и демократическаго кандидата никогда не носила классового характера. Поэтому анкета *Literary Digest*, не смотря на односторонній классовый подборъ опрошенныхъ лицъ, могла давать правильные результаты. Но реформы Рузвельта впер-

вые разбили политическія симпатіи населенія Соед. Штатовъ по линіи классовой принадлежности: «нужные» были въ подавляющемъ большинствѣ противъ Рузвельта, а «ненужные» сплошь за него. Это необходимо было учесть при организаціи анкеты.

За два дня до президентскихъ выборовъ былъ опубликованъ результатъ другого «пробнаго голосования», который произвелъ такую же сенсацию правильностью своего прогноза, какую вызвала своей катастрофической ошибкой анкета *Literary Digest*. Эта вторая анкета была произведена «Институтомъ Общественнаго Мнѣнія», основателемъ и руководителемъ котораго состоитъ Джоржъ Галлупъ. Институтъ этотъ, начавшій свои эксперименты въ 1933 году и завоевавшій теперь громадную популярность, поставилъ себѣ цѣлью усовершенствовать методы анкетъ. Правильное отраженіе общественнаго мнѣнія, по мысли Галлупа, зависитъ все не отъ числа опрошенныхъ лицъ, но отъ ихъ правильного выбора. Институтъ не стремится къ семизначнымъ цифрамъ и никогда не разсылаетъ болѣе 200 тысячъ запросовъ. Но его задача въ томъ, чтобы составъ опрошенныхъ лицъ всегда съ возможной точностью соответствовалъ действительному составу избирателей. Каждая группа населенія должна дать число отвѣтовъ, пропорціональное ея численному участию въ общей массѣ населенія.

Раздѣленіе опрашиваемыхъ лицъ на группы, изъ котораго исходить Галлупъ, сравнительно несложное. Прежде всего, анкета должна считаться съ географіей: опросные листы должны быть

равномѣрно разосланы по всѣмъ штатамъ. Затѣмъ принимается во вниманіе распределеніе избирателей между городами и фермами, между представителями разныхъ возрастныхъ группъ, разныхъ имущественныхъ положеній и различной партійной принадлежності. Анкеты разсылаются по спискамъ, составленнымъ на основаніи разныхъ источниковъ, представителямъ всѣхъ этихъ группъ примѣнительно къ ихъ сравнительной численности. Кромѣ того, Институтъ имѣетъ штатъ изъ 600 сотрудниковъ, разбѣянныхъ по всей странѣ, которые лично опрашиваютъ представителей каждой группы населенія. Полученный матеріалъ собирается въ бюро Института въ Принстонѣ, гдѣ производится его статистическая разработка на счетныхъ машинахъ. Цифровые результаты сообщаются руководителямъ въ Нью-Йоркъ, которые составляютъ бюллетени для печати.

Успѣхъ Института Общественнаго Мнѣнія всецѣло зависитъ отъ искусства, съ которымъ производится отборъ опрашиваемыхъ лицъ. Чѣмъ совершеннѣе его методъ и чѣмъ искуснѣе техника, тѣмъ меньше число анкетъ нужно разослать для получения выводовъ, соответствующихъ истиннымъ настроеніямъ избирателей. Галлупъ не перестаетъ экспериментировать въ этомъ направленіи. Анкету по одному весьма острому политическому вопросу (о желательности восстановления НИРА, т. е. правительственной регламентации промышленности) онъ сначала разослалъ всего 500 лицамъ, затѣмъ тысячѣ, затѣмъ пяти тысячамъ и наконецъ тридцати тысячамъ; каждый разъ от-

рицательные отвѣты составляли большинство, притомъ приблизительно въ той же пропорціи (54-55%).

Очень важно, конечно, чтобы анкеты производились по вопросамъ дѣйствительно вызывающимъ всеобщій интересъ и притомъ своевременно. Самые вопросы анкеты должны быть предложены въ общедоступной и отчетливой формѣ. Наконецъ, бюллетени съ результатами голосованія должны напечататься живо и внимательно: газеты не станутъ печатать, а публика не захочетъ читать сухія сводки цифръ и углубляться въ вычисленія пропорцій. Джорджъ Галлуль — не только квалифицированный статистикъ, но и опытный журналистъ — сумѣлъ во всѣхъ отношеніяхъ поставить работу своего Института на должную высоту.

Институтъ Общественнаго Мнѣнія — частное учрежденіе. Единственнымъ источникомъ его дохода является плата, получаемая отъ газетъ за право публикаціи его бюллетеней. Число этихъ газетъ достигло 60-ти, и получаемый отъ нихъ гонораръ покрываетъ немалые расходы по организаціи Института. Отсутствие надобности въ посторонней финансовой помощи — ни отъ капиталистовъ, ни отъ меценатовъ — обеспечиваетъ Институту полную независимость. Доказательствомъ заслуженной имъ репутаціи служить то, что среди его постоянныхъ абонентовъ числятся газеты различныхъ направленій, которыя регулярно печатаютъ его бюллетени, хотя ихъ содержаніе далеко не всегда соответствуетъ взглядамъ и пожеланіямъ редакцій.

Анкеты о результатахъ предстоящихъ выборовъ являются наиболее показательной работой Института и сдѣланныя имъ правильныя предсказанія болѣе всего подтверждавали его популярности. Я уже упомянулъ о прогнозѣ исхода президентскихъ выборовъ 1936-го года. По опубликованной 1 ноября 1936 г. анкетѣ, Рузвельтъ долженъ былъ получить 56% общаго числа поданныхъ голосовъ и побѣдить своего противника во всѣхъ штатахъ, кромѣ трехъ (Мэнъ, Вермонтъ и Нью-Гемпшайръ). На выборахъ 3 ноября Рузвельтъ получилъ 62,5% голосовъ и завоевалъ всѣ штаты, кромѣ двухъ (Мэнъ и Вермонтъ). Принимая во вниманіе, что на выборахъ голосовали десятки миллионовъ избирателей, точность предсказанія должна считаться весьма большой. Еще большая точность была достигнута Институтомъ при прогнозѣ результата выборовъ нью-йоркскаго мэра въ 1937 году: онъ предсказалъ побѣду Лагвардіа съ точностью до 4% (64% вмѣсто полученныхъ мэромъ въ дѣйствительности 60 проц.).

Главной своей задачей Галлуль считаетъ, однако, не эти предвыборные прогнозы, имѣющие скорѣе спортивный интересъ, а регулярныя анкеты по всѣмъ очереднымъ вопросамъ внешней и внутренней политики Соед. Штатовъ. Перечисленіе важнѣйшихъ вопросовъ, по которымъ Институтъ въ послѣдніе два года произвелъ анкеты, даетъ приблизительную картину характера его работы и выявленныхъ имъ теченій общественнаго мнѣнія.

Въ апрѣлѣ 1937 г. Институтъ обратился къ широкому кругу

лишь съ вопросом: «было ли, по вашему мнѣнію, вступленіе Америки въ мировую войну ошибкой?» 70% опрошенныхъ лишь отвѣтили утвердительно. Нѣсколько ранѣе Институтъ запросилъ о томъ, слѣдуетъ ли Америкѣ снова принять участіе въ европейской войнѣ, если таковая возникнетъ. 95% отвѣтили «нѣтъ». Гораздо менѣе увѣренно американцы отвѣчаютъ на вопросъ о томъ, будетъ ли для Соед. Штатовъ возможно сохранить нейтралитетъ въ европейскомъ конфликтѣ. Въ январѣ 1937 г. 62% считали нейтралитетъ возможнымъ, но уже въ августѣ процентъ уменьшился до 56%, а въ началѣ 1938 г. онѣ упали до 52%. И въ 1936-мъ, и въ 1937 гг. значительное большинство (71 и 73%) высказалось за то, чтобы вопросъ объ объявленіи войны могъ быть разрѣшенъ только референдумомъ. 77 проц. считаютъ Германию главной виновницей прошлой войны и 76 проц. высказываются противъ возвращенія отобранныхъ у нея колоній. На вопросъ: «какому изъ иностранныхъ государствъ вы наиболѣе сочувствуете?» 55% высказалось въ пользу Англій, 11% — за Францію и 8% — за Германию.

Анкеты по вопросамъ внутренней политики вращаются вокругъ личности президента Рузвельта и его реформъ. Каждые 3-4 мѣсяца Институтъ производитъ анкету по вопросу: «голосовали ли бы вы сегодня за Рузвельта?» Большинство отвѣтовъ продолжаетъ гласить «да», но процентъ утвердительныхъ отвѣтовъ неизмѣнно падаетъ (отъ 56% въ февралѣ 1937 г. до 54% въ юнѣ 1938 г.). Каждое мѣропріятіе президента

немедленно ставится Институтомъ на голосованіе и такимъ путемъ, не дожидаясь выборовъ, проверяется реакція общественнаго мнѣнія на его политику. По наиболѣе волнующимъ вопросамъ, какъ, напримеръ, по поводу билля о майоризированіи неугодныхъ президенту членовъ Верховнаго суда, Институтъ произвелъ по нѣсколькимъ анкетамъ. Повторныя анкеты были посвящены также вопросамъ о формахъ профессиональнаго рабочаго движенія, о стачкахъ (67% голосовъ высказались за признаніе «оккупационныхъ предприятий» бастующими рабочими незаконными), о мѣрахъ социальной помощи. 58 проц. высказались за законодательное ограниченіе рабочаго времени (желательная норма — около 47 часовъ въ недѣлю), 61% за установленіе минимальной заработной платы, 89% за пенсін для всѣхъ достигшихъ пожилаго возраста.

Цѣлый рядъ анкетъ затрагиваетъ вопросы о желательной программѣ и лидерахъ отдѣльныхъ политическихъ партій, а также о наиболѣе желательныхъ кандидатахъ на разныя выборныя должности. Въ частности, Институтъ периодически устанавливаетъ отношеніе народа къ вопросу, слѣдуетъ ли Рузвельту выставить въ 1940 году въ третій разъ свою кандидатуру въ президенты. Результаты анкетъ по этому послѣднему вопросу, приобретающему все болѣе актуальный характеръ, показываютъ, что въ настоящее время около трети населенія и нѣсколько болѣе половины членовъ демократической партіи сочувствуютъ избранію Рузвельта на третье четырехлѣтіе.

Приведенные образцы даютъ,

кажется, достаточно материала, чтобы судить о работѣ Института Общественнаго Мнѣнія. Его организація и принимаемые имъ методы безусловно подлежатъ дальнейшему усовершенствованію. Но достигнутые уже результаты показываютъ, что это молодое дѣло, созданное инициативой и энергіей одного человѣка, таитъ въ себѣ здоровую и полезную идею. При всѣхъ политическихъ режимахъ всегда находятся люди, которые съ пафосомъ выдаютъ свое мнѣніе за мнѣніе широкихъ народныхъ массъ. Но современная техника государственнаго управ-

ленія даетъ массамъ возможность лишь спорадически и въ недостаточно отчетливой формѣ высказывать свои дѣйствительныя мнѣнія и желанія. Поэтому нельзя не приветствовать всякую честную попытку организованнаго выявленія реакцій общественнаго мнѣнія по текущимъ вопросамъ государственной жизни.

Галлулѣ недавно открылъ отдѣленіе своего Института въ Англии. Было бы желательнѣе, чтобы подобныя организаціи возникли и въ остальныхъ демократическихъ странахъ.

А. А. Гольденвейзеръ.

Национально-государственная проблема въ СССР.

Передъ нами былъ и остается вѣковая національный вопросъ.

Э. Бенешъ. — Радио-рѣчь 11.9.38.

Считалось неоспоримымъ, что прошлый вѣкъ, съ великой французской революціи начиная, былъ вѣкомъ національнаго оформленія и политическаго освобожденія, тогда какъ текущій, XX-ый, является вѣкомъ социально-экономическаго раскрытошенія. Объ экономическомъ равенствѣ, какъ «идеалѣ XX-го вѣка», взамѣнъ не оправдавашаго себя «идеала XIX-го вѣка» — политической свободы, писали не только большевики и фашисты. Исторіософы и «духовѣды» разныхъ странъ воздвигали цѣляя системы въ объясненіе смысла новой исторіи: и они объясняли торжество большевизма и фашизма какъ производное отъ экономической отсталости или обездоленности «огра-

бленныхъ» и «неудовлетворенныхъ» странъ.

Владѣющіе и командующіе, политически и культурно, классы такъ долго и упорно твердили, что ихъ «сословіе» и имуществовное «состояніе» — все, соль земли и государства, что и неимущіе, въ концѣ концовъ, въ это увѣрвали и всерезъ утвердились на томъ, что у пролетаріевъ чѣтъ отечества и, кромѣ цѣпей, имъ терять нечего даже въ самыхъ катастрофическихъ для страны условіяхъ. Успѣхъ и экспансія большевистскихъ — и фашистскихъ — идей росли въ мѣру отрицанія ими всяческихъ свободъ, какъ пережитковъ «буржуазно-парламентарныхъ» эпохъ и утвержденія главенствующаго значенія

за социально-политическим фактором.

Во всех этих отрицаниях и утверждениях не все определялось невежеством и злой волей, лицемерием и упрощением. В них было и зерно правды, как имбется оно даже у такого фанатического вдохновителя японского милитаризма, как нынешний министр народного просвещения ген. Араки, который, в недавнем интервью европейскому журналисту, отбмтилъ: — «Всего еще нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ западная цивилизація была путеводной звѣздой почти во всехъ областяхъ: социальной, экономической, идеологической, моральной. Катастрофа западной цивилизации повлекла за собой пересмотръ отношеній къ ней разныхъ народовъ, начавшихъ искать новыхъ формъ цивилизации, болѣе подходящихъ для нынѣшнихъ условий...»

Найденный ген. Араки и усвоенный Японией, такъ называемый, «императорскій путь» является, правда, лишь однимъ изъ наиболѣе оталкивающихъ вариантовъ существующей въ той же Европѣ цивилизации. Это не отбмняетъ факта, что европейская цивилизация войной и послѣ войны оказалась всесторонне и безнадежно скомпрометирована на всехъ материкахъ. — И война не была «последней», какъ утверждали утописты - пацифисты, и породившій ее капитализмъ вовсе не рухнулъ послѣ войны, какъ про- рочили утописты - социалисты. О достигнутомъ же національномъ оформленіи и политическомъ освобожденіи въ свѣтъ новѣйшихъ событій и вовсе не пристало говорить. Больше того: является

тенденціознымъ упрощеніемъ разсматривать перерожденіе когда-то свободолюбивыхъ национальныхъ движеній въ движенія насильническія, какъ результатъ однихъ лишь интригъ и заговора капиталистическихъ «мудрецовъ»: 200 семей во Франціи или 60 въ Соед. Штатахъ. Война и послѣ-военная эпоха съ убѣдительностью, доходящей до трагической самоочевидности, показали, что національный факторъ нисколько не утратилъ своей былой силы и «динамизма».

И по сей день на всехъ широтахъ и долготахъ народы охвачены возбужденіемъ, обладающимъ общими всемъ этимъ народамъ чертами. Возбужденіе питается многими корнями и разными источниками, — но національные страсти и интересы преобладаютъ, а то и господствуютъ въ рядѣ случаевъ. Пусть призывъ къ насилію, крови, расѣ, предоступленному водителъству и прочій наборъ словъ и чувствованій нынѣшняго нео-национализма производятъ впечатлѣніе упадочнаго состоянія послѣ - военной культуры! Неоспоримымъ остается, что угнетеніе, воспринимаемое или выдаваемое за угнетеніе національное, продолжаетъ быть начиненнымъ не меньшей взрывчатой и детонирующей силой — для угнетаемыхъ, угнетателей и ихъ окруженія, — чѣмъ угнетеніе экономическое. Хроника любого дня — на дальнемъ и ближнемъ Востока, въ Германіи, Испаніи, Италіи, Польшѣ, Румыніи, Венгріи, Чехословакии, Югославіи, Франціи и т. д. — даетъ тому несчетное число примѣровъ. Если нынѣшнее состояніе «национальныхъ вопросовъ» — агрессивность

однихъ, и не только капиталистовъ, но и трудящихся, учащейся молодежи, чиновниковъ, ремесленниковъ, рабочихъ, крестьянъ, и защитная позиция у другихъ — исторически связаны съ прошлымъ, въ частности, съ нечастными версальскимъ и иными договорами, заключенными 20-ть лѣтъ тому назадъ въ окрестностяхъ Парижа, эта связанность «зоближаетъ» лишь преемственность и неотмѣнимость этихъ «вопросовъ», какъ духовно-душевного комплекса и, потому, какъ дѣйствительнаго фактора исторіи.

Конечно, во всякомъ «тоталитарномъ» или диктаторіальномъ государствѣ, въ СССР и въ третьемъ рейхѣ или фашистскомъ Римѣ, первичнымъ и всеопредѣляющимъ моментомъ остается политика, господство одного или немногихъ, — какъ это и раньше бывало въ эпохи откровеннаго, и въ этомъ смыслѣ болѣе честнаго, деспотизма. Но политическое и здѣсь, какъ повсюду и всегда, является лишь формой (общезитіе) въ отношеніи къ экономическому, національному и проч., составляющему конкретное содержаніе жизни. И это безотносительно къ тому — является ли внутренняя политика продолженіемъ внѣшней (какъ утверждаетъ вожди «тоталитарныхъ» государствъ) или, наоборотъ, внѣшняя политика является лишь производной отъ внутренней (какъ это имѣетъ мѣсто въ СССР). Судьбы всякаго политическаго режима определяются національными факторами не въ меньшей мѣрѣ, чѣмъ факторами экономическими, — и режимъ, въ которомъ всѣ начала и концы заострены и сведены къ волю и усмотрѣ-

нію одного, не составляютъ исключенія изъ этого правила.

Ошибочное представленіе о томъ, что національное якобы уже исчерпало себя въ прошломъ и уступило полностью мѣсто экономическому, покоилось не только на недооцѣнкѣ національнаго, но и на переоцѣнкѣ экономическаго, какъ начала главенствующаго и всеопредѣляющаго. «Монистическое» пониманіе исторіи оказалось опровергнутымъ не потому только, что оно было материалистическимъ, а потому, что оно было упрощенно-однолинейнымъ, пытавшимся сложное (общезитіе) свести къ болѣе элементарному (хозяйствованію). «Если социальное раздѣленіе нынѣ приняло форму экономической борьбы классовъ, — въ этомъ надобно видѣть не общій законъ исторіи, а частное проявленіе глубокаго преобразованія экономической жизни за послѣднія столѣтія», — замѣчаетъ Молнье въ недавно появившейся книгѣ «По ту сторону націонализма» *). «Острота современныхъ экономическихъ проблемъ сосредоточила именно на нихъ людское вниманіе и комбативность, какъ въ другія времена это вниманіе и комбативность прилагались къ тому, чтобы дать торжество расѣ, клану, национальности, вѣрованію». «Утверждать, что гражданская борьба вызывается специфически экономическими причинами потому, что она имѣетъ свои слѣдствія въ экономикѣ, — методъ необычайно неосмотрительный... Основанія для взаимной солидар-

*) Thierry Maulnier: «Au delà du Nationalisme». — NRF. — P. 74, 75 et 79.

ности и борьбы у членов того же общества бесконечно более глубоки, нежели для их экономического противоположения. Как неравенство в условиях труда не является источником всех других социальных неравенств, а лишь частным их случаем, так и экономические конфликты, которые вызывают столкновение между различными классами, являются лишь частным случаем социальных антагонизмов».

В этом смысле плюрализм, или уравнение в правах с экономическим началом других — и, в частности, национального, — может считать себя оправданным жизнью, невзирая на кровь, которую сопровождается это оправдание. И поскольку допустимы суждения о будущем, можно утверждать, что тот же национальный фактор вовсе не отходит на задний план и тем меньше — исчезает. В тем больше, «амплифицирующей» мерой это относится к странам многонациональным, — самое бытие коих, политическое, экономическое и иное, связано с наличием нескольких племен и народов.

Къ намъ въ первую очередь принадлежит Россія, даже на большевистскій ладъ переименованная и переименованная въ СССР. Какъ ни учитывать социально-политическую отсталость стараго режима и усталость народныхъ массъ въ чуждой имъ по цѣлямъ войнѣ, маневренная ловкость ленинской гвардіи не одержала бы, быть можетъ, побѣды, если-бы разнородные социальные инстинкты не встрѣтили сочувствія и поддержки со стороны противороссійскихъ силъ національнаго мак-

симализма. И относительно будущаго Россіи можно утверждать: сохранится Россія, какъ великая и многонациональная держава, — она имѣетъ шансы превратиться въ государство политически свободное и экономически могущественное и независимое; если же восторжествуютъ силы центробѣжныя, и народы Россіи, въ праведномъ отталкиваніи отъ террористической диктатуры большевистской партіи, станутъ отталкиваться и отдѣляться отъ Россіи, отъ всякой Россіи завтрашняго дня, — неминуета, конечно, новая и затяжная борьба (внѣшняя для однихъ, внутренняя для другихъ), которая поглотитъ въ общей пучинѣ всяческую свободу — «и нашу, и вашу», и политическую, и экономическую, и национальную.

Предотвратить это можетъ не смѣна социального большевизма национальнымъ, а отказъ отъ всякаго и утверждеііе силы и величія Россіи на началахъ подлинно-демократической федеративной связи. «Национально-государственная проблема въ СССР» — связана не съ темъ только, что въ значительной мѣрѣ опредѣлило образование соѣтскаго союза въ прошломъ, но и съ темъ, что можетъ опредѣлить упраздненіе и смѣну нынѣшняго режима.



Заглавіе предлагаемой статьи взято нами изъ доклада, сдѣланнаго больше года тому назадъ въ Парижѣ виднымъ украинскимъ дѣятелемъ и идеологомъ сепаратистскаго движенія М. А. Славинскимъ. Теперь этотъ докладъ счелъ полезнымъ и своевременнымъ издать на русскомъ языкѣ

«Комитетъ дружбы народовъ Кавказа, Туркестана и Украины», — который съ полнымъ основаніемъ могъ бы именоваться и «Комитетомъ ненависти къ Россіи».

Докладъ - брошюра заслуживаетъ общественнаго вниманія прежде всего въ силу личности автора. Бывшій сотрудникъ и секретарь редакціи «Вѣстника Европы» послѣ Стасюлевича и кратковременный министръ самостоятельной Украины представляетъ собой, на фонѣ общей убогости сепаратистской идеологіи и, по сравненію съ ея низинами, несомнѣнно одну изъ идеологическихъ вышекъ. Съ другой стороны, если Достоевскій рекомендовалъ судить о русскомъ народѣ «не по тѣмъ мерзостямъ, которыя онъ такъ часто дѣлаетъ, а по тѣмъ великимъ и святымъ вѣщамъ, по которымъ онъ и въ самой мерзости своей постоянно въздыхаетъ», — необходимо, для сохраненія безпристрастія, и враговъ русскаго народа судить не по тѣмъ «мерзостямъ», которыя свершаютъ торгующіе «кусками» Россіи оломъ и въ розницу, тайкомъ и открыто, а по тому «великому и святому», по которому они «въ своей мерзости своей постоянно въздыхаютъ».

Славинскій — одинъ изъ очень немногихъ въ сепаратистскомъ лагерѣ, которые интересуются основаніемъ того, «во имя» чего другіе, практики и дѣльцы, творятъ свои «мерзости». Чрезвычайно поучительно, поэтому, ознакомиться и съ «Национально-государственной проблемой въ СССР», какъ ее себѣ представляетъ и другимъ излагаетъ одинъ изъ идеологовъ не украинскаго только сепаратизма, а общаго и мно-

гимъ другимъ плана расчлененія Россіи.

Точности ради надлежитъ все-таки отмѣтить, что «Комитетъ дружбы народовъ Кавказа, Туркестана и Украины» не включаетъ въ свой составъ даже всѣхъ «народовъ», вошедшихъ въ лигу «Прометей», — народовъ Ингерманландіи, Идель-Урала, Коми, Кубани и др., какъ въ самую лигу не вошли и «народы» Арменіи, Бѣлоруссіи и др.

О чемъ же «воздыхаетъ» М. А. Славинскій?

Въ однихъ случаяхъ онъ апеллируетъ отъ «домысловъ, не лишенныхъ остроумія и диалектической тонкости», къ «дѣйствительной жизни»; въ другихъ же, наоборотъ, онъ отвергаетъ эту «дѣйствительную жизнь», въ частности, «физическое преобладаніе великорусской массы, руководимой большевиками», — взывая къ собственнымъ «домысламъ» и «воздыханіямъ» о болѣе счастливой жизни для украинскіхъ массъ.

Авторъ трактуетъ свою тему не съ исторической или политической точки зрѣнія, а съ особой — «націологической». Къ сожалѣнію, новая — не совсемъ яразумительная — терминологія не избавляетъ «маститаго націолога», какъ рекомендуетъ автора «Комитетъ дружбы», отъ очень старыхъ ошибокъ и передежекъ. Авторъ склоняется къ формулированному еще старикомъ Блюнчли ирреальному тезису: Каждая нація должна создать свое государство, каждое государство — состоятъ изъ одной только національности. Славинскій утверждаетъ, что кто не раздѣляетъ этого тезиса Блюнчли и склоненъ считаться съ фактомъ существованія и жизнеспособ-

собности многонациональных государств, тотъ стоитъ на томъ, что «въ государствѣ можетъ быть только одна нація государственная, а остальные должны исчезнуть въ ея пользу» (подчеркнуто Славинскимъ).

Уже по одному такому, болѣе чѣмъ произвольному, упрощенію взглядовъ противника, можно судить о теоретическомъ уровнѣ націологін Славинскаго. За исключеніемъ мнѣшнихъ «арійскихъ» націологовъ, покровительствующихъ россійскихъ сепаратистамъ, въ теченіе уже многихъ вѣковъ ни одно политическое теченіе не защищало зоологически-пещерной теоріи — исчезновенія всѣхъ націй «въ пользу» одной, государственной. И какъ ни велики грѣхи и преступления царской Россіи въ отношеніи къ своимъ народамъ и инородцамъ, — что соответствовало и природѣ самодержавія, и общей его политикѣ закрѣпощенія и угнетенія всѣхъ подвластныхъ, въ томъ числѣ и коренного или «господствующаго» населенія, — было бы покляпомъ и исторической ложью утверждать, что самодержавная Россія стремилась къ «исчезновенію» своихъ «подкомандныхъ націй».

Чтобы не возвращаться къ арханическому тезису Блюнчли, который является краеугольнымъ камнемъ въ націологін Славинскаго, отмѣтимъ, что, противопоставляя тезису Блюнчли — тезисъ насильнической, изъ котораго якобы исходятъ всѣ несогласные съ Блюнчли и Славинскимъ, — авторъ самъ отнюдь не уравниваетъ въ правахъ всѣ народы и народности. И по его мнѣнію, «не всѣ онѣ (изъ свыше ста, которыя

насчитывала въ Россіи перепись 1897 года), конечно (!), были націями въ современномъ смыслѣ этого слова». Авторъ считаетъ, что подавляющее большинство — до 80% — этихъ народностей «были еще въ стадіи пластически-этнографическаго состоянія», такъ какъ отъ націй «кромѣ наличности широкихъ (?) народныхъ массъ, требуется еще извѣстная (?) длительность исторической традиціи, существованіе собственной литературы и наличности дѣйствительнаго кадра національной интеллигенціи».

Не будемъ вдаваться въ отвѣченный споръ о томъ, что есть нація въ современномъ смыслѣ этого слова: указанный перечень признаковъ представляется намъ и недостаточнымъ, и избыточнымъ — повторяющимъ одиакъ другимъ. Перейдемъ къ другимъ, не менѣе кричащимъ противорѣчіямъ и упрощеніямъ и прежде всего къ утвержденію, что «въ Россіи командная нація (т. е. великороссы), если брать не элиту ея, а нирокія народныя массы, была культурно ниже всѣхъ присоединенныхъ къ ней европейскихъ націй, ниже націй и народовъ Кавказа и Туркестана, ниже и многихъ иныхъ азіатскихъ народностей».

Хорошо, конечно, что Славинскій уступаетъ еще «элиту», т. е. Ломоносова и Менделѣева, Пушкина и Лермонтова, Герцена и Бѣлинскаго, Толстого и Достоевскаго, Мусоргскаго и Скрябина, Шаляпина и Павлову, Станиславскаго и Дягилева, Рѣпина и Врубеля. Но и то, что остается послѣ этого, можно принять лишь въ томъ случаѣ, если считать, что осѣдность не является признакомъ болѣе высокой культуры, нежели

быть кочевниковъ, какъ не является рѣшающимъ показателемъ культуры и наличности у народа (великороссая) письменности въ течение вѣковъ, въ то время, какъ у другихъ, якобы болѣе культурныхъ народовъ письменность только начинаетъ возвращаться по прямому приказу совѣтской власти.

Славинскій самъ отмѣчаетъ, что «великороссы, несмотря на всѣ ихъ огромныя успія и огромныя жертвы, не только не стали сами подлинной нацией въ государствѣ, ими же созданномъ (!), но не сумѣли даже стать базой для творимой нации имперской. Въ нѣкоторомъ отношеніи ихъ національное положеніе было даже худшимъ, по сравненію съ націями подкомандными. И тѣмъ не менѣе авторъ удерживаетъ свою характеристику великорусской націи, какъ «командной» по отношенію ко всѣмъ другимъ — «подкоманднымъ»!

Весьма низко ставя великорусскія «широкія народныя массы», авторъ не многимъ, въ сущности, милостивѣе къ великорусской интеллигенціи. «Эта элита физически — черель людей — въ нѣкоторой степени какъ будто близка всѣмъ народамъ Россіи, потому что среди нихъ всѣхъ вербовала она своихъ членовъ; психологически же, въ національномъ значеніи этого слова, — она была всѣмъ чужда, въ томъ числѣ даже и великороссамъ». «Рѣзко расходясь со всей имперской (великорусской) націей въ вопросахъ національно - государственныхъ, интеллектуальныхъ подкомандныхъ націй чувствованія, однако, нѣкоторую, если можно такъ выразить-

ся, свою идеологическую конгеніальность (?) съ той частью російской общественности (демократической), которая, какъ и она, воспитана была политически на идеяхъ европейскаго демократизма и социальной справедливости. Между ними всегда была извѣстная — правда, очень сдержанная — близость и нѣкоторое довѣріе». Но... Случилось невѣроятное: російская демократическая общественность отнеслась равнодушно къ созданному въ концѣ 17 года Грушевскимъ и Ко «Съѣзду народовъ» въ Кіевѣ; съѣздъ провалился и своимъ проваломъ «отрезвилъ» настроеніе интеллигенціи подкомандныхъ націй» — «навсегда зачеркнулъ ее довѣріе къ конгеніальной съ нею политически демократической частью російской общественности! Окончательно обнаружилось, что «чрезвычайная напористость денационализаторскихъ успій» характерна не только для государственнаго аппарата, но и для російской общественности! Демократическая общественность «просто ничего не поняла» въ томъ, что произошло; другое дѣло — большевики.

Слѣдующая принятой большевиками и реакціонерами «периодизация» русской исторіи, націоналогъ-сепаратистъ дѣлитъ ее на императорскій, или до-революціонный періодъ, до Февраля (когда случилась не революція, а «катастрофа») и по-революціонный или совѣтско - большевистскій періодъ «подлинной революціи». Эта периодизация позволяетъ автору вмѣнить въ вину преступленія Октября дѣятелямъ Февраля и «амальгамировать» воедино всю «передовую общественность». Вмѣстѣ съ тѣмъ имъ устанавливается гене-

тическая связь сепаратистских движений съ большевистскимъ.

«Въ Великороссіи она (подлинная революція) приобрѣла чисто социальный характеръ, у подкомандныхъ націй социальные элементы ея ярко окрасились въ національные цвѣта, „положивъ начало отдѣленію ихъ отъ имперіи и провозглашенію государственной независимости“. Интеллигенты-сепаратисты, или, какъ Славинскій выражается, «национальные интеллектуалы» рѣшили «по отношенію къ большевикамъ принять ихъ же тактический приемъ», — они приняли большевистскую программу въ національномъ вопросѣ съ заранѣе обдуманнѣмъ намѣреніемъ при первомъ же удобномъ случаѣ отказаться отъ нея и, обогнавъ большевиковъ, «отрѣзать имъ какіе бы то ни было пути къ національнымъ народнымъ массамъ».

Изъ состязанія во взаимномъ обманѣ и посулахъ социальныхъ демагоговъ и национальныхъ побѣдителями вышли, какъ извѣстно, первые, большевики: «обходившіе ихъ оказались сами обойденными», — какъ это было предсмотрѣно еще Клаузевицемъ. Славинскій не отрицаетъ факта пораженія, которое понесли сепаратисты въ своей борьбѣ противъ большевиковъ большеинистскимъ же оружіемъ. У него имѣется, однако, утѣшеніе: «пораженіе нисколько не отразилось на динамической силѣ національно-государственной проблемы внутри подкомандныхъ націй», ибо «въ этой борьбѣ между ними и великороссами, не только между арміями, а что гораздо важнѣе: между народами легла кровь, а, какъ извѣстно, въ народномъ

представленіи кровь пролитая вопіеть объ отмщеніи — вопіеть въ покодѣніяхъ». «Борьбой и кровью окрашенъ ихъ (подкомандныхъ націй) отрывъ отъ императорской Россіи, въ той же атмосферѣ произойдетъ и ихъ освобожденіе отъ СССР». — На этомъ основаніи бывший русскій интеллигентъ, а нынѣ нціоналогъ украинскаго сепаратизма изступленно взываетъ: «Прочь отъ Москвы, отъ всякой Москвы — красной и бѣлой, отъ всякаго режима — царскаго, большевистскаго и демократическаго, отъ всякаго имперскаго единства — внѣшняго и внутренняго, — прочь отъ Россіи вообще!»

Авторъ зачеркиваетъ тѣмъ самымъ не только собственное политическое прошлое и былую общую борьбу за утвержденіе свободы и справедливости для всѣхъ составляющихъ Россію народовъ и народностей. Онъ безповоротнѣ рветъ съ традиціоннымъ для русской интеллигенціи гуманизмомъ и идеализмомъ и ставитъ на ихъ мѣсто законъ кроваваго отмщенія и перманентной войны всѣхъ противъ всѣхъ. Ибо Славинскій правъ, когда повторяетъ общее мѣсто о недостаточности или даже «ничтожности» интереса, который проявляла великорусская, или россійская интеллигенція къ имперскому единству, несмотря на то, что «усиліями именно великороссовъ, какъ народа, создана была теперь разваливающаяся имперія». Онъ упускаетъ изъ виду лишь то, что это все было — **въ прошломъ**.

Если «национальные интеллектуалы» успѣли за послѣдніе годы пройти съ родственными имъ массами «практический семинаръ національнаго государствовѣдѣнія»,

то вѣдь не стояли на мѣстѣ и тѣ, кто продолжаютъ причислять себя къ русской интеллигенціи. И они кое къ чему приглядѣлись, кое чему научились и кой отъ чего, разочаровавшись, отказались. Въ свѣтѣ и опытѣ пережитого за послѣднія 20 лѣтъ, и въ Россіи, и за ея рубежами не переставшіе считать себя россиянами научились цѣнить многое изъ того, къ чему раньше относились безразлично или съ наивно-благодушной увѣренностью, что политическая свобода, социальное равенство и національное братство устанавливаются путемъ совмѣстной и согласованной борьбы всѣхъ угнетаемыхъ народовъ, классовъ, группъ противъ угнетателей различныхъ видовъ и ранговъ. Эта наивная вѣра давно разсѣялась: въ частности, послѣ того какъ гонимые и преслѣдуемые партіи и классы превратились въ угнетателей и преслѣдователей, а бывшая «подкомандная нація», превратилась либо сами въ націю командующія, либо добровольно поставили себя на службу и «подъ команду» угрожающихъ Россіи державъ: Германіи, Польши, Турціи, Японіи.

При очной ставкѣ, устроенной исторіей российской интеллигенціи и «национальнымъ» интеллектуаламъ, первой не разъ дано было убѣдиться, что отдѣлившіяся отъ Россіи «подкомандная нація» оказывались болѣе нетерпимыми и жестокими въ отношеніи къ своимъ «подкоманднымъ» меньшинствамъ, нежели даже деспотическая царская власть. И вой-

ны, которыя вели между собою отдѣлившіяся отъ Россіи народы на Кавказѣ и въ Прибалтикѣ — войны за расширеніе своихъ территоріальныхъ границъ каждой изъ націй — тоже не свидѣтельствуютъ о якобы болѣе высокомъ морально-политическомъ и культурномъ уровнѣ «подкомандныхъ націй». Наконецъ, если взять «оселоковъ» для испытанія національно-государственной культуры — злополучный еврейскій вопросъ, — исторія какъ разъ Украины оказывается особенно неблагоприятной, являя собою мало съ чѣмъ сравнимыя проявленія варварства и жестокости. Здѣсь можно говорить даже о «традиціи», уцѣлѣвшей на протяжении почти трехъ вѣковъ, — отъ «украинской рѣзни евреевъ» 1648 года, при Богданѣ Хмельницкомъ еще до воссоединенія Украины съ Москвою, и вплоть до чудовищнаго истребленія евреевъ при Петлюрѣ послѣ отдѣленія Украины отъ Москвы въ 1919 г. Здѣсь уже не скажешь, что связь съ Великоросіей понизила культуру даже Украины, — не то что бродячихъ кочевниковъ Азіи.

Сепаратисты могутъ стремиться къ «дислокаціи» Россіи — они не первые и не единственные. Помять ихъ немудрено. Но всякая попытка прикрыть заинтересованность видимостью идеологии и своей якобы болѣе высокой культурностью лишь компрометируетъ лично такихъ идеологовъ и культуртрегеровъ.

М. В. Вишнякъ.

Сожительство націй

Писать настоящую статью приходится в дни, когда весь мир застылъ въ величайшемъ напряженіи передъ непосредственной угрозой всеобщаго разрушенія и убійства. Каковы бы ни были скрытыя въ глубинѣ причины событий — конфликтъ силы и права, борьба за мировую гегемонію — все же человѣчество оказалось на порогѣ катастрофы, изъ-за вопроса о національной судьбѣ маленькой группы людей, во много разъ меньшей числомъ, чѣмъ тѣ, кому суждено быть убитыми и искалѣченными въ случаѣ войны. Къ тому времени, когда эта статья будетъ напечатана, проблема окажется такъ или иначе разрѣшенной, или же рѣшеніе ея будетъ предоставлено военному счастью. Но чешско-судетскій конфликтъ примѣчателенъ не только по опасностямъ, которыя къ нему кроются, а еще и потому, что въ его развитіи, длящемся уже нѣсколько мѣсяцевъ, съ предѣльной остротой поставленъ, передъ всѣмъ миромъ, одинъ изъ самыхъ жгучихъ вопросовъ современности: что такое нація, въ чемъ сущность национальныхъ правъ, и при какихъ условіяхъ люди разныхъ національностей могутъ жить въ одномъ государствѣ.

Съ внѣшней стороны, весь споръ, начиная съ апрѣльскихъ «восьми Карлсбадскихъ условій», и до послѣднихъ дней (середина сентября: рѣчь Гитлера, свиданіе съ Чемберленомъ), кажется однимъ длительнымъ торгомъ.

Одна сторона выставляетъ извѣстные требованія; другая — принимаетъ нѣкоторыя изъ нихъ, потому еще кое-какія, наконецъ, почти всѣ; казалось бы, створъ вотъ-вотъ будетъ достигнутъ, но въ это время первая сторона выдвигаетъ новыя, еще болѣе крайнія требованія, и торгъ продолжается.

Однако это впечатлѣніе торга, сближенія и удаленія позицій — поверхностно и ошибочно. Въ дѣйствительности, обѣ стороны съ самаго начала исходятъ изъ совершенно различныхъ концепцій, находятся въ разныхъ плоскостяхъ: въ разныхъ плоскостяхъ онѣ и продолжаютъ маневрировать, такъ что никакого реального соприкосновенія или хотя бы относительнаго сближенія получиться не можетъ. Въ основѣ конфликта лежитъ непримиримая противоположность міровоззрѣній.

Дѣйствительно, что есть нація съ индивидуалистической («демократической») точки зрѣнія? Совокупность людей, объединенныхъ общностью извѣстныхъ признаковъ. Безполезно вступать въ старыя, запутанные и ненабывные споры о томъ, каковы эти признаки. Ограничиваться-ли по Ренану «сознаніемъ», спускаться-ли въ области филологій, этнографіи, антропологій, все равно, въ такой концепціи нація всегда лишь конкретная совокупность индивидовъ. Интересъ этихъ людей, связанный съ принадлежностью къ извѣстной національности, и требующій правовой защиты,

ты, можетъ очевидно заключаться въ томъ, чтобы при всѣхъ обстоятельствахъ жизни пользоваться своимъ роднымъ языкомъ; въ томъ-же языкѣ воспитывать своихъ дѣтей; при этомъ безпрепятственно заниматься профессиональной дѣятельностью, имѣть доступъ къ государственнымъ и общественнымъ должностямъ и т. дал.

Напротивъ, съ точки зрѣнія коллективистической («тоталитарной») нація есть нѣчто соебѣмъ другое: общность, живое существо, стоящее надъ индивидами и всецѣло поглощающее ихъ. Национальныя права отдѣльныхъ людей сами по себѣ не имѣютъ значенія: они существенны лишь постольку, поскольку служатъ на благо дѣлаго, т. е. націи, высшій интересъ и высшее право которой заключается въ ея цѣлокупности и въ возможности самой суверенно опредѣлять свою судьбу.

Эта вторая концепція и была съ самаго начала выдвинута вождями судетской партіи. Отсюда пресловутое требованіе (въ Карлсбадскихъ «условіяхъ»), о признаніи судетскаго меньшинства личностью; пунктъ, который казался туманнымъ, и дѣйствительно является таковымъ, если къ нему подходить съ индивидуалистическимъ мировоззрѣніемъ, — съ точки же зрѣнія тоталитарной въ немъ конечно вся суть. Такимъ образомъ, обѣ позиціи, по существу своему несогласуемая, опредѣлились съ момента возникновенія конфликта. Тактическая уловка, и при томъ соебѣмъ нехитрая, заключалась лишь въ томъ, что вначалѣ судетскіе нѣмцы условно рассматривались, какъ нація, т. е. всеобъемлющій коллективъ.

въ послѣдствіи-же естественно оказалось, что они представляютъ собой лишь часть истиннаго верховнаго существа — германской націи.

Воспринимая — безъ особыхъ трудностей — почти всѣ требованія судетской партіи, чешское правительство конечно трактовало ихъ индивидуалистически, и не могло поступать иначе. Такъ какъ и безъ того нѣмцы (подобно членамъ другихъ меньшинствъ) вовсе не были въ Чехословакии отверженными существами, а, напротивъ, много лѣтъ участвовали въ правительствѣ республики, то рѣчь должна была идти лишь о дальнѣйшемъ упрощеніи ихъ положенія въ государствѣ. И при индивидуалистической концепціи, вопросъ сводится не къ однимъ только личнымъ правамъ, но и къ формамъ общественной организаціи, которыя наилучшимъ образомъ могутъ такія права обезпечить. Въ этой-то области государственной техники чехи и вели споръ, постепенно отступая, и выдвигая сперва проекты широкаго мѣстнаго самоуправленія, а затѣмъ и «кантональной» организаціи страны, т. е. переустройства ея на федеративныхъ основахъ.

По смутнымъ газетнымъ свѣдѣніямъ могло казаться, будто въ какой-то моментъ переговоровъ все различіе сводилось къ тому, что чехи хотѣли разбить нѣмецкое население между тремя кантонами, а лидеры судетской партіи желали образованія единой нѣмецкой земли въ составѣ федерации. Можетъ быть такъ оно и было, и вѣроятно въ этотъ моментъ посредники считали свою миссію почти осуществленной. А между тѣмъ, непримиримое про-

творческие двухъ воззрѣній продолжало существовать, скрываясь въ терминахъ технического спора.

По одной концепции, конечными элементами федеративнаго государства являлись бы его граждане: чехи, нѣмцы, словаки и т. д. Дѣла мѣстной администраціи, школы, культурныхъ учреждений въ кантонахъ и болѣе или менѣе однообразный національный составъ каждаго кантона должны были способствовать болѣе полному и легкому удовлетворенію соответствующихъ нуждъ населенія; въ обще - государственныхъ же вопросахъ каждый былъ бы гражданиномъ федерации, независимо отъ своей національной принадлежности.

При противоположной концепции, такое устройство просто невозможно. Такъ какъ индивидъ есть лишь часть цѣлаго — націи — и такъ какъ неограниченное и безусловное подчиненіе этому цѣлому есть его первая и священная обязанность, то кантональное правительство приобретаетъ значеніе органа національной воли, для той національности, которая по преимуществу населяетъ кантонъ. Если люди данной национальности распределяются между нѣсколькими, напр. тремя, кантонами, то каждое изъ трехъ правительствъ будетъ осколкомъ національной воли, или вѣрнѣе всѣ три должны отражать единую национальную волю, истинный и верховный органъ которой будетъ стоять надъ ними и за ними, въ видѣ единоличнаго вождя, или партійнаго комитета и т. д.

Какъ легко замѣтить, коллективистическое или тоталитарное воззрѣніе въ основѣ своей несовмѣстимо съ идеей федерации, сущ-

ность которой заключается въ томъ, что человѣкъ одновременно является гражданиномъ двухъ государствъ: штата (кантона) и союза. Для того, чтобы такое двойное гражданство было возможно, нужно, чтобы ни одинъ изъ коллективовъ не поглощалъ человека цѣликомъ, т. е. чтобы индивидъ оставался мѣрой вещей, послѣдней основой общегитія. Поэтому федеративная форма государства и родилась только въ концѣ XVIII-го вѣка, съ побѣдой индивидуалистическихъ концепцій.

Союзное (федеративное) государство есть непременно государство правовое: связь гражданина съ обоими коллективами (штатомъ и союзомъ) должна быть правовой, юридической связью; только въ этомъ случаѣ объемъ власти каждаго изъ коллективовъ можетъ быть точно опредѣленъ, и двойная дисциплина осуществима. Если же съ однимъ изъ двухъ коллективовъ гражданинъ связанъ мета-юридическимъ отношеніемъ, напр., связью биологической, отношеніемъ части къ цѣлому и т. п., то все построеніе тотчасъ падаетъ.

Если такая мета-юридическая связь устанавливается между гражданами и центральной (федеральной) властью, государство перестаетъ быть федерацией, потому что ея члены (штаты) неизбежно теряютъ самостоятельность и становятся обыкновенными провинціями: такое превращеніе произошло въ Германіи.

Если же подобная связь устанавливается между населеніемъ и кантональными правительствами, федерация перестанетъ существовать, потому что у нея не будетъ гражданъ: они разобьются между

нѣсколькими коллективами, превратившись въ ихъ нераздѣльную часть; вопросы общесоюзные неизбежно должны будутъ рѣшаться по договору между этими коллективами, и при отсутствіи абсолютнаго единодушія по какому-либо вопросу, рѣшеніе станетъ невозможнымъ. Союзное государство (федерация) превратится въ лучший случай въ союзъ государствъ, миниатюру Лиги Націй; у него не можетъ быть ни единой воли, ни органовъ принужденія, ни общей арміи.

Такимъ образомъ, федеративный строй несовмѣстимъ съ коллективистическимъ мировоззрѣніемъ, въ частности съ тоталитарнымъ націонализмомъ. Къ этому слѣдуетъ прибавить, что федеративное устройство государства никогда не было (да и не могло быть) средствомъ рѣшенія национальныхъ проблемъ.

Въ этомъ вопросѣ существуетъ недоразумѣніе, длящееся цѣлый вѣкъ; его постоянно разъясняютъ, и никакъ не могутъ разсѣять. Недоразумѣніе особенно усиливается вслѣдствіе одного почти случайнаго обстоятельства: въ Европѣ существуетъ одно единственное государство, въ которомъ мирно уживаются націи, за его предѣлами смертельно враждующія между собой; это государство есть федерация, въ настоящее время единственная въ Европѣ. Отсюда выводъ, напрашивающійся съ непреодолимой наязвчивостью: федеративный принципъ — ключъ къ дружному сожительству націй.

Тысячи разъ уже указывалось, что если въ Швейцаріи нѣтъ национальныхъ конфликтовъ, то фе-

деративный строй не причина этого, а развѣ лишь одна изъ многихъ причинъ, и что во всякомъ случаѣ соотношение между двумя явлениями совсѣмъ не такъ просто, какъ кажется. Швейцарцы постоянно съ насмѣшкой повторяютъ, что если бы ихъ страна состояла изъ кантоновъ нѣмецкаго, французскаго и итальянскаго, то единство не продлилось бы и нѣскольکو мѣсяцевъ. Въ дѣйствительности, изъ 22-хъ кантоновъ десять — и при томъ самыя значительныя — неоднородны по національному составу населенія; 17 изъ 22-хъ неоднородны по религіозному составу. Каждый кантонъ индивидуаленъ, своеобразенъ, но это есть своеобразіе территориально-историческое, а не національное. Границы между кантонами не имѣютъ никакого отношенія къ границамъ национальныхъ и языковыхъ областей. Национальныя различія стоять вообще внѣ поля зрѣнія государства. Союзная конституція ограничивается тѣмъ, что въ раздѣлѣ объ **организации властей** упоминаетъ: «три главныхъ языка Швейцаріи, нѣмецкій французскій и итальянскій, являются национальными языками союза» (какъ извѣстно, недавно къ нимъ прибавленъ и четвертый, романскій языкъ, нарѣчіе маленькой группы людей въ кантонѣ Граубюнденѣ). Употребленіе этихъ языковъ въ официальныхъ сношеніяхъ, въ школѣ и т. д. отнюдь не связано съ принадлежностью къ какимъ-либо коллективамъ: просто каждый гражданинъ можетъ обращаться къ властямъ на любомъ изъ 4-хъ языковъ; каждая община рѣшаетъ языковой вопросъ въ своихъ школахъ и др.

учреждениях сообразно съ удобствами мѣстных жителей.

Швейцарскій примѣръ, при внимательномъ разсмотрѣнн, подтверждаетъ самымъ рѣшительнымъ образомъ положеніе, прямо противоположное тому, которое обыкновенно на немъ основываютъ. Въ дѣйствительности, изъ этого примѣра слѣдуетъ, что государство, хотя бы и федеративное, не можетъ быть построено изъ суммы національныхъ группъ; существованіе многонаціональнаго государства возможно, но именно въ томъ случаѣ, если его граждане формально не разбиты на національныя группы, т. е. если государственная организація не связана съ національною дифференціаціей населенія.

Исторія другихъ федерацій или вовсе не имѣетъ отношенія къ разсматриваемому нами вопросу (напр., Австралія, Новая Зеландія, Аргентина съ ихъ однороднымъ населеніемъ), или же приводитъ, правда, съ гораздо меньшей яркостью, къ тѣмъ же выводамъ (французы и англичане въ Канадѣ и т. п.).

При всей элементарности вышеприведенныхъ положеній, они вовсе не являются общимъ достояніемъ, и въ частности совершенно чужды русскому политическому сознанію. Казалось бы все, что имѣетъ отношеніе къ проблемамъ національности, должно вызывать особый интересъ русскаго общества, потому что задачи, которыя стоятъ передъ Россіей въ этой области, поистинѣ грандіозны, и отъ ихъ рѣшенія болѣе, чѣмъ отъ чего-либо иного, зависитъ будущее страны. А между тѣмъ — нельзя не думать-

ся, какъ вопреки богатѣйшему государственно-административному опыту, на протяженіи вѣковъ накопленному Имперіей, русская политическая мысль довольствовалась, въ національныхъ вопросахъ, самыми примитивными формулами.

Прежде всего, какъ основная аксіома, не подверженная сомнѣніямъ, воспринималось положеніе, что каждая національность можетъ и должна образовать отдѣльное государство.

Эта истина — французскіе и германскіе истоки которой очевидны — находилась въ явномъ противорѣчн не только съ исторіей, но также съ географіей и демографіей Россіи. Однако, представляя ли себѣ кто-нибудь конкретно результаты ея приложенія на русскихъ равнинахъ? Въ теченіе цѣлаго вѣка для русской общественной мысли національный вопросъ покрывался вопросомъ о польско-русской распрѣ, все остальное рисовалось въ самыхъ смутныхъ и фантастическихъ чертахъ. Чего стоятъ одни разсужденія Герцена объ Украинѣ, адресованныя, конечно, не украинцамъ (за отсутствіемъ таковыхъ въ полѣ зрѣнія), а полякамъ:

«Ну, если послѣ всѣхъ нашихъ разсужденій, Украина... не захочетъ быть ни польскою, ни русскою? По моему, вопросъ рѣшается очень просто. Украину слѣдуетъ въ такомъ случаѣ признать свободной и независимой страной... Пусть они скажутъ свое слово, перешагнуть черезъ кнутъ къ намъ, черезъ палежъ къ вамъ, или, если они умны, протянутъ намъ обоимъ руки на братскій союзъ и на независимость отъ

обояхъ. Вотъ потому то я такъ высоко цѣню федерализмъ» (Колоколь, 1859 г., № 34).

И «Федерализмъ», и «независимость», и «братскій союзъ» въ этомъ случаѣ очевидно не имѣютъ точнаго значенія; все расплывается въ общемъ потокѣ оптимистическаго прекраснодушія.

Если такъ пишетъ осторожный и разсудительный Герценъ, то естественно, что ужь у Бакунина въ національномъ вопросѣ — сплошной хаосъ и декламация. «Хотимъ братскаго и, если возможно, федеративнаго союза съ Польшею, Литвою, Украйною, Прибалтійскими жителями и народами Закавказскаго края» («Романовъ, Пугачевъ или Пестель»). Особенно замѣчательны, конечно, эти прибалтійскіе жители, родъ и званіе которыхъ очевидно Бакунину неизвѣстны, но съ которыми онъ тѣмъ не менѣе хочетъ установить «федеральный», а на худой конецъ просто «братскій» союзъ.

Надо помнить, впрочемъ, что для людей середины прошлаго вѣка, и для Герцена, и для Бакунина, и даже для Драгоманова, поспе для поколѣній, идейно связанныхъ съ революціей 48-го года, существовало внутреннее родство (для насъ уже неуловимое) между идеями національной свободы — братства націй — федерализма — союза свободныхъ общинъ. Даже надъ Драгомановымъ витаетъ тѣнь Прудона, и когда онъ предлагаетъ русскимъ социалистамъ «стремиться къ восточно-европейской интернаціональной федераціи», его проекты явно относятся не къ нынѣшнему, реальному, несовершенному міру, а къ будущему, преобра-

женному въ огнѣ единой и спасительной революціи.

Слѣдующее поколѣніе, съ высоты своего интернаціонализма, просто презирало жалкія національныя проблемы. Впрочемъ, еще въ 1872 г. предшественники русскихъ социаль-демократовъ писали: «Въ будущей федеральной Европѣ границы между федеративными единицами будутъ имѣть крайне малое значеніе, прибавляя къ этому съ прозорливостью, которую мы въ настоящее время особенно должны оцѣнить: «...различіе національностей становится лишь блѣднымъ преданіемъ исторіи» («Впередъ», русское изд. въ Цюрихѣ).

Несмотря на грозное появленіе центробѣжныхъ стремленій въ началѣ XX-го вѣка, русское общество продолжало пребывать въ счастливомъ невѣдѣніи національныхъ проблемъ; для него онѣ попрежнему исчерпывались польскимъ вопросомъ, да еще, пожалуй, вопросомъ еврейскимъ, трактуемымъ въ отвлеченно-этическомъ стилѣ, и преимущественно какъ матеріалъ для борьбы съ режимомъ.

Врядъ ли кто нибудь въ Россіи серьезно становился на точку зрѣнія, высказанную въ 1861 году вѣткимъ «Великоруссомъ»: «Мы, великоруссы, достаточно сильны, чтобы остаться однимъ, имѣя въ себѣ всѣ элементы національнаго могущества*»). Но

* Прокламация, нелегально выпущенная въ Петербургѣ, и перепечатанная въ «Колоколѣ». Впрочемъ, и самъ «Великоруссъ» высказывалъ это на крайній случай, явно не вѣря въ наступленіе такого случая.

запасъ представлений о формахъ свободнаго существованія многонаціональнаго государства быть накануне революціи почти такъ же скуднымъ, какъ и за 60 лѣтъ до того. Прimitивная идея «самоопредѣленія», съ послѣдующимъ «братскимъ союзомъ» (или безъ него) въ общемъ господствовала по всей линіи.

Эти идеи и опредѣлили конструкцію СССР. Въ національномъ вопросѣ, какъ и во многихъ другихъ, русскіе коммунисты шли по дѣлѣ наименьшаго сопротивленія, пользуясь готовыми рецептами и принимая на себя роль завершителей и воплоателей столѣтняго революціоннаго движенія.

Принципъ, по которому каждая національность должна быть выдѣлена въ самостоятельную государственную единицу, доведенъ былъ до самыхъ крайнихъ предѣловъ. Обитатели Рязани или Калуги, вчера еще недовѣрчиво улыбавшіеся, читая, будто нѣмцы хотятъ изъ хохловъ сдѣлать государство, теперь узнали о возникновеніи бурятскихъ и башкирскихъ республикъ, о каракалпакскихъ и ойратскихъ автономіяхъ. Слѣдуя данной директивѣ, революціонные чиновники перекраивали страну, сладострастно выискивая малѣйшій признакъ національной дифференціаціи, чтобы готчасъ зацѣпиться за него.

Такъ возникло чудовищное дѣланіе, по сложности не имѣющее себѣ равныхъ въ мірѣ, многоязычная федерація народовъ и племенъ.

Сложность сама по себѣ не яв-

ляется недостаткомъ, и предпочтительнѣе, чѣмъ искусственное упрощеніе. Эта многостепенная федерація была-бы, можетъ быть, удовлетворительнымъ средствомъ рѣшенія національныхъ проблемъ и опроверженіемъ предшествующихъ выводовъ о невозможности построить государство путемъ суммированія національныхъ группъ, если бы не два существенныхъ возраженія.

Первое изъ нихъ заключается въ томъ, что зданіе, кажущееся столь импозантнымъ, въ дѣйствительности пустая декорація. Оно держится не силою собственной тяжести, а только благодаря подпоркамъ диктатуры. Что будетъ, если подпорки рухнуть? Надо бы, ло бы посмотреть, что станеть съ этими совѣтскими и автономными республиками и областями, если конфликты, ежедневно порождаемые жизнью, придется рѣшать не по указкѣ свыше, а по взаимному створу; свободной игрой политическихъ силъ. Не будетъ ли самая конструкція государства способствовать тому, чтобы каждый спорный вопросъ, социальный, экономическій, административный, переключался въ національную распрю, со всѣми вытекающими отсюда послѣдствіями?

Есть и второе возраженіе: какъ ни сложно территориальное распредѣленіе въ СССР, съ его доведеннымъ до абсурда «самоопредѣленіемъ», задача выдѣленія каждой національности въ особую единицу далеко не достигнута, потому что въ Россіи она вообще недостижима.

Возьмемъ нѣсколько цифръ. По переписи 1926 г., въ СССР было

144 милліона населенія, въ томъ числѣ *):

	милл.
русскихъ	84
украинцевъ	28
тюрко-татаръ	5
казаковъ (т. е. киргизъ-кайсаковъ) и киргизовъ	5
бѣлоруссовъ	3
грузинъ	2
евреевъ	2
армянь	1,5
морды	1,2
нѣмцевъ	1,2

и т. д. — официальная номенклатура насчитываетъ всего 185 национальностей.

Несмотря на обиліе автономныхъ республикъ и областей и на фантастическое переплетеніе границъ, почти во всѣхъ территориальныхъ единицахъ зарегистрированы значительныя национальныя меньшинства. Такъ, на положеніи меньшинствъ находится 12,2 милліона русскихъ, изъ коихъ 5,8 милліоновъ живутъ хотя и въ РСФСР, но на территоріи автономныхъ республикъ и областей, 4,4 милліона въ Украинѣ, 1,2 милліона въ Бѣлоруссіи и т. д.; болѣе четверти всѣхъ украинцевъ (8 милліоновъ) живутъ внѣ предѣловъ УССР, а въ то же вре-

мя въ УССР — 7 милл. не-украинцевъ; въ Башкирской республикѣ болѣе половины населенія не-башкиры, въ Татарской — болѣе половины не-татары, а между гѣмъ и башкирь и татаръ сотни тысячъ живутъ на другихъ территорияхъ. Общее-же число людей, находящихся въ положеніи национальныхъ меньшинствъ, т. е. внѣ своихъ республикъ или автономныхъ областей, достигаетъ въ СССР 29,9 милліоновъ.

Чтобы можно было какъ слѣдуетъ оцѣнить эту цифру, полезно привести слѣдующую справку.

По мирнымъ договорамъ, въ 14 государствъ Европы (Польша, лимитрофы, Дунайскій бассейнъ, Балканы) установленъ былъ режимъ международной охраны меньшинствъ. Какъ извѣстно, изъ охраны ничего не получилось, а притязанія и жалобы меньшинствъ напоминаютъ всю исторію послѣднихъ 20-ти лѣтъ и въ настоящее время грозятъ вызвать общую катастрофу. Населеніе этихъ 14-ти государствъ, признанныхъ неблагополучными въ национальномъ отношеніи, достигаетъ примѣрно 120 милліоновъ, изъ которыхъ къ меньшинствамъ принадлежитъ около 30 милліоновъ.

Такимъ образомъ, послѣ безпощаднаго примѣненія въ СССР принципа выдѣленія и разграниченія национальностей, послѣ созданія дѣлаго ряда искусственныхъ и по всей видимости нежизнеспособныхъ — въ нормальныхъ условіяхъ — государственныхъ и полу-государственныхъ единицъ, неразрѣшенный остатокъ национальной проблемы въ Россіи равенъ (по числу непристроенныхъ) суммѣ всѣхъ национальныхъ про-

*) «Народность и родной языкъ населенія СССР», М. 1928. Изданіе ЦСУ СССР. — Всѣ приведенныя цифры относятся къ распределенію населенія по языку: эти данныя представляются мнѣ гораздо болѣе достоверными, чѣмъ тѣ, которыя относятся къ распределенію по народности. Впрочемъ, объ серіи цифръ не настолько различны, чтобы въ чемъ либо измѣнились выводы.

блемь въ Европѣ: здѣсь обойде-но 30 милліоновъ изъ 120, тамъ 30 милліоновъ изъ 144. Но въ Европѣ еще продолжаютъ кронтъ и клентъ, а въ Россіи уже некуда дальше идти на этомъ пути. Самый характеръ расселенія національностей въ Россіи, исторія ихъ сожительства, свободнаго передвиженія и смѣшенія народныхъ массъ въ предѣлахъ имперіи, дѣлаеть тщетными попытки установленія твердыхъ территориальныхъ границъ между племенными и языковыми группами.

Возможно, конечно, что послѣ крушенія нынѣшней диктатуры въ Россіи начнутся все же опыты новаго національнаго размежеванія, на этотъ разъ уже всерьезъ, съ цѣлью разбрестись въ разныя стороны изъ вѣкового общаго дома. Острота национальныхъ конфликтовъ въ современномъ мѣрѣ говорить за вѣроятіе такой перспективы; она стала бы неизбежной, если бы идеи тоталитарнаго национализма овладѣли Россіей.

Опасно и слѣпо было бы думать, что такой исходъ катастрофиченъ только для русскаго народа, тысячу лѣтъ строившаго имперію. Размежеваніе поглотило бы усилія долгихъ поколѣній, было бы связано съ безчисленными войнами, съ уничтоженіемъ и переселеніемъ десятковъ милліоновъ людей; всѣ народности, населяющія Россію, были бы оравлены ядомъ взаимной ненависти, пути ихъ культурнаго развитія были бы неоправимо прещены и извращены.

Конечно, это гибельное размежеваніе посредствомъ истребленія можетъ быть избѣгнуто только въ томъ случаѣ, если новое,

послѣ-коммунистическое государство будетъ построено на идеѣ достаточно широкой и всеобщей, одинаково понятной и близкой асьмъ 185-ти национальностямъ. не менѣе универсальной, чѣмъ идея Бѣлаго царя, которой Россія держалась вѣками. Но кромѣ основной идеи, есть еще вопросъ государственной техники, безконечно сложный въ русскіихъ условіяхъ вопросъ организаціи сожительства націй. Способъ его рѣшенія посредствомъ дифференціаціи национальностей и послѣдующаго механическаго ихъ сложения — тотъ способъ, на которомъ теоретически построенъ СССР, и который нерѣдко рекомендуютъ въ Европѣ — не только въ дѣйствительности никогда не былъ осуществленъ, но и по природѣ своей неосуществимъ. Единственный настоящій путь многонациональнаго государства есть путь уничтоженія, а не воздвиженія национальныхъ границъ, его методъ — отдѣленіе национальныхъ проблемъ отъ территориально-административныхъ, и та глубина и широта самоуправленія, при которой языковые вопросы изъ сферы абстрактной переходятъ въ конкретную, перестаютъ быть объектомъ спортивно-политическихъ упражненій, становясь вопросами ежедневной практики, духовнаго комфорта *).

Прекрасно сознавалъ это — по крайней мѣрѣ въ свои лучшія минуты — одинъ изъ основоположниковъ украинскаго націонализ-

*) Другой взглядъ развитъ въ статьяхъ М. В. Вишняка, въ частности, въ статьѣ «Национальные вопросы въ СССР». — «Совр. Записки» № 35. — Ред.

ма, Драгомановъ. Въ его литературномъ наслѣдствѣ, среди многихъ страницъ, испорченныхъ злобой или фантастикой, есть жѣста, представляющія собой и понятнѣ истинную программу будущаго строительства Россіи: «Наиболѣе отвѣчающимъ своему назначенію будетъ, если мы поведемъ борьбу... не на національной, а на государственно-административной основѣ, т. е. станемъ выдвигать на первый планъ необходимость жѣстной, областной автономіи общинъ, уѣздовъ, провинцій (губерній или ряда ихъ), а затѣмъ, если какая-нибудь община или область, пользуясь своимъ правомъ, организуетъ у себя школы съ извѣстнымъ національнымъ уклономъ, то это будетъ ея дѣло; главное, чтобы никто сверху не

имѣлъ права ей въ этомъ препятствовать. На такомъ порядкѣ, а совсѣмъ не на раздѣлѣ государства примѣнительно къ его этнографической картѣ, держится національное равноправіе въ Швейцаріи. Въ этомъ и заключается подлинный, здоровый, всѣмъ выгодный федерализмъ, представляющей собой нѣчто совершенно иное, чѣмъ раздѣлъ централизовъ и национальныхъ гегемоній на болѣе мелкую монету, что мы видимъ у различныхъ националистовъ» *).

Ю. К. Рапопортъ.

*) Мих. Драгомановъ. «Чудацькі думки про українську національну справу», 1891 (письмо къ галиційскимъ украинскимъ националистамъ).

Судьба Чехословакіи

Съ глубокой горечью, граничащей съ огчаіемъ, приходится, въ свѣтѣ совершающихся событій, признать, что въ старой, дорогой намъ какъ вторая родина Европѣ грубая сила окончательно побѣдила надъ остатками элементарной морали и права, которыми еще какъ-то до сихъ поръ регулировались совместная жизнь цивилизованныхъ націй.

Очередная жертва новаго варварства, Чехословакія, культурная и глубоко мирная страна, вѣрная союзница великихъ демократическихъ державъ, подвергшаяся нѣтъ не вызванному нападению кощунственнаго и жестокаго врага, — оставлена въ бѣдѣ своими друзьями. Катастрофа 21 сентября — прямое свѣдѣніе ей предшествовавшей моральной капитуля-

ціи передъ Гитлеромъ демократической Европы, санкціонированной готовившееся пасивіе. Англія и Франція не только не оказали въ этотъ день поддержки жертвѣ нападенія, но, изъ боязни быть самими вовлеченными въ вооруженный конфликтъ съ Германіей, все свое иліаніе въ Прагѣ употребили на то, чтобы заставить чехословацкое правительство подчиниться ультиматуму Гитлера. Подъ угрозой, что Чехословакія будетъ предоставлена ея собственной участи, въ завѣдомо при такихъ условіяхъ безнадежной борьбѣ съ десятиро сильнѣйшимъ противникомъ, — чехословацкому правительству не оставалось ничего, какъ только принять ужасающія условія берхтесгаденскаго соглашения державъ съ Гитлеромъ: пой-

ти на отторжение значительной части национальной территории в пользу Германии, на почти полное обезоружение своей страны, наконец, на расторжение оборонительных союзов с Францией и Россией, отдающее ослабленную и изуродованную Чехословакию в политическую и экономическую зависимость от Германии. Не только судьба Чехословакия рывена была без ее участия, но даже попытка ее воспользоваться законным правом обращения в международный трибунал в виду нарушения чехословацко-германского договора 1925 года о непадении, была признана дружественными державами «несвоевременной».

Перед героическим славянским народом, вынесшим, не сломившись духовно, трехвковой немецкой гнет, совершившим на наших глазах чудо возрождения своего независимаго государства, вновь, послѣ 20 лѣтъ мирнаго существованія, открывається нежданно куда ведущій тернистый путь. Легко понять, и всѣмъ сердцемъ съ нимъ раздѣлить, наполняющія сейчасъ душу чехословацкаго народа чувства горечи и разочарованія, огромной тяжести отъ сознанія своей покинутости и одиночества въ предстоящей ему, окруженному со всѣхъ сторонъ хищными врагами, суровой борьбѣ за существованіе. Но народъ Гуса и Хельчицкаго, Яна Коменскаго, Палацкаго и Масарика не можетъ быть. мы въ этомъ непоколебимо убѣждены, сломенъ грубымъ насиліемъ. Новые удары судьбы онъ встрѣтитъ съ тѣмъ же гордымъ мужествомъ и съ той же вѣрой въ конечное торжество правды, которая имъ

всегда руководили въ его историческихъ судьбахъ. Объ этомъ свидѣтельствуетъ призывъ, съ которымъ чехословацкое правительство обратилось къ своему народу въ черный день 21 сентября: «...Мы не дали себя погубить въ прошломъ, и не позволимъ себя погубить въ будущемъ. Наши союзники и наши друзья принуждаютъ насъ къ жертвамъ, равносильнымъ поражению, но мы не побывлены... Не будемъ упрекать тѣхъ, кто оставилъ насъ однихъ, безъ поддержки. История вынесетъ свой приговоръ надъ сегодняшнимъ днемъ. Нашъ долгъ — смотреть прямо перель собою и укрѣплять единство народа, который живетъ и будетъ жить. Отнынѣ мы — одни. Но мы не падемъ духомъ и будемъ защищать нашу землю, наши жилища. Мы вступаемъ въ новую жизнь съ поднятой головой...»

Да, великопрятный судъ исторія засвидѣтельствуетъ во всякомъ случаѣ, что чехословацкій народъ, во главѣ съ президентомъ Бенешомъ, показалъ всему міру въ эти трагическіе дни высокій примѣръ исключительнаго мужества и самообладанія, истиннаго благородства, подлиннаго величія духа.

Еще очень многое, въ катастрофическомъ ходѣ событий этихъ недѣль, остается для непознанныхъ неяснымъ. Неизвѣстно даже въ точности, кому, Англии или Франціи, принадлежитъ несчастная инициатива — пожертвовать Чехословакіей «во имя мира Европы». Въ какой мѣрѣ чрезвычайная уступчивость демократическихъ правительствъ зависѣла

оть степени военно - технической и психологической неподготовленности къ войнѣ въ обѣихъ странахъ, и въ какой — сказалось, быть можетъ, расхождение основныхъ цѣлей въ международной политикѣ Англіи съ Франціей?

Безспорно только одно: чехословацкая трагедія знаменуетъ собою окончательное крушеніе существовавшей до того въ Европѣ международной политической системы и влечетъ за собою самыя тяжкія послѣдствія не для одного лишь чехословацкаго народа, а и для другихъ государствъ Центральной Европы и, конечно, для бывшихъ союзниковъ Чехословакии — Франціи и Россіи. Послѣдовавшая за капитуляціей въ Берхтесгаденѣ событія — новое свиданіе Чемберлена съ Гитлеромъ въ Годесбергѣ, заключенный четырьмя державами «миръ» въ Мюнхенѣ, и, наконецъ, въ качествѣ знаменательнаго послѣсловія къ нему, двойственное англо-германское соглашеніе — только обнаружили для всѣхъ, нежелающихъ оставаться слѣпыми и глухими, истинные размѣры европейской катастрофы и бросили зловѣщій свѣтъ на угрожающія въ дальнѣйшемъ міру перспективы.

Что послѣ присоединенія Австріи очередное покушеніе Гитлера будетъ направлено противъ Чехословакии — это было очевидно для всѣхъ. Заранѣе можно было предвидѣть и поводъ, который изберетъ Гитлеръ для нападенія: недаромъ въ теченіе послѣднихъ лѣтъ систематическая травля Чехословакии велась въ Германіи подъ знакомъ необходимости оказать помощь «угнетаемому» чехамъ и нѣмецкому меньшинству и,

кромѣ того, защитить Европу отъ угрожающаго ей «очага большевизма».

О послѣднемъ аргументѣ, представляющемъ демократическую Чехословакию въ роли «авангарда Коминтерна», не стоитъ здѣсь распространяться — настолько онъ абсурденъ и лживъ. Внутренняя политическая жизнь въ Чехословакии протекаетъ у всѣхъ на виду: коммунистическая партія въ ней численно ничтожна и совершенно не вліятельна, единственный затѣянный ею «путчъ» въ 1920-году былъ подавленъ въ самомъ началѣ энергичными мѣрами правительства, и даже популярная во Франціи идея сотрудничества съ коммунистами, «Народ. Фронтъ», никогда не пользовалась въ Чехословакии успѣхомъ — противъ коалиціи съ коммунистами были тамъ не только радикально - буржуазныя партіи, но и социалсты; послѣдніе категорически возражали и въ Рабочемъ Интернационалѣ противъ всѣхъ попытокъ сближенія съ Коминтерномъ. Поднимая шумъ по поводу мнимой «большевизаціи» Чехословакии, германская пропаганда преслѣдовала при этомъ, конечно, другую цѣль: опорочить и лишить силы заключенный Чехословакией (въ маѣ 1935 г.) договоръ съ Сов. Россіей о взаимной поддержкѣ въ случаѣ нападенія третьей державы. Но договоръ этотъ, равно какъ и заключенный нѣсколько ранѣе Франціей тождественный договоръ съ Совѣтской Россіей, имѣлъ исключительно оборонительное значеніе, причемъ дѣйствіе его было поставлено подъ контроль Лиги Націй. Безпокойство Гитлера по поводу такого договора только лишній разъ вы-

давало его собственныя агрессивныя намеренія.

Какъ это ни странно, но болѣе способнымъ смутитъ европейское общественное мнѣнiе оказался другой, весьма двусмысленный въ устахъ Гитлера лозунгъ — «право свободнаго самоопредѣленія судетскихъ нѣмцевъ». По традиционному невѣдѣнiю всего, что касается жизни другихъ, даже западно-европейскихъ народовъ, массы «среднихъ» французовъ и англичанъ легко поддавались на «демократическіе» доводы Гитлера о правѣ «угнетенныхъ» судетскихъ нѣмцевъ свободнымъ рѣшеніемъ присоединиться къ «родной» Германіи. Эти доводы были тѣмъ соблазнительнѣе, что они какъ бы освобождали отъ моральной (а французовъ — и формальной) обязанности изъ-за «какихъ-то чехословаковъ» идти на рискъ мировой войны. Въдѣ всѣмъ извѣстно, что Версальскій договоръ, въ результатѣ котораго возникла Чехословакія, былъ далеко не во всемъ разуменъ и справедливъ, — почему бы, въ концѣ концовъ, не разрѣшить возратиться въ Германію насильственно отъ нея оторваннымъ этимъ никому невѣдомымъ «судетамъ».

Кому изъ насъ не приходилось въ эти дни десятки разъ выслушивать искреннія и неискреннія разсужденія такого рода отъ сторонниковъ мира «во что бы то ни стало», «какой угодно цѣной»? А между тѣмъ грубѣйшее искаженіе дѣйствительности въ такой легендѣ ничего не стоило бы доказать простой историко-географической справкой; сознательной неправдой являются и обвиненія чехословаковъ въ «угнетеніи» судетскихъ нѣмцевъ. Мы можемъ не

входить здѣсь въ подробное обособленіе сказаннаго, имѣя возможность отослать читателя къ помѣщенной въ этой же книжкѣ журнала обстоятельной статьѣ В. Калоуса «Нѣмецкая проблема въ Чехословакіи», рисующей фактическое положеніе судетскихъ нѣмцевъ наканунѣ катастрофы.

Напомнимъ лишь самое существенное. Прежде всего, о «возвращеніи» судетскихъ областей Германіи вопроса и не стояло, — эти области ей никогда не принадлежали. Притязаніе на присоединеніе ихъ къ Германіи только въ силу расовой общности ихъ населенія съ германскимъ Гитлеръ могъ ровно съ такимъ же правомъ, какъ напр. требовать аннексії нѣмецкихъ кантоновъ Швейцаріи или населенныхъ нѣмецкими колонистами территорій на Волгѣ въ Россіи.

Ибо не существуетъ какой-то особой судетской проблемы, якобы возникшей вслѣдствіе допущенной авторами Версальскаго договора «ошибки». Судетскія области, заселенныя чехами еще въ V вѣкѣ, на протяженіи цѣлаго тысячелѣтія являлись частью чешскаго королевства, Богеміи. Первые нѣмецкіе колонисты начали селиться въ ней только въ XII-XIII вѣкахъ; лишь послѣ пораженія чеховъ при Бѣлой Горѣ (1620 г.), съ утратой Богеміей своей независимости, она подверглась, подѣ властью Габсбурговъ, усиленной колонизаціи и германизаціи. Въ настоящее время, въ восстановленной Чехословакіи, въ которую прежняя Богемія вошла составною частью, нѣмецкое меньшинство живетъ болѣе или менѣе сплошной массой только на узкой полосѣ вдоль горныхъ хребтовъ,

всегда служившихъ естественной, исторической, стратегической границей прежней Богеміи. Дальше вглубь страны нѣмецкое население все болѣе перемѣшано съ чешскими; въ самихъ такъ наз. судетскихъ областяхъ на три миллиона нѣмцевъ имѣется около 500 тыс. чеховъ.

При такихъ условіяхъ, территориальное самоопредѣленіе отдѣльных національностей, конечно, невозможно въ чистомъ видѣ: необходимо ихъ мирное сожителство и сотрудничество, на основаніи равноправія, въ интересахъ общаго блага. Положеніе Чехословакіи не является, впрочемъ, въ этомъ отношеніи исключеніемъ: во всѣхъ государствахъ Центральной Европы, въ силу происходившихъ когда-то здѣсь большихъ передвижекъ народовъ, население весьма смѣшанное, — наряду съ основной національностью въ нихъ вездѣ имѣются значительныя группы национальных меньшинствъ. Какъ извѣстно, особые обязательства по охранѣ правъ меньшинствъ были включены въ послѣвоенные договоры 1919-1920 годовъ при образованіи новыхъ государствъ, въ томъ числѣ и Чехословакіи.

Налюбованной темой исприличныхъ по грубости выходокъ Гитлера по адресу чехословакаго правительства было утверженіе, будто бы Чехословакія не выполнила по отношенію къ нѣмецкому меньшинству принятыхъ на себя международныхъ обязательствъ. Ложность этихъ обвиненій доказывается официальными данными, никакимъ не оспариваемыми. Конечно, какъ всякое дѣло рукъ человѣческихъ, статутъ меньшинствъ въ Чехословакіи не является иде-

альнымъ, при осуществленіи его могли быть допущены ошибки со стороны правительства, — оно и само ихъ не отрицало. Но по крайней мѣрѣ въ основномъ, во всемъ, что касается общегражданскаго равноправія нѣмецкаго меньшинства, учрежденія для него нѣмецкихъ школъ всѣхъ ступеней, пользованія нѣмецкимъ языкомъ на судѣ и въ сношеніяхъ съ правительственными учреждениями и проч., эти обязательства были выполнены Чехословакіей. Менѣе полно, повидному, было допущено участіе нѣмцевъ въ административномъ аппаратѣ, въ виду враждебнаго отношенія части нѣмецкихъ партій къ новому государству. Несомнѣнной ошибкой чехословакаго правительства было то, что оно не предоставило въ первые же годы автономію наиболѣе крупнымъ меньшинствамъ. Даже весьма умѣренная на первыхъ порахъ, но осуществленная своевременно и по инициативѣ самого правительства, такая автономія дала бы удовлетвореніе лояльнымъ элементамъ меньшинствъ и не помѣшала бы консолидаціи государственнаго единства. Но и при всемъ томъ, въ исполненіи меньшинственныхъ обязательствъ Чехословакіи стоять на одномъ изъ первыхъ мѣстъ среди всѣхъ связанныхъ договорами 1919-1920 годовъ государствъ. — положеніе въ ней меньшинствъ какъ небо отъ земли отличалось отъ положенія ихъ у ея сосѣдей, той же Германіи, Венгріи и особенно Румыніи и Польши.

Не слѣдуетъ, однако, забывать главнаго — что якобы «нестерпимое» положеніе судетскихъ нѣмцевъ было у Гитлера лишь удоб-

нимъ поводомъ для предрѣшеннаго уже вторженія въ Чехословакию, которое онъ все равно осуществилъ бы не подь тѣмъ, такъ подь другимъ предлогомъ, лишь только убѣдился бы, что Европа не въ состояніи оказать ему дѣйствительнаго сопротивленія.

Чехословацкое правительство несомнѣнно шло въ послѣдніе годы къ осуществленію конституціонной реформы. Но поскольку, съ приходомъ въ Германію къ власти Гитлера, нѣмецкое меньшинственное движеніе въ Чехословакию пошло отъ него въ полную зависимость, никакія уступки правительства судетскимъ нѣмцамъ вообще не могли бы ихъ удовлетворить: Гитлеръ сознательно разжигалъ непримиримость судетскихъ нѣмцевъ, чтобы оправдать подготовленное уже вторженіе въ Чехословакию. Это наглядно показала опытъ лѣтнихъ переговоровъ съ судетскими нѣмцами, въ которыхъ правительство дошло въ своей уступчивости даже до принятія почти цѣлкомъ такъ называемыхъ Карлсбадскихъ условій Генлейна, при которыхъ положеніе нѣмецкаго меньшинства въ государствѣ становилось въ извѣстныхъ отношеніяхъ даже привилегированнымъ. Но Гитлеру нужны были не успокоеніе, а смута въ намѣченныхъ къ отторженію областяхъ, и онъ анализъ, что «искусная и настоячивая пропаганда можетъ заставить народныя массы похвритъ, что рай есть адъ, и что, наоборотъ, самое жалкое существованіе есть рай» («Моя борьба»).

Очевидно, однако, даже самая усиленная пропаганда гитлеровскаго «рая» не вызывала столь

уже единодушнаго восторга среди жившихъ въ чехословацкомъ «аду» судетскихъ нѣмцевъ. Его вовсе отвергали 25-30 процентовъ населенія, шедшаго за демократическими партіями, да и среди самихъ генлейновцевъ далеко не всѣ были за разрывъ съ Чехословакіей. Тогда были лучше ны въ ходъ болѣе дѣйствительные, уже испытанные въ Австріи, методы: терроръ и провокація. Судетскія области были пронизаны тысячами и тысячами гитлеровскихъ агентовъ, съ одной стороны организовавшихъ систематическое запугиваніе лояльнаго нѣмецкаго населенія, съ другой — всячески провоцировавшихъ вооруженныя столкновенія съ властями, чтобы оправдать готовившееся уже открытое вмѣшательство Германіи, подь предлогомъ, что чехословацкое правительство «уже бессильно само защитить угнетенныхъ нѣмцевъ отъ несмысленныхъ насилій чешской полиціи и разнузданной солдатчины».

Легко себѣ представить, какая удушная атмосфера была создана въ обработанной такимъ методомъ странѣ судетовъ. — Устрашающій примѣръ Австріи былъ еще у всѣхъ въ памяти. О невыносимомъ положеніи, создавшемся въ судетскихъ областяхъ, имѣются многочисленныя свидѣтельства. Вотъ, напр., какъ его рисовала незадолго до катастрофы нѣкая г-жа И. Кирпаль, нѣмецкая соц.-демократка, членъ чехословацкаго парламента (Poulaire, 13. IX. 1938). «Режимъ невѣроятнаго террора былъ введенъ въ торговлѣ и промышленности: тотъ, кто не зажигаетъ алюминіи въ честь фюрера — нашъ врагъ;

кто не вывѣсилъ флага на домъ — предатель; кто не записался въ партію судетскихъ наци, тотъ не найдетъ работы ни на одной фабрикѣ; кто фигурируетъ въ избирательномъ спискѣ с.-д., кто извѣстенъ какъ демократъ, тѣ неминуемо обречены на бойкотъ, экономическое разореніе». Положеніе еще ухудшилось, когда судетскіе наци стали образовывать, по примѣру гитлеровскихъ S. A. и S. S., вооруженныя банды, которыя буквально терроризировали населеніе. «Притокъ въ ряды партіи наци былъ достигнуть терроромъ». Правительство не достаточно энергично защищало населеніе отъ насилій генлейновскихъ дружинниковъ. Паника особенно стала овладѣвать нѣмецкими демократическими кругами послѣ разгрома Австріи и гитлеровскихъ расправъ съ политическими противниками въ Вѣнѣ. На избирательныхъ собраніяхъ въ маѣ генлейновцы уже открыто начали высказываться за присоединеніе къ Германіи и угрожать противникамъ, когда это произойдетъ, обвиненіемъ въ «государственной измѣнѣ». Въ лютномъ страхѣ за свою судьбу, лица либеральныхъ профессій стали массами переходить «на другую сторону баррикады».

Такимъ способомъ получилъ Гитлеръ нужное ему «свободное волеизъявленіе» судетскихъ нѣмцевъ, которымъ онъ потомъ, уже не рискуя шокировать демократическую совѣсть Европы, могъ въ Берхтесгаденѣ обосновывать свое право нападенія на Чехословакію.

Увеличеніе объѣмной германской націи еще на три миллио-

на душъ — само по себѣ величайшій триумфъ для одержимаго идеей расизма Гитлера. Но, фанатикъ и визионеръ, Гитлеръ въ то же время одинъ изъ величайшихъ въ исторіи Германіи дѣятелей, продолжающихъ зловѣщую традицію германскаго империализма. Практическая цѣль, поставленная имъ себѣ и осуществленная въ результатѣ безпримѣрной дипломатической побѣды надъ демократической Европой, заключалась въ отторженіи отъ Чехословакіи территорий, представляющихъ совершенно исключительную важность въ стратегическомъ и въ промышленномъ отношеніи. Присоединеніе ихъ къ Германіи сразу и весьма значительно усиливаетъ ея военную и хозяйственную мощь, открываетъ передъ ней дальнѣйшія перспективы уже міровой экспансіи. Утрата ихъ Чехословакіей означаетъ для нея непоправимую катастрофу, стратегическую и хозяйственную, наноситъ, надо прямо сказать, смертельный ударъ ея политической и экономической независимости.

Чтобы не быть голословными, приведемъ нѣсколько данныхъ, характеризующихъ поистинѣ разбойничьи условія, продиктованныя Гитлеромъ Чехословакіи въ Годесбергѣ и, какъ извѣстно, въ основѣ своей воспроизведенныя въ мюнхенскомъ соглашеніи четырехъ державъ. Данныя заимствуемъ изъ официальнаго чехословацкаго источника.

1. Вотъ, прежде всего, какимъ образомъ Гитлеръ гарантируетъ чехамъ ихъ «право на самоопредѣленіе» — въ ихъ собственной странѣ.

Уже на территории, которая по договору присоединяется к Германии немедленно, без всякого опроса населения, проживает 816.359 чехов (и 2.823.247 немцев). Но помимо этой зоны, переданной в настоящее время Германии, имеется еще территория, претендуя на которую, Гитлер великодушно согласен провозвести «плебисцит». Эта территория состоит из 1.116.084 чехов и всего только 144.711 немцев! Если бы Гитлеру удалось завладеть и этими чешскими землями — а желание Гитлера с каждым днем все больше становится для Европы законом — то всего таким образом отошло бы под власть Германии 1.932.443 чехов. Эти почти два миллиона чехов в свою очередь образуют «чешское меньшинство» в Германии. Но судьба его в новом «отечестве» будет иной, чем судетских немцев в Чехословакии: оно несомненно будет обречено на беспощадную германизацию. И заступиться за него будет никому: такова участь всех слабых в «новой» Европе.

Вот, для иллюстрации, несколько примечательных подлежащих «плебисциту» населенных пунктов: Брно, столица Моравии, где однако имеется 91,6% чехов, и только 2,4% немцев; Моравская Острава, важный промышленный и стратегический центр, хотя в ней всего 17% немцев на 80,7% чехов. Надо ли перечислять множество более мелких пунктов, где немцы составляют вовсе ничтожный процент населения? Таковы, напр., Литовель — 1,8% немцев и 98% чехов, Замберк — 1,6% немцев и 98% чехов;

соответствующие цифры в Находце — 1,4 и 98,1, в Зеленом Бродце — 1,3 и 98,2, в Турнове — 1,1 и 98,4 и т. д. Имеется, наконец, пункты, где немцев меньше 1%, — напр., Босковице — 0,8% немцев и 98% чехов, Ломнице — 0,5% (пять на тысячу!) немцев и 99,4% чехов.

На первый взгляд непонятно, зачем понадобилось Гитлеру рисковать задомо безнадежным для него плебисцитом в районах, где чехи составляют в общем 88,5% населения. Но специалист по устройству триумфальных для него «плебисцитов», еще недавно сумевший получить чуть ли не 99% голосов в Австрии, в которой накануне значительное большинство было обеспечено канцлеру Шушнигу — знает, что делать. Не беспокоить его, видимо, и «контроль» коммиссии четырех держав: в ней двое — свои люди, а двое — представители держав, только что пожертвовавших, «во имя мира Европы», всей Чехословакией оптом и вряд ли потому склонных ссориться теперь с победителем из-за смелочей. За кулисами опять будут работать опытные в этих делах гитлеровские S. A. и S. S., но внешне будет соблюдена декорум «демократического плебисцита» — дань лицемерию жалеющей быть обманутой Европы. «Плебисцит» может и не быть — при условии, что Чехословакия сама, «добровольно» признает основательность притязаний Гитлера на чешские земли с 99% чешским населением.

2. Для государственной независимости Чехословакии однако еще ужаснее, чем потеря части чеш-

скаго населенія, тѣ захваты **территорій**, съ ихъ естественными богатствами, промышленностью, путями сообщения и стратегическими пунктами, которые производятся подъ прикрытіемъ этихъ «самоопредѣлений» и «плебисцитовъ».

По катастрофы Чехословакія была быстро развивающеяся, богатое сырьемъ всякаго рода, гармоническое въ соотношеніи частей его народнаго хозяйства государство, со здоровыми финансами, съ активнымъ торговымъ балансомъ. Благодаря развитію экспортныхъ формъ промышленности. На этой крѣпкой базѣ Чехословакія могла позволить себѣ роскошь передового социальнаго законодательства. Цѣль Гитлера — двойная: съ одной стороны отторгнуть отъ Чехословакіи цѣныя сами по себѣ для Германіи въ хозяйственномъ отношеніи территории, съ другой — и въ этомъ самая страшная, дьявольская черта его плана — оставить послѣ этого Чехословакію настолько истощенной, чтобы она, предоставленная самой себѣ, была абсолютно нежизнеспособна. Она этого вполне достигаетъ.

Съ отторженіемъ территории ил. задуманномъ Гитлеромъ объемѣ Чехословакія лишается 35-60-80% одѣльныхъ видовъ ея природныхъ богатствъ и отраслей промышленности. Она теряетъ главные источники минеральнаго топлива. Съ утратой залежей каолина, кварцита и пр. падаетъ производство стекла, фарфора, керамическихъ издѣлій. Съ отходомъ къ Германіи горныхъ областей, потеряны главнѣйшія площади, дававшія матеріалъ для производства мебели, целюлозы, бу-

маги. Утрачена большая часть крупной промышленности металлургической, химической, текстильной. Катастрофическое сокращеніе экспортныхъ отраслей промышленности (уголь, каолинъ, стеклянные издѣлія, хмель), а также потеря привлекавшихъ много иностранцевъ лечебныхъ курортовъ (Карлсбадъ и др.) лишаютъ Чехословакію иностранной валюты, необходимой для закупки сырья. Изъ страны съ гармонически развитымъ народнымъ хозяйствомъ Чехословакія превращается въ односторонне-земледѣльческую страну, съ немногими сохранившимися промышленными центрами, лишенными однако собственныхъ источниковъ сырья, — въ итогѣ цѣликомъ зависящую экономически отъ Германіи.

Особо слѣдуетъ отмѣтить дезорганизацию жел. дор. путей сообщенія, проводимую Гитлеромъ съ цѣлью парализовать экономическую жизнь страны и ослабить ее стратегически. Новыя границы сознательно намѣчены такъ, чтобы перерѣзываются въ нѣсколькихъ мѣстахъ главнѣйшія жел. дор. артеріи, проходящія вдоль вытянутой съ запада на востокъ территории Чехословакіи. Чехія оказывается такимъ образомъ изолированной отъ Моравіи (а тѣмъ самымъ отъ Подкарпатской Руси) и отъ оной — отъ Словакіи. Внутреннее жел. дор. движеніе, пассажирское, товарное и военное въ случаѣ войны, возможно лишь кружнымъ путемъ, по второстепеннымъ ж. д. линиямъ съ малой провозоспособностью. Построить новыя прямыя линіи взаимѣнъ утраченныхъ не позволяеть характеръ мѣстности въ Моравіи.

Разрушение хозяйственного (и стратегического) единства страны облегчает — и, конечно, в этом сознательная его цель — возможность в нужный момент и дальнейшего политического ее расчленения. Недаром в своей изступленной, мало уже напоминающей человеческую, иоренбергерской рѣчи Гитлеръ все время употреблял, вмѣсто ненавистнаго ему имени Чехословакии, уничижительное — в его устах — Чехія.

3. Довершаетъ политическое и экономическое разрушение независимой Чехословакии санкционированное мюнхенскимъ соглашеніемъ державъ стратегическое ее обезоруженіе.

Стратегическая система защиты была Чехословакией основана на использовании природныя преимуществъ ея естественной (и исторической въ то же время) границы съ Германіей, проходящей по вершинамъ горныхъ массивовъ (горъ Исполинскихъ, Рудныхъ, Богемскихъ), окружающихъ Богемское плоскогорье съ сѣвера, запада и юга. Посредствомъ сложныхъ и очень дорого (20 миллиардовъ!) стоявшихъ фортификационныхъ работъ, производившихся по указаніямъ французскаго генеральнаго штаба, пограничныя горныя цѣли были превращены въ непреступную стѣну. Вооруженная первоклассной артиллеріей, въ обилии снабженная всѣмъ необходимымъ, эта система горныхъ укрѣпленій представляла собой для защиты Чехословакии своего рода «линію Мажино», по типу которой во Франціи, съ примѣненіемъ послѣднихъ усовершенствованій, она и была сооружена.

Эта чехословацкая «линія Мажино», опорная база для великолѣпной по своимъ боевымъ качествамъ чехословацкой арміи, была, по настоянію дружественныхъ Чехословакии державъ, сдана Гитлеру безъ попытки сопротивленія.

Послѣдствія — неисчислимы. Съ окончаніемъ всей привятой въ мюнхенскомъ договорѣ программы, Чехословакия, обезоруженная и ограбленная, попадаетъ въ полную зависимость отъ Германіи. Въ районѣ дѣйствія германской артиллеріи будутъ находиться крупныя промышленныя и административныя центры, такіе какъ Пильзенъ съ его знаменитымъ, третьимъ въ Европѣ постѣ Круппа и Крезо, артиллерійскимъ заводомъ, Моравская Острава, съ ея угольными копями, металлургической и химической промышленностью, Брно, столица Моравіи, Братислава, столица Словакии и даже, повидимому, сама Прага.

Не въ лучшемъ положеніи окажутся въ случаѣ войны и внутренние пути сообщенія. При удачно — для Гитлера — проведенномъ «спленингтѣ» въ Моравіи, территоріальная связь Чехин со Словакией черезъ Моравію сведется лишь къ узкому коридору шириной всего въ 30 (!) километровъ, который легко можетъ быть взятъ подѣ двусторонній обстрѣлъ германской артиллеріей.

Все въ этомъ планѣ военнаго и экономическаго разгрома Чехословакии предусмотрено и разработано съ нѣмецкой тщательностью и заблаговременно. И не при чемъ тутъ угнетенные судетскіе нѣмцы. Еще въ «Моей борьбѣ» Гитлеръ училъ нѣмцевъ: «Разсматривайте какъ прямой вы.

зовъ Германіи возникновение на ея границахъ государства, способнаго въ будущемъ стать военной державой. Не только ваше право, но и вашъ долгъ воспрепятствовать всѣми способами, вплоть до примѣненія вооруженной силы, возникновению такого государства, а если оно уже создано — уничтожить его». А въ самый день Мюнхенской конференціи, 28 сентября, выходящая изъ Австріи нац.-соц. газета Tagesspost уже безъ стѣсненія вскрывала смыслъ поднятой въ защиту «угнетенныхъ судетовъ» кампаніи: «Въ цѣнѣ странъ Центральной Европы Богемія — самое важное явено: она представляетъ собой пунктъ, откуда съ востока можетъ быть атакована слабая зона Германіи. Необходимо, чтобы Богемская равнина не находилась больше въ рукахъ врага. Для этого надо преодолѣть препятствія, горный барьеръ, надо, чтобы склонъ по ту сторону горъ принадлежалъ Германіи. Такой склонъ существуетъ: это территория судетовъ». — Гитлеръ получилъ отъ державъ даже больше, чѣмъ онъ могъ рассчитывать.

Но Чехословакія еще не прошла уготованнаго ей крестнаго пути до конца. Очередь предъявлять территориальныя требованія переходить къ Польшѣ и Венгріи.

Вѣроятно, оба новыхъ претендента на куски изъ тѣла Чехословакіи по цинизму стоятъ другъ друга, разница лишь въ стилѣ. Венгерское меньшинство въ Чехословакіи знаменательно (ок. 700 тысячъ) и нѣкоторое исправленіе установленной въ 1919 г. границы съ Венгріей повидному оправ-

дано. Венгры, конечно, не ограничатся этимъ, и Чехословакіи предстоить неравный торгъ съ ними. Но славянская Польша, когда-то сама бывшая жертвой исторической несправедливости, Польша рыцарственная, романтическая? Она не можетъ отказаться отъ легкаго торжества надъ поверженной Чехословакіей: мобилизація, грозные ультиматумы, триумфальное вступленіе въ Тешень, — все это чтобы отпраздновать присоединеніе къ отечеству 80-ти тысячъ поляковъ, а заодно и богатѣйшаго тешенскаго угольнаго района, — вмѣстѣ со 125-ю тысячами чешскаго населенія... Напомнимъ, кстати, что за послѣдніе годы Чехословакія три раза предлагала Польшѣ передать споръ о тешенскомъ районѣ на разсмотрѣніе любой изъ международныхъ инстанцій, предусмотрѣнныхъ польско-чехословацкимъ договоромъ 1925 г. Укло-нялась отъ этого всегда Польша, видимо не увѣренная, что такимъ легальнымъ путемъ споръ будетъ рѣшенъ въ ея пользу.

Но, поощренная безучастностью Европы, Польша и Венгрія уже не ограничиваются сосуществованіемъ въ свою пользу только территорій, населенныхъ соответствующими національными меньшинствами. У нихъ уже готовъ планъ болѣе радикальнаго раздѣла Чехословакіи. Правда, давъ дружественныя Чехословакіи державы, участницы Мюнхенской конференціи, приняли на себя извѣстныя обязательства, «гарантировали» неприкосновенность новыхъ границъ Чехословакіи. Но кто, послѣ Берхтесгадена, серьезно считаетъ съ «гарантиями» этихъ державъ? Венгрія не прочь «само-

опредѣлить» въ свою пользу Словакію, и она же вмѣстѣ съ Польшей готова обезпечить «право свободного самоопредѣленія» карпатскаго народа, правда, не совсѣмъ обычнымъ способомъ: **раздѣлнть** между собою на двѣ части Подк. Русь. За кулисами этой комбинаціи — Муссолини, мечтающій, для сохраненія остатковъ своего вліянія въ Центральной Европѣ, о созданіи новой «оси»; Варшава - Букарестъ - Будапештъ - Римъ. Противъ — Гитлеръ, не желающій усиленія Польши и Венгрии и дорожащій сохраненіемъ на будущее свободнаго пути черезъ Подкарпатскую Русь — въ Румынію и на Украину, тоже на предметъ «самоопредѣленія».

Трудно предвидѣть, чѣмъ кончится эта темная игра. Ясно уже теперь только одно: платитъ за все будетъ не одна въ роковомъ ослѣпленіи принесенная въ жертву Чехословакія: расплачиваться, и очень дорого за Берхтесгаденъ-Годесбергъ-Мюнхенъ скоро придется самой Европѣ.

Безусловная капитуляція демократическихъ державъ передъ духомъ насилія въ Берхтесгаденѣ, допущенное ими, безъ попытки сопротивленія, порабощеніе независимаго народа, — влекутъ за собою неисчислимыя послѣдствія для всей Европы, матеріальныя и моральныя, въ конечномъ счетѣ угрожающія самымъ основамъ ея цивилизаціи и духовной культуры. Здѣсь, въ заключеніи статьи о Чехословакіи, мы можемъ коснуться этой болѣе общей и весьма сложной темы лишь въ немногихъ словахъ.

Прежде всего, въ планѣ материальномъ, устраненіе съ между-

народной арены независимой Чехословакіи означаетъ окончательный и уже **непоправимый** разгромъ той системы охраны европейскаго мира, которая еще сдерживала до сихъ поръ наступленіе на Европу воинствующаго империализма «тоталитарныхъ» державъ. Въ этой системѣ коллективной безопасности небольшая страна Чехословакія играла чрезвычайно важную и по существу незаменимую роль: благодаря ея особому географическому и стратегическому положенію, она служила опорнымъ пунктомъ и связью между отдѣльными государствами восточной, центральной и западной Европы, столь же заинтересованными въ охранѣ всеобщаго мира.

Расположенная у воротъ Центральной Европы, Чехословакія по самой конфигураціи ея территории, вытянутой съ запада на востокъ, являлась какъ бы барьеромъ, преграждавшимъ распространеніе гегемоніи Германіи на бассейнъ среднего Дуная и дѣлающимъ неосуществимыми ея дальнѣйшіе замыслы на востокъ (въ Россіи и Азіи). Эта роль особенно укрѣпилась благодаря созданной усиліями Бенеша «Малой Антантѣ» (Румынія - Чехословакія - Югославія) и тѣсно къ ней примыкавшей, вслѣдствіе частичнаго совпаденія состава участниковъ, такъ наз. «Балканской Антантѣ» (Румынія - Югославія-Греція-Турція). Обѣ Антанты вмѣстѣ, насчитывавшія около 75 милліоновъ жителей, съ крупнымъ промышленнымъ потенциаломъ и собственнымъ источникомъ вооруженія въ Чехословакіи, а источниками нефти въ Румыніи, съ арміей мирнаго состава въ 95 ли-

визій. — солидно укрѣпляли безопасность въ бассейнѣ Дуная, на Балканахъ и Ближнемъ Востоку. Но эта центрально - европейская группировка мирныхъ государствъ становилась частью уже общеевропейской системы коллективной безопасности съ того времени, какъ Чехословакія заключила въ 1935 г. оборонительные договоры на востокъ — съ Россіей, а на западъ — съ Франціей, въ свою очередь тѣсно связанной съ Англіей. Создавшаяся такимъ образомъ мощная коалиція защитныхъ силъ могла съ успѣхомъ противопоставить ятиску германитальскаго блока, даже если бы къ нему присоединились, что было мало вѣроятно при такихъ условияхъ, Польша и Венгрія.

Болѣе чѣмъ понятно, почему Гитлеръ сосредоточилъ всю страшную силу своего очереднаго удара именно на Чехословакію. Но совершенно непостижимо, какъ могли демократическія державы, принеся въ жертву союзную страну, думать, что они, «спасаютъ европейскій миръ», когда они тѣмъ самымъ собственными руками разрушали всю систему самозащиты Европы отъ германской вооруженной экспансіи.

Есть указанія въ печати, что высшее командованіе французской арміи считало во время кризиса, что въ случаѣ необходимости оказать сопротивленіе домогательствамъ Гитлера французская армія вмѣстѣ съ ея союзницами имѣла достаточные шансы на успѣхъ. Развительно прошла и частичная мобилизація во Франціи. Нельзя было не восхищаться въ эти дни удивительнымъ французскимъ народомъ! Глубоко мирный по природѣ, плохо по-

нимающій необходимость идти на ужасы войны, «изъ-за чехословаковъ», вчера еще раздѣленный политическими разногласіями, — онъ однако всталъ какъ одинъ человекъ, повинувшись призыву націи, и сдѣлалъ это съ простотой и скромностью поистинѣ героическими.

Почему и къмъ была совершена реколая ошибка, которую потомъ извѣстные круги в прессы старались представить какъ величайшій триумфъ мира, чуть ли не обезпеченнаго теперь Европѣ «на цѣлое поколѣніе»? Могла ли быть избѣгнута Мюнхенская капитуляція или она, въ результатѣ всѣхъ ошибокъ прежнихъ лѣтъ, была уже неизбежна? На эту тему велись и еще ведутся страстные споры, въ которые мы здѣсь не можемъ входить. Не слѣдуетъ только упрощенно представлять дѣло такъ, что споръ идетъ между сторонниками мира во что бы то ни стало — и войны при всякихъ условияхъ. Нѣтъ, за миръ противъ войны — во Франціи и Англіи лѣтъ безраздѣльно, народъ, общественное мнѣніе, правительства. Рѣшительныя разногласія начинаются лишь по вопросу о средствахъ предотвратитъ войну. Мы думаемъ, что въ этомъ отношеніи правы Дафф-Куперъ, Черчилль, Иденъ и др. въ Англіи, Кериллисъ во Франціи, которые утверждаютъ, что жертвовать Чехословакіей невозможно было по соображеніямъ политическимъ и моральнымъ, и кромѣ того бесполезно: Европа все равно будетъ въ ближайшемъ будущемъ поставлена передъ новыми ультиматумами Гитлера, слѣдовательно, вновь передъ выборомъ между дальнѣйшими капи-

тулящими и — все той же войной, но теперь уже в неизменно худших условиях.

Слѣдуетъ смотрѣть правдѣ въ лицо, — всякія иллюзіи только дѣлаютъ болѣе грознымъ положеніе: отъ системы коллективной безопасности, сколь она ни была несовершенна раньше, теперь, послѣ Мюнхена, не осталось почти ничего. Мюнхенское соглашеніе освободило Германію отъ кошмара создавшейся противъ нея европейской коалиціи, съ облегченіемъ говорилъ на слѣдующій день ген. Герингъ. Руки у Гитлера теперь развязаны. Полный хозяинъ въ Чехословакіи, завтра онъ будетъ диктовать свою волю въ центральной Европѣ и на Балканахъ, послѣзавтра — доставитъ въ очередь одну изъ заветныхъ своихъ идей, къ осуществленію которыхъ онъ идетъ всѣ эти годы послѣдовательно и неуклонно: одна — найти для нѣмцевъ необозримые просторы въ Россіи, другая — свести, наконецъ, въ окончаніи счета съ «главнымъ, смертельнымъ врагомъ Германіи» — Франціей. Вопросъ лишь въ томъ, какую изъ двухъ задачъ Гитлеръ выдвинетъ на первую очередь, — но къ обѣимъ онъ готовится одинаково усердно. Недаромъ уже заготовлены въ Берлинѣ даже «фюреры», какой-то ген. Эблинскій, на предметъ «самоопредѣленія» Украины, и открыто ведется уже пропаганда въ пользу автономіи — пока — Эльзасъ-Лотарингіи.

Не будемъ здѣсь мимоходомъ касаться сложнаго вопроса о Россіи. Подписи совѣтскаго правительства подъ мюнхенскимъ договоромъ нѣтъ, и формально оно за него не отвѣчаетъ. Но испыты-

вать по этому поводу большое удовлетвореніе намъ не приходится: именно на совѣтскомъ режимѣ въ Россіи лежитъ наибольшая доля отвѣтственности за тотъ хаосъ, въ которомъ пребываетъ Европа.

Для Франціи — мюнхенскій «смиръ» означаетъ большой шагъ къ той ея изоляціи, которую Гитлеръ сознательно ставитъ себѣ цѣлью. Мы слишкомъ горячо любимъ чудесный французскій народъ, Францію, мы столь многимъ обязаны ея культурѣ, обязаны, наконецъ, и долгомъ благодарности за ея гостепримство въ годы изгнанія, — чтобы не трепетать сейчасъ за ея судьбу.

Въ лицѣ Чехословакіи Франція потеряла не только вѣрнаго союзника, но и проводника ея вліянія въ центральной Европѣ, а также реальную связь съ далекой Россіей. Послѣ этого самый франко-совѣтскій договоръ къ значительной мѣрѣ утратилъ для обѣихъ сторонъ свою — и безъ того не безспорную — цѣнность. Если Россія теперь оказалась совершенно изолированной, чего всегда добивался Гитлеръ, то и у Франціи сейчасъ остается только одинъ, правда, мощный союзникъ: Англія. Но можетъ ли быть у Франціи полная увѣренность въ томъ, что при всѣхъ обстоятельствахъ, въ нужную минуту ей обеспечена поддержка Англіи? Какъ известно, такой серьезный англійскій дѣятель, какъ Черчилль, счелъ своимъ долгомъ предостеречь своихъ французскихъ друзей отъ излишняго оптимизма на этотъ счетъ.

Но отдать себѣ отчетъ въ размѣрахъ катастрофы вовсе не зна-

читать обречь себя на малодушное уныніе. Жизнь не стоит на мѣстѣ, мировое зло не бездѣйствуетъ, — необходимо не покладая рукъ вести съ нимъ борьбу хотя бы и на развалинахъ прежнихъ укрѣпленныхъ позицій.

Въ центрѣ сопротивления надвигающемуся на Европу варварству несомнѣнно суждено стоять франко-англійскому союзу. Онъ представляеть собою, при условіи полной солидарности и единства дѣйствій обоихъ правительствъ, достаточно мощную силу, чтобы импонируютъ «тоталитарному» блоку. Желательно и сохраненіе франко-совѣтскаго договора. Мы знаемъ, что можно сказать о правительствѣ, въ моментъ вышней опасности для страны занимающемся истребленіемъ команднаго состава своей арміи. Но мы вѣримъ въ творческій гений самой Россіи, въ государственный инстинктъ народа, въ сознательныя національныя силы, способныя отстоять Россію, когда грянетъ военная гроза. Наконецъ, надо пожелать и самой Франціи поскорѣе изжить изнуряющій ее внутренній кризисъ: только будучи сильной внутри, Франція сможетъ быть самостоятельнымъ факторомъ мира. Солидарная дѣятельность этихъ трехъ народовъ, поддержанная Америкой, способна измѣнить въ пользу мира соотношеніе силъ въ Европѣ.

Смѣемъ ли мы утратить вѣру въ конечную побѣду разума надъ временно торжествующей темной стихіей? Это значило бы усумниться въ самой природѣ чловѣка, въ присущей ему потребности свободы, жажды справедливости. Не могли окончательно

умереть эти чувства и у народовъ по ту сторону «тоталитарныхъ» границъ.

Сейчасъ независимость Чехословакии растоптана. Президентъ Бенешъ оставилъ свой постъ, чтобы облегчить своему народу приспособленіе къ новымъ условіямъ. Мы знаемъ, чего будетъ стоить это вынужденное приспособленіе къ волѣ Гитлера. Если духовный обликъ страны Масарика и Бенеша будетъ временно искаженъ надѣтой на нее уродливой маской, — не Европѣ, отвѣтственной за несчастья Чехословакии, бросать въ нее камень. Но народъ, сумѣвшій въ прошломъ пронести черезъ вѣка иноземнаго гнета нетронутыми свои душевныя силы, внутренне себя не измѣнитъ.

«Я глубоко вѣрю», сказалъ Бенешъ въ прощальномъ обращеніи къ народу, «въ вѣчную силу и крѣпость нашего народа, въ его преданность идеаламъ чловѣчности, свободы, права и справедливости, тѣмъ идеаламъ, за которые онъ столько разъ сражался, такъ много страдалъ...»

Да живетъ наша республика! Да защитеть она снова, какъ прекрасная вѣтвь чловѣческаго рода! Да живетъ наша нація, одна изъ благороднѣйшихъ въ Европѣ.

Передъ братскимъ народомъ, вступающимъ на трудный путь тяжелыхъ испытаний и опасностей, передъ его духовнымъ вождемъ, достойно потрудившимся на благо всего чловѣчества, мы въ глубоко почтеніи и страдномъ сочувствіи низко склоняемъ голову.

В. Рудневъ.

КРИТИКА И БИБЛОГРАФИЯ

З. Гиппиусъ. Сіянія. Парижъ. 1938 г.

Въ серіи «Русскіе Поэты», издаваемой «Современными Записками», вышла книга стиховъ З. Гиппиусъ, какъ бы подчеркивая преемственность и связь эмигрантской поэзіи съ дореволюціонной русской поэтической традиціей и послѣдними ея представителями-символистами. Новая книга такого поэта какъ З. Гиппиусъ не можетъ не вызвать смѣшаннаго чувства интереса, предвкушенія и, можетъ быть, и опасенія у читателя: не разъ ожиданія, вызванныя поэтическими сборниками весьма извѣстныхъ поэтовъ, оказывались обманутыми, и въ этомъ разочарованіи бывали виноваты столько же читатели, какъ и поэты. Незамѣтно для насъ самихъ мѣнялись наши вкусы и критеріи, и стихи поэтовъ-символистовъ звучать для насъ уже не такъ, какъ звучали они раньше. Не стихи стали хуже, а мы стали другіе.

Опасенія эти разсѣиваются при чтеніи «Сіяній». Стихи эти не очень отличаются отъ тѣхъ, которые въ прошломъ создали ей славу. Меньше, можетъ быть, остроты и «игры», больше горечи и сильнѣе зазвучали мотивы разочарованія, почти отчаянья въ жизни.

«Когда предлагали мнѣ родиться,
Не говорили, что міръ такой.
Какъ же я могъ не согласиться?
Ну, а теперь — домой! домой!»

Больше стало въ нихъ слержанности, меньше изысканности. Хотя и теперь порой по-женски капризно звучать иныя строки:

«Какая-то лягушка! Очень нужно!»

Все главное осталось. Осталась своеобразная смѣсь рефлексій, и даже дидактизма и подлиннаго лирическаго чувства, ироніи и религіозности, мужского ума, направленнаго на высшіе вопросы духа и женской манерности. Иногда есть повтореніе ея старыхъ мотивовъ (и порою ослабленіе ихъ), напримѣръ:

«Моя любовь одна, одна...»

напоминающіе прежнее: «Любовь одна, всегда одна», или въ «Равнодушій» — близкомъ къ незабываемому «Дьяволенку». Попржнему любить она неожиданные прозаизмы:

«Зачѣмъ — я знаю, положитъ»

и вообще стремится, чтобы стихи звучали не какъ «напѣвы», а какъ интимная, разговорная рѣчь. То, что наиболѣе отталкиваетъ теперешняго читателя въ стихахъ символистовъ — чрезмѣрная насыщенность образами, излишняя декоративность, извилистость, непрямота линий — всего этого нѣтъ въ стихахъ Э. Гиппиуса. Ея стихи вообще лучше сравнивать не съ живописью, а съ графикой. Это тончайшіе рисунки тушью или перомъ, изломанныя капризные линіи, ставшія, правда, теперь менѣе острыми и выразительными, чѣмъ раньше. И поражаетъ и трогаетъ въ нихъ порою сила совѣмъ молодого чувства, какъ въ стихотвореніи «Втайнѣ»:

«Дай вновь увидѣть родныя очи,
Взглянуть въ ихъ глубь — и ширь и снѣжь.
Земное сердце, великой лючю
Въ его тоскъ — о, не покинь!
И все жаднѣе, все неуклоннѣй
Оно зоветь — одну — тебя,
Возьми же сердце мое въ ладонь,
Согрѣй, — утишь — утѣшь, любя...»

М. Цетлинъ.

Ю. Терапіано. На вѣтру. Парижъ. 1938.

Раскрывая новую книгу стиховъ уже знакомаго намъ поэта, мы хотимъ узнать не только то, что поэтъ сочинилъ, но и что онъ выбралъ. Мы помнимъ его по журналамъ и альманахамъ, многое осталось у насъ въ памяти, и мы предвѣдуемъ перечестъ еще разъ когда-то мелькнувшія и насъ поразившія строки. Мы ждемъ и новаго. Но главное, мы хотимъ понять поэта въ его цѣльности, увидѣть его новую книгу, какъ нѣчто задуманное и выполненное, законченное, сотворенное.

Прочтя новый сборникъ Ю. Терапіано «На вѣтру», мы испытаемъ минуты радости: да, они опять передъ нами, эти живые, прекрасные, очень тревожные и талантливые стихи о командирѣ и о границѣ. Мы встрѣчаемъ ихъ, и опять, какъ тогда, когда читали ихъ въ журналахъ, думаемъ о томъ, что это — начало новаго творческаго пути Терапіано. Такъ оно, вѣроятно, и есть. Оба стихотворенія помѣщены въ концѣ книги, и вѣрно они, а не прочія, суть послѣдніе стихи вставшаго на новый путь поэта.

Объ этомъ можно только догадываться, такъ какъ подъ стихами нѣтъ годовъ, но хочется, чтобы это было такъ, и чтобы Терапіано шелъ отъ стиховъ о полубабытыхъ самими французами французскихъ поэтовъ къ стихамъ о Россіи, а не наоборотъ. Именно сопоставленіе этихъ двухъ отдѣловъ книги подчеркиваетъ всю разницу прошлаго и настоящаго поэзіи Терапіано. Въ книгѣ, такимъ образомъ, двѣ книги, а то и три.

Эта третья — состоитъ изъ лирическихъ, подчасъ печальныхъ, стиховъ, носящихъ на себѣ, однако, печать своеобразія и полныхъ

хороших находок. Въ этомъ отдѣлѣ попадаются такіе стихи, какъ напр. на стр. 8:

Чугунъ, гранитъ. Рѣки глухія воды,
въ которомъ очень удаченъ «гордый пустошвѣтъ», а строчка
Листокъ невѣдомый, листокъ кленовый.

несомнѣнно сродни дермонтовскому дубовому листку.

Названіе книги не покрываетъ и половины стиховъ. Но два стихотворенія имѣютъ къ нему прямое отношеніе: это очень полемическое «Письмо» и «О чемъ писать теперь?» Оба искренни, но спорны.

Н. Б.

Довидъ Кнутъ. Насущная Любовь. Парижъ. 1938.

Любовь, для Кнута, то-же, что хлѣбъ молитвы Господней: то, безъ чего человѣкъ не можетъ существовать. Вся его поэзія проявленіе новой, отрадной, и во многомъ и повсюду дающей себя знать тенденціи, новаго гуманизма — реакціи вмѣстѣ и противъ охватившей міръ безчеловѣчности и противъ до послѣдняго момента модной среди élite сверхчеловѣчности. Эта поэзія ближе къ «землѣ», къ жизни, къ реальности, и значитъ, формально, къ «прозѣ» — въ условномъ, общепринятомъ смыслѣ, что, разумеется, не мѣшаетъ ей быть «чистой поэзіей» въ подлинномъ значеніи, т. е. искусствомъ выразительнаго слова. Сущность этого новаго сознанія и вмѣстѣ съ тѣмъ этой обусловленной имъ новой поэзіи прекрасно сформулирована самимъ Кнутомъ:

Мы постепенно стали отличать
Поддѣльные слова отъ настоящихъ,
Мы разучились плакать и кричать,
Мы полюбили гибнущихъ и надшихъ.
И стало все пронзительнѣй, труднѣй,
И стало все суровѣе и проще,
Слова — бѣднѣй, молчаніе — нѣжнѣй... («Нишета»)

Образцомъ мастерства словесной выразительности Кнута является первая строфа «Кафэ»:

Два спищикъ старика играютъ въ карты,
Подпрыгивая, радуясь, бранясь.
Сосѣдъ съ математическимъ азартомъ
Дѣвицу тербитъ, не торопясь...

И примѣровъ этой мѣткости, смѣлости словосочетацій у него можно было-бы привести немало. Но у каждой поэзіи есть свои опасности. «Человѣческая» поэзія, обращающаяся къ «духу» скорее чѣмъ къ «духу», къ нравственному сознанію, къ чувству совѣсти, какъ-то связана съ тѣми формами словеснаго искусства, которые относятся къ области реторики. Стихи этого рода легко могутъ быть таковы,

что, когда мы их читаемъ, намъ словно слышится, что ихъ кто-то декламируетъ. Между этими стихами и нами возникаетъ, стало быть, въ нашемъ сознаниі «посредникъ». А это значить, что такіе стихи несовершенны, т. е. несовершенны. Мнѣ кажется, что Кнуту не всегда удается избѣжать этой опасности (напр., въ послѣдней строфѣ «Счастья» и въ нѣкоторыхъ другихъ, впрочемъ, рѣдкихъ, случаяхъ). Но судить о художникѣ слѣдуетъ по его удачамъ — и съ этой точки зрѣнія надо выдѣлать особо «Поѣздку въ Сень-Реми», вещь во всѣхъ отношеніяхъ образцовую, въ которой «форма» и «содержаніе» совпадаютъ нацѣло, въ которой всѣ слова «настоящія» и которая даетъ одновременно полное и эстетическое, и нравственное, и умственное удовлетвореніе.

П. Бицилли.

Н. Берберова. Безъ заката. Парижъ. 1938.

Романъ назывался раньше «Книга о счастьѣ». Большой соблазнъ для читателя въ такомъ названіи. Въ русской литературѣ трудно найти хотя-бы одно произведеніе, къ которому подошелъ бы такой смѣлый заголовокъ-характеристика. И хорошо сдѣлалъ осторожный авторъ, замѣнивъ заглавіе другимъ, скорѣе похожимъ на заклинанье, чѣмъ на итогъ: вѣдь мы присутствуемъ лишь при зарожденіи чуда, которое «уравновѣщиало цѣлый міръ злобы, болѣзней и тоски», только при первыхъ его проблескахъ. Слово «счастье», безбоязненно и настойчиво повторяемое героиней, не оправдано не потому только, что жизнь Вѣры подъ его благостными лучами показана намъ въ кратчайшемъ отрѣзкѣ, что счастьемъ посвящены лишь заключительныя страницы романа — а потому, что именно эти страницы въ немъ самыя неудачныя.

Авторъ настойчиво увѣряетъ, что Вѣра счастлива и что счастье ея беззакатно. Н. Берберова рассказываетъ осторожно и умѣло, подбираетъ нужные образы, описываетъ звенья цѣпи, неожиданно сковавшей Вѣру и Карелова, не теряя такта и чувства мѣры. Но эта тщательно рассчитанная убѣдительность остается чисто внѣшней. Пѣсня о счастьѣ не закрываетъ, не вызываетъ волнующаго отклика въ душѣ, она не звучитъ. Читатель принимаетъ послѣднюю любовь Вѣры какъ утѣчительное событіе, о которомъ въ порядкѣ переживаній сообщилъ намъ авторъ, какъ даръ судьбы, вѣнчающій незадачливую жизнь и неровный романъ. Сораздоваться читателю не дано. И въ этомъ неудача автора. Несмотря на желаніе Вѣры все разъяснить, подѣлаться всѣми отгѣнками сокровеннѣйшихъ своихъ переживаній, приходится сдѣлать надъ собой усиліе, чтобы принять утвержденіе, что любовь къ Саму, «желанье вѣрности и доброты» къ мужу Александру Альбертовичу, «веселое, пустое счастье» въ объятіяхъ многоопытнаго Федя, были переходящи и смертны, и только подготовляли любовь къ Карелову, единую, всеобъемлющую, беззакатную. Нужно ли обосновывать или объяснять любовь, «ранящую до смерти», которой «нѣтъ конца», которая поражаетъ, какъ неизлѣчима болѣзнь,

уходящая вмѣстѣ съ жизнью?.. Особыми словами можно рассказать о ней, таящими скрытый, всезажигающій огонь, обладающими таинственной силой откровенья, не требующаго ни послѣдовательности, ни подготовки, ни обоснованья. Такія слова знали Гамсунъ и Купринъ. У автора «Безъ заката» ихъ не нашлось.

Въ романѣ чуть слышно звучитъ мотивъ, который по новому окрасилъ бы жизненную симфонію Вѣры и придасть бы ей значительность и убѣдительность, если бы получилъ развитіе: это тихая скрытая жалоба на слишкомъ пеструю жизнь, полную изломовъ. На поколѣнѣ Вѣры несправедливо обрушился вихрь исторіи и превратилъ молодую жизнь въ авантюрный романъ, ставшій бытомъ. Въ ея душѣ такъ естественна тоска по незаконно отнятой идилліи, въ которой больше богатства и красокъ, чѣмъ въ убогой вынужденной авантюрѣ. Великолѣпны страницы, посвященныя бесѣдѣ Вѣры съ бывшимъ женихомъ матери Дашковскимъ. Онъ совѣтуетъ Вѣрѣ «старѣть», и совѣтъ его встрѣчаетъ неожиданный откликъ въ молодой и уставшей душѣ. «Старѣть» — обрѣсти душевный покой, равновѣсіе, тишину. Въ Кареловѣ ей и нравятся его «обыкновенныя» черты, судящія «обыкновенное» человѣческое счастье. Этотъ мотивъ, къ сожалѣнію, только намѣченъ и въ концѣ совершенно заглушенъ браурными вариациями заранѣе заданной основной темы.

Н. Берберовъ тянетъ писать на тезу, доказывать, а не рассказывать и это искажаетъ ея несомнѣнное дарованіе. Въ «Первыхъ и послѣднихъ», въ «Повелительницѣ», въ «Аккомпаниаторшѣ» слишкомъ много принесено въ жертву заданью. Техникой письма Н. Берберова владѣть прекрасно и свое властное вмѣшательство умѣетъ скрыть. Но герои ей послушны и часто, насилуя себя, приходятъ въ предназначенное для нихъ авторомъ мѣсто, чтобы спасти намѣченную тезу. Насколько выглядятъ они лучше, когда оказываются внѣ власти тезы! Какъ точенъ, правдивъ и тонокъ рисунокъ въ изображеніи больного мальчика-музыканта и его подруги, толстой дѣвочки. Сколько чутя и проникновенья въ рассказѣ объ обиженномъ жизнью и утомительномъ Александрѣ Альбертовичѣ.

Своей любовью въ прозѣ Н. Берберова начала съ цикла «Біанкурскіе праздники». Это было многообѣщающее начало. Рѣдкая, почти единственная попытка художественно оформить временный бытъ русскихъ заграничей. Замѣчательно, что въ этихъ рассказахъ не растроялся и не распапывался самый разрывъ съ родиной и Біанкуръ выглядѣлъ русской слободой. Но въ удивительномъ сочетаніи объективности и тонко-интимнаго настроенія съ рѣдкимъ искусствомъ отражена была нарастающая пленка новаго временнаго быта на ноющемъ отъ боли еще кровоточащемъ мѣстѣ разрыва. «Біанкурскіе праздники» лишены были даже обязательной «эмигрантской тезы». Чудесенъ рассказъ «Біанкурская скрипка», съ нишею словъ героевъ и ихъ подлиннымъ глубоко-человѣческимъ чувствомъ, или «Біанкурская рукопись» — о смертельно-опасномъ воображеніи, когда, оторвавъ отъ новаго быта, оно слишкомъ ярко рисуетъ родину и близкихъ, которыхъ никогда, никогда не суждено увидѣть.

Къ прежней манерѣ письма, но обогащенной высокими техническимъ совершенствомъ, Н. Берберова вернулась въ своемъ послѣднемъ произведеніи: «Хроника одного замка». Это, быть можетъ, лучшее, что написано до сихъ поръ Н. Берберовой.

Я лишень возможность подробно остановиться здѣсь на этомъ подлинномъ шедеврѣ, гдѣ форма поразительно сочетается съ содержаниемъ, гдѣ тема угасанія французской романтики въ причудливомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ естественномъ сочетаніи съ романтикой русской достигаетъ неотразимой силы музыкальнаго произведенія.

С. Савельевъ.

Софія Зайцева. Дѣтскими глазами на міръ. (Повѣсть изъ жизни Петербургской дѣвочки). Харбинь. 1937.

Воспоминанія о дѣтствѣ рѣдко кому удаются: авторы ихъ легкопадаютъ въ сентиментальный, самоуниженный тонъ, столь рѣзко несоответствующій дѣйствительной дѣтской атмосферѣ. Кромѣ того рассказъ о дѣтствѣ обычно ведется въ формѣ ретроспективной и присутствіе взрослого рассказчика непрерывно ощущается читателемъ, — писатель почти никогда не разстается со своимъ взрослымъ сознаніемъ, толкуеть событія дѣтской жизни какъ «большіе» и выладеваетъ въ уста ребенка слова, которыхъ онъ явно не могъ произнести.

С. Зайцева избѣжала въ своей повѣсти такихъ диссонансовъ — въ этомъ смыслѣ книга ея представляетъ собою несомнѣнную удачу. Мы погружаемся въ міръ подлинныхъ дѣтскихъ интересовъ. Время дѣйствія — страшная переломная эпоха войны и революціи, но не объ этихъ событіяхъ, лишь мелькомъ упоминаемыхъ, повѣствуетъ Зайцева, а о томъ, что и впрямь волновало душу дѣвочки. Ей равно интересны всѣ мелочи, попадающія въ поле ея зрѣнія: «Самое трудное, — пишетъ Зайцева, — что все вообще интересно, а старшіе все время заставляютъ выбирать что-нибудь одно».

По правдѣ сказать, Зайцевой не всегда удается внушить и намъ, что «все интересно» въ ея повѣсти. — книга блѣдновата съ художественной точки зрѣнія.

Юрій Мандельштамъ.

Н. Берберова. Бородинъ. Изд. Петропольсь. 1938.

Музыкальный міръ и «міръ музыкантовъ» — не чужой для Берберовой. Она его чувствуетъ и относится къ нему любовно и бережно. Она помимо того обладаетъ и той степенью музыкальной начитанности, которая позволяетъ не дѣлать грубыхъ ляпсусовъ въ музыкальной сферѣ, какъ извѣстно, въ этомъ отношеніи едва ли не наиболѣе чувствительной къ литературнымъ прикосновеніямъ «профановъ». Небольшая книжка о Бородинѣ врядъ ли можетъ быть причислена къ модному нынѣ типу «біографій-романовъ»: она для этого слишкомъ скромна по размѣрамъ — это скорѣе родъ «новеллы» на тему жизни

великого русского композитора, жизни, которая отмечена слишком малым количеством событий, чтобы дать повод к созданию из ее материала «романа». Написанная сь обычным талантом и литературным мастерством своего автора, она хороша тѣмъ, что дает максимумъ документальныхъ чертъ и минимумъ авторскихъ домысловъ и фантазій; во всякомъ случаѣ, оригинальная и типичная для «ушедшей Россіи» фигура безвольнаго, безинициативнаго и какъ бы неожиданно для самого себя гениальнаго автора «Князя Игоря» въ ней очерчена мастерски, любовно и выступаетъ какъ живая. Авторъ не избѣгъ нѣкотораго гротеска и сгущенія красокъ: на самомъ дѣлѣ Бородинъ все-таки не былъ Обломовымъ отъ музыки, а былъ даже очень трудолюбивымъ человѣкомъ и невозможною отдался музыкѣ цѣликомъ («я — композиторъ по воскресеньямъ», — говорилъ онъ друзьямъ) имъ воспринималась какъ трагедія, а не какъ фатальная неизбежность. Рекордъ же медлительности сочиненія принадлежитъ вовсе не ему, а Балакиреву (одну симфонію писалъ 42 года). Для читателя-музыканта жалъ, что въ книгѣ мало словъ о самой музыкѣ — черты быта и окруженія житейскаго доминируютъ. Фактическихъ неточностей въ книгѣ мало и онѣ не существенны (Листъ вовсе не былъ высокаго роста, противоположеніе «диллетанта» Бородина «профессионаламъ» Балакиреву и остальнымъ невѣрно исторически, ибо всѣ «кучкисты» были диллетантами и этимъ гордились. Нѣсколько неожиданно и «обидно» выраженіе, что «скарманъ ихъ» — Танѣева, Балакирева и Чайковскаго — «зависѣлъ отъ ихъ вдохновенія». Это можетъ быть сь оговорками примѣнимо только къ Чайковскому, но никакъ ни къ бесребреннику Танѣеву, ни къ Балакиреву, написавшему вообще десятка два сочиненій за всю жизнь). Но всѣ эти маленькія неточности не вліяютъ на общій серьезный и симпатичный обликъ книги. Пока въ русской литературѣ не появилось настоящихъ документальныхъ и научныхъ біографій нашихъ великихъ композиторовъ (стыдно признаться — даже Глинка еще не удостоился этого), подобнаго рода популярныя «новеллы»-біографіи могутъ дать хоть нѣкоторое понятіе о жизненномъ обликѣ музыкальныхъ дѣятелей и тѣмъ лишить ихъ образы той безплатной абстракціи, въ которомъ они пребываютъ для большинства «широкой публики».

Л. Сабанѣвъ.

Временникъ Общества Друзей Русской Книги. Вып. IV. Парижъ. 1938 годъ. 293 стр. Цѣна 100 франковъ.

Въ 1925 году, приступая къ изданію «Временника», инициаторы объявили о своемъ намѣреніи давать его по два выпуска въ годъ. На дѣлѣ за 13 лѣтъ работы имъ удалось издать въ общей сложности всего только 4 выпуска. Это, конечно, очень далеко отъ «плановыхъ предположеній». Но читатель, знакомый сь условиями русской издательской дѣятельности за границей, будетъ удивляться не этому замедленію темпа выхода книжекъ «Временника», а тому факту, что

последний не только продолжает выходить, но и отъ выпуска къ выпуску, наперекоръ всѣмъ трудностямъ, расширяется, вноситъ улучшения и, такъ сказать, самоопредѣляется: приобретаетъ свое собственное, все болѣе и болѣе отчетливое лицо. Въ этомъ несомнѣнно большая заслуга издательской группы «Временника», и въ первую очередь его редакторовъ, Г. Л. Лозинскаго и Я. Б. Полонскаго.

О томъ, въ какомъ направленіи идетъ процессъ «самоопредѣленія» «Временника», лучше всего судить, сравнивая содержаніе рецензируемаго теперь выпуска IV съ содержаніемъ I выпуска. Этотъ последний, вышедшій въ 1925 г., отъ другихъ библиографическихъ журналовъ, которыхъ русская эмиграція знала уже немало, отличался только библиофильской тщательностью внѣшняго оформленія: лучшая бумага, заботливый подборъ прирѣзковъ, около 30 иллюстрацій... По содержанію разницы не было: то же почти безраздѣльное преобладаніе статей, связанныхъ съ судьбами русской книги и книги о Россіи за годы войны и послѣвоенные, и въ особенности съ судьбами книги въ современной эмиграціи. Статей о старой книгѣ совсѣмъ не было. Всѣ безъ исключенія статьи были написаны русскими авторами, и по типу приближались къ обычнымъ журнальнымъ или даже газетнымъ статьямъ. Ни одна изъ нихъ не носила характера самостоятельной изслѣдовательской работы. На нѣкоторыхъ лежалъ явственный отпечатокъ тѣсной связи ихъ авторовъ съ практикой издательски-книготорговческой дѣятельности.

Совсѣмъ иной характеръ носить IV выпускъ «Временника». Онъ прежде всего выросъ по объему: почти 300 стр. вмѣсто 100. Сильно улучшилось внѣшнее оформленіе. Богатство заботливо подобранныхъ иллюстрацій (свыше 120!), среди которыхъ надо особо отмѣтить оригинальные рисунки А. Н. Бенуа къ «Гусару» Пушкина (одинъ изъ этихъ рисунковъ данъ въ краскахъ). Все это позволяетъ «Временнику» съ честью выдерживать конкуренцію съ лучшими изданіями этого типа, — и не только русскими, но и иностранными. Еще болѣе существенны перемѣны въ содержаніи. Въ IV выпускѣ нѣтъ ни одной статьи, которая была бы такъ или иначе связана съ проблемами изученія современной книги вообще и изданій современной эмиграціи въ особенности. Изъ общаго числа 19 статей и сообщеній, данныхъ въ этомъ выпускѣ (я не считаю некрологовъ), 11 трактуютъ темы, полностью или частично связанные съ исторіей XVI-XVIII вѣковъ. Почти всѣ безъ исключенія статьи носятъ характеръ самостоятельныхъ изслѣдовательскихъ работъ, и порою подводятъ итоги долготѣннымъ спеціальнымъ изысканіямъ. Въ нѣкоторыхъ публикуются впервые цѣнные историческіе и историко-литературные документы. Особое вниманіе редакціей обращено на привлеченіе статей, знакомящихъ съ сокровищами старой русской книги, хранящимися въ разныхъ бібліотекахъ Зап. Европы. Въ числѣ сотрудниковъ появился цѣлый рядъ нерусскихъ авторовъ-специалистовъ.

Руководители «Временника» все болѣе и болѣе уводятъ его отъ современности къ относительно отдаленному прошлому и стремятся изъ библиографическаго журнала обычнаго типа, какимъ онъ

былъ въ началѣ своего существованія, превратить его въ академически-научный библиологическій сборникъ. Въ этомъ одновременно и сильныя, и слабыя стороны «Временника». Сильныя, — ибо этотъ научный характеръ «Временника» уже позволилъ ему занять определенное мѣсто въ русской библиологической литературѣ. Въ немъ уже напечатанъ рядъ статей, мимо которыхъ не смогутъ пройти специалисты, работающіе надъ соответствующими группами вопросовъ.

Но въ этомъ же и слабая сторона «Временника». Литература современной эмиграціи велика, разнообразна и своеобразна. Она несомнѣнно будетъ привлекать къ себѣ много вниманія будущихъ библиофиловъ и библиографовъ. Ее будутъ искать, собирать и изучать и притомъ подъ самыми различными углами зрѣнія. Она уже теперь насчитываетъ большое количество рѣдкостей, и это количество будетъ расти въ геометрической прогрессіи: при отсутствіи средствъ на печатаніе книгъ, зарубежные писатели прибѣгаютъ къ самымъ разнообразнымъ средствамъ ихъ размноженія — до переписки отъ руки включительно. Размноженными на пишущей машинкѣ въ количествѣ 10-20 экземпляровъ выходятъ сейчасъ не только политическіе памфлеты и бюллетени, но и мемуары, историческія изслѣдованія, художественныя произведенія... Конечно, «Временникъ», выходящій разъ въ 3-4 года, не имѣетъ возможности полностью обслужить всѣ потребности изученія этой послѣдней литературы. Но въ качествѣ единственнаго въ настоящее время за рубежомъ русскаго библиографическаго изданія, онъ не имѣетъ права совершенно забывать объ этой области, и долженъ пытаться давать свѣдѣнія хотя бы только о наиболѣе рѣдкихъ изданіяхъ.

Въ указанныхъ выше предѣлахъ рецензируемый выпускъ «Временника» составленъ очень разнообразно. Онъ открывается фототипическимъ воспроизведеніемъ автографа «Гусара» Пушкина, подлинникъ котораго недавно найденъ въ бумагахъ Проспера Мериме. Для специалиста большую цѣнность представляетъ статья Дж. Барниколта о «Неизвѣстныхъ русскихъ книгахъ, найденныхъ въ Англіи»: эта статья даетъ свѣдѣнія о 19 русскихъ старопечатныхъ книгахъ (до 1650 г.), которая до сихъ поръ не была известна библиографамъ. Жанъ Порше на основаніи неизданныхъ документовъ выясняетъ точную исторію посѣщенія Петромъ Великимъ Парижской Национальной (тогда Королевской) Библиотеки. П. Н. Апостоль публикуетъ результаты своихъ работъ по изученію россики въ кабинетѣ эстамповъ этой же библиотеки. Очеркъ П. Н. Милюкова о «Первопечатникѣ Иванѣ Федоровѣ» представляетъ изъ себя какъ бы небольшую дополнительную главу къ монументальнымъ «Очеркамъ по исторіи русской культуры». Весьма интересные матеріалы собраны въ двухъ статьяхъ, посвященныхъ исторіи русской печати въ Америкѣ, — Г. Л. Лозинскаго: «Русская печать въ Аляскѣ и для Аляски» и С. Г. Сватикова: «Агапій Гончаренко — основатель русской печати въ Сѣверной Америкѣ». Какъ обычно, своеобразнымъ интересомъ полонъ очеркъ А. М. Ремизова о «Рисункахъ писателей». Цѣнны и интересны очерки и сообщенія Я. Б. Полонскаго (о судьбѣ «литературнаго архива и усадь-

бы кн. Зинаиды Волконской въ Римѣ»), М. А. Осоргина (о найденіиомъ имъ дневникѣ М. Н. Муравьева-старшаго о Москвѣ во время коронаціи Павла I), С. М. Лифаря (о «Дягилевъ-библиофильѣ»), Б. Унбегауна (о «русской тайнописи XVII вѣка» и о «трудѣ Захаріи Орфелина о Петрѣ Великомъ»), Н. Кузьмана (о «первой русской грамматикѣ»), Н. Туровцова (о библиотекѣ Д. И. Ознобищина, — съ приложеніемъ факсимиле неизданнаго письма Суворова) и др. Каждая изъ этихъ статей и сообщеній представляетъ болѣе или менѣе значительный интересъ въ соотвѣтствующей области и появленіе каждой изъ нихъ въ печати можно только приветствовать.

Исключеніемъ является только одна статья г. А. Лютера о «Русскихъ писателяхъ въ нѣмецкихъ переводахъ». Это заглавіе звучитъ очень многообѣщающе: тема — и интересная, и значительная, такъ какъ проблема вліянія русской литературы на нѣмецкую литературно-общественную жизнь XVIII-XIX вѣковъ до сихъ поръ совершенно не разработана, и изученіе вопроса о переводахъ съ русскаго является необходимѣйшей посылкой серьезной постановки этой проблемы. Но содержаніе статьи больше, чѣмъ разочаровываетъ. Въ то время, какъ остальные статьи и сообщенія «Временника» являются или серьезными изслѣдованіями, или точными фактическими сообщеніями, очеркъ г. Лютера поражаетъ своей научной легковѣсностью. Авторъ надергаетъ изъ разныхъ мѣстъ рядъ болѣе или менѣе случайныхъ справокъ. Но, повторимъ, статья г. Лютера является хотя и очень досаднымъ, но все же единичнымъ исключеніемъ. Уровень остальныхъ статей «Временника» стоитъ очень высоко, и мы не можемъ не пожелать его издателямъ успешнаго продолженія ихъ дѣятельности и въ будущемъ.

Б. Николаевскій.

Пушкинъ и его время. Ред. проф. К. I. Зайцева. Харбинь. 1938.

Это изданіе — альбомъ снимковъ преимущественно съ портретовъ Пушкина и его родныхъ, друзей, вообще людей, съ которыми или такъ или иначе была связана, съ соотвѣствующими выдержками изъ писемъ Пушкина, воспоминаній и замѣтокъ этихъ людей, стиховъ Пушкина и т. п. и съ краткими пояснительными замѣтками. Въ общемъ, едва-ли самая богатая по матеріалу изъ всѣхъ книгъ этого рода и стало быть полезнѣйшая для всякаго не-специалиста по «Пушкиновѣдѣнію», который пожелалъ-бы составить себѣ конкретное представленіе объ условіяхъ жизни и духовнаго развитія Пушкина, облегчающая пониманіе множества его произведеній. Въ пояснительныхъ замѣткахъ есть кое-что спорное — то, напр., что сказано объ отношеніи Пушкина къ Николаю I, о религіозности Пушкина. Конечно, единомыслія въ пониманіи всякаго гения быть не можетъ. Вопросъ исключительно въ степени методологической правильности обоснованія того или иного взгляда. Въ подкрѣпленіе своихъ словъ о томъ, что Пушкинъ «любилъ и уважалъ» Николая за «высокія, нравственныя черты», авторъ редактируемой замѣтки приводитъ между про-

чимъ стихи «Къ Н.» (Съ Гомеромъ долго ты бесѣдовала одинъ), не оговариваясь, что современные изслѣдователи считаютъ (и на основаніи весьма убѣдительныхъ доводовъ), что эти стихи обращены не къ Николаю I, а къ — Гибдичу. Въ подкрѣпленіе мнѣнія о томъ, что Пушкину были всегда свойственны порывы религіознаго вдохновенія и что «не можетъ онъ почитаться ни въ одинъ періодъ своей жизни отпавшимъ отъ Церкви», приведено «признаніе», сдѣланное имъ А. О. Смирновой и находящееся въ ея Запискахъ, опять-таки безъ оговорки о томъ, что записки эти въ сущности — апокрифъ. Записки Смирновой, кстати сказать, цитируются въ нѣсколькихъ мѣстахъ — и всегда какъ первоисточникъ.

II. Библия.

А. Л. Бемъ. Достоевскій. Психоаналитическіе этюды. Прага «Петропольсь». 1938.

Извѣстный изслѣдователь творчества Достоевскаго А. Л. Бемъ издалъ сборникъ своихъ уже ранѣе напечатанныхъ статей («Сногтворчество», «Развертываніе сна», «Драматизація бреда», «Проблема вины»), присоединивъ къ нимъ новый этюдъ о «Разсудкѣ и хотѣніи» и предпославъ имъ въ видѣ предисловія статью «Психоанализъ въ литературѣ». Получилась книга, единая по замыслу и методологической установкѣ.

Въ своей работѣ надъ Достоевскимъ А. Бемъ исходитъ изъ пониманія художественнаго произведенія, какъ нѣкоего единства, въ себѣ закончено и объективно даннаго. Матеріалъ его почерпнуть писателемъ изъ собственнаго психическаго міра и художественно деформированъ. Поэтому, изслѣдуя творчество писателя, необходимо реконструировать его личность и воссоздать его «литературную біографію». А. Бемъ справедливо полагаетъ, что въ этой области психоанализъ можетъ оказать историкъ литературы большую услугу. Слѣдуетъ только строго установить границы примѣненія этого метода; въ противномъ случаѣ литературное изслѣдованіе съ легкостью можетъ превратиться въ психопатологію, въ сумбуръ «ушмеленностей», «сублимаций» и «комплексовъ». Работа самого Фрейда, посвященная «Братьямъ Карамазовымъ», учитъ насъ, какъ не слѣдуетъ поступать.

А. Бемъ находитъ удачную методологическую формулу: «Психоаналитическое изслѣдованіе художественнаго произведенія возможно только до той границы, до которой доводятъ закрѣпленные въ словѣ слѣды когда-то реальныхъ у автора душевныхъ переживаній». Иллюстраціей этого новаго и плодотворнаго метода является этюдъ о «Хозяинѣ» Достоевскаго («Драматизація бреда»). Повѣсть развивается въ двухъ планахъ — фантастическомъ и реальномъ. Брешь между ними едва замѣтна; основной приѣмъ построения: «реализація явленій внутренняго міра во внѣ, какъ реально происходящихъ событій». Мечтатель-фантастъ Ордынцовъ живетъ въ мірѣ своихъ видѣній, сновъ, полубредовыхъ фантазій. Достоевскій показываетъ творческую силу больного воображенія: бредъ воплощается въ образъ галлюцинацій,

отсюда сказочно-нереальный характер «красной дѣвицы-голубицы» Катерины и «злого старика», чернокнижника Мурина. Повесть «Хозяйка», непонятая современниками, становится понятной и художественно оправданной, если смотреть на нее, какъ на душевную трагедию Ордынова. А. Бемъ объясняетъ происхождение замысла повѣсти, — связь ея съ душевнымъ состояніемъ автора въ 1846-1847 году и сообщаетъ много новыхъ данныхъ о томъ загадочномъ періодѣ жизни Достоевскаго, когда онъ былъ на грани психическаго заблѣванія.

А. Бемъ, конечно, правъ, называя Достоевскаго «сновидцемъ» и подчеркивая «глубинный, фантастическій тонъ» его творчества. Но съ меньшей силой слѣдуетъ подчеркнуть его «духовный реализмъ», подлинную онтологию его произведеній, стоящую надъ всякой психологіей. И здѣсь въ области метафизики, гдѣ Богъ съ дьяволомъ борется, гдѣ рѣшаются вопросы о существованіи Бога, о смыслѣ жизни и оправданіи добра, психоанализъ теряетъ все свои права. Если «Вѣчный мужъ» и «Хозяйка» суть только «развертываніе сна» и «драматизация бреда», они остаются на уровнѣ интересныхъ психологическихъ этюдовъ; лишь при столкновеніи **реальныхъ** личностей: Вельчанинова и Трусоцкаго, Ордынова и Катерины они возвышаются до трагедіи.

Эти возраженія не уменьшаютъ большой цѣнности работы автора, какъ подготовительной стадіи къ изученію Достоевскаго, великаго «пневматолога». Такая работа совершенно необходима. Но за ней должна послѣдовать «новая книга» о Достоевскомъ, о которой мечтаетъ авторъ. Замыселъ ея очень интересенъ. «Въ основу такой книги, пишетъ А. Бемъ, должна лечь проблема преодоленія замкнутости личности черезъ приобщеніе къ живому потоку жизни». Пожелаемъ ему скоро ее написать.

К. Мочульскій,

Н. Дорнъ. Кирѣевскій. Парижъ. 1938.

Отдѣльной книги объ И. В. Кирѣевскомъ у насъ никто еще не удостоился написать и потому одно уже заглавіе работы г. Дорна привлекаетъ къ ней вниманіе и сочувствіе. Читаніе ея однако больше всего оттолкнетъ именно тѣхъ, кого всего сильнѣй привлекало ея заглавіе. Не то, чтобы авторъ былъ человѣкъ бездарный; онъ умѣетъ отчетливо мыслить и въ соотвѣтствіи съ такимъ мышленіемъ писать; книга его настолько толкова, что только диву даешься, какъ эта самая толковость не помѣшала ему вообще взяться за нее. Развѣ не ясно заранее, что не стоитъ писать книгу о человѣкѣ, къ которому не чувствуешь ничего кромѣ вражды, да еще называть ее «опытъ характеристики ученія и личности». Такіе опыты мало кому удаются; опытъ г. Дорна совсѣмъ не удался.

Нѣтъ сомнѣній, что у Кирѣевскаго было много недостатковъ: слабоболіе, дѣнь, извѣстная робость и распылчатость мысли, а въ молодости, какъ видно изъ его берлинскихъ писемъ роднымъ, наив-

ное сомнѣніе и ребяческая завосчивость. Умолчать объ этихъ чертахъ было бы пристрастно, но небезпристрастно и съ упоеніемъ ихъ подчеркивать. Изъ тѣхъ же берлинскихъ писемъ явствуетъ, что молодой Кирѣвскій Германію не любилъ и къ нѣмцамъ былъ несправедливъ; нѣсколько странно, однако, что еще черезъ сто лѣтъ г. Дорнъ отъ этого приходитъ въ негодованіе. Надо сказать, впрочемъ, что если онъ ставитъ Кирѣвскому всякое лыко въ строкъ и среди возможныхъ мотивовъ его поступковъ довѣряетъ лишь самымъ низменнымъ, то это не потому, что онъ сердитъ на него самого (художественную одаренность, напр., онъ готовъ ему оставить), а потому, что онъ ненавидитъ славянофильство, а также терпѣть не можетъ православіе. Два особенно ласковыхъ позднихъ письма Кирѣвскаго его духовному отцу онъ приводитъ въ качествѣ доказательства не то слабоумія, не то обскурантизма, славянофильство же стремится отождествить съ такъ называемой официальной народностью, считая основными его признаками «національную исключительность, «враждебное отношеніе къ Европѣ» и «религіозную нетерпимость». Всякій безпристрастный историкъ признаетъ, что эти признаки справедливы было бы формулировать иначе и говорить о національномъ и религіозномъ самосознаніи и о подчеркиваніи особенности Россіи по отношенію къ западному міру. Характерны для всякаго ученія не его крайности, а его основное и центральное ядро.

Конечно, славянофиловъ можно и должно критиковать, но казалось бы заранѣе ясно, что бесплодно этимъ заниматься, пребывая на старыхъ, критически непровѣренныхъ западныхъ позиціяхъ. Между тѣмъ именно это и составляетъ рѣшающій дефектъ книги г-на Дорна. Онъ не понимаетъ, что въ любомъ отождественіи въ исторію споръ ни одна сторона уже не можетъ быть **вполнѣ** права или неправа. Ему показалось бы смѣшнымъ, если бы кто-нибудь сейчасъ заявлялъ себя заранѣе во всемъ согласнымъ съ Кирѣвскимъ или Хомяковымъ, но вѣдь не менѣе забавенъ и онъ самъ, когда ссылается на незыблемый для него авторитетъ Чернышевскаго, Писарева и Пылина. Такой атавизмъ дѣлаетъ его книгу безсодержательной и ненужной, собраніемъ матеріаловъ, наизванныхъ на стержень обветшавшей и скудной идеологіи. Къ тому же атавизмъ этотъ касается не только идей, но и литературныхъ оцѣнокъ: г. Дорнъ называетъ Боратынскаго «однимъ изъ маленькихъ поэтовъ пушкинской плеяды» и обрушивается на Кирѣвскаго, который «не затрудняется назвать его первокласснымъ и ставитъ выше нѣмецкихъ авторовъ». При такихъ литературныхъ горизонтахъ лучше ни о русской, ни даже о нѣмецкой литературѣ не писать.

В. Вейде.

A. *Hackel*. Das altrussische Heiligenbild, die Ikone. «Disquisitiones Carolinae» I. X. Nijmegen, 1936.

Эта книга русскаго ученаго, написанная по-нѣмецки и изданная въ Голландіи, даетъ не исторію русскаго иконописанія, но чрезвычайно

полезное для западнаго, а во многомъ и для русскаго читателя общее руководство къ пониманію иконописнаго искусства. Она не очень дѣлана, написана въ высшей степени ясно и просто, снабжена различными указателями, немногими, но отлично подобранными иллюстраціями, а также довольно обширнымъ предисловіемъ голландскаго языковѣда проф. Теодора Бадера, обнаруживающимъ большое вниманіе и большую любовь къ Россіи, русской церкви и русскому искусству.

Работа г. Гаккеля раздѣлена на три части. Въ первой онъ представляетъ икону какъ художественное произведеніе, останавливается на ея технику, на ея живописныхъ приемахъ, говоритъ о главныхъ центрахъ ея процвѣтанія, Кіевѣ, Владимірѣ, Новгородѣ, Москвѣ; во второй — онъ подводитъ читателя къ религиозному содержанію иконы, къ основнымъ ея темамъ, къ ея мѣсту въ богослуженіи и церковной жизни; въ третьей, наиболѣе самостоятельно продуманной, рассматриваетъ ее какъ символъ, т. е. изучаетъ ея религиозный смыслъ. Здѣсь онъ даетъ превосходный анализъ знаменитой рублевской «Троицы», справедливо выбранной въ качествѣ гениальнаго и особо показательнаго образца русскаго иконописнаго искусства.

Надо быть благодарнымъ автору за всесторонность его подхода къ темѣ: внѣ церковнаго смысла иконы не открывается въ должной полнотѣ и художественный ея смыслъ. Хомяковъ писалъ девяносто лѣтъ тому назадъ: «Икона не есть религиозная картина, точно такъ же, какъ церковная музыка не есть музыка религиозная... Икона въ христіанствѣ возможна только въ церкви, въ единствѣ церковнаго созерцанія». Искусства иконы Хомяковъ еще не зналъ, но слова его остаются вѣрны и даже приобретаютъ болѣе глубокій смыслъ теперь, когда мы его узнали. Книга г. Гаккеля темъ и хороша, что она возсоединяетъ тѣ двѣ неразрывныя стороны этого искусства, разобщать которыя такъ опасно для его пониманія.

В. Вейдле.

Н. А. Реймерсъ. Дедукція понятія движенія въ примѣненіи къ вопросу о подвижности земли. Парижъ. 1937. — Проф. К. І. Зайцевъ. Основы этики. Выпускъ I. Харбинъ. 1937. — Левъ Закутинъ. О чувствѣ и чувственности. «Космосъ», Парижъ, 1937. — *Fanny Louitzky. Soeren Kierkegaard. Etude psychanalytique.* Denveil et Steele. Paris. 1937.

Четыре книжки эти относятся всеъ хотя и по разному къ области философіи и свидѣтельствуютъ во всякомъ случаѣ о живомъ интересѣ къ ней.

Работа г. Реймерса наиболѣе специальна и терминологически строга; она посвящена критикѣ того, что авторъ считаетъ основнымъ пунктомъ кантовской механики. Написана она нѣсколько косноязычно, не столько въ литературномъ, сколько въ философскомъ отношеніи; въ ней чувствуется, однако, настоящая работа мысли.

Книга К. І. Зайцева — пособіе къ лекціямъ, читавшимся имъ въ Харбинскомъ университетѣ. Лекціи эти расчитаны повидимому на не

очень подготовленную аудиторию. Принимая это во внимание, следует признать, что в педагогическом отношении онъ превосходен. Первый выпускъ посвященъ древней философии или вѣрнѣе мудрости (ибо такова точка зрѣнія автора и для его цѣля она вѣроятно плодотворна) Платона и Аристотеля, стоиковъ и эпикурейцевъ.

«О чувствѣ и чувственности» Л. Закутина—цѣлая философская система, изложенная в афористической манерѣ и не слишкомъ самостоятельная, однако и не вовсе безличная. Авторъ какъ бы хотѣлъ, походячему выраженію, «привести въ порядок свои мысли». Слѣдя за тѣмъ, какъ онъ это дѣлаетъ, читатель быть можетъ наведетъ кое-какой порядокъ и въ своихъ. Нѣкоторыя формулировки г. Закутина удачны. Чужое онъ во многихъ случаяхъ продумалъ самъ.

Исслѣдованіе г-жи Ловцкой страдаетъ обычными недостатками ортодоксальныхъ психоаналитическихъ писаній: оно навязываетъ готовую схему не слишкомъ охотно подчиняющейся ей дѣйствительности. Однако біографію Киркегора и его писанія авторъ изучилъ хорошо и частично его наблюденія интересны. Да и нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что и психоанализъ этого едва ли не самаго страннаго изъ людей не разгадалъ.

В. В.

Д. Мережковский. Францискъ Ассизскій. Петропольск. 1938.

Послѣ книги объ «Иисусѣ Неизвѣстномъ» Мережковский задумалъ серію книгъ о святыхъ: уже появились «Павель и Августинъ»; только что вышло жизнеописаніе Франциска Ассизскаго; обѣщана «Жанна д'Аркъ». Серія объединена общимъ заглавіемъ: «Лица святыхъ отъ Иисуса къ намъ». Идея, руководящая авторомъ въ истолкованіи духовнаго опыта избранныхъ имъ святыхъ, раскрыта на послѣдней страницѣ книги «Францискъ Ассизскій». «Третье царство Духа, пишетъ Мережковский, возможно и для такихъ, какъ мы, потому что и въ такомъ человѣчествѣ, каково оно сейчасъ, совершается черезъ святыхъ шестіе Духа отъ Иисуса къ намъ». «Шестіе Духа» идетъ отъ Второго Завѣта къ Третьему, отъ Царства Сына къ Царству Духа, отъ Евангелія «временнаго» къ Евангелію «вѣчному».

Въ первой главѣ книги о Францискѣ Ассизскомъ авторъ съ большимъ проникновеніемъ излагаетъ ученіе о Третьемъ Завѣтѣ Калабрійскаго аббата Іоакима дель Фьоре. Истина, еще не открытая Сыномъ во Второмъ Завѣтѣ, будетъ открыта Духомъ въ новомъ, грядущемъ Его откровеніи. Послѣ Царства Сына наступитъ Царство Духа — свободы. Изложеніе этого ученія проникнуто у Мережковского такимъ личнымъ чувствомъ, такимъ искреннимъ влodenіемъ, что читатель не можетъ сомнѣваться: вѣра Іоакима дель Фьоре есть вѣра самого автора. И въ свѣтѣ этой вѣры показываетъ онъ намъ образъ Умбрійскаго святого, «божьяго жонглера», «французика» Франциска.

Съ большимъ искусствомъ пользуется авторъ скудными и часто противорѣчивыми данными исторіи и легенды, воссоздавая «духов-

ный климатъ» Италіи XIII вѣка и истолковывая мистическій опытъ Франциска. Въ изображеніи Мережковскаго основатель ордена «Меньшихъ братьевъ» — болѣе скорбней и трагиченъ, чѣмъ мы привыкли о немъ думать. Онъ переживаетъ мучительное раздвоеніе: живетъ уже въ Третьемъ Завѣтѣ, въ царствѣ свободы, во Вселенской Церкви, а чувствомъ и мыслью весь еще во Второмъ, покорный сынъ Вселенской церкви, боящийся свободы и кончающій проповѣдью послушанія-рабства. «Страхъ свободы — вотъ, можетъ быть, грѣхъ не только св. Франциска и св. Лойолы, но и всей христіанской святости».

Авторъ много говоритъ о «грѣхѣ» Франциска, о его «слабостѣ», объ искушеніи люциферовской гордыней, о его «самооглуденіи» и даже объ «отцеубійствѣ». Какъ мало это похоже на самого, евангельскаго изъ всѣхъ святыхъ, на свѣтлаго, радостнаго и кроткаго «серфическаго» Франциска!

Мережковскій постоянно упрекаетъ святаго въ томъ, что онъ не знаетъ, куда идетъ, что онъ не понимаетъ, что такое «Третье Царство Духа», что онъ ошибается, ограничивая свой духовный путь Евангелиемъ «временнымъ». Болѣе того: автору приходится признаться, что Францискъ просто не понялъ бы ученіе о Царствѣ Духа и испугался бы этого, какъ опаснѣйшей ереси. А если Святой «не знаетъ», «не понимаетъ», «не чувствовалъ», но какъ повѣрить Мережковскому, что онъ все-таки «жилъ» этой вѣрой? Не естественно ли заключить, что духовный опытъ автора совершенно не совпадаетъ съ евангельской вѣрой «маленькаго Франциска»?

К. Мочульскій.

Митрополитъ Елевферій. Соборность Церкви. Божіе и Кесарево. Парижъ. 1938 г. стр. 349.

Новая книга митр. Елевферія составилаь изъ статей, печатавшихся раньше въ разныхъ журналахъ, но это не мѣшаетъ единству книги и актуальности основной ея темы. Вся книга посвящена каноническимъ вопросамъ, отчасти уже утерявшимъ свою первоначальную остроту, но по существу оставшимся до сихъ поръ не рѣшенными. Надо однако имѣть въ виду, что въ своей новой книгѣ митр. Елевферій выступаетъ не какъ объективный наследователь, а какъ «сторона», точнѣе говоря, какъ обвинитель. Это придаетъ книгѣ односторонность; вся книга является страстнымъ обвинительнымъ актомъ, въ которомъ есть немало несправедливыхъ сужденій (особенно о Митр. Валогинѣ), есть, увы, и неубѣдительно часто мудрствованіе (въ защиту митр. Сергія въ его различныхъ дѣйствіяхъ). Со всѣмъ тѣмъ гнѣвная и суровая книга митр. Елевферія очень цѣнна острой и четкой постановкой канонической проблемы. Особенно заслуживаютъ вниманія тѣ страницы, гдѣ Митр. Елевферій критикуетъ обычное пониманіе «соборности», наиболее ярко выраженное у Хомякова. Собственные построения Митр. Елевферія не показались намъ убѣдительными, но они заслуживаютъ самаго серьезнаго вниманія и анализа.

Когда Церковь будет свободной, каноническая проблема вновь станет на очередь, — и тогда весь тотъ матеріалъ, которымъ оперируетъ Митр. Елевферій, получить первостепенное значеніе. Мимо книги митр. Елевферія невозможно будетъ пройти, — ее безъ преувеличеній можно признать историческимъ документомъ.

Кромѣ каноническаго матеріала книга содержитъ въ себѣ размышленія о причинахъ русской трагедіи, о религіозномъ смыслѣ ея. И эти размышленія Митр. Елевферія трудно принять, но они дышатъ искренней религіозной болью о Церкви, исходятъ изъ очень глубокихъ переживаній.

В. В. З.

Alexandre Baschkakoff. Cinquante siècles d'évolution ethnique autour de la mer Noire. Paris. 1937.

А. А. Башмаковъ работаетъ подъ несомнѣннымъ вліяніемъ такъ назыв. «яфетической» школы Н. Я. Марра. Иначе и быть не могло. Яфетическая школа создана работой кавказскихъ и русскихъ лингвистовъ надъ кавказскими языками, а кавказовѣдѣніе — центральная ось и исходная точка научнаго интереса А. А. Башмакова. Пусть офціальная наука не вынесла еще о школѣ окончательнаго сужденія, пусть какая-то часть открываемыхъ ею широкихъ перспективъ можетъ оказаться въ той или иной мѣрѣ иллюзіей, но нельзя не поставить въ заслугу Башмакову приобщеніе имъ французскаго читателя къ первому знакомству съ этимъ яркимъ и многообещающимъ достиженіемъ русской научной мысли. Многие въ ней доказало уже свою плодотворность. Такова основная идея школы — особая яфетическая культура, расцвѣтающая у яфетическихъ народовъ на широкомъ пространствѣ, отъ Японіи до Атлантики, задолго до появленія семитовъ и хамитовъ и, тѣмъ болѣе, до вторженія въ центральную и южную Европу арийскихъ варваровъ, едва эту культуру не погубившихъ. Таково приближеніе къ рѣшенію давнишней загадки древнихъ пеласговъ, этрусковъ, кимеровъ и современныхъ басковъ съ ихъ кавказскими сородичами абхазцами. Примѣняя топонимическій методъ Марра и частично комбинируя его съ собственными антропометрическими изысканіями, А. А. Башмаковъ пришелъ къ ряду интересныхъ выводовъ. Самымъ оригинальнымъ изъ нихъ является гипотеза о кровномъ родствѣ современныхъ крымскихъ татаръ и евреевъ-караимовъ съ протоисторическими обитателями Крыма. Интересны также выводы о киммерійцахъ, скивахъ, хазарахъ. Археологическими остатками киммерійской эпохи Башмаковъ считаетъ мѣдную культуру Кубани, верхневолжское Фатьяново, богемское Uelčice и широко раскинутые по российской равнинѣ (отъ Рязани до Херсона, отъ Киева до Самары) могильные остатки со скрюченными и покрытыми охрою скелетами. Пережитками ея въ современной этнографической и географической номенклатурѣ остаются названія Крыма, Тавриды, Керчи, Черкасъ, черкесовъ, караимовъ. Время появленія скивовъ въ Россіи Башмаковъ, путемъ остроумной критики Геродотовъ

ской хронологіи, переносить съ обычно принимавшагоса доселѣ учеными 8-го столѣтія до Р. Х. къ значительно болѣе раннему времени — можетъ быть, къ 15-му столѣтію (Марръ, какъ извѣстно, видѣлъ въ скивахъ кризисированныхъ ифетидовъ, порожденныхъ той же средой, изъ которой вышли и славянскіе племена). Въ хазарахъ Башмаковъ видитъ осколки древнихъ малозазискихъ хиттитовъ.

Дослѣднимъ пробѣломъ въ «50-лѣтковой этнической эволюціи Черноморья» является полное отсутствіе въ ней указаній на готовъ и, въ особенности, на сарматы, роль которыхъ въ культурной исторіи Россійской равнины, и даже европейскаго Запада, была исключительно велика (ср. Ростовицевъ, Иранцы и Греки).

Ив. Херасковъ.

А. Е. Прѣсняковъ. Лекціи по русской исторіи. Т. I. Кіевская Русь. Москва. 1938.

Г. В. Вернадскій. Звенья русской культуры. Древняя Русь. Ч. I. Вып. 1-ый. Изд. Евразійцевъ. 1938.

«Лекціи по русской исторіи» А. Е. Прѣснякова, хотя и не предназначившіяся самимъ авторомъ къ печати, могутъ быть отнесены, въ первой своей части, къ числу наиболее интересныхъ трудовъ покойнаго историка. Къ сожалѣнію, потеря половины авторской рукописи вынудила издателя напечатать послѣднія главы книги (X-XVI) по рукописи 1907-8 г. Поэтому вторая часть только что вышедшихъ лекцій А. Е. Прѣснякова особаго интереса представлять не можетъ. По содержанию своему она тѣсно примыкаетъ къ магистерской диссертациі автора «Княжое право», напечатанной въ 1909 г., вмѣстѣ съ тѣмъ уступаая ей въ тщательности научнаго анализа.

Какъ бы то ни было, неоднородность двухъ частей «Лекцій» съ особой выглядяюстью свидѣтельствуетъ о томъ, какъ сильно, съ теченіемъ лѣтъ, мѣнялись взгляды автора на исторію древней Руси. Вторая часть его лекцій и первая ихъ половина, отдѣленные другъ отъ друга по времени своего написанія восемью годами, не только хронологически, но и по существу представляютъ собой двѣ разныя ступни въ его научной работѣ. Наконецъ, приложенныя къ книгѣ позднѣйшія статьи, — одна 1926 г., другая 1927 г., — принадлежатъ опять-таки къ новому періоду его историческихъ изысканій, во многихъ отношеніяхъ, въ части касающейся историческихъ выводовъ, непохожему на предыдущіе.

Въ началѣ своей научной дѣятельности А. Е. Прѣсняковъ главнѣйшую организующую роль въ дѣлѣ общественнаго и государственнаго строительства древней Руси отводилъ князьямъ Рюриковичамъ. Именно эта точка зрѣнія и была положена имъ въ основу его «Княжого права». Она же проходитъ и черезъ всю вторую часть его «Лекцій». Однако въ 1915-16 г., какъ это видно изъ 1-ой части тѣхъ же «Лекцій», А. Е. Прѣсняковъ склоненъ былъ уже полагать, что «славянская культура оказалась въ X вѣкѣ сильнѣе варяжской» и что «процессъ постепенной славянизации варяжскаго элемента состав-

длаетъ важнѣйшую сторону образования Кіевской Руси». Очевидно, что подобныя утвержденія равносильны признанію большой созидательной роли мѣстныхъ восточно-славянскихъ традицій и общественныхъ силъ для всего древне-русскаго культурнаго, государственнаго и общественнаго уклада. Наконецъ, въ приложенной къ «Лекціямъ» статьѣ «Задачи синтеза протонисторическихъ судебъ восточной Европы» А. Прѣсняковъ уже прямо говоритъ о цѣннѣйшемъ наслѣдіи, полученномъ Кіевской Русью отъ донорманской эпохи. «Періодъ протонисторической жизни, пишетъ онъ, создалъ богатое наслѣдіе не только языка, но и матеріальной культуры и социальныхъ отношеній.. Кіевская Русь — послѣднее звено древней исторической цѣпи и первое — новой. Она унаслѣдовала отъ вѣковаго прошлаго города, торговлю, культуру».

Вопросъ ко происхожденію русскаго государства на Днѣпрѣ является наиболѣе основнымъ для всей нашей древней исторіи. Въ своихъ трудахъ А. Прѣсняковъ подходитъ къ разрѣшенію этой задачи во всеоружіи богатѣйшаго историческаго матеріала, что уже одно дѣлаетъ его изслѣдованія древней Руси, въ частности соответствующія главы его «Лекцій», въ высокой мѣрѣ цѣнными.

Съ не менѣе богатымъ матеріаломъ авторъ въ своихъ «Лекціяхъ» приступаетъ къ разрѣшенію и ряда другихъ существенныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ спорныхъ вопросовъ 1-го періода русской исторіи. Сюда относятся вопросы о Руси и варягахъ, о древне-русской семейной и сосѣдской общинахъ, о городской волости, о болгарскихъ и византійскихъ источникахъ русскаго православія, о политическомъ строѣ Кіевской Руси XI в., о завѣщаніи Ярослава и т. д. Выводы, къ которымъ при этомъ приходитъ авторъ, нерѣдко сильно расходятся съ наиболѣе общепризнанными, въ томъ числѣ, и съ мнѣніями В. О. Ключевского.

Наиболѣе уязвимымъ пунктомъ историческихъ построеній А. Е. Прѣснякова является, быть можетъ, его излишняя склонность къ схематизации русской старины и вытекающая отсюда чрезмѣрная абстрактность его отдѣльныхъ исходныхъ точекъ зрѣнія.

Во всякомъ случаѣ «Лекціи по русской исторіи» А. Е. Прѣснякова читается съ неослабвающимъ интересомъ. Эта книга лишний разъ подтверждаетъ, какую большую работу предстоитъ еще продолжать поколѣніямъ русскимъ историкамъ для выясненія длиннаго ряда неразрѣшенныхъ и спорныхъ вопросовъ, относящихся къ Кіевской Руси.

Книга Г. В. Вернадскаго — «Звенья русской культуры» — во многихъ отношеніяхъ является прямой противоположностью «Лекціямъ» А. Е. Прѣснякова. Г. В. Вернадскій почти не останавливается на существующихъ въ русской исторической литературѣ научныхъ разногласіяхъ, хотя отдѣльныя главы его труда, — хозяйство, общество, власть и управление, право и судъ —, по своему содержанию касаются многихъ темъ, возбуждающихъ въ средѣ изслѣдователей нерѣдко весьма ожесточенные споры. Встрѣчающіяся мѣстами отдѣльныя критическія замѣчанія автора по поводу тѣхъ или иныхъ взглядовъ, высказанныхъ его предшественниками, производятъ впечатлѣ-

ніе случайныхъ и существа спора далеко не исчерпываютъ. То же приходится сказать и по поводу отдѣльныхъ, мало систематизированныхъ утверждений автора, которыми онъ хочетъ доказать «евразійскій» характеръ древне-русской культуры. Для подобнаго обоснованія всѣхъ его утверждений далеко еще не достаточно. Та или иная степень вліянія Востока на развитіе древней Руси не отрицается, конечно, и научными противниками «евразійцевъ».

По своему содержанию книга Вернадскаго принадлежитъ къ числу тѣхъ историческихъ работъ, которая говорятъ не объ историческомъ процессѣ, а объ историческихъ древностяхъ. По существу — это конспектъ, путеводитель по киевскимъ древностямъ, не всегда достаточно полный даже въ области затронутыхъ имъ темъ, далеко не всегда убѣдительный, но имѣющій съ тѣмъ мѣстами весьма не безинтересный.

Какъ и въ прежнихъ трудахъ Г. В. Вернадскаго, такъ и въ данной книгѣ, его собственная любовь и вкусъ къ русской старинѣ ясно видны. Однако изъ чтенія «Звенья русской культуры» должны заинтересовать въ первую очередь коллекціонеровъ разнаго рода мелкихъ историческихъ свѣдѣній, а не любителей большихъ историческихъ картинъ.

Д. Одынецъ

С. Е. Крыжановскій. Воспоминанія. Изд. Петрополисъ.

Небольшая книжка С. Е. Крыжановскаго представляетъ очень большой интересъ, историческій и политическій. Она изъ тѣхъ, которые останутся, какъ непосредственное и компетентное свидѣтельство о царившихъ за кулисами стараго порядка навыкахъ и атмосферѣ. Авторъ не преслѣдуетъ задачи изобличить строй, которому онъ вѣрой и правдой служилъ десятки лѣтъ. Но помимо намѣренія, объективно, и этотъ «судредитель и предсѣдатель правленія Союза ревнителей памяти императора Николая II», какъ и графъ Коковцовъ (см. нашу статью «То, что было» въ № 54 «Со... Записокъ»), вскрываетъ язвы самодержавнаго режима ярче и глубже многихъ отъявленныхъ его враговъ.

Имя Крыжановскаго стало нарицательнымъ за послѣднее десятилѣтіе самодержавія. «Нарицательность» удержалась и тогда, когда на смѣну Крыжановскому пришли другіе, превосшедшіе его безцеремонностью административно-законодательнаго нажима и искаженія установленнаго самую же властью порядка выборовъ въ представительныя учрежденія. Какъ и во всѣхъ совѣтскихъ службахъ, мѣсто одного Крыжановскаго заняли многочисленные спеціалисты по организаци и проведенію выборовъ въ угодномъ власти направленіи, получившихъ въ послѣднее время и особое званіе — «довѣренныхъ лицъ».

«Правда» имѣла много основанийъ заявить недавно: «Довѣренное лицо, эту замѣчательную фигуру нашихъ дней, породила совѣтская избирательная система. Она проявила лишь непростительную забыв-

чивость или неблагодарность, не упомянув при этом, что родоначальником или прототипом этой «замычательной фигуры» был С. Е. Крыжановский, быв. государственный секретарь, сенатор и его величества статсъ-секретарь, — первый по времени мастер по организованному извращению народного изъяснения в России: он первый разработал и осуществил систему негласного сыска и надзора за избирателем и секретных инструкций агентам власти по части прямого воздействия, рублем и дубьем, на избирателя и депутата (знаменитая ерогинская живопись для депутатов-крестьян). Озвучив Крыжановского о «воле народа» по существу мало чѣмъ отличался отъ того, что писали и говорили о «достойной только самого тупого мелкаго буржуа» ссылокъ на «волю народа» въ предоктябрьскіе дни и послѣ разгона Учредительнаго Собрания Ленинъ и Бухаринъ.

«Долженъ сознаться, — пишетъ Крыжановскій въ своей книгѣ, — что, составляя распределение выборщиковъ (въ первую Думу), правильность котораго никто, конечно, не проверялъ, я приложилъ все старанія, чтобы исчислить крестьянскихъ выборщиковъ въ возможно скромныхъ цифрахъ и тѣмъ сократить влияние на выборы крестьянскаго элемента всюду кромѣ западныхъ губерній, гдѣ онъ могъ служить противовѣсомъ влиянію крупныхъ польскихъ землевладѣльцевъ». — Когда же «все старанія» не привели ни къ чему, въ Думѣ оказались не тѣ, на кого рассчитывали, а «собрание дикарей», по отзыву Крыжановскаго, и его шефъ, Столыпинъ не остановился передъ открытымъ нарушеніемъ права и закона, тотъ же Крыжановскій разработалъ, а царь одобрилъ совѣтъ «бестыжю» — по сознанию Крыжановскаго и по выраженію царя — систему выборовъ.

И послѣ этого все еще утверждаютъ, что русскій народъ отъ природы анархиченъ и лишенъ чувства привязанности къ отечеству и государству, а русская интеллигенція чужда чувства права и правосознанія. Описание Крыжановскаго собственной жизнедѣятельности даетъ яркое подтвержденіе существованію первичнаго источника русскаго анархизма и безпріянія — правового нигилизма власти, отравляющаго и народное сознание, и интеллигентское.

Крыжановскій былъ, конечно, не одинъ, но онъ былъ незаменимымъ и въ этомъ смыслѣ — единственнымъ, — представляя собою цѣлую социально-психологическую категорію служителей стараго порядка наканунѣ его крушенія. Съ похвальной откровенностью — или «нигилизмомъ» — онъ пишетъ: «Въ министерствахъ особю цѣнились чиновники, искусившіеся въ междувѣдомственныхъ препирательствахъ, мастера изготовлять въ любезной формѣ уничтожительныя посланія отъ одного министра къ другому. Многие на этомъ дѣлали карьеру (не скрою, что я принадлежалъ къ ихъ числу)».

Высокая служебная карьера Крыжановскаго можетъ служить показателемъ уровня, до котораго опустилось самодержавіе за сто послѣднихъ лѣтъ своего существованія. Отъ М. М. Сперанскаго, полнаго, къ «новому Сперанскому», на дѣлѣ показавшему, что всякому, даже основному закону можетъ быть перемѣна въ два счета,

по первому требованію начальства и въ соответствии съ его видами, хотя бы начальствомъ былъ «Соловей-разбойникъ» (такъ называли министра внутреннихъ дѣлъ А. Н. Хвостова), — таковъ путь, предложенный исторической русской властью за это дѣть, и ему осталась въ этомъ отношеніи вѣрна и нынѣшняя власть СССР.

М. Вишнякъ.

М. З. Никоновъ-Сморodinъ. Красная каторга. Подъ ред. А. В. Амфи-театрова. Изд. Н. Т. С. Н. П. 1938. Софія.

Книга эта — повѣсть о потрясающей судьбѣ одного изъ многихъ русскихъ офицеровъ, которымъ немедленно послѣ революціи пришлось превращаться въ своего рода аниимовъ, съ постояннымъ рискомъ быть узанными и разстрѣляными, ни въ зависимости отъ ихъ дѣятельности и извѣдывовъ, только за ихъ офицерское званіе. Никонову-Сморodinу везло: нѣсколько дѣть прослужилъ онъ подъ чужимъ именемъ въ Сибири, затѣмъ, узанный, успѣлъ смыться на Кавказъ и проработать еще тамъ, пока, спустя, въ общемъ, восемь дѣть, когда, казалось, пора было забыть о прошломъ, онъ былъ окончательно опознанъ. Ему еще разъ «повезло»: разстрѣлъ былъ ему замѣненъ 10-ю годами Соловковъ куда онъ направился, считая, что «и тамъ солнце свѣтитъ».

М. Никоновъ-Сморodinъ былъ сосланъ въ 1928 г., въ періодъ, когда Ягода былъ еще въ полной силѣ, а въ лагерѣ властвовалъ Курцко, руководя системой срочной ликвидаціи заключенныхъ. Автору посчастливилось пережить и «реформы» 1930 г., когда, вслѣдствіе колоссальнаго наплыва заключенныхъ изъ-за коллективизаціи, непосредственное уничтоженіе людей стало затруднительнымъ и лагеря, донедѣлю до миллионнаго состава, были переведены на эксплуатационное положеніе. Въ этотъ періодъ заключенныхъ забивали совершенно непосильной работой и голодомъ. Впрочемъ, массовые разстрѣлы продолжались, но подъ иными предлогами. Наиболее трагичнымъ изъ описанныхъ является разстрѣлъ 163 участниковъ Соловецкаго заговора и 148 «имяславцевъ» — простыхъ мужиковъ, которые, не желая служить Антихристу, отказывались назвать свои имена, отказывались и работать въ лагеряхъ. Они были разстрѣляны всѣ, поголовно, со связанными назадъ руками, не имѣя возможности даже перекреститься передъ смертью.

За свои годы на каторгѣ М. Никоновъ-Сморodinъ перевидаль людей буквально всѣхъ специальностей, такъ какъ ПТУ не допускаетъ никакихъ исключеній. Особенно много фактовъ сообщаетъ онъ о судьбѣ священнослужителей: архіепископа Иларіона Троицкаго, митрополита Петра Крутицкаго, епископа вятскаго Веніамина, соловецкихъ монаховъ и массы рядового духовенства. Очень любопытны его встрѣчи съ иностранцами — болгаринь, сербъ, фини, латыши, китаецъ —, которые переходили въ СССР то ища личныхъ выгодъ, то увлеченные коммунистической политикой.

Т. Ч.

СПИСОКЪ НОВЫХЪ КНИГЪ, ПОСТУПИВШИХЪ ДЛЯ ОТЗЫВА ВЪ РЕД. «СОВРЕМ. ЗАПИСОКЪ»

- Новая Россія, № № 47-52. Парижъ, 1938.
Соціалистическій Вѣстникъ, № № 9-19. Парижъ, 1938.
Путь, № 56. Парижъ, 1938.
Новый Градъ, № 13. Парижъ, 1938.
Русскія Записки, кн. VI-IX. Парижъ, 1938.
Бюллетень Экон. Каб. проф. Прокоповича, № № 139-140. Прага, 1938.
Бюллетень рел.-пед. работы, № 2. Июнь 1938. Парижъ.
Законъ и Судъ, № № 5-8. Рига, 1938.
Католическій Вѣстникъ, № № 7-8. Харбинъ, 1938.
Роголя-Левинскій. Стихи. Парижъ, 1938.
О. Ильинская Стахевичъ. Дыханіе жизни. Стихи. Прага, 1938.
Б. Новосадовъ. По слѣдамъ бездомныхъ Аонидъ. Стихи. Таллинъ, 1938.
А. Горская. Раздумье. Стихи. Парижъ, 1938.
И. Войновъ. Чаша ярости. Стихи. Парижъ, 1938.
Э. Чегринцева. Строфы. Стихи. Варшава, 1938.
Н. Берберова. Безъ заката. Романъ. Изд. Домъ Книги. Парижъ, 1938.
Л. Зуровъ. Поле. Романъ. Парижъ, 1938.
М. Осоргинъ. Повѣсть о нѣкоей дѣвицѣ. Таллинъ, 1938.
В. Сиринъ. Соглядатай. Изд. «Рус. Записки», 1938.
Н. Теффи. О нѣжности. Изд. «Рус. Записки», 1938.
М. Алдановъ. Бельведерскій торсъ. Изд. «Рус. Записки», 1938.
Ф. Моріанъ. Волчица. Изд. «Рус. Записки», 1938.
Д. Мерекковский. Францискъ Ассизскій. Изд. Петрополисъ, 1938.
Д. Мерекковский. Жанна д'Аркъ. Изд. Петрополисъ, 1938.
А. Бэмъ. Достоевскій. Изд. Петрополисъ, 1938.
А. Ласковскій. Ф. М. Достоевскій. Изд. Петрополисъ, 1938.
Пушкинъ и его время. Альбомъ автотипій. Подъ ред. проф. К. І. Зайцева. Харбинъ, 1938.
А. Плещеевъ. Сергій Лифарь. Парижъ, 1938.
В. Бурицвъ. Преступленія и наказаніе большевиковъ. Парижъ, 1938.
О. Грузенбергъ. Вчера. Воспоминанія. Парижъ, 1938.
В. Архангельскій. Катерина Брежковская. Изд. Школьная помощь. Ужгородъ, 1938.
С. Крыжановскій. Воспоминанія. Изд. Петрополисъ, 1938.
М. Никоновъ-Сморонинъ. Красная каторга. Изд. НТСНП. Софія, 1938.
Ю. Мандельштамъ. Искатели. Сборникъ статей. Шанхай, 1938.
Право и культура. 1920-1937. Юбил. сборникъ юрид. факультета. Харбинъ, 1938.
Проф. В. Синайскій. Жизнь и Человѣкъ. Рига, 1938.
Н. Арсеньевъ. Изъ жизни духа. Сборникъ статей. Варшава, 1935. — Религіозный опытъ ап. Павла. Варшава, 1935. — Ученіе Киръвскаго о познаніи истины. Варшава, 1936. — О Хомяковѣ. Варшава, 1937. — Единбургская Конференція. Варшава, 1938.
Митрополитъ Елевферій. Соборность церкви. Парижъ, 1938.

(Окончаніе списка книгъ въ слѣд. книгѣ «С. З.»).

основанный Н. Д. Авксентьевымъ, И. И. Бунаковымъ, М. В. Виночкомъ,
А. И. Гуковскимъ (†), В. В. Рудневымъ.

Въ вышедшихъ по настоящее время книжкахъ «Современныхъ Записокъ» напечатаны беллетристическія произведенія: М. Алданова, Л. Адресса, К. Бальмонта, Н. Берберовой, И. Бунина, А. Бѣлаго, Б. Вышеславцева, Г. Газданова, Г. Гребенникова, Юр. Давилова, Г. Евангулова, Е. Замыatina, Л. Зурова, Б. Зайцева, Г. Иванова, А. Куприна, Д. Мерелковского, С. Минилова, П. Муратова, М. Осоргина, Г. Пескова, А. Ремизова, Н. Рощина, В. Сирина, Д. Скобцова, И. Соколова-Микитова, Ф. Степуна, И. Сургучева, Б. Темирязева, Гр. А. Толстого, С. Федорченко, Ю. Фельзена, Е. Чирикова, И. Шмелева, С. Юшкевича, В. Янковского и др. — Стихотворенія: Г. Адамовича, Амаріи, К. Бальмонта, Н. Берберовой, И. Бунина, М. Волошина, А. Гердыкъ, И. Голенищевой-Кузубова, А. Головиной, Вяч. Иванова, Георгія Иванова, Д. Кнута, Г. Кузнецовой, А. Ладивскаго, С. Маковского, Ю. Мандельштама, Н. Оцула, Б. Пондлава, Г. Раевского, В. Сирина, В. Смоленскаго, П. Соловьевой (Аллегро), Ф. Соллогуба, Ю. Софьева, Ю. Терапиано, Тэффи, В. Ходасевича, М. Цвѣтковой, Л. Червинской и др. — Дневники и воспоминанія: И. Билибина, Е. Брешковской, О. Грузенбергъ, Е. Джанумовой, кн. П. Долгорукова, К. Ельцовой, В. Зензинова, А. Керенскаго, В. Маклакова, кн. В. Оболенскаго, Т. Полнера, И. Рѣпина, Ал. Толстой, Льва Толстого, В. Ходасевича, М. Цвѣтковой, Ф. Шалинина, Н. Шкляевой и др. — Статьи по вопросамъ литературы, искусства, философіи, политики, экономическимъ и социальнымъ: С. Абрамова, Н. Авксентьева, Г. Адамовича, М. Алданова, П. Апостола, А. Арцинова, А. Байкалова, А. Бема, Н. Бердаева, П. Бицилли, М. Брайкевича, Б. Вруцкуса, В. Булгакова, И. Бунакова, В. Вейдле, П. Виноградова, М. Вишняка, В. Водовозова, кн. С. Волконскаго, В. Войтинскаго, М. Геринсона, С. Гессена, В. Геддингса, М. Гофмана, М. Гошиллера, К. Грюнвальда, А. Гускова (А. Свѣрова), К. Гулькевича, Г. Гурвича, Ю. Давилова, Ю. Делевскаго, И. Демидова, Дюнео, В. Ельяшевича, С. Загорскаго, С. Заваскаго, К. Зайцева, В. Зѣнковскаго, Ст. Ивановича (В. Талина), С. Иванова, Л. Карсавина, А. Карташева, С. Карцевскаго, К. Качаровскаго, А. Керенскаго, А. Кизевелтера, С. Кобыкова, А. Койрзинскаго, В. Короленко, С. Корфа, А. Крайного, М. Кроля, К. Крофты, Н. Кульмана, Е. Кусковой, А. Левинсона, З. Ленскаго, А. Леонтьева, Г. Ловцкаго, Н. Лосскаго, С. Лурье, А. Мандельштама, С. Маслова, С. Мельгунова, Н. Мельниковой-Платоушскъ, С. Метальникова, П. Милюкова, Н. Минскаго, Б. Миркина-Гецевича, А. Михельсона, К. Мочульскаго, П. Муратова, В. Мякотина, С. Николаева, бар. В. Нольде, А. Орлова, Д. Одиша, М. Осоргина, Я. Папоушскъ, А. Петричева, П. Пильскаго, С. Полякова-Литовцева, А. Пѣхехонова, Ф. Родичева, В. Рябушинскаго, М. Ростовцева, В. Руднева, С. Сазонова, Ю. Сазоновой, Д. Святлополкъ-Мирскаго, М. Слонима, Б. Соколова, П. Сорokinна, Ф. Степуна, Н. Тимашева, Н. Ульянова, Г. Федотова, Г. Флоровскаго, Д. Чижевскаго, А. Чупрова, И. Хераскова, М. Цвѣтковой, М. Цетлина, Т. Чернавиной, Б. Шацкаго, С. Шермана, Л. Шестова, Б. Шлендера, Е. Юрьевского и др.

Цѣна отдѣльнаго номера 35 франковъ.

Адресъ Редакціи и Конторы:

6. Rue Daviel, Paris (XIII^e).

Téléphone: Gobelins 48-87

Imp. Union, 13, rue Méchain.

Le gérant Chail.